

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000030825957

Аксёнов
Акунин
Алексиевич
Арабов
Арканов
Архангельский
Битов
Быков
Варламов
Веллер
Володарский
Генис
Гладилин
Гринберг
Евтушенко
Жадан
Иличевский
Иртенъев
Искандер
Кабаков

Кононов
Кох
Лимонов
Липскеров
Лукьяненко
Минаев
Орлов
Пелевин
Пеленягрэ
Поляков
Прилепин
Проханов
Распутин
Сорокин
Стругацкий
Тарковский
Терехов
Толстая
Улицкая
Успенский

ВЕЛИКИЕ
ПИСАТЕЛИ
ЗЕМЛИ
РУССКОЙ

В
СВИНАРЕНКО
ЗР

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Title: VPZR

Author: Svinarenko, Igor'

ИГОРЬ
СВИНАРЕНКО
В П З Р

**ВЕЛИКИЕ
ПИСАТЕЛИ
ЗЕМЛИ
РУССКОЙ**



МОСКВА 2016

УДК 821.161.1-3
ББК 84Р7-4
С24

Оформление
Валерий Калныньш

Свинаренко И. Н.
С24 ВПЗР: Великие писатели Земли Русской. — М.: Время,
2016. — 864 с. — («Диалог»).

ISBN 978-5-9691-1523-1

Игорь Свинаренко — прозаик, журналист и редактор — еще одним своим профессиональным занятием сделал застольную беседу. А с кем в России поговорить по душам и со вкусом? Конечно, с ВПЗР, «Великими писателями Земли Русской». Аббревиатура эта иронична лишь отчасти, многие литераторы применяют ее к себе всерьез, особенно если разговор застольный, а собеседник умело провоцирует и подначивает — по этой части он мастер. Сорок писателей приоткрыли ему душу (порой не стесняясь в выражениях), а он собрал все в книгу и выложил на продажу. Получилось местами возмутительно, но зато всегда интересно.

ББК 84Р7-4

ISBN: 978-5-9691-1523-1



9 785969 115231

© Игорь Свинаренко, 2016
© «Время», 2016

23 года спустя

Вот ровно 23 года назад я допросил первого своего писателя — это был Александр Кабаков. В тот раз мы говорили про автомобили, притом что сам он не водит. Про то, что с первого западного гонорара он хотел было купить Jaguar, но в последний момент передумал и набил чемодан твидовыми пиджаками. После мы с ним много-много раз вели беседы, к моему — не знаю, как его — удовольствию. И так двадцать с лишним лет я всё говорил и говорил с писателями, интервью копились и копились — и вот накопились.

Кабаков — прозаик. А вот первый русский поэт — Иван Кононов. Первый, кого я увидел живьем, с кем разговаривал и пил водку. Это случилось в 1975-м, когда мы с ним поступали на журфак МГУ. Через лет этак тридцать после первой встречи я его спрашиваю:

— Так это ты сочинил народную песню «Левый, левый, левый берег Дона...»? Это правда?

Таки меня не обманули.

Еще один народный поэт — Виктор Пеленягрэ, автор «Как упоительны в России вечера» и «Потому что нельзя быть красивой такой». Которые я много раз пел в пьяном виде то с «Белым орлом» Вовой Жечковым, то соло. Трудно интеллигенту придумать более кабацкую песню, чем эти! Возможно, я пристрастен, но уж вы сами выкидывайте слова из песен, коли есть охота.

Надо сказать, что писатели — это обычные люди, как все. Есть интересные, есть скучные. Вот вторые мне не интересны, даже если они внесли страшно значимый вклад или достигли рекордно больших тиражей. Я не критик, не литературовед, не филолог. Я писателям ничего не должен и читать все, что они настрочили, — не обязан. Не нравится книжка — не успею даже дочитать, выкидываю ее с балкона или на худой конец выкладываю на столик у будки консьержа. Цеховая принадлежность персонажей, которых я выбираю для интервью, не важна для меня.

Интервью я брал по работе много у кого — это режиссеры, артисты, художники, даже журналисты, военные, бандиты, убийцы, сатанисты, президенты, короли и прочие. Я начал этот процесс — речь про большие интервью, за жизнь, а не про

актуальное, не про злободневное, — в 1993 году. Как раз тогда я перебрался из ежедневной газеты, в которой имел удовольствие командовать отделом преступности, в гляцевый журнал, первый в России. Это был «Домовой». Потом — «Медведь». Много пространных интервью сделал я и для больших газет, и для разных сайтов.

В какой-то момент я обнаружил, что у меня незаметно накопилось огромное количество интервью именно с писателями! Конечно, они попросились в отдельную книжку, мы же страна литературоцентричная, в хорошем смысле этого слова. Да и в плохом тоже. Дело не только в том, что писателей и особенно поэтов у нас убивали за их тексты, да даже и просто за идеи, — всего лишь за разглашенные (изреченные) мысли. И не в том, что русских литераторов вынуждают пророчествовать, предсказывать, разъяснять историю, философию, политику и веру. Хотя и в этом, конечно, тоже. Главное в русской литературоцентричности то, что не только члены союзов писателей, но и вообще большая часть населения страны, вместо того чтоб делать деньги, или хотя бы сеять хлеб, или *пошивать* джинсы, бросает полезные занятия, плюнув на них, и занимается сочинительством. А именно: придумывает странные идеи, увлекается заведомо ложными измышлениями, создает новые жанры, маниакально рифмует (Грозный — Сталин, опричники — нацгвардия, империя — СССР, Ермолов — Кадыров, поехали — понаехали и т. д.) и вообще, увлекшись «духовностью», пренебрегает материальным и уничтожает его походя и навязчиво предлагает пиплу аскетическую диету, приличествующую отшельнику в скиту. В итоге из всех толкователей политики и предсказателей русского будущего первое место делят Сорокин с Пелевиным, вот как раз писатели, — причем с обоими я немало разговаривал, снимая перед ними шляпу. Точно ли эти двое, которых я помню то и дело, надо не надо, теснятся на вершине олимпа? (И еще Солженицын.) Точно сказать не могу. Но думаю, это оттого, что они как-то особенно меня зацепили. Чем именно? Какая разница! Зацепили — и всё. Так бывает с людьми, и надо уважить их подсознание, вот мое в том числе. Это же хорошо, когда человек смотрит на некую тайну раскрыв рот.

И вот эта отдельная книга про писателей в какой-то момент оказалась готовой. Дальше пришлось ее сократить почти в два раза, чтоб не слепить неподъемный талмуд, который развалится от веса и толщины, на теперешних-то клеях. Я уж давно в ремесле и сокращения провел легко и безболезненно.

Странно — или, напротив, не странно, что говорил я с ВПЗР не столько о том, как они сочиняют тексты и как продвигают духовность, сеют разумное, доброе, вечное, — сколько про страны и континенты, про баб и про водку, про зависть и ненависть, про разочарования, про безумие, без которого никто вам не обеспечит крепкой литературы, не в последнюю очередь и про деньги. Еще про что-то, всего не упомнишь. Чаще всего это происходило под водку, которой было много, посреди трепа и скабрзных анекдотов, то и дело — матом, и не всегда удавалось разобрать, где ВПЗР врет, где просто искажает, где принимает и выдает желаемое за действительное, а где утрюмо и тупо режет правду-матку. Иные спохватывались и упрасивали меня не публиковать текст. Таких немало. Один, *нехай би він сказився*, спохватился еще в ходе интервью — и умолял меня тут же стереть файл с аудиозаписью, и после всем рассказывал, что я его подпоил и пьяному и дурному подсунул диктофон. (Да на хрен ты мне нужен, подлавливать тебя? От самомнение...) Кстати, это вполне писательское поведение, я щетаю. Чего ж придираться к людям-то. Не от хорошей жизни они пошли в ВПЗР — тут и нарциссизм, и вера в свою миссию, и желание учить народы, открывать глаза поколениям, вещать истину и прочее в таком духе. Но можно ли за это осуждать людей? Пусть лучше так...

Само собой, за эти двадцать с лишним лет что-то изменилось в жизни и деятельности писателей, но не вижу смысла делать *update* — это же не учебник, не научная работа, а выхваченные из жизни моменты, может даже моменты истины. Начни поправлять, и дополнять, и обновлять, поясняя и сверя старую жизнь с сегодняшней и делая вид, что жизнь шла непрерывно и оставалась все эти 23 года всё той же, какой была, — есть опасность, что все засушится и развалится. Или просто ничего не получится. Вот как было сказано в часы интервью, так пусть и останется. Ну как скорректировать и уточнить настроение? Пожалуй, это невозможно.

По разным причинам в эту книгу не попали интервью с авторами вот какими, по алфавиту, а не по рейтингу: Эдуард Багиров, Кир Булычев, Андрей Гальцев, Андрей Дмитриев, Любовь Небренчина, Оксана Робски (если кто помнит), Вадим Степанцов, Сергей Шаргунов, еще разные другие, всех не счесть.

Про кого-то я вовсе не написал. Сколько больших писателей осталось за бортом этой книги! Ничего личного. Просто как-то так получилось, что никто не заказал мне интервью с ними. А я ж не для забавы, не по прихоти тасую буквы. Исторически сложилось так, что с 1973 года я пишу за деньги, — как раз тогда я пошел в 10-й класс и стал внештатным корреспондентом «Макеевского рабочего». И в книжке образовались зияющие пробелы. Но уж так шла жизнь! И это надо как-то принять.

Американская психиатрия вообще учит, что написать роман нельзя без серьезного повреждения психики, без одержимости навязчивой идеей, — нормальный человек после работы лежит на диване и пьет пиво перед телевизором, зачем же ему все бросать и бить в одну точку без сна и отдыха, отказывая себе в получении удовольствия. Кстати, та же штатовская психиатрия описывает и гармонически развитую личность (до боли знакомый термин!), но резервирует этот диагноз за унылыми, серыми людишками, до смерти скучными, какими и виделись, и были так называемые строители коммунизма.

Обратите внимание, классики почти сплошь с серьезной крезой — хоть Достоевский с припадками, хоть Толстой с навязчивым дауншифтингом, хоть Пушкин с сатириазом и лудоманией. В этом смысле моим современным собеседникам до классиков еще далеко. Я им всем желаю славы, гонораров и прочего счастья. Ура!

Кстати, почему бы мне за эту книжку не дать докторскую степень *honoris causa*? Смотрите, я исследовал же целый пласт русской литературы, истории и чего там еще! Согласен принять степень кандидата хоть филологических наук, хоть исторических, хоть психологии. Да мало ли каких. Мне все равно.

Автор

В П З Р

А знаете, какой я вам про себя
расскажу сюрприз: как меня
стукнула об землю лошадь
и сломала руку, когда я после
дурмана очнулся, я сказал себе,
что я — литератор.

Из письма
Льва Толстого Фету

ВАСИЛИЙ АКСЁНОВ Итээровский костер

Первая громкая и прочная слава пришла к Аксёнову когда он был молодым парнем — целую жизнь назад! И с тех пор она не проходила, не ослабевала. Он уж покинул нас, а последняя его книга, которую он, к счастью, успел дописать — мемуары про шестидесятников, замечательно продается: 25 000 экземпляров за три дня, хвастал мне знакомый книготорговец.

Сперва Аксёнов прогремел — не первым, но громче всех первопроходцев — как автор молодежной прозы. Потом — как самый, может, яркий представитель советской богемы, с загулами, путешествиями, романами с интересными женщинами, богатством, — да-да! После стал одним из основателей альманаха «Метрополь» и автором самиздата. За его книги реально сажали!

Перед самой Олимпиадой-80, которая, слава богу, заменила собой построение коммунизма, он уехал в Штаты вроде как читать лекции по русской культуре и «творческому письму», — но на самом деле, все понимали, в эмиграцию... Там он работал профессором в малоизвестном маленьком университете, а главное — писал и читал нам вслух написанное по «Голосу Америки». Своим вкрадчивым голосом. Давая нам подышать заманчивым воздухом свободы. Становилось легче, оттого что где-то вдалеке, есть, как тогда казалось, высшая справедливость и вселенская гармония. Сколько надежд мы в те наивные времена возлагали на Америку! Это была как бы платоническая любовь по переписке. При телесном контакте все оказалось намного прозаичней; хотя что в ней, конечно, таки было и есть...

После двадцати с лишним лет жизни в Штатах Аксёнов жестоко и непоправимо разочаровался в тамошних издателях (ну а чего он хотел — чужбина все ж таки!), проклял их и вернулся не то что в Россию — это было бы для него слишком сильнодействующим средством после привычки к Западу — но на этот берег Атлантики, в пространство между Биаррицем и Москвой.

В новой России Аксёнова поджидал подарок судьбы. Прежде он был автором все же больше для яйцеголовых, — но после успеха телесериала «Московская сага» его узнали и полюбили домохозяйки и вообще плебс!

После чего Василий Павлович получил первую в своей жизни литературную премию — «Русского Букера». Вернувшись на родину — не то что с вещами, но, по крайней мере, с половиной вещей (еще же Биарриц), писатель тут на восьмом десятке пережил вполне настоящий триумф.

Если серьезно, если объективно, то книги его далеко не всем нравятся. Вплоть до резкого неприятия и разгромной критики. Но это не имеет никакого значения. Книг писателя можно и вовсе не читать, не они создают ему масштаб — но жизнь, но судьба! Таки главное в Аксёнове — его биография, его поступки (кроме книг), то, что он красавец и боец. И победитель — в конечном счете. Он выгащил счастливый звездный билет, и удержал его в руке несмотря ни на что, и не отдал никому.

А столько ведь было поводов и случаев!

Вот таков вкратце промежуточный (он был еще жив, когда я писал эти строки) итог жизни и деятельности Василия Павловича Аксёнова. Подведенный спокойно и тихо, уж после шума и гама его 75-летнего юбилея, отгремевшего летом 2007 года...

Сам я не раз с ним разговаривал. С тех пор как он стал наезжать в Москву, мы то и дело пересекались. Я о чем-то его спрашивал и говорил, что надо бы мне его поплотней расспросить, но всякий раз думал — каким странным будет этот разговор! Лживо хвалить его книги — кому из нас это было бы нужно? Ругать их — это нужно еще меньше. Молчать о них — в принципе можно, но о чем тогда разговаривать? Он смотрел мне при этом в глаза, улыбаясь не очень весело и не очень грустно, он как будто читал мои мысли и понимал их... Мне кажется — точно читал и даже разделял. И мы деликатно сворачивали с темы интервью куда-то в сторону. Я понимал, что дело не в текстах, это символ эпохи, никак не меньше...

Аксёнов Василий Павлович родился 20 августа 1932 года в Казани. Окончил 1-й Ленинградский мединститут (1956). Публиковаться начал в 1959 году, в 1960-м стал профессиональным писателем.

Прославился легальными советскими книгами «Коллеги», «Звездный билет», «Затоваренная бочкотара», «Остров Крым», — и неподцензурной — «Ожог».

А также участием в знаменитом скандальном альманахе «Метрополь» (1979).

В 1980 после отъезда в США сразу же был лишен советского гражданства. Жил и преподавал в Америке двадцать четыре года.

Много писал и печатался. Написал там одну книгу на английском языке: повесть «Желток яйца» (1991).

Уйдя в отставку, уехал из Америки и стал жить на два дома — Биарриц и Москва; указ о лишении его советского гражданства был отменен в 1990-м.

В январе 2008 года писатель попал в Москве в автомобильную аварию и надолго залег в больницу. В сознание не приходил. Газеты принялись писать, как обычно в таких случаях, что врачи делают все возможное, но...

ГУЛАГ

Писатель часто говорил: «Если бы не революция, вряд ли бы мои родители встретились». (Здесь и далее — цитаты, надерганные из разных записей и высказываний В. П. Аксёнова.)

Отец Василия Павловича родился крестьянином в рязанской деревне. Подростком уехал в Москву, где работал на электростанции. При советской власти стал видным начальником — в масштабах Казани. Мать же, в будущем знаменитая писательница Евгения Гинзбург — происходила из еврейской интеллигенции. Совершила самоотверженный поступок: вместо того чтоб уехать учиться в Женеву, куда ее отправлял отец, известный фармацевт, ушла в революцию и к Павлу Аксёнову.

Василий Павлович потом со слов отца рассказывал: «Они — а это был руководящий состав Казани, то есть первый секретарь обкома, начальник НКВД, редактор местной газеты, в общем вся элита города, жили коммуной в большой квартире, где у каждого была комнатенка; моя тетя Ксения готовила для них. Утром они выходили, брали извозчика и ехали в обком, в НКВД... Так они жили до какого-то времени, получая так называемый партмаксимум. Это был конец 20-х годов. А в самом начале 30-х уже началась колоссальная коррупция. У партийной элиты появились автомобили. Мой отец был мэром города Казани — председателем горсовета и членом ВЦИКа. Ему дали автомобиль с телохранителем, квартиру из пяти комнат, возможность ездить в какие-то загородные дома отдыха».

Бабушка Авдотья Васильевна отцу говорила: «Пашка, высоко ты залез, а сверху-то больней падать». Как чувствовала! Ее сына забрали в 1937-м. «На суде позорили “банду Аксёнова”. “Агента и вредителя” приговорили к расстрелу. Отца вывели конвоиры из зала суда и повели по коридору. Вдруг выскочила маленькая старушка и осенила его крестом. Это была Авдотья Васильевна. Она закричала; “Пашка, ничего не бойсь. Без Божией воли волосок не упадет с головы!” Привели отца в смертную камеру...» И он сгинул; ну а что — расстреляли, как обещали; что тут еще думать?

В том же 37-м, за полгода до Аксёнова-старшего, арестовали мать писателя. Обвинение взяли вроде с потолка, как водится — троцкизм. Но тут чекисты, сами того не зная, попали в точку: в юности Евгения Гинзбург входила в подпольный кружок троцкистов, распространяла листовки! Ее отправили на Колыму. Где она отсидела в лагере 10 лет и написала про этот опыт книжку «Крутой маршрут», которая, по довольно широко распространенному мнению, с точки зрения литературной превосходит аналогичный «Архипелаг ГУЛАГ». (Я прочел ее в свое время в самиздате и помню разительные страницы про то, что дети в лагере рисовали только бараки, вышки, зэков, охранников и овчарок — ведь они больше ничего в жизни не видели, там не было даже деревьев.)

Арестовали, значит, родителей — а там подошла очередь сына. Его взяли в день рождения, когда ему стукнуло пять лет.

«Приехали ночью, на черной эмке. Два чекиста. И чекистка, в черном кожаном реглане. Она дала мне конфету и сказала, что отвезет меня к маме и папе. (На этом месте Дуня Смирнова, разговаривая с Аксёновым в “Школе злословия”, прослезилась, да рассказ и правда жуткий, сам писатель не зря его никогда не выдавал целиком со всеми деталями, а только кусками — это тут все собрано. — И. С.) Последнее, что видел — бабушку и няню. Две старухи русские стояли на крыльце и выли в голос. Я их никогда не забуду».

«Привезли в коллектор детей арестованных; я помню только огромную спальню — там было около ста детей. Помню почему-то, что они постоянно дрались подушками».

У мальчика была игрушка — розовый львенок. В огромной комнате кроватей на пятьдесят маленький Аксёнов зазнул в слезах, утром просыпается — львенка нет, сперли.

«Видимо, мои родственники сначала не знали, где я, а потом нашли и стали появляться за зоной: из окна я видел то и дело фигурку бабушки или тети. Родственникам нас не отдавали, все их просьбы отметали».

«Потом нас стали развозить кого куда, в разные стороны, по специальным детским домам для детей врагов народа. (По тогдашней практике, им меняли фамилии и воспитывали в “правильном” духе.) Меня везли как Ленина — в опломбированном вагоне. В Кострому. Приют размещался в здании монастыря, я помню, что там были своды, и в некоторых местах были видны плохо замазанные фрески. На стенах нашей спальни просвечивали лики святых.

Плохого в том детдоме было, видно, немало. Я был совершенно одинок, это было что-то ужасное. Никаких издевательств не было, просто это был колоссальный стресс. Но было и что-то хорошее. Там я встречал новый, 1938 год и хорошо запомнил, как утром каждый нашел у себя под подушкой подарок от Деда Мороза — шоколадку, пряники и игрушку».

Особо запомнилось вот что: «Там никто ничего не читал». В детдоме он провел полгода.

«И вдруг там появился, как мне показалось, мой отец. Я к нему бросился с криком “Папа!” Но это был не он, а его родной младший брат, мой дядя».

Как мощна эта жуть, как силен этот садизм, это людоедство, когда малых детей забирают у матери с отцом навсегда, чтоб потом подсунуть им бывших детей, повзрослевших, в виде чужих советских хамов, дикарей, скотов, павликов морозовых! Которые сочтут за честь сдать родителей чекистам на расправу! Это отчасти и удалось с Аксёновым: вот, он не узнал дядю, принял его за отца. Потом в Магадане его не узнает мать. А он сообразит, что это она — потому что кто же еще мог в ее комнате расположиться по-хозяйски? Не с кем путать. Потом та картина повторилась с отцом, которого он принял, конечно же, за чужого человека — когда тот вернулся после восемнадцати лет лагерей. С Аксёновым, значит, это удалось только отчасти — а вот со страной, с народом это удалось вполне! Сколько же у нас дремучих хамов, которые уверены в своей правоте, поддерживают друг друга и жадно ловят сигналы сверху — о, пойдём бить грузин! Или еще кого почернее! Или антифашистов! А беременная Бахмина пусть сидит, чем она, говорят, лучше других! И никто их не одергивает... Это пройдет — или теперь всегда так будет в стране? Она, может, уже совсем не наша и нашей никогда уже не будет, не сможет стать?

И еще в тему этих детских лагерей ли, детдомов. Вспомнилось кино «Республика ШКИД», вообще все эти истории про опекаемых чекистами беспризорников. С чего бы спецслужбам заниматься детишками? Я вижу только одно логичное объяснение: отца, значит, расстрелять, мать — на Колыму, и вот вам, пожалуйста, готовый беспризорник, теперь надо из него воспитать такого «любера», который будет мочить очкариков да и вообще всех, на кого натравят. Эту схему придумал какой-то политтехнолог, предшественник наших современников Суркова и Павловского.

«К тому времени [аксёновского] дядю, доцента Сталинабадского института, выгнали с работы как брата врага на-

рода. Прежде чем прийти в НКВД на Черном озере в Казани, он выпил стакан водки. Придя туда, он стал стучать и требовать, чтобы ему отдали ребенка. К тому времени Сталин где-то уже сказал: “Сын за отца не отвечает”, — и дядя давил на чекистов именно этой фразой. Вдруг ему сказали: “Пройдите вот сюда”, — где дали бумаги “на получение” меня в детдоме».

Казань

«Он отвез меня в Казань и отдал меня моей тете — Ксении. Это была большая семья Котельниковых-Аксёновых. Там были маленькие дети, тетя Котя, тетя Ксения, баба Дуня. Чудесные люди, которыми может гордиться Россия. Мне так там нравилось, в этой семье!

Но тут из камеры НКВД (это называлось — на “Черном озере”) вернулась моя бабушка Ревекка; ее арестовали вместе с моим чахоточным дедом, его забили насмерть, а ее отпустили, привезли домой, швырнули в комнату... Я запомнил: это место, где она жила, называлось Попова Гора. Меня отдали этой бабушке Ревекке по ее требованию, — но сама она уже ничего не могла делать, сидела в полной прострации.

А я кричал: “Хочу домой на Карла Маркса!” (К тете Ксении.) Бабушка Ревекка и отдала меня туда, и я жил в этой большой семье, гулял в огромном проходном дворе, где было много детей. Я прижился там. Ходил в школу — лучшую в городе, № 619. Сам как-то пристрастился к чтению. В 10 лет читал “Войну и мир”. Наслаждение! Особенно увлекали меня батальные сцены. Потом начал читать стихи».

«В Казани жил в переполненной коммуналке и спал на раскладушке под столом, где туалет был разрушен еще во вторую пятилетку и потому все ходили во двор, в деревянный сарайчик, в котором зимой над очком намерзала такая пирамидка нечистот, что уже и не пристроишься».

«В 3 классе учительница сказала мне: “Ты списал задачку на перемене! У тебя отец враг народа, и ты такой же”».

«О годах Великой Отечественной: мне было 8 лет, когда она началась, и 12 — когда она закончилась. Это была жизнь

на грани голода, выживания. Например, ужасный 1942 год, когда мы чуть не погибли в Казани, и дети, и взрослые. Про то ощущение обреченности, когда казалось, что нас все бросили. “Нас” — я имею в виду Советский Союз. Никому мы тогда были не нужны, нас забыли. Мне казалось: мы погибаем».

То есть сначала его «бросили» родители, а потом, вслед за ними, и вовсе все взрослые, — и настало космическое одиночество...

«У меня это переключается с моментами тяжелой дифтерии, которой я тогда переболел. Страшное чувство, когда задыхаешься, накатывает дикий ужас. Вот это чувство, что всё, ты уходишь навсегда, ты обречен. А потом проснулся, лежу в палате, в инфекционной клинике, а за окном белый, пушистый снег. И вдруг этот снег как вспорхнет, сверкая красными грудками. Никак не мог тогда вспомнить, как птичек звали: “Сногери, сонгери...”

А потом это у меня перерастает в тему “ленд-лиза”. Он был очень важен для нас тогда. Как бы начала с ним вливаться новая струя жизни через северные конвои. Они везли технику, оружие. Но, что важно, и большое количество продовольствия, которое в конечном итоге спасло военное поколение детей».

По ленд-лизу Васе выдали странные какие-то штаны из «чертовой кожи». Он тогда не знал, что это — джинсы... И стеснялся их носить! Мечтая о модных в то время габардиновых брюках...

Отец, значит, «расстрелян», мать сидит.

«Признаюсь, я не был посвящен во все, что произошло с моими родителями, со страной. Думал, у нас идет все гармонично. Родня убеждала меня, что родители в командировке на Севере. Я верил». Но во дворе «мальчишки прибалтненные подходили и говорили: “О, твоя матуха припухает!” Это вызывало у них симпатию».

Вася, наверно, не понимал, о чем речь, — раз верил в командировку...

Магадан

«Мама вышла из лагеря в 1947 году и осталась в Магадане, нашла там квартиру.

На “материк”, то есть в центральную часть России, она не поехала, потому что на Колыме еще отбывал срок ее новый муж. Она добилась через сердобольных чекистских жен разрешения на мой приезд».

«Я жаждал этого путешествия на край света. Мама все организовала. Ее знакомая, “вольняшка”-кассирша, возвращалась из отпуска и взялась доставить мальчика. Мы летели на самолете. Открывалось грандиозное зрелище. Полет продолжался семь дней с посадками, с ночевками. Потрясающее впечатление, пожалуй, сильнее, чем мое открытие Америки. (Какое многозначительное замечание! — И. С.) Летим над Охотским морем — подо мной живая география колышется! Видел волны, корабли, тайгу. Магаданский крошечный аэродром. Ни вокзала, ни транспорта. Нас подвез зять “вольняшки” на каком-то “козле”... Маму я сразу узнал». (Это другая версия Аксёнова, что все-таки — узнал мать. Так все же больше по-людски, не так страшно. — И. С.) Она была «очень молодая. У нее так сверкали глаза — очень любила жизнь. Это меня потрясло. Она при чужих людях разрыдалась. Я подошел к ней, положил руку ей на плечо и на ухо шепнул: “Не плачь при них”. Мама была потрясена этой фразой».

Он ее узнал, а она его — нет... Немудрено, после одиннадцати лет разлуки. Это очень грустная, это леденящая кровь история. В своей книге Евгения Гинзбург написала:

Вот он! В углу широченного дивана неловко приткнулся худой подросток в потертой курточке. Он встал. Показался мне довольно высоким, плечистым. Он ничем не напоминал того четырехлетнего белобрысенького толстяка, что бегал двенадцать лет назад по большой казанской квартире. Тот и цветом волос, и голубизной глаз был похож на деревенских мальчишек рязанской аксеновской породы. Этот был шатеном, глаза посерели и издали казались карими, как у Алеши. (Это старший брат Василия, умер в детстве. — И. С.) — Алешенька! — шепотом,

почти произвольно, вымолвила я. И вдруг услышала глубокий, глуховатый голос: — Нет, мамочка. Я не Алеша. Я Вася.

Еще она писала про будущего стилиста так:

...И телогрейка на его плечах такая же, какие носят у нас в Эльгене. При мне на материке никто не носил таких телогреек. Наверное, появились в войну. Но все-таки меня ужасно коробит, что на Васе такое, почти лагерное одеяние... Уже маячит передо мной новая сверхзадача — пальто для Васи.

У матери был новый муж — немец «Антон Яковлевич Вальтер, по профессии доктор, еще не был освобожден. Днем ходил без конвоя — надо было пациентов навещать, в основном жен начальников. Ночевать всякий раз отправлялся в лагерь, на окраину города. Он мне очень понравился. Был Антон Яковлевич воинствующим оптимистом. И что поразительно, у него были целы все зубы после стольких лет тюремной баланды. Он, оказывается, собирал стланик, делал травяные отвары, жевал хвою».

Спал он, кстати, на обеденном столе.

Мать была поражена, что Василий «приехал не каким-то лохом, а довольно образованным подростком (она-то знала, что его отправили в спецприют, и ждала увидеть Маугли, который одичал, по замыслу чекистов. — И. С.). Мама была поражена, что я знаю наизусть многие футуристические стихи Маяковского». Он даже помнил что-то из Хармса, которого она ему читала в детстве: «Жили в квартире сорок четыре, сорок четыре веселых чижа». «Она же, в свою очередь, читала мне вслух ее любимого Пастернака».

«Мы жили на самой окраине города, и мимо нас таскались вот эти конвои, я смотрел на них и понимал, что я не советский человек. Совершенно категорично: не советский. Два года жил на Колыме и пропитался всей той мерзостью».

Потом, в 49-м, как мы помним, пошла вторая волна массовых посадок. Евгению Гинзбург снова забрали. «Этот арест матери произошел при мне». Тоже, в общем, мощный стресс... Впрочем, в тот раз ее продержали меньше месяца

и выпустили, оставив на вечное (что кому известно о вечности?) поселение на Колыме.

Как ни странно, по мнению Аксёнова, он не раз про это говорил — «главный поворотный момент не уезд в Америку, а приезд к матери в Магадан. Там он стал ходить в школу. Это был самый свободный город Советского Союза, я оказался в интеллектуальной среде. Там нечего было терять, отправят опять в зону — да и хрен с ним».

Вот интересно, как жили ссыльные политзаключенные? Скучали и боялись, прятались по углам? Конечно же, а как иначе, — скажет наш современник, доживший до вертикали власти. Ан нет!

«Еще в молодости у мамы появилась склонность создавать вокруг себя своего рода “салон” мыслящих людей. Первый такой салон, в который входил высланный в Казань троцкист профессор Эльвов, обернулся для мамы трагедией, стоил ей свободы. Читатель “Крутого маршрута” найдет такой гинзбургский салон в лагерном бараке. В послелагерной ссылке, в Магадане, возник еще один салон».

Будущий писатель в Магадане активно работал над русской словесностью, подходя к ней с разных концов. Создавал задел на будущее.

«Мама открыла мне, школьнику, один из главных советских секретов — существование Серебряного века. Кроме того, она познакомила меня с кумиром своей молодости Борисом Пастернаком. К окончанию школы я знал наизусть множество его стихов, которых нигде тогда нельзя было достать в печатном виде».

Он и сам там начал писать стихи. Потом стал одним из первых читателей «Крутого маршрута».

«Как только мама завершила работу и дала мне рукопись. До этого она рассказывала, что есть в книге, в магаданские вечера, под свист норд-оста. Не суммировала ничего, не подводила итогов, не говорила, кто виноват. Чтобы я не попал в большую переделку. (Хотела его спасти, скрыв самое главное знание о советской жизни. — И. С.) Но Магадан был на самой грани ГУЛАГа. Мимо нас каждый день шли этапы из порта, иногда в кандалах... Такие картины для нас, школьников,

были обычными, мы их даже не замечали. Помню, как мы идем с одним мальчиком по улице, и он рассказывает: «Слушал вчера “Голос Америки” — они утверждали, что у нас нет свободы, не понимаю, что они имели в виду».

Абсурд, — но какой! Наш, родной!

Кроме стихов и прозы он продолжил изучение русского устного, который там был в ходу как нигде.

«Феня не была мне чужда. У нас в Казани во дворах она уже поселилась. В Магадане я начал собирать и старую, и новую феню. Завел записную книжечку, где записывал то, что меня особенно поразило. Солнце там называли “балдоха”. Врач — “лепила”. Но почему-то “лепенец” — это костюм. Один глагол особенно по звуку был хорош “чимчиковать”. Вместо “прибежал» могли сказать: “примчиковал на цырлах” — словом, прибежал подхалимски. Или еще “итээровский костер”. Подойдут и восхитятся чем-нибудь: “Ну у вас тут прямо итээровский костер!”»

«Западная жизнь очень интриговала. Читал Джека Лондона... Англо-американская романтика присутствовала. В Магадане странно чувствовалась близость Америки. Были ребята, которые плавали на пароходах ленд-лиза в Штаты. Мы там стали слушать джаз. (И в Казани потом слушали, там в ссылке оказался Лундстрем.) Мальчишки стали одеваться под американцев и играть джаз. Одна девица по кличке Эскимо сказала мне на танцах, что обожает США».

В Магадане он закончил школу. А дальше что? Каким жизненным путем идти с Колымы, куда?

«Я сам не знал, куда поступать, хотелось в архитектурный, но мне сказали, что там очень строгий отбор и у меня мало шансов его пройти. Новый муж мамы, Антон Яковлевич Вальтер, сказал, что “в лагерях спасаются врачи”. Тогда ведь никто даже подумать не мог, что Сталина не будет. Когда это случилось, это было похоже на космическую катастрофу».

Это все было удивительно и безумно... Но ведь было же.

Потом, через много лет, Василий Павлович успел вывезти мать с Колымы в Москву и даже осуществил ее мечту, которая казалась, конечно, нереальной, — свозил ее в Париж! О котором она мечтала. Это случилось при советской власти

еще, и там был «детский восторг смертельно больной женщины, которая в последние месяцы жизни попала в мир высокого искусства, живший только в ее воображении. Окна гостиницы выходили на кладбище Монпарнас, где похоронены Бодлер и Сартр».

После колымских-то бараков.

Он успел это сделать! Это, конечно, было счастье. И непонятно, для кого большее — для нее или для него.

Отец

«Долгие годы мы думали, что его [отца] просто нет, потом вдруг он обнаружился. В 37-м объявили, что приговор приведен в исполнение. Но на самом деле он отбывал срок в Печорлаг». «Те, кто был там в шахтах, на тяжелых работах, все погибли; уцелели лишь те, кто сумел зацепиться». Павлу Аксёнову удалось откосить от общих работ и устроиться бухгалтером — и он выжил.

«Приехал я из Ленинграда на студенческие каникулы в Казань. Мне было двадцать два года. Вдруг однажды утром раздался стук в дверь. Моя тетка, у которой я раньше воспитывался, пошла открывать — и жутко вскрикнула: “Паша!” И завопила, и запричитала... Это был отец. Он вошел и внес огромный мешок, и в этом мешке было все, что нужно человеку в тайге, — он, уже в ссылке, жил как Робинзон Крузо, — вплоть до дров. И он совсем забыл, что можно давать телеграммы, предупреждать. За эти годы он отвык от всего. Даже у вокзала на трамвай не сел, тащился с мешком через город.

Я уже варился в другой жизни. Был стилигой. Но все-таки мы очень быстро подружились. Отец остался жить в Казани. Ему дали квартиру, орден Ленина в придачу, определили большую партийную пенсию. Жил теперь он благополучно. У меня он появлялся только тогда, когда происходило что-то резкое. Вот попали мы под атаку Хрущева, и вдруг объявился отец и стал меня уговаривать: “Давай-ка поедem на Родину”. Я-то родился в Казани, а он в Покровском, вблизи Ряжска. Приехали мы, и первое, что бросилось в глаза, — разрушенные дворянские усадьбы. Потом мне старики рассказывали

разные истории из помещичьей жизни: “Вот здесь они лебедей развели и пускали плавать. На речке Мосте на лодке плавали под шелковыми зонтиками”».

«У мамы (к тому времени, как известно) был муж, доктор Вальтер, благороднейший человек. Отец очень хотел, чтобы они воссоединились, но мать осталась с Вальтером. Они апеллировали ко мне, а что я мог сказать им тогда?»

«Папа после 18 лет тюрем, лагерей и ссылки жил до 92». Они очень спорили с Василием в последние годы, отец был непреклонен в убеждениях: «Сталин — подлец, Брежнев — идиот, но Ленина — не трожь!»

Оттепель

В общем, по совету колымских эжов, чтоб облегчить будущую жизнь в лагере, от которого куда ж деться, так все думали, — он пошел в медицинский.

Но в анкете про репрессированных родителей не написал.

За что его и выгнали из Казанского меда. Он поехал жаловаться в Москву, в министерство. Там про казанских сказали, что те «предпринимают немного запоздалые действия». И восстановили студента Аксёнова. Но он в Казань возвращаться не захотел и попросился в Питерский институт. Просьбу выполнили, и в этом таки была логика.

А Питер — это вам не Казань, там была не бедная провинциальная, а настоящая роскошная оттепель.

«Мы жили замечательно. Мою дальнейшую судьбу определили именно те четыре фантастических года. (Потом с таким же предвкушением счастья я еще просыпался в 1991 году — после того как провалился путч ГКЧП и коммунизм отступил.) Помню, что я каждый день просыпался с предчувствием праздника. Стали открываться выставки из запасников Эрмитажа — Матисс, Пикассо, Мане, которых мы прежде никогда не видели. Потом вдруг откуда-то стали вылезать джазмены, мы открыли для себя новую музыку».

«Ленинград, литературные молодежные клубы, какие-то настроения в воздухе. Я начал ходить в литстудию, хотя,

в общем-то, надо было медициной заниматься. У нас была там такая группа известных сейчас людей — Рейн, Найман, Бобышев. Заправлял Илья Авербах, студент нашего института, будущий кинорежиссер. Бродского не помню, он, видимо, мал еще был. С ним я познакомился году в 60-м. И вдруг сразу все выплыло на поверхность: крамольные разговоры, обмен изданиями Серебряного века. Помню Александра Городницкого студентом Горного института в мундире с погонами, такие у них были. Собирались, и он уже что-то пел под гитару. Вот такая питерская оттепель: танцы, рок-н-ролл, Невский проспект, где комсомольцы ловят стилиг...»

И было «ощущение Европы. Помню, осенью 1955 года я шел по набережной Невы. Была такая высокая вода, начиналось небольшое наводнение. И вдруг я вижу, что на Неве стоит немыслимо огромный авианосец под британским флагом. У нас таких кораблей даже не было. (Будут! Сейчас Медведев настроит, он обещал на это дело денег не жалеть. — И. С.) И рядом четыре эсминца. Британская эскадра пришла с визитом доброй воли. После сталинизма это казалось чем-то невероятным. Вижу, гребут английские моряки к набережной. Выходят гулять, девки на берегу визжат. И весь город вдруг покрылся английскими моряками. Сукно, загорелые британские морды, лощеные офицеры у гостиницы “Астория”. И вот в этот момент я понял, что времена изменились кардинально. Тогда все, видно, это поняли».

«Страшно интересовало все, что происходило на Западе, за “железным занавесом”. В 1957 году приехал Ив Монтан — вот это действительно было вехой — и привез к нам Париж. Вся наша компания перестроилась под “монтановский” стиль. Шили такие же пальто... Хемингуэй стал тоже рисоваться мне в контексте Парижа, и его парижские годы были мне гораздо интересней американских. Мне было многое близко в нем. Не только мужественность, но и вообще отношение к жизни. Обреченность какая-то, достоинство и, конечно, отношение к женщине. Авантюризм, пьянство. Именно Хемингуэй в большой степени ответственен за пьянство моего поколения!»

С пьянством понятно; а еще должны быть победы над девицами, иначе какой же Хемингуэй с Парижем? Но с амурами — тогда, в студенчестве — дело было плохо.

«Все наше молодое поколение было довольно фригидным. Мы даже не представляли себе, что это такое. А когда дошло, то негде было уединиться. В подворотнях, в подъездах стояли часами с девочками. Случалось — целовались. Потом по своему адресу услышишь от приятеля: “Ну ты обжал?” Или он хвастается: “Ну я ее вчера обжа-а-ал”. Большинство девочек-студенток были совершенно зажаты (даром что обжаты — И. С.). Встречались, конечно, активные — “барухи”. Под стать им мальчишки — “ходоки”. Я не был ходоком по девочкам».

Потерянные годы... Только вы за него не переживайте, он после все наверстал. Но это было как-то не очень погеройски, и он все-таки оправдывался: был не ходоком, но стилиягой (как будто одно другому мешало). Кстати — как быть стилиягой бедному студенту?

«Денег на стильный прикид не было. Помогал самошток. Я сшил себе длинное пальто с обвислыми плечами и заматывался потрясающим шарфом, трехцветным, как русский флаг. ...Началась фарцовка. Ребята из стран народной демократии активно продавали свои вещи. Помню, купил я ботинки у будапештского студента, как раз “с разговорами” (с толстой рифленой подошвой). Это было счастье». Вещизм, единство формы и содержания. Настало время тряпок! А ленд-лизовские джинсы оказались преждевременными и потому не смогли оказать оздоровительного антисоветского воздействия.

Оттепель, значит, оттепелью, но судебным врачом Аксёнов так и не стал, — кто б ему с такой анкетой визу открыл. Родителей реабилитировали — ну и что? Он, конечно, немало думал про чекистов, как иначе, но уверяет: «У меня не было вражды никакой, не было желания посчитаться, но я их презирал безумно. И отвращение, но не ненависть. Расстреливать я бы их не стал».

Благонадежные однокурсники будущего писателя стали работать согласно записи в дипломе про специальность —

«судовой врач»! Они поплыли в дальние страны и обратно, этакие постсталинские возвращенцы. Аксёнову вместо такой красоты досталось как бы подглядывание в замочную скважину — он немного поработал в порту.

«Мы выходили на прием иностранных кораблей. Подплывали на буксире, нам сбрасывали веревочный трап, мы взбирались на голландские и прочие корабли проводить карантинную инспекцию. [Только] вместо этого занудства мы сидели с капитанами и пили датское пиво, курили сигареты».

За это, кстати, легко можно было получить срок; но как-то обошлось.

А потом поехал он в Карелию, в глушь, в маленькую поселковую больницу, и стал там сочинять повесть «Коллеги». (Он потом понял, что если б не тоска глуши, то ничего б он не написал, никогда, без той его «болдинской осени».)

Несмолкаемая тема Запада меж тем развивалась. Аксёнов женился на студентке иняза Кире, которая потрясающе пела американские (!) песни. И вот как только Кира вышла замуж за тихого провинциального врача и забрала его к себе в Москву — с ним случилась ужасная, с точки зрения матери семейства, метаморфоза: он внезапно превратился в модного писателя, представителя богемы, которого одолевали поклонницы. Ну а что вы хотите, вышла повесть «Коллеги». Но было поздно! Бедная Кира, она такого натерпелась... К тому же — после родов, у них появился сын Алексей — «она так располнела... Я к этому времени стал, ну, известным писателем. Шастал повсюду с нашими тогдашними знаменитостями... разные приключались приключения... она стала сцены закатывать...» — так бывший муж вспоминал про свою первую жену.

«Коллеги» — это такой примитив, о котором я даже говорить не могу. (Согласен с классиком. — И. С.) Вокруг был сплошной соцреализм. Я писал роман для публикации, и это сидело в голове, постоянно то там, то здесь срабатывали предохранители. В частности, поначалу главным героем должен был стать не положительный Саша Зеленин, а отрицательный персонаж Максимов, диссидент, человек протеста. В конце концов в книжке остались лишь намеки на

“протестантство”. Но даже такое конъюнктурное сочинение вызвало гнев у кочетовской критики», — писал он позже. Но тогда! Все было иначе. Он блистал!

Про Аксёнова многие думают, что он первый начал писать советскую молодежную прозу. Но куда раньше эту жилу принялись разрабатывать Анатолий Кузнецов («Продолжение легенды») и Анатолий Гладилин («Хроника времен Виктора Подгурского»). Обоим досталась эмиграция, причем куда более тяжкая, бедная, горькая, чем Аксёнову. Однако Аксёнов их обоих затмил сразу. Отчасти из-за легкого диссидентства: «Комсомол накачивал романтику: она живет на Востоке, туда надо ехать, там стройка, там ты найдешь себя. И вдруг вместо этого четверо ребят поворачивают на Запад», — в Таллин пока, для разминки (это Аксёнов так про свой «Звездный билет»). И Битов тонко подметил про описанные Аксёновым «первые звоночки свободы, которые прозвучали в оттепель, какие-то эстонские кафе — все это заманивало молодежь. Этот образ несуществующего (Америка была еще не открыта ими. — И. С.) внешнего мира — они вносили его в сознание аудитории».

Ахматова хвалила книжку с другой стороны, за другое — но тоже громко, сильно: «Я не понимаю половины слов — какой он писатель замечательный, у него свой язык!»

В наши дни Татьяна Толстая заметила, может, с болью, горько, но честно: «Теперешние лучшие писатели не описали наше время! А те — описали». И точно, точно так...

И что еще немаловажно, пиар был сильный у молодого автора. «Звездный билет», как только он вышел, начали громить и хаять («Это плесень, с ней надо бороться»), повесть стала дефицитом, и Виктор Ерофеев просто украл номер «Юности» с «Билетом» в школьной библиотеке, сам признался. «В то лето в Ялте считалось неприличным прийти без “Билета” на пляж, и он весь был покрыт оранжевыми обложками молодежного журнала. (Вот это слава! Куда Пелевину! — И. С.) <...> Он [Аксёнов] был тогда всё — и танцы на льду, и rock star...»

Сам Катаев, который в те же времена прогремел во второй раз, как бы в следующей жизни, уже не «Парусом одиноким»,

но «Травой забвения», разговаривал с ним как с равным, всерьез обсуждал, как надо писать. Классик говорил юному Василию Павловичу, которого он первый опубликовал, открыл, можно сказать, напечатав в своей «Юности» в 1959 году: «Старик, вы знаете, у вас все так здорово идет, но вы напрасно держитесь за сюжет, не надо развивать сюжет». Тот слушал внимательно, даже признавался: «Я подражал Катаеву».

Кто-то из поклонников Аксёнова спросил:

— А может, это Катаев оглядывался на тебя? Сперва начал ты, тогда и он опомнился и стал по-новому писать!

Аксёнов ответил на это без ложной скромности:

— Может быть. Вполне.

Каков, а?

Его ирония по отношению к другим и к себе не знала границ. При всем этом общаться с ним не всегда было легко. В его манере держаться было что-то княжеское. Он ни на минуту не сомневался: то, что он говорит, — это, безусловно, интересно. Если ты бывал остроумен, он поддерживал тебя своим характерным коротким смехом, давая тебе понять: это — хорошо. То есть ты проходил у него под номером вторым. Не знаю, есть ли люди, с которыми он общается на равных. Он был центровым. Если сидел за столом, то стоило ему подняться — компания распадалась, пропадал интерес общаться дальше. (Это все тонко подметил Аркадий Арканов.)

А Андрей Вознесенский и вовсе подписал книгу Аксёнову так: «Вася, все они вышли из рукава гоголевской “Шинели”, мы же с тобой родились из гоголевского “Носа”: я из правой ноздри, ты — из левой».

Какие комплименты! Давно мы таких не слышали. Ни про кого. Измельчало все вокруг. Никакого пафоса, крутом только деньги и постмодернизм...

«Мало кто из ныне здравствующих сочинителей столь рано овладел сознанием поколения. Его стиль общения, его сленг, пришедший из “Звездного билета”, “Апельсинов из Марокко”, “Затоваренной бочкотары” и др., стал в 60—70-е

повседневностью в молодежных компаниях и любовной переписке», — написал один из критиков.

Ахмадулина вспоминает: «Мы многое понимали, но Вася все чувствовал острее других. Родившийся в 32-м, на долгие годы лишенный родителей, он с детства как бы впитал в себя опыт зоны, лесоповала, Магадана. Он словно старше других был, с какой-то неизгладимой печатью на лбу и на душе».

Таки, наверно, те два года (1948—1950) в Магадане были его самыми главными университетами. Уроки старых колымских эзков, полученные в нежном возрасте, может, именно и сделали его главным писателем поколения. Его там научили, что можно быть свободным везде и всегда, не дожидаясь ни смерти Сталина, ни XX съезда, ни Горбачева, ни разрешения жечь партбилеты. Драгоценный подарок... Аксёнов тогда сделал такой рывок, что после никто уж не мог за ним угнаться. Да и вся западная, американская линия, тема внешнего мира была там и тогда заложена — до Штатов, сказано, было рукой подать от Магадана. На Колыме Америка казалась куда более настоящей, реальной и не такой безнадежно бесплотной, как в Москве...

Но, пожалуй, точнее и глубже сказал о причинах славы своего друга и коллеги Василия Павловича Александр Кабаков, если уж серьезно:

В легально издаваемых сочинениях тогда жили исключительно рабочие, мыслившие масштабами министров, и крестьяне, обуреваемые шекспировскими страстями, исследовался внутренний мир секретарей райкомов, и внедрение передовой технологии в доменное производство описывалось психологической прозой. Аксёнов же выпустил в литературную жизнь студентов и только что получивших аттестат школяров, дальневосточных бичей (популярное развертывание: «бывший интеллигентный человек») и неудачливых художников, робких гроссмейстеров и «интеллигентов вообще». Позже, в семидесятых, примерно той же публике дал права литературного гражданства другой мой учитель, Юрий Валентинович Трифонов, царство небесное, вечный покой. Но в трифоновской прозе мы, образо-

ванные горожане, обнаружили себя в натуральном, не всегда приглядном виде, хмурыми и озабоченными, готовыми к компромиссу и ненавидящими себя за это... А у Аксёнова мы были веселыми, загульными романтиками, охотно корчившими рожи перед кривым зеркалом иронии, грустившими слегка и недолго — словом, жаль, что вас не было с нами.

Но тексты текстами, а только их одних никак недостаточно для масштабной, яркой, привлекательной и зовущей славы. Еще же нужен правильный имидж, везение, богатство, красота, размах. И крепкая привычка к ним. Как-то Аксёнов спросил Аркадия Арканова (который это позже озвучил, в смысле — вот, значит, как надо жить):

— Почему у тебя нет машины? — это Аксёнов, конечно, спрашивает.

— Денег нет.

— В нашей стране бедным быть стыдно, надо жить хорошо!

«Вася печатался широко, шел круто, поэтому, с материальной точки зрения, мне было трудно за ним угнаться», — вздыхает Аркадий Михайлович.

Ну как же без машины? Особенно если она предмет роскоши, объект зависти, знак принадлежности к счастливым! Сам же Аксёнов с горбатого «Запорожца», положенного молодому успешному писателю тех дней, быстро пересел на престижные «жигули», а дальше уж и вовсе на крутую «Волгу». Он мотался на своих авто покуривая американские сигареты из «Березки».

Он вообще был американизированный парень. Любил Америку, любил виски, если попадалось, зачитывался американскими писателями. Не могу сказать, что он был эпигоном, но определенное влияние, например, Сэлинджера и Хемингуэя в его ранних вещах я вижу. Приезжая «оттуда», бравировал тем, что там видел, и как мог поддерживал свое «американское» реноме — насколько это было возможно в наших условиях, — это снова Арканов.

А вот еще воспоминание современника: «Витя Ерофеев, тогда почти мальчишка, ходил за Васей с открытым ртом: Вася с сумкой через плечо, и Витя — с сумкой, Вася весь в “джинсе”, и Витя туда же...»

Евгению Попову, бедному парню из провинции, негде было взять джинсы, и он мечтал хоть поносить «джинсовую с белым мехом куртку Аксёнова».

Не из шинели, не из носа — а именно из аксёновской джинсовой куртки, может именно этой, и вышла новая русская литература — такую версию дал позже Попов.

Из одних мемуаров: «Аксёнов — джентльмен. Он одевается модно, изысканно, ощущается его любовь к фирменным вещам. Рубашечку с маленьким отложным воротничком он подберет в тон шарфу, свитер, серый, голубой, чаще одноцветный, разнообразные куртки на пуговицах, молниях, спортивного покроя сидят на нем с легкой небрежностью. Как и герои его повестей, он пропустит даму вперед, он успеет поднести зажигалку, когда она закуривает, ринется в драку, если столкнется с хамством». Из других мемуаров же: «Твид, шпионский вельвет, правильно — телячья кожа. Помнится — хаки. Очки — “Полароид”. Усы — “Колонель”. Зажигалка — “Ронсон”. Манеры — Набокова. Цитаты — “Ожог”. Правильно — писатель. Сразу — видно. “Ле Карре, Джон?!” — подумал я. “Аксёнов, — шепнули мне из кустов, — Василий Павлович”».

Туда же, в тему — джинсы (я об этом тут так много, потому что это было очень важно тогда). Ахмадулина вспоминала первую встречу с Аксёновым, с которым поэтесса крепко дружила уже много лет: «Я помню, когда я впервые увидела Василия Павловича, что-то переменялось в погоде и в природе. Весь вид его возбуждал вдохновение. Он шел, такой джинсовый и такой джазовый». И вообще: «Он был денди, и московские дамы всегда обращали на это внимание». О, московские дамы!

Еще мощней про тряпки, не смейтесь, это не смешно, важно не только содержание, но и форма, ну или не форма, а штатское, не зря комсомол боролся с «вещизмом», это уж он сам:

«Я ездил и что-то покупал... Я ввел в Москве твидовые пиджаки. В Италии, где получил гонорар за “Звездный билет”, купил пиджак твидовый и приехал в нем Москву. Подошел Табаков (властитель дум, кстати говоря!) и говорит: “Васята, ты знаешь, как называется твой пиджак?” — “Ну и как?” — “Это твид”».

И в Москве стали носить твид.

Как все было прочувствовано и прочувствованно! А сейчас — ни формы, ни содержания, так, пиар один... Вот и вся литература, была, да вышла.

Но и манеры, манеры! Как безупречно он себя вел!

Был такой замечательный случай в ЦДЛ. Писатель Губарев, автор нехорошей советской книжки про Павлика Морозова, как-то воскликнул:

— Все слышали? Аксёнов сказал, что надо вешать коммунистов на фонарях!

Аксёнов придавил Губарева к стенке и сказал:

— Еще раз пикнешь, прибью, падла!

Вот так ответил колымчанин.

Это все не случайно было в ЦДЛ, — там проходила важная часть жизни и пьянства.

«Утром поработаю, а потом совесть чиста и можно чем угодно заниматься», — очень часто это и означало ехать в ЦДЛ и там вести «общественную» жизнь. (Всякие забега-ловки, ночные поездки на такси в ночной ресторан во Внуково, загулы в мастерских у знакомых художников — не в счет, это само собой.)

О ЦДЛ он как-то сказал: «Это такое замечательное место, что сюда можно прийти с деньгами и с бабой, а уйти без денег и без бабы. А можно прийти без денег и без бабы, а уйти и с деньгами, и с бабой» (со слов Арканова).

Однажды Евгений Попов спросил, с похмелья:

— Василий Павлович, что такое запой?

Аксёнов обстоятельно, со знанием дела, пояснил, и это очень поучительно:

— Утром, значит, еще не почистил зубы, натягиваешь джинсы, идешь на улицу, находишь открытый кабак — там

выпиваешь стакан коньяку. Дома приходишь в себя, жаришь яичницу, работаешь за письменным столом. Потом обед с вином. Вечером ЦДЛ: там уже пьешь до упора. И так каждый день.

Хотя, конечно, это детский какой-то игрушечный запой, тут нет ни мерзости, ни скотства, ни отвращения к жизни, — ну и ладно, и слава богу. Игра в запой. Часть имиджа. Русский писатель, что вы хотели!

Роман с Кармен

У него были более или менее продолжительные романы с очень интересными женщинами. Не с какими-нибудь девочками из подворотни, а с самыми эффектными и известными женщинами Москвы и Ленинграда. Это особенно и не скрывалось, об этом знали все, включая его жену Киру. Он с удовольствием появлялся со своими подругами в обществе, было видно, что для него это важно. Его брак с Майей Кармен — тоже следствие такого романа. Она была очень известной, исключительно красивой и стильной женщиной (Аркадий Арканов).

Майя очень важна в жизни Аксёнова, он много об этом говорил: «В конце 60-х я пережил тяжелый личный, хотя отчасти и связанный с общим поколенческим похмельем (Чехословакия, брежневизм, тоталитаризм), кризис. Мне казалось, что я проскочил мимо чего-то, что могло осветить мою жизнь и мое письмо. И вот тогда, в 1970-м, в Ялте я встретил Майю. Мы испытали очень сильную романтическую любовь. Это была настоящая любовь, очень, конечно, эротическая; а потом это переросло в духовную близость».

Как в водевиле: сперва он познакомился с ее мужем.

«Я один раз ехал с ним в “Красной стреле” в Питер. Я был под банкой. А я уже слышал о его жене. И я ему говорю: правда ли, что у вас очень хорошенькая жена? Он говорит: мне нравится. Так он сказал, и может, где-то отложилось».

Лирическое отступление.

Кармену, как тогда говорили, везло с женщинами, но не везло с женами. Одну у него забрал некий дипломат, имя которого затерялось в глубине десятилетий, другую — лично товарищ Василий Сталин. Наверно, это было почетно? Подробности, если верить современникам, таковы: говорили, что Кармен хотел застрелить Василия. Но одумался и написал письмо его отцу, Иосифу Виссарионовичу, которое передал бывший тесть. Сталин поручил разобраться с сыном генеральному прокурору. Когда жалоба подтвердилась, на докладной записке наложил резолюцию: «1. Эту дуру вернуть Кармену. 2. Полковника В. Сталина посадить на 15 суток строгого ареста».

Но вернемся к Аксёнову: поначалу ничто не предвещало серьезных отношений с Майей.

«Любовные увлечения. Это всегда по Домам творчества проходило. И вот как-то приезжаем мы в Дом творчества в Ялте. Там Поженян, мой друг. Мы с ним сидим, и он потирает ручки: о, жена Кармена тут... Он думал, что у него будет [с ней] роман», — так про это рассказывал Аксёнов. Но с Майей Ахмадулина познакомила именно его, а не кого-то другого, и даже — подтолкнула их друг к другу.

— Завтра уже моя жена уедет, — шепнул Аксёнов своей новой подруге.

Кира уехала в Москву, ну и пошло-поехало.

«О наших изменах знали все, — вспоминал Аксёнов. — Роман не пробовал вернуть Майю. Но его товарищ писатель Юлиан Семенов разик меня чуть не побил. Кричал: “Отдай Роме Майку”».

— Ты отбил жену у человека! У которого инфаркт! — попрекали писателя.

Но он как порядочный человек жену у Кармена не отбивал, как можно! Она честно жила в браке с Романом Лазаревичем до самой его смерти в 1978 году. Только после этого Аксёнов стал вести совместное хозяйство с Майей в той самой сталинской высотке на Яузе, где ему после развала СССР дали квартиру.

Хороша была знаменитая встреча наших слабоватых на голову (чистые дебилы, не понимали, что выставляют себя на посмешище) партийных начальников с так называемой творческой интеллигенцией.

«Хрущев стучал кулаком по столу и кричал Аксёнову: “Вы мстите нам за своего отца!”» А тот, по его словам, отвечал Хрущеву — дескать, почему я должен мстить, мой отец вернулся из лагеря живым. А по словам Эрика (так друзья называют Эрнста Неизвестного), Вася стоял на трибуне совершенно растерянный и повторял: «Кто мстит? Кто мстит?»

С этой встречи Аксёнов едет в ЦДЛ, друзья вливают в него фужер коньяку, он оживает и говорит: «Только [Гладилин], полный разгром. Теперь всё закروют. Всех передушат...»

Но это было минутное настроение. На самом деле впереди было пять лет относительно спокойной и немного даже безмятежной жизни.

«До 1968 года (когда советские танки вошли в Чехословакию), у нас существовало романтическое ощущение необратимости движения к демократии, свободе. В 68-м стало ясно, что этому конец. Именно тогда возникла идея массовой эмиграции. Это было желание целого поколения, не мое лично. Мне до того такое даже в голову не приходило. В 68-м мы поняли, что здесь ничего уже нельзя сделать, надо уносить ноги. Пятисоттысячная армия в Праге раздавила всех там и всех нас здесь, наши утопические надежды. Наступило колоссальное, страшное похмелье. Это связано и с непомерным употреблением алкоголя этим поколением... Надо ли сейчас уносить ноги из России? Ни в коем случае! Сейчас совсем другое дело. Ситуация не безнадежна...»

«Я очень долго не хотел касаться лагерной темы. Такая была эйфория тогда, в начале 60-х. Как деревенский праздник — все казалось радостным карнавалом. И я там писал — ну “Коллеги”, ну “Звездный билет”, но все время чувствовал, что у меня есть, как говорится, “нетленка”

за душой, что мне пора “нетленкой” заниматься, а я все занимаюсь чепухой. Я совершенно о другом писал, и это продолжалось довольно долгое время. Может быть, потому, что я какую-то неловкость испытывал. В контексте всей среды вернуться к мраку, вернуться к безнадеге тех лет... И только в шестьдесят восьмом году, когда произошла оккупация Чехословакии, — вот тогда рассеялись последние иллюзии и я понял, что нужно написать что-то в стол, что-то действительно серьезное. В шестьдесят девятом году я начал писать “Ожог”. Это было преодолением действительно странной инерции. Будучи уже профессиональным литератором, членом Союза писателей, озабоченным заработком конечно, писанием халтурных и полухалтурных сценариев, даже переписыванием чьих-то сценариев, я, тем не менее, почти каждый день на чердаке устраивал себе сеанс “духовного душа”. Это было заведомо в стол, это был сильный момент преодоления страха. Я понимал, что этот роман изменит всю мою жизнь, но я этого не боялся. Так оно и произошло. Ведь основной причиной, по которой меня выдворили отсюда, был не “Метрополь”, а “Ожог”».

Пара слов про альманах «Метрополь», который был придуман Аксёновым и Виктором Ерофеевым, о чем много говорено. Смысл его замечательно обрисовал печально известный Ф. Кузнецов, какой-то в те годы крупный писательский бюрократ:

«...Мне кажется, в альманахе четыре ведущих направления: 1) приבלатненность (Высоцкий), 2) изгильдияство над народом, 3) сдвинутое сознание (Горенштейн, Ахмадулина), 4) секс».

А что, неплохо!

Далее он говорит Аксёнову на собрании, где наезжали на авторов альманаха: «А вы бы принесли восемь (из двенадцати готовых машинописных) экземпляров в Союз».

В. Аксёнов: «Не принесем, потому что пропадут».

Протокол того собрания весь забавный, дам вам тут самый смешной кусок.

Ф. Кузнецов. ...Ситуация такая. Или мы сможем повернуть это дело на литературные рельсы, или это будет политическое дело. Завтра — роковой день!..

В. Аксёнов. О боже! Роковой день! Шекспир!

О. Попцов. ...альманах в том виде, в каком он есть, — слабая литература. Это — битая карта. Это — для среды неуправляемой, для среды слухов, сплетен...

Ф. Кузнецов. Аксёнов вел себя и ведет не как литератор, а как политический лидер. Всем понятно, что вы не прозрачны как стекло, Василий Павлович.

В. Аксёнов. Дело шьешь, Феликс?

Ну что тут скажешь, Василий Палыч давал бессмертные реплики. И Попцов хорош, большой демократ впоследствии. По похожему поводу мне однажды Васильев, главный редактор «Коммерсанта», сказал: «Если б я был в КПСС в свое время, то и до сих пор бы ходил с партбилетом, отсылал бы взносы куда-то, требовал бы проведения собраний...»

Тоже неплохо, этакий постмодернизм... Но лучше же вовремя перековаться и признать свои ошибки! Или — вовсе в партию (партии) не вступать.

Запад

Вот о чем думал Аксёнов (или персонаж его автобиографической книги, какая разница), когда на него наехал Хрущев: «Как будто на крутом склоне в горах под ногами поехала лавина. Мелькнула мысль: вот поверил этим гадам в 1956-м, после Двадцатого съезда, задвинул идею побега, вот теперь и плати». (Из книги «Таинственная страсть», права на которую издательский дом «Семь дней» выкупил для публикации в журнале «Коллекция каравана историй».)

Конечно, давно у него были такие мысли... Свалить, и там, на свободе! Делать что хочешь! И плевать на жалких совковых начальников, смеяться над ними открыто! Они идиотами то ли прикидывались, то ли были, неважно, — но сегодня с теми речами, которые гнали в Кремле, место ора-

торов было бы в психушке. «Не знали, не понимали» — что за детский сад. Если человек идиот, то это надолго.

31 декабря 1979-го, его последний новогодний праздник в СССР...

Аксёнов отмечал с Высоцким. Было почему-то невесело. На следующее утро Высоцкий попал в автомобильную аварию. По словам Василия Павловича, «поэт тогда поехал кольнутья».

Летом Аксёнов улетел.

Не добравшись еще до Америки, но уже с настоящего Запада, из Парижа, он позвонил Ахмадулиной:

— Ну что у вас, Белка? Как дела?

— Володя умер.

— Нет, этого не может быть! Не может!

Видите, он сразу понял — какой Володя, такой Володя у него был один... На Высоцкого Аксёнов, наверно, сильно надеялся, строил планы:

— Высоцкий не оказался эмигрантом только лишь потому, что умер раньше времени. Ему надоели бесконечные ущемления, колоссальная односторонность его славы, когда весь народ кричит, как он его любит, а нельзя даже выпустить афишу концерта. Со мной, например, он обсуждал варианты эмиграции. У Володи была идея создания Культурного центра и Русского клуба в Нью-Йорке...

Конечно, в такой компании было бы веселей. Но увы...

Надо было одному как-то устраиваться на новом месте.

Много было злобных разговоров про миллионные гонорары, которые вроде как дожидались Аксёнова на Западе — за антисоветские книжки, типа он готовил почву и специально клеветал, чтоб нажитья. Завистники рассказывали и о других гонорарах — за 20-серийную киноэпопею «Неизвестная война» («Великая Отечественная»), снятую Карменом, и которые якобы унаследовала его вдова. Уехавшая с новым мужем.

Но, похоже, миллионов не было, раз уж пришлось писателю идти служить, причем не в какой-нибудь громкий университет (Гарвард, Принстон, Колумбийский, Беркли, UCLA), а в маленький провинциальный, под Вашингтоном.

«Была такая фраза у Романа Гуля: в эмиграции ты не в изгнании, а в послании. Юз Алешковский написал тогда пародию: что-то такое не ахай, ты не в изгнании, ты в послании на хуй. Так и было», — признался Аксёнов после. И далее: «Я не мог долгое время с сыном поговорить. Он женился на молодой девушке, и ее мать, когда слышала в трубке мой голос, кричала: не смейте сюда больше звонить! Людей, которые приезжали в Вашингтон, предупреждали: с кем угодно встречайтесь, только не с Аксёновым».

Он там стал другим человеком: «За время работы в Университете (это он так писал с заглавной буквы. — И. С.) я стал тем, что называется “интеллектуалом”. Потому что, будучи просто советским писателем или антисоветским, я был “богемщиком”. Я имел случайные какие-то, клочковатые сведения обо всем — такая бравада. Советский писатель никогда себя не считал интеллектуалом. А в Университете мне надо было читать курс, и я очень много читал книг теоретических. Я стал врубаться в литературоведение, в историографию, в философию. Я изменился». И эта жалкая изнурительная поденщина — после всей богатой богемной гульбы в ЦДЛ! Наверно, грустно ему было... Может, боялся: плохо выучу теорию — выгонят с работы, и куда ж дальше бечь? На что жить? Кстати, наши эмигранты тех времен многие представляли себе эмиграцию по кинофильму «Бег»: сам в подштанниках под мостом, жена на панели.

Вообще что это такое — читать американским студентам лекции о русской культуре? Сам он так на это ответил: «Когда я показываю у себя в классе слайды авангарда, мои студенты спрашивают, когда это было. Я им отвечаю: в 1912—1913 годах. “Не может быть! — удивляются они. — Так писал Джексон Поллак!” Да нет, Джексон Поллак делал это пятьдесят лет спустя после Кандинского! Они этого не ведают. Студенты приходят, и я им открываю новый мир. Они не знают ни о российском ренессансе, ни о российской философии, ни о поэзии...»

В общем, по уровню это все равно что вести занятия в русском ПТУ. Не очень весело, наверно... Автор этих строк

читывал лекции в американских университетах, причем не самых последних — и не сказать что был в восторге от студентов.

Про Аксёнова в Америке можно долго говорить, все-таки он там двадцать с лишним лет прожил. Первые девять — в изгнании, «в послании нах», как он выражался. Тут ему можно даже и посочувствовать. Но дальше, после упразднения совка и железного занавеса, он жил там еще 12 лет — жил там потому, что, наверно, хотел! Никто его на Западе не держал. Но он продолжал развивать тему изгнания, и это по меньшей мере не совсем корректно.

Потом таки он из США уехал, — с обидой на страну причем! Что так? А как же свобода, неподцензурность, рынок? Никуда они не делись. Но случилось ужасное: американцы как-то вдруг перестали безоговорочно и немедленно печатать все, что бы Аксёнов ни написал. Они стали себе позволять неслыханное хамство — типа вот эта новая книга им не нравится. Каковы подлецы, а? Раньше, значит, он нравился, а теперь разонравился! Но ведь Аксёнов не виноват, что холодная война кончилась! Это же не он ее кончил, в самом деле. Его книги не дают большой прибыли — и это основание для того, чтоб его не печатать?! Неслыханно.

Он гневно заклеил Соединенные Штаты: «Масса уродств в этой стране. В том числе в книжном мире. Вообще все, что касается бизнеса в Америке, это действительно агрессия и вопиющая сторона жизни. Где прекрасные качества американского народа подменяются. Говорят: “Ваши книги плохо продаются”. А вы, суки, сделали что-нибудь, чтобы они продавались?»

Но «суки» — это еще мягко сказано!

«Книжный рынок — это проститутки и гады, просто ничтожества». «Внутри бизнеса очень нехорошие отношения. За это ее [Америку] можно ненавидеть».

Но и это еще не все. Кроме книжного рынка есть же еще и журнальный.

«Возьмите New Yorker. Я там печатался, это считается за честь. Сейчас там главный редактор Дэвид Ремник — бывший московский корреспондент “Вашингтон пост”. Он просто

не понимает, о чем идет речь, когда даешь ему гротескный рассказ. Если анекдот или что-то новое в социальном плане — он придет в восторг. А что-то странное, метафизическое — не поймет». Какое он, собственно, имеет право? Не брать в печать странные рассказы?! Которые ему, видите ли, не нравятся?!»

Как говорится, такая Америка нам не нужна. И это касается не только Америки. Тут надо глянуть шире. Аксёнов рассказывал, что его «когда-то прочили в генсеки мирового Пен-клуба. Но после того как я резко выступил против Гюнтера Грасса (как мы позже узнали, бывшего эсэсовца) по чеченскому вопросу, все переговоры прекратились. Более того, меня занесли в черный список, перестали печатать. Когда “Новый сладостный стиль” мой агент послал в 14 немецких издательств, они немедленно все ответили отказом. То есть даже прочитать не успели. (Я, кстати, успел, но тоже от книги не в восторге. — И. С.) А до этого с радостью печатали меня».

И — гвоздем к позорному столбу: «Западная интеллигенция не лучше нашей». То есть тоже говно, как говорил покойный Ленин.

«Зачем мне оставаться там, где меня не признают писателем? Я понял, что моих книг там больше не будет. И я вдруг понял, что возвращаюсь в Россию, потому что опять спасаю свою литературу. Главное, я вернулся в страну пребывания моего языка».

Ну, это слишком громко сказано — насчет возвращения в страну языка. Все-таки он в Биаррице бросил якорь, купил там домик, настолько небольшой, что кабинет пришлось пристраивать. По пиару все правильно, набоковские места, и Стравинский там бывал, и Чехов, — а то вон в Москве и так полно писателей, на всякий случай лучше сразу обозначить, кто есть где. Тем более что там «полное Переделкино с примесью Коктебеля. Очень похоже». Можно бегать по пляжу в сторону Испании и писать (думаю, тут ударение все же на «а» — И. С.), никто не мешает.

«Биарриц — красивое место, но надоедает безумно. Полное отсутствие русского духа и слуха — это, конечно, угне-

тает». Так в чем проблема? В России полно этого добра, — но писатель Земли Русской бывал на ней урывками.

Я вот еще нашел прекрасную цитату из Аксёнова же:

«“Новые русские” при всей анекдотичности их поведения колоссально изменили облик россиянина во всем мире. До этого наш человек был несчастный, задроченный, совсем униженный, естественно без денег. Или страшный кагэбэшник, убийца. И вдруг появляются какие-то парни, может быть вчерашние пэтэушники, вчерашние бедные скоты социализма. Отвязанные, в отличных костюмах. Тратят деньги, ведут себя независимо. Красивые девчонки с ними приезжают. Такие ребята повсюду на Западе, и это не такой уж маленький процент россиян, как ни странно».

Во-первых, тут мне язык понравился. Точный, живой, современный, с модными словечками, что неожиданно в эмигрантском случае. Ну а во-вторых и в-главных, тут замечательно передан взгляд на мир старого стилиста. Пока он на Западе ходит на унылую службу и скучает с тупыми пэтэушниками, в Москве новые люди зажигают так, как ему не снилось в самые его лучшие времена! Это все судя по тому, как они сорят деньгами на Западе. А он-то со своими десятью тысячами грин в месяц наивно считал себя состоятельным человеком. М-да... В Москву, в Москву! Пока еще не поздно, пока еще можно порадоваться жизни — на новом витке спирали!

Бродский

Как это часто бывает с русскими литераторами, — и меня это неизменно забавляет, — они не любят Бродского. Вот и Аксёнов не любил. Причин полно.

«Сам Бродский в очень большой степени состоит из имитации Бродского».

«В философии Бродского много заемного. Он сам вообще весьма сардонического ума господин. Он подхватил идею о самоиронии у Самуэля Беккета и бесконечно эту мысль жевал».

«У Иосифа было заметно некоторое сардоническое отношение к посторонним, а к себе, в известной степени, — высо-

копарное». Да и вообще Бродский, по оценке Аксёнова (который, между прочим, тоже писал стихи, но почему-то с ними, как это ни странно, никто не носит), плохо водил машину.

Более того: «В США... роман “Ожог” не удавалось издать. Потом я понял почему — оказалось, что Иосиф Бродский, который уехал за океан и обосновался в США раньше меня, всем рассказывал, какой это плохой роман. И только когда один из издателей случайно прочитал “Ожог” на итальянском, он жутко удивился: “Почему его до сих пор нет на английском?”»

Но с другой стороны — чего же вы хотите? Человек получил нобелевку по литературе, и что теперь, коллеги должны его любить, что ли? Особенно те, которых тоже на «Нобеля» выдвигали. Аксёнова, к примеру, выдвинул его американский университет в окрестностях Вашингтона, к чему он всерьез отнесся...

Возвращение. «Склиф»

«Многие вернулись в Россию, а вы нет. Почему?» — сколько ему надоедали этим вопросом! Как и многим другим знаменитым эмигрантам. Сколько того же Солженицына пытали! Пока тот не вернулся. Аксёнов явно оглядывался на Исаича, как же без этого, и надо было как-то реагировать, придумать свою линию поведения и свои аргументы.

И он таки придумал. Он отвечал на проклятый вопрос с изяществом, которое сделало бы честь любому серьезно-стиляге: «Я считаю, что насовсем и возвращаюсь. У меня ведь есть здесь дом, — говорит он дежурные ритуальные слова и дальше, внимание, выдает главное: — Часть моих вещей еще осталась там, в США. Я имею в виду, например, пиджаки. Поэтому я совершенно не знаю, где они висят, и мне приходится покупать больше пиджаков, чем я могу носить».

Или так, это из другого разговора на ту же приблизительно тему: «Отличительной чертой нашего быта является то, что мы живем на два дома, в Вашингтоне и в Москве. Сейчас к этому еще присоединился маленький домик

в Стране Басков. Постоянно забываешь, где оставил свитер или штаны. “Майя, ты не знаешь, где мой костюм, тот, другой?” А она отвечает: “А ты не помнишь, Вася, где мой плащ висит, на Котельниках или в Фэрфаксе?”»

О, эта провинциальность русского менталитета! Человеку надо уехать на Запад, там засветиться и подняться, — тогда и тут зауважают. Причем уезжать надо вовремя, когда «нельзя», а то вон Евтушенко уехал — в 91-м, когда открылись границы — и что? На кого это произвело впечатление? Никто ничего не заметил, теперь не бывает эмиграции, одни только турпоездки...

Русские хорохорятся, но на самом деле не очень верят в себя, им нужно внешнее одобрение. Или осуждение, все равно что, лишь бы с Запада. А свои — они типа такие же лохи, как все мы. Александр Кабаков и Евгений Попов, коллеги и друзья Аксёнова — хорошо и старательно пишут, дают качественные тексты, но они живут и жили в России, вот в чем дело. И когда приезжал с визитом Аксёнов, он их затмевал, и это было несправедливо. Они что, пишут хуже? Ох не хуже...

Аксёнов говаривал, что напоминает себе Набокова, который когда-то вроде написал, — ссылки нет, поди проверь, — что голова у него говорит по-английски, сердце чувствует по-русски, а ухо ловит по-французски. Очень может быть, что сходство есть; а различие в том, что у Набокова, к примеру, не было недвижимости никакой и нигде — ну, кроме той, которую отняли большевики.

Вот эта тема жизни на две-три страны, отчего она так часто поднимается? В самом деле, не все ли равно, где человек живет и работает, — кому какое дело?

Ну если б было все равно, то Аксёнов бы так часто и так страстно не обсуждал эту тему, раз за разом, кстати и не-кстати:

— Есть такое предубеждение, что русский писатель не может творить за пределами своей страны. Это чепуха. Гоголь писал в Риме. И я самые значительные свои вещи написал в штате Вирджиния... Это опровергает постоянно навязываемую мысль, что русский писатель не может писать за преде-

лами родины. Может писать за пределами родины! Это не только у меня получалось, у других тоже. У Федора Михайловича Достоевского, например.

И снова:

— Я отношу себя к русским космополитам, и в этом нет противоречия. Пушкин ни разу не выезжал за границу, но был самым настоящим русским космополитом. Им же был и Гоголь, хотя он не мог жить без перемещений.

И опять:

— Русские писатели за границей писали очень плодотворно, примеров тому немало...

Волновала его тема, всерьез волновала... Его и не спрашивали про это, а он заводился и начинал спорить — с кем? С кем он спорил? Вот ему задают невинный вопрос о том, как ему Москва. Он красиво, художественно отвечает:

— Москва никогда не была такой красивой, яркой, *swinging*, шикарной. Никогда не было в ней столько греха, прелюбодеяний и красоты такой наглой. ...дорогие магазины, невероятная роскошь, Ferrari, Bentley! Какие-то шутихи взлетают, клоуны проходят, девушки ночью на лошадях — цок-цок-цок, всадницы. Ночные клубы сверкают.

Ну и далее вопрос, на который он напросился:

— Не тянет в новую Москву на постоянное место жительства?

— Нет, я, видимо, за эти двадцать лет стал космополитом. Если бы мне сейчас предложили выбирать, либо здесь жить, либо там, я бы послал Россию к чертовой матери и уехал навсегда. Такие выборы мы не принимаем.

И вот еще что он говорил:

— Они долго не принимали меня за своего — отечественные литераторы. Я там на всем готовом, якобы исписался, оторвался от родины. Пренебрежение ощущалось. Но я виду не подавал.

Тут что, только в ревности и конкуренции дело? Или он им таки точно *не свой*?

А вот он на вопрос — «что ты любишь в России?» — рубанул, может, сгоряча, но теперь не вырубешь топором — вот что:

— Язык. Мне очень язык нравится. Больше ничего не могу сказать.

Ну хоть язык... И на том, как говорится, спасибо.

Это все, наверно, оттого, что его самого беспокоил этот вопрос: кто же он такой, он оттуда или отсюда, русский он писатель или не совсем? Эта тема проскальзывает тут и там. Он как-то взялся вслух рассуждать в одном интервью и пришел вот к чему:

— Я же эмигрантский писатель. На всю Америку, наверное, наберется десять тысяч читателей по-русски. Я пытался писать и по-английски...

Лично мне все равно — то есть было все равно — где живет Аксёнов. Я, кстати, не считаю жизнь в России за доблесть. И далек от мысли, что все эмигранты виноваты перед нами. Мне просто интересно следить за ходом мысли классика, хочется попробовать влезть в этот его спор с самим собой, думать о точке, которую он сам обозначил как болевую; в самом деле, чем он хуже Достоевского, кто запретил русскому писателю работать на уютном Западе?! Разве б хуже писалось протопопу Аввакуму, скажем, в Лондоне?

Ну тут надо подкинуть такую цитатку из Аксёнова, еще сугубо американских времен:

— Я преподаю в университете, то есть с утра до вечера говорю по-английски, иногда ловлю себя на том, что и думаю по-английски. Тем не менее мне нужно сохранять свой русский живым, поэтому я вынужден (ах, вот как! вынужден, значит! — *И. С.*) два раза в году отрываться от своих близких и проводить месяца по два в России.

Как красива эта оговорка! Вынужден человек заезжать в Россию, иначе его инструмент затупится, значит, и нечем будет зарабатывать на хлеб.

И тут вот что получалось, какое шло развитие темы: Аксёнов — русский писатель, он просто пишет за границей! Но далее выясняется, им же самим, что он космополит. Потом он признается, что чувствует себя эмигрантским писателем... Далее он объявляет, что пошлет Россию к черту, если надо будет выбирать между ней и внешним миром. Я не уверен, что

Достоевский бы под этим подписался... Или вот Гоголь и кто там еще писал за границей? — ну Тургенев.

Вот это повторение заклинания «я русский писатель, я русский писатель...» подталкивает нас к мысли о том, что Аксёнов, может, и не совсем русский писатель! И может, вообще не русский. (Стоп, стоп, кровь тут ни при чем, такой простой дискуссии не будет.)

А если не русский, то какой же?

Я собрал тут его высказывания, из которых следует единственно возможный вывод. Итак:

— Если рухнет американская империя, то это будет катастрофа для всего мира. Это будет пиздец. Тогда некому будет заниматься арабами, китайцами и греметь тяжелым кулаком демократии... Думаю, что [Белый дом] не избежит, и, на мой взгляд, избегать этого [искушения ударить по Ираку, Сирии, Сомали] не надо. Надо сказать Саддаму Хусейну: «Если жить хочешь, давай открывай свои погреба, будем их очищать. Не хочешь жить — твое дело!» Если бы не было такой силы, что бы мы сейчас делали? Мы бы ползали, как полураздавленные пауки. Следующей была бы Москва — взорвали бы Кремль. Летел уже самолет, чтобы разрушить центр Парижа.

— А Сербия? — перебивает его собеседник, забыв, правда, уточнить, что в кладовых Саддама ничего не нашли, а парня, кстати президента суверенной страны, повесить поторопились, ну да ладно, после реабилитируют. Русский (?) писатель отвечает:

— Сербских бомбардировок я не одобрял. Это была акция недостаточно продуманная (!), и сами американцы — хотя и смутно — покаялись (?) в ней. Но речь там шла о геноциде, США считали необходимым вмешаться.

Ну, кто прав, кто виноват, разбираться не время и не место. Но надо признать вот что: *такое* и *так* русские не говорят! Такое может сказать только... американец. Дело не только в американском паспорте, который у Василия Павловича имелся, — но и в нерусских, чужих, американских взглядах, плохи они или хороши! И если хотите, интонациях. Во всех смыслах этого слова.

Василий Павлович сам это понимал:

— Мой сын Алексей как-то мне сказал: «Когда ты приезжаешь, то примерно неделю говоришь с не нашей интонацией. Тебя по интонации можно вычислить, что ты не совсем свой».

А вот кто-то из его чутких собеседников заметил, что у Аксёнова «чистый русский язык интеллигента и интонации “на повышение”, выдающие американца...»

Или вот еще такая красота. «Меня... однажды, к 50-летию советской власти, представили к медали “За трудовую доблесть”. Но и ее не дали. Потом уже где-то на Таганке я купил эту медаль — взял реванш. И даже иногда ношу ее». Я очень люблю эту как бы притчу, рассказанную Аксёновым. Вот настоящая у него эта медаль или нет? С одной стороны, с другой стороны, официально или по сути... Похожая ситуация и с вопросом о том, по-настоящему он вернулся в Россию, на ПМЖ это или так, для виду? Поди знай...

Я скажу больше: похоже, он еще перед эмиграцией решил перестать быть русским писателем. Вот вам свидетельство Евгения Попова, он не даст соврать:

«В это время (1978) он уже совершенно не пил. Это был подтянутый, спортивный, хорошо одетый, пахнущий дорогим одеколоном господин. (Таковыми русские писатели не бывают. — И. С.) Я спросил: и как это все кончилось? Да просто в один прекрасный день, отвечает, понял, что мне надоела такая жизнь. И без всяких “торпед” — бросил. С тех пор максимум, что Василий Палыч себе позволяет, — немного вина. Или бутылку пива».

Аркадий Арканов это прокомментировал так: «Когда он перестал употреблять крепкие спиртные напитки, то... повзрослел. Он стал мужиком в полном смысле этого слова».

Очень важное замечание! То есть Аксёнов из русского возраста (а наш этнос — это, по моим оценкам, подросток лет этак четырнадцати-шестнадцати) перепрыгнул в американский полтинник (опять-таки моя субъективная оценка), как в советском нравоучительном кино «Сказка о потерянном времени». В сказке персонажи вернулись в детство, — а в жизни? Постареть досрочно можно, не вопрос, — а омоложение пока не дается ни за какие бабки...

Так как может русский писатель не пить? Особенно если он раньше пил и знает, имеет это знание, этот еxperience? Если он знает, что такое запой? В этой моей тираде, может, есть процентов двадцать шутки, ну двадцать пять, не больше... Я страшно серьезен.

Цитата из аксеновской книги «Таинственная страсть», про Ваксона, в котором автор вывел себя:

Однажды ночью, впрочем, когда выпиты были все отменные скочи и коньяки, а также ящик химического «Солнцедара», взялся за парфюмерию. ...Стал открывать флакончики и дуть. ...Он понимал, что дьвольски болен, что у него пожар сердца или, вернее, «делириум тременс» и что если сейчас не придет кто-нибудь из живых, ему конец. ...Молил о помощи, вопил, что дверь открыта; и потерял сознание. <...>

— В больницу хотите? — спросил врач.

— Нет.

Обнадеживающий симптом, подумал врач Дмитрий и стал вынимать из портфеля пузырьки с психотропными лекарствами.

— Здесь три рода средств. Немедленно начинайте прием. Строго следуйте схеме. ...Разумеется, ни капли алкоголя. Нет, не навсегда, но на годы.

Другой русский писатель — Павел Астахов, из адвокатов, автор нескольких книг прозы — рассказывал мне о своем опыте долгой (кажется, года полтора) жизни в Штатах. Он в какой-то момент понял, что надо или ехать домой, или становиться американцем. Иначе все будет глупо и мучительно... И в такой ситуации каждый делает свой выбор. К тому же у Аксёнова на тот момент, может, и не было выбора! Он ведь уезжал как бы навсегда, из вечного Советского Союза... Он сделал *это*. Я бы сравнил эмиграцию с операцией по перемене пола, когда человек вроде тот же, но по сути — другой. В принципе, можно вернуться из эмиграции, можно поменять пол обратно, — да, теоретически можно. Так что, можно изрусеть, а потом снова стать русским, настоящим русским? Можно отрезать, а потом обратно пришить, и все будет по-настоящему?

Он сам сказал еще жестче, — и как же зловеще и многозначительно это читается сейчас:

— Эмиграция чем-то напоминает собственные похороны, разве только после похорон (не раньше? не в момент смерти разве? — *И. С.*) вегетативка успокаивается, а в эмиграции она гуляет вовсю в течение довольно долгого времени.

Так, значит, возвращение из эмиграции, из эмигрантского состояния — это объявление похорон недействительными? Или что?

Он приехал и попал в «Склиф», в кому, то есть в новую какую-то сверхэмиграцию, вышел на некую границу, которую невозможно увидеть и понять.

Кстати или некстати мне вспоминалась тогда концовка «Мастера и Маргариты», с темой покоя и лунного света. Я думал, что, может, Аксёнов провел те месяцы комы будучи на полпути к Луне. С полпути же можно вернуться. Вопрос о возвращении долго оставался открытым...

Но он больше не вернулся.

БОРИС АКУНИН: «Спасибо Дэну Брауну!»

Этот автор не нуждается в представлении. После того как общий тираж его книг только в России перевалил за 15 миллионов — а еще ж были переводы на 35 языков.

Григорий Чхартишвили, он же Борис Акунин, писатель с миллионными тиражами — один из тех, кому мы обязаны возвращением моды на чтение.

Кажется, для него самого это важно.

Лавры

— Не жалеете ли вы, что поздно начали писать прозу? Что в двадцать лет не начали?

— Ну что вы! В двадцать лет можно писать стихи. Прозу — невозможно, и уж особенно романы. Это занятие требует большого опыта, как профессионального, так и жизненного. Кроме того, в двадцать лет меня занимали магниты поприyatательней.

— Здесь и далее я, с вашего позволения, буду вас обильно цитировать. «У меня нет никаких претензий на то, чтобы быть этой самой высокой литературой, я говорю это безо всякого комплекса, потому что я действительно считаю, что массовая литература — значительно более важная и интересная вещь, и можно достичь гораздо больше, и перепробовать гораздо больше, и главное, очень много людей оценят твои старания». А кто у нас в России высокая литература?

— То, что написано давно, трогать не будем, да? Там я много кого люблю. А из современных мне кажется значительной проза Михаила Шишкина, Сергея Гандлевского, Людмилы Улицкой. Пелевина с Владимиром Сорокиным мне тоже читать интересно. Впрочем, из меня паршивый литобозреватель — как уже было сказано, я почти ничего художественного не читаю.

— «Лавры писателя для избранных меня — во всяком случае, в качестве Б. Акунина — не прельщают», — утверж-

даете вы. И сколько у вас по вашим ощущениям и подсчетам читателей?

— В России более или менее постоянных, наверное, миллиона три (если исходить из стандартного расчета, что одну купленную книжку в среднем прочитывает три человека). За границей — не знаю. Переводов-то много, но книжки не везде хорошо продаются. «Азазель» например, как мне тут рассказали, продали в Дании несчастных 400 экземпляров.

— Помните, старые японские авторы, прославившись, тут же брали для свежести новый псевдоним. Нет у вас такого плана, чтоб с нуля сыграть в эту же игру? Был же псевдоним Ажар...

— Пока еще и с нынешним псевдонимом не всё ясно. В том числе и мне самому. Посмотрим, куда кривая выведет.

— «Мода на Бориса Акунина прошла, к счастью. Я долго и терпеливо ждал, пока это закончится. Мода — вещь полезная в том смысле, что она расширяет круг твоих читателей, пока она есть. Потом она уходит, и ты остаешься с тем кругом, которым ты за это время обзавелся». А бывает, что мода возвращается?

— Конечно, бывает. Это произошло с Траволтой после «Криминального чтива». Или с нашим Алексеем Баталовым. Или с Людмилой Гурченко. Примеров не так мало.

— Каковы признаки великой литературы?

— Если вы имеете в виду величие той или иной национальной литературы, то, полагаю: вклад в мировой литературный процесс; степень влияния на культуру и менталитет народа; наличие плеяды великих имен (один Гарсиа Маркес не сделает колумбийскую литературу великой); «нескоропортящость» — в такой последовательности.

— «Один известный писатель, с которым я давно знаком и в хороших отношениях, на каком-то вернисаже, выпивши, правда, кричал мне: “Как ты можешь заниматься этой халтурой?! Ты же интеллигент!” и все такое прочее. Публика смотрела с интересом». А ваша реакция, внешняя и внутренняя? И насколько успешен он сам? Действительно глубоко?

— Бог его знает. Когда-то был хорош, теперь не знаю, потому что (говорю это в третий раз) я же ничего не читаю.

Но говоря в общем, великий писатель вполне может быть в частной жизни дураком и бякой. Ну а сколько среди отличных людей скверных писателей, не мне вам рассказывать.

— «Тюкан сесэцу, Пелевин, Акунин и Мураками успешно заполняют “лакуну” между серьезной и массовой литературой», — это я где-то вычитал. Ну как вам это? И ряд, в который вы попали?

— Нормальный ряд, меня устраивает.

Чтение

— «Третий месяц маленькими порциями жую “Клима Самгина”. Озадачивающая книга». Чем по-вашему хорош Горький?

— В этом романе? Честной попыткой изобразить Россию такой, какой он ее видел и запомнил. Ну а так вообще много чем. Крепкий писатель. Только вот с концом жизни ему не повезло.

— Читаете ли вы «Иностранную литературу»? Чем журнал хорош? Существует мнение, что это единственный толстый журнал, который удержал уровень. Причина этого проста — их литература, в отличие от нашей, не изменилась? Или?

— Уже не читаю. Причина все та же — не хочу перебивать свою внутреннюю литературную эволюцию чужеродными влияниями. Это в моем ремесле бесполезно.

— Снова вас процитирую. «С тех пор как я начал писать художественную литературу, я перестал ее читать совсем. Все мои впечатления о современной литературе заканчиваются осенью 2000 года, когда я ушел из редакции журнала “Иностранная литература”. С тех пор я читаю только документальную литературу, а также, так сказать, архивные документы». И какой она, не только японская, но и вообще, законсервировалась в вашем представлении?

— Если честно, то довольно скучной — это я о современной литературе. Чтение художественной литературы должно быть захватывающим приключением — интеллектуальным,

или духовным, или эмоциональным. Иначе зачем она нужна? За время работы в «ИЛ» я прочитал тысячи романов, но приключением для меня стали хорошо если пять-десять из них.

— Вы благодарны Дэну Брауну. С кем он может сравниться по заслугам в пропаганде чтения книг?

— С Опррой Уинфри. Но Джоан Роулинг, заставившая десятки миллионов детей по всему миру отвлечься от компьютерных игр и сесть за чтение, конечно, даст сто очков вперед обоим американцам.

— «Была у меня идея: помочь новым авторам запуститься. Допустим, я даю сюжет, соавтор пишет текст. На обложке два имени, гонорар пополам и т. п. Так сказать, обзавестись командой единомысленников (но разностильников). Пока не доходят руки. Как и до другой давней идеи: выступить тандемом с кем-нибудь из состоявшихся писателей, кто пишет совсем-совсем по-другому. Интересно, что получилось бы». Чьи примеры вас тут вдохновляют? Дюма, Ильфа и Петрова? Кто из современных писателей вам интересен как соавтор? А кого б вы взяли литературными неграми?

— Взять в соавторы состоявшегося писателя — это одна история. Помочь запуститься новому писателю — совсем другая. Речь здесь идет не о батрачестве, а о разделении обязанностей. И всего прочего тоже, вплоть до имен на титуле.

— «В “Мастере и Маргарите” есть, на мой взгляд, какие-то сырые, непропеченные места, там еще надо было бы что-то поделать...» Как вам экранизация — с высоты вашего опыта, вас же тоже экранизировали?

— Не очень она мне понравилась. «Идиот» и «Собачье сердце» у того же режиссера, по-моему, получились лучше. Тут странный кастинг, а главное — там нет драматургии на десять серий, из-за чего временами и получились огромные провисы (как теперь принято говорить, ИМНО). Я думаю, если бы режиссер Бортко попробовал перемонтировать всё это в четыре серии по 52 минуты, мог бы получить неплохой фильм.

Достоевский

— Почему, как вы думаете, на Западе так любят Достоевского? И можете ли вы прокомментировать следующие высказывания? Бунин: «Да! — сказала она с мукой. — Нет! — возразил он с содроганием. — Вот и весь ваш Достоевский!» Михаил Гаспаров: «Как Достоевский взял криминальный роман и нагрузил психологией, так Набоков взял порнографический роман и нагрузил психологией; получились “Лолита” и слава».

— Бунин — бог с ним, он ради красного словца много чего говорил и писал. Трудно поверить, что ничего, кроме муки и содрогания, он в Достоевском не разглядел. На мой взгляд, Достоевский прежде всего велик тем, что его занимают тонкие сферы души, те неразличимые глазом швы на ленте Мебиуса, где лицевая сторона и изнанка меняются местами. Ну и завораживающим, почти шаманским потоком слов. Второе для западного читателя, к сожалению, пропадает, но вполне достаточно и первого. Что же до высказывания Михаила Гаспарова, то оно, сколько мне помнится, касается методологии завоевания западного читателя: мол, элитарностью Набоков в Америке, стране массовой культуры, не мог бы достичь славы, потому и взялся за облагораживание жанра заведомо низкого. Тут можно бы поспорить, но формат нашей беседы вряд ли это выдержит.

— Как у вас с азартными играми?

— Никак. Люблю выигрывать, но не расстраиваюсь из-за проигрыша, а тут в проигрыше-то самый надрыв и есть, порасспросите про это Федора Михайловича. Не играю в азартные игры, неинтересно.

География

— Ваши подростковые мечты были сплавать вокруг света и выучить французский язык. Это удалось? Если да, то имело ли это какие-то последствия для вашего творчества? Где вы плыли? И почему — французский?

— Плыл я везде, из города Саутгемптона в город Саутгемптон. Если кто-то вам говорил, что Новая Зеландия — рай зем-

ной, верьте. Так оно и есть. А насчет французского... Он такой красивый. Какую чушь ни скажи — звучит, словно музыка.

— Япония единственная страна, которая пережила две ядерные бомбардировки. И хоть бы что? Она стала еще более особенной? Живучесть? Люди не сбежали из страны, жили себе. Мы б такое пережили?

— А куда бы мы делись? Хиросима и Нагасаки не страшнее Гражданской войны, Большого террора и 41-го года.

— «По своей воле я не уеду, это точно. Ну если, не приведи Господь, какая-нибудь разновидность фашизма новообразуется, тогда конечно», — говорили вы. Такой сценарий вам видится реалистичным, вероятным? А если ехать, то в какую страну?

— Увы, подобного витка нашей истории не исключаю. Это может произойти, если власти заиграются в скинхедско-расистские страшилки, чтоб попугать обывателей. Как показал опыт Веймарской Германии, спички в руках ребенка — опасная игрушка. Под «ребенком» я имею в виду всякого рода политтехнологов, причастных к власти.

— Где вы любите гулять: по Москве или за городом, в каких местах?

— По менее малолюдным бульварам. По переулкам Белого и Земляного Города. Очень люблю Хамовники и всё вокруг — там прошло мое раннее детство. А в Подмосковье больше всего люблю Звенигород и Новый Иерусалим.

— «Москва была дырой и культурным захолустьем. Сегодня это витальный и brutальный, безжалостный и прекрасный город, в котором плохо быть старым и замечательно быть молодым. Это вампир, который высасывает талантливую кровь из всех капилляров огромной, быстро меняющейся страны. Это, конечно, плохо для России в целом, но для Москвы замечательно». Какие места, рестораны в Москве вам ближе?

— Господи, чего я только не наговорил во всяких разных интервью. Откуда вы это выдернули? Про места я уже говорил. Про рестораны, если можно, не буду. Я не ресторанный критик.

— Были вы в любимой стекляшке Бендукидзе в Кунцево, где, по его мнению, лучшая барабулька?

— Нет.

Личное

— Вы однажды сказали, что из всех ваших героев больше всего на вас самого похож, наверное, белый бульдог. И по каким же признакам?

— По брुдастости. И упорству.

— На волне успеха, в том числе материального, можно ли сказать, что, получив финансовую независимость, вы занимаетесь действительно именно тем, чем хотите? Или еще непонятно, чего вам надо, и страшно бросать колею?

— Нет, мне совсем не страшно. Мне интересно. Очень хочется попробовать сделать и то, и другое, и третье. От этого и случается брак в работе. Слишком тороплюсь закончить одно и начать другое — руки чешутся.

— Снова цитата: «Я очень люблю собак, но я та бодливая корова, которой, я когда вижу собаку кого-то из гостей или знакомых, я должен подойти к ней, познакомиться, тискать, хватать, за это мне немедленно приходится расплачиваться, потому что у меня жуткая аллергия на собак, я сразу начинаю плакать, истекать флюидами и так далее, и тому подобное. Поэтому я не могу иметь собаку, чувствую себя в этом смысле фактически Эрастом Петровичем Фандориным, который никак не может найти идеальной любви». Вы понимаете механизм аллергии, в частности на собак? Какой-то смысл можно увидеть в этом — или нет?

— Аллергии, насколько мне известно, наряду с мигренями — одно из самых загадочных заболеваний человека, своего рода расплата за отдаление от природы. Лечить их никто толком не умеет. У меня есть знакомая, у которой дома две старые собаки, и вдруг началась аллергия, сильная. Несколько раз ей вызывали скорую помощь, так ей было плохо. Принимает каждый день таблетки, делает уколы. Ну а что делать? Не усыплять же?

— Далее. «Согласно занятой науке соционике таких типов существует всего шестнадцать, и каждый назван по имени какого-нибудь знаменитого и характерного его представителя — Наполеон, Раскольников и так далее. Когда я еще

не был знаком с соционикой, я тоже принялся считать психотипы». А кто вы с позиций соционики?

— Это моя сугубо личная тайна.

— «Моторчик, который внутри меня, — это боязнь двух вещей: а) соскучиться от жизни, б) что мне нечем будет заняться. Я всегда больше всего любил играть. И продолжаю это делать в уже немолодом возрасте». Опишите людей соскучившихся от жизни, которых вам доводилось наблюдать с близкого расстояния.

— Про личных знакомых говорить не буду. А про тех, кого вижу на телеэкране... Жалко телеведущих, которые год за годом ведут какое-нибудь одноклеточное шоу. У них, бедных, такая смертная тоска в глазах. Жалко Владимира Жириновского — у него глаза хитрые, но ужасно грустные. Тяжкое он себе выбрал ампула. Жалко людей, которые боятся стариться и черт-те что вытворяют, лишь бы обмануть время. Самое печальное, что множество людей соскучились от жизни, так ее толком и не испытав.

— Как у вас с грузинским языком?

— Нэ знаю. Меня увезли из Грузии, когда мне был месяц от роду.

— Любите боржомом? Не кажется, что много поддельной?

— Да не хуже какого-нибудь «Святого источника», благословленного епископом.

— Почему грузинские вина дороже французских?

— Спросите что-нибудь полегче.

— «Гениальный человек — это человек, который правильно понял, для чего он в жизни предназначен, и последовал этому зову. (Это я не про себя, поймите меня правильно, я еще только ищу)». Сколько еще времени вы отводите на поиски? Может быть так, что вы перестанете искать и решите просто наслаждаться жизнью? И как?

— Да я уж, наверное, без этого не смогу наслаждаться жизнью. Если найду что интересное, обязательно расскажу.

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ:
«Даю сказать тем, кого не слушали»

«День и ночь гонят товарняки с кулацкими семьями. В Сибирь. Мы охраняем станцию. Открываю один вагон: в углу висит на ремне полуголый мужчина. Мать качает на руках маленького, а мальчик постарше сидит рядом. Руками ест свое говно, как кашу. “Закрывай! — кричит мне комиссар. — Это — кулацкая сволочь! Они для новой жизни не годятся!”»

Цитата из интервью, которое Светлана Алексиевич взяла у очевидца. Кажется, это самое яркое, емкое и короткое описание Большого красного террора, какое только возможно. Это не что иное, как большая литература, друзья.

Когда объявили о присуждении премии именно Светлане, я написал колонку в том духе, что вот и мы победили. Война, понимаете, русский империализм, «крымнаш» и прочее в таком духе, — и вот нате вам! В список главных писателей мира попала Светлана Алексиевич, которая пишет про маленького человека, и сочувствует ему от всей души, и жалеет его, да, кстати, и есть за что... Девчатам, которых на Второй мировой убивали и калечили, а кто вернулся — тех презирали, приходилось скрывать фронтовое прошлое! У кого была на войне мать, тот поймет. Потом она написала про Чернобыль, про его ужасы. Начальство наше тогда скрыло от людей катастрофу, да пусть мрут, хрен бы с ними. Дальше — дети, которых погнали в Афганистан убивать и умирать. Кто еще, кроме Светланы, оплакивал их и жалел, кто из русских писателей-патриотов? Кто-то недоволен, что «Нобеля» дали за гуманизм, а не за стилевые изыски... Ну что ж.

На нее обрушилась небывалая, невероятная слава! Тыщи журналистов бросились на штурм новой нобелиатки. Очнулись. Пробриться к ней было нелегко. Тем более что некоторые «доброжелатели», конкуренты, исказили мой образ и наговорили Светлане про меня, что якобы я грубиян, «у него через слово мат»! Но нашлись честные люди, кото-

рые сказали ей правду: я — тончайший человек, к тому же безукоризненно воспитанный.

И вот наконец мы пьем у нее на кухне. Пьем, правда, чай. Сколько уж я разговаривал с писателями! И практически всегда — под водку, ну в крайнем случае, под виски.

Надо сказать, что я волновался. «Нобель» — это круто. Приблизительно такой же мандраж был у меня, когда я ездил на вручение «Оскар» в девяностые. Что может с этим сравниться? Ну вот еще на коронацию нового русского царя я надеюсь попасть, по моим расчетам, вроде как должен дожить.

Страдания. Садо/мазо

— Светлана! В ваших книгах главное — это, может, сочувствие к человеку. Который страдает. Вы столько уже сказали и написали про страдание. Есть народы, которые всё страдают и страдают, без остановки. Гордятся этим. Вот есть люди мазохисты, а почему ж тогда не быть этносам-мазохистам? Итальянцы с французами, к примеру, выпьют вина, вкусно закусят и отдыхают, радуются жизни. А некоторые другие народы сидят угрюмые, недовольные...

— Что-то в этом есть... Мы накрыты вашей тенью мощной.

— Нашей — в смысле донецкой?

— Нет, русской. У нас люди до сих пор смотрят русские каналы. Ваше преступное телевидение — в голове у наших людей! Но не у белорусов чистых, а у русских.

— Дебилы, блть, как мудро заметил наш министр Лавров, мастер слова.

— После войны ж у нас было мало населения, погиб...

— ...погиб каждый четвертый белорус, мы помним.

— Да. И поэтому завезли очень много русского населения. Это такое тихое место, сюда съезжались отставники. Когда русские бежали из Прибалтики и других бывших республик — то многие ехали в Беларусь. Вот я недавно сижу в очереди у зубного... Вдруг какой-то мужичок заходит и говорит: «Так, Крым взяли, теперь на очереди Одесса, ее Екатерина

в кровати подарила кому-то!» И все это повисает в тишине. Потому что белорусы этого не поддерживают. Только я одна отозвалась: «Ну а с Калининградом как будете?» Он не ожидал сопротивления, потому что привык — все молчат. И сказал только: «Ну, это же наше страдание». Я ему: «Ну, если мы будем мериться страданиями... Сколько Иван Грозный белорусов повырезал!» Он говорит: «Грозный и своих резал». Своих — резал, но мы-то при чем?

— А что, голодомор в Белоруссии, есть такая тема?

— У нас этой темы — голодомор — нету. Но тут я на стороне украинцев, я с детства эту тему впитала в сознание. Мы, бывало, с бабушкой идем по селу, и она говорит: «Деточка, тише, тут живет бабушка, которая в голод съела своих детей...» Она рассказывала мне, как у них вытрясали последнее зерно, как они прятали что-то, как вокруг пруда стояли красноармейцы и не пускали людей к воде, чтоб те не могли наловить рыбы. Как ели конский навоз... У меня с голодомором — четко.

— Да, так вот мазохизм. Возможно, это промежуточное состояние. А не включен ли вообще механизм самоуничтожения этноса? Как говорил ваш коллега Пелевин, заговор против России есть, особенность его в том, что в нем участвует все население страны. Население вот уменьшается, медицину с образованием сворачивают, пенсии режут, водка льется и все такое прочее... Вот как киты выбрасываются на берег. Может, и с народами такое бывает? Сколько этносов пропало из тех, что описаны в Библии!

— Я знаю эти интеллигентские теории, они время от времени появляются... Но я так не думаю. Просто это народ с очень тяжелой историей... Люди хорошие вроде бы, но история какая-то ужасная! Вот у Достоевского — культ страдания. А я считаю, что страдание корежит, портит, деформирует.

— Может, это таки национальный мазохизм?

— Нет, я бы не могла это назвать национальным мазохизмом. Но есть какая-то обреченность. Все время нужна сверхидея какая-то! И все становятся заложниками этой идеи. И вдруг — исчезает человеческое.

— У меня есть термин — «духовность в хорошем смысле слова». Большевики уничтожали материю. И сейчас власть этим занята. Это как староверы уходили в леса. Не надо смеяться над духовностью, она таки есть, и она важна для русских. Лыковы ушли в леса, про это «Таежный тупик» Василия Пескова...

— Вы любите теории интеллигентские, а я исследую массовое сознание. Исследую формы, в которых масса перетекает. А то, что вы говорите, — я называю это мережковщиной, Мережковский любил такое.

— По мне, так это почетно — быть мережковцем!

— А я это из себя всегда вычищаю. Вот почему у меня мало комментариев. Потому что то, что я достаю из жизни, — что можно рядом с этим поставить? То, о чем вы говорите... Я не люблю такие интеллигентские теории. Они красивые — так, иногда потрепаться за столом. Друг перед другом — мы можем поупражняться.

— Да ну, какой из меня интеллигент... Я — человек из глубин пролетариата. Я уверен, что вы читали Захер-Мазоха, Зимбардо и прочих про страдания и насилие.

— Конечно.

— А вы не ходите в секс-шопы?

— Ни разу не была.

— Вот! А надо бы.

— Да, надо найти какую-то лесбиянку и сходить, — не пойдешь же туда с мужчиной.

— Я вас призываю непременно сходить. Чтоб вы заглянули в подсознание народа еще и с этой стороны. Плетки, хлысты, наручники, кляпы...

— Это дальше Достоевского?

— Думаю, это другой аспект. Одни люди мучают других. (Вам это ничего не напоминает?) Люди платят деньги за то, чтоб их били. Это огромный рынок! На рынке страданий крутятся огромные деньги! Обещайте сходить!

— Да, надо сходить. Может, это как-то связано с наслаждением?

— Ну да. О чем я и говорю. Таковы мазохисты. Люди и этносы. Это я к вашей теме страданий. Вот и водка, не чужая

нашим народам: люди кривятся, морщатся, крикают, запи-
вают, им противно. Выбор напитка народом — это же архи-
важно. Или, ладно, водка — но ее ж можно разбавлять, ну,
там, березовым соком, патриотически. Но нет! Надо чтоб
было противно. Не просто пьют, а помногу, чтоб утром по-
хмелье, это ужасное состояние — впрочем вам не понять,
вы ж не пьете. В армии и в тюрьме мучают друг друга. Ну вы
понимаете, о чем я говорю.

— Да, понимаю.

— Вот этот список мазо. Не получается ли так, что Россия
(и Белоруссия тоже, а Украина уходит от этого) — страны та-
кого православного фундаментализма...

— Нет, я думаю, это только Россия.

— Ну вот как исламские террористы. Шахиды.

— Я видела, как моджахеды спокойно говорили о смерти.

В плену.

— Возможно, Россия — страна победившего фундамен-
тализма, того же мазохизма. Мой дед рассказывал, что зам-
полит на фронте ставил задачу — воспитать в бойцах пре-
зрение к смерти. Прекрасный термин, ныне забытый. Ну
и дальше — уничтожить сельское хозяйство, вообще эконо-
мику... Вы думаете, что я перебарщиваю?

— Вы подгоняете под идею, а жизнь всегда богаче идеи.

— Да я не подгоняю, а пытаюсь понять и объяснить про-
исходящее. У меня вот такая версия, такое оправдание, объ-
яснение. А у вас какая версия?

— Я думаю, что мы просто опоздавшие люди. Когда в Бо-
лонье основали университет — и когда у нас?

— XI век?

— Ну вот. А у нас что было тогда? Кривичи и вятичи бе-
гали?

— Ну так и что ж тогда делать? «Что делать?» Сидеть в де-
ревне тихо?

— Вот Россия пытается что-то сделать... Идея эта, по-
моему, дугинская — что Россия сделает рывок и спасет ци-
вильзацию. Но меня больше интересуют не эти отвлеченные
темы — а битва добра и зла, скажем так, больше вот эти вещи.

— Поле битвы — сердце человека, а ля Достоевский?

— Я круг вопросов сузила вот до этого предела.

— А вот еще же Игорь Шафаревич, был такой автор. Я в самиздате читал его книжку с названием приблизительно «Социализм как явление в мировой истории». Там было про то, что в разное время возникали — независимо друг от друга, потому что никакой связи между ацтеками и большевиками же не было, никакой преемственности — цивилизации, в которых не было собственности, кроме государственной, не было свободы и народ истреблялся просто так, без всякого смысла. И они все почему-то строили пирамиды, типа нашего мавзолея. Это в продолжение темы мазохизма и самоуничтожения.

— Я к социализму не отношусь так воинственно. Мне кажется, что это красивая человеческая идея. Но почему она кончается кровью? Пока мы не готовы к ней...

— Ну, все дело тут, я думаю, в принуждении. И колхозы, и лагеря — хорошо, была б добровольность! Хочешь в лагерь — запишись в зэки и сиди себе 25 лет. Захотелось тебе коллективной собственности — иди в колхоз. Считаешь, что надо все поделить поровну — раздай свои деньги бедным. Но если ты начинаешь чужое делить, тут-то тебя надо срочно остановить и примерно наказать.

Фрикативное «г»

— Вот скажите, Светлана... У вас иногда идет «г» русское литературное, а иногда — фрикативное. Такой разброс туда-сюда.

— Да. Но я и не прислушиваюсь особо к себе. Но знаю, что у меня много неправильных ударений. Вообще Сталин же сделал «наркомовку», тот белорусский язык, который у нас сейчас, — он же не настоящий! Был настоящий, но Сталин его испортил. Совсем другой язык стал... Он теперь больше похож на русский. Другие ударения...

— Так у вас в основном фрикативное «г»?

— Думаю, что да.

— Вот что мне еще приятно в вашем награждении. Смотрите, из русских нобелевских лауреатов (по литературе)

у двоих было фрикативное «г» — это Шолохов и Солженицын. У третьего — Пастернака — этого не было, ну так он и от премии отказался, так что... Что касается Бунина, точно не знаю, но это Воронеж, а фрикативное «г» уже в 150 км от Москвы начинается. Чехов не успел получить «Нобеля», но и он наш, парень из Таганрога, с юга. И вот теперь — вы!

— А еще же Горбачев.

— Ну, у него не по литературе премия, но давайте вставим и его в этот список! Фрикативное «г» — его пора бы уже сделать нормой. Так говорят и говорили люди, которые прославили русскую словесность! Но вот сидят какие-то безвестные клерки в институтах и министерствах и навязывают нам эту столичную «г»... Спрашивается — на каком основании? С чего вдруг? И еще. Вы ведь белорусский знаете.

— Ну да. Я его понимаю, читаю.

— Вас когда спрашивают по-белорусски, вы отвечаете на русском. Барьер? Стесняетесь?

— Не стесняюсь. На белорусском я могу говорить, но я поняла, что в нем не буду равна себе. В белорусском я не так свободна, как в русском.

Эмиграция

— Вы не хотели уезжать из Белоруссии в эмиграцию. Долго. Но потом у вас начали душить диссидентов, и вы таки уехали...

— Начали душить. Но причина другая была. Понимаете... Бывало, придешь на собрание, и писатели радостно говорят друг другу: «Слушай, как наши хлопцы дали этим ментам, аж кровь текла!» Тогда еще не было таких зачисток, как сейчас... Я посмотрела на нас со стороны и подумала: «Какой кошмар! О чем мы, писатели, говорим? Баррикады — опасное место для художника. Там человек исчезает, видишь только мишень в человеке». Я не хотела стать Демьяном Бедным! Я уехала, чтоб вернуть нормальное зрение. Потому что это было ужасно. Я тогда уехала (и Василь Быков уехал в то же время) и прожила на Западе 12 лет. Италия, Франция, Германия, Швеция. И действительно, та жизнь дала мне более широкий взгляд.

— Как это было оформлено?

— Там, в Европе, много организаций, которые занимаются писателями. Они дают квартиру, стипендию, переводчика. Я жила там, смотрела на чужую жизнь, много читала и писала, ездила на презентации своих книжек. Василь Быков там умер... Владимир Войнович вернулся. Что там делать? Вы не поймете ту жизнь. Она иначе устроена. Я вот тоже вернулась.

— Помните, Есенин объяснил, почему не остался в Америке: «Там не перед кем раскрыть свою душу». Вот предпочел повеситься на родине.

— Там все другое, за границей... Есть, конечно, интеллектуалы — но все равно таких глубоких разговоров, как у нас, они там не ведут. Я могла остаться во Франции, в Германии, мне предлагали. В Берлине у меня был кабинет с видом на озеро... Но я сказала: отдайте эту квартиру сомалийцу, которому действительно некуда вернуться, а я — поеду домой.

— Вы говорили, что одна из причин вашего возвращения — ваша внучка.

— Да, Яночка! Ей десять, она такая прелестная девчонка. Мы дружим! Родители, мне кажется, ее упустили: она не хочет читать. Я нашла сейчас ход такой, мне один друг посоветовал, который своего ребенка приучил к чтению, давая ему комиксы. Вот и я попробую этим путем зайти.

— Какая ирония судьбы — вы писатель и вообще нобелиатка, а внучка не хочет читать.

— Да, да, да! Я сама виновата: подарила ей планшет. Наверно, не надо было, это слишком рано, в таком возрасте.

— Значит, вы вернулись, чтоб проводить с ней больше времени.

— И с ней, и вообще — здесь мне лучше. А там — чужой мир. Ну что там? Другая жизнь. Не совсем наша. Ну и потом, тот жанр, в котором я работаю... Он такой, что мне надо быть здесь, с людьми.

— Помню, сколько-то лет назад в инете выступила ваша почитательница Маргарита Урицкая, сообщила, что, подначитавшись ваших книг, вернулась из эмиграции. Где она сейчас?

— Не знаю, где она теперь. В 90-е годы было много разговоров про будущее страны, людям было интересно жить!

А сейчас... Кому интересно жить в путинской России, скажите? И тем более в Белоруссии? Мы же оказались ни с чем, не там, где думали. Не там, где хотели. Сейчас никому в голову такая мысль не придет, о возвращении, — это не девяностые годы!

— Многие сейчас говорят: «Уезжайте!»

— Да. Это абсолютно верно. Уезжайте — и как можно скорее. Из России, из Белоруссии. Как подрастает новая генерация — так выходит на площадь. Их выкидывают из университетов, они уезжают в Европу, есть разные программы западные. Уезжают — и всё, пропадают для Белоруссии. Находят там ниши для себя. Приезжают сюда, побудут неделю — и говорят: «Нет, не можем тут больше тут жить!» Быстро привыкают к тому, что там с людьми иначе разговаривают... По моей рекомендации отправили одну девушку в Германию, учиться. Говорит, что не хочет возвращаться. Меня иногда спрашивают — может, вернуться? Я говорю: Пока нет. Беру такой грех на душу... Есть надежда на новые времена, но когда они настанут? Наш, по-моему, без крови не уйдет.

— А мы с вами — живем здесь!

— Мы-то — да, а вот молодые... Они же молодые совсем... Я, кстати, спросила вашего Яковлева (основатель «Коммерсанта». — *И. С.*), когда мы с ним встретились в Израиле: «Ну как вы тут живете, здесь же всё так провинциально! Я сама живу в провинциальной стране, но вы-то всё же из Москвы! Ну в крайнем случае, жили б в Берлине...» Он мне говорит: «Светлана, да здесь все, кто был со мной в Москве! Все тут! И еще больше приедет!»

Журналистика

— Журналистика и писательство — это кошка с собакой или болонка с бульдогом? Пропасть между ними есть?

— Смотря какая журналистика. Если она высокого класса, то сходится с литературой. Скажите, Игорь, а у вас нет четкого плана, по которому вы работаете? — вдруг спрашивает меня нобелиатка.

Я чего-то начинаю ей рассказывать про свои книжки, но быстро спохватываюсь:

— Мне лестно, что вы спрашиваете меня про мое «творчество», но я б лучше расспросил вас про ваше.

— Я же слушатель в основном. И я в четвертом поколении учитель.

— А вот я б не смог! Это же требует железных нервов.

— Ну и некий повтор идет. Повтор самого себя.

— И ты привязан жестко ко времени и к месту.

— И еще же там суеверия, которые ты должен впихнуть в этих несчастных детей...

— Вы работали в газете — это что, как Ванька Жуков, который долго чистил селедку, прежде чем хозяин сказал: ты прошел уже школу послушания, теперь буду тебя учить ремеслу. Вот вы служили в газете — а потом вот стали писать книги.

— Нет. Мне легко было работать в журналистике. Мне нравились поездки! Это ж, в принципе, роскошная работа! Сегодня хочешь — говоришь с известным писателем, а завтра еще с кем-то известным, — летчиком например.

— Может, завтра мне достанется летчик, а сегодня вот как раз известный писатель.

— Это шикарная работа, в газетах, в журналах. Удовольствий много!

— Мне нравилось, что не надо было тупо ходить на работу каждый день.

— Да, свобода!

— Потом еще пьянство мне нравилось в газете. Впрочем, вы-то не пьете.

— Я не пью. И не курю. А эти мужчины пьяные, с которыми приходилось ездить...

— Вы как святая.

— Да уж где там! Но мне было неуютно в журнале. Я не могла вот полностью выложиться там. То, что мне было интересно, — то журналистике нашей не нужно было. Сейчас хоть сайты всякие есть, пиши, что хочешь. А тогда журналистика просто в кандалах была закована, в наручниках!

— А вам говорили: «Ты солдат партии!»?

— Конечно! Но у меня мозги были иначе устроены. Меня раздражало, когда меня начинали учить жить. Вроде и редактора ко мне хорошо относились... И вот они ко мне со всей душой — и вдруг наталкиваются на что-то совершенно непонятное...

Fiction vs non-fiction

— А вы мне скажите, Игорь, — отчего русские писатели травлю устроили мне? Чего они так взволновались? Как вы это объясните?

— Ну, может быть, потому что сейчас в русской литературе мейнстрим — это такие длинные придуманные истории, романы. Там персонажи подходят к окну, и долго смотрят вдаль, и произносят длинные внутренние монологи. Ну и есть, насколько я могу заметить, некое чувство превосходства...

— Над маленьким народом? Мне тоже так кажется. Мне иногда говорят: «Ой, Света, ну какой белорусский язык, о чем ты? Нету такого!»

— Вы вроде как ниже стоите в иерархии, белорусы, а тут вдруг такое...

— Имперское такое чувство. Я была удивлена! Прилепин — это понятно, он сказал, что, когда наши подлодки будут у Парижа (правда, непонятно, как они туда попадут), тогда русским дадут премию... Даже писатели, про которых я и не думала, что они смогут не спрятать это, не окультурить свои чувства... Даже Татьяна Толстая!

— Как, и она? Я просто не следил.

— Да. Сказала, что русский писатель не скоро теперь получит.

— Ну и еще же многие объявили вас не писателем, а журналистом. Были реплики того рода, что премию надо было дать не вам, а вашему диктофону. Переход из одного цеха в другой, с низшего уровня на более высокий, произошел очень литературно. Известна история о том, что вы ушли из журнала в творческий отпуск, взяли 5000 рублей в долг, купили катушечный магнитофон и принялись брать

интервью у женщин, которые воевали. Кто дал вам тогда денег?

— Василь Быков, Янка Брыль, Алесь Адамович.

— А почему магнитофон катушечный, уже были кассетные?

— Так я и купила кассетный. Импортный, кто-то из знакомых привез из Германии — и продал мне.

— Что за творческий отпуск такой?

— Это я в журнале «Неман» взяла отпуск, обычный, очередной — на месяц. Я решила тогда попробовать. Попробовала — и стала так работать.

— Эти ваши тексты из будущей книги «У войны не женское лицо» брали в журнал?

— Нет, конечно! И потом, когда я сделала книжку, ее два года не печатали. «Ремаркизм не пройдет! — сказал мне цензор. — Ремарка начиталась?» Видно, он подумал, что я занята не тем, что не надо так писать о войне.

— Ремаркизм — и маркесизм. Маркес, как вы, бросил журналистскую работу и сел писать книгу, денег в семье не было до такой степени, что он заложил фен жены.

— Ну, со мной такого не было, фен я не закладывала. Тогда я не знала этой истории про Маркеса, а когда услышала ее, то долго смеялась. Кстати, и его тоже долго не печатали!

— Он говорил, что писал романы для денег, а на эти гонорары занимался журналистикой. Тоже похоже!

— Я скоро лечу в Колумбию — только потому, что — Маркес. Из-за Маркеса. Как он это перекручивал, какие рембрандтовские мазки у него! Посмотрю, что там за жизнь...

— «Писать прозу о кошмарах XX века кошунственно. Тут нельзя выдумывать. Правду нужно давать, как она есть. Требуется “сверхлитература”». Кажется, это Адамович сказал? И вот еще New Yorker написал по вашему поводу, «до сих пор Шведская академия не признавала документальную прозу “литературой”, но вечно этот снобизм существовать не может. Считать замечательных авторов “недописателями” лишь за то, что они описывают действительность, по меньшей мере странно». (Понятно, что там главный редактор — журналист Дэвид Ремник, помню, в начале 90-х

он был собкором в Москве от какой-то газеты, и мы с ним пересекались тогда. Но тем не менее.)

— New Yorker! И я себе всегда это говорила.

— А вот «Я помню чудное мгновенье» — это fiction или non-fiction?

— Ну ясно, что это перевод чувств на язык слов... Все-таки это fiction.

— Не описание факта? Не журналистика?

— Не-е-ет!

Вот вы можете то-то вырвать из жизни человека. А я же концентрирую рассказ так, что вся жизнь там. Это мой подход. Человек говорит вроде только про войну, но там он весь сидит.

— А Библия — fiction или non-fiction?

(Смеется.)

— Ну что ж вы смеетесь, я вас серьезно спрашиваю!

— Я даже не знаю... Ее столько раз переписывали.

— И все-таки где ее публиковать, если что — на сайте «Проза» или на сайте non-fiction?

— Вот у меня сейчас фильм вышел по «Чернобыльской молитве». Швейцарский режиссер снял. Там такой модный сплав: fiction и non-fiction. Ну вот а летопись — это что? Скажете, non-fiction? А Монтень — я сильно сомневаюсь, что все именно так было, как он описал.

— Хорошо, я принял ваш ответ. Вы не хотите отвечать на вопрос «Библия — это fiction или non-fiction?». Это ваше право — уйти от ответа. Имеете право, вы же женщина.

— Ну, пишущий человек — это такой андрогин... Вот скажите, Шаламов — это fiction или non-fiction?

— Ну что же, вы изящно парировали мой удар... Шаламова я читал в самиздате, понимал, что это великий писатель... О! Смотрите! Я ответил на ваш вопрос. Ответ выскочил из подсознания, это я про словечко «писатель», то есть, не задумываясь, я его записал в фикшн... Кстати, вот еще что по этой теме пришло мне на ум. У вас, кстати, была красивая ситуация, как у Булгакова. Помните, там были слова: «Этот добрый человек ходил за мной, но он все неправильно записал, я этого не говорил!» (Цитирую по памяти.) У вас был ветеран Афгана, который сперва вам все рассказал про свою

войну, а потом стал бизнесменом и обвинил вас в том, что вы неправильно за ним записали.

— Да, со мной это было. И меня же еще судили на книгу «Цинковые мальчики»!

— Синедрион!

— Там прозвучало: «Вроде они всё так и говорили, но вы какой-то другой смысл в это вложили». Одна женщина сказала: «Я вам просто хотела рассказать про сына, и рассказала правду, — но писать-то надо другое! Что ж вы так просто пишете, теми словами, какими я вам и рассказала! Так нельзя, надо другими!»

— Вы просто попали внутрь библейского сюжета.

— Очень интересно было во время того суда! Если б не было их жалко, этих несчастных людей...

Батька Лука

— Лукашенко не любит вас. Не поздравил даже!

— Он же никак не отреагировал. Только в первый день, когда объявили — это как раз был день его выборов — он сказал что-то вроде одобрительное. Я ему подпортила картинку, конечно. Его тема была главной, и вдруг — стали говорить и про меня.

— Вы могли как-то пораньше или попозже получить премию? Не уважили вождя.

— О премии объявили, когда шли выборы, тут было полно наблюдателей. Он к концу дня сказал, что рад премии. Через два дня, когда все разъехались и объявили, что он победил — хотя у нас никто же не считает, он сказал: «Она клеветает на русский и белорусский народы». Я понимаю, если бы был интеллектуальный разговор с противником. А так... Мне зло в таком примитивном виде — не интересно.

— Батька — суровый!

— Он Нарцисс. Не любит, чтоб еще кто-то рядом с ним был.

— Ну, теперь ваш — против нашего — выглядит уже не так экзотично.

— Вот — он поехал в Турцию! Ведет себя так, будто он президент большого государства и не зависит от Путина.

— Но Батяка же сделал много хорошего для белорусов. Этого нельзя отрицать. Какое-то более или менее есть же у вас равенство. Он, маневрируя между Европой и Россией, добивается каких-то поблажек для народа своего, — скидок на нефть, газ, железо.

— Это — да.

— Это же стиль государственного деятеля!

— Но он остановил время. Оно не движется никуда.

— А вам бы хотелось олигархов и чтоб они вывезли все деньги в Панаму? Было б лучше?

— Да тут особо и денег нет.

— А было б хорошо, если б он передал Березовскому всю вашу экономику в управление? Борис Абрамыч очень хотел тут у вас что-то получить...

— А знаете, что мне Березовский говорил? Когда я получала премию «Триумф»? Он тогда подсел ко мне за столик — а там еще были Жванецкий и Вознесенский, — и мы немного поговорили. Я его спросила: «А чего это вы вот так заигрываете с Лукашкой?» И он ответил: «Светлана, я хочу вам сказать вот что. Я знаю всех главных политиков на постсоветском пространстве, — а Батяка тогда только второй год был, — так вот это один из самых талантливых». Я ему не поверила тогда. Но вот прошло 20 лет, есть о чем задуматься... А мы же тогда смеялись над ним: колхозник! Политическое животное! Я все время помнила эти слова Березовского...

— Вот так часто мы считаем себя умными, а потом оказывается...

Передачик или ретранслятор?

— Старый спор: писатель — это передачик или ретранслятор? Одни говорят, что они придумывают и записывают придуманное, а другие уверяют что у них само пишется, приходят откуда-то мысли и переходят на бумагу...

— Ничего само не пишется. Насчет трансляции могу только сказать, что я не могу себя транслировать бесконечно. (Это про интервью и выступления, которые после присуждения ей «Нобеля» идут бесконечно и давно ее утомили. — И. С.)

— Ну вы, наверно, таки ретранслятор, — вы ж даете людям сказать, передаете нам их слова. Пропустив их через свою редактуру.

— Да, даю сказать тем людям, которых никогда не слушали. Я ищу ответы на вопросы, которые меня интересуют. Мне самой хочется понять какие-то вещи. И то, что я поняла, то, к чему я пришла, — я высказываю через посредство вот такой формы. Как это назвать? Даже не знаю как. Ретранслятор? Я не очень задумываюсь о таких вещах. Для меня важен сам процесс познания как такового.

— А вы могли бы искать ответы на свои вопросы, познавать мир, людей — и не транслировать это? Чисто для себя? Ни с кем не делиться?

— У меня же профессия. Это наша с вами профессия... Я ничего другого делать не могу. А вот вы — могли бы говорить с людьми и не писать?

— Не знаю. Не пробовал. Вот я часто задаю себе вопрос: если бы мне платили зарплату, как депутату Госдумы, и мне не надо было зарабатывать на хлеб, то что б я делал? Возможно, просто лежал бы на диване...

— Я бы все равно писала.

— Вы — да. Вы давно уж получили кучу премий и денег, но пишете. А я? Пока ответа нет. И вот у вас появилось еще больше свободы. Вы можете теперь вообще все сказать. Может быть, для вас настало время некой новой откровенности. Вы уже можете сказать вообще все что угодно, и никто ж не отмахнется от слов нобелиатки, все будут вникать, думать! Есть у вас вот такая новая свобода? Исповеди дочери века можно от вас ждать?

— Это зависит не от успеха, не от звания, — а от внутреннего какого-то движения. Действительно, я рада, что движусь. Успех — и эта премия — дают не расслабление, а наоборот, ответственность: я не могу уже сказать все. Вот недавно в самолете ко мне подсаживается журналист, друг мой. Мы говорим про разное, а завтра... я читаю это в газете. Я не собиралась это публиковать! Мы что угодно можем сказать в беседе, сгоряча, не для всех. Ответственность другая теперь! Это не то, что мне мешает, но я так небрежно не могу

уже говорить... Вот у нас тут национальная элита зовет людей выходить на площадь. [На акции протеста.] Дети идут... Но элиту освобождают, если начинаются задержания, — у них же корочки. Меня тоже отпускают. А эти дети... Их выгонят из университета, и еще по голове дадут, инвалидами какие-то дети стали... Нет, я не берусь молодежь звать на помощь. И вообще, я не люблю толпу...

— На митинги вы не зовете никого. А исповедь напишете?

— Не думаю, что я свою жизнь могла бы открыть.

— Да, вот вы как-то сказали, что со страхом думаете — и вас могут начать спрашивать про любовь... Как вы про нее спрашиваете других, для своей книги.

— Нет, я не хотела бы так обнажаться. Что мне интересно, так это само движение мысли. Постижение, догадки... Что меня сегодня может остановить? Только мое незнание.

— Незнание чего?

— И жизни, и человека. Нельзя же сказать, что я сегодня дошла до какого-то абсолюта в знании. Что я все знаю о том, что еще можно спросить у человека. Я еще не догадываюсь о чем-то. Хотя, наверно, сегодня я могу больше спросить, чем в первой книге. Сегодня моя книга о войне была бы другой, более жесткой. И там было бы больше человека биологического. И больше было бы правды. Я все-таки человеком своего времени была. Я была романтический человек. Сохраняла еще тогда, благодаря папе, веру какую-то. (Отец ее был убежденный коммунист. — И. С.)

— Если б вы тогда сделали такую книгу, более откровенную, — то вас еще меньше бы поняли, в то время.

— Да, тогда бы — не поняли.

— Я все думаю про новую откровенность. Помните, ваш коллега Гюнтер Грасс признался — после получения «Нобеля», — что в войну служил в СС. А в молодости он себе такого не мог позволить — сделать такое признание. Я жду, что и у вас будет какой-то coming out, теперь, когда все позволено!

— Нет. Ничего не будет. Это неинтересно.

Учить народы

— Бывает, что кто-то из великих пишет: «Я знаю, что делать!» И учит народы, ну вот как Томас Манн или академик Сахаров. В таких случаях вспоминается Гумилев, который просил жену Аню пристрелить его, когда он начнет пасти народы. Вот, например, Владимир Сунгоркин. Главный редактор «Комсомольской правды». Он говорит либеральным журналистам: «Ах вы умные? Вы учитесь русский народ? А я не учу! Я даю ему то, что он хочет, гляньте на тиражи моей газеты. Посмотри на себя — ты хочешь учить русский народ? У меня нет такой амбиции, я себя таким умным не считаю». И вот Путин тоже, значит, лучше знает народ? Вон у него какой рейтинг. И Кадыров лучше знает? И Батка?

— Вот Батка говорит: «Я должен делать то, чего хочет народ, но быть чуть впереди». Они, значит, знают народ лучше, чем мы. К сожалению. Но мне больше нравится все-таки Вацлав Гавел.

— Так у него другой народ.

— И тем не менее — если бы не Гавел, то между Чехией и Словакией могли быть проблемы. Когда они разделялись.

— Но в 68-м они сопротивлялись. Не боялись советских танков. Я знавал одного чеха с пороховыми синими такими крапинами на лице, он пацаном пытался жечь русские танки. Это чехи. Но может ли наш народ понять и принять Андрея Сахарова?

— Или наш народ — Алесьа Адамовича? Даже Горбачев, и то чужестранцем был.

— Так что же получается? Мы такие умные, что беремся учить свои народы?

— Я не ставлю такой сознательной цели — учить народы. Но все-таки не думаю, что должна идти на поводу у масс. Я так не думаю! Надо быть чуть-чуть впереди — насколько можешь. Все-таки я хочу сказать о том, что мир сложный. Человек — это более сложное существо, чем нам пытались внушить. Разве это называется — учить? Что ж мы — должны быть толпой? Разве мы должны разделять суеверия века? Я не считаю так...

— Вот я вас и спрашиваю, как простой журналист у вас, признанной мировой знаменитости: «Что делать? Кого и как учить?»

— Элита должна быть элитой. Должна делать свое дело.

— А кто назначает людей в элиту?

— Никто не назначает. Просто появляются люди, которые что-то новое нам могут сказать. Не наметить пути — эти слова не работают, но какие-то новые смыслы обнаружить. Ко мне иногда подходят люди, задают вопросы, признаются, что им нужен кто-то, чтоб он говорил с ними. Я не думаю, что я должна стать толпой. Я не говорю, что я великий человек, но писать — это все-таки немного просветительство. Давайте остановимся на слове «просветительство».

— Ага, то есть учить народ — это как-то неловко, а просвещать — нормально!

— Да. Учить — это значит много брать на себя. Искусство должно быть немного скромнее. Вот Достоевский — учил он народы? Учил, получается?

— Наверно, учил. Учил отношению к евреям, к примеру... «Дневник писателя».

— Да, это было ужасно. Но его литература! Он пытался писать о подпольном человеке, разобраться в этих потемках человеческих! У него каждый кричит свою правду! Вот мой главный принцип в книгах — чтоб каждый кричал свою правду. У меня не судейская роль. Но у меня есть мировоззрение, есть свой взгляд. Я даю каждому кричать о том, кто он, что он. А из этого рождается такой образ времени.

Национальный вопрос

— Кстати, национализм — это хорошо или плохо?

— Ну в каких дозах смотря. Надо еще послушать, что националисты говорят!

— Французский националист де Голль же всем нравился.

— А у немцев был же тоже национализм.

— Про немецкий нас научили думать, что он плохой. А белорусский — хороший?

— Нет, не хороший. Белорусские националисты говорили, что Смоленск — белорусский город, и Вильнюс — тоже наш, и что мы должны забрать наше у литовцев. Так странно было все это слушать тогда! Я была у басков несколько лет назад и видела там, что такое национализм — когда профессор-космополит, человек широких взглядов, ходит с охранником. Иначе никак. Все так осторожны... Если там какой-то писатель хотел со мной поговорить, то он гулял со мной по улицам, якобы показывал приезжей город. Я поняла, что человек, скованный страхом, — он нерентабельный. Он как парализованный какой-то. Такое ощущение... Теперь никто никогда меня не убедит, что национализм — это хорошо.

— Вы говорили, что вы человек мира. То есть вы можете про себя сказать, что вы космополит?

— Да, вполне. Мы с вами космополиты.

— Но вот гражданином мира вас назвать нельзя. Хотя бы потому, что у вас нет американского или израильского паспорта. И вы не можете без виз разъезжать по планете.

— Я имела в виду мировоззрение.

— А вы попросите израильский паспорт, вам, небось, дадут! Хотя — да, теперь же вас и так везде пускают. Куда захотите! А если нужна виза — так и домой принесут.

— Нет, не принесут домой. За британской визой я вот поеду в Москву.

— Как так — в Москву?

— А их посольство, которое тут, — оно не дает виз. У нас есть неполноценные посольства. На Белоруссии экономят, не считают ее за страну. Чуть Израиль не ушел от нас — а то хотел закрыть у нас посольство! И это очень уязвляет нашего Лукашенко. Что вот вроде у нас неполноценное государство.

— Я кстати заметил, тут звучит тема, что Украина — богатая страна! Люди говорят: «Если уж ее отпускают в Европу, то нас тем более».

— Да у нас ничего нету, с нашей точки зрения Украина — богатая страна! Там есть что брать.

— И она выглядит отсюда более значительной.

— Да, конечно. 60 миллионов (в действительности на 01.01.2016 г. около 43 млн, на 01.01.2014 — 45,5 млн. — Ред.) и 10 миллионов населения — как вы думаете, есть разница?

— Господи, как это трогательно... Вы говорили, что за три дня можно любого превратить в животное.

— Я хочу вам сказать, что свидетели событий в Донбассе — как с той, так и с другой стороны — рассказывали мне, что в каких-то ситуациях мгновенно слетает культурный слой. Не все же там как Моторола, некоторые же шли за идею. Или русские войска в Чечне? Я там не была, но мне рассказывали. А в Афганистане я была. Я там, когда разговаривала с ребятами, поняла: им важно было опустить афганцев ниже себя, вот как немцы это делали. Вот почему фашисты так легко убивали? Потому что они славян опускали ниже себя. В животный мир. Вот убивают же курицу — ну и славянина можно убить, где-то так происходило. Наши ребята в Афганистане смеялись над местными: «Вот у них туалетов нет!» Я им напоминала: «Про твою бабушку немцы тоже говорили, что она ходила в «лѣпухи», так немцы производили «лопухи».

— А они, солдатики, что на это говорили?

— Да ничего. Хлопали глазами эти дети. Они таких вопросов даже не задавали себе. Пропаганда, политруки... «Да у них даже время другое!» — такой аргумент.

— Опоздавшие. Как мы. Так если можно любого за три дня превратить в животное, то, получается, культуру легко уничтожить при помощи силы? Р-раз — и нету. А?

— Иногда так кажется. Особенно — сегодня. Люди теперь боятся будущего...

— А кто вам ровня из писателей в России?

— Да я про это и не думала. Не ставлю так вопрос. Могу сказать, кто мне интересен: только Ольга Седакова. Мы общаемся. Во-первых, таких образованных людей, как она, почти нет в литературе. Во-вторых, ее поэзия, да и любое ее интервью, — это просветительская работа! Вот это — разговор писателя! Тонкий, глубокий. Не самодеятельность какая-то банальная. А то, бывает, банальностями обмениваемся...

Лев Толстой: параллели

— Светлана, а вас никогда не удивляло, что вот Лев Толстой придумывал, придумывал, сочинял из головы, — а потом понял, что это все глупости и надо писать все как есть. Non-fiction.

— Вот это мне нравится! Он говорил, что когда-нибудь людям станет стыдно придумывать.

— А как вы миновали этот этап придумывания из головы? Почему вы сразу занялись описанием жизни? Вышли на позицию зрелого Льва Толстого?

— Ну не так чтобы... Я [сначала] пыталась сочинять! Писала какие-то стихи по молодости. Было, было! Я выросла в деревне среди голосов. Когда увидела книгу «Я из огненной деревни» — поняла, что литература может быть и такой. Поняла, что и я так вижу.

— А что за стихи вы писали?

— Всякую чепуху. И про любовь, и гражданская лирика. Ничего уже не помню.

— Пардон, не могу уйти от параллелей с яснополянским старцем. Он хотел отказаться от авторских прав, чтоб его книги были доступны всем... Вот и вы какие-то свои книги разрешили бесплатно вывесить в инете, как Лев Толстой.

— На русском — да. В основном потому, что есть проблема с доставкой книг.

— А на белорусском — за деньги?

— На белорусском меня вообще никто не издает. Вот подпольно ребята издали...

— А, и напечатали в Литве. Известная ситуация!

— Да, да. А те мои книги, что выходят на Западе... Там по закону нельзя, чтоб они были в сети бесплатно. Я беру деньги, я же не птичка. Я просто спокойно и — повторяю — одиноко работающий человек.

— В чем-то вы Толстого даже превзошли. Вот он рассорился с официальной церковью, а вы к ней вообще не приближались. Вы, как известно, атеист.

— Абсолютно! Такого у вас нельзя произнести в России. Попробуй скажи в России: «Я — атеистка!»

— Я никому это про вас не скажу.

- Да говорите. Я верую так, как может верить художник. Увидишь цветущий сад — и, конечно, подумаешь, что...
- Вы думаете, что человек произошел от амебы и от обезьяны?
- Что-то мне не очень в это верится.
- А откуда же он взялся, человек? Раз Бога, по-вашему, нет? Это очень важный вопрос... Я весь внимание. Вот подошел к вам поближе оба диктофона.
- Не знаю откуда. Не знаю. Но что-то мне насчет обезьяны — не очень верится...
- Но что ж тогда?
- Вы смотрели этот фильм — «Воспоминания о будущем»?
- Давно, мало что помню. *Осыпает мозги алкоголь.*
- Там есть очень хорошие идеи. Что какие-то высшие цивилизации принесли нас сюда. Мы же хотим переселиться на другую планету...
- Какую?
- Не знаю, но куда-то же отправляют космические корабли. Если мы отправляем, то почему и другие не могли этого сделать? Раньше нас?
- А откуда ж, в свою очередь, взялись инопланетяне?
- Ну не знаю, не знаю. Вы так меня спрашиваете, как будто я Лев Толстой. Откуда я знаю?
- Вы должны понимать, что мы ждем от вас ответа и на этот вопрос — о происхождении человека.
- Я не такая сумасшедшая, чтоб давать ответы на такие вопросы. Никто в мире не дал ответа на этот вопрос!
- Тут или-или. Или человека Бог создал — или он сам взял и произошел от обезьяны, это атеистическая версия. Надо что-то выбрать.
- Перестаньте шутить.
- Да я как раз не шучу. Я серьезно. Вот у меня нет сомнения в существовании Бога.
- А мне иногда кажется, что есть ангелы, и они такие хорошие...
- А души нет, по-вашему?
- Душа — есть. Ее, говорят, даже взвесили: пять грамм.

— По новым уточненным данным, вес души — 21 грамм. Так, кстати, называется фильм на эту тему. Еще про Льва Толстого. Тема опрощения. Вы ведь тоже живете в деревне, как он?

— Нет, это не опрощение вовсе, у меня дача! Там цивилизованно все устроено.

— Но одевайтесь вы, как он, просто. На вас — тоже крестьянская одежда.

— Это не крестьянская! Скорее — студенческая такая.

— Ну крестьянская — в том смысле, что вы носите обычную одежду, как все мы, не вижу на вас ни «Версаче», ни лабутенов, ни часов на вас золотых, ни перстней, ни брильянтов. Нет у вас в доме и прислуги.

— У меня есть девушка, которая помогает мне по хозяйству, чего греха таить.

— Ну я просто пытаюсь подтасовать фактуру, подогнать под готовый ответ. Живете просто, без роскоши. Много работаете.

— Толстой говорил жене: «Какая любовь, если ты не можешь рожать?» Он не понимал, как можно жить с женщиной, если она больше не способна рожать. Вообще старик он был достаточно такой...

— Сумасшедший?

— Сумасшедший, да.

— Насчет Бога и веры — здесь-то ладно, а ну как на Западе спросят?

— Запад еще более атеистический, чем мы. Религия там — это не более чем ритуал.

Деньги

— А те деньги, 5000 рублей, которые вы брали в долг при советской еще власти, — вы вернули?

— Да. С гонораров, с премий — например, Ленинского комсомола.

— А теперь на «Нобеля» вы купили еще больше свободы. И будете писать, что захотите.

— Да я всегда пишу, что хочу. Я давно уже в этом плане счастливый человек.

— То есть в этом плане ничего в вашей жизни не изменилось.

— Ну вот я смогла купить квартиру новую. Сейчас там ремонт доделывают. И дом в деревне — получше, чем тот, который у меня раньше был.

— И теперь к вам кто-то может прийти и попросить 5000, чтоб написать некую книгу.

— Да, я дам без возврата. Если увижу, что это умный человек.

— Вы уже объявили какой-то конкурс на лучшую заявку?

— Нет. Я помогла людям, которым действительно плохо, — у нас сейчас интеллигенция в тяжелом состоянии. Мы создадим интеллектуальный клуб, чтоб туда приглашать со всего мира интересных людей — я буду доплачивать им. Надо, чтоб приезжали люди и шевелили наше болото.

— Ну и вам не нужно много денег — вы ж не тратитесь на водку, на женщин...

— Но я могу помогать близким. Да и денег нет таких прям громадных, у меня ж нет миллиардов.

— Да и миллиардеры иногда жалуются, что им не хватает... Вы, кстати, про деньги не думаете написать книгу? (В дополнение к анонсированным книгам про старость и про любовь.)

— Нет. Эта материя мне совсем не понятна. Я не могу понять время, и еще — что такое кровь (жизнь же там). И — деньги.

— Карбована воля!

— Да. Это же интересно! Там скрыто столько всего. Об этом надо думать! Но я просто не думала об этом. Вот зачем Абрамовичу столько денег?

— Ну может, они не ему принадлежат...

— Я тоже про такое слышала.

Творческий метод

— Когда мне задают такие вопросы [как ваши] в лоб, я считаю, что это непрофессионально. Я никогда так впритык не спрашиваю. Ответы можно соткать из общего мироощу-

щения человека. «Любовь — что это такое?» Представляете, вот такое спросить?

— Почему нет? Я легко вам могу ответить на этот вопрос.

— «А вы любили?» — представляете, вот так спросить?

— Я? Конечно, любил. Разумеется.

— Нет, я так не разговариваю. Я более вкрадчиво спрашиваю.

— Ну, вы же женщина.

— Человек рассказывает свою судьбу. Какие-то вещи меня цепляют, а значит, думаю, и моих современников тоже. Но напрямую я вопросов не задаю. Это несерьезно. Непрофессионально!

— Ну так смотрите, где вы — и где я! Я — простой репортер, которого повыгоняли из всех СМИ, а вы — классик, признанный во всем мире. Так что правота, как мы видим, на вашей стороне...

— Нет, просто я знаю, что есть вопросы, на которые нет ответов. Во всяком случае, современное человечество не обладает этим знанием. Я долго думала над Чернобылем — это же новый мир, новые отношения со временем, с пространством. И с животными — вторым миром. У нас нет знаний, чтоб дать ответы на эти вопросы. Я помню, как на острове Хоккайдо японцы говорили мне про мою книгу «Чернобыльская молитва»: «Да что вы, такого не может быть у нас! Это у вас, у русских, безалаберность, а у нас все просчитано!» Но я видела, что наше знание мгновенно стало кучей мусора. А потом я видела кадр из Японии, там пароход висит на чем-то, его выбросило на берег.

— А вот есть версия, что мы знаем гениев максимум второго ряда — Христос, Будда. Но есть еще мудрецы первого ряда. Они настолько умны, что им не о чем с нами разговаривать. Понимают, что бесполезно. Они жалеют Христа, который стал что-то объяснять, а его не поняли — судя по тому, как люди живут. Храмов настроили, а что толку? Короче, верховные мудрецы держат свое понимание — при себе.

— Их знание уходит в высшие миры? Вы любитель таких теорий. Вот была работа одного физика, там храмы описыва-

ются как центры дальней космической связи. Есть люди, которые считывают информацию, — несомненно. Я несколько раз с ясновидящими разговаривала, и мне показалось, что они знают что-то. Некое высшее знание им дано. Меня интересуют эти вещи... В моих книгах много иррационального. В «Цинковых мальчиках» есть рассказ одной матери. В тот момент, когда сына убили (ей потом его друзья рассказали все подробно, с точностью до секунды), ей показалось, что кто-то звонит в дверь. Она выскакивает — никого нету. У женщины умер по-настоящему любимый муж — а она в этот момент взяла в руку стакан — он ни с того ни с сего рассыпался. Почему-то раскололся горшок с цветами. Вот такие вещи... Меня интересуют эти знаки. Но — не в конспирологическом смысле.

— Значит, если к вам придет некая еще более высокая мудрость, вы перестанете публиковаться?

— Нет, нет. У меня такого никогда не будет. Потому что у меня хорошая крестьянская закваска!

— А Сэлинджер? Помните, как он перестал публиковаться? Имея славу и деньги? Как вы это понимаете?

— Я этого не понимаю. Мне кажется, это одиночество человека, пресыщение какое-то. Недоверие к обычной инерции жизни. А мне нравится просто жить!

Итого

— Видите, Светлана, я пытался вас расспрашивать, — хотя это вы — спец по разговорам с людьми. Наверно, я неправильно вас спрашивал, уж не обессудьте.

— Ну, вы серьезно подготовились к интервью, у вас вон вопросы записаны на бумажках... А вот я прихожу к людям без плана.

— Так с кем вы говорите — и с кем я! Вы простых людей с улицы расспрашиваете, кого попало, — а я-то к мировой звезде пришел, к нобелиатке!

— Да, да, да.

Смеемся.

ЮРИЙ АРАБОВ: «Литературы русской фактически нету»

Юрий Арабов для нас был сперва автором тонких стихов, и знал его узкий круг яйцеголовых; поэту непросто раскрутиться, если он не воюет с царем или с ЦК правящей партии. Но после он прогремел не стихами, но своими сценариями, из которых самые звучные — «Молох», «Телец», «Солнце». Это был выход на международный уровень, — а как еще расценивать приз Каннского фестиваля.

Как художник Арабов интересен еще и тем, что не следует за киномодой: так, он принципиально избегает описания сцен насилия в своих сценариях. Бежит от моды — а все равно славен и успешен.

Юрий Николаевич Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. Пишет стихи с 1972-го, печатается как поэт с 1987-го. Окончил ВГИК, с 1992 года работает там — заведует кафедрой кинодраматургии. Член Союза кинематографистов, Союза писателей и Русского ПЕН-центра. Член редколлегии журнала «Киносценарии». Получил премии: «Золотой теленок», Каннского кинофестиваля (за лучший сценарий, 1999), фонда «Знамя» (1999); «Медный всадник» (2001).

Автор книг стихов: «Автостоп» (1990), «Простая жизнь» (1991), «Ненастоящая сага» (Париж, 1992). Издал книгу эссе «Механика судеб» (1997) и роман «Флагелланты» (2006). Произведения Арабова переведены на английский, польский, финский, французский языки.

Фильмография:

1987 — Одинокий голос человека

1987 — Скорбное бесчувствие

1988 — Дни затмения

1988 — Господин оформитель

1990 — Николай Вавилов

1990 — Сфинкс

1992 — Присутствие

- 1992 — Сердце не камень
- 1999 — Молох
- 2000 — Телец
- 2002 — Игра в модерн
- 2004 — Солнце
- 2005 — Дело о «Мёртвых душах» (сериал)
- 2005 — Доктор Живаго (сериал)
- 2006 — Ужас, который всегда с тобой

ВГИК

С Юрием мы познакомились несколько лет назад в ресторане. Там за ужином собралась группа товарищей, желающих экранизировать «Тараса Бульбу», — до того как за дело взялся знаменитый режиссер Бортко со Ступкой-Бульбой. В нашем случае ничего не вышло, концессионерам не удалось договориться. Один хотел рабски следовать книге. Другой предлагал сделать Бульбу и сыновей чеченцами, а действие перенести в XIX век, и чтоб парни учились в Питере, а папашу навестили на каникулах. Третий насчет чеченцев был согласен, но только чтоб это был самый конец XX века, а студенты приезжали в аул из Лондона...

Новая встреча с великим сценаристом прошла во ВГИКе, куда маэстро заехал из своей владимирской деревни (в которой старается проводить лето и осень) принять экзамены.

Пока я искал назначенный кабинет, встретил в институтских коридорах множество девушек, они гордо себя несли и грамотно подавали, будто это подиум.

— Вот, Юрий, ВГИК полон девиц, которые пришли за славой, для того чтоб президенты сверхдержавы ухаживали за ними, как, бывало, за Мэрилин Монро, — с чего ж еще было начинать беседу.

— Ну конечно, 90 процентов людей пришли сюда из-за честолюбия. А вот оставшиеся 10 процентов... Среди них есть довольно любопытные. Внутри у них некий нерв, струна, которая требует реализации.

— Им бы в таком случае в Литинститут — и после на чердаке сочинять нетленку в стол...

— Литинститут? Вы же знаете, что литератор у нас не может социализироваться. Он не может существовать на деньги от своих произведений. И вообще — какой смысл сейчас писать романы, если тебе на его написание и отделку потребуется полгода, не меньше, — и за это получить в итоге 500 долларов?

— Ну не пятьсот, а две тысячи.

— Да хоть и две тысячи — за полгода работы разве много? Да и то две тысячи — это очень хорошая ставка.

— А сценарий худо-бедно стоит...

— Не хочу обсуждать.

— Сами знаем: от 10 000 до 100 000 долларов.

— Примерно так. На эти деньги уже можно существовать!

— А вы чему учите студентов, какое кино делать — кассовое или авторское?

— Нет, нет. Я учу общим законам драматургии. Которые нам достались от античности. Но, естественно, в приложении к современному кинопроцессу. Я не настаиваю на том, чтоб студенты делали кино такое или этакое, — пусть делают что хотят. Мне все равно, что это такое будет — Бергман или Спилберг. Решат сами. У нас только требование общее для профессии: чтоб в сценарии были завязка, кульминация, развязка и причинно-следственная связь.

— Вы тут созвучны Сельянову, который спродюсировал фильмы «Брат» и «Брат-2». В ремесле он вообще не по части идей и морали, просто делает кино, которое люди хотят видеть, и все.

— Я не могу с Сергеем солидаризироваться. У нас другое. Я в преподавании стараюсь не навязывать людям свои взгляды... Но считаю, что любое кино должно иметь гуманистическую содержательную сторону. Я против расчлененки на экране. Я вообще против насилия в кино, против понимания монтажа как соединения сцен, связанных с насилием и сексом. Конечно же, против.

— А помните эти разговоры о том, что сейчас во ВГИК уже не попал бы талантливый парень Вася Шукшин из алтайской деревни...

— Вы знаете, к нам на факультет Вася Шукшин может попасть. Другое дело, что я не могу отвечать за все факультеты — но о фактах взяток, если вы об этом, я не знаю.

— Я не об этом... А о том, что тогда деревенский парень мог завоевать Москву...

— Конкурс у нас большой, десять человек на место. (Хотя это ничто по сравнению с актерским факультетом, где сто человек на место.) Но все-таки у нас есть тринадцать бюджетных мест на дневном и еще пятнадцать на заочном, так что у Васи Шукшина и сейчас был бы шанс, все равно — с точки зрения финансов. Но, конечно, мы по своей человеческой близорукости, свойственной каждому из нас, можем проморгнуть этого Васю Шукшина! Тут все упирается не в коммерческую ситуацию, а в нашу близорукость, но это уже другая история.

— Эх, какие у вас во ВГИКе в старые времена были закрытые показы! Я ходил, проникал как-то, протыривался... А теперь наоборот — вдруг стало можно купить все диски, все фильмы в подземных переходах.

— Не все. С киноклассикой в переходах по-прежнему сложно.

— Вы просто давно в них не спускались. Всё уже есть! От Орсона Уэллса до полного Бергмана. В интернете можно что угодно скачать.

— Я хочу заступиться за наших пиратов. Конечно, пираты есть пираты, — но они издают много киноклассики, которую за рубежом надо специально заказывать. Они издали весь корпус английской бит-музыки шестидесятых, которую трудно даже купить в Великобритании. Продвинутые люди! У них всё есть. Если порыться на их развалах, можно найти фильм типа «Вторжение похитителей тел», это очень популярная американская фантастика, очень плохая — но она показывает, откуда растут ноги у фантастического американского кино. Это интересно, это здорово! Идиотско-дурацкая картина, но любопытна в историческом контексте.

— Я вот вспомнил, что ВГИК среди прочего славился своими пьянками. А вы не пьете. С чем это связано? Вам и так хватает накала жизни? Или...

— Мне накал жизни не очень требуется, я же писатель, мне нужна скорей сосредоточенность. И пожалуй, отсутствие каких-то накалов, чтоб я мог что-то написать. Ну а вообще я красное вино пью, и мне этого достаточно.

— А, вы не пьете в серьезном смысле слова.

— Я не страдаю запоями.

Начало

— Юрий! Вы действительно, как про вас рассказывают, в нежные годы слали письма Beatles с просьбой прислать вам диски?

— Было дело. Мы с другом написали такое письмо, — но, думаю, никуда оно не ушло. А в более позднее время я пытался связаться с Джорджем Харрисоном, в тот период, когда у него была своя студия и он финансировал фильмы (в частности, картину Терри Гильяма «Бандиты во времени»). Удалось связаться только с офисом, а с самим не вышло поговорить. Была мысль, чтоб он нам дал денег на кино...

— Beatles оказались недостижимы — так же как и Ленин, портреты которого вы вклеивали в свой альбом.

— Было такое. Моя семья пострадала от репрессий во времена Сталина, как у многих людей того времени, и я противопоставлял черное белому. Сталин — черный, а Ленин — белый. «Если б Ленин знал, как Сталин искажил дело Ленина», в таком духе. Я рос без отца. А потребность в нем была. Ленин же был отцом всех пионеров и октябрят. Еще была злодейская смерть Ленина от, как нас учили, отравленной пули. Ленин — жертва, Ленин — хороший, Ленин — отец, — все это заставляло меня, мальчика лет восьми-десяти, вырезать его портреты и клеить себе в альбом.

— И это все притом, что вы, судя по всему — по тому, какой вы сейчас, были продвинутом мальчиком.

— Я — нет, не был продвинутым. Продвинутым я стал уже после школы. А в школе был хулиганом и прогуливал уроки, с трудом получил троечный аттестат. С трудом превеликим. Моя любимая книжка была про Незнайку. Еще я читал про Винни-Пуха и про Тома Сойера. Из школы я вы-

шел совершенно таким хулиганом, я не знал, что делать, собственно. По тому, как у меня всё шло в школе, до тюрьмы было недалеко.

— Ленин, ваш некогда любимый, тоже в тюрьме сидел.

— Закончил школу... В армию меня сразу не забрали, я был единственный ребенок у матери, а тогда давали отсрочку единственным детям. Мама сказала: «Я год тебя прокормлю, только ты читай книжки». Я начал читать... Прочел весь корпус русской литературы и много из зарубежной, философию — от древнеиндийской до Гегеля. И что-то в душе сдвинулось. Потом я два года работал на студии Горького киномехаником. После поступил в институт, и за пять лет эти стены из меня что-то сформировали. Тогда ВГИК был очень интересен... Здесь преподавал, в частности, Мераб Мамардашвили, — я у него учился. В институте не было запретных тем! У нас, например, был семинар по Бродскому, по запрещенному поэту, который вела Лидия Звонникова, — вы представляете, как она рисковала? В 1978-м я познакомился с Сокуровым, сделали мы первую картину нашу, «Одинокий голос человека», — и моя судьба перевернулась. Что ее перевернуло, Божий промысел или книги? Не знаю...

Деревня

— Известно, что у вас был конфликт с коровой, когда вы ее доили.

— Было такое. В деревне, в Ярославской области, когда меня учили доить.

— Это вам надо было для съемок, для написания сценария, вы так изучали жизнь?

— Нет, просто у меня был период опрощения. Раньше страна была крестьянская, и, чтобы понять ее культуру, я решил окунуться в крестьянский быт. Копал картошку, делал еще какой-то крестьянский труд. Подступался к корове — но это было малоудачно.

Он смеется.

— И она вас того, копытом?

— Нет, она меня ничем не ударила. Только хотела лягнуть.

— И долго вы так опрощались?

— Лет пять. Но не непрерывно: я полгода жил в Москве, а полгода в деревне.

— Удалось опроститься?

— Я тогда понял на своем уровне крестьянскую жизнь. В основном же я там писал. Стихи. Тот период закончился, но я все равно, чтоб чувствовать пульс страны, пытаюсь по полгода жить вне Москвы, — насколько позволяет служба.

— У Пушкина была Арина Родионовна, после Горький возил ваших коллег на Беломорканал, Союз писателей отправлял своих членов в творческие командировки, а вы — в деревню...

— Арина Родионовна? У меня была баба Лиза, которая мне сказки рассказывала. Она русская крестьянка из Тверской губернии. Сейчас время не для Пушкина и не для Горького, а скорее для Михаила Леонтьева.

— Тоже своеобразный автор. Вот вы говорите про ваш дом во Владимирской области. Это что — настоящая деревня?

— Нет, это поселок обычный дачный рядом с деревней, возле водоема. Я там пишу. Написал недавно большой сценарий, который для меня крайне важен. Пока непонятно, кто его будет ставить. Вот отправил его Кириллу Серебренникову, не знаю, какой будет ответ. Параллельно с этим пишу роман. Ну, роман — это чтобы не потерять квалификацию литератора. А сценарий для меня важный...

Сценарии

— Что в этом сценарии, если не секрет?

— Он называется «Чудо»... Не буду раскрывать карты, скажу только, что он посвящен одному мистическому событию, которое произошло в Куйбышеве в 1956-м. Я слышал о нем от бабушки, но думал, это просто ее выдумка. А недавно мне в руки попали документы, в том числе и протокол совещания в обкоме партии. Так вот есть документальные

подтверждения тому, что те события действительно случились. И я сделал из этого историю о вере, о безверии, о том, что даже когда человек видит воочию чудо — он все равно в него не верит.

— Тут сказался ваш углубленный интерес к христианству...

— Да. Не знаю, правда, кому этот сценарий понадобится...

— Ну, сейчас же Лунгин застолбил «божественную» тему. Своим «Островом».

— Лунгин застолбил отчасти с моей подачи. Потому что сценарий «Острова» написал мой ученик, мой выпускник — Дима Соболев, замечательный талантливый человек. В какой-то степени по моей инспирации.

— Вот оно как!

— Я ребятам все время говорил, что первый фильм, который коснется темы православного священника, — он попадет в десятку! Он сорвет всю кассу! Для меня это было понятно с середины 90-х годов. Я предлагал эту тему своему режиссеру Александру Сокурову, но это его не заинтересовало.

— Ну, он человек более абстрактный.

— Да.

— Как раньше говорили, у него «абстрактный гуманизм».

— Да, да. А Дима смог это сделать.

— Смог, смог!

— Он написал замечательный талантливый сценарий, а Паша его замечательно поставил. А то, что я написал, не имеет никакого отношения к фильму «Остров».

— Помните, «Остров» ругали — он якобы неправдоподобный.

— Ну, с исторической точки зрения там многое не соответствует действительности. Тогда, в войну и после войны, это была приграничная зона, в которой не было ни монастырей, ни монахов. А монахи если и были, то только тайные. И вот в фильме ситуация девяностых годов перенесена в сороковые — семидесятые. В этом, да, неправда. Но, поскольку это художественно убедительно, это трогает зрителя — то это оправданно.

— Вы плотно работали с Сокуровым.

— Да... Мы много с ним дерьма перехлебали... Мы с ним связаны, хотя сейчас работаем порознь.

— В кино на одном полюсе — вы с Сокуровым, а на другом — Балабанов. Нет тут конфронтации? Вы антагонисты или кто?

— Вы знаете, я думаю, цель у нас одна — выразить то, что волнует. Но — разными средствами. Балабанов выражает это средствами монтажа аттракциона, связанного с насилием. А мы пытались описаний насилия избежать, и потому картины наши некоторым кажутся скучными. Если на экране расчленяют тело, то это всегда бьет по нервам. А если не расчленяют — то, естественно, это иначе действует...

— Вы сами выбрали этот путь.

— Не знаю я, выбирал ли я этот путь — просто так сложилась жизнь.

— Ну, с Балабановым ясно. А теперь расскажите про Тарантино. Хорош он или плох? Интересно узнать ваше мнение.

— Мне представляется во многом случайным успех «Криминального чтива».

— Почему же?

— Потому что «Криминальное чтиво» — очень значительная картина, там есть много уровней прочтения сюжета. Есть даже, как ни странно, моральный уровень прочтения! Все его остальные картины значительно хуже. Там или стеб, или спекуляция на насилии. Фильм «Криминальное чтиво»... Я вижу, какое впечатление он оказал на поколение молодых, — выходит, он значимый. Это любопытно...

— Помню, у вас был сценарий «Ужас, который всегда с тобой».

— По нему снят фильм. Поставил его начинающий режиссер Аркадий Яхнис. Это такая картина о потере интеллигенцией своего лица. Там история такая. Преподаватель института приходит домой — и выясняется, что вся его квартира забита военными. Они ходят по комнатам, завтракают на кухне, чуть ли не лежат в постели с его женой.

Он совершенно не понимает, что происходит. Первое время пытается выгнать их из своего дома. Они не уходят: им надо сторожить соседнюю квартиру, куда кто-то должен прийти, какой-то террорист. И постепенно мой герой, интеллигент, влюбляется в них. Ему уже не хочется читать лекции по психологии. Ему теперь интересно, как устроен автомат, что такое затвор, приклад и курок, как целиться и так далее. Военные все-таки оставляют этот дом, а в конце... застреливают моего героя. Вместо террориста, случайно. Я придумал этот сценарий десять лет назад, еще задолго до нынешних тенденций и событий.

— Еще страной командовали штатские...

— ...но уже было понятно, что придут военные. Это было придумано при Ельцине.

— Что, приход военных?

— Я говорю о сценарии.

— А.

— И никто его не брал. А сценарий — это настолько скоропортящийся продукт, что если он пролежит два-три года, то никому не будет нужен. Но оказалось, что этот сценарий до сих пор актуален.

— Ну, это еще надо уметь так написать!

— Для меня это скорее огорчительно. Потому что те вещи, о которых я пишу — их надо скорее переживать, чтоб они были пережиты страной и чтоб страна двигалась дальше. Я не знаю, какой получился фильм... Он снимался очень мучительно, потому что, поскольку режиссер молодой, денег не хватало, и сценарий снят не весь — но все-таки снят. Фильм был представлен на фестивале в Карловых Варах, в Москве на фестивале в программе «Перспектива» — и прокатится еще в Выборг.

— Вы как-то сказали, что главные сценаристы в стране — это политтехнологи.

— Да, конечно. У нас очень такая пиар-страна сейчас. Над победой в Гватемале тоже пиар-ребята поработали... Вот Олимпиада в Сочи — явно претендует на национальную идею... На семь лет у нас есть национальная идея. Думаю, что Павловский и Белковский...

— ...ваши коллеги-сценаристы...

— ...талантливые ребята. Но меня не покидает чувство, что они на чем-то проколются. Реальность глубже и шире наших замыслов и представлений, всегда какое-то шило вылезает. Я не верю в стопроцентную управляемость общества, даже при всех высоких технологиях. Не верю!

— А если людей мало и они размазаны по большой территории?

— Ну, пока получается. Технологии... Путин работал на контрасте с Ельциным. Молодой, малопьющий, спортивный, — а что там внутри? Это знают только близкие.

— Не можете вы выйти за рамки своего ремесла. Везде вам видится сценарий. Это называется — профессиональная деформация психики.

— Вот Путин летал на истребителе... — Арабов задумывается, наверно, он пытается понять, как это все придумывали его коллеги, сценаристы-политтехнологи.

— А вы б такой сценарий разве не смогли бы написать: приходит молодой непьющий парень в коллектив и начинает летать на самолете, на досуге. А?

— Безусловно, я мог бы такое написать. Но мне все-таки кажется, что сценаристам лучше бы работать в кино.

— Ну что — кино... А тут live show, типа «За стеклом», причем в Кремле. Разве не увлекательно?

— Увлекательно. Но это же живые люди, у каждого своя судьба. Возможны серьезные издержки... А в кино издержек меньше. Правда, мы развращаем аудиторию сценами насилия.

— «Мы» — это кто?

— Кинематографисты многие...

Распятие

— Я слышал, вас звали писать сценарий фильма «Мастер и Маргарита». Вы спросили, будет ли там сцена распятия. Узнав, что точно будет, отказались.

— Был такой разговор.

— Это вы по религиозным соображениям так решили?

— Нет, не по религиозным. Просто я считаю, что на экране это всегда выглядит искусственно, нарочито и пошло. Не знаю практически ни одного фильма, где была бы показана адекватно эта трагедия, которая произошла 2000 лет назад на Святой земле. Мне не нравится фильм Гибсона, где в течение двух часов перед нами бои без правил. Все остальное мне тоже мне мало нравится.

— А Безруков?

От отвечает после паузы:

— Без комментариев. Безруков — хороший актер, он может перевоплощаться. Я сейчас посмотрел не очень удачную картину про Пушкина — так в некоторых местах у Безрукова Пушкин очень приличный. Очень приличный! Безруков все может сыграть. Но на кресте он... малоубедителен. Когда мне предлагали, не было еще речи о Бортко. В общем, я понял, что просто может получиться стопроцентная спекуляция, а мне на религиозных чувствах не хочется спекулировать. Фильм Бортко — приличный вполне, но само распятие такой же вампукой остается в этом фильме, как и в большинстве других картин. Когда актера, загримированного под Христа, прибывают к кресту гвоздями — мне кажется, это пошло.

— Вы думаете это выше человеческих сил — показать такое достойно?

— Это в человеческих силах. Но, как правило, кино делается на скорую руку, людьми, как правило, алчными, которые думают не только о съемке, но и о гонораре, и о том, чтобы вывести главного актера из запоя...

— ...и за главной актрисой поухаживать...

— ...и так далее, и прибить гвоздь (!)... Много разных проблем на съемочной площадке. Так что, как правило, глубокие духовные вещи удаются редко. Тарковский был одним из немногих глубоких режиссеров, но и у него распятие в «Андрее Рублеве» (помните, там был русский зимний Христос?) — по мне, момент не самый сильный.

Про Гитлера

— Была тема, что японцы и немцы после ваших фильмов про Гитлера и Хирохито обиделись, вы будто бы оклеветали эти страны и народы. Международный, значит, случился резонанс.

— Я был на просмотре «Молоха» в 2000 году на фестивале в Потсдаме. И видел, с каким болезненным усилением смотрели эту картину немцы и как им было тяжело говорить об этом фильме. Это явилось для меня откровением — насколько этот персонаж живой для нации! И сколько боли с ним связано! Меня это порадовало. Если есть боль и сопереживание истории, то, значит, она не забыта и из случившегося сделаны какие-то выводы. Я хочу сказать, что после нашего «Молоха» хлынули фильмы о Гитлере. Была сделана немцами прекрасная картина, которая у нас в прокате называется «Бункер».

— Советуете посмотреть?

— Да. Это очень приличная картина. На только отзвучавшем Московском фестивале была показана комедия о Гитлере. Была еще американская картина о юности Гитлера. Я думаю, что отчасти в этом наша заслуга. После десятилетий молчания все-таки мы сделали картину, замеченную на Каннском фестивале. Это что касается немцев и Гитлера. В Японии, я слышал, тоже есть какая-то обида, но подробностей не знаю. Про это лучше спрашивать Сокурова, он в Японии свой человек, много раз там бывал и знает хорошо японскую культуру.

— Насчет Гитлера: уважаемый автор Норман Мейлер написал про Гитлера книжку. Я на нее накинулся, автор-то сильный, — а там какая-то лажа: типа дьявол отслеживает эмбрионы предков Гитлера, идет жесткий наследственный инцест... Просто бразильский сериал какой-то, только наоборот.

— Я думаю, что для русской традиции показ зла не требует показа инцеста. Потому что у нас все зло — в подпольном человеке, который сидит где-то на чердаке или в подвальном

этаже и задается вопросом: человечеству ли исчезнуть — или мне сегодня чайку не попить? И он решает, что лучше ему чайку попить, а человечество пусть погибает.

— Тем более в русской деревне глава семьи часто покрывал снох. Инцест — нешто это страшно?

— Нам не надо романтического антуража в понимании зла, потому что у нас — традиция Достоевского.

Политика

— Вот вы сняли кино про немецкий фашизм. А про русский что скажете?

— У нас в национальных чертах характера есть национальная кичливость.

— Есть, есть.

— Но национальная кичливость есть и у других наций. Важно, чтоб она рационализировалась в каких-то приемлемых формах, чтоб это была не кичливость, а патриотизм, зрячий патриотизм, — это когда люди знают свою историю, знают падения нации, знают взлеты нации, видят какую-то перспективу у страны.

— Вы как-то слишком многого требуете...

— Не знаю, слишком ли многого. Американцы ведь тоже кичливы. Не знаю, что с ними будет дальше, но смогли же сделать этот плавающий котел для культур. Они остаются одной из ведущих наций.

— Теперь у них Ирак. Нет бы извиниться и уйти оттуда, так нет!

— Думаю, с Ираком — это издержки демократии. Как говорил, по-моему, Бердяев, это надо, конечно, уточнить (пусть читатель сам уточняет, если ему надо, пусть он лично проследит за ходом арабовской мысли. — И. С.), он, кажется, кого-то процитировал: «Демократия — это очень плохо, но ничего лучшего пока не придумано». Я думаю, что просто американцам очень сильно не повезло с двумя-тремя последними президентами. Тем не менее они сотнями тысяч собираются на демонстрации и требуют ухода из Ирака, и я уверен, они добьются своего. Другое дело — того, что

Америка натворила в Ираке, уже не поправить. Ужас, ужас! Такие грехи! Но все-таки — какое кино мы смотрим? Американское. Оно остается законодателем...

— Да, да! Расскажите про это!

— Прекрасная индустрия, прекрасно профессионально отлаженная. Там есть место и для коммерческого кинематографа, и для авторского, для таких режиссеров, как Джим Джармуш. Театр интересен американский, литература интересна американская — так что нельзя сказать, что эта нация находится на изломе. Они как-то умели — и сейчас пока умеют — рационализировать различные культуры в себе и зарядить их американской мечтой. Мы должны тоже рационализировать! Конечно, мы должны препятствовать шовинизму, потому что у нас патриотизм — почти всегда в шовинистической оболочке.

— Тем более что русских в России не так много.

— По официальным данным — 80 процентов, но...

— Да, да! При царе было едва пятьдесят, и вдруг — восемьдесят... И это притом что русские при советской власти особо не плодились. В отличие от некоторых.

— Конечно, конечно — не могло вдруг из пятидесяти процентов получиться восемьдесят! Безусловно не могло. Кстати, перепись, которая у нас прошла несколько лет назад, — очень загадочное мероприятие. Вот ко мне домой переписчики не приходили! И я сам пошел к ним на пункт, чтоб исполнить свой гражданский долг, и переписался.

— Вы какую себе пятую графу поставили?

— Наполовину — по отцу — я русский, а по матери грек; но я православный, я связан с культурой — естественно, я записал себя русским.

— Русских мало, да к тому ж, как вы часто пишете, страна разрушена! И народ известно в таком состоянии! Чистейшей воды Веймарская республика...

— Да, сколько издевательств... За 100 лет трижды государство рушилось. А репрессии? Революции и гражданские войны, а после еще и девяностые годы... Что творилось с человеком?

— Вот, вот. Иногда даже высказывается мнение, что, может, лошадь уже надорвалась...

— Давайте не будем такими мудрыми ветеринарами, которые эту лошадь усыпят и отвалят к другой лошади. Другой лошади нету у нас. У меня нет возможности никакой сменить под собой лошадь, и поэтому я держусь за эту лошадку. Надорвана она, ребра торчат, но все-таки мы будем надеяться, что она еще попашет. Потому что я не представляю себя без русской традиции гуманитарной, без православия, без леса... Притом что лес вырубается, а православие все больше становится государственным идеологическим институтом, что не очень хорошо. Литературы русской фактически нету... Но тем не менее мы живем, существуем еще... Хотя меня очень беспокоит все более видимое двухклассовое устройство общества, — класс чиновников и все остальные. Это беда...

— Раньше было то же самое, только чиновники были дворянами в основном.

— Это правда. Но современным обществом это нельзя назвать. Но будем жить, будем стараться.

— Так что, можно восстановить народ?

— Нам нужно лет тридцать-сорок без революций, без войны, без репрессий — чтоб все утряслось, устаканилось, чтоб появилась надежда, реально обоснованная. Нас всё бросает между двумя полюсами — хаосом и диктатурой. Нам нужно как-то между пройти.

— В промежность попасть.

— В промежность попасть, да! Это очень трудно. Потому что 90-е — это хаос, очень тяжелое время, его большинство людей вспоминает крайне неодобрительно. А сегодня у нас тенденция к авторитарности. Но это еще не тоталитаризм...

— Каким вы себе представляете золотой век России? Какой должна стать страна, чтоб такой интеллигент, как вы, был доволен жизнью и устройством вселенной?

— Золотой век России... Это я вижу так. Страна населена образованными людьми. Сбит вал преступности и коррупции, они введены в какое-то русло. Развитие идет на демократических основах: есть общество, есть независимый суд, разные ветви власти, которые друг друга контролируют.

— Чтоб только Россия не стала исламским государством.

— Я надеюсь. Хотя — кто знает?

— Вас можно противопоставить Лимонову. Вы оба говорите, что жизнь в стране разрушена, что все не так. Но выводы у вас разные.

— Лимонов — человек очень социально активный и политизированный. У него есть своя тема, своя струна и своя стезя. Я к этому не приспособлен — быть революционером. Если Лимонов чувствует к этому приспособленность — то дай ему Бог. Но, с другой стороны, если бы Лимонов, представим себе, стал руководителем государства... Он бы при всем своем богатом жизненном опыте увидел, что и его представления о России достаточно поверхностны. Что демократии в России нет не только из-за чиновничества, ее и внизу нету, у людей, на уровне коллектива, на уровне каких-то химий внутри человека. Когда б он с этим столкнулся, он бы спросил: «Елки-палки, а как же править такой страной?» Но Лимонов прекрасен на улице! То, что он делает, — нужно обществу. Нужен радикализм! Нужен человек на улице, чтоб пугать чиновников и бюрократов! (Но только чтоб всё в рамках закона.)

— И олигархов — тоже пугать? Одного вон законопатили... (Имелся в виду Ходорковский, который на тот момент сидел. — *И. С.*)

— Ну, тут история совсем грустная...

— Вот Путина публика заставила в какой-то момент выгнать кавказцев с рынков. Пришлось ему это сделать!

— Человек не может быть самостоятельным даже на самом верху. Он же опирается на коллективное бессознательное страны! Которое толкает на определенные вещи!

— И — всё...

— И всё!

— Это я вас расспрашиваю как эксперта по вопросам руководства государством.

— Меня, человека, который больше чем кафедрой не управлял?

— Привет, а сценарии про Гитлера и Ленина вы писали?

— Писал...

— Ну вот теперь и отвечайте.

— А, в этом смысле... Коллективное бессознательное сильно ограничивает действия верховной власти. Склонность низового человека к анархии толкает верховную власть на закручивание гаек. Другое дело — надо вовремя остановиться. Если перекрутить — резьба сорвется.

— Да-а-а... Вот вы говорите: император Хирохито отрекся — и сразу Япония пошла верной дорогой.

— Это художественная идея, гуманитарная художественная идея. А как было на самом деле? В результате победы коалиции там случился геополитический переворот. Американцы сделали из Японии другую страну. Они даже навязали японцам другое питание, из-за чего японцы вроде даже подросли на сколько-то сантиметров. Важно, что Макартур препятствовал аресту Хирохито, хотя на этом настаивал Сталин и отчасти Трумэн. Но Макартур не дал тронуть императора, за это японцы были страшно благодарны и даже приняли конституцию, которую написали для Японии американцы.

— И после эти идиоты повесили Саддама.

— Ну, страна может находиться на взлете — как Америка в сороковые, и может в каком-то пике, как сейчас.

— Вовремя вы сказали, что с Хирохито — у вас не более чем образ. А то уже я хотел с вас строго спросить: а вот и Николай Второй отрекся, и что? Хотел вас призвать к ответу.

— А я бы выкрутился следующим образом. Дело в том, что Хирохито отрекся от своего божественного статуса (императоры Японии, как известно, считаются потомками богини Аматэрасу.) и объявил, что теперь он — обыкновенный человек.

— Отрекся от матери!

— Да. Но статуса императора не складывал с себя. И оставался в должности императора до 90-х годов. А с Николаем — другое...

Деньги

— Вот в старой России Бунин нормально зарабатывал.

— У нас литературой писатель ничего не может заработать.

— А Маринина?

— Может, Маринина и Акунин смогли поставить дело на такие индустриальные рельсы... А так — невозможно, приходится заниматься еще и сценариями.

— Но случайного же нет ничего. Если у нас не платят ни писателям, ни учителям, то это может означать только одно: государство взяло курс на то, чтоб свернуть русскую культуру. Какой-то же должен быть в этом смысл.

— Если так, то это будет означать полную нашу гибель в ближайшем будущем. Отсутствие образования — это отсутствие будущего.

— Ну так раз не платят, значит, ничего и не будет.

— Мы, общество, должны требовать чтобы платили. У власти, у которой есть деньги.

— Ага, власть вам должна занести денег за сценарий, где военные убивают интеллигента. За «Ужас, который всегда с тобой».

— За такое не платят.

— Вот видите.

— Ну платят, но мало, хотя и больше, чем за литературу! Но тем не менее — люди начинают богатеть. Я это не по Москве сужу, а по провинции. Я вижу... Мы с женой прошлой осенью поехали в Италию. Очень люблю эту страну, заработал каких-то денег, мы поехали и всё спустили, хорошо жили. Мы жили на побережье Тирренского моря, в рыбацком поселке в 100 км от Рима. Там в отеле рядом с нами были средние предприниматели (строительный бизнес, аграрный, еще какой-то) из русской провинции — Воронеж, Самара. Я с ними говорил. Они очень поддерживают то, что происходит, — власть дает им заработать! Они довольны жизнью. Для меня как для человека, который всем недоволен, это был серьезный урок. Ладно Москва, тут из воздуха делаются деньги и в воздух же уходят, какая-то девочка,

которая наливает шефу чаёк, может за это 2 000 баксов получить. Но — и в провинции люди богатеют! Во Владимирской области появилась масса импортных машин! Человек, который на двух ногах и с руками, — может что-то заработать. Да хотя бы преподавать. Я не очень заинтересован в зарплате, которую мне платят во ВГИКе, я тут работаю из интереса. Но если б не сценарии, я бы, конечно, преподавал в нескольких местах! И тоже были бы деньги на жизнь...

— Сегодня смотришь — кругом студенты на старых «жигулях». Это когда ж мы студентами покупали старые «жигули»?

— Да никогда. Сейчас объективно уровень жизни стал возрастать у многих людей. Думаю, в конце концов должна у людей появиться потребность в образовании. И государство должно понять, что без образования ничего не будет. Когда придет это осознание — я не знаю...

— Если б вы фильмы по вашим сценариям снимали в Штатах, то вы бы уже были серьезным миллионером.

— Ну, я думаю, что был бы миллионером после одной или двух картин. А у нас эта ситуация исключена. Хотя, надо сказать, миллионер миллионеру рознь! Я заключил свой первый договор в 1980-м, как только закончил институт. И мне «Ленфильм» за заявку на две страницы заплатил 1200 рублей! Представляете? Даже 1250 рублей! И я вдруг почувствовал себя миллионером.

— И это чувство не проходит.

— Нет, это чувство давно прошло. Окончательно — в девяностые. Когда все деньги сгорели.

— Значит, была заявка — а дальше что?

— Дальше я написал сценарий, мне еще дали денег, всего — с заявкой — 5000 рэ. Но фильм так и не сняли. С чем сравнить те советские 5000 рэ — непонятно.

— Значит, больших денег нет. Есть дача во Владимирской области, еще что?

— Еще есть небольшая квартира. Машина есть, нормальная добротная, Honda CR-V. Есть какие-то деньги на жизнь. Но чтоб купить недвижимость за рубежом — таких денег нет и не предвидится. И не будет никогда.

— Мы смотрим на вас, всемирно известного автора, думаем, вот хоть кто-то зарабатывает, кроме чиновников и нефтянки. Но если уж даже у такого классика, как вы, нету денег — что ж, это действительно крах русской культуры. А если бы у вас, предположим, были серьезные деньги, — то что тогда?

— Я бы построил столовую для бедных. Другое дело, что пришлось бы давать большие взятки, — не думаю, что мне бы кто-то просто так разрешил. Я бы большие деньги отдал на благотворительность. Я согласен тут с Джоном Ленноном, который считал, что если появились большие деньги, то надо от них избавиться, промотать их или умереть. Миллионов у меня нет. Деньги у меня небольшие, кино-то некоммерческое. Но есть возможность давать друзьям в долг, не требуя отдачи. Не стану врать и говорить, что все деньги отдаю бедным — но что-то отдаю.

— Вам просто повезло, что у вас нет алчности, что вам не надо много денег.

— Я просто для этого не создан. Если я кинусь зарабатывать деньги и себя пиарить, то я очень быстро сгорю. Эмоционально. Для пиара нужны очень крепкие нервы. Я не знаю, у какого художника могут быть такие нервы, — черт его знает... А бизнесмены — это другие люди.

— А Михалков?

— Это один из немногих примеров совмещения.

Поэзия

— Хочу вас как поэта спросить о Бродском. Все чаще встречаются упоминания о том, что это надутый, пропиаренный, не очень хороший поэт.

— Это несправедливо, конечно. Надо понимать, что Бродский оказал решительное влияние на все поколение восьмидесятников. Нас еще называют восьмидесятирастами, но это не совсем справедливо. Бродский — изобретатель длинной строки в нашей поэзии. В эту строку прекрасно влезают метафоры и всякого рода сравнения. Кроме всего

прочего, Бродский — это культурный, начитанный человек, у которого есть тема сквозная: разочарование жизни.

— Красивый термин.

— «Безочарование Баратынского» — это, по-моему, Белинский так сказал. Надо проверить (и это я взваливаю на читателя — И. С.). И у Бродского — разочарование, скепсис, агностицизм; это все современно. Мне понятны сегодняшние попытки опрокинуть Бродского: народилась новая генерация поэтов, которая хочет за столбить свое место. Это нормальная ситуация, но она к Бродскому не имеет отношения. Бродский очень хороший поэт — только несколько не русский, в том смысле что безрелигиозный.

— И обманул он нас.

— Нас? Обманул? Нас не просто обмануть...

— Ну как же, «на Васильевский остров я приду умирать», а сам умер в стране НАТО.

— Ваша правда...

— Видите как — тюрьма, ссылка, высылка... Так получаются большие поэты.

— Ссылка, конечно, на него повлияла. Он увидел, что кроме питерской интеллигенции, которая пьет и рассуждает о Прусте, есть еще не-питерская не-интеллигенция, которая ходит в ватниках и пашет землю. Для него было очень полезно увидеть это.

— А вы и так видите во Владимирской области.

— Да, вижу! У меня как бы добровольная ссылка.

— Люди вашего калибра и направления тут и на Западе — это кто?

— Про Запад я ничего не знаю. А здесь... Я рос и как-то формировался с Алексеем Парщиковым. С Иваном Ждановым, очень интересным поэтом. Еще — Игорь Иртеньев. Нина Искренко, покойная. Кабаков, Пелевин, Сорокин — интересные писатели.

Отец

— Эта история с вашим отцом, который считался погибшим, а потом объявился...

— Он умер. Отец не принимал участия в моей жизни и потому не хотел со мной встречаться. Это его новая жена настаивала на этой встрече. Я бесконечно встречу откладывал, и отец умер без меня. Ситуация печальная... Мама говорила, что в 1966 году он умер, уехав в экспедицию. И вот через много лет он объявился...

— Вы еще долго сомневались — отец это или нет.

— По-моему, все-таки отец. Он перед смертью прислал мне старую фотографию, мою с ним, — думаю, это фальсифицировать невозможно. Какая-то история странная.

— Как будто из фильма Сокурова, снятого по сценарию Арабова.

— Произведениям вообще свойственно овещаться и материализовываться. Вот я написал сценарий «Ужас...» (мы про него уже говорили) — про то, как на чужую площадь пришли какие-то люди. А сейчас приходит мне казенная бумага, и там написано, что у меня в квартире еще прописана какая-то гражданка Голицына. Что за Голицына — никто не знает! То ли сбой в компьютере, то ли афера... Елки-палки, вот тебе и материализация сюжета сценария!

— Да, вам надо было написать про миллионера, молодого и красивого, который живет на своем острове и его все любят. Пусть это материализуется! Напишите же о счастье, красоте и здоровье!

— Хорошо.

АРКАДИЙ АРКАНОВ: «Путин смотрел мне в глаза»

Арканов-старший (отец тележурналиста Васи Арканова) в свои семьдесят пять чувствовал себя получше, чем многие молодые читатели. Из крепких напитков предпочитает водку, не утратил интерес к женскому полу, что уже неплохо, — но при этом еще и много работает. Он был врачом и лечил людей, ездил корреспондентом от журнала «Юность» по военному Вьетнаму, женился и рожал сыновей, отказывался работать на КГБ, дружил с великими, писал книги и вел телепередачи, смешил людей, зарабатывал приличные деньги и тут же проигрывал их на ипподроме...

Мемуары

— Аркадий Михалыч! То, как вы выглядите в вашем серьезном возрасте, внушает к вам дополнительное уважение... Расскажите, как и почему вы так сохранились. Какие вы тут можете дать советы? Может, вы нам расскажете, как жить?

— Я сейчас приступаю к книге, которая будет составлена по тому же принципу, по какому профессиональные шахматисты разбирают сыгранную партию. Вот начало, дебют, тут, на двенадцатом ходу, я сделал ошибку, а если б пошел так, то все б пошло по-другому. Здесь я побоялся пойти вот на эту комбинацию, потому что не просчитал все до конца, а может, и зря не пошел... Так я вроде разбираю свою жизнь... И всякие возможности, использованные и упущенные. Если б я совершил какие-то другие поступки, что бы было? Неизвестно... Вот в 1979 году вышел альманах «Метрополь», где я был одним из двадцати трех участников (там были два моих рассказа).

— Я вчера видел одного из участников, Виктора Ерофеева.

— Там еще были Аксёнов, Вознесенский, Высоцкий, Попов, Ахмадулина, Розовский... Когда мне предложили

поучаствовать, то я с удовольствием согласился — еще бы, в такой компании... А потом начался такой скандал! Видно, он для чего-то понадобился. Нас предлагали выгнать из России и все такое. Но через год все кончилось.

— А, к Олимпиаде-80.

— Наверно. Так вот, вскоре после выхода альманаха меня вызвали на Лубянку и неназойливо предложили посотрудничать.

— Вы, само собой, отказались. И как, в каких терминах?

— Термины были простые. Когда меня вызвали, стали говорить: «Мы вас знаем, вы патриот. В ЦДЛ часто бываете, вокруг вас интересные люди, интересно было бы знать их мнение о разном». Я сказал, что люди эти пьющие, интереса не представляют, мы болтаем в основном о шахматах (а я был председателем секции шахматистов Союза писателей). А почему, спрашивают, вы за границу не ездите?

— Да, в самом деле!

— Ну, это я знал. В марте 1963 года, накануне десятилетия со дня смерти Сталина, какие-то люди позвонили моему другу Васе Аксёнову и сказали, что на Красной площади будет митинг по случаю такого юбилея. И вот мы, Васины друзья в количестве девяти человек, поперлись на Красную площадь. А там никакого митинга. Но народ толпится. Мы стоим, а какие-то люди ходят и фотографируют нас прямо в упор. Мы посмотрели на смену караула у Мавзолея в 18.00 и отправились в ГУМ; среди нас была одна латвийская поэтесса, она хотела дочке что-то купить. Когда мы подошли к ГУМу, нас окружили подтянутые молодые люди и попросили пройти в отделение милиции. Там нас держали до одиннадцати вечера, а потом отвезли на улицу Горького, в дом напротив «Арагви», где сейчас книжный. На самом верхнем этаже там большой зал, где нас, задержанных, собралось человек сорок. Еще подержали и стали вызывать по одному. Меня — последнего. Сидит человек явно комсомольского типа и говорит: «Вы стали жертвой провокации, от которой мы решили вас оградить. Возможно, это была ошибка, что мы вас задержали, но это была, — сказал он, — святая ошибка!» Месяца через два после этого одна знакомая, у которой

был роман с полковником ГБ, передала мне, что я теперь невыездной.

— А куда в те времена ездили?

— Никуда.

— А, то есть вы никуда не ездили, не ездили, и вдруг стали невыездным.

— Ну не совсем уж невыездным. Я ездил в Болгарию — в Габрово, на юморины. И еще Борис Николаевич Полевой, главный редактор журнала «Юность», пробил мне командировку в сражающийся Вьетнам.

— И вы что, оттуда юморески слали?

— Какие юморески? Я был корреспондентом «Юности».

— А, понятно, вы обличали американскую военщину. Мы, кстати, ту войну тоже не поддержали — так же как позже и вторжение в Ирак.

— Я должен был смотреть там, что происходит. Мы же были в контрах с Китаем, а Вьетнам был весь под китайским влиянием. Там считалось, что в Советском Союзе ревизионизм. Советский посол там сказал нам: «Мы в осаде, ничего не видим. Нас никуда не допускают». А со мной из Москвы приплыл переводчик Марк Ткачев, который, поскольку переводил в свое время стихи Хо Ши Мина, был очень во Вьетнаме известен. Воспользовавшись этим, мы в Ханое пришли к секретарю по идеологии, и тот нам дал машину, охрану и велел нас пускать всюду. Мы ездили по стране два месяца. Я написал очерк. И еще, как договаривались, отчет в ЦК.

— Все-таки склонили вас к сотрудничеству.

— Отчет там не понравился. Я написал про то, что видел, а не что они хотели прочитать. Естественно, после этого отчета мой невыезд пролонгировался. И вот после всего чекисты меня спрашивают: «Почему вы за границей не бываете?» — «Это вы меня спрашиваете?» — «Ну как, вы же писатель, вы обязаны впитывать новые впечатления...» — «Да я с удовольствием!» — «Хотите поехать во Францию?» — «Ну!» — «Там у вас есть друзья среди эмигрантов, нам интересны их мнения...»

— Типа Париж стоит мессы или таки нет?

— Я им говорю: «Вы знаете, вряд ли я смогу вам быть полезным. Потому что я человек спокойный, не люблю никого расспрашивать. А то, о чем я буду там с людьми разговаривать, — это частные вопросы. Но что я вам могу обещать: если я что узнаю о заговоре против советской власти, немедленно вам позвоню».

— Я, кстати, тоже чекистам, которые склоняли к сотрудничеству, тогда говорил: узнаю что о подготовке нового взрыва в метро (помните, в восьмидесятом каком-то году был взрыв, дашнаки провели теракт?) — сообщу... А больше ничего.

— В общем, я отказался. Не то что я был такой бесстрашный, я понимал, что это плохо может для меня кончиться. Но я перехитрил их и ушел без последствий. Но некоторые люди, чтоб им не было плохо, соглашались и шли на это. Я знал таких...

Возвращаясь к описанию той вербовки. Чекист сделал паузу и сказал: «Этого разговора не было. Увидимся в ЦДЛ — мы незнакомы». Я его потом часто видел в писательском ресторане, он же отвечал за литературу. А через год прихожу в ЦДЛ, и один мой приятель зовет меня за свой стол, где среди прочих сидит «мой» чекист, и говорит: «Смотри, это мой друг, вот такой парень!» И мы официально познакомились: Аркадий, Володя, очень приятно.

Вот такую книгу я пишу... Она мемуарного плана. Там будет о встречах с людьми, которые меня поразили и повлияли на меня: Светлов, Смеляков, Винокуров, Райкин, — я долго могу перечислять. Тот же Борис Николаевич Полевой, название его «Повести о настоящем человеке» вполне применимо к нему самому. Несмотря на то что он был знаменем советской литературы, он был очень порядочный человек, и я ему многим обязан.

— А вот сравните времена те и эти.

— Конечно, с точки зрения формальной сравнивать пока очень трудно. Тогда действительно имела место магия страха, которая оказывала сильное влияние на людей. Сегодня нет такого жуткого общего страха и давления, нет страшного слова «партия». Но цензура — есть. Просто тогда она была откровенная, а теперь более скрытая...

— Рояль в кустах. Я думал, это народное выражение или кого-то типа Грибоедова или Гоголя. А оказывается, это ваша фраза!

— Это мы с Гришей Гориним придумали. В 1963-м мы написали пародию на останкинскую телепрограмму типа «От всей души», где всласть поиздевались над нашими телевизионщиками, приемчикам которых верят наивные люди... «Встать, суд идет!» И выходят хорошо загримированные свидетели... Театр! Так вот у нас в пародии герой сидит на лавочке в скверике. И телевизионщики его спрашивают: «А как вы проводите свободное время?» — «В свободное время люблю играть на пианино. Здесь в кустах случайно стоит рояль. Я сыграю вам на нем полонез имени Огинского». Звучит полонез Огинского в исполнении симфонического оркестра.

— Великая все-таки фраза — рояль в кустах!

— Да, она стала, как принято говорить, культовой, и я рад этому.

— За это можно дать медаль. Медаль в кустах.

— Нам давали призы только в Болгарии. Так эта книга начинается с фразы: «Я уже достиг такого возраста, что все чаще вспоминаю свою старость».

— Я когда шел к вам, меня терзала печаль, оттого что мне скоро полтинник. А теперь мне даже как-то неловко... Вот вы чем занимались, как жили, когда вам было пятьдесят?

— Так-так... Это 1983 год. Что было? В этом году у меня вышел первый самостоятельный (не коллективный) сборник, в издательстве «Советский писатель». Я был горд этим. И до сих пор в сборники «Лучшее» и «Избранное» вставляю две трети текстов из той книжечки. Причем то был не юмор, не сатира, а совсем другое... Там были повести и новеллы иронически-фантастического порядка. Тогда же в Париже вышел сборник моих новелл на французском языке, он назывался «Истинная ложь». Что еще? К этому времени, стало быть, моему сыну Васе было восемнадцать лет, он только что закончил школу и поступил к Ясену Николаевичу Засурскому, на журфак, который и закончил.

— Прежде чем уехать в Нью-Йорк учиться в Columbia University.

— Да... Это был очень безоблачный период... Но не в материальном плане. Благосостояния, как его сегодня понимают, у меня никогда не было.

— Но по тем меркам вы нормально жили?

— По тем? Я тогда развелся и разменял трехкомнатную квартиру: двушку отдал Васе и его маме, а сам поселился в однокомнатной. После выхода моей книги во Франции я на гонорар — на сертификаты — купил «жигули» и отдал своему сыну. Я вообще не думал о своем возрасте тогда, да и сейчас не думаю. Когда мне было семьдесят, один авторитетный милицейский чин из моих друзей...

— Авторитетный — значит, оборотень?

— Нет, не в этом смысле. Он говорит: «Хочешь, мы тебе паспорт поменяем? Поставим тебе шестьдесят лет или даже пятьдесят пять». Я отказался — ведь будут говорить, что по паспорту мне пятьдесят пять, а выгляжу я на семьдесят. Никого ж не обманешь. Главное не то, сколько тебе лет, а другое: искра азарта. Пока она не погасла, ты не старик! Азарт не только в игровом плане, и в творчестве без азарта нельзя. Если писатель пишет, значит, он хочет победить читателя. Ему нужно, чтоб хоть один прочел и пришел в восторг.

— Мы все заставляли нашего друга Валерия Гринберга записывать свои устные рассказы. А когда он их наконец изложил на бумаге, отнес на суд не кому-то, а вам. И вы якобы сказали, что такое не стыдно публиковать.

— Я и сейчас это говорю. У одних есть дарование, у других нет, это тайна, словами не объяснишь. Вот я пишу что-то, меня спрашивают: «Про что текст?» Если я расскажу подробно, то рассказ, может, и напишу, но это будет холодная конструкция. Инженерная, а не творческая. Так вот эта тайна у Гринберга есть.

— Что такое талант? Скажите, вы знаете.

— Я, как врач по образованию...

— Кстати, да, врач.

— ...скажу: талант, гений — это всё шизофрения. Но не та, с какой укладывают в клинику, а другая, которая идет на пользу. Талант, как и шизофрения, — это идея фикс...

— А что такое юмор?

— Это то, что отличает человека от животного. Хотя, может, у животных есть юмор, но мы его не понимаем, мы в другом измерении живем...

— Про вас говорят, что вы прекращаете отношения с людьми, если у них нет чувства юмора. Вы их вычеркиваете из своей жизни.

— Не вычеркиваю, но мне с таким человеком тяжело. Если человек не понимает юмора, это недостаток физиологический, интеллектуальный... Ну вот, к примеру, взять человека с одной ногой — могу ли я предложить ему пробежать стометровку? Не могу...

— Но вы можете ему спеть песенку «Хорошо тому живется, у кого одна нога», как вы это сделали в нежном возрасте. Юмор уже тогда бил из вас фонтаном.

— Это да. Дальше в песенке, которую я, не подумав, спел своему одноному однокласснику, когда мы с ним играли в шахматы, были строки: «И портошина не рвется, и не надо сапога».

— Это, наверно, было ваше первое выступление в жанре юмора, черного юмора? Мальчик расстроился?

— Да не то слово.

— И наверно, подумал, что вы фашист.

— И правильно подумал. Потому что я сам не понимаю бестактного юмора.

— Сколько вам было тогда лет?

— Десять. Мне казалось, что это смешно! Дети часто не понимают, что тактично, что нет...

— Да и взрослые вообще тоже не очень.

— Да... Процентом шестьдесят сегодняшних пародий построены на бестактности. Можно как угодно относиться к политикам, но спрашивается: зачем строить пародию на дефекте речи больного человека? Что, Брежнев специально так говорил? Он был болен.

— Болен — иди в больницу. А на трибуну не лезь. Смешить почтенную публику.

— Ну, это уже другое... А зачем смеются над родимым пятном Горбачева?

— Думаю, обыгрывают ту мысль, что-де Бог шельму метит.
— Однократно это шутка, может быть, и изящная, но бестактная и оскорбительная. Или вот шутки по поводу Ленина и Крупской...

— Мы с вами этого не понимаем, и потому у нас никогда не будет таких тиражей, как у желтой прессы.

— Это так...

— А помните, у вас был такой гэг: вы в школе подкладывали отличникам в портфель говно.

— Было один раз. В четвертом классе. Еще шла война, а я уже вернулся из эвакуации в Москву и учился в школе № 597 — это неполная средняя, на Соколе. Этот отличник был слишком образцовый, и мы его поставили немножко на место. Я до сих пор считаю, что это нормальная вещь. На уровне мальчиков легкая издевка.

— Кусок был большой?

— Ну сколько удалось подцепить. Мы с портфелем побежали к сортиру-скворечнику и там сделали вклад.

— Ну и как он?

— Возмутился.

— Потом он вырос, стал чекистом и отомстил — запретил вас пускать за границу.

— Нет, то был другой отличник.

Казино

— Вы потом это говно, как известно, обыграли в романе «Рукописи возвращаются». Эта ваша самая знаменитая книга написана про глубоко советский быт. С тех пор жизнь сильно изменилась...

— Да, с тех прошло много времени, этот романчик был напечатан в журнале «Юность» в 1986 году. Недавно один из моих знакомых сказал: «Это же была культовая вещь, сделай продолжение!» И я его написал по принципу «двадцать лет спустя». Полный текст я назвал «Джекпот подкрался незаметно». Самое интересное: люди, которые не знают, что та-

кое джекпот, думают, что это означает по-английски то, что подкрадывается незаметно.

— Название книжки очень неслучайное. Вы серьезно играете. У вас лудомания?

— Я люблю этот процесс, но игрок я несерьезный. Чтоб быть серьезным, надо иметь очень много денег, столько, чтоб их не считать. Таких, каких у меня нет... Я люблю играть, но играю очень осторожно. У меня своя методика... Сам я не лудоман, но знаю, как излечить человека от лудомании.

— Ну и как?

— Когда вы выиграли какую-то сумму, немедленно бегите и купите себе то, о чем мечтали, но не могли себе позволить. А теперь можете, и это не скажется на вашем бюджете! Завтра вы увидите, что у вас есть нужная вам вещь, а могли бы засадить все деньги.

— Неужели на кого-то подействовал этот наивный прием?

— Такое было!

— Мне кажется, вы про себя рассказываете. Только вы на это и повелись.

— Да, я. Но кроме меня было еще несколько человек, которые вняли моему совету! Надо понять, что нельзя путать казино с золотой рыбкой, которая исполняет желания, а себя — с Иванушкой-дурачком, который обладал безграничными возможностями.

— Другого народа у меня для вас нет. Раз уж вы остались в этой стране.

— Помнишь анекдот: «Человек мечтательно говорит: “Эх, если бы у меня было много денег!” — “Ну и что бы было?” — спрашивают его. Тот со вздохом отвечает: “Их бы у меня уже давно не было”».

— Сколько всего вы проиграли? Миллион?

— Нет, куда мне! Ну тыщ сто за все время. Казино для того и есть, чтоб человек играл и получал от этого радость. А когда вы видите человека, который коллекционирует бабочек, или картины собирает, или любит хорошо одеваться, вы же не учите его, как ему тратить свободные деньги...

- Но на бабочках не проигрывают квартиры.
- Ну, это уже болезнь.
- Так о чем и речь.
- Надо забыть о том, что в казино можно стать миллионером.
- Можно! Если ты пришел туда миллиардером...

Оранжевая тема

— Одна из ваших самых громких удач — это «Оранжевая песня».

— Мы ее с Гориным написали в 1964 году.

— Она отовсюду тогда неслась.

— Мы ее написали для грузинского эстрадного оркестра под управлением Константина Певзнера. Он написал музыку, а нас попросил сочинить слова. Певзнер нам объяснил, что этот проект делается для девочки восьми лет, которая потрясающе поет джаз. Ее имя Ирма Сохадзе. Она, кстати, сейчас жива-здоровая, живет в Тбилиси, стала известной телеведущей. Как и многие в Грузии, страшно переживает по поводу того, что отношения между нашими странами испортились. Она страдает из-за этого нравственно. А песню до сих пор поют! Настя Стоцкая стала лауреатом в Юрмале, исполнив именно эту песню. И Марина Влади ее пела... Когда в Киеве был Майдан, песня стала неофициальным гимном оранжевых. Один депутат рады даже предложил сделать меня народным артистом Украины.

— И?

— Слава богу, это не восприняли всерьез.

— Ну да. А то б вас выслали из России.

— У меня был бы шанс стать президентом Украины.

— Не, по пятой вы бы не прошли.

CRYSTALинская

— Недавно по ТВ прошел очень тонкий сюжет про вашу первую жену, Майю Кристалинскую. Вы там так тепло про нее рассказывали.

— Она была удивительно талантливым и одаренным человеком. Притом что не имела никакого музыкального образования.

— В отличие от вас.

— А что было у меня? Два класса музыкальной школы по классу виолончели.

— У других не было и этого.

— Но, как видите, выясняется, что можно и без образования.

— Вы с ней недолго прожили.

— Полгода. А потом расстались. Без ссор. И сохранили хорошие отношения.

— Говорили, что вы на ней женились на спор.

— На спор? Это не было спором... Все было иначе. Я услышал, как она поет...

— О, я тоже помню этот голос...

— Это было в ЦДРИ, играл оркестр под управлением Саульского, а она пела — великолепно. Я до сих пор люблю женщин с хорошим музыкальным слухом.

— А ноги и все такое прочее?

— Плюс она была очень хорошенькая. Я на нее запал. И мой друг Юрий Кадашевич, он не даст соврать, говорит: «Аркан, а слабо тебе жениться на ней?» — «Не слабо». И так случайно получилось, что мы познакомились, и я на второй день сделал ей предложение.

— Со мной такое тоже бывало... (Два раза.)

— И она согласилась. Это был 1957-й, я закончил уже мед, а она — МАИ и работала в КБ у Яковлева. Она была старше меня на год. А через полгода стало ясно, что это ошибка.

— У вас осталось чувство, что это трагедия всей жизни?

— Нет. Ошибка не была трагической. Это было — и прошло. Я был тогда никем, и она никем.

— Кто был никем, тот станет всем.

— Потом она стала великой певицей. Она с самого начала подавала надежды, я был рад ее успеху. Она его заслуживала.

Вася и Пьер

— Еще одно громкое ваше произведение уровнем не ниже «Оранжевой песни» — это ваш сын Вася.

— А. Надеюсь, что это лучшее мое произведение. Ему в тягость эти телерепортажи, хотя он делает их очень профессионально. И поэтому он сейчас контракт с НТВ наполовину сократил. Он литературно очень одаренный: сделал прекрасный перевод романа «Полная иллюминация». Это литература высочайшего класса. Недавно Вася перевел еще один роман, который скоро выйдет, того же автора. Думаю, что Вася на пороге создания своего собственного романа. Ему сейчас сорок, уже пора...

— А вы чем занимались в его годы?

— Это был, значит, 1973-й... Мы с Гришей в том году сделали в Театре Сатиры замечательную работу, она стала брендом: «Маленькие комедии большого дома». Смешная пьеса. По содержанию она не соответствовала тому времени, но тем не менее каждое 7 Ноября ее запись крутили по ТВ. Там же были такие великие актеры! Миронов, Державин, Ширвиндт, Папанов, Пельтцер... Кстати, 1973-й — это был последний год нашей совместной работы с Гришей Гориним. Мы решили разбежаться. Это не было ссорой. Просто мы стали себя ловить на том, что самое лучшее, что каждый из нас придумывал, он не вываливал в общий котел, а берег для себя.

— Может, Ильф с Петровым тоже бы разбежались, проживи они подольше.

— Может быть...

— Аркадий Михалыч! Вот смотрите. Вы — русский писатель. Один сын у вас американец. Другой сын — француз. Просто глобализация какая-то!

— Да, глобализация... Французский сын — результат одного моего осознанного длительного романа. Она была убежденной галломанкой. И католичкой. Когда она была беременна, ее

духовник сказал: «У тебя будет сын, его надо назвать Пьером и отдать учиться в Парижский университет». Когда мальчику исполнилось два года, она вышла замуж и уехала во Францию. Пьер говорит по-русски прекрасно, но он, с его европейской наивностью, — абсолютный француз. Я летал туда к нему на свадьбу... И можешь себе представить, на свадьбе я познакомился с очень интересной женщиной. Как-нибудь в другой раз про это.

Медицина

— Аркадий Михалыч! Вы были врачом. Вы сейчас могли бы кого-нибудь вылечить?

— Нет-нет. Диагноз поставить я могу, у нас в первом меде была очень сильная система диагностики — о-о-о! А лечить бы не взялся. Вообще же моя самая большая заслуга перед нашей медициной в том, что я в ней всего три года проработал, а не больше.

— У вас есть свое кладбище, как у всякого врача? Залечили кого насмерть?

— Нет, но я был свидетелем. На моих глазах это происходило. Я проходил практику в 24-й больнице, это на углу Каретного Ряда и Бульварного кольца. У меня был больной с язвой желудка, архитектор известный. Человека вроде вылечили, и он должен был выписаться в одиннадцать утра. Его пришли забирать родственники, они принесли цветы и две корзины яблок, чтоб отблагодарить медиков. И тут дежурная сестра зовет меня к больному. Я подбегаю, смотрю на него и понимаю, что у него тяжелейшее желудочное кровотечение.

— Как вы это поняли?

— Ну, глаза закатились, пульс никакой... Я держу его за руку и, чтоб пробиться к сознанию, говорю: «Вы слышите меня, вы слышите? Как меня зовут?» Он сказал, очень тихо: «Аркадий Михайлович». Это были его последние слова. Врач мне говорит: «Идите и сообщите эту весть родственникам».

— А корректно было посылать практиканта?

— Да. Пусть знает — это же медицина... Ну, я пошел и сказал. Этого я никогда не забуду...

— Вы пошли в медицину спасти человечество и лечить нищих негров, как Швейцер, или это был бизнес-проект, верный кусок хлеба?

— Ни то ни другое. Я в восьмом классе увлекся Павловым — рефлекс, собаки, в таком духе. И по наивности своей не предполагал, что для этого надо идти в мед. Но проблемы в этом не было: я закончил школу с медалью. Но один мой друг меня сбил, и я пошел с ним поступать в Геолого-разведочный, на геодезический факультет.

— С гитарой, типа, у костра.

— Тогда все только начиналось! Я отдал документы, но меня мандатная комиссия...

— ...по пятой.

— ...и по отсидке отцовской (за финансы), по всем делам. И я еле успел подать заявление в мед, в последний день, 31 июля 1951 года.

— Вы опасно приблизились к серьезному делу — «делу врачей».

— Да. И я его познал в 1952-м. Студентов, правда, не забирали, но требовали, чтоб они клеймили преподавателей, которые только вчера еще вещали с кафедры. Это происходило на моих глазах!

— А вы лично клеймили?

— Я — нет. Даю слово! Слава богу, от меня не требовали, чтоб я выступил.

— Почему?

— Потому что я был уже герой художественной самодеятельности. Сочинял, играл...

— Студент А. М. Штейнбок подавал надежды.

— Да, я был тогда Штейнбок. Только в 1964-м стал Аркановым.

— А идишь у вас как?

— Нет, ни языка, ни традиций родители мне не передали. Сами они иногда, чтоб от меня что-то скрыть, перекидывались какими-то фразами на идише, но меня не учили. Обычная советская трудовая семья...

— Скажите, а какие качества толкают евреев в медицину?

— Трудно сказать... Что касается 1951 года, то тогда шесть лет как закончилась война. Столько мужиков было выбито... В моей группе было двенадцать девчонок — и я один. Геология, физмат — там пятая графа была важна, смотрели на происхождение. А у нас... Девчонки же быстро выходили замуж и забывали, что они врачи. Так что в медицинский шли многие отбракованные из других вузов, нас таких брали, закрывали на нас глаза. В итоге было воспитано замечательное поколение ученых мужиков, которые работают до сих пор. Если у меня что, иду только к тем, с кем учился в меде. А учился я с серьезными людьми: Валерий Шумаков, Александр Коновалов... Из творческих людей, кстати, многие закончили мед: Гриша Горин со мной учился, Лившиц и Левенбук (передача «Радионяня»), Вася Аксёнов (правда, в Питере).

Патриот

— Как получилось, что Аксёнов, наполовину русский, уехал, а вы всё тут?

— У меня на этот счет никогда не было сомнений, ни одного момента! Я всегда знал: заставить меня уехать может только прямая угроза моей жизни и жизни моих детей. Я ведь русскоязычный и никакой другой. А что такое творчество? Это вдох и выдох. Выдох — это когда я отдаю. А вдох — это как меня воспринимают. Вдохнул — могу снова выдохнуть...

— То есть уехать это для вас значит покончить с творчеством?

— Когда настанет момент, что я не буду тут нужен, поеду к Васе доживать остаток дней. И это не размалеванное слово «патриотизм». Ну не могу я без этого всего — без Москвы, без языка... Хотя я люблю Нью-Йорк, обожаю, и вообще Америку.

Пока пишется, пока в России есть интерес к общению со мной — никуда не уеду. Как только у человека пропадает востребованность, пропадает азарт и он с этим соглашается, тогда он и становится старым. Это может произойти как в семьдесят пять лет, так и в двадцать пять...

Артлото

— Известно, что вы придумали передачу «Артлото».

— Это было в 1970 году. В моде было «Спортлото». И я тогда придумал завести переписку со зрителями, чтоб они угадывали шесть из сорока девяти известных актеров, а угаданные выступали. А кто угадал, тот получит приз: пластинку или телевизор. Программа пользовалась огромным успехом и держалась в эфире много лет. А я в ней продержался всего полгода. Потому что руководство ТВ требовало, чтоб я придумывал письма от зрителей, причем идеологически выдержанные. А мои рассказы, которые я туда вставлял, они вырезали. И я сказал: «До свидания».

K7-88-00

— У вас так и нет телефонной книги.

— Есть, про запас. На всякий случай. Но я ей не пользуюсь, и так все номера помню. Вот довоенный телефон моего отца: K7-88-00. Я все помню...

— Ну раз вы все помните, скажите, какой был курс доллара в 1947 году?

— Да, поймал ты меня... Я даже не знал в 1947 году, что бывает доллар. Я в коммерции полный ноль. Ко мне в конце 80-х пришел мой приятель и предложил купить у него пятнадцать тысяч долларов по три рубля за доллар (интересно, что за курс такой? — И. С.). А у меня только как раз было накоплено сорок пять тысяч рублей. Но это мои единственные деньги! «А что я с долларами буду делать?» — «Дурак, через год-другой они вырастут в цене!» Потом доллар точно вырос... Но было уже поздно.

Хлеб

— Вы иногда сетуете, что не можете прожить литературой, вынуждены подрабатывать, как мальчик.

— Хорошо зарабатывать можно литературой определенного рода (Донцова, Маринина), какой я писать не умею.

— А ведь были времена, когда у вас денег куры не клевали!

— Да... Когда у нас с Гришей Гориным в восьмидесяти двух театрах страны шла пьеса «Свадьба на всю Европу», мы в месяц получали каждый приблизительно по тысяче рублей.

— Бешеные деньги.

— Да. Но я все спустил на ипподроме. А Гриша купил квартиру.

— А у вас уже была.

— Ну что значит была? Однокомнатная. Возле Кукольного театра, на Самотеке. Мы жили там с женой.

— Известно, что вы работаете на корпоративах, я сам вас там иногда вижу. Не обидный заработок?

— Мой принцип такой: я не допускаю прогиба под публику. Если люди, которые приглашают, ожидают, что я буду корячиться и исполнять «Мурку», — не соглашаюсь. Не надо мне такого. Главное, самому получать от работы удовольствие... Если не получаешь его сам, то и никто не получит. Но должен сказать: люди с деньгами чаще приглашают Сердючку, а не меня. Один мой знакомый отмечал день рождения на острове Аруба. Сказал мне, что хочет пригласить Киркорова. Я говорю: «Имей в виду, это дорого». — «Меня не волнует». Ну и что в итоге? Ты знаешь, говорит, я подумал: зачем платить Киркорову сотку да еще посылать за ним личный самолет? И взял за семьдесят пять тысяч Тину Тернер. Вот и все...

— «Не стоит прогибаться под изменчивый мир...» Вы часто это повторяете.

— Да. Потому что я люблю Макаревича. И «Машину времени» — все ее составы.

Музыка

— Вы жестко и прямо шли в музыку. А тут война. И пришлось менять жизненные планы.

— Да. Музыку я всегда любил, и классическую, и джазовую. И обожаю до сих пор. Но — музыка не стала моей профессией. Хотя я много текстов к песням написал... Но для меня музыка осталась фоном всей моей жизни.

— Вы есть даже в караоке, песня эмигранта в Нью-Йорке: «А я, тупица, скучаю по Москве. И мне не спится, и дырка в голове...» Откуда, кстати, дырка?

— Ну, в смысле, странность. Это я написал в 1991 году, когда приезжал к Васе в Нью-Йорк. А музыку написал Игорь Крутой, мой товарищ. Буйнов эту песню на каждом выступлении поет. И говорит: «Умирать буду — не забуду эту песню». Я не только слова сочинял к песням, я даже научился играть на трубе, когда был студентом! У меня был ансамбль свой, который деньги на танцах зарабатывал.

— Жилка у вас была коммерческая.

— Жилки не было.

— Но бабки были.

— Какие бабки? Три выступления в месяц на студенческих вечерах, по пятьдесят рублей на брата. Итого сто пятьдесят, а это зарплата инженера. При стипендии двадцать два рубля.

Путин

— А вот еще одна халтурка. Я слышал, вы вызывались писать речи Путину.

— Я смог бы. Я присматривался к нему внимательно. Мне кажется, мне понятна его стилистика...

— Вы встречались?

— Да. Он, еще будучи премьером (но уже было ясно, что станет президентом), приезжал на встречу с членами Русского ПЕН-клуба, членом которого я являюсь.

Там много талантливых людей, которые были если не стопроцентными диссидентами, то, по крайней мере, диссидентствовали. Люди задают вопросы, а я молчу. Путин говорит: «А что Арканов ничего не говорит?» Я сказал, что ближе к концу выскажусь. Он не забыл и после спросил: «Ну а где вопрос Арканова?» Я ему сказал: «Владимир Владимирович, дарю вам фразу: добро надо сеять, а зло — сажать».

— А, так это, значит, вы ему порекомендовали Ходора посадить!

— Нет, я говорил «сажать зло», а не Ходорковского.

— Тут ключевое слово не «зло», а «сажать».

— Нет-нет. Путин тогда засмеялся, все захолопали, это пошло в эфир.

— А «мочить в сортире» — это тоже вы фразу подарили?

— Это не мое.

— Ну не скромничайте!

— Нет, я такого не мог сказать.

— Ладно-ладно. Я пошутил.

— А потом ко мне подошел мой друг Фазиль Искандер и говорит: «Фраза хорошая, но надо дополнить ее такими словами: “...если пересажать все зло, то некому будет сеять добро”».

— Смешно. И вы, значит, присматривались к Путину.

— Да. По тому, как мы пообщались, мне показалось, что я его понимаю — не в том, что касается политики, — но по философии, по психологии...

— Если б вы стали ему писать речи, его, может, стали бы больше любить.

— Его и так любят. Но, может, меня б перестали любить! В общем, на той встрече я увидел Путина как личность. Я запомнил, как он мне смотрел в глаза...

— Большой у вас опыт общения с чекистами. Копился с 1951 года, с «дела врачей», с задержания на митинге в 1963-м — и вот накопился.

— Да, действительно...

Меж тем беседа наша подошла к концу, а вместе с ней и ужин. Или наоборот.

— Что будем брать на десерт, Аркадий Михалыч?

— Десерт я не ем. А вот выпью я еще рюмку водки — это лучший десерт!

Такой он, рецепт творческого и всякого прочего долголетия! От Арканова.

Запишите себе куда-нибудь, чтоб не забыть.

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ: **«Популярность — она не очень дешевая»**

Этот литератор принадлежит к самому, может, удачливому слою пишущих — они уехали из России, а после вернулись. И в итоге в пиаре сильно выиграли у тех, кто все это время жил дома, что не очень справедливо. Но ничего не подедаешь: русская культура — я про сегодняшний день, а не про дореволюционных покойников — провинциальна, и для успеха провинциалам надо засветиться «в столице», то есть на Западе.

Обваливается ли русская культурная жизнь? Если да, то можно ли как-то поправить дело? Что для этого может сделать писатель? И что делает? Каков шанс на успех?

Александр Архангельский родился в 1962 году в Москве. В 1984-м окончил Московский пединститут им. Ленина, в 1989-м защитил кандидатскую. Преподавал в своем вузе (до 1991 г.), после в Женевском университете (1991—1998). Работал в «Известиях», где дослужился до замглавного.

Сейчас преподает журналистику в «Вышке». Ведет передачу «Тем временем».

Автор книг «Герои Пушкина» (1999), «Александр I» (2000), «Русская литература XIX века. Учебник для 10 класса» (2000), «1962» (2008), «Страшные фОшЫсты и жуткие жЫды» (2008), «Цена отсечения» (2008).

Позиционирует себя как грек.

Отец четверых детей от двух жен.

Женева

— Саша! Ты особенно знаменит тем, что преподавал в Женеве. Круто! И это ж надо — так знать французский!

— Я не говорю ни на одном иностранном языке.

— О! А как же ты преподавал?!

— На одном курсе у меня была переводчица, я читал лекцию, а она тут же переводила. А на другом — ассистентка, которая сначала изучала все тексты с ними, а потом я им что-то рассказывал. Они должны были слушать по-русски.

— Но как же ты, живя и даже работая в Женеве, умудрился не выучить французского?

— Вокруг все говорили по-русски. Это я про университет. А в банке, в ресторане и автобусе я и так объяснюсь на любом языке. А чтоб разговоры разваривать со швейцарцами — такой нужды не было и нет.

Чаепитие с Путиным

— Прекрасно. Говоря о тебе как о литераторе, мы не можем умолчать о том, как писатели (ты в их числе) сходили на встречу с Путиным.

— С читателем.

— На которого ты наехал. Начав его бестактно расспрашивать про Ходорковского. И про прочую крамолу.

— Ну все, что я мог за это получить, я уже получил. От всех, кто мне симпатичен, я получил по рогам по полной программе.

— А тебя за что ругали — что ты раскачиваешь режим? Что ты должен был показать любовь народа к вождю, но не сделал этого?

— Нет, что я не должен был туда ходить.

— Это говорили люди, которых позвали, а они не пошли? Мы знаем таких...

— Нет, ругали люди, которых не звали. «А если уж пошел, то должен был требовать как минимум отставки Владимира Владимировича», — говорили они.

— Или, на худой конец, совершить харакири.

— Харакири — или акт самосожжения в его присутствии.

— Завистники обвинили тебя в том, что ты использовал ситуацию и пропиарился.

— И что укрепил режим. Сережа Пархоменко сказал, что я дал Путину пас под правую руку.

— Имея в виду что, футбол?

— Нет, теннис.

— А. Но мы же не можем, глядя друг другу в глаза, сказать, что замысла пропиариться не было? И что в итоге элемента пиара тут не было?

— Мы не можем сказать, что в итоге не было пиара. Но, видит Бог, замысла пиара не было ни на йоту. А дальше, конечно, это в итоге обернулось пиаром.

— Что для писателя всегда позитив.

— А что значит — позитив?

— То, что на одних книжках далеко не уедешь. Писатель в наши дни ничего не может достичь без скандала, без телевизора, без родства с Собчаком, а лучше, чтоб все вместе. Я говорю, что это хорошо и правильно. Меня б позвали к Путину — я б пошел. И может, ляпнул бы чего. А может, и зассал бы.

— Скажу честно: я пошел посмотреть. Я даже не знал, доберется ли до меня очередь. До многих очередь не дошла, потому что Андрей Георгиевич Битов проговорил 45 минут. Я не против, я просто рассказываю. А изначально я пошел, потому что интересно. И если дойдет очередь — тогда сказать, что думаю. Единственный упрек, который я принял по этому поводу, — тот, что высказал Сергей Гандлевский: «Негоже русскому литератору задавать вопросы президенту или, там, премьеру. Надо слова говорить! Ты, премьер, должен делать то, то и то».

— А ты сбился на вопросы, — ты же и журналист тоже.

— Нет. Нет! Просто времени у него не было, я поймал его за фалды, когда он уже убежал. На встречу с Тимошенко. Просто ему положили на стол бумажку — а я сидел рядом, по алфавиту, и прочел ее: «18.00 — Тимошенко». И мне стало понятно: либо я зря пришел, либо надо успеть встрять. Я встрял.

— И ничего страшного не случилось. Сидишь себе в кабаке...

— Выпиваю с тобой водку. Да, но если б я не пошел, я точно так же выпивал бы водку с тобой.

— И тоже был бы сыт, пьян и нос чтоб в табаке.

Служенье терпит суету

— Вот я почему с тобой заговорил про пиар? Потому что вот есть схема, довольно широко распространенная. Я бы даже сказал классическая — когда сидят писатели в тиши, в глуши и сочиняют. А ты все время в ящике вещаешь. Вместо того чтоб уединенно творить в Ясной Поляне какой-нибудь, в Болдино или в Овсянке.

— Надо построить сначала Ясную Поляну. А если серьезно, то на ТВ я появился всерьез и надолго девять лет назад, а первую книжку издал двадцать лет назад. Есть разница? Есть работа, которая дает деньги и некоторую социальную реализацию. И есть книжки, которые могут приносить доход, а могут не приносить. Принесут — отлично, нет — и ладно. Вопрос тут в другом: не скурвился ли я? Так про это лучше тебя спросить. Почему я должен быть сам себе судьей?

— Это мне меньше всего интересно — скурвился ты или нет. Это настолько твое интимное дело!

— На ТВ я пришел, когда мне было сорок, у меня кое-что за плечами было. Крышу у меня не снесло. Наркотической подсадки на ТВ у меня нет.

— Все так говорят. Кто же из ваших признается, что он головой тронулся в Останкино? Никто не признавался пока что.

— Это для меня просто способ максимального заработка в гуманитарном сегменте, в котором я хочу остаться. Если б я хотел зарабатывать миллионы, я б давно ушел в бизнес. Я это умею, как и многое другое. Но это мне скучно.

— Ты что, торговал чем-то?

— Активами чужими на фондовом рынке. Квартирами тоже. Но все это смертельно скучно.

— А служенье муз не терпит суеты.

— Но это Пушкин сказал Дельвигу, а после добавил — «а у меня-то не получилось»!

— Но уж на ТВ он точно не работал.

— А не было ТВ.

— Вечно ты найдешь отмазку. Да и достал ты уже меня своей ученостью. Здесь тебе не Академия наук, чтоб хва-

стать своей эрудицией. Но ты, короче, по-любому не едешь в глушь, чтоб там ожидать диалога с высшими силами.

— Ну, диалог — либо он есть, либо его нет. А удрать от суеты хочу и рано или поздно удеру.

— Вот чтоб не было поздно. А то настанет момент, когда тебе надоест и ничего уже не захочется. Пушкин уже в твои годы, не говоря уж про Лермонтова...

— А еще же был Лев Толстой.

— Ну я понял, это — твоя позиция. Отказываться от суеты и от дешевой популярности ты не намерен.

— Она не очень дешевая. Ты вот все про ТВ да про ТВ, — а ты мне лучше приведи примеры, где я скурвился!

— Я тебе не судья. И ты, конечно, имеешь право съесть свою жизнь, тратя ее на зарабатывание денег. Ну а что? Ты многодетный отец, это оправдание. Но как писатель — ты теряешь много шансов в погоне за бабками. А приобретаешь ты как ТВ-ведущий — славу и бабки... Рейтинги, в конце концов.

Ну интеллигент

— Скажи, а ты ведь себя позиционируешь как интеллигент? — Под этот вопрос мы выпили. — Дай, кстати, свое определение.

(Я сам не возьмусь, потому что себя к интеллигентам не причисляю.)

— Интеллигент — это российский интеллектуал, который ощущает, что у него есть высшие этические полномочия. Этот вопрос меня мучил лет двадцать назад, а теперь поезд ушел, и это вчерашний день

— Ты как бы такой интеллигент-расстрига.

— Что-то во мне от интеллигента осталось. Конечно, я чуть-чуть прячу этот интеллигентский пафос за иронией. Что было по-настоящему дурно в советской интеллигенции? Это почти масонское ощущение избранничества. Не просто этическая ответственность, взятая самозваннически, никто на тебя ее не возлагал, ты сам себе ее присвоил. Ответственность — это одно, а право без конца всех учить,

и ставить на место, и рассуждать о том, что мы бедные, мы честные, — этого права никто не давал. Да и потом, всегда можно найти более бедных и более честных. Насчет себя я сказал; да и ты, думаю, тоже такой интеллигент нормальный. Только интеллигент десятых годов XXI века — вот он такой. Как бывает жизнь после смерти, так бывает и интеллигент после интеллигенции.

— Она вообще рассыпалась.

— Как же она рассыпалась, когда мы сидим с тобой водку пьем? Только вместо кухни у нас кабак.

— Моя самая любимая история про писателей такая. Дочка Довлатова ему сказала: «Папа, раз уж ты писатель, то почему б тебе не написать такую книгу, чтоб ее все покупали и у нас наконец появились бы деньги?» И еще есть Роулинг которая на Поттере заработала миллиард долларов. Тут бы хоть миллион сшибить! Согласившись с тем, что мы в тысячу раз дурней ее...

— Нету у нее никакого миллиарда!

— Ну, я так плотно за ней не слежу, но она не бедствует.

— Литература может принести деньги, а может и не принести. У тебя должны быть с чем-то в жизни любовные отношения, а не прагматические. Я вот зарабатываю на ТВ, а книги пишу, не думая о том, дадут ли они доход. Я не собирался пятнадцать лет назад зарабатывать деньги на ТВ!

— Ты так говоришь, как будто перед тобой вечность, — в этом мире.

— Конечно, я всю жизнь хотел молчать и думать, а приходится говорить и писать...

— Ты мог бы в сельской школе преподавать... А не бабло колотить.

— Эту часть жизни я прожил. То, что делают в конце, я сделал в начале. С восемнадцати до двадцати пяти лет я вел кружок во Дворце пионеров. Туда ко мне зашел как-то Дима Быков, — я учился в пединституте, а он был «пионэр». Он принес мне толстенный роман про летний отдых на байдарках. Я прочитал, мы поговорили — и больше он ко мне не приходил. Он хороший добрый парень. Майя Кучерская ко мне тогда ходила...

— Скажи мне теперь о судьбах России. Ты много говоришь о том, что половина нашего населения (46 процентов) книг не читает, в библиотеки не ходит, зарплата у библиотекарей копеечная, издают чаще всего ерунду, люди смотрят по ТВ разное говно, голосуют хер знает за кого, множество наших мечтает свалить на Запад. Что же дальше? Скоро все кончится, через десять-двадцать лет? Произойдет крушение по всем параметрам русской, то есть русскоязычной культуры? Если здесь останется некий этнос без культуры, он будет нерусский. Я не говорю, просто, что все плохо, — но хочу, чтоб ты ответил на все!

— Уехать? Я в 1998 году закрыл швейцарский контракт и не стал подавать на постоянное место...

— Это ты потому, что язык не выучил.

— При наличии русского языка и швейцарского паспорта ты обеспечен работой там пожизненно. Но — ты там гость, а здесь ты свой, хорошо тут или плохо, неважно. В гостях хорошо, если ты ненадолго... В общем, жить хорошо здесь, а отдыхать — там.

Литература в двух словах

— Теперь ты мне должен рассказать о том, какова сегодня русская литература, что с ней происходит и какие в наличии процессы.

— Скажу так. Время направлений кончилось, началось время стилей. Тебе сподручней писать так — пиши так, удобней этак — значит, пиши этак. Тебе завтра захотелось поменять жанр — прекрасно, меняй. Раньше были писатели-деревенщики, были городские. Были почвенники-западники, были реалисты-модернисты, эссеисты, критики и кто угодно. Сегодня это все умерло.

— Очень интересно. И фикшн сегодня не хуже нон-фикшена.

— Не хуже. Короче, было множество форм, куда ты отливал содержание. А теперь — было бы что отлить, а форма любая.

— Как хочешь, так и лей.

— А дальше тебя должны признать. Или не признать.

— Да и всегда у любого есть утешение — потомки оценят! А эти мудаки современники, они не в состоянии...

— Вот Быков, который постоянно ищет себя в разных формах. Где-то находит, где-то теряет. Наше дело выбирать — и я выбираю у него «Пастернака». И его роман «Списанные», над которым ему неплохо было бы еще годик посидеть. Кучерская, — у нее есть хорошие книжки. Правда, она не живет на них, но они достаточно большими тиражами выходят. Несколько вещей Андрея Дмитриева входят в короткий список — «Закрытая книга» например. Несколько вещей Прилепина — раннего. «Патология» в меньшей степени, «Санька» в наибольшей, «Грех» в наименьшей. Один роман Сорокина — «Очередь» называется. Прекрасный был роман... Что ж до «Дня опричника»... хорошо, конечно, что человек после пятидесяти вдруг понял, что есть какая-то связь между окружающей жизнью и его судьбой. Но можно б и пораньше это понять. Конечно, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский. «Советские песни» Рубинштейна хороши. Его эссе считаю выдающейся прозой. Тут какая проблема вообще? Как говорил Гёте Эккерману: «Что с современными людьми происходит? Ни у кого нет мужества дожить до старости». Вот и у нас сегодня ни у кого нет замаха стать великими! Книжки есть, а замаха нет.

— А наши старики-классики? Васильев — Битов — Искандер?

— Мы про историю литературы говорим — или про то, что происходит сию секунду? Мы говорим про книжки, а не про людей.

— Но и старики пишут.

— Люди есть могучие, — но мы же о книжках.

Великая книга о великой стране

— Все-таки давай вернемся к русскому концу света. Ты ушел от ответа, а зря. Ведь нету же сценариев сохранения России? А позитивный сценарий — это ее разделение на несколько России. Желательно без катастроф и войн.

— Без катаклизмов невозможно распасться — такого не бывает!

— Привет, а СССР?

— Это Россия не заметила катастрофы. Не захотела заметить! А у тебя же афганская граница приблизилась! Таджикистан сожжен! У меня, между прочим, мама покойная последние несколько лет жила с таджикскими сиделками. Мы просто их не считаем за людей, а я с ними постоянно разговаривал. Это мы обошлись малой кровью, потому что нам повезло. А у них нет ресурсов, и потому — минимальный уровень цивилизации. Другое дело, что страна была обречена к моменту распада... Австро-Венгрия готовилась к развалу, но и то кончилось мировой войной... У России есть еще шанс не развалиться и переработать в нацию то разнородное население, которое есть здесь. И главный политический институт тут — школа! Главный политический предмет — литература!

— Ну тебе видней. Ты все-таки закончил пед.

— Да, закончил. И главное, чем я сегодня занимаюсь — пишу школьные учебники. Для 10-го класса я давно уже сделал, десять изданий вышло. А теперь для других классов пишу. Учебники — единственный всеобщий институт, который остается. ТВ теряет влияние, потому что, слава тебе господи, мы вступаем в эпоху дробного информационного мира.

— А как ты пропихиваешь учебники? Небось каждый бы хотел издаться миллионными тиражами, да с госзаказом. Не зря в издательстве «Дрофа» застрелили начальника, делили рынок выгодных книг.

— Я как раз в «Дрофе» издаюсь. Там застрелили дважды коммерческих директоров, после чего издательство было продано один раз, потом другой. Это никак не было связано с изданием учебников, а связано было с переделом бизнеса. Я же не в бизнесе, я просто приношу тексты. Дальше — рецензии, скандалы, скучнейшая работа. Тебе присылают 55 замечаний, и выясняется, что их писали авторы других учебников. Ты отвечаешь на все это, объясняешь, что в восьмидесяти случаях из восьмидесяти одного достаточно

заменить одно слово, — и разбирательство и выяснения затягиваются на долгие годы. Денег это на самом деле не приносит.

— Не приносит денег — если сравнивать с телевизором.

— Да, если сравнивать с телевизором.

— Смотри что получается: фактически ты сеешь разумное доброе вечное! И работаешь, грубо говоря, по специальности. Учителем литературы.

— Да. Я перекладываю деньги, заработанные в одном месте — в другое.

— Вот как Лев Толстой учил крестьянских детей, так и ты их учишь. Только у тебя аудитория больше.

— Не думаю, что у меня тиражи больше, чем у издательства «Посредник», которое издавало учебные пособия Толстого. Таки у него были тиражи больше моих...

— Но в целом дело Льва Толстого...

— В надежных руках. До встречи в Ясной Поляне! Что еще тебя роднит с классиком, так это то, что Лев Толстой очень любил детей.

— И я люблю! Только у него было больше детей, и все от одной жены. У меня четверо, от двух жен, но росли совместно.

— С Толстым не все так просто. Особенно если учесть крестьянских детей, которые по отцу были графья, а по Галахе крестьяне. Отчего так много детей у тебя? Вера?

— Никакой идеологии, просто так вышло. Я люблю детей, дети любят меня.

— По документам ты — реально многодетный отец. У тебя бесплатный проезд на общественном транспорте. Вот ты почему на метро едешь!

— Как — бесплатный? Да ты что? Не знал. Пойду наведу справки! Я езжу только на метро, это для меня актуально...

— И такой серьезный вопрос к тебе. Хочешь же ты написать великую книгу? Чтоб девушки рыдали над ней? Или чтоб рухнул политический режим? Или коммерческий успех чтоб был? Или чтобы сказали: это роман века! Что это должно быть — сборник поэм? Или «Я обвиняю?» Или «Не могу

молчать»? Видишь ты контуры этой книги? Угадываешь ее жанр? Или это будет не текст, а деяние — в том смысле, что уход Толстого из Ясной Поляне прозвучал громче его книг? Может, ты тоже уйдешь? В скит? В новый раскол, лидером которого станешь?

— Нужно подчеркнуть?

— Само собой. Видишь ты свою писательскую перспективу? Или твоя позиция такая: «Вали кулем, потом разберем»?

— Вали кулем.

— Я тебе дал прекрасные варианты, а ты выбрал самый скучный. Отвечай серьезно!

— Ну кем нужно быть, чтоб говорить: «Я напишу великую книгу». Для этого надо быть несчастным человеком, у которого мозги набекрень. Лев Толстой — и тот не писал великую книгу, а писал такую, какую мог написать, вывернув себя в нее наизнанку. Он писал по двенадцать вариантов текста потому, что у него был маниакальный синдром. Тебе дан шанс, ты можешь прожить десятки жизней, — что может быть привлекательней? И только потом, когда написана последняя глава, человек начинает чесать репу и думать, как бы это получше продать. А если человек планирует сделать сразу великую книгу — то кончается это Михалковым, «Великое кино про великую войну». Разве пришло бы в голову Льву Толстому сказать про «Войну и мир» — «Великая книга о великой войне»?

— Ну а хоть подумать такое мог Толстой?

— И подумать не мог. Он думал — как бы так написать, чтоб классно было? Вот человек влюблен, и он же не думает — будет у него брак или нет, сколько детей из этого брака получится, выпадут у него в старости зубы или нет. Но его трясет от радости в снопе света — и больше ничего нет. А закончили это — дальше начинаются дела.

— Пушкин писал — «только что закончил великую поэму цыганы, даже не успел еще вытереть взопревшие яйца».

— Или «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», и плясать вприсядку — но потом, когда закончил! «Вошел школьник с “Архангельским” под мышкой», — такое могут написать. Про

мой учебник. Когда-нибудь. А то, что публицистика моя не будет великой? — в этом абсолютно уверен.

— А учебник может быть великим?

— Может.

— Как «Математика» Магницкого.

— Да. «Грамматика» Смотрицкого. «Грамматика» Греча.

Или Коккинаки, «Физика».

— Или Бонк.

— Да. Это — слава! А ТВ что — оно уйдет. Это искусство одноразового использования.

— Как презерватив. Ну что ты замолчал? Не огорчайся: презерватив — вещь очень полезная. Она нужна стране, народу — и плебейм, и интеллектуалам.

Никита Михадков: беда...

— А что происходит с Никитой Михалковым? Он же главный бренд русской культуры — и вдруг... Как-то он сдувается и не понимает, что происходит. Он даже призы сам себе вручал. Это меня огорчило. А так — кино себе и кино, после разгромных рецензий я ожидал худшего.

— Никита — это моя головная боль. Он был задуман как великий режиссер. И большой артист.

— Но он исчерпал себя.

— Он не просто исчерпал — он затоптал себя. Он такой грандиозный, что самого себя затаптывать ему непросто — на это потребовалось много лет. Он подавал самые большие надежды в новой русской культуре. Он мог перерасти из советского режиссера в режиссера российского, у него были для этого все возможности. И стать мировым — он мог! А дальше оказалось, что вокруг одни слабаки и бороться не с кем. Конкурировать же с самим собой он не смог. И потом, он мелочно мстителен и злопамятен. Художнику в таком случае конец. Он не может быть завистливым и мстительным, если он большой художник! Он великий человек, который разменял себя на мелочовку.

Албания

— Из всех твоих путешествий меня больше всего завела Албания. В которой я не был, я только много видел албанцев и отношение к ним в разных странах. Расскажи про Албанию!

— Албанцы уже Бельгию скупили всю. В Брюсселе на эту улицу, где рестораны, — туда же зайти теперь невозможно. Ее скупили всю албанцы! Отмыли свои криминальные деньги и теперь жулят несчастных посетителей. Албания — это бедная несчастная страна, в которой на 3 000 000 населения — 900 000 дотов. Всюду бетонные доты! В горах, на море, в огородах. Они ждали нападения со всех сторон — от СССР и Югославии до Америки.

— Как в Китае доменные печи были в каждом дворе, я видел. Албания, это что — злая карикатура на Россию?

— Это карикатура на здравый смысл. А если на Россию — то уж очень злая карикатура. Причем даже с мечтой о Великой Албании. В России ты видишь грязь, но здешняя грязь по сравнению с албанской — это просто немецкая чистота! Когда к морю подходишь, ты за километр видишь пакеты с мусором, выкинутые на дальних подступах к пляжу. Причем приштинские албанцы считаются у них грязными. Если селятся приштинские на побережье, то «настоящие» албанцы объезжают их отели стороной. Как в безумном чаепитии, там грязные тарелки не моют, а отставляют в сторону, и пачкают чистые. Тирана, их столица, загажена до предела. Богатые албанцы, заработавшие денег в Италии, приезжают и начинают строиться. Город — это котловина. Так они идут все выше и выше, строят все новые и новые дома — но мимо старого города не проедешь. Это кошмар какой-то. При этом есть милейшая внутренняя Албания, где живут христиане — это наполовину христианская страна, а вовсе не на 100 процентов мусульманская, как у нас пишут. У них было что-то вроде МММ, и, когда рухнула пирамида, они уничтожили в порыве раздражения свои электростанции. И теперь в центре Тираны в жуткую жару, когда вырубают электричество, все включают генераторы,

и город покрывается сизым дымом. По сравнению с которым Москва — просто Черноморское побережье по чистоте воздуха. Это ужас, это пример того, как себя можно загнать в тупик

— У них есть понимание, что это особый албанский путь?

— Они только про него и говорят. И про Великую Албанию от моря до моря, про свою великую историю и про великого воина Скандербега.

— Леденящая кровь история! Но не то же ли делали и мы в Гражданскую? С 1917-го по 1921-й?

— А в 1934—1937? А что после войны?

Итого

— Саша! Ты все время сворачиваешь с разговора о развале России. Это все-таки реальный сценарий? Или не очень?

— Да, я его рассматриваю как реальный. Особенно после того, как я за последние годы регионов пятьдесят проехал и увидел, из чего это все состоит: из ссохшегося материала. Но пока есть шанс. Лучше я потом скажу, что ошибался, — а пока буду говорить, что шанс есть.

— А ты видишь позитивный сценарий для России?

— Не вижу. Но надеюсь, что он есть.

— И что нужно делать для спасения России сегодня?

— Школой заниматься.

— У тебя одно на уме. Наверно, какие-то люди в 1916 году строили школы. Был в этом смысл? И что стало с теми людьми?

— В 1916 году надо было строить школы. И в 1917-м еще были шансы... Тем более сейчас пока еще не 1916 год, а 1905-й.

— Ну ты даешь...

АНДРЕЙ БИТОВ: «Главное, чтоб помереть не позорно»

Пожалуй, Битов — самый великий из живых русских писателей. Умен страшно, причем ум его не от эрудиции, не от образованности, а натуральный, природный. Ну а что вы хотите — человек всю жизнь только и делает что думает.

Его беседа очень густа и глубока, то и дело приходится переспрашивать. Быстро устаешь. И тут ничего не поделаешь — не просить же его сбавить интеллектуальный накал.

Его то печатали, то не печатали, но он мало на это обращал внимания — занимался собой и литературой. Писал, что ему в голову взбредет. (И говорит он настолько же бесцензурно. Не пытаюсь показаться лучше, чем он есть, не приукрашивая себя, что очень симпатично.) Без оглядки на внешние обстоятельства. С советской властью он не конфликтовал — он ее просто не замечал. Его интересовали темы более долговечные.

Этим он и интересен. То же касается и его книг.

Андрей Георгиевич Битов родился 27 мая 1937 г. в Ленинграде, на Петроградской стороне. Блокадник.

Отец — архитектор. Мать — юрист. Пишет с 1956 года. В 1957-м поступил в Ленинградский горный институт. В 1957—1958 гг. служил в стройбате на Севере. В 1958 году восстановился в институте, окончил геологоразведочный факультет в 1962-м. С 1965 года — член Союза писателей. В 1978 году в США опубликован роман «Пушкинский дом». В 1979-м он — один из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь». По этой причине до 1986 года не печатали.

Автор множества книг.

Награды: Орден «Знак Почета», орден «За заслуги в искусстве и литературе» (Франция), две Госпремии РФ (1992 и 1997), Пушкинская премия фонда А. Тепфера (Германия), Премия за лучшую иностранную книгу года (Франция) и многие другие.

С 1991 года — президент Российского Пен-клуба. Один из создателей неформального объединения «БаГаЖЪ» (Битов, Ахмадулина, Горин, Алешковский, Жванецкий), распавшегося «в силу самобытности».

По примеру древних греков считает, что после семидесяти человек может позволить себе делать все, что хочет.

Четверо детей от разных жен, пятеро внуков от разных детей.

Зодиак

Мы встретились в начале 2009 года — незадолго до 80-летнего юбилея Фазиля Искандера. И конечно, поговорили про юбилеяра.

— 1929-й — мощный год, много в нем писателей родилось. Кроме Фазиля это Алешковский, Кундера, Сергей Бочаров (литературовед), Конецкий, Шукшин — которого я лично не знал, но очень люблю как прозаика, и даже Кочетов. Таким же мощным по рождениям был и 1937 год — мой. Там все 12 знаков Зодиака. От Владимира Уфлянда — и кончая Высоцким. В марте в один день родились Распутин с Маканиным. В апреле Белла Ахмадулина. В июне — Юнна Мориц. В августе, по-моему, также и Вампилов. И в конце, в декабре, — Аверинцев. Вот что значит сталинский указ о запрещении абортс летом 1936 года! Вот такая получается история, очень неполиткорректная. Этому закону многие обязаны своим появлением на свет. А так-то заводить ребенка — тем более второго — под страхом ареста многие, может, и не стали бы... Я писал об этом в книге «Начатки астрологии русской литературы». Многие иронизируют над моим увлечением восточным календарем... А зря. Это серьезно! Есть определенные закономерности. Даже в XIX веке люди рождались порциями, есть все знаки Зодиака, зоопарк такой образовывался за 12 лет. Если перечислить писателей Золотого века, сразу видно, что они как яички лежат в корзинке. И Серебряного века это тоже касается. Ахматова — это 1889 год, Пастернак — 90-й, Мандельштам — 91-й, Цветаева — 92-й,

Маяковский — 93-й, Георгий Иванов — 94-й, Есенин — 95-й... или я его с кем-то перепутал?

— А вы читали про себя, с позиций Зодиака, — похоже?

— Еще в самиздате ходила книжечка совсем уж для кухарок, простенькая, с гаданиями и всякой ерундой, и про гороскопы там тоже было. Оттуда первая моя информация. Я посмеивался, а потом нашел про себя такое: «Несерьезный Бык, в общем, очень выносливый». Это «в общем» — мне понравилось.

Уроки Армении

— В Армении вас любят и дарят серьезным визитерам богатый цветной альбом. И в альбоме про страну вообще — и перепечатан ваш старый текст в частности.

— Да, есть такое дипломатическое издание. Они у меня украли название, «Уроки Армении» — и так назвали весь альбом. Понятно, за что меня там любят, — за то, что я предал гласности геноцид армян, тогда это была под грифом «Для служебного пользования» тема. А за что здесь?

— Я там, ходя по коньячному заводу, с потрясением думал о том, что вы на этом заводе не были.

— В тот приезд, на неделю, когда собирал материал для книги — на заводе не был, но коньяк-то на столе был. И когда был опубликован мой текст, армяне бурно отреагировали на это. Первый секретарь армянского ЦК — кто тогда был? — вызвал Гранта Матевосяна, это мой друг ближайший армянский, и спросил: «Ты его возил?» Да, говорит, я возил. «Хорошую статью написал твой друг». (Книгу он называл статьей, обкомовское такое понимание жанра.) «Что хочешь за это?» А Грант ему говорит: деньги были бы, попросил бы у вас «Волгу», чтоб вы мне ее продали. Это был тогда верх престижности.

— Тонко он сказал.

— «Но денег нету, и потому вот что я попрошу...» А тогда шло слияние колхозов. И слили грантовский колхоз, откуда он родом, с соседним. Думали, станет лучше, а стало хуже.

И Грант просит — разлейте обратно! Первый сразу вызвал какого-то клерка и говорит: «Распорядись». Дал указание. Грант говорит, что вышел окрыленный и подумал про первого — все-таки царь! Но ничего не было сделано.

— А я думал — и колхозы разъединит, и «Волгу» подарит.

— Нет. Потом Грант долго себя ругал за то, что на секунду обольстился властью.

— Тонко, тонко — художник и власть...

Ветеран Советской армии

Расскажите о своей службе в Советской армии. Как странно, что вы, такой человек, в нее попали.

— Да, слава богу, я этот опыт получил.

— Почему — слава богу?

— Тогда казалось, что это ужасно — но теперь ясно, что это было уместно. Довольно страшный был опыт... Он поднял мои детские мозги на более зрелый уровень. Тогда как раз особенно усилилась борьба за мир. И одновременно шла реабилитация, опустели зоны многие. В бывшие зоны, которые опустели, стройбат тогда и селили. Когда я туда попал, это была с виду настоящая зона — с проволокой, с вышками, с бараками, со всем, что положено. Склады были забиты обмундированием ээковским — и нас одели в эту асфальтовую черно-серую форму. Чтоб она зря не пропала.

— Это было похоже на театр. Вы попали в такую как бы массовочку...

— Над входом было написано «Добро пожаловать».

— А не «Arbeit macht frei».

— Ну вот в таком духе. Если сравнивать нас с настоящими ээками, то надо сказать, что прав у нас никаких не было, никаких — кроме права выбирать Верховный Совет СССР.

— Вы все-таки окунулись в жизнь пролетариата. А то всё с интеллигентами общались...

— Не совсем это был пролетариат. Как и те не совсем интеллигенция. В стройбат сброд поступал, кто попадал в конце призыва, люди, которых не хотели брать другие войска.

— Приличные люди то есть.

— Нет... Это были люди с мелкими сроками, с отклонениями разными, с недостатками физическими...

— И интеллигенты.

— Может быть. Я был с неоконченным высшим, в очках — они не знали, как меня применить, и потому старались спихнуть куда-то, переводили из одного стройбата в другой. И я побывал в нескольких таких зонах, проехал с севера Карелии до Коми. Потом, когда читал запрещенную гулаговскую литературу, то у меня картинка была, топонимика же знакомая.

— Если б Хозяин еще чуть протянул, то вы могли б побывать в тех же самых зонах в том же обмундировании, — но только не солдатом, а чистым ээком!

— Если б Хозяин?.. Нет, все вовремя происходит...

Случайно в писатели

— И дальше вы совершенно случайно попали в писатели. Удивительно!

— Это не совсем так. Это в стройбат я попал из-за литературы, неслучайно. А в литературу правда я попал случайно. Меня затащил в литобъединение мой приятель. Это было очень мощное литобъединение. Из имен назову такие: Горбовский, Кушнер, Городницкий... И многие другие. Значит, затащили меня... Это получилось, думаю, потому, что в этом возрасте ищешь среду себе социальную какую-то. И вот мне случайно повезло со средой. Меня спросили — пишешь? Пишу! — соврал я. Ну почитай. А что читать? И я прочитал стихи брата старшего. Они так поморщились — но приняли меня. Потом я стихи писать стал сам.

— А что вы прочли из брата?

— Я прочитал два стихотворения. В одном были даже строчки неплохие...

— Ну-ка, ну-ка!

— Необходимость и случайность,
Связь и борьба противоречий,
та-та-та... отчаянно
Остатки мыслей в ней калечащих.

И еще какие-то такие:

Не плачь, не желей, не зови.
Что оттого, что нынче, как бывало,
Над прежними стихами о любви
Я по-мужски... та-та-та, та-та-та-та. —

Эти точно я прочитал.

— И чему же нас учит этот случай? Что в вас скрывался писатель, который внезапно выскочил наружу? Или что любой думающий и чувствующий человек может сесть и начать писать, хорошо причем?

— Ничему он нас не учит; просто судьба такая. И потом, я никогда не хотел служить, — это правда. Не любил я этого. А единственный способ избежать службы — вот он, писательство. Так что все совпало. Но, думаю, я потому стал писателем, что был читателем. Задним числом, когда излагаешь, то получается, что я родился писателем. Но это не так. А читал я действительно с упоением. Была пора такая, не было других массмедийных форм развлечения. Я читал, вычитывая слог хороших писателей. Позже, когда папа умер, мама, разбирая его письма, нашла одно с таким текстом: «Старший мечтает стать летчиком, а младший — писателем!» Летчиком — логично по военным обстоятельствам, а писателем в четыре-то года! — вот и судите сами. Я об этом понятия не имел, забыл, и мать не помнила. В блокадную зиму на вопрос «кем будешь?» я отвечал — писателем! Отвечал так, читать еще не умея!

— Вы, наверно, зато слушали, как вам читают? Помните это?

— Я ничего не помню, кроме холода и голода. Судьба видна назад, а не вперед.

— Назад?

— Вот когда назад смотришь, то видишь судьбу. А вперед смотришь — ничего не понимаешь. Утром проснулся — живой. Это чудо — организм продолжает жить.

Страшные диагнозы

— Кстати, что вы чувствовали когда всерьез заболели? Когда решался вопрос жизни и смерти?

— Почувствовал, что силы мобилизуются. Как во время войны боялась мать за отца — так во время болезни за меня боялись близкие. Ну, надо верить врачам и помогать им. И таких случаев у меня было два. В первом случае — я был вообще приговорен, так все думали. А во втором случае — вовремя «поймали». Врачи у меня были хорошие: Коновалов и Матякин. Я лечился у них в отделении головы и шеи — я это называл «отделение головы ОТ шеи».

— Хорошо звучит.

— Рак горла это был. Вовремя спохватились, и вот видите — я перед вами сижу. После операции. А если б это запущено, как у Венедикта Ерофеева — то...

— Его советская власть не выпустила на Запад, его туда звали на лечение.

— Она всегда была гуманной, власть.

— Значит, вам не было страшно, и вы думали, что все кончится хорошо.

— Да. Я не боялся. А боялись — близкие. Боятся, а может быть, и молятся. Помню, я шел как-то по Лондону и увидел вывеску: «Научно-исследовательский институт лечения молитвой». Я и сам молился, но, поскольку я человек хотя и верующий, но не воцерковленный, понял, что и молитв-то я толком не знаю. Так что молился я строками из классиков. Я, например, вместо молитвы шептал последние слова Гоголя: «Господи, как поступить, чтоб навсегда запомнить преподанный мне тобою в сердце урок». И еще строчкой из Пастернака: «О Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной». Молился я за себя и за других. Я понимал, что если я уйду, то другим — моим близким — лучше от этого не будет... Вот недавно я ходил на выставку Юрия Роста в Манеже и встретил всю свою команду нейрохирургическую, и они меня узнали! Как-то так, значит, я себя вел, что они меня запомнили... Значит, я как-то отличался от других —

в том числе и на хирургическом столе. Помню, операция проходила под местным наркозом...

— И вы что же, им анекдоты рассказывали?

— Нет, я потребовал зеркало заднего вида, чтобы видеть, как мне делают операцию. Смотрел и комментировал. Приговорен я был тогда вполне, процентов... больше чем на 90. Но мне только промыли мозги! Вот все слова точные: язык знает все. Думали, что рак — но его не было, а был просто абсцесс. Вымыли гной — и все.

— Повезло! А страшно, значит, не было...

— Тут не до страха. Я ж говорю — была какая-то встречная мобилизация. Они знали весь приговор, и для них было полным подарком и радостью, что больной оказался мнимый. Вовремя поймали...

— Хороший заголовок: «Андрей Битов. Промывание мозгов».

— Прodelали мне дырку в голове... А потом, кстати, мода появилась — оставлять в голове открытую дырку: для связи с космосом. Некоторые сверлят специально.

— Ну а вы-то чувствуете связь с космосом?

— Нет, ну зачем так уж кокетничать. Я — нормальное существо.

— Может, вы это так легко перенесли потому, что по работе занимаетесь размышлениями о жизни и смерти?

— О смысле? Нет, тут иначе; я буровик по специальности (правда, пробыл им недолго, ушел в литературу), и вот я думал — вот они буром пройдут подкорку, войдут в кору...

— ...и возьмут керн.

— Да... Найдут некое месторождение. Все было абсолютно так!

— Вам было сколько тогда?

— Человек попадает в критические точки, по моей трактовке восточного календаря, в 6 лет, потом в 18, 30, 42, 54 года. Вот у меня раз это было в 54. Человек в этом возрасте проходит нижнюю точку цикла. Шесть лет — это перед первым сроком, когда человек в школу идет. В 18 — в армию. В 30 жениться пора, в 42 — осуществиться, в 54 — может и концы отдать? Ну, там, плюс-минус... Все это, впрочем,

условно. Но тем не менее — когда проходишь эти точки, надо к себе быть очень внимательным. Раньше было другое отношение к возрасту, а теперь все стали какие-то вечные.

— В каком смысле?

— Как еще Солженицын в «Крохотках» сказал про советского человека — «Мы не умрем». А впрочем, может, это и правильно. Не думать о ней ежесекундно. Главное — чтобы помереть не позорно. «Господи, я не готов!» — строчка из любимого негритянского spiritual. Я много занимался нашим негром Пушкиным в последнее время и увидел, что на всем протяжении жизни у него — готовность умереть сопровождает повышенную активность жизни.

Пушкин

— Много написано о том, что Пушкин был глубоко религиозен... Отсюда, наверно, и готовность?

— Верующим он был безусловно!

— Но когда пишут о его глубочайшей религиозности — что вы думаете?

— Конечно Пушкин, бедный, подпадал под действие всех идеологических кампаний, какие только были возможны. Кого только из него не пытались сделать! А он просто был живой. На все смотрел открытыми и честными глазами. Поэтому мог выражать весьма противоположные точки зрения.

— Вот как вы, например.

— Ну... А если я не хочу стоять и с Пушкиным рядом? Если человек независим — то он независим. И его никуда не удастся приписать. Пушкина не надо истолковывать, его надо хоть раз прочесть. Он не Христос и не Антихрист. Глупо ставить нас перед таким выбором!

Астафьев

— Вы были в одном клубе с Виктором Астафьевым.

— В каком?

— Как в каком? В Русском Пен-клубе.

— Я не уверен...

— Однако есть такая информация. Вы с ним очень разные, я вот о чем.

— Эта граница между почвенниками и горожанами, — ее же искусственно провели... Ему, правда, было не до этого деления, он был самостоятельной фигурой. Астафьев был мужик смелый, открытый. Им гордилась вся область, и даже обком ему помогал. Он был одновременно великий писатель и областного, и всесоюзного масштаба. Так что...

— А как ему пенсию перестали платить местные начальники, когда он стал власть поругивать? Как же им было не стыдно у него пенсию забирать!

— А им никогда ничего не стыдно.

Что есть элита

— Вы часто говорите о том, что не считаете себя элитой, — а кто ж тогда по-вашему элита?

— Элита — это какой-то вообще дерьмовый термин. Какая у нас может быть элита, когда всю породу уничтожили большевицким геноцидом? Последовательно же классы уничтожались!

— Вы вот говорите, что вы не элита — а у вас и родословная прослежена, и вон из Питера вы.

— Я в этом плане немножко исключение. Вообще же нужны поколения, чтоб человек вырастал ответственным... Я вот сейчас составляю автогеографию, надеюсь, успею дописать.

— Автогеографию?

— Да. Назову ее «ФИО». Раздела будет три — фамилия, имя, отчество. У меня к словесным упражнениям прибавляются мысли о том, что ты несешь в своем имени и как это влияет на жизненный ход.

— Насчет вашей элитности, которую вы отрицаете, — а пишете все-таки для яйцеголовых, а не для кухарок.

— Ну почему? Я пишу для читателя, а читатель — это, по-моему, такой же дар, как и дар писателя. Читатель — либо он есть, либо его нет. И образование тут не играет никакой роли. Если человек чувствует слово, то он, может быть,

и прочитает мою книгу. Я очень не люблю эти разговоры о том, что я элитный, рафинированный, интеллигентный... (Хотя, может быть, это и так.) Но и нехорошо было бы, если бы я себя выдавал за пролетарского или крестьянского писателя. Нет, я считаю, что я пишу понятно. Я не стесняюсь текстов, которые написал полвека назад. И они стоят наравне с теми, которые написаны недавно. Через 50 лет некоторые мои тексты стали более доходчивыми.

— Для вас?

— Для читателя; я себя-то не перечитываю особенно.

— Так что же такое элита? (Вернемся к нашим баранам.)

— Элита — это всякая сволочь... Мы теряем лучшее, что у нас было, и приобретаем худшее. Так что нельзя сказать, что у нас от социализма, а что от капитализма, — это очень дикий продукт. Это — попытка выделить составляющую успеха из какого-то триединства власти, богатства и славы...

— Здоровье вы туда не причисляете.

— А здоровье — это богатство.

— Значит, говорите, мы теряем лучшее?

— Да. Мы берем всегда отрицательную сторону. От социализма остались отрицательные проявления, а от другого общества, в которое мы вступили, мы берем худшее. Но, может, это нормально. Опять первоначальное накопление... Всегда у них первоначальное накопление! Может, так и должно быть...

— Мы с таким уверенным видом ввели платное высшее образование и медицину, как будто только так и бывает при капитализме... А Канада какая-нибудь?

— Конечно, правящий класс всегда злоупотребляет. Но что-то хорошее наследуется... Наверху среди вырожденцев и вырожденцев были действительно выращенные люди. С ответственностью. С чувством долга, с культурой. Мать моя всегда говорила: «Потребуется три поколения, чтобы все пришло в порядок». И она при этом не думала ни о какой революции, ни о какой смене власти. Никто из нас не верил, что Брежнев умрет.

— Значит, просто три поколения? И именно три?

— Ну да. Потому что как раз три поколения было вырублено. А у нас и без того было отставание от Европы, спасибо Пушкин нам один век нагнал. Чехов — еще один, — и тут-то все и началось.

— Я иногда думаю, что раз лучшие были уничтожены, то мы — те, которые выжили, — это третий сорт человеческого материала. Так, что ли, выходит?

— Я не знаю. А может, как раз первый сорт! Потому что идет же выбраковка. Это то, что толком не изучено, то, о чем не очень порядочно даже рассуждать, — но кроме нашей личной истории существует история самого вида, вида в форме национального продукта.

— Так, так... Очень интересно!

— Эта история связана с тем, что никакая работа не делается случайно.

— Так что же, вы не исключаете, что в ходе этой отбраковки убирался ненужный генетический материал? Вредный для вида?

— А вот неизвестно! Может, бездна наполеонов отбраковалась.

— Или чикатил.

— А может быть, и чикатил. Вот непонятно! Это — механизм, который нам неведом. Но какие-то исследования в этом направлении уже ведутся. Я люблю повторять, что человек использует только пять-шесть процентов мозга на сознательную деятельность, это ученые открыли. А остальные 95 процентов — они для чего? Я думаю, что там-то все и сидит. Там-то и сидит то, что мы живы, то, что управляет нашим организмом, то, что обеспечивает выживание нашего вида и рода, там все программы биологические записаны! Мы думаем, что мы такие умные — ворочая своими пятью процентами.

— А есть еще версия, что главная масса мозга — она как раз отвечает за биополя и прочие поля, это как антенна или, там, передатчик, что-то в этом роде.

Породы людей

Я слышал, вас иногда задерживает милиция — принимая за бомжа. Тем более у вас тут вон три вокзала под боком...

— Люди некоторые идут в охрану или в менты — но это не значит, что они плохие. Просто они такой породы. Есть разные породы людей... Некоторые люди называют себя профессионалами — они не слышат языка, понимаете? Ведь кого называют профессионалами? В новое время — в первую очередь киллеров. За ними идут проститутки — их называют профессионалками. Профессионалами себя стали называть политики. И никто не заметил очередности! Это как орден «За заслуги перед Отечеством» — 1, 2 и 3-й степени. Это как осетрина второй свежести.

— Как Зяма (Зиновий Гердт) говорил: «Вот меня наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, и непонятно, что тут 3-й степени — я, заслуги или Отечество». Так, значит, вас винтят как бомжа.

— Что-то во мне они чувствуют тяжелое, чужое. Они же считают всё, как сканеры. Так они вырывают из потока авто, в котором шофер с остатком вчерашнего алкоголя. Как они сканируют? Во мне они чувствуют чужого. Есть же версия, что нет никаких классов, а есть народ и не народ, и кто вы — народ или не народ — вы всегда почувствуете по взгляду на вас. Мент смотрит и чувствует, что ты чужой. Если у него есть возможность проявить власть, он проявит ее. Вот почему люди идут в менты? Я по прописке москвич, а по духу питерский, там я родился и жил, все мои могилы в Питере. Там у меня полно детей и внуков. И тем не менее меня там останавливает мент как чужого. Я не знаю почему — может, я иначе иду. Ну может, потому, что у меня восточная внешность. «Документы!» А я без документов. «Какая у тебя регистрация?» Да какая у меня регистрация-то? Я блокадник. Что вам от меня надо? Вы не того остановили. Я живу тут, все мои могилы здесь. Он отвечает: «У меня тоже есть загородный участок». Вот уровень понимания! Когда началась перестройка, я предлагал: если хотите порядка,

выдайте каждому гражданину вкладыш в паспорт — «Права и обязанности милиционера». А то же беспредел! Вот была дискуссия о праве на оружие...

Кавказский темперамент

— Вот вы — ввели бы свободную продажу оружия?

— Это не мои полномочия и не моя прерогатива. Но я бы лично его бы лучше не имел. Я сам бы не взял его. На всякий случай. А вдруг я выйду из себя? При вождении авто главное — не задавить человека. Стволы пришли с войны перед революцией. Хорошая это вещь — винтовка Мосина. Из нее можно сделать обрез — хорошая придумка!

— Вот эта ваша кавказская составляющая — может, менты ее чувствуют? Вот вы удивляетесь, что вас взяли на Высшие режиссерские курсы, хотя в тот год набирали только нацкадры. Так, может, они вас взяли не как русского, но как черкеса?

— Они не знали. Никто тогда не знал!

— Вот не знали, а правда таки вырвалась наружу.

— Взяли потому, что очень мощная была рекомендация Пановой. Она была женщина такая властная, влиятельная. Руководил курсами Маклярский, в нашем понимании он был полковник КГБ — но он любил курсы. И он их сберег, сохранил их таким способом: к юбилею советской власти набрал нацкадры. А так курсы считались рассадником антидел и антител.

— Хороший ход он придумал!

— Да, придумал этот ход. Рекомендация Пановой, значит. Потом не исключено, что Маклярский из-за каких-то моих восточных черт мог принять меня — ну, скажем, за еврея. Или за полукровку. И поэтому был ко мне благосклонным. Это все работало и продолжает работать...

— И вы никого не разубеждаете!

— Это теперь я понимаю. Но тогда-то я считал, что все идет своим ходом. Ведь и Маканина тоже приняли. А он не имел никакого отношения к азиатам. Если не брать в расчет того, что он родился на географической границе Европы и Азии. Вот нас двоих и приняли; судьба, судьба, судьба.

— Вот вы боитесь оружие держать дома, — это кавказская вспыльчивость?

— Ну, мне свойственен грех гнева. Поэтому — зачем мне? Зачем мне?

— А были случаи, когда вы в гневе кого-то били?

— В основном меня били. Агрессия была — в пьяном виде. Я терпеть не могу хамства. Даже сны, меня преследующие, — про беспомощность перед хамством. Тебя окружает толпа, и, используя свое преимущество, она пытается тебя как-то опустить или унижить.

— Кавказ...

— А может, не Кавказ, может, просто реакция независимого человека. Может, гордыня. Я могу быть грубым, вполне. Вспыльчивым. И поэтому... лучше не надо мне оружия.

Байка про Вознесенского

— По поводу вашей вспыльчивости — есть знаменитая история про то, как вы побили знаменитого литератора. «Захожу в ЦДЛ, смотрю он сидит — ну как я мог его не ударить?»

— Эта байка принадлежит Довлатову, он талантливо придумал эти новеллы, и в них все поверили. А Довлатов после смерти стал очень популярен и читабелен. И теперь пиши не пиши, а про тебя запомнят только то, что ты... э-э-э... с Вознесенским подрался. И то, что у тебя брат Олег сбежал в Англию. Это безнадежно... Я понимаю, что раньше иначе и быть не могло, когда про это помнили и напоминали люди старшего поколения, выходцы либо из комсомола, либо из ЧК. Они другой информации хавать не могут. И вот теперь этот уровень интеллектуальный переходит в ваш глянец. Но с другим знаком. Вам нужна соленая история. Желтая история!

— Ну что можно с этим сделать? Это литературная легенда.

— Это не литературная легенда. Это плебейская легенда. Это то, что осело в мозгах у обывателя. Средненоменклатурного обывателя российского.

- Это как «Лев Толстой очень любил детей».
- Ну, это обэриуты.
- Но как только на ум приходит Лев Толстой, сразу эта фраза.
- Это пародия.
- Так выходит, Довлатов сделал пародию на обэриутов?
- Ну, не знаю, что он сделал... Он выработал свой жанр, написал книги — «Соло на ундервуде» и другие. И теперь вы задаете мне те же вопросы... Я прошу либо не читать меня, либо читать. Не люблю — не слушай, а врать не мешай. «Слава» и «слух» — в истории языка из одного корня. Теперь они объединены пресловутым гламуром.

Слава-деньги-власть

— Я знаю, что чувство правоты является одним из самых позорных в человеке. (Петр Мамонов тоже говорит: «Где чувствуешь, что прав, — там самая гниль».) Оно ведет к агрессивным действиям. Когда человек думает, что он совершенен, безгрешен, что он лучше другого — во власти, в богатстве, в славе, то он становится черт-те чем. Голем какой-то... Прямо-таки эйнштейновские поиски: что он искал — единое поле? Вот и мы ищем — единое поле трех компонентов. Поэтому так тяготеют друг к другу слава, деньги и власть. Всем хочется и того, и другого, и третьего. Если есть что-то одно — то хочется и другого.

— Это вы про Ходорковского? Который к деньгам захотел и власти?

— При чем тут Ходорковский? Я не знаю про него ничего, кроме того, что мне говорили — что у него достаточно прозрачная компания. А что такое — прозрачная? Я не знаю. Но то, что он — предприимчивый человек, капитал сколотил, — тоже факт. Я ж не спрашиваю, сколько у Путина денег. Потому что он скажет мне, что получает зарплату. И у Ходорковского не надо было спрашивать, есть ли у него намерение войти во власть. Вот тут поле для столкновения. Если власть подозревает, что человек — ну как с Березовским было — кроме денег претендует на власть — то для власти он опасен.

— Вот Ходоровский подозревается в том, что хотел власти. А Путин может доказать, что он к власти не стремился, просто его поставили, вот он и работает. У него алиби!

— Ну да, все такие пушистые. Вот меня как-то спросили: что такое народ? Есть формула — я уже говорил об этом, ее автор Акунин — что в России есть только два класса, народ и не-народ. Но у меня формула другая. Такая: слава, власть и деньги зарабатываются всем миром, это категории энергетические — а распределяются другими людьми, не теми, кто это все зарабатывал. Вот кому ничего не достается, тот и есть народ.

— Красивая формула. А Акунина вы, значит, читаете.

— Нет.

— Ну, он сам виноват — говорит, что он не писатель.

— Это он кокетничает. Он успешный вполне господин. Хотя мы из разных епархий. Но эти книги написаны очень... грамотным интеллигентным человеком. Он же образованный человек. Востоковед.

Вот есть вопрос: Ульяновск, Ленинград — почему они не переименовываются? Я спокойно говорю слово Ленинград (блокада, война, исторически все верно), хотя Ленина не любил гораздо больше, чем Сталина. Я так же свободно употребляю это слово, как Петербург. (А лучше всего работает слово «Питер».) Теперь говорят, что Ульяновск не в честь Ленина, а в честь его отца, который много сделал для чувашей. И вот в Ульяновске мне был задан вопрос из зала — по поверхности, как бы такой простодушный — можно ли при жизни исчерпать славу? Очень простая внятная постановка. Слава — это определенная энергетика, которая вкладывается в жизненный путь. Иногда путем технологий — пиара и так далее. Но тогда она таким же образом и расходуетя. Для поддержания этой энергетики должно быть правильное поведение, надо все время себя демонстрировать, нужно кланяться, так или иначе делать вид... Вот вы считаете, что я элита — ерунда это! Я просто не кланяюсь. «Что он, о себе много думает, что ли?» Не думаю о себе много, но для меня это поведение — кланяться — позорно. А когда люди идут на ТВ, и там говорят о себе, рассказывают свои семейные

истории... Особенно эффектно, когда уничтожают человека после смерти — «Ушедшие кумиры» и все такое прочее... Такое впечатление, что последний жар из остывшей топки выгребают. Таковы современные массмедиа. Этого много — значит, это имеет аудиторию, имеет рейтинг, есть спрос, но это неприлично!

— Это — с одной стороны; а с другой, мы ведь хотели свободы — и когда она пришла, мы увидели: вот чего захотел освобожденный народ! Которому дали свободу выбора! Они хотят ерунды — и получают ее.

— Что значит — хотят? Им продают то, что им продают.

— Такова свобода. Люди могли бы покупать Моцарта, вон дисков полно кругом — но берут все больше шансон. Таков народ! И другого у меня для вас нет. Мы-то думали, что народ умный, а он любит всякую дрянь и этого даже не стесняется.

— Ну и слава богу. Но рынки должны быть независимыми, вот в чем все дело. Если какой-то замечательный музыкант исполняет Моцарта в каком-то престижном зале — то аудитория всегда на него придет. Придет и еще будет показывать, как она одета и какие у нее драгоценности. Как ни повышай цены, это будет работать. А вот не надо мерить все советскими масштабами — тираж, там, 100 000. А кто читал эти 100 000? Это все превращалось в макулатуру в ту же секунду. Тиражи были дефективные. А теперь полки библиотек, к сожалению, не пополняются — дорого. Рынки очень разные. Вот на Западе книга выходит сперва в hard cover, стоит дорого. Потом, если она хорошо пошла, то выпускается в paper back. Она в pocket book переходит. Книга может быть дорогой; сначала надо издать красиво книгу, а потом уже как судьба укажет. У нас в секторе pocket book есть серия «Азбука-Классика», очень хорошая. Но у нас и распространение упало вместе с системой. Дорого! Дорого стало перевозить книгу. Продавать книгу. Но «Классика» держит хорошую полку, и приятно видеть себя на ней.

— Ну да, вас же там издавали.

— Да, книги четыре. Меня там издали одного из первых. Компактно, удобно и культурно сделано.

— Но там шрифт мелковат. Тяжело читать.

— Ну чтоб подешевле.

— Я вот стал с теплотой вспоминать про культурную политику коммунистов. Помните, в эфире была только классическая музыка? Показывали хорошие фильмы... Если детектив — так Шерлок Холмс. Ни порнухи, ни желтизны, желтей Куприна («Яма», книга про проститутку) никого не знали. И пролетарии с колхозным крестьянством читали детективы, но считали их низким жанром, жили как-то в Божьем страхе. А теперь им дали понять, что Моцарт-Шмоцарт — это ерунда, а вот попса — это круто! Употребляйте дрянь!

— Слава богу, что у нас есть макулатурный рынок, пусть! У нас вполне квалифицированно стали писать детективы. Я и сам читал в какой-то момент Маринину, хотел понять, что и как она делает. Эти книги — вместо телевизора! Ничего в этом нет скверного. Потому что до классики надо дорасти. И кстати, не надо преувеличивать, не надо говорить, что якобы читали Толстого, Пушкина и Достоевского. Никто их не читал! Ими больше отравлялись в школе, неправильным прочтением, неправильными объяснениями и навязыванием. Из них сделали чугунные памятники, составили политбюро русской литературы, и никто не мог отличить Чернышевского от Добролюбова, говорили — Доброедов и Толстоевский. Или как в анекдоте: «Это памятник тому парню который “Муму” написал? — Нет. — Вот так всегда — одни “Муму” пишут, а другим памятник». Идти навстречу рынку и формировать рынок — это совершенно разные вещи. Меня гораздо больше привлекает и удивляет то, что находятся люди, которые хотят выпускать хорошие книги. И выпускают их! Значит, есть ниша, в которой это может быть даже рентабельным.

Свободы

— Вы выбрали свободную профессию, не желая ходить на службу. И что можно теперь по прошествии многих лет сказать — жили ли вы свободно, делали ли что хотели?

— В смысле свободы слова — мне ничего не дала гласность. Кроме возможности публиковаться.

— А что, собственно, еще нужно?

— Ну, она мне не дала свободы в письме. Эту свободу я себе сам объявил. Давно. Я ее имел на протяжении всей жизни.

— Значит, вы всю жизнь писали, что хотели, но делали — что хотели или нет?

— А что именно — делать? Морды, что ли, бить?

— Не знаю. Я спрашиваю у вас! Были вы свободны в поступках?

— Я думаю, что был. Но в меру — раз я жив до сих пор. Был свободен, но все равно я соблюдал нормы общественной игры... Для меня был важнее мой текст. В нем я проявлял свою свободу. И сфера общения — ты сам выбирал себе друзей. И возлюбленных. Это тоже свобода. И еще — свобода перемещения. Я только что писал комментарии к своему собранию сочинений, сейчас издается — и там первые четыре тома — «Империя в четырех измерениях». Как единое целое. И вот третье измерение — это «Путешествие из России», то есть в пределах бывшего СССР. И вот, значит, пишу я сейчас комментарии... О несвободе в СССР сказано много. Но очень мало сказано о свободах, которые там были! Ты был расконвоированный внутри зоны — если не был колхозником или заключенным. Та свобода перемещений кончилась!

— Тогда было дешево путешествовать по стране.

— Дешево. Моя страсть к путешествиям удовлетворялась таким способом! Я скучал, потому что не мог увидеть Западный мир, но я удовлетворялся тем уровнем, который был доступен. Или говорят — секса тогда не было; удивительно свободная в этом смысле была страна! Все друг другу давали.

— Бесплатно.

— Да! Без нагрузок.

— Всё давали даром, и 1/6 часть мира была наша, — поди плохо?

— Везде хорошо, где нас нет. И особенно хорошо это связано с молодостью. Я не любил систему, я не любил строй. Это было мое личное дело. Я недавно нашему с вами общему другу Владимиру Григорьеву сказал, — ему очень понравив-

лось, — такую вещь. «Наконец-то я понял, — говорю, — как мне отомстила власть». — «Ну и как же?» — «Очень просто: я ее не заметил, и она меня не заметила». И у меня еще была формула, записанная в «Оглашенных»: согласиться с тем, что КГБ за тобой постоянно следит, — это мания преследования, а не согласиться — тогда ты безумен, потому что не осознаешь объективной реальности. Важно было избежать и того и другого. Тем не менее это была моя жизнь...

— Ту власть вы не любите, этот режим игнорируете — что, не было никогда такого, чтоб власть вам нравилась?

— Нет. Мне власть не нравится в принципе... Ну вот Пушкин: «Пушкин народный!» А любую строчку возьми — там абсолютно твердая позиция по отношению к власти. К толпе. И все это звучит весьма вызывающе.

Поэт, не дорожи любовью народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум...
Ты царь, живи один, дорогою свободной
иди, куда влечет тебя свободный ум... —

Вот — позиция!

— И вы на ней тоже стоите?

— Да. Мне это нравится. Наряду с памяткой «Права и обязанности милиционера» надо каждому писателю вручать и этот текст. А каждому гражданину еще такой:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу на то, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать,
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.

— Великая фраза!

— «Морочит олуха...» И вот поймите, за цензуру он или против? Понять очень сложно.

— Это не диссидент! Это — выше!
— Свободный человек.
— Вот и мы так хотим.
— Мы хотим, чтоб власть выполняла свои функции, а человек имел свои права.

— Да... Я часто вспоминаю эти строчки Пушкина, когда читаю «Новую газету» или там «Новое время»...

— «Новая газета»! Я там числюсь даже в обозревателях. Иногда ее читать неуютно. И думаешь — ее разрешили, что ли? Чтоб был такой орган? И начинаешь думать... Это ж не может быть просто так.

— С грустью я думаю о том, что Политковская — моя, кстати, однокурсница — имела американский паспорт. Тогда надо было это ставить в подпись, что это мнение американской гражданки, мнение иностранки о нашей жизни. Она как бы такая маркиза де Кюстин.

— Но убивать ее было не надо.

— Ни в коем случае. Не приведи Господь!

— Если государственная сторона врет, а она всегда врет, потому что ей это нужно, — то кто-то должен говорить, что это неправда. Нормальная схема. Так должно быть!

— Но Пушкин же говорил, что пусть иностранцы помолчат, только русский может ругать свою страну...

— Она не была иностранкой.

— А паспорт?

— Ну и что — паспорт. Вы еще потребуйте прописку предъявить.

— Ну а каков бы я был с русским паспортом, ругая киевскую власть? Какое моральное право у меня на это? Интересно, что вы на это скажете.

— А надо смотреть, выгодно это власти или нет. Я перестану ругать, если увижу, что совпадаю с официальной точкой зрения: значит, тут ложь. Когда меня заставляют выбирать тех или этих, я говорю: а пошли вы оба нах! Человека ставят не в положение выбора, а в положение управления. Им хотят управлять. Кацап ты или хохол? Надо выбирать.

— Я хохол.

- Нет, я не про вас, я имею в виду неопределенно-лично. «Ты русский или еврей?»
- Меня за еврея часто принимают.
- Ради бога. Главное — разделяй и властвуй, сказано на все времена. Все способы разделять — они выгодны всегда власти.
- Так насчет того, что Пушкин про иностранцев сказал, прав или неправ?
- Он сказал только, что ему неприятно (когда иностранец ругает Россию). А кто прав и неправ, про это он не говорил. Это вы так ставите вопрос — прав или неправ.
- Так, значит, вы думаете, что Пушкин нам в этом не указ.
- Ему просто неприятно это слышать.
- Сказал — и сказал?
- Да, сказал — и сказал. Да, всегда можно исказить смысл, вырвав из контекста цитату. И сразу начать толковать... Я помню, еще при советской власти, все было в порядке, и вдруг напали на элитную литературу.
- И на вас, соответственно.
- Да. Я был хорошим примером, чтоб порассуждать: кому это нужно? кто это читает? И так далее. Вот была такая фраза, пушкинская — «Все жанры хороши, кроме скучного». А это перевод с французского, кажется, — может, даже из Вольтера. Но это не вся фраза, дальше там было: «Хватит нам повторять эту пошлость». Так эта концовка опускается, понимаете? Когда нормальный человек высказывает мысль, эту мысль надо дочитывать до конца. А то потом говорят: «Ты там-то сказал так-то». Вырвали из контекста, превратили в оружие против тебя — или за себя. Боже мой, а сколько либерального террора Пушкин претерпел за стихотворение «Клеветникам России»? Но в тот момент у него было именно такое ощущение! От польско-русского конфликта! Приблизительно как теперь от украино-русского. Он стал вдруг государственным. Ему до сих пор это вменяется в позор и ставится в вину. А права сказать то, что он думает и что чувствует, — у него что, нету такого права?

— Меня часто ругают мои либеральные друзья за то, что я терпимо отношусь к некоторым левым патриотам. Которые талантливы и симпатичны мне. А я что, должен разрешения спрашивать, с кем мне можно выпивать, а с кем нет? С кем хочу, с тем и общаюсь! Кто может мне указывать? Я, может быть, неправ и противоречив, но все равно отстаньте от меня.

— Да, да, вот это «наши — не наши»... Очень я люблю американца Курта Воннегута. У него в «Колыбели для кошки» есть мысль, что единственная общность людей — это люди встретившиеся вам на жизненном пути. Карасс, гранфаллон — люди одного выпуска, одной партии, одной нации — это всё ложные карассы. Нет людей хороших и плохих только по принадлежности к тем или иным убеждениям.

— Я очень рад, что тут нашел у вас сочувствие.

— А я могу переменить точку зрения!

— Ну, имеете право... Кстати про левых: вот есть Прилепин, — вы читали?

— Один рассказ. Лимонов — отличный писатель, а игра в политику — его личное дело.

Империя

— Далее. Проханов часто на вас ссылается. Эта его идея насчет пятой империи — и Чубайс говорит про империю (либеральную), и вы. Типа вы все заодно.

— Империя — это очень сложный организм. Я его изучал изнутри, поскольку был в ней заперт. Мне глаза на империю открыла поездка в Монголию в 1987 году. Империя как обширное пространство, где жили самые разные народы. И уже тогда у меня возникла идея, что нет единого пространства по общему времени. Нету такого! Все живут в своем времени и находятся в своем веке. Я ездил в Узбекистан советский; секретари партии — это те же самые баи, которые имеют своих овец. Они в XV веке остались, а Москва теперь думает, что она живет в XXI веке.

— А на самом деле?

— Москва, наверно, в XVII. А Петербург — в XVIII. Все живут в своем историческом времени, но такой карты никто не нарисовал. И основные конфликты происходят из-за того, что сталкиваются менталитеты, живущие в разных исторических временах.

— Чеченцы и русские.

— Ну да. И ими можно управлять. А управляет соответственно кто? Злодеи. Которые пользуются этой разницей менталитетов. Менталитет — это принадлежность не к крови, а к истории. Я удивлялся — почему монголы предпочитали не Китай с его древней культурой, а русских? Тогда шутили: курица не птица, Монголия не заграница. Что это 16-я или 17-я республика.

— И Монголия, кстати, входила в наш Забайкальский войсковой округ.

— Тем более. И непонятно, кто на кого пародия. Думали, что Монголия пародирует СССР, а на самом деле Россия давным-давно начала пародировать Монголию. Монголия как жила в своем XII веке, так она в нем и осталась. Мне тогда объяснили: СССР сделал им резервацию, а китайцы бы их растворили в своей цивилизации. Мы дали им жить по своему. На каком-то уровне подсознания... Так вот я вам скажу, что империя — это форма мира после большой войны. Вот что это такое! Империи — вещь историческая, им не так просто возникнуть — и не так просто исчезнуть. Надо смотреть на симметрию возрастную историческую. Если построить человеческую жизнь как синусоиду, то получится, что есть подъем наверх — и спуск вниз. Вот если мы сделаем по горизонтали отметку, то мне сейчас, может, не 72 года — а восемнадцать, если мне суждено до девяноста прожить. Это симметрично очень. Не зря говорят: что стар, что млад — это один уровень... Восстановление империи — все отошедшие республики заболели империей. Грузия в СССР наиболее освобожденная республика всегда была — она первая и пережила имперский синдром. По отношению к своим малым народам.

— И что вы скажете про русскую политику там?

— Ну разве можно было так переть?

— Значит, вы и тут против власти...

— У Грузии есть установка на целостность своей территории. Абхазия — это вопрос сложный, но это реальная территория Грузии. Осетины были пущены грузинами для охраны границ... Слушайте, и те и другие — сволочи, все делалось в чьих-то интересах. Политика велась ужасная, паспорта выдавались. А правы только те, кого убили; вот осетины и правы.

— Меня смешит то, что Германию — Германию!.. — можно было объединить, а Осетию — вот нельзя, и всё тут. Просто красота!

— Это другое дело. Германия до фашизма всегда была разделена на земли, а не только советской властью надвое. В Грузии мы продлили режим Саакашвили — вот что мы сделали. Если б мы не дошли почти до Тбилиси, то они бы его скинули. Но за каким хреном? Что, нам нужна мировая война? Грузины просто решили отойти от одного большого брата к другому, это их дело. Это бездарность дипломатии двусторонняя. Ни дипломатии, ни политики... Что такое качество военной операции вне этого? Люди не хотят, ну не хотят вас! Какие могут быть государственные причины удерживать их силой?

— Венгрия тоже не хотела. Но мы ее удержали в 56-м.

— Хотя она и воевала на стороне фашистской Германии, но в тот-то момент она была страной нашего содружества. И давили мы уже своих. А может быть, эта маленькая страна была настолько же не фашистской, насколько и не советской.

— На тот момент она была во многом фашистская! Ветераны-фашисты вернулись из русского плена — и вперед. Не понравился им Совок, и не хотели они его получить с доставкой на дом. А нам не нравился их фашизм... Кстати, у вас же тогда сборник был готов, и набор рассыпали из-за мадьяр. Нашли там какой-то ваш текст подозрительный.

— Это не из-за меня, а из-за Лиры Гладкой, поэтессы ленинградской. Она написала стихотворение, которое прозвучало по «голосам»:

Там русское «стой» как немецкое «хальт»,
«Аврора» устала стоять на причале,
Мертвящие зыби ее качали...

Вполне романтическое революционное стихотворение... Конечно, из-за нее рассыпали! В сборнике было много ребят из литобъединения. В Ленинграде не было оттепели... Там был обком.

— Надо бы снять фильм ужасов. И назвать его — «Обком».

— Так вот я про Монголию почему вспомнил? Почему там точно такая же военная форма как у нас? Да потому, что монголы ввели и устройство войска, и районирование, чего прежде у нас не было. Обком, райком — два иностранных слова. Но почему так хорошо легли на русское ухо? А потому что в Монголии было территориальное деление на аймаки и сомоны. То есть ухо запомнило. А я, прожив все жизнь с русской фамилией Битов, могу сказать: ни один человек из народа, ну на уровне сержантов армейских и ментовских — не мог мою фамилию произнести правильно. Батов, Бытов, Бутов.

— А потому что фамилия нерусская. Так вам, значит, империя симпатична...

— Нет, как только начинается кровь и насилие — не симпатична. Горбачев хотел невозможного — разрушить строй и сохранить империю. Так не бывает. Империя была ценностью, конечно. Только для ее сохранения можно оправдать захват власти Советами. Новому режиму потребовался геноцид классовый, а не национальный. Создали «дружбу народов», пусть даже она была не очень реальной. А больше провозглашенной.

— Дружба на штыках.

— Нет. Не совсем, не полностью она на штыках была. Она была и раньше — при бывшей Российской империи. При Советах «народам» дали больше самостоятельности, чем русским; своих-то давили, своих не жалко.

— Кстати, почему своих не жалко? Что это, инстинкт самоуничтожения?

— Не знаю. Я в этом не хочу копаться. Но, думаю, это вопрос укрепления власти. В Монголии я понял, что вот у нас Пушкин, а у них — Чингисхан, они на него молились. Для них это такой седой мудрый мирный человек. У него была очень организованная армия. Возник такой, по Гумилеву, народ с пассионарностью, и монголы поперли. У Чингисхана была идея, как у Сталина, — мир во всем мире. Но под своим началом. Любыми способами. Еще не было огнестрельного оружия, а уже можно было уничтожить 200 000 человек при захвате какого-то города — за одно только то, что кто-то проглотил бриллианты. И двумстам тысячам людей вспороли животы. Ножиком. Мы болеем за других и забываем, что геноцид — это мировая система, она была всегда. Причина распада страны только одна: она не хотела при этом строе жить. Сколько бы ни говорили, что она хотела, — а таки народ хотел побить царей и помещиков. И это стремление народа было использовано — вот и все. Погром! Так к власти пришли новые люди. Новая власть была слаба. Она не была в себе уверена — и потому она должна была все время нагнетать страх, наращивать силовые структуры — все держалось на страхе. Это был просто такой ход. И вот что получается с этим Чингисханом? Его 800-летний юбилей отмечало ЮНЕСКО. А пройдет 800 лет, как будут Сталинский юбилей отмечать, а? Никто не знает как! А Наполеон, что ли, подарок? Коек, в которых якобы ночевал Наполеон — каждый отель в Европе такие демонстрирует — больше, чем ночей в жизни Наполеона; в Молдавии похожая история с Котовским. Это все мифология, а истории нет. А есть история народа и история языка, а все остальное переписывается сотни раз без Божьей помощи. Документы какие-то остаются — но документы тоже не опора реальности, потому что они тоже писались в свое время в чьих-то интересах. Я Пушкиным занимался и вижу, что много раз из него пытались сделать куклу, набитую каждый раз новыми опилками. И никто его не собирался внимательно читать. Кроме Никиты Сергеича, его никто не читал.

— Никиты Сергеича? Михалкова?

— Нет. Хрущева. Он был своеобразный господин. Когда его скинули в 64-м, у него появилось время почитать. И он — только чтоб жена не увидела — читал тайком Солженицына, пряча книгу под подушкой. «Один день Ивана Денисовича» он открыто читал, а «Бодался теленок с дубом» — тайком. Чтоб Нина Сергеевна не увидела. Так вот тогда и Пушкина прочитал, и сказал: «Не наш поэт, мне гораздо ближе Есенин! И Твардовский». Да, он не ваш поэт, и его никто из ваших не будет читать, если его не набивать кумачом. А если вы сумеете его прочитать, то вы будете другим народом, вот что я скажу. И делается все, чтобы его никогда не прочли.

— Да, из-под палки читая, не вникнешь... Значит, вас не смущает, что вас записывают в сторонники Проханова.

— Я ему не сторонник, и он мне не указчик...

— Он ваш идейный противник?

— Я не знаю. Я говорю, что думаю, иногда — очень легкомысленно.

Доха Проханова

— А вот есть тема, как вы впарили Проханову доху, которая сразу облезла, и он на вас обижается — вот-де они какие, либералы! Он сам рассказывал. Это тоже литературная легенда?

— Действительно, он на мою доху положил глаз, я говорю — возьми, у меня денег не было.

— Вы в ЦДЛ тогда встретились.

— Да. Доха была из необработанного оленьего меха.

— Вы ее купили в поездках по империи?

— Ну нет, я ее купил у очень странного господина в Ленинграде, очень странного происхождения — полуненец-полуфранцуз, можете себе такое представить? Доху я у этого полуненца купил потому, что я шил у него волчью шубу, которую в свое время тоже продал. Мне хотелось что-то такое и необычное, и по деньгам доступное. Шуба, правда, оказалась не волчья, а собачья. Одичавшая, правда, была собака. Проханов сам на доху глаз положил! А в том, что она облезлая, — виноват лось. Или кто там — олень, а уж никак не я...

Тайны Переделкино

— Раньше литература была высокой инстанцией, писатель был как пророк, его спрашивали — как жить, что он думает обо всем. А теперь это место заняло ТВ, да? Оракулы теперь там.

— Да пускай... Они просто людей на мякине проводят. А литературу тяжелей воспринимать, чем Ксению Собчак. Вот и весь секрет: что проще, то и едят.

— Но она ж теперь тоже писательница. Вон у нее сколько книг!

— Ради бога, — она делает бабки, что называется.

— Вы не пошли на встречу с Путиным, когда была книжная ярмарка в Париже. В этом некоторые увидели позу.

— Что значит — не пошел? Когда я увидел, как ломались к Путину, — мне не захотелось просто быть в толпе. Ничего в этом не было, никакого вызова. Не было в этом никакого моего противопоставления Путину.

— А были такие, которые не пошли по идейным соображениям.

— Какие могут быть идейные соображения?!

— А вон Юрий Поляков знает какие.

— Зачем мне считать деньги в чужом кармане? Поляков — придворный, он первый приватизировал дачу в Переделкино!

— А вы — не приватизировали?

— Нет. Нам с моим крестным Олегом Волковым в Переделкино дали по полкоттеджа, это пожизненно, у меня внуки там вырастают.

— А приватизировать?

— Я б с удовольствием. Но это невозможно.

— А как же он?

— А вот он — сделал. И Евтушенко это сделал. Но они люди структурные, им дали это сделать. Насчет дач. Я долго думал — почему так популярен Чехов на Западе? У него же в пьесах жизнь русская, как могло это импонировать иностранцам? А потом понял! Мы просто не понимаем, о чем

писал Чехов! А он писал о разделе частной собственности, и западный читатель, который непрерывен, он все понимал! Про разорение и перезаклады, про закладные, векселя, акции... У нас же ходили мхатовские актеры в костюмах и играли дворянскую жизнь, пытаясь обойтись своей личной собственностью при социализме. Я преемственно уже ничего не понимаю в частной собственности, в этом плане я совершенно советского разлива человек, вырос вне этого опыта — а тут мне вдруг попался термин из русской литературы — «выморочная собственность».

— В смысле — оставшаяся после владельца, умершего без наследников?

— Черт его знает. Но я назвал так Переделкинский поселок. Потому что это не собственность государства, не собственность частная, а собственность некоего Литфонда. И когда начались все эти идеологические разборки, на фоне свобод, между союзами писателей, — это все был раздел Литфонда, там были большие богатства. И то, что сейчас творится с Союзом кинематографистов и с Михалковым... это то же самое — вопрос собственности. Все это достаточно просто.

— А у вас, значит, дача не приватизированная, в отличие от Полякова и Евтушенко, а в пожизненном владении.

— Да. Наследникам дают полгода там пожить, а потом пусть выметаются. Жалко, конечно, а все же это халява: я не заработал, мне дали.

— Но вы этой халявой ведь пользуетесь.

— А что ж я должен отдать, что ли, ее? Нелепо. У меня заслуг не меньше, чем у других писателей, которые этим пользуются. Дали — ну и дали, дареному коню в зубы не смотрят.

— Не дареному — а сданному в пожизненную аренду. Вас или коня.

— Хотя в свое время я гордо возвестил, когда начался передел собственности — что ни одного клочка шерсти с паршивой овцы не возьму! И тем не менее взял, конечно! И Олег Васильевич Волков, который отсидел 29 лет, — взял и дачу, и квартиру от Союза писателей. Все это элитное было, но ему дали: в него играли, как в национальное достояние.

Правды

— Вас тоже, может, не все понимают. Вот была диссертация о дзенских мотивах в творчестве Битова. В Америке, кажется.

— В Англии. Очень давно.

— Но вряд ли тогда пропагандировали дзен как единственно верное учение?

— Я тогда понятия не имел о дзене. Но многие считают, что это не религия, а философия. Все это одно и то же в человеческом смысле. Это совпадает с опытом человеческим и с православием... Мне близко вообще понятие дзен.

— Но это вы поняли задним числом. Особенно мне нравится, что у них пьянство считается религиозным ритуалом.

— Тогда можно сказать, что Венедикт Ерофеев сделал из этого духовный путь.

— «Дзен и Сэлинджер» — есть такая тема. Что Сэлинджер насквозь буддист и все рассказы — это зашифрованное такое дзен-послание.

— Ну есть и «Дао по Винни-Пуху». Правда — она звучит во всех временах и в каждом опыте. Есть тысячи способов ее выражения. Но настаивать, что именно тут истина, не приходится. У меня свой дзен... Когда мы в школе проходили геометрию, меня поразило, что шар в любом сечении дает круг. Следовательно, круг является чем-то убедительным. Круг — идеальная форма, потому что замкнутая. Так же и реальность — ее можно отражать бесконечным количеством способов. И если ваш интеллект позволяет из этого выстроить круг, то есть систему, — то кому-то она покажется убедительной, он поверит. Фрейд, Маркс... И земля — шар, между прочим. Суть в том что всякая замкнутая конструкция пытается всех убедить, что она истина. Между прочим, дьявол — замкнутая конструкция. А разомкнутая конструкция — это Бог.

— А те, кто создает замкнутые конструкции, — сатанисты?

— Ну если вы слишком уверуете в одну из точек зрения, то вы, конечно, подпадаете под соблазн.

— Да-а-а-а...

— А людям хочется обязательно к чему-то прислониться — вот это правда, это так. И поэтому все течет и переливается, слава богу. Так жизнь продолжается. Слова вообще выражают больше, чем мы имеем в виду. Вот я сейчас читаю книжки ушедшего Гаспарова, царствие ему небесное... А я необразованный человек, так что я из его даже популярных книг черпаю информацию. И там получается, что многобожие, например, которое было в Древнем Риме — дало нам множество слов. Многие наши понятия произошли от названий богов. Бог существовал на каждый случай, на каждый человеческий шаг. Что ни слово — то был бог, слова были богами, вот в чем дело. Все термины — от филологии до гинекологии — это малые боги. Зачатие и беременность, роды — везде свои боги. Все отсюда все. Поэтому классическое образование столь важно. И необходимо. Я как человек необразованный, темный — не получил классического образования. А Пушкин в лицее — получил.

Образование

— Насчет образования; у вас была красивая мысль, что нельзя понять свой язык не зная иностранного.

— Да, да, правда.

— Вы же англоман.

— В Англии я бывал мало, хотя очень люблю эту страну. Кроме русской литературы мне нравится еще английская — а больше, пожалуй, и никакая. По чувству дистанции, иронии и достоинства — с этими двумя никто не сравнится...

— Вы еще говорили, что, если перестройка еще будет продолжаться, вы организуете собственный застой. Вышло по-вашему как по писаному! Мечта сбылась. Вот вам и застой.

— Но он не мой. А у меня застой — мой собственный. Мне нечего было менять с изменениями в политике.

— В каком смысле у вас застой?

— В том, что я ничего не меняю. Делаю то, что и до этого делал. Это тоже требовало усилий — не бежать, как говорил

Мандельштам, задрал штаны за комсомолом. В «Четвертой прозе» он это сказал. (На самом деле Есенин, ну да уж ладно. — И. С.)

— Вы жалуетесь, что не получили образования — а с другой стороны, говорили, что незнание культуры — это благо, ибо это освобождает человека от комплексов и он свободен в поиске.

— Я не могу не сетовать, что не получил классического образования, что не прочитал чего-то — но тогда мне пришлось следовать дальше того, что я прочитал. А хватило ли бы у меня сил на это? Эта возможность думать, что ты что-то делаешь сам, до чего-то додумался первый — она открыта для темного человека. Он не очень задумывается о том, что до него что-то было... Вот у меня в этом собрании сочинений идет четыре измерения, а потом появляется пятое — это я о литературе как о способе памяти запечатлевать время и пространство. А после пятого тома идет шестой, куда я включил произведения более ранние. Он называется «Нулевой том». И будет предисловие о нуле — насколько он продуктивен, в нем содержится и плюс 1, и минус 1.

— Абсолютный ноль, минус 273 градуса?

— Нет, ноль математический. От него и в ту сторону можно идти, и в другую. Ноль — это энергетическая вещь, от нуля можно начинать. А если вы отличник, то трудно уже куда-то вверх идти... Вы заметили, что двоечники более оригинальные, более творческие люди? А ноль еще — *ab ovo*, на яйцо похож.

— Есть еще фраза, которую нельзя произнести: 0 — цифра или буква?

Зачем всё?

Вас как-то спросили, почему вы не пишете тексты про Запад, и вы сказали: «Я понимаю больше, чем могу».

— Запад — это не мой опыт. Я — человек, выросший здесь, а не там. И зачем я буду писать про то, чего не знаю? Я пишу про человека! Которого знаю. А знаю я лучше всего себя. И окружающий мир. А этот человек — я — име-

ет много общего с любым другим человеком в мире. Вот я удивляюсь: как же меня понимают в переводах? А у меня есть свой читатель в переводах. Узкий, но он есть, меня можно понять — вот в чем суть дела! Секрет того, что меня переводят, в том, что я похож на человека. А не в том, что я русский. И те переживания, о которых я пишу, — они понятны другому человеку. Я пишу о человеке, о том опыте, который мне был дан. Я не пишу ни про советскую власть, ни про Россию, ни про что-то еще — я пишу о человеке. Человеке в этом времени в этом пространстве, в этой истории — но это уже во вторую очередь.

— То есть вы пишете о человеке на примере себя...

— Я не пишу на примере себя, это не автобиографично, потому что все перемолото. Я не могу понять, что это за феномен, что это за животное, я не могу понять, зачем оно. Не понимаю, зачем мне дана эта страсть к пониманию. К постижению. И опять Пушкин:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

И далее громко:

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Вот это действительно настоящий вопрос — как так случилось, что меня... Что я не просто живу, а мне это занятно, мне это интересно; откуда взялось это тупое бессмысленное любопытство? Я хочу понять то, что я неспособен понять. Как писал Зощенко, «жизнь американского миллионера проходит для меня как в тумане». Или как писал Розанов — «не люблю Запад, там ничего не понятно. То ли дело в России — выйдешь на улицу, встретишь прохожего, посмотрит он на

тебя остреньким взглядом, посмотришь ты на него остреньким взглядом — и все понятно». И дело даже не в одном языке, а в одном историческом времени. Или вот Пушкина люблю цитировать; когда какая-то из барышень приходит из Тригорского в Михайловское и видит, что он лежит весь обложенный книгами, и восклицает: «Пушкин, Пушкин, какой вы читатель!» А он отвечает: «Признаться, я не люблю читать — чужой ум меня смущает».

— И вы не любите читать.

— Э... Я люблю очень читать! Но с возрастом все меньше, потому что это труд, который так же непосилен, как и... как само письмо.

— Ну и смысла нет, зачем узнавать новое, когда лучше потратить время на описание того, что ты уже знаешь!

— В том-то и дело... Ты мог прочитать мало, но ты мог вычитать из этого что-то общее, что тебе так или иначе становится известным из других произведений. И что, сличать их друг с другом по качеству или образованности какой-то? Нет. Вот философские книги я не могу читать. Потому что это изложено как-то этак... А где живой полет языка? Я думаю, что в раннем возрасте, когда я читал практически по слогам, звук и слово образовывали какой-то сплав — как монаду, что-то такое. Может быть, это и есть на самом деле дар? Дар — это значит быть в каком-то смысле тупым, неготовым. Это значит принять жизнь как открытие. Так рождается каждый человек. Он сначала ничего не понимает как бы. А может, наоборот, все понимает — а потом, по мере утраты этого знания, начинает его восполнять образованием.

— Вот Пушкин когда говорил «жизнь, зачем ты мне дана?» — так он был молодой парень в отличие от нас с вами. Вам он вообще во внуки бы годился, физиологически.

— Он был очень взрослый человек. Ему было почти 38 лет. И я по этому поводу придумал недавно такую очень примитивную схему, что в то время, в Золотом веке моем самом любимом, эти господа вызревали гораздо раньше — каким-то образом. И скорость времени была другой. Особенно у поэтов. И следовательно, пушкинский возраст надо брать ну хотя бы один к двум, и тогда получится уже 75 лет ему.

А лермонтовский возраст? Может, он вообще жил один к трем по своей скорости?

— Тогда человек мог быть генералом в 25 лет, и это никого не удивляло. А сейчас — в пятьдесят.

— Ну и каков генерал тогда — и каков сейчас? Теперь — это не наполеоновский генерал, конечно. Думаю, что время — категория тоже довольно не существующая. Вектор есть, а времени нет.

— По возрасту мы против Пушкина — как двоечники, оставленные на второй год. То, что они проживали за тридцать семь, мы проживаем за семьдесят.

— И потом, нас же еще погрузили в глубокий провал исторический. Ведь советский человек — это инфантильное существо.

— Дебил?

— Ну, дебил, не дебил... Построили какого-то искусственного идеалиста без веры в Бога. Это довольно сложный продукт...

— Русский человек без православия — дрянь. Кто это сказал?

— Похоже на Достоевского.

— Похоже...

— Дрянь не дрянь, — но наше воскресшее православие слишком, по-моему, в обнимку идет с властью...

— Ну уж лучше такое православие, какое есть, чем коммунизм.

— Конечно! Храмы восстанавливаются и так далее. Тот же Розанов говорил — «не надо батюшек ругать».

— Вот, вот! Мы их, может, и поругали бы — но зачем смущать простой народ?

— Простой народ меня и не слушает, я никого и не смущаю.

— Поймал я вас! Таки вы элитный. Не отпирайтесь... Еще вот я вспомнил очень красивую литературную историю — когда не было денег купить ванну для новорожденной дочки, вы продали книгу Ахматовой.

— Было такое. Причем ванна была куплена не моей дочке. А первой дочке Глеба Горбовского. Он очень талантливый

поэт. Из первых заговоривших своим языком и любил выпить. И я охотно к этому склонялся. И вот в тот раз не было денег на выпивку, а в Ахматову я не вчитался тогда еще — у меня был ее сборник, тот, что ей позволили собрать из шести книг после войны; или перед войной? Не помню.

— Подписана была книга?

— Нет, нет. Я не был с ней тогда еще знаком. Ну, в общем, тогда для меня это не было ценностью, и в книгах как в стоимости я не очень понимал. Но мы одновременно и вина купили, и ванночку для его дочери. И вот мы идем пьяные по Васильевскому острову, и вдруг начался ливень. А при нас как раз оцинкованная ванночка — так мы надели ее на головы и идем, и две наши тыквы бьются, как ботала в колоколах, нам смешно ужасно, вокруг дождь теплый идет.

— Смешная картина.

— Да, картина чудесная.

— Перевернутая лодка, вода сверху, а вы снизу.

— Это воспоминание юности — они все прелестны...

— До перестройки вы казались себе оригинальным — это цитата из какого-то вашего интервью.

— Я не помню.

— Еще цитата: «В старости, если она будет, займусь литературоведением».

— Ну, это смотря когда я сказал. Я не могу отвечать за все, что я сказал, все это превращается в картинки — а не в кино. А литературоведение мне так и так нравилось, я много чего написал. У меня в собрании сочинений получается целых два тома литературоведения. Один — «Пятое измерение», а другой — «Пушкинский том». Я попал в позицию своего героя Левы Одоевцева в Пушкинском доме; сначала я написал работу как бы для него, для своего персонажа — а потом попался на пушкинистику, и по симметрии к «Пушкинскому дому» — написал «Пушкинский том». Вокруг нуля, вокруг нуля...

— Вы при советской власти читались иначе, вы были скрытым диссидентом. Была нота протеста против власти. А теперь вы читаетесь как просто писатель.

— Слава богу. Но я всегда писал как писатель.

— В вас все равно искали второе дно. Это была не просто литература, это было волнительно и политически.

— Литература тогда занимала место гласности, которая сейчас реализуется всеми медиаспособами. Поэтому любую правду, которая раньше была запрещена, можно изложить очень просто на газетном листе. А тогда выписывали «Новый мир». Его в те времена все читали. Литература, хорошая литература — это форма правды. В ней невозможно соврать. Если она со враньем, то она не будет литературой. Человек читал про себя, это двусмысленно, но все равно — про себя. Я считаю, что чтение литературы — это способ смириться с собственным одиночеством. А каждый человек одинок в этом мире. И когда он читает текст не самого последнего дурака и не в самой худшей форме, то он понимает, что не только у него — урод, идиот и несчастного человека, есть проблемы в жизни, оказывается, и так же у других. Как в том анекдоте про сексуальное образование: «Объясни сыну про отношения полов на примере бабочек. — Помнишь, сынок, мы были в публичном доме? У бабочек то же самое». Так и с литературой... Вот я не могу общаться с Пушкиным, потому что мне это исторически не дано, но я читаю его — и так с ним общаюсь. А вот с автором детектива вы не общаетесь, когда читаете.

— А «Братья Карамазовы» — нечто это не детектив?

— Это не совсем детектив. Да и давненько я Достоевского не читывал. Общение с автором возможно, только если это художественный текст. Через язык идет общение. Язык в тебе оживает... Литература — это форма жизни языка. Жизни в чужом сознании.

— А вот вы говорили, что русский народ — богоизбранный.

— Это я сказал однажды в Израиле; они сказали, что они — избранный народ, и я сказал: «Тогда и русские — избранный». Они в этом заподозрили позицию почвенную, антисемитскую или еще какую. Но я им объяснил: «А какому еще народу можно было поручить справиться с советским режимом? Ни один другой бы не справился!» Вот такая у меня была формула. Русские избранный народ,

потому что этот его опыт был приобретен для всего человечества.

— Что ж на нашей-то шкуре все это испытывается?

— Вот поэтому и богоизбранный. Доверчивость... Где-то у меня написано, что народ соблазнить нетрудно, это называется — развратить.

— Соблазнить малых сих?

— Да, да. Это был разврат — чудовищный разврат равенства. В этом причина всей этой кровавой бани.

«Метрополь»

— А «Метрополь» все-таки кто придумал — Ерофеев, что ли, Виктор?

— Нет — Аксёнов, я думаю. Но рядом оказался Ерофеев. Просто Аксёнов ограбил тех авторов, которые были в «Метрополе», слиняв на Запад. А Ерофеев ограбил Аксёнова. Приписав всё себе.

— В каком смысле?

— В прямом. Все, кто туда вошел — они вошли по доверчивости. Лидером был, конечно, Аксёнов. Это была его идея. А Витя Ерофеев был в шестерках. Молодой, для него это был путь в литературу.

— Ограбил в каком смысле — в том, что затеял и уехал, а оставшиеся расхлебывали?

— Расплачивались, ничего не получая.

— А он — получал?

— Я думаю, что-то он получил, — с чем-то же он уехал. Я не знаю, какие там деньги — может, совершенно пустяковые, но он ехал уж точно с определенным моральным капиталом.

— А ведь чекисты предупреждали писателей! Когда в Союзе писателей было обсуждение рукописи. Они говорили, кажется, Евгению Попову: «Вы-то куда лезете, русаки! Аксёнов — еврей, он уедет, он почву готовит, а вы?» Остались же протоколы.

— Советская власть вполне воспитала интернациональное мышление, никто не делил писателей на евреев и на не-

евреев. Откуда вы знаете, что Попов не полукровка? Или — что я? Никто ничего не знает.

— Я читал просто эти истории.

— Нельзя говорить о крови в этом деле, — кто что знает? А суть заключалась вот в чем. Действительно, жить тогда стало невозможно. Ничего нельзя было написать. Даже то, что человек спит не только с женой, но и с любовницей, что он пьет водку, — про это нельзя было писать! У меня не проходили какие вещи? Самые невинные. Фраза «Над всем Союзом нелетная погода», — это прочитывалось политически. А я писал, как человек летит на Камчатку — и самолет сажают в каждом аэропорту по пути, сюжет такой. И никаких намеков! А они нашли там так называемые аллюзии. И я теперь уже не уверен, что эти аллюзии не взращивались самой системой. Потому что — «разделяй и властвуй!». Люди на это велись. Верили по простодушию. Была хорошая литература и плохая. Но писателей разделили на горожан и деревенщиков, на евреев и русских — это была затея руководства, это была идеология. Это был мудрый идеологический способ разделить людей... Как только образовался «Метрополь» — так за бортом оказалась большая группа значимых писателей и сразу создалась группа сорокалетних, которые не участвовали... Разделять, стравливать — способ проверенный чекистский. А кто это хавал — тот это хавал. Почвенники вон тоже кушали, когда их ласкали и награждали... Хотя почвенники ненавидели советскую власть гораздо больше, чем либералы.

— Вот так вы думаете?

— Абсолютно уверен: они ведь были дети раскулаченных! Было два слоя — дети реабилитированных и дети раскулаченных. Поэтому такая борьба за Ленина шла. Ленин хороший — Сталин плохой. Вот где был клин. А кто хотел кушать, кто хотел этим пользоваться — ну, это их собственное дело. Но никто ж не хочет видеть, что люди были как марионетки, что ими руководили! Все хотят быть свободными... Вот я — во всем свободен? Да вряд ли. Может, эта вынужденность и позволила мне развиваться в художника? Потому эта сжатость возможностей позволила искать форму.

— Это как с иконописью...

— Возможно. Вот даже то, что я наговорил — будет поделено...

— А, начнут искать скрытый смысл — за кого он?

— Да! А я скажу: «Пошли вон, дураки!»

— Как дети, как дети, ей-богу...

— Действительно, тогда было невыносимо: вещи не антисоветские, а напечатать их все равно нельзя. На этом фоне и было написано то, что написал Аксёнов. (Это как бы предисловие к новой гласности.) Какие были претензии к «Метрополю»? Что, мол, это не самый высокий уровень.

— И секс там описан. К этому тоже придирались.

— Дело не в сексе. Просто не самый высокий уровень был! А я говорил, что это как раз достоинство, ведь это альманах, а не хрестоматия. Вы хотите сделать хрестоматию из того, что не было напечатано? Это нелепость. Из современности нельзя сделать хрестоматию. Это чушь, абсурд. А альманах — это преджурнал, там просто снят был определенный слой. Ну конечно, там что-то по знакомству было напечатано, но тем не менее это определенный документ литературный. И литературный манифест. Был такой замечательный примечательный эпизод с моим соседом Волковым — в связи с «Метрополем». Он такой русский-русский, дворянин, отсидевший 29 лет, посаженный в феврале 1927 года, — порода! И его все пытались заманить в свой лагерь, в свою компанию. А он по благородству своему никуда не шел. Достоинство не позволяет человеку быть в партии, я думаю, — ни в какой. И он сохранял чувство собственного достоинства. Ко мне он относился по-отечески... И вот сволочь гэбэшная вызывала известных писателей и ставила их всех раком. Их призывали — отзовитесь на «Метрополь»! Каждый человек в советской системе от чего-то зависел.

— До того как «Метрополь» вышел?

— Он был в одном экземпляре напечатан и спрятан в какую-то секретную комнатку. Его показывали, чтоб люди отзывы написали. И от этих отзывов зависела карьера функционера... Кому-то светила квартира, кому-то загранпоездка, при этих кормушках людей держали, это была система.

К примеру, Волков, приближавшийся к 80-летнему юбилею, рисковал однотомником, за который платили 100 процентов гонорара — а не часть как за переиздание.

— Так почему же его сосед по писательскому дому Окуджава не участвовал в «Метрополе»?

— А кто знает. Это было его право и его дело. К тому же он был член партии со времен войны. Но он участвовал в «Синтаксисе», между прочим. За которой некоторые сидели. Он был вполне свободным господином. И пел бесцензурно. А не захотел в «Метрополь» идти — и не захотел, и правильно сделал.

(В последней книге Аксёнова «Таинственная страсть» про Окуджаву, который выведен под именем Кукуш, — в связи с «Метрополем» сказано: «...мы пришли к вам с неприятной новостью. Ваш сын Шура арестован органами милиции и прокуратуры. Его обвиняют в содержании наркотического притона. Мы в это не верим, но вы понимаете, что может прокуратура сотворить с вашим юнцом. Мы бы хотели обсудить это с вами по-товарищески, если и вы к нам проявите доверие. От вас мы многого не хотим, просто надеемся, что вы, с вашим авторитетом, повлияете на писателей из “Метрополя”. Ну просто чтобы вы вступили в эту группу и как-то остерегали бы их от непродуманных действий. Согласны? Кукуш, конечно, сразу же отказался». — И. С.)

И Трифонов не захотел, он был выездной и издавался. Он сказал: «Когда человек играет в свою игру, ему незачем играть в чужую». Очень правильно сказал! Петрушевская отказалась. Евтушенко.

— А вы почему пошли?

— Ну кроме того, что я всегда хотел сделать альманах... еще в Питере, «Петрополь» такой свой. Но эти попытки почему-то провалились. Ну разные люди в разное время хотели сделать то же самое. Это не новая идея. Кроме этого, у меня уже вышел на Западе «Пушкинский дом», так что — трын-трава! Терять было нечего. Да, терять было нечего... Я предлагал в нем участвовать разным питерским людям. Многие отказались. Ну, каждый решал по своим силам. «Метрополь» был существенным моментом в моей биографии.

А еще ж история с братом была. Когда брат не вернулся из Италии, так мне вообще уже деваться было некуда. Так что за мной было уже три преступления.

— «Метрополь» — до сих пор будоражит умы!

— Там не было настоящей честности ни у кого. Все это крутилось, такое варево было... Запад с нами обращался чудовищно цинично. Потому что у западников были свои интересы. Так вот про Волкова. Его попросили письменно изложить свое мнение по поводу альманаха. Волков пишет текст, пишет, что думает, сохраняя достоинство. Он написал, что вообще это все давно пора напечатать, только очень слабо написано, и пора по-настоящему ударить по цензуре, что это за робкое лепетание, сколько можно вообще крутить вокруг да около, ну и про низкий литературный уровень сказал. Но что хорошо, то хорошо, написал он — рассказы Евгения Попова, повесть Кожевникова, рассказы Фазиля — это хорошо. «Но даже Битов, которого я люблю — не понравился».

— Тонко, тонко...

— «А сочинения Ерофеева — просто халтура». Так он написал. Что после этого происходит? Они вырезают из его текста кусок, что Ерофеев и Аксёнов это халтура, — и печатают это в газетенке «Московский литератор». Волков меня встречает и говорит: «Слушайте, вот вам текст, который я им дал, полный, делайте с ним что хотите, передавайте любым голосам — но ни слова не меняйте!» Я встречаю тут же Аксёнова и говорю, вот какая история — старик 29 лет отволоч и так написал. Думаете, это на Западе появилось? Тоже нет. Я этот текст напечатал только к 100-летию Волкова, в 2000 году. На самом деле то, что говорю, надо сокращать, еще не пришло время разговора. Это ж все игра, такие дразги — всегда игра, причем игра вполне понятная, и что в чьих интересах... Это как теперь обсуждать Грузию — правильно или неправильно мы вошли в Осетию? Это вопрос гнусной политики. Перед «Метрополем» шли переговоры по ОСВ, которые мы проиграли, впереди был Афганистан, а между этими событиями — выпал наш альманах: две команды стоят на футбольном поле, готовые

к игре, — а им вместо мяча кинули банку консервную пустую. И этой банкой команды поиграли.

— Пустая банка — это вы про что?

— «Метрополь». Это была такая пустая артподготовка. И никогда б не было вокруг альманаха такого звона, если б не такой момент. Каждый имел право не участвовать, я про себя рассказал, почему я поучаствовал (повторю, идея была мне близка и вышел «Пушкинский дом» на Западе). И я себе не очень много чего ухушил. Я влез в чужую игру...

Эмиграция

— А что вы скажете о русских писателях, которые уехали на Запад? Аксёнов, Евтушенко... кто там еще — Войнович.

— Ну, Евтушенко не уехал, он умудрялся ездить туда-сюда. Всю жизнь.

— Отъезд — это что, измена идеалам или как?

— Ну какие были в Советском Союзе идеалы? Это была абсолютно чудовищная страна. С чудовищным режимом. Идеалов никаких не было — чему измена?! Коммунистической партии? Да пошла она на хер. Каким идеалам?

— Каким? Я к тому, что в августе 91-го они должны были все вернуться.

— Да они все вернулись, когда кормушка здесь началась!

— То есть их отъезд был, по-вашему, простой нормальной вещью?

— Нет! Но, во-первых, это было их правом.

— Ну ладно, Солженицына, что называется, выдворили. А эти?

— Все это из области судьбы... Те, которые сумели создать из этого судьбу, у кого это на судьбу похоже, — это три самых крупных писателя: Бродский, Солженицын и Синявский. Это действительно судьба. Они сыграли с властью, а власть с ними распорядилась так. Вот откуда моя фраза о том, что власть мне отомстила тем, что она меня не заметила. Войдя в конфликт с властью, ты получал славу. Лижи ей задницу — другая история: матблага. А если ты пробовал прожить тишком, придурком, как я, — ну что же, тогда

и сиди себе в своей сушилке. Это зона, чистая зона. У всех своя судьба... Так что — какая измена, измена, каким идеалам?

— Я просто спросил.

— Родина нам изменяла всю жизнь. Так что у каждого есть право выбирать то, что ему понравится. В этом и суть всей борьбы... — Он отвлекается, он как бы уходит в сторону, в прошлое: — Не хочу я жить на Западе, не буду я жить на Западе. В этом суть дела. Я знал, что если уеду, то будут обрублены концы, тогда такие были условия.

— Ну люди же уезжали, рубили — и ничего.

— У меня было две семьи, и я чувствовал, что... что я не потяну. Ну и чё-то мне не хотелось на Запад. Не могу я объяснить, но тут не было решения. Я перезимовал, что называется. И остался при своих.

— Не самый плохой вариант.

Ты — царь, живи один

В этот момент за окном московской квартиры писателя спокойно завывали сирены, чисто Нью-Йорк! Напоминание о Западе... Так что он отвечал под эту как бы эмигрантскую музыку. Он стал дальше рассказывать:

— Ну конечно, когда ты живой сидишь и говоришь всякую хрень — конечно, все ничего!

— Живой и здоровый...

— И несколько раз спасенный.. На самом деле — очень мало честности в этом мире. Так он устроен. И что, я во всем честен? Опять же Пушкин, — как Пушкин говорит: «Я не люблю слышать из чужих уст, когда ругают мою страну», — так и я могу сказать себе, что тут или там я дал слабину, а здесь неправильно поступил — но попробуй кто мне это скажи! Я тогда спрошу: «А ты кто такой?» И напомню ему: все, что он делает, — неправильно с моей точки зрения. Я же людей вижу. Я их игры тоже знаю.

— Вы же инженер. Более того — инженер человеческих душ.

— К сожалению, это не годится — видеть людей. Их надо не видеть, а прозревать какую-то их сторону человеческую и дух их — тогда можно что-то написать. А вот то, что ты видишь людей якобы — это старость и дурная сторона опыта, когда ты видишь вдруг хитрость-тактику-интересы-ловкость. Когда ты видишь, что они машины — это искушение большое, ты тогда начинаешь судить людей. Я более строго могу судить людей... Это мое право... Но вот есть молитва Ефрема Сирина:

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух терпения, смирения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Это перевод молитвы Ефрема Сирина, великопостная молитва — это поздний Пушкин.

— Целомудрие особенно хорошо в пост.

— «Оживи дух целомудрия» — это не то же самое, что целомудрие соблюдаемое. Это другая история. Так что — не судите и не судимы будете. Увидеть вдруг, что люди тебе не нравятся, — это довольно противный признак, или призрак старости. Значит, ты ослаб, значит, ты пустил себя во власть сравнения...

— То есть другие как хотят, а ты сам по себе живи?

— Себя суди.

— Воздělывай свой маленький огород.

— Нет, не маленький огород! У тебя просто появится более здравый взгляд на мир. Если ты знаешь, кто ты сам такой. А если ты думаешь, что ты такой, а они такие — то тобой можно как куклой крутить, и мы никогда не знаем, на какую грязную руку будет надета эта перчатка (с головой куклы)... Мы живем так, как мы живем, при том строе, при каком живем, — но это не значит, что это нам нравится. Я говорил уже про шар, а есть еще другое понятие, которое я обожаю. Был такой схоласт XIV, что ли, века, Оккам, бритва Оккама, а бритва — это то, что делает сечение, опять сечение,

как в случае с шаром! И там есть такое: «Не помножай количества сущностей». Что такое Бог, что такое жизнь, что такое любовь, поэзия, слово, смерть — вы не сможете на эти вопросы никогда ответить. А если вы начинаете мудрствовать лукаво — то вы изовретесь или будете тем человеком, который хочет этим воспользоваться, он будет людям что-то внушать из каких-то своих корыстных соображений.

— Вас на этом трудно подловить.

— Больше всего меня раздражает вопрос — за кого я. То красные, то белые — и те и другие сволочи, так сказал один мужик, кажется, в «Окаянных днях» Бунина, — и это правда. А ему говорят — выбери! Если Господь не судил мне погибнуть в этом скотском межеумочном состоянии, то я не буду выбирать. Тем более если придется — как в этой стране всегда было, есть и будет — выбирать из одного. — (И тут уже непонятно, про кого он говорит — про мужика из бунинских «Окаянных дней» или про себя. — И. С.) — А чтобы выбрать из двух, надо взять на себя такие формы подчинения, которые образуют другую ступень общества... Когда я в онкологии лежал, я задумал завещательный текст на основании первой же пришедшей в мой ослабленный ум строки: «Россия — вовсе не отсталая, а преждевременная страна». Жить, размахивая великим будущим, когда нет великого настоящего, — нельзя. Или даже не великого, а нормально-го, порядочного. Хоть сколько-нибудь порядочного.

ДМИТРИЙ БЫКОВ: «Я — графоман»

Дмитрий Быков вот только, буквально вчера, был просто хорошим репортером. Но после получения трехмиллионной (хоть и в рублях) премии «Большая книга» он в одночасье вышел в первые ряды русских писателей. Каково это — из простого журналиста, пусть даже хорошего, сделаться признанным мэтром русской литературы?

По-человечески всегда так приятно, если кто-то оправдывает твои надежды. Именно это, к моему удовольствию, случилось с Быковым. Мне он еще в середине 90-х показался талантливым парнем. Это было голословно, ни премий тогда у него, ни славы. Но тем не менее я позвал его на работу, — мне хватало собственного ощущения, — и предложил денег ну так раз в десять больше, чем он тогда получал в своем «Собеседнике». Быков был на мели, я это знал и уже потирал руки. Я позвал его в кабак, чтоб обсудить этот вопрос, он отказался, поскольку не при деньгах. Но я настоял, мы сели где-то пить, водку, я угощал. Мои цифры Быкова впечатлили, но он со вздохом от них отказался. Поскольку уже подписал контракт на следующий год с Юрием Пилипенко, своим главным редактором. И расторгнуть его, говорил, не может, поскольку тот сделал для него много хорошего в трудные времена.

Красивая история. Я такие люблю.

И вот новый поход в питейное заведение (еще, правда, было много промежуточных, но без записи). На этот раз Быков решительно отказался от водки (что поэтам, насколько я их знаю, несвойственно, — а я их немало повидал) ипил исключительно коктейль Б-52. Я, чтоб его не смущать молчаливым упреком, вместо водки принимал тоже коктейль — «Маргариту». Молодая поэтесса, которая пришла с Быковым, тоже вела себя странно: пила вообще сок. И более того, большую часть времени молчала, она обошлась даже без дамских банальностей типа «Не люблю, когда при мне матом...», которыми можно испортить любую пьянку.

Надо вам сказать, что заполучить Быкова на беседу оказалось непросто. Он сперва отказывался! Под тем предлогом, что он недостойн интервью, ему сказать нечего. Я его еле уговорил.

Премия

— Дмитрий! Ну, как же ты говоришь — недостойн? Это раньше, может, был недостойн, а теперь — всё: ты получил самую богатую русскую премию. То есть выстраивается, если в денежном выражении (а почему бы, кстати, и нет?), такой ряд: Шолохов, Пастернак, Солженицын, Бродский (у них «Нобель», это в пределах миллиона долларов) — а дальше ты со своими тремя миллионами рублей. Так что можно с полным основанием говорить о смене элит; вот есть старые писатели, которые последние десятилетия на нашей памяти считались главными — а теперь пришла молодежь во главе — по крайней мере финансово — с тобой. Только что ты считался молодым, подающим надежды, и вдруг из гадкого толстого утенка стал типа прекрасным лебедем. Как с этим спорить? Против фактов не попрешь!

— Нет. Мне кажется, я, наоборот, из прекрасного утенка стал гадким лебедем. И смены элит не произошло. Смена элит — это когда я сам это почувствую. А на деле я как был поденщиком, так им и остался...

— Значит, у тебя нет звездной болезни, пока, во всяком случае. Но вот что меня беспокоит: я слышал, ты решил эту премию потратить на издание книг своих друзей и на строительство памятника Пастернаку.

— Стоп, стоп! Это я про другую премию говорил, про «Национальный бестселлер»! Но мне ее пока не дали.

— А, это просто была неточность. Тогда судьба этих трех миллионов понятна. Ведь известно, что ты семьей из четырех человек живешь в двушке. И давно копишь на решение квартирного вопроса. Я рад за тебя.

— Спасибо. А очень многие люди не рады, что я получил премию...

— А, ну да, у вас же там интриги! Ну-ка расскажи, как писатели ненавидят друг друга!

— Пару лет назад приблизительно так и было. А потом начались поездки на международные ярмарки и по стране. Это организуют Григорьев с Сеславинским (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. — И. С.).

— По этой схеме Горький возил писателей на строительство Беломорканала.

— Абсолютно точно. Но тогда это было воспевание рабского труда, а сейчас мы смотрим на нормальную жизнь. И вот в ходе таких поездок между писателями, естественно, установились дружеские отношения. Особенно нас сблизила поездка на книжную ярмарку в Варшаву, где мы страшно бухали. Там еще стояла очередь на Асара Эппеля, единственного из нас, кто знает по-польски. Один человек из нашей делегации влюбился в полячку, и все мы за него переживали. И когда она наконец ему дала, был общий праздник, триумф дружбы.

Background

За столом мы после быковского триумфа с «Большой книгой», конечно, вспомнили трудные времена. Это для него 95-й. Тогда на Диму как-то навалилось. С женой развелся, два издания закрылись, куда он писал: «7 дней» (Ирина Петровская) и «Столица» (Андрей Мальгин). У него был такой нервный срыв, что, по его признанию, у него даже стоять перестал.

— Ну это ж ненадолго! — бесполезно утешаю я задним числом.

— Ненадолго. Но мне-то тогда казалось, что навсегда!

И вдобавок еще ему тогда по башке дали арматурным обрезком...

Били его, как он полагает, сектанты. Из секты сайентологического толка «Источник жизни».

— По всем приметам это они... Других острых публикаций у меня в тот год не было! А они звонили и угрожали.

— Так ты, значит, пострадал за правду?

— Нет... Я просто показал непрофессионализм. Если тебя побили — значит, ты дурак. Значит, ты обосрался.

— Как так?

— Во-первых, я должен был так написать, чтоб не побили. Или я должен был ходить с охраной. Если побили — сам виноват! Я знал, что они меня будут караулить, они меня предупреждали об этом. А я один ходил вечером... Вот Юля Латынина всех разоблачает, она довольно смелый журналист — ее ж не бьют...

Но, к счастью, его не убили, как это, увы, иногда бывает с журналистами.

Обстоятельства же, при которых было совершено покушение, таковы, со слов Быкова мною записано верно и им прочитано:

— Я с работы пошел за бухлом (в винный, который через дорогу от редакции, я его прекрасно помню как ветеран «Собеседника». — И. С.), и на обратном пути меня отпиздили. При чем бухло разбилось, что особенно обидно. Закуски и мороженое, которым я люблю завершать ужин, не пострадали. Вызвали скорую, скорая сказала, что надо госпитализировать...

Но в редакции находился некто Лазарчук, поэт и по совместительству фельдшер... А потом он же, приехав из провинции и остановившись у Быкова на квартире, и сняв швы — перочинным ножом, подержав лезвие над огнем спички.

У меня появился такой вопрос в связи с этим:

— А ты стал лучше писать после того, как тебе по башке дали? Ну может, не лучше, а иначе как-то?

— Они меня практически не деморализовали. Утром мне надо было сдавать текст, и вот я с разбитым ебалом сел и написал. Как сейчас помню, про что: в Вашингтоне был сильный снегопад, так Клинтон вышел убирать снег возле Белого дома. И я написал: вот если б в России президент вышел снег убирать, было б здорово.

— Президент? Наш? Снег убирать? Да, все-таки, значит, сильно тебя тогда по башке долбанули...

А вот и еще одно печальное событие того же рокового 1995 года, тут цитата из Быкова:

«Мы с моим другом Александром Никоновым, ныне известным публицистом, решили сделать первоапрельское приложение к газете “Собеседник” — первую русскую нецензурную газету “Мать”. И там были чисто первоапрельские материалы. Серьезная экономическая статья, выдержанная в этих терминах. “Вследствие таких-то действий правительства настанет полный такой-то!” Серьезная статья о чеченской войне. И всё это с широкими вкраплениями мата. Статья по истории мата, теория мата. И наконец, якобы обнаруженные в ленинских архивах его пометки на полях — тоже матом. Возбудили уголовное дело. Мера пресечения — арест, содержание под стражей (два дня в изоляторе временного содержания. — И. С.). Валерий Фрид, который эту газету редактировал как знаток лагерного мата, сходил на прием к прокурору и сказал, что в случае чего сажать надо его, — он свою “десятку” уже оттянул при Сталине».

На свободу Быков вышел с чистой совестью.

— Сильно тебе там досталось? — спросил я обтекаемо.

— Если ты хочешь узнать, не выебали ли меня там в жопу, отвечу: нет. Но все равно история идиотская, трагическая. Она мне, как говорил Штирлиц, добавила седых волос. Я сильно перепугался и больше таких приключений не искал. Наверно, это была самая большая профессиональная неприятность из всех, что у меня были. Я на всю жизнь забоялся.

Для поэта это же вроде бонус — посидеть в тюрьме, вон Рыжему какую биографию сделали. А кудрявому — этим не сделали. Выходит, зря сидел...

И вот в тот момент, когда несчастья, постигавшие Быкова, достигли невыносимой остроты, я позвонил ему и сказал, что пора ему стать богатым и знаменитым. Как я уже говорил, денег от меня он тогда не взял, но установку в целом, похоже, принял. Раз жизнь его чудесным образом моментально изменилась, причем в лучшую сторону. Человек сразу же перестал разводиться, получать арматурой

по башке и садиться в тюрьму! Напротив, он основательно женился, стал отцом двух детей, начал писать и издавать книги! И даже освоил самую модную и завидную профессию из теперешних — телеведущий. Само собой, чтоб покрасоваться, а еще для денег и пиара? Нет, в этом он не признается, напротив, цинично (а еще поэт) оправдывается:

— В России нельзя, чтобы на тебя распространялись общие правила. Иначе тебя любой врач бортанет, таксист обхамит, официант пошлет на фиг и так далее. Нужно, чтобы тебя хоть немножечко знали в лицо. Тогда мент, когда будет тебя бить, будет делать это с некоторым опасением. Никакой другой причины моего присутствия в телевизоре нет...

Был, правда, еще один очень тяжелый судьбоносный момент, сразу после Беслана (там Быков был репортером), когда писатель, подавленный современной российской действительностью, уговаривал жену уехать из страны. Но он написал роман «Эвакуатор» (там инопланетянин увозил избранных землян на свою планету, подальше от несчастий) — и освободился от наваждения. Произошла, как он выразился, сублимация. По мне, так сработала, после определенного сбоя, моя старая установка.

Школа

В следующий раз Быков сильно испугался в дефолт. Ему казалось, что все кончено, пресса разорилась и уничтожена навеки — так что надо устроиться куда-то, где будет верный кусок хлеба. Не знаю, насколько это простительно для поэта, вот так обосраться с прогнозом — он же должен быть типа пророком. И пошел он в школу, учителем — русский и литература. До сих хвастает креативом тех времен, уверяя, что никто не давал детям лучших диктантов, вот вам примерчик: «Знающими людьми утверждается, что, если помочиться на мертвого врага, кожа с его головы снимается быстрее» (Хагакурэ, «Священная книга самурая»). А еще его ученики никак не могли запомнить, когда пишется «н», а когда «nn».

Он быстро все объяснил: «“Ёбаный директор” пишется с одним “н”, а “ёбаный в жопу директор” — с двумя. А “выебанный директор”» — тоже с двумя».

И дети навсегда запомнили оба условия, при которых пишется двойное «н»: это наличие приставки либо зависимого слова.

Но, поскольку Быков уже имел серьезные неприятности на почве нецензурной брани, он тогда на всякий случай перестраховался и, перед тем как сделать свое заявление, попросил девочек выйти из класса; так оно спокойней.

— Кстати, — говорю, — а ты не за тем ли в школу пошел, чтоб трахать школьниц? Венедиктов с «Эха Москвы» рассказывал, что он это дело любил.

— Нет, что ты! Такого со мной не было... Хотя — желающие девочки были...

— Как — не было такого? Ты же славишься своей ебливостью!

— Категорически не согласен! Я не очень еблив. Мы просто привыкли преувеличивать зависимость человека от этого дела... А преподавание мне очень нравилось! Те два года в школе — большое счастье.

Однако надо признать, что не зря Дмитрий сеял разумное, доброе, вечное. От этого была польза. Вот хотя бы такое подтверждение. Приезжает однажды Быков на сервис на своей «семерке» (ВАЗ, «жигули» 2001 года), а там очередь. Но вдруг выходит начальник и велит сделать ремонт мгновенно! Сопроводив это такими словами:

— Вы, Дмитрий Львович, первый человек, который заставил меня в себя поверить. Помните, я был двоечник, а вы меня научили разбирать предложение? Ну, там, подлежащее, сказуемое... А еще же «ёбаный директор»!? С двумя «н»?

Дмитрий Львович чуть не заплакал, но таки не заплакал же.

И вот еще что, вот еще за что его не могли не любить «пионеры»: будучи учителем, он никогда не задавал домашних заданий, такой у него был принцип. Хитро, дальновидно.

Литературный процесс

— Дима! Ты на кого больше похож внешне — на Бальзака или на Дюма?

— А еще больше на Флобера. Но если серьезно, на Золя, он и внешне, и внутренне мой идеал писателя. Эмиля очень люблю, это мое все. Я читал весь цикл про Ругон-Маккаров. Я обожаю Золя. Я от него ссу [кипятком]! Золя мне близок безумно, а Бальзак хоть гениальный — не так. Золя — это как я бы писал, если б умел. Особенно люблю «Чрево Парижа».

— Очень смешно было, когда я читал интервью, которое ты взял у Проханова. Ты там удивлялся, что он так много пишет. Ха-ха-ха! Притом что ты пишешь невероятно много.

— Проханов правда больше пишет, чем я. Чехов, Толстой, Горький — все больше меня писали. А Бергман!? Он снимал в год две картины и еще ставил шесть театральных постановок. Действительно загадка, — как ему это удавалось. На самом деле больше меня очень многие пишут. Полно таких журналистов.

— Сколько это физически в твоём случае?

— В день три текста. Десять компьютерных страниц.

— Скажи, вот кто такой, по-твоему, графоман? Кстати, некоторые и тебя считают графоманом.

— Считаю. Но я и есть графоман, потому что я люблю графить, писать. Но вообще, графоман — это тот, кто делает это отвратительно.

— Но теперь, когда у тебя есть такая премия...

— Нет, премия как раз не показатель. Премии иногда такому говну дают... Премия — это не критерий, к сожалению...

И тем не менее к теме многописания. Быков все-таки не может отрицать факт своего трудоголизма, и признает, и объясняет так в своих интервью, которые после лягут в основу его будущих мемуаров:

«Может быть, мой умеренный трудоголизм — как раз и средство борьбы с неумеренным темпераментом». Он тут высказывается довольно обтекаемо, но бывали с его стороны и более откровенные высказывания: «Личная жизнь у меня довольно бурная. Это меня и настораживает. Траге-

дия удачно женатого человека в том, что он никогда не уйдет из семьи, а полностью отказаться от личной жизни не может. Он обречен портить чужие биографии. Я стараюсь от этого себя удерживать... Смешон влюбленный толстяк, с лирической поэзией, с бурными проявлениями. Когда я пишу, чувствую себя более уверенно».

Эти две темы — бурная личная жизнь и литература — забавным образом переплелись у него в 1995 году (к которому мы снова возвращаемся, видно, не случайный то был год), когда он для заработка сочинил два порноромана. В соавторстве с неким не названным коллегой, мне почему-то кажется, что это была дама, так было бы технологичней и просто логичней, какие-то новые повороты могли образоваться... Схема была такая: брались готовые фильмы — в том случае это «9½ недель» и забыл еще что — и по ним писались книжные версии. Эротика конвертировалась в порнуху, а в целях русификации в сюжет вводились новые персонажи: к примеру, русский (то есть, конечно, еврей) эмигрант-художник; если кто помнит, Ким Бейсингер в том нашумевшем фильме была галеристкой. По воле быковской фантазии эта дама совершала половые акты с героями фильма, этого ей было мало, и она еще смотрела порнолайды и дробила. В конце концов это можно живей описать, чем, например, сублимацию путем написания текстов, как это делает сам Быков.

При всей своей бурной личной жизни Быков счастливо женат. Я предположил такое объяснение:

— Жена должна же понимать: поэту нужны и другие бабы.

Ответил он на мои досужие домыслы так:

— Ее никто не спрашивал об этом. Да, у меня бывают увлечения, но ее это не волнует. Потому что она знает: сочинять я могу только с ней. Остальное ее не волнует абсолютно.

— Сочинять только с ней? Как это?

— А мы думаем в одинаковом темпе.

Так что этот расхожий образ Быкова — он сидит за компьютером, с девицей на коленях, пьет пиво и набивает тексты на продажу — отчасти верен, а отчасти нет, поскольку в жизни все сложнее.

— Скажи пожалуйста, Дмитрий. А можно ли реально представить себе такую идеальную книгу, в которой была бы соединена народность Донцовой с духовностью Гранина и так далее, все самое лучшее?

— Ты будешь смеяться, но есть у меня рецепт такой книги! Она должна быть написана на основе реальной истории города Ленска. Весной 2002 года его смыло наводнением. И тогда Путин сказал Шойгу: восстановить город к 20 сентября! Шойгу с нуля восстановил грузовой порт на Лене, привез кружляк из Белоруссии, заново выстроил все дома, разумеется аврально, крайне хреново, и этот бутафорский город к сентябрю был готов. Когда приехал Путин, решили запустить в один из домов кота, на новоселье. Кота нашли с огромным трудом, и он не шел ни в какой из этих подозрительных домов. А Шойгу был весь на нервах, он неделю не спал, — и вот он схватил этого кота и зашвырнул его в дом. А тут зима. Зимой город вымерз, а весной его опять смыло. Это будет безумный историко-фантастический роман.

— А кто сможет его написать?

— Такую книгу могу написать только я. Больше никому.

Вас, верно, позабавит быковский список лучших писателей. Он таков: Житинский, Букша, Пелевин. Житинский — думаю, потому, что Дима провозглашает себя его учеником. Букша — полагаю, оттого что она фантаст, а те вообще считают Быкова своим. Что касается Пелевина, так тот не давал Быкову покоя своими тиражами (ну теперь все может измениться); вот и «April V» оказался лауреату «Большой книги» плохой книгой, но «поди ты отними ее у меня, пока я не дочитал!»

А еще для Быкова «Проханов — очень хороший мужик, чрезвычайно милый человек». (Я сам под этим готов подписаться. — И. С.) Кроме того, «и Лимон прекрасный человек. Я с 93-го года регулярно бухаю с Лимоном. Я ему многим обязан, и литературно тоже. Он научил меня писать рассказы».

Но не надо забывать о том, что Быков не видит себя сто процентным писателем, в смысле прозаиком. (Про публицистику и речи нет, это для него не более чем способ заработать денег, он мечтает бросить «всю эту газетную хуйню»,

чтоб сидеть дома и сочинять. Есть некое забавное противоречие в том, что главную свою премию он получил за вполне себе публицистический документальный труд.) Он видит себя все же поэтом.

— Ну что же, — говорю, — посмотрим, какой ты поэт. А дай-ка мне свое лучшее четверостишие! Ну вот как вспоминая про Пушкина, люди сразу исполняют: «Я помню чудное мгновенье» или там «Мальчишек радостный народ коньками дружно режет лед». (Какая ж была холодрыга при крепостничестве, не то, что в теперешнюю оттепель или не знаю, как это все назвать.)

Быков в ответ без паузы оттарабанивает:

Блажен, кто соблюдал диету,
Кто не бросался словом «честь»,
Кто понимал, что Бога нету,
Но вел себя как будто есть.

Я соглашаюсь, что стихи неплохие. Он объясняет:

— Это я к 60-летию Льва Лосева. В качестве подарка.

— А ты сам-то соблюдаешь диету?

— Нет. Зато я не бросаюсь словом «честь». А соблюдать диету... Мне кажется, это унижительно. Это значит, признать, что я толстый! А я не толстый. У меня вес 112 — летом и 115 — зимой. Я могу дойти до ста, мне несложно! Но я не хочу: это пошло.

— Но ведь лишний вес сокращает жизнь!

— Нет. Моя бабушка была моей комплекции и прожила 80 лет, будучи абсолютно здоровой.

Звучит красиво, но до литературной общественности дошло такое высказывание Быкова: «Каждый раз в случае печеночного приступа я два дня ничего не ем».

Ну противоречив, — так это ж поэт. А не журналист. Так что поэтические вольности простительны. Вот, к примеру, Быков описывает «Артек», куда впервые попал взрослым, как идеальную детскую республику. Я как бывший пионер, который в этой республике оттянул осеннюю длинную смену, всю третью четверть, взялся ему рассказывать про жуткие

драки, которые там имели место быть, причем с использованием холодного оружия. Про то, как однажды, отбиваясь от превосходящих сил противника, ранил человека ножницами (к счастью, люди оказались понятийными и никто никого не сдал). Я взывал к армейскому (он служил в авиации два года) и тюремному (сидел два дня) опыту самого Быкова, пытаясь ему объяснить сущность «Артека», в котором та же самая, а откуда ж возьмется другая, жизнь, которой всегда живут самцы в замкнутом пространстве, в неволе... Он же, однако, стоял на своем: это типа Телемская обитель, и всё тут.

Ну поэт. Что с него взять.

При всем при том главным современным поэтом России Быков считает не себя, но Андрея Орлова. (С замечательной оговоркой: «Главный — не значит лучший».)

Итого

А наша пьянка, посвященная получению моим собеседником премии, закончилась таким риторическим быковским вопросом:

— Что ж мне так грустно, а?

Он раза три повторил это восклицание. Триумф, богатство, признание, мои горячие поздравления — все нипочем. Может, и правда нам явился большой русский писатель, который всерьез относится к идеалистической риторике и полон бескорыстного пафоса? И он не променяет свою суровую участь правдоруба на пиар, подарки из Кремля и телевизор, с которого Быков, кстати, давно мечтал спрыгнуть. А почему бы и нет?

Такое же бывало прежде, причем не раз...

Дмитрий Львович Быков (ранее Зильбертруд) родился в Москве 20 декабря 1967 года в семье учителей. Окончил школу с золотой медалью, а журфак МГУ — с красным дипломом. Служил в армии два года рядовым. Автор десятка книг (стихи, проза, сказки, публицистика). Лауреат литературных премий: им. братьев Стругацких, «Студенческий Букер», «Нацбест» и наконец — «Большая книга».

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ

Триумф non-fiction

Литературная сенсация 2007 года — Алексей Варламов, который получил вторую премию «Большая книга». Книги Варламова — вообще достойное чтение.

Алексей Варламов родился в 1963 году в Москве. Закончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Читал лекции по истории русской литературы в США, Германии, Франции, Бельгии, Словакии. Автор книг прозы «Рождение», «Лох», «Купол», «Купавна», «Дом в Остожье», «Здравствуй, князь!», «Ночь славянских фильмов», «11 сентября». А также биографий Александра Грина, Михаила Пришвина, Григория Распутина и Алексея Толстого. Лауреат премий «Антибукер» (1995), журнала «Октябрь» (1995, 1997), Лейпцигского литературного клуба «Lege Artis» (1995), газеты «Московский железнодорожник» (1997), издательства «Роман-газета» (1998), премии Александра Солженицына (2006).

Предисловие

— Вам чай с коньяком? — спросил я писателя перед началом беседы, которая проходила в редакции журнала «Медведь».

— Нет.

(Хотя потом мы все-таки коньяка выпили. — И. С.)

— Странно... Писатели, они обычно пьют. Русский интеллигент не может не пить, глядя на страдания народа, — помните такое высказывание Вени Ерофеева? Вы, наверно, тоже такое замечали за писателями?

— Да. Но, думаю, у них личные причины. Ерофеев съерничал.

— Это, может, из-за оторванности писателей от настоящей жизни, которой живут люди...

— Думаю, это от склада личности. Писатель — он немножко не в себе, он нездоровый всегда...

— Ну или просто люди такие подбираются.

— Да, это ремесло рекрутирует людей особого склада.

— Вот и репортеры часто пьющие.

— Да?

— Уж лучше пусть репортеры пьют, чем шоферы автобусов... Вот мы про пьянство заговорили, и я вспомнил, как мы выпивали в храме Святой Татьяны, прихожанином которого вы являетесь.

— В храме? Выпивали?

— В те времена, когда в здании располагался клуб гуманитарных факультетов МГУ. Каждый раз когда первокурсников журфака посвящали в студенты, всех в клубе поили, прежде сводив без очереди в Мавзолей.

— А Мавзолей-то зачем? Это как-то слишком...

— Ну вот была такая фея тогда, что это круто. Наверно, наш декан Ясен Николаевич Засурский хотел подчеркнуть, что вот факультет в пешей досягаемости от Красной площади разместился... А вы как на филфак попали? Из любви к чтению?

— Если быть совсем искренним, то не из-за этого. Я пошел на специальность «Преподавание русского как иностранного». Меня надоумили, что это перспективно, интересно, хорошо. Там светили поездки за границу...

— Вы собирались куда-то на ПМЖ?

— В советские годы про такое не думали.

— Ну что вы, а анекдот? «Еврей — не национальность, а средство передвижения».

— Ну у меня лично таких мыслей не было. Хотелось просто поездить, посмотреть мир. Сестра училась на географическом, у нас карты по всему дому висели, они мне голову затуманили. Я с ними провел поддетства, выучил названия всех стран, всех столиц. Когда мне было 12 лет, я пошел во Дворец пионеров, в Клуб интернациональной дружбы, и стал учить испанский (в школе был английский). Я познакомился там с латиноамериканцами, изучал их культуру. У меня до сих пор такая заноза сидит, мечта — съездить в Латинскую Америку. Я много где был, но туда не добрался пока...

Non-fiction

— Что за волна такая пошла? Вот недавно Быков получил премию за документальную книгу про Пастернака, теперь вот опять две книги non-fiction вышли в финал, ваша и Льва Данилкина, про Проханова.

— Сейчас интересно все, что касается фактуры. Невыдуманные судьбы, невыдуманные жизни... Людям хочется осмыслить происходящее, и у них есть такая возможность. Раньше, в советское время, была хорошая художественная литература, там можно было обходить острые углы. А нормальная книжка в серии ЖЗЛ, о людях XX века, по крайней мере, никак не могла выйти.

— Все самое интересное выкидывали.

— Выкидывали. И авторы сами себя ограничивали. Они знали: это можно, это нельзя. А сейчас замечательное время, я вообще о цензуре не думаю. Я думаю только о том, как мне найти, нащупать, показать самые болевые моменты.

— Все позволено!

— Но не все полезно. В этом смысле ты сам себе свободная цензура. Сам отвечаешь за то, что пишешь, и не можешь потом ни на кого свалить: мне не дали сказать главного или вынудили солгать. Поменялись правила. Стали цивилизованными. Так что это нормальный процесс, что во всех шорт-листах присутствует non-fiction. (Замечательная фраза из уст русского православного писателя — в одном предложении из тринадцати слов — два латинизма и четыре англицизма, но чисто русских слов все же больше: семь из тринадцати. — И. С.) Fiction — более рискованная для читателя вещь, потому что это чистое самовыражение. А non-fiction, ЖЗЛ — менее рискованная: люди покупают не только автора, но и героя... Мне интересен феномен судьбы. Почему так складывалось, а не иначе? Как происходит диалог человека с той высшей силой, которая им управляет?

— В смысле какой ему дается люфт?

— Да, и что он делает с этим люфтом. Я пытаюсь понять, как устроена человеческая судьба. Как человек ей распоряжается, насколько ему дано ею управлять? Или

судьба ставит стенку — и все? Я об этом писал и в своей прозе. Пытался исследовать на примере вымышленных героев. Но в pop-fiction даже интересней. Можно взять реальную состоявшуюся судьбу, и лучше всего писательскую, — чтоб посмотреть ее зеркальное отражение в прозе, мемуарах, письмах и дневниках.

— Получается больше материала.

— И больше точек опоры. Это ж не болото вымысла! Тут можно твердо сказать — вот факт и вот факт, против фактов не попрешь.

Наука. Апокалипсис. Пришвин.

— Вы сперва пошли в науку.

— Ну как — в науку... Диссертация — это не более чем развернутое сочинение, большое эссе... У меня даже название кандидатской было не очень научное: «Апокалипсические мотивы в русской прозе конца XX века». Я тогда как раз писал роман о конце света и с удивлением обнаружил, что не я один размышлял на эту тему. Но и еще куча самого разного народа — старых, молодых, левых, правых... Эта тема возникает, как мне кажется, в кризисные моменты развития общества — перед революцией, сразу после революции... А потом тема уходит. Но как только снова запахнет в обществе паленым — литература тотчас же реагирует. Мне было любопытно в этом смысле сравнить начало века с его концом, найти сходство и отличия.

— Ну и что вы поняли?

— Если коротко, то в начале века была надежда на рождение нового мира. Ожидалось, что будет некое подобие Царства Божьего на земле. У тогдашних авторов Апокалипсис перетекал в утопию, а утопия в антиутопию. Это хорошо видно на примере «Чевенгура» Платонова. Была вера в то, что за крахом будет еще что-то. А вот апокалипсическая проза конца XX века — угрюма и печальна.

— Это потому что мы уже повидали новое общество, построенное на руинах прежнего...

— В каком-то смысле да. Мы прожили очень тяжелый век, который нас надорвал. Литература сделалась мрачной, безысходной. Но конец света не настал, жить надо, и литература взялась новые темы разрабатывать.

— А все-таки жаль, что мы не увидели конца света. Посмотреть бы на эту красоту!

— Недостойны, значит...

— После кандидатской вы защитили и докторскую.

— И ее тема тоже не очень научна: «Жизнь как творчество в дневнике и в прозе Пришвина».

— А чем вас так заинтересовал скромный Пришвин?

— Меня поразили его дневники, которые он начал вести в начале века. Их напечатали в девяностые. Там неожиданно для себя я нашел очень вдумчивый и глубокий анализ русской истории, которая вся в них отразилась — причем не через идеи и категории, а через образы, лучше сказать даже через лица. Плюс его личная жизнь и знакомства в литературной среде, — всё в совокупности очень интересную фигуру мне вырисовало. Пришвин и история, Пришвин и большевики, Пришвин и народ. На чьей он был стороне — народа или большевиков? Он был резкий враг большевиков в 1917 году, а в 1918-м вдруг увидел в них историческую правду. Когда мужики пошли вразнос, он их смертельно испугался.

— Как Бунин?

— Нет, иначе. Бунин не испугался, он проклял и уехал. А Пришвин остался — и пришел к выводу, что большевики — единственная сила, которая способна народ вразумить. Что только так с ним и можно — жестоко, железно, окуная в прорубь... Иначе эту стихию не утихомиришь. Он увидел в этом историческую закономерность и справедливость. С Пришвиным можно соглашаться или не соглашаться, но он, просидев в деревне три года в самое страшное время, выстрадал свою позицию.

— Да, колхозы — это как «химия», крестьян как бы привлекли к уголовной ответственности.

— Похоже, так оно и есть... По крайней мере, Пришвин это так воспринимал. Большевизм — жестокая школа, через

которую должен пройти анархический народ для своего же блага, чтоб от этого анархизма излечиться и раскрыть себя. Но при этом он считал, что народ надо загнать в колхоз, а его, Пришвина, — не надо, он выше этого, он уже вышел из народа. Когда его самого загоняли в рамки, ему это не нравилось. Потом он написал роман, «Осударева дорога». Это, по сути, первый русский роман про ГУЛАГ. Он написал про Беломорканал и провел параллели между тем временем и петровским, между раскольниками, которые бунтовали против Петра, — и теми крестьянами, которые не хотели строить Беломорканал. Там много таких любопытных коллизий. Пришвин, может, прозаик и второго ряда, но как свидетель, мыслитель, историк, летописец — он совершенно уникален.

Политика

— Да, свободное волеизъявление народа... Не дай нам Бог еще раз его пережить.

— А когда у нас были свободные выборы?

— Под свободным волеизъявлением я понимаю революцию и Гражданскую. А выборы настоящие были в 1989-м.

— Ну, это была митинговая стихия...

— Вы и не ходите на выборы, насколько я знаю.

— Не хожу. Единственный раз я голосовал — и то за Ельцина, в котором жестоко разочаровался. В конце восьмидесятых он мне нравился... Нравилось, как он красиво вышел из КПСС. Я сам тогда ходил орал: «Долой КПСС!»

— А вы были в партии?

— В комсомоле был, а в партию считалось западло вступать, мне бы никто из друзей руки не подал.

— Вот вы не ходите на выборы. Вас вообще не интересует политика? Вам все равно, останется Путин или уйдет?

— По большому счету, возражений нету против Путина. Не могу сказать, что я был бы резко против, если б он остался на пресловутый третий срок. Я на улицу бунтовать против этого не пойду.

— А цензура вас беспокоит?

— Все вокруг говорят, что свободы мало. Но, с моей точки зрения, меньше, чем в 90-е годы, свободы не стало. Раньше у либералов было ТВ, НТВ — оттуда их выгнали. Вот для этого, который вел «Итоги», как его? — Киселев! — конечно, для него свободы стало меньше. Только если бы взял власть сам Киселев, то ее, свободы, вообще бы не осталось. Путин — это далеко не самое худшее, что могло с нами произойти.

Проза

— Сначала, значит, у вас была наука, а потом — проза...

— Нет, сначала я стал писать прозу. Когда был студентом. Но писал не очень серьезно. А серьезно — это когда уже преподавал русский язык иностранцам, студентам гуманитарных факультетов.

— Это очень скучно?

— Я нашел для себя аспект: меньше занимался синтаксисом и фонетикой, а больше — литературой и творчеством. Но я никогда не рассматривал преподавание как основное дело своей жизни. Это скорее вариант житейского послушания. Одно время хотел бросить работу и жить, как жили советские писатели.

— Но уже было поздно.

— Нет, я в первый раз напечатался ровно двадцать лет назад.

— Тогда еще что-то было.

— Да, я ездил на всесоюзные совещания молодых писателей — под эгидой ЦК ВЛКСМ. Они проводились в подмосковных пансионатах. Автобусы отходили от горкома комсомола.

— А, от дома приемов Ходорковского!

— Ходорковского?

— Ну в Колпачном переулке!

— Да, в Колпачном... Дворец там такой.

— Как все оборачивается, а? Сменились хозяева жизни. И не раз причем. Идя тогда в писатели — вы хотели получить дачу в Переделкино?

- Я был идеалистически настроен. Думал не о дачах, а о том, чтоб писать, служить литературе.
- Вы думали: «Вот стану писателем Земли Русской».
- Ну, не Земли Русской... Но я думал — вот, что-то напишу, скажу...
- Типа духовности что-то.
- Да. Я готов был отказываться от гонораров, я горел тогда!
- А семья?
- Семьи у меня еще не было.
- Вы, значит, действовали по матрице Льва Толстого: духовность, гонораров не брать, жить своим трудом...
- Ну может быть. Хотя я не думал про Льва Толстого... Просто было чувство, что я могу что-то сделать в литературе. Причем желания было больше, чем возможностей, я мучился от косноязычия. Но — это были интересные годы, очень плодотворные, хорошие. Печатался в толстых журналах, куда в то время, конец 80-х — начало 90-х, было трудно попасть, тогда публиковали в основном возвращенную литературу, а для современной было места мало.
- Вы не знали тогда, к чему это приведет... Вы добились публикаций, членства — а той красивой жизни, какая была у советских писателей, не получили. Вам сказали: теперь это ничего не стоит.
- Я не думал — в то время, по крайней мере, — о материальной составляющей. Для меня было важно понимать, что написанное мной достойно того, чтоб быть опубликованным.
- Но сколько драматизма в этой ситуации! Вы взяли приз, и вдруг все обнулилось.
- Что ж, это справедливо. Советская писательская жизнь была искусственным образованием, она, как и советская власть, не могла существовать вечно. Я никогда не был диссидентом, но меня многое раздражало. Я не смог бы стать настоящим советским писателем, который изворачивается и фальшивит. Ну в чем-то смог бы, в чем-то нет, но мне было бы трудно. А после отмены цензуры ситуация стала естественней и понятнее.

— То есть вы могли бы быть советским писателем, но не таким, как все, а вели бы себя, как Астафьев.

— Виктор Петрович был человек импульсивный, очень много себе позволявший. Я знал его немножко, ездил к нему...

— Я потому и спрашиваю. Помните, он говорил, что русского народа больше нет, осталось только сборище пьяных скотов?

— Он очень жестко порой высказывался.

— Ему в какой-то момент за эти высказывания даже пенсию перестали платить.

— Было такое...

— Он действительно так думал про народ — или просто ляпнул сгоряча?

— Он был человек настроения. На него какой-то отдельный факт, какая-то сцена могли такое произвести впечатление. Но кто еще так о России, о русском человеке написал, как Астафьев в «Последнем поклоне»! И Бунин был злой и тоже про русский народ гадости говорил. Когда был голод в Поволжье, Бунин делал в дневнике записи типа: «Так им и надо!» Он настолько этих мужиков возненавидел, что от души им говорил: подышайте, мол, от голода.

— А вам случалось так выражаться?

— Нет, я человек более спокойный.

Распутин

— Вот вы еще написали книжку в ЖЗЛ про Распутина. Я ее еще не дочитал. Скажите мне сразу: жила царица с Распутиным или нет?

— Это невозможно! Это ситуация совершенно невыносимая. Она верующая, она абсолютно предана своему мужу.

— А в религиозном экстазе там как-то?

— Экстаз у нее был, она была импульсивная, — но все равно это невозможно.

— А с фрейлинами сожительствовал Григорий?

— Тоже нет.

— А виноват в скандале в итоге кто — царь?

— Все виноваты.

— Ну что значит — все? Первое лицо за все отвечает. Когда царь говорил: не лезьте в дела моей семьи.

— А он этого не понимал.

— Значит, и виноват он во всем.

— Борьбу с Распутиным вели националисты и монархисты из самых лучших побуждений. Потом они сами в ужас пришли от того, что сделали, — и перестали с ним бороться. Поняли, что борьба с Распутиным только ухудшает положение государя.

— Вы там писали, что, если б такое было в Англии, вот такое писали бы про королеву, пусть даже и правду, — такого человека монархисты бы сразу убили, на дуэли или еще как.

— А русское общество, к сожалению, свою царицу так защищать не стало.

— Такая, может, была царица и такой царь, что никто их не кинулся защищать? Вы, короче, уходите от ответа.

— Я ухожу от того, чтоб всю вину взвалить на царя. Он чувствовал себя оскорбленным. Что лезут в его личные дела.

— Ну вот что это — слабоумие, не понимать такого? Это не личное...

— Если б эта ситуация с Распутиным случилась немного раньше, когда не было Думы, не было свободной печати — эта история не вылезла бы наружу. Вот у Александра Второго любовница была — представьте, если б эту историю начали обсуждать! В те времена это прошло...

— Скажите, Алексей... А вы бы пошли убивать Распутина?

— Нет, никогда! Это была глупость. Я бы скорее пошел в полицию, чтобы убийц остановили. Ведь если бы не убили Распутина, вообще неизвестно как бы все повернулось. Может, тогда царь не оставил бы ставку, и не приехал бы в Царское Село, и не было б никакой революции. Убийство Распутина сыграло жуткую шутку с русской историей. Его не надо было убивать ни в коем случае!

Толстой

— У вас с Распутиным та же ситуация, что и с Толстым — только фактура, документы, версии, а читатель сам пусть делает выводы?

— Примерно так, да. ЖЗЛ не барахолка, а честный бизнес, тут впаривать ничего нельзя. Главное — не лгать и не утаивать правду, как бы горька она ни была.

— По Алексею Толстому. Мне кажется, что настоящий граф — это тот, кто рожден в семье графа и воспитывался в ней. А если ситуация как в индийском кино, когда наследник нашел отца через шестнадцать лет и поехал к нему падать на грудь, а тот нос воротит... По понятиям — Толстой никакой и не граф.

— По понятиям — нет, а формально — граф. Хотя, впрочем, многие Толстые с этим не согласны...

— Вот видите.

— Это запутанный вопрос. Но интересней тут не юридические аспекты, а то, как это графство сказалось на его судьбе. Он это остро ощущал...

— Если б он остался Бостром... Кстати, как правильно — Бóстром или Бострóm?

— И так, и так говорят...

— Если б он так и был Бостром, то ничего бы не было — ни славы, ни счастья?

— Не знаю... Но точно можно сказать, что графство добавило ему обаяния, раскованности, шика такого, внешнего блеска... Ему нравилось, что он — граф, он разыгрывал эту карту, ему льстило. Это был мотив его творчества, его жизни. Он был в безвестности, а потом вдруг бабах — и взлетел! Если б он был Бостром, а не Толстой, это был бы, конечно, другой писатель. Талант, естественно, никуда б не делся, но графство поставило жирную точку. Про Алексея Толстого я сначала вообще не хотел писать. Это не мой тип, не мой писатель. Но когда начал делать книгу, понял, что это жутко интересно.

— А что родственники Алексея Николаевича, довольны книгой?

— Его внук Иван Никитич прочитал и в общем хорошо отозвался. А Татьяна Никитична — не знаю, читала ли. (Она уверяет, что не читала. — И. С.) Мне было бы интересно ее мнение. Петелинскую книжку она разругала, я читал разгромную рецензию... Толстой — это редкий в русской жизни пример удачливости. Почему я стал о Распутине писать? Занимаясь Алексеем Толстым, я наткнулся на написанную им пьесу «Заговор императрицы». Он написал еще похабные «Дневники Вырубовой». И я стал выяснять — кто такая Вырубова, в чем он ее оболгал, в чем нет. Так я вышел на фигуру Распутина.

— Здесь облажался Толстой... Ну что — деньги зарабатывал! Как сейчас на телевидении делают сенсационные желтые передачи.

— Зарабатывал деньги, да... И еще он ненавидел Николая, их всех, за то, что они упустили Россию. Он был патриот, державник, он хотел великую Россию — действительно хотел! И с его точки зрения, царь Россию погубил, из-за него она проиграла войну. Из-за царя он, Алексей Толстой, прошел унижительный путь эмигранта — через Константинополь, то есть через Стамбул.

— Мне понравилось, как кто-то — Федин? — орал на Толстого: «Пока мы тут в окопах за революцию воевали, ты в Париже *fois gras* обжирался! А теперь приехал на готовое!»

— Только не Федин, а Вишнеvский. Но все равно граф в эмиграции хлебнул... Одна санобработка на стамбульском рейде чего стоит! Которой Бунин избежал, потому что был академик, а Алешу Толстого как миленького повели. Но поэтому Бунин там остался, а Толстой сюда вернулся. Смириться не смог с эмигрантской долей.

— Люди убивали, и вешали, и башку подставляли под пули, а вы говорите — он «в эмиграции хлебнул». Большое у вас сочувствие появилось к Толстому. После того как вы про него написали книгу.

— Героев своих надо любить. У меня даже к Распутину появилось сочувствие. Он был такой-сякой, падкий на славу, ему нравилось, что с ним все носятся, — но убивать-то зачем?

Солженицын

— Вы с Солженицыным давно знакомы? Это я о премии, которой он вас наградил.

— Мы виделись несколько раз, но коротко. Однажды я с ним минут десять поговорил.

— Как вам кажется, он увидел в вас начинающего пророка?

— Не думаю. Просто ему понравились некоторые мои тексты. Но меня вот что поразило... Я подошел к нему и представился: «Алексей Варламов». Он переспрашивает: «Алексей Николаевич?» Вокруг него столько людей, а он меня помнит по имени-отчеству! Я в этот момент сразу про своего папу подумал — а он у меня был правоверный коммунист.

— Знал бы папа-коммунист, что Солженицын будет его сына по имени-отчеству называть!

— Да... Последняя книга, которую папа прочитал, — это «Бодался теленок с дубом». Причем работал он в Главлите, был цензором.

— Давил диссидентов, таких как Солж?

— Нет, он служил в газете «Правда».

— Какие у вас корни! Ну и как ему показался Исаич?

— Папа был скрытным человеком и не рассказывал мне о своих впечатлениях. Но я понял, что он эту книгу с большим любопытством прочел. Как странно... Прочитал — и... ничего не сказал. Это в 1989 году было.

— А если б он в восьмидесятом это прочел...

— В восьмидесятом он не стал бы читать.

— А представьте, если б пришел документ в парторганизацию: «КГБ достоверно установил, что в 2005 году от Рождества Христова сын коммуниста Варламова будет встречаться с Солженицыным». Вашего папашу упекли бы. Получил бы он десяточку.

— Ну не посадили б, но из партии, может, исключили бы.

— Вы как сын партаппаратчика-«правдиста», в кавычках, вкусили дач, закрытых распределителей и прочих благ?

— Нет, он был скромным человеком. Ни дач, ни машин у нас не было... И потом, он не был партаппаратчиком.

— Но квартиры в «Правде», насколько мне известно, давали хорошие.

— У нас была самая простенькая квартира в брежневском доме 9-этажном...

— А, знаю, такие цековские кирпичные дома.

— Нет, у нас блочный около метро «Беляево», мы эту квартиру выменяли, а раньше жили на «Автозаводской». Отец совершенно не был циником. Когда началась перестройка, он как-то воодушевился. Ему казалось, что вот пришел Горбачев, и начнется обновление партии, и теперь-то его голос будет услышан... Он написал в ЦК письмо на тему «Как нам реорганизовать партию». Я видел, как он был обижен, уязвлен, когда ему на это письмо не ответили. Он умер в 90-м году — ровно в тот год, когда закрыли Главлит. Не знаю, что бы он делал в этом мире...

Радзинский

— У вас идет острая заочная полемика с Радзинским, которого вы то и дело шпыняете в книжке про Распутина.

— Мне кажется, у него очень приблизительная книга [про Распутина]. И потом, Григорий Ефимович, может, был и не слишком чистым человеком, но это вовсе не значит, что о нем можно писать нечистоплотно.

— Ну это, может, оттого, что вы православный автор?

— Не в этом дело. Главное — не надо врать. Радзинский, чтобы вышло красиво, может присочинить. Красивость, эффектность, броскость — ему это нужно... Я его не обвиняю, нет, он драматург, беллетрист, это свойство драматурга так писать. Но когда это касается реальных людей... Вот он намекает на то, что императрица была лесбиянкой. Ну что за бред! С чего он это взял? Ведь это человек, который жил! Клеветать-то зачем?

— Вы все-таки с ним конкурируете. И оттого у вас такая к нему ненависть.

— Скорее оскорбленность и несогласие по самым принципиальным вещам. Для меня «драматургический, клюквенный подход» к русской истории, которая вся на костях, —

неприемлем. Я прочитал его книгу, отдал должное тому, что в ней использованы материалы, которыми владеет только автор, и я вынужден ему доверять и надеяться, что он адекватно эти материалы воспроизводит. Но его идея, что Распутин был злой гений, и царица тоже злой гений, и вот они объединились и свои темные дела вершили — это не выдерживает никакой критики с точки зрения исторической справедливости. Радзинский здесь, впрочем, не первый. Сколько таких книг о Распутине было и талантливых, и бездарных. Алексей Толстой написал лживую пьесу «Заговор императрицы». Заговор был, да, но против императрицы! А сама она никаких заговоров не замышляла. Она была выше заговоров... И Распутина убили с единственной целью — ослабить влияние императрицы. Не получилось!

— Но все равно Распутин некрасиво поступил. Мог бы как порядочный человек уехать куда-то и там молиться за царя и за кого он там хотел.

— Россия оказалась в начале прошлого века в непривычной ситуации, когда СМИ стали играть огромную роль. Слишком быстро все произошло... Люди не привыкли к этой стремительности, к тому, что с появлением свободной прессы не уменьшилась, а геометрически выросла доля лжи. Вот и в девяностые у нас тоже все случилось слишком быстро. А не надо быстро, надо постепенно. После блокады, когда голодных людей перекармливали — ничего хорошего из этого не получалось.

Грин

— А Александр Грин как стал героем вашей книги в серии ЖЗЛ?

— Так же, как и Толстой: мне предложили написать о нем в издательстве. Изначально он мне был чужд. А потом, когда я стал вникать в обстоятельства его жизни... Грин — очень странная фигура. Когда он умирал, к нему позвали священника, и тот потом рассказывал вдове об их разговоре. «Примирились ли вы со своими врагами? — Вы имеете в виду большевиков? Я к ним равнодушен». Эта фраза меня поразила.

Как человек смог выработать такое отношение к большевикам! А вообще Грин начинал как прекрасный реалистический писатель, но потом его увело в сказочную сторону.

— Оттого что большевики надоели?

— Уход в Гринландию еще до большевиков случился. Он просто искал свою нишу. Одно время Грин был близко к Куприну, к Леониду Андрееву, писал реалистические тексты — но у него не пошло! Непонятно, почему не пошло. Когда он сочинял свою самую первую книжку «Шапку-невидимку», он еще был эсером... Он впервые в русской литературе — раньше чем Савинков — написал об эсерах, о том, как и почему люди уходят в террористы. Грин заглянул в глаза смерти, испугался — и ушел в другую сторону. Савинков, когда начал писать, — в него вцепились Мережковский с Гиппиус и стали его раскручивать. А Грина никто не раскручивал. Он помыкался — и ушел в Гринландию. А сначала его и вовсе готовили для теракта, но он вовремя передумал.

— И его не завалили!

— Эсеры были люди прагматичные. Не хочешь заниматься бомбами? Иди в пропаганду. Он пошел и погорел на этом. Отсидел два года в тюрьме. Для русской литературы это вещь традиционная. Только есть люди, на которых тюрьма действует благотворно, укрепляет их. А есть те, у кого на всю жизнь остается ужас от тюрьмы, от мысли о возможном возвращении туда. Тюрьма их ломает. Пришвин, кстати, был такой... Он год отсидел в одиночной камере. Грин из тюрьмы вышел другим человеком... Стал пить. Потом много лет спустя вторая жена увезла его жить в Крым, и у них был уговор: дома он не пьет, а когда по издательским делам едет в Москву или в Питер, там может пить сколько хочет. Одно время у него дела шли хорошо. Он ведь при жизни успел напечатать практически все! Трудно назвать другого советского писателя, которого бы так широко и полно при жизни публиковали. А потом, в конце двадцатых, его вдруг перестали печатать, и он стал пить уже безо всяких договоров.

Булгаков

— А что Булгаков?

— Думаю, если бы Булгакову сказали, как будут любить его книги, какими тиражами его будут издавать и как станут на нем наживаться, сколько народу будет его изучать, писать диссертации, он просто изругался бы. Он не этого хотел! Он хотел нормально прожить свою жизнь. Слава, которая обрушилась на него после смерти, — какая в ней горькая насмешка судьбы. Человек хотел жить по-человечески, а ему не дали, зато «друзья» утешали: «Ничего, после вашей смерти все напечатают». Он от таких откровений на стенку лез. Конечно, по сравнению с Ключевым или Мандельштамом Булгаков прожил жизнь благополучную. Но если сравнивать с Горьким или с Толстым... Он хотел, чтобы издавали его книги, ставили пьесы, пускали за границу — а ему этого не дали! Он всю жизнь бился за это и сломал себе шею. Хоть что пиши, хоть что делай — успеха нет. Прижизненного. Булгаков — классическая фигура греческой трагедии. Всю жизнь бороться с судьбой — и проиграть...

— А если б Булгакова выпустили за границу?

— Представьте себе, поехал бы он во Францию и Италию, как собирался, — и что? Он не пережил бы этого! Не выдержал бы возвращения назад. Покончил бы с собой, как Максудов, или снова стал бы колотиться морфием. Нет, чтобы написать «Мастера и Маргариту», он должен был прожить свою жизнь здесь.

— А Пушкина если бы выпустили?

— Пушкин — человек более светлый и гармоничный, чем Булгаков, с ним все было бы иначе... Хотя мне трудно говорить про то, чем я специально не занимался. Чтоб выносить суждения, надо хорошенько влезть в биографию человека и изучить все обстоятельства. Если б я про Булгакова писал роман — то это была бы «Как закалялась сталь». Или, вернее, какой-то другой материал... Что надо сделать с человеком, в какие условия его поставить, через какие испытания провести и как психологически измучить, бросая от надежды к отчаянию, чтобы он написал свои книги.

— А что вы потом, после Булгакова, будете делать?

— Я бы про Иоанна Кронштадтского написал. Потому что это был один из немногих людей, кто действительно пытался не допустить революции в России.

Постмодерн

— Вот вы говорили: «Если Венечка Ерофеев и Саша Соколов — постмодернисты, то это не тупик, хотя и не стремнина, — я все же полагаю, что русская литература будет обретать и находить себя на путях реализма. Но если постмодернизм — это Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин, тогда это даже не тупик, а зловонная яма». Вот так у вас жестко?

— Это было сказано лет десять назад, я был по молодости более жестким. Сейчас спокойнее ко всему отношусь. Но тем не менее люблю Венечку Ерофеева и «Школу дураков» Саши Соколова...

— Вы просто давно не перечитывали.

— Может быть.

— Вот «Палисандрия» — там прикольно было. Помните, Берия вешается на стрелках кремлевских курантов?

— Я не очень приколы люблю. Мне б что-нибудь душу трогющее...

— А вы после этой своей жесткой критики Виктора Ерофеева выступали у него в телепередаче «Апокриф».

— Я там довольно скованно себя чувствовал, да и потом меня сильно порезали. А вообще я думаю, что Ерофеев и не читал того, что я о нем сказал. А если и читал, то не обратил внимания. Но, по сути, я считаю его не столько писателем, сколько критиком, эссеистом.

— А Пелевин?

— Мне нравились его ранние вещи «Желтая стрела», рассказы. «Чапаева» его я тоже прочел... Но это было уже не так интересно. А на романе «Generation П» я просто заскучал и закрыл книгу. Притом что я читаю лекции по современной русской литературе, Пелевина мне надо бы знать — а я не смог дочитать.

Пушкин. Лермонтов

— Помню ваше высказывание: «Розанов очень язвительно... высказывался: он-де не понимает, зачем тратить столько таланта, столько сил на изображение таких ничтожеств, как Онегин или Печорин».

— Идея спорная, но требующая осмысления.

— Ну и?

— Думаю, во многом это автобиографично. Пушкин и Лермонтов ведь были очень молодыми людьми, вот и писали о том, что было им близко... Они многого не успели... К сожалению, наших национальных гениев первой половины девятнадцатого рано скашивало. Вот Пушкин в «Капитанской дочке» вышел на зрелое и глубинное осмысление русской истории и русского человека — и погиб. Лермонтов ушел еще в более раннем возрасте...

— Вы как-то сказали, что «Капитанская дочка» — чисто православное произведение.

— Конечно. Там очень чувствуется Божий промысел. Герои не сами по себе живут, а находятся под присмотром свыше.

— Это вы сами дали такую трактовку или кого-то цитируете?

— Мне кажется, это моя мысль. Хотя, может, кто-то это и раньше говорил...

— А еще вы, кстати, говорили, что «Честное слово», про пионера, который не хотел уходить с поста, пока его не отпустил офицер — тоже христианский рассказ, о долге.

— Ну, не думаю, что это мое открытие. Известно, что Леонид Пантелеев был глубоко верующий человек, в «Новом мире» несколько лет назад была его повесть «Я верую». Там он рассказывает о своем религиозном опыте в советское время. Он эту идею сознательно проводил. Получился хороший нравоучительный рассказ, который примечателен тем, что написан на чисто советском материале. Это любопытно...

— Вы смотрели телесериал по Лермонтову?

— Мне не понравилось.

— Я когда смотрел вдруг подумал: «Как же все мелко в “Герое”!» Вот тесная избушка, все кругом нищее и маленькое, ни целей, ни задач, придурок-офицер подсматривает за колхозной девкой, — вот заняться нечем. Какие-то скромные фарцовщики привезли на лодке ящик контрабанды, в особо мелких размерах... О чем это все? Зачем? Может, Лермонтов специально заложил эту мелкость и жалкость?

— Думаю, сам Лермонтов этого точно не закладывал, но при непредвзятом взгляде обнаруживается, что личность Печорина не такая крупная, какой он ее изобразил в романе. Но в целом книга гениальная! Парадокс — какая пропасть между возможностями автора и мелкостью сюжета!

Америка

— Вы жили и преподавали в Америке и Европе. Поняли западную жизнь?

— Более-менее. Я там много поездил.

— Ну и что вы как православный писатель можете сказать про Америку?

— Я в Америке был *writer in residence*, не знаю даже, как перевести. Я должен был несколько раз в месяц проводить творческую встречу-беседу. Мне показывали место на карте штата, и я ехал куда-то в глушь, в маленький городишко среди кукурузных полей, где не ступала нога русского человека. Это было что-то вроде встречи с марсианами, столкновение двух разных цивилизаций — моей и их. Они на меня смотрели, задавали разные вопросы, у меня было ощущение, что их интересует только одно — вру я или нет. Им было неважно, хвалю я Америку или нет, лишь бы искренне. Я им рассказывал, как я родился и жил в коммунистической семье... Их интересовали мои сложные отношения с папой. Отношение мое к коммунизму и к церкви, как я от одного отходил и к другому приходил... Если б я рассказывал обратную историю — как я от церкви пришел к коммунизму — они

слушали бы с таким же интересом и сочувствием. Лишь бы я не врал, им надо было в этом убедиться. Они хотят искренности — это главное.

— Зачем это им?

— Не знаю. Так они устроены.

— Это, может, у них от протестантизма? Там правда нужна, а в православии — она не очень важна.

— Я думаю, что и нам важна. Хотя правда — это не оселок, для нас важнее сердечность. Если даже лгут, но лгут душевно, — мы это примем. Я думаю, дело не православии, а в каком-то русском образе мышления. Отсюда некоторая наша опьяненность, некая нетрезвость нашего сознания. У них вот этого нет!

— Так скажите мне как православный писатель: является ли Америка обителью зла? Что, желтый дьявол там правит бал?

— Я так не считаю. Америка — страна себе на уме. Ничего дурного, глобально дурного, про Америку сказать не могу.

— Сербию разбомбили...

— Здесь бы я разделил страну и правительство. Мне кажется, американцы — несчастные люди. Я, пожив в Европе, могу сказать, что в Европе люди счастливее. А у американцев — патологическая страсть к убийству. Я видел в Сан-Франциско, там в музее была выставка орудий убийства, — и вокруг просто столпотворение. Они действительно загнипнотизированы насилием! Все их фильмы, все эти истории с расстрелом детей в школе... У Америки куча проблем, это страна очень неблагополучная.

— И у индейцев землю отняли,

— У них это родовой грех. У нас, конечно, тоже кровавая была история... Но такого ужасного греха, как они, — мы не совершали. Их благополучие построено на том, что они один народ уничтожили, а другой превратили в рабов.

— А сейчас вам незачем ездить в Америку на заработки. Теперь и здесь платят.

— Платят в университете. 20 000. Жить как-то можно.

Премия?

— Какие у вас планы на премию — если дадут? Вот Быков собирался квартиру поменять...

— У меня никаких планов. Ну, может, в Южную Америку я бы съездил... Или машину новую купил бы.

— А сейчас какая?

— Девятка. Старая, мятая.

— Если б «семерка» — то можно было б спрашивать, БМВ или «жигули»; а так все ясно.

— Ничего не поделаешь. Мне один армянин делал мелкий ремонт в доме. Так он когда увидел, на чем я езжу, — схватился за голову и денег за работу не взял.

МИХАИЛ ВЕЛМЕР:
«Вокруг все больше идиотов»

Биография Веллера (его словами)

«Родился (в 1948 году) на Украине, рос в основном в Сибири и Забайкалье в военных гарнизонах, что естественно для офицерских детей. Школу заканчивал в Белоруссии, а филологический факультет — в Ленинградском университете в 1972 году. После чего сменил — точно не помню — около тридцати специальностей. Трудовая книжка у меня с двумя вкладышами. Был сотрудником музея и охотником-промысловиком в Арктике, пионервожатым и вальщиком леса в Коми, учителем русского языка и литературы и строительным рабочим на Мангышлаке. А также кровельщиком, шелкографом, землекопом, журналистом...

В 1979 году оказался в Таллине. Переехал из Ленинграда по простой причине: три года подряд, решив, что уже пишу довольно приличную короткую прозу, я толкал ее всюду, куда только мог, увы, с равным успехом. Варьировались только формы отказа, ничего более. Я хотел только писать и все поставил на выход книги. Я покинул свой город, семью, любимую женщину, друзей, отказался от всех видов карьеры, работы, жил в нищете, пил чай второго сорта, курил окурки и ничем, кроме писания, не занимался.

Литература — занятие физически пассивное, расслабляющее и в чем-то даже не мужское. И лет до сорока денег на жизнь оно мне не приносило. Зарабатывал я с мая по октябрь — “в пампасах”, как это для себя назвал: был скотогонном на Алтае, охотником на Таймыре, вальщиком леса в Коми и так далее. Осенью возвращался домой худой, жилистый, без всяких комплексов и бессонниц, да еще с какими-то деньжонками на жизнь до будущего лета.

В 1983 году вышла первая книга “Хочу быть дворником”, и далее в частной моей биографии нет ничего интересного. Дальше идет жизнь человека, который сидит за столом, пишет и даже умудряется прожить на деньги от своих книжек.

Из моего поколения, за исключением тех, которые через знакомства с маститыми оказались в “Метрополе”, и еще нескольких с высокой клановой принадлежностью — не выжил никто. Я имею в виду тех, кто начинал вместе со мной и в одном положении со мной».

Фальстарт

— Скажи, пожалуйста, Михаил... А ты когда в советские времена всё бросил и уехал из Питера в Таллин — ты тогда знал, что станешь автоматически гражданином Евросоюза?

— Это начало беседы?.. Когда я уезжал в 1979-м из Питера, я думал, что еду туда в наилучшем случае годика на два-три — издать книгу. В наихудшем случае, если застой будет усугубляться, чем в 79-м году и пахло, — я полагал, что в границах Советского Союза там будет прожить чуть-чуть свободней и чуть-чуть легче.

— «Лучше жить в глухой провинции у моря»?

— Я терпеть не могу Бродского, признаюсь честно...

— А строчки эти?

— Вот. И строчки эти терпеть не могу. Потому что в них нет, на мой взгляд, ничего умного. Да и сам Бродский никогда не был поэтом верхнего ряда. Это мое сугубо личное мнение... Значит, я полагал, что, в крайнем случае, можно будет прожить какими-то переводами с эстонского...

— Которого ты тогда не знал — да и потом так и не выучил.

— Э... Если ты будешь меня все время перебивать, то говорить мне будет трудно.

— Я просто даю реплики для оживления.

— Какого оживления-то? Понимаешь, если бы мы с тобой болтали о том о сем, то, разумеется, каждый мог бы как ему больше нравится... А если ты включил диктофон, то своими замечаниями ты мне не даешь окончить ни одной мысли. Ты меня спросил — думал ли я, когда переехал... Да ни хуя я, блядь, не думал! Если ты не будешь давать мне ответить, то мы с тобой просто так попьем пива с винцом, и тогда нет смысла пытаться что-то сделать. По-моему.

— Не обижайся. Я же хотел как лучше.

— Я не обижаюсь. Ты старый профессионал. Я что, слишком хуево разговариваю? Теряю нить мысли? Или говорю слишком длинно и вяло?

— Но я же тебе дал реплику по существу: что ты хотел переводами заниматься, а эстонского не знаешь.

— Давай так: или я буду рассказывать, или ты. Хочешь — я буду задавать вопросы; взять у тебя интервью я вполне могу. И даже думаю, что оно будет интересным.

— Мне, честно говоря, не нужно интервью со мной. Да и кому оно нах нужно?

— Этого я сейчас не знаю. Объем интервью на полосе какой должен быть? Сколько полос?

— Ну по результату, — насколько интересно мы с тобой поговорим. Ну полос шесть, может.

— Это знаков сколько? Я вашего журнала давно не видел. Это зависит от того, какие буквы, какая строчка. Я спрашиваю для того, чтоб знать, насколько раскатывать. Понимаешь, да? Ответ же можно сделать любой длины, так что я спрашиваю из хороших соображений. В знаках это сколько?

— В строках — скажем, триста...

— Допустим, 300 строк. Сколько знаков в вашей строке?

— Знаков? Шестьдесят.

— Да ты что? Такая длинная? Шестьдесят — это машинописная страница.

— Я и говорю — компьютерных.

— Компьютерная — это вообще семьдесят. Триста строк, семью три, это будет пол-листа.

— Ну, пол-листа — это до хера.

— Пол-листа — это до хера!

— Не, ну обычно как? Как пошло, как поехало... А дальше — на хороший текст не жалко места.

— Слушай: я — не как обычно. Я этим делом занимался с одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года. В газете «Скорородовский рабочий». Где нас не учил никто, мы учили друг друга. Кто на несколько месяцев раньше пришел, тот учил следующего. Потому что текучка... И делали мы на тот момент,

да пожалуй что, по профессиональному уровню такую газету, что с нами могли равняться только «Комсомолка» и «Литературка». Больше никто! И работали мы с точностью до строки. Сказано 112 строк — писали 112 строк. А строка у нас была 26 знаков.

— Знаю, знаю, я сам на линотип диктовал.

— Ну так вот. Поэтому я и спрашиваю. Что значит — как пойдет? Как надо, так и пойдет.

— Будь здоров!

Это мы выпили. Закусили. После чего Веллер продолжил прения по процедурному вопросу:

— Ну формат какой?

— Средний размер беседы — полтора часа. Ну два.

— Пожалуйста. Хоть два часа мы спокойно сидим, все классно. Полтора часа — это 90 минут, поделим на три, это значит 30 старинных страниц, грубо около полутора листов. Да? Не меньше.

— Ну зачем же так точно. Мы же будем отвлекаться.

— Нет, отвлекаться мы не будем. Пойми простую вещь: я говорю начисто. Это моя работа. Из этого «начисто» ты можешь брать все, а можешь потом какие-то куски убирать просто потому, что они не влезают. Если бы сразу все влезало, было бы легче. А отвлекаться мы будем потом.

— Так. Ну давай час тогда.

— Как скажешь.

Пауза. Мы, каждый по отдельности, мысленно готовимся к новому старту.

Советская Эстония в Евросоюзе

— Теперь спрашивай, — сказал Веллер, и время пошло. По новой.

— Ну... Э-э-э... — я запинаясь. Так строго с меня давно не спрашивали. Я как на экзамене. — Всё, всё. Засаекаем — и вперед! Значит, знал ли ты, что станешь гражданином Евросоюза? Что будешь везде ездить без визы? Притом что мы все тогда думали, что Совок вечен, так и будем прозябать... И сегодня ты вон какой мудрый получаешься.

— Ты знаешь, со стороны, если кому-то везет, начинаешь узнавать новое о себе. Типа — ха-ха, какой я мудрый. Хотя я много раз в жизни убеждался, что политический пророк я плохой. Я вместе в большинстве полагал, что Советский Союз вечен, что на мой век его хватит с избытком... И что жить мне — в его границах. Потому что для меня не существовало варианта эмиграции по причине родителей, которые ехать не хотели никуда категорически. И по такой причине: я не мог уехать раньше, чем выйдет первая книга. Потому что иначе это означало уехать побежденным, чего я не мог допустить никак. И переехал я в Таллин, когда убедился, что нигде больше рассказы мои публиковать не собираются. Даже если б я имел фамилию Романов и был племянником Григория Васильича, первого секретаря Ленинградского обкома — и то эти рассказы не могли быть напечатанными, независимо от того, кто я такой. А у меня был весь набор отрицательных анкетных данных. Беспартийный, разведен, безработный, национальность, модернизм в прозе. Куда ни плюнь — везде минус. Я полагал, что если я получил положительный отзыв из таллинского издательства и что если там может выйти книга — а чё такого, меня в этом уверяли — она должна выйти, а потом мы будем посмотреть. Потом я думал, что либо свалю за границу любым способом, потому что в процессе издания книги меня уже всё так достало, — или начну сам себя переводить с русского на эстонский, создав такой поджанр в эстонской литературе. Псевдоперевод, псевдоломанный язык, псевдонеправильный такой, — вот как иностранец как будто с акцентом лупит какие-то рассказы, — и найду свою нишу. Потому что, честно говоря, я был довольно низкого мнения об эстонской литературе. А что касается гражданства — это только в перестройку начало чем-то пахнуть! И не верил я, что Союз развалится до самого конца! И когда пошел август 1991-го, ГКЧП, я подумал — ну вот оно и вернулось все восвояси. А когда оно обернулось вот этой вот независимостью, то... почему я принял эстонское гражданство? Я долго колебался, я тянул аж до 96-го года. Потом уже надо было определяться — туда или сюда. Я боялся, что передо мной опять окажется закрытая

на замок дверь, а ключи от замка будут в ЦК и в КГБ. И я опять буду невыездной на фиг никуда абсолютно, — а я впервые за границу поехал в 88-м году! После сорока лет. Причина была сугубо утилитарная: хотелось минимальной зависимости юридической от Российского государства. У меня, если честно, всегда была психология кота, который гуляет сам по себе. Вот никогда мне от государства не было нужно ничего, кроме одного: оставьте меня в покое и пусть я, как сумею, сделаю сам, что могу. Вот почему, кстати, мне нечего было терять в новые наступившие времена, когда среди писателей поднялся стон — как жить, государство нас бросило!

Я засмеялся, вспомнив биографию Веллера, одинокого волка русской литературы. Он меж тем продолжал:

— Великое счастье — государство нас бросило! Вот как я жил, так и продолжил жить. Мне стало, конечно, только легче в новом времени...

— А не было таких мыслей — вот я русский писатель, и потому необходимы березки, избы, соломенные крыши, родина...

— Слушай. Отвечаю абсолютно честно. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь... Что в каком-то моменте я действительно отличаюсь от большинства пишущих. Я никогда не хотел стать писателем. Я и сейчас, когда мне шестидесятый год, не ощущаю себя неким писателем. Для себя внутренне я всегда — с восемнадцати лет — формулировал задачу иначе: я хочу писать книги. Я хотел бы, если никак больше не получится — написать хотя бы одну книгу, за всю жизнь, но — хорошую. При этом я — частное лицо. Такой же, как все остальные. Я так же живу, я так же работаю. У меня те же проблемы, у меня никаких льгот. Просто я хочу писать книги. Всё! А вот это всё — быть писателем, иметь статус, куда-то ездить... Об этом я никогда не думал. Никогда этого не хотел. Если честно, к людям с писательским статусом я всегда относился с неким высокомерным презрением. Вместо того чтобы заниматься делом, они дуют в раскрашенный свисток. И когда я не хотел ехать, некоторые друзья, которые, естественно, уезжали — или в Штаты, или в Германию, или в Из-

раиль, или выходили замуж в Италию, во Францию, спрашивали, что я здесь делаю. Я отвечал: я хотел бы устроить дела так, чтобы у меня каждый год выходила книга. Может, даже и две. Это моя форма существования, это для меня главное. А за границей мы, в сущности, на хрен не нужны. Потому что во Франции надо быть французом, в Англии англичанином, в России — русским. Ну кто такой русский писатель в Америке, да на фиг он кому нужен, кроме своего эмигрантского круга? То есть мой подход был абсолютно простой. «Я — русский писатель!» — я никогда не мог формулировать в таких выражениях высокого штиля. Мне представляется, что нормальный человек о себе такого говорить не может.

— Всякое бывает...

— Бывает! Это не более чем мне так представляется по моему собственному ощущению.

WAFFEN-SS

— Вот у тебя, Михаил, эстонский паспорт. А не было такой темы, как это иногда бывает у евреев... Некоторые же принципиально не ездят на немецких машинах, у них (у ваших) тяжелое отношение к немцам и всему немецкому. А довольно много эстонцев, как известно, служило в СС, они временами жестко работали по еврейскому вопросу. Что ты чувствуешь по этому поводу? И как ты пережил эти разборки с памятником русским солдатам в Таллине? (Я знаю твое правило — Эстония не пишет рассказов на русском языке, а ты не обсуждаешь эстонскую политику, — но тут я спрашиваю про твои личные ощущения.)

— Мне повезло в том отношении, что моим другом — первым, и лучшим, и главным в Эстонии — был стопроцентный эстонец, эстонский националист в хорошем смысле этого слова, эстонский писатель Тед Каллас. Я писал об этом много раз. Тед был единственный, кто мне реально помог в самое трудное время. То есть Тед меня переводил, упоминал обо мне в эстонской прессе, Тед ходатайствовал за меня в издательствах, я жил в его квартире, когда только переехал, он давал мне несколько раз денег сколько-то —

50 рублей, 100 рублей — что было тогда для меня большими деньгами. В самый тяжелый для меня период... От него я узнал некоторые вещи про Эстонию. О том, что в Эстонии была дивизия Waffen-SS, это, грубо говоря, ударные фронтовые части. И был эстонский стрелковый корпус — на советской стороне. И в марте 1944 года во время нашего (слово «наше» тут ключевое — И. С.) наступления на Эстонию мы поставили эстонский стрелковый корпус против эстонской дивизии Waffen-SS. Эстонцы истребляли друг друга. И погибло сколько-то тысяч человек. Что в пересчете на маленький, меньше одного миллиона эстонский народ — очень большие потери. И эстонцы, кто постарше, отлично это знают. От него я узнал, что Эстония на тот момент по уровню мясомолочной промышленности уступала только Дании, Голландии и Швеции. От него и от его друзей я узнал, что когда в 44-м мы вошли в Эстонию, то сплошь и рядом человека могли повесить прямо на воротах, если у него в сундуке находили мундир — и потом оказывалось, что это вицмундир почтмейстера. Но никто в этом, разумеется, не разбирался! У нас шла кампания ненависти — «убей фашиста!» и так далее... В Эстонии ко мне отнеслись несравненно лучше, чем в России. В Эстонию я приехал добровольно, меня туда никто не звал. Если я выбрал ее сам, если в ней я сумел выжить, если в ней меня издали, — то я должен сам отвечать за свой выбор. А то, что было во время войны... Как работали украинские каратели, ты, наверно, знаешь. Они работали в Белоруссии, в Прибалтике, в Чехословакии и так далее. То, что Эстония была объявлена judenfrei и Розенберг прилетал поздравлять, — этот момент был. Ну как родная советская — читай, русская — власть разобралась с Михоэлсом, ты знаешь. И с еврейским антиссионистским комитетом. И вся кампания против врачей-убийц, и подготовленное переселение — это было, так что здесь память памятью, но если ты выбираешь жизнь в этой стране, то, вероятно, ты выбираешь это не раньше чем все-таки отделяешь прошлое от настоящего. Потому что ненавидеть людей и жить за их счет — на их милостыню — это, по моему, самое презренное состояние, которое можно придумать.

— Скажи, а Довлатов же тоже у вас там в Эстонии выступал, да? Он тоже ведь туда поехал книгу издавать?

— Все свои никогда не существовавшие отношения с Довлатовым я описал на страницах приблизительно десяти в мини-романе «Ножик Сережи Довлатова», за который очень много огреб от литературной тусовки разных нецензурных жидкостей. Эффекта такого не ожидал... Довлатов прожил в Эстонии около двух лет. При этом он сохранил за собой ленинградскую прописку и ленинградское жилье, при этом у него одновременно были готовы к выходу в таллинском издательстве две книги, одна взрослая, а вторая детская, и при этом он был сразу поставлен в штат газеты «Советская Эстония». После скандала, когда его рукопись книги «Зона» нашли у человека, арестованного по антисоветскому делу, и его выслали... Ко мне было отношение подозрительное до предела, притом что Довлатов работал в многотиражке ЛОМО, а ЛОМО до нашего «Скорхода» — это было, извините, как «Сормовскому рабочему» до New York Times. И я поменял жилье ленинградское на таллинское потому, что была дана команда — без эстонской прописки со мной не разговаривать. Но меня так и не поставили в штат «Молодежи Эстонии». Потому что боялись, что я, так же как Довлатов, свалю за границу, и так далее, и так далее. И четыре года мне приходилось сидеть тише воды ниже травы! Все, что я мог сделать — или молчать и терпеть, показывая, что я не верблюд, или забрать рукопись и уехать к чертовой матери. Третьего варианта не существовало. Вот я четыре года сидел молчал. Что ж поделывать...

— Хорошая история. Так вы с Довлатовым потом и не...

— Мы с ним разговаривали два или три раза. По телефону. Когда в 87—90-х годах, уже была перестройка, я заведовал отделом русской литературы таллинского журнала «Радуга», мы первыми в Союзе печатали разные вещи, до того не печатавшиеся. Вот я только сегодня в Университете Джавахарлала Неру (беседа наша происходила в городе

Дели на книжной ярмарке в феврале 2008 года. — И. С.) встретил человека, который мне тогда прислал какие-то дневники Вуди Алена, и я их первым в Советском Союзе напечатал. Так вот первыми в Союзе мы в «Радуге» напечатали и Александра Введенского, и стихи Бродского, и «Четвертую прозу» Манделъштама, и два рассказа Довлатова. Вот один раз я звонил ему в Нью-Йорк, спрашивая позволения на публикацию. Второй раз — когда, значит, нужно было поправить там несколько мест, устранить фактические неточности, я звонил это согласовать. И третий — звонил он, сказать спасибо редакции. Вот наши все три телефонных разговора.

Бродский и пиар

— Понял. Вот ты сказал, что по твоему мнению Бродский — поэт не высшего ряда. И я хочу тебя спросить: насколько, по-твоему, важна для писателя биография? Если б Бродского не выслали на Север, а после на Запад и он остался бы а Питере, то ходил бы щас по презентациям с целью поужинать, как некоторые его коллеги. «Рыжему сделали биографию». Пушкин, Лермонтов, пиар, судьба...

— Я не понял, каким образом ты с Довлатова перешел на Бродского.

— Таким, что тема зон и тема отъезда в Нью-Йорк — это хорошо по пиару. А так бы...

— Бродский не сидел ни одного дня. Он был в ссылке. Он был выслан на 101-й километр, где практически ничего не делал. Был навещаем друзьями. И не просто приобрел международную известность, но еще и начал хорошо жить. Сохранился снимок, где Бродский, — а на дворе начало 60-х, — сидит на скамеечке и на ней, чтоб было видно, лежит пачка «Честерфилда». Да в 63-м году здесь никто не знал, что существует марка сигарет «Честерфилд»! О чем ты говоришь! Да, пиар у Бродского был, да...

— Биография решила всё. Ахматова была права.

— Да, известная фраза: «Какую биографию они делают нашему Рыжему!» Другой вариант: «Кажется, они сговорились сделать нашему Рыжему биографию».

— Вот и Довлатов. Не уедь он, не умри он не где-то, но в самом Нью-Йорке, — опять бы не было истории. Примеры можно множить. Последний из них — Евтушенко. У него длинная богатая биография, но — стал ли он первым поэтом? Короче, все эти вопросы я объединяю в один: судьба, пиар, биография.

— Вопрос в чем заключается?

— Какова роль в успехе реальных заслуг писателя и пиара, везения и судьбы. Это самое важное.

— Я думаю, это не самое важное.

— И тем не менее. Люди интересуются. Человек что-то пишет — это одна история, а как его оценивают — другая... Вяземский почитал записки Пушкина и сказал: «Не знал я, что он был такой умный».

— «Оказывается, Пушкин думал!» — была такая фраза. Значит, так. Всегда можно разделить два момента, которые сегодня звучат так: есть товар, а есть бренд. Раскрученность бренда далеко не всегда соответствует качеству товара. Самый раскрученный бренд в литературе такой: самый великий писатель. Я могу сказать, что если хоть что-то понимаю в литературе, то Томас Манн никогда не был хорошим писателем. Тем не менее у литературной общественности составлено такое мнение, что Томас Манн — классик и писатель великий. В Советском Союзе жил гениальный писатель — Морис Симашко. Но поскольку он был слишком умен и писал слишком хорошо — для весьма тупой литературной общественности, — та его не знала. По этой причине сейчас его практически никто не помнит. Хотя он умер всего несколько лет назад.

— Как-как, ты говоришь, его звали? Семашко?

— Морис Симашко. С Бродским произошло во многом аналогичное. Потому что. Когда в 66-м году Бродский написал «Пилигримов», это были по-настоящему хорошие стихи, достойные войти в антологию мировой поэзии. И это сразу почувствовали все. «Пилигримов» перепечатывали машинистки. В пяти копиях. Люди это передавали друг другу. Помнили наизусть. Читали на студенческих пьянках. «Пилигримы» были очень сильным стихотворением... Позднее

Бродский сначала захотел уехать, потом раздумал, потом его вызвали и сказали: «Вы подавали на отъезд? Ну так уезжайте». Потом он написал открытое письмо Брежневу. О чем Брежнев никогда не узнал, зато узнала западная общественность, для которой это в самом деле и было написано. Потом Бродский стал писать стихи в Америке, и весь условно говоря неоклассицизм а la gusse, его стансы на темы античной истории, а потом просто истории — не стоят абсолютно ничего вообще. Потому что поэзии там нет нисколько, это не больше чем зарифмованная проза.

— Но незалитованная!

Я смеюсь, Веллеру же это не смешно. Тем более что у него зазвонил телефон. Мы сделали паузу. Я, пользуясь случаем, выпил. Веллер договорил по мобиле, и тоже выпил, и стал объяснять мне:

— В поэзии главное — это эмоциональный накал, многозначность этого эмоционального накала. Накал облечен в формальную поэзию: размер, ритм, рифма. В этом отношении именно Высоцкий — это поэзия, а Бродский, уехав в Америку, написал считанные строки. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю: «Лучший вид на этот город, / Если сесть в бомбардировщик». Но это не самые лучшие стихи.

— Это, кстати, про какой город?

— Я тоже не помню сейчас. Но это американские стихи...

Теория кумиров

У меня есть своя теория искусства, своя теория необходимости создания и существования кумиров в литературе. Это имеет лишь косвенное отношение к литературному качеству. Значит, в любой культуре, в любой литературе потребен номер первый навсегда. У англичан — Шекспир, у итальянцев — Данте, и так далее. А еще потребны номера вторые и номера третьи. Часто они взаимозаменяются. Их не требуется больше, чем требуется. В свое время существовал Блок. Великий поэт Серебряного века. Теперь Блок оказался во многом заменен Гумилевым. Хотя Гумилев был несравненно более слабым поэтом, чем Блок. Но не

могут существовать Блок и Гумилев одновременно! Фраза о том, что в литературе места всем хватит — не более чем благоглупость. Всем — не хватит! Как мы не можем потребить сто блюд, так мы не можем потребить сто великих поэтов. Мы можем потребить несколько великих, плюс десяток хороших, плюс таких-то на любителя, а остальным нет места в социокультурном пространстве, оно ограничено. Если человек используя потребу времени, используя разнообразные хитрые приемы, занимает вот это место в соответствии с эпохой — он живет на нем очень долго и для других места уже не оказывается. Таким образом, когда в эпоху жесткого застоя Бродский стал символом изгнанной из России свободной русской поэзии, и когда вдруг жалкие эмигранты стали писать: «Иосиф Бродский — Большая Берта русской литературы» — соревноваться с этим было бессмысленно. Потому что был создан миф. И этот миф соответствовал устройству человеческого сознания. Мне доводилось разговаривать интимным образом, по-свойски, за чаем с профессорами русской литературы американских университетов, и у них разговоры про качественное значение поэзии Бродского вызывали только пожатие плечами. Хотя, говорили все они, женам очень нравится. Конечно же это давно известно: элемент биографии очень важен, чтобы поразить человеческое воображение. Но биографии мало. Потому что... в литературе XX века есть блистательный прием. Прости, я оговорился: блистательный пример. Образцом мужественности и стойкости остается Эрнест Хемингуэй. Солдат. Мужчина. Охотник. Спортсмен. Рисковый человек. Который был на фронте, ранен в 18 лет и так далее — вот это настоящий символ. Значит... Ремарк Эрих Мария просидел два с половиной года на жутком Западном фронте, прошел всё, написал лучшую книгу о Первой мировой войне «На Западном фронте без перемен», — но никогда не кичился своим военным прошлым и не вел себя с тем умным кокетством, когда человек вроде бы ведет себя скромно, а все кругом восхищаются. Тонкое умение.

— Артистизм.

— Это гораздо больше, чем артистизм. А пример еще более вопиющий — это Михаил Михалыч Зощенко. Который просидел три года в окопах Первой мировой. Который ушел на войну вольноопределяющимся и выслужился в штабс-капитаны. Который был трижды ранен. Был травлен газами. Который был награжден за храбрость солдатским Георгиевским крестом и Анненским темляком на шашку. Он никогда ничего не говорил — боевой, награжденный орденами — о своем геройском военном прошлом. Литературно, публично. Никогда он не был символом мужественности. Вот такая, понимаете, история. Люди бывают настоящим трапперами, то есть охотниками, люди пересекают в одиночку океан, но никто из них не был таким символом мужественности! Надо заботиться о том, чтоб твой облик, твое творчество, твоя биография, твой внешний вид, твоя самоподача и твое умение наладить контакт с журналистами находились в некоей единой гармонии, — вот так создаются биографии великих писателей. Которые очень редко соответствуют качеству их творчества.

Правильные девчонки

— Да, да, и насчет имиджа, по Хемингуэю, — еще надо правильных девчонок к себе подтягивать. Чтоб люди их видели рядом с тобой и смекали.

— Абсолютно справедливо насчет правильных девчонок. Дело в том, что его вторая жена Полина Пфайффер, которая вращалась в среде золотой молодежи, обеспечила ему на своих деньгах и на своих связях после выхода его второго романа «Прощай, оружие!» максимальную раскрутку и ввела его в моду, — она сыграла огромную роль в его судьбе. Я полагаю, что именно ради этого он разошелся с Хэдли, своей первой женой, родившей ему двоих сыновей. Он знал примерно, что он и за что продал. Вот потому всю жизнь он и пил. Об этом он написал и «Снега Килиманджаро», и «Недолгое счастье Френсиса Макомбера». Он написал это о писателе, который продал себя за деньги нелюбимой женщине — за деньги, славу и образ жизни.

Конкуренция в литературе

— Ну, писатели и бабы — вообще такая тема тяжелая... там не найдешь концов. (Писатели и алкоголизм — еще хуже.) Ну хорошо... Как говорил Луи Армстронг, «я по наивности раньше думал, что людям нужна музыка — а им нужно шоу, увы». Людям не нужны просто тексты, которые поступают ниоткуда, из деревни, под псевдоним, им нужен писатель в виде осязаемого персонажа, это же игра... Люди немножко хотят — возвращаю тебя к предыдущему вопросу — чтоб у писателя была биография. Им, наверно, приятно думать, что Аркадий Гайдар командовал полком в 14 лет и пачками расстреливал белых патриотов.

— Ну, полком все-таки в шестнадцать.

— Да! И Хемингуэй, которого ты не любишь...

— Почему это я его не люблю? Ты не можешь этого знать. Я к нему всегда относился очень хорошо.

— Я, кстати, помню, как в юности я сам его дико любил, а потом как-то так... Так вот в этом нет ничего плохого, как мне кажется, что люди видят не только тексты Хемингуэя, но и всю эту его пиаровскую линию. Тому же Зощенко — перед кем он мог распространяться насчет своего офицерского прошлого, перед комиссарами и чекистами? (Которые его чудом не расстреляли сразу, но потом таки удавили.) Очень хорошо, что ты сравнил Хема с Ремарком...

— Дай я вставлю два слова. Зощенко по природе был человеком тихим, скромным. Героем он был на фронте. Когда того требовала обстановка. Подобно большинству героев, вне сферы действия это был не только обычный, но и тихий скромный вежливый человек. Я знаю сегодня настоящих суперменов, они прошли такие горячие точки планеты, что все эти Рембо надутые отдыхают. Но в быту — нормальные люди. Которые не хвастаются не только потому, что они под подпиской, а потому, что в их кругу в их представлении это было бы жлобство. Плебейство. Только дешевые будут хвастать этим! А Зощенко был сильно не дешевой. Но одновременно он не был пиарщиком.

— Очень хорошо. Это одна история, но ты когда сказал, что в литературе не хватает всем места, — очень интересная мысль, — этим еще раз обозначил, что надо сражаться за место в литературе! И читатель видит не только тексты под псевдонимом, вот, дескать, текст номер 15 и 17, и пусть они десять лет пишут, а потом, когда выяснится, кто из них более великий, мы обнаружим фамилию. Это один подход — не самый, может быть, перспективный. Куда интересней носиться с бородатым романтическим американским красавцем. Зоценко молчал — потому что победили красные, а не белые, и Ремарк молчал — потому что немцы проиграли. Ремарк был на побежденной стороне. Что его нехорошо характеризовало как героя, тяжело пиарить побежденного. Ну вот, допустим, Хем подвинул Ремарка... Интересно, кого же, потвоему, подвинул Бродский? Кого — первого поэта — он скинул с пьедестала своим грамотным пиаром?

— Мы не должны забывать, что при жизни Пушкин, он никогда не был номером первым, он был третьим. Первый был Крылов, второй — Жуковский, третий — Пушкин. Но места, они меняются... Что касается борьбы, достаточно посмотреть, как борются между собой актеры. Уж там-то на сцене или перед телекамерой точно места хватает только на одного! Боливар не влезает в экран на две камеры! Значит, и в российской, в советской еще литературе сложилась интересная ситуация. Один центр — это были соперничающие между собой за первое место Вознесенский и Евтушенко, самые крупные величины. Ну, часто говорили, что Евтушенко более понятный и традиционный, а Вознесенский — он более новатор, больше поэзии — а другие говорили наоборот. Второй центр — это был Бродский, который являл собой поэзию абсолютно неподцензурную, внеофициозную, оппозиционную, никак не маневрирующую, чтобы договориться с властью, совершенно свободную. Это имело в советское время огромное моральное и психологическое значение. А был еще и третий центр, который обращался к народу напрямую — Высоцкий. Книг у него не было при жизни ни одной. А с магнитофонов он звучал из каждого окна. И каждый

из центров стремился отпихнуть других. Совершенно понятно, что Бродский ненавидел Евтушенко с Вознесенским, они, дико ревнуя друг друга, ненавидели Бродского, а что касается Высоцкого, они доставали его все — а ты, мальчик, со своей гитаркой отойди, куда ты суешься со своим свиным рылом в наш калашный ряд. Время, оно очень часто — да! — расставляет все по своим местам. Высоцкий у нас уже встал реально на первое место, потому что вот прошло уже 28 лет как его нету, но до сих пор он остается живым и звучащим, — таких случаев в истории российской поэзии не было. Теперь даже до идиотов стало доходить, что это — поэзия. Высоцкий вернул поэзию к ее истоку изначальному! Когда поэт сам пишет стихи и сам исполняет их своим голосом, со своим выражением, под свой собственный нехитрый аккомпанемент — это то, с чего поэзия началась! Но для наших ребят признать Высоцкого — означало бы расписаться в том, что они на втором месте. Мало того что он популярнее, так он что, еще и поэт? Этого стерпеть нельзя. И таким образом, у нас сегодня Высоцкий на первом месте. На сегодняшний день у нас есть Евтушенко, который и сегодня выпускает книги, появляется в СМИ — он только затенил собой больного Вознесенского. Бродский уже где-то там, как небожитель, и он все больше напоминает чеширского кота, который постепенно растворяется в пространстве. Трудность в том, что литературные критики — это, как правило, лузеры, аутсайдеры, с резко пониженным креативным началом. Что интересно, в наши времена в России уже типична история, когда критик начинает писать книгу, чаще всего роман. То есть представьте себе извращенную последовательность событий! Сначала он оценивает, и поучает, и критикует других, потом начинает что-то делать сам. А ты зайди-ка с другого конца! Ты сначала сделай сам что-то, что чего-то стоит, а уже после этого начинай критиковать. Вот меня поразило в возрасте двадцати пяти лет изречение, прочитанное на стенке над головой моего друга, работавшего в Петропавловской крепости в музее: «Критик должен быть готов в любой момент по первому требованию заступить на место критикуемого и исполнять

его обязанности профессионально, исчерпывающе и компетентно; в противном случае критика становится наглой, самодовлеющей силой и превращается в тормоз на пути культурного прогресса». И подпись меня поразила: «доктор Йозеф Геббельс». Это одна из тех вещей, которая примиряет меня... не с фашизмом, разумеется, а именно с Германией и с немцами. Потому что кампания холокоста — это вечный позор в истории Германии, вечное преступление, и тем не менее немцы остаются великой нацией. Внесшей огромный вклад в мировую цивилизацию. По сравнению с этим всем... Кто там первый поэт России? — какие мелочи.

Гитлер и политкорректность

— Да-а-а... а вот такая тема: Гитлер и политкорректность. Если бы она была в 1944—1945 годах, то с Гитлером бы вели переговоры, провели бы в Германии выборы свободные под надзором международных наблюдателей...

— Разумеется! А ты думаешь иначе?

— ...сказали бы: ну евреев там пощелкали немного, ну что делать, бывает...

— ...но самое главное — человек встал на путь мира, на путь переговоров, готов прекратить лить кровь, признает свои ошибки, обещает, что больше не будет, самое главное, что перестали убивать. А остальное неважно. Да, разумеется! Так бы и было. Но дело в том, что у каждого века было свое мракобесие. Мракобесие нашего времени, начала XXI века, — называется «политкорректность». Политкорректность на самом деле означает, что есть истины, говорить которые нельзя, аморально, безнравственно и преступно. Это ничуть не лучше некоторых взглядов святой инквизиции!

«Русские — не белые люди?!»

— Да-а-а... Согласен с тобой: политкорректность — ужасная, отвратительная вещь. Американцы ее применяли только для разводов и никогда для себя.

— Видишь ли, в наши дни, когда исламские террористы испражнялись в храме Рождества Христова, взяв монахов в заложники, а европейские страны заявляли, что Израиль не должен причинять им вреда... А потом европейцы разобрали этих террористов по своим странам, дали им приют и статус политических беженцев — вывод напрашивается необыкновенно горький для нас. Эта цивилизация не заслуживает права на жизнь. Это шакалы, а не люди.

— Какая цивилизация не заслуживает права на жизнь — белая?

— Белая цивилизация.

— В смысле, они — европейцы и американцы; не мы же, русские...

— Я не отделяю себя от этой цивилизации. Если вы хотите носить американские джинсы, слушать американский джаз и так далее и тому подобное, то не заявляйте: «Мы другие!»

— «Кто сегодня любит джаз, завтра Родину продаст!» Ну, джинсы — это не более чем штаны. Срам прикрыть.

— Притом что нельзя дистанцировать себя от того, чем ты пользуешься, во что ты по быту встраиваешься, за счет чего ты в известной степени живешь. Это — искусственное дистанцирование, которое является моральным изживенчеством.

— Наши американские джинсы явно сшиты в Китае, там щас все шьется.

— Не в этом счастье.

— Просто джинсы китайские. На них только лейбл американский. Только на жопе написано, что они американские, а так-то...

— Ты хочешь сказать что Россия не принадлежит к...

— К белой цивилизации.

— ...к иудеохристианской культуре?

— Только отчасти принадлежит, но, по сути, русские не являются белыми людьми. Между русскими людьми и белыми лежит пропасть, я говорю это как русский человек, который довольно много времени провел на Западе, тепло к нему относится и говорит на некоторых его языках, то есть

не чувствует себя там потерянным и совсем уж чужим. Я все-таки бывший германист и бывший американист.

— Ты считаешь, что наши ценности... чисто человеческие, чисто ментальные — иные, чем ценности человека Италии и Америки?

— Во многом иные. Тут водораздел такой. Имеет ли ценность человеческая жизнь как таковая, сама по себе? Там сразу говорят — да, а у нас надо сперва доказать, что ты хороший парень.

— «Да» — говорят политики. И «да» говорит левая интеллигенция. Итальянские бандиты, американцы из нищих гетто и так далее — отнюдь не говорят «да». Они остаются такими же людьми, которыми были всегда. Вот на Востоке к этому отношение другое... И взрывают они себя вместе со своими врагами за милую душу. А вот ни в Европе, ни в Америке, ни в России это дело не канают. Представление об этом и том свете другое, и так далее...

— Я возвращаю тебе удар...

— Я не наносил по тебе никакого удара, я даю тебе интервью. Я не могу спорить с тобой, ибо это лишено смысла. Вероятно, точно так же тебе нет смысла спорить со мной. Потому что, как я понимаю, моя задача — изложить свое мнение по разным вопросам, а твоя — повернуть это дело так, чтобы я это мнение излагал. Я правильно понимаю?

— Да, но...

— Вот и излагаю.

— Но хотелось бы не просто услышать изложение твоих взглядов, но и обнаружить в этом изложении некоторую парадоксальность. Потому что без парадоксальности трудно себе представить хорошее интервью. На мой взгляд. Должна быть некоторая противоречивость.

— Хрен ты от меня дождешься противоречивости.

— Ха-ха-ха! Вот это ты хорошо сказал. И тем не менее. Вот ты говоришь, что мы ментально такие же, как белые, а Восток — другой, не такой, как мы. Но какие англичане и какие американцы кидались под танки со связками гранат? Какие французы повторили Гастелло?

— Скажи, пожалуйста...

— Никакие!

— Мы отвлекаемся. Потому что это наглый пиздеж и провокация.

— Ну провокация.

— Это тот очень дешевый квасной шовинизм, который воспитывали в советских школах. Где объясняли, что Россия — родина африканского слона. Что это Россия изобрела патриотизм, это Россия изобрела героизм, это Россия изобрела самоотверженность. Можно подумать! А до тех пор, пока не появилась Россия — этого не было. Ты сначала почитай английскую историю, а потом носи эту ерунду.

— Теперь ты мне ответь на вопрос...

— ...а скажи, пожалуйста, зачем надо под танки с гранатами кидаться самому? Человеческое тело обладает дополнительной взрывной силой?

— В подтверждение твоей правоты...

— Нет, ты скажи: зачем с гранатами под танк бросаться?

— Я скажу так...

— Нет, не отвечай, я ж не заставляю...

— Отвечу. Хорошо, Миша, ты совершенно прав. Мы, русские, точно так же как французы, чехи, голландцы, сдались через две недели после объявления немцами войны и сказали: да и хрен с ним, покомандуют нами немцы, а потом как-нибудь от них освободимся.

— Ты абсолютно...

— ...и потому мы как французы — совершенно цивилизованные белые люди.

— Ты абсолютно не знаешь истории Второй мировой войны. Поэтому, если ты хочешь со мной спорить... То спорить мы не будем. Сейчас мы еще немного выпьем и разойдемся. (Слово «разойдемся» он зря сказал, ох зря... То есть наоборот не зря. — И. С.) А говорить мы будем так: ты будешь спрашивать, я буду отвечать. Всё! Потому что если бы ты почитал про кампанию 1941 года, ты бы знал, что немцы разбили русских гораздо больше, чем французов. Их наступление в России было гораздо быстрее, чем во Франции, за те же три недели, что продолжалась Французская кампания, они заняли территорию несравненно большую, чем Франция. Немцам

[в России] противостояло живой силы и техники в несколько раз больше, чем во Франции, и потери немецкие были в несколько раз меньше относительно тех, кого они били, — чем во Франции. То есть разгром, который учинил вермахт Красной Армии летом 41-го года, в несколько раз превосходит разгром, который вермахт учинил Франции. Только там это называется «позорный разгром», а у нас называется «мужественное сопротивление». Так что вот эту херню, которую изобрел генерал Махмуд Гареев и отдел соответствующий ЦК и Институт военной истории при Главпуре Красной Армии, — мне знать не надо. Это всё для пенсионеров.

— Надо было сдаться, действительно...

— А при чем здесь — сдаться? Ни одна страна не имела столько предателей, сколько Советский Союз во время Второй мировой войны! Не суйся со мной в дискуссию, у нас разные весовые категории. Тем более не понимаю — зачем тебе это надо?

— Белая цивилизация, белые люди... надо было сдаться...

— Что ты имеешь в виду, — что они сдавались, а мы дрались? А вот хрен тебе! Потому что у нас была не та территория, не то соотношение воинских сил, потому что у нас была совсем не та система воинских союзов, потому что били нас они, как не били они никого. И бежали мы, как не бежал никто. И переходили мы на сторону врага, как не переходил никто.

— Франция официально вся перешла на сторону врага, например.

— Франция?!

— Ну как же?

— Я этим занимаюсь всю свою жизнь! А ты мне хочешь доказать, что ты умней меня!

— Я не хочу тебе доказывать, что я умней тебя. Я, наоборот, решил согласиться с тобой в том, что мы принадлежим к белой цивилизации...

— Не может быть!

— ...и, как французы, мы сдались сразу. И когда немцы нас оккупировали, то мы вели себя тихо, мирно.

— Скажи, на чем основываются твои познания о кампании 41-го года? Вот что ты читал — кроме школьного учебника, газет и журналов? Что ты читал?!

— Я скажу так: в Париже было гестапо, а в Москве — нет...

— Нет, одна секундочка: знания откуда твои?

— Да какие у меня знания...

— А если «какие у тебя знания», то не выноси мне мозги. Хули ты тогда споришь? Еще ты меня будешь доябывать!

Итого

Ну, слово за слово, дальше мы, как Миша опрометчиво предложил, «разошлись», то есть разругались и дня три вообще не разговаривали. Потом помирились — и даже обмыли получение им эстонского ордена Белой звезды.

Но это ладно. Самое же забавное в том, что беседа наша продолжалась — по счетчику на диктофоне — 68 минут. Если вычесть предисловие, когда мы выясняли и оговаривали формат беседы или, уж не знаю, как это назвать, и перепалку, то останется чистого времени — вы будете смеяться — ровно час, с точностью до минуты.

Как мы и договаривались на берегу.

Что значит точность...

ЭДУАРД ВОЛОДАРСКИЙ:
«Мы с Высоцким собирались эмигрировать»

Мы знаем его как автора сценариев к великим русским фильмам: «Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах», «Свой среди чужих, чужой среди своих». И сериалу «Штрафбат», который прошел на первом канале по самым верхушкам рейтингов. Чего мы еще не знали про ту войну, про наших людей? А вот поди ж ты — нам открылась какая-то новая правда. Причем через много лет после того, как все было разрешено и ждать откровений вроде не приходилось.

ВГИК

— Эдуард Яковлевич! Вы много сделали уже сценариев военных фильмов. А вы сами в армии служили?

— Служил. Полгода, в десанте. Однажды я прыгнул с парашютом, неудачно приземлился, было сотрясение мозга. Меня комиссовали. Я пошел работать грузчиком на Мантулинский сахарный завод в Москве. А там одни фронтовики работали. Человек воевал, пришел младшим лейтенантом, ничего не умеет — ну кто его куда возьмет? Дорога ему в грузчики. И заработок хороший — до двухсот пятидесяти. Тогда как раз пошел кубинский сахар, много его пришлось перекидать: 40 тонн на человека была норма [в день].

— А потом вы уехали на Север. В Лабитнанги. Я бывал в тех местах — Вартовск, Сургут, Каргасок, Стрежевое... Там такое небо низкое, тяжелое.

— Да, да! Мы там бурили. А озера карстовые протаивают, круг был идеальный!

— Спирт был бутылочный по 7.65.

— Спирт в наше время он стоил пятерку с чем-то. Пять, чтоб не соврать, тридцать шесть. Да что спирт, там пили всё. Включая гуталин.

— На хлеб намазывали.

— Ну да. Спирт выпаривался в хлеб, а черную гадость срезали.

— Вы что искали на Севере? Зачем туда поехали?

— Хотел заработать. Надоела нищета.

— Когда вы работали на Севере, то, как известно, случайно послали свои тетрадки на творческий конкурс во ВГИК...

— Да! По объявлению в «Комсомольской правде». И поступил. С первого раза.

— А там уже началось. У вас там хорошая компания подобралась, во ВГИКе!

— Да... Андрей Смирнов, Сергей Соловьев, Боря Яшин... Тарковский. Я тогда был потрясен его фильмом «Иваново детство».

— Сильнейший фильм. А рассказ-то не очень.

— Вы знаете, Богомоллов был так возмущен картиной, что даже написал гневное письмо в ЦК. А картина в это время берет приз в Венеции. Богомоллов еще раз ее посмотрел. И говорит: может, я чего не понимаю, но картина говно. Потом Андрей мне показывал снятый материал к «Рублеву», и я ничего не понимал — что можно из этого собрать? Потом только понял. А дальше какой-то умник решил, что под татарским игмом Тарковский изобразил советскую власть.

— О, какое тонкое замечание.

— И картина сразу легла. На полку. Поди докажи, что ты не верблюд!

— С Шукшиным вы учились. И выпивали...

— Да. Выпивали. Но тогда пили ведь иначе — это не было тупое пьянство. Пьянки были такие творческие. Сидели до ночи за бутылкой, разговаривали — что кто пишет, что надо снимать, что фуфло, а что дорогого стоит. Каждый обогащался! Это не просто пьянство... Шукшин был блестящий рассказчик. Причем ни слова мата.

— Трудно поверить в это...

— И тем не менее. Когда он «Живет такой парень» снял, пошли его рассказы. А до этого он только Ромму показывал свои тетрадки. А сейчас Шукшин бы не поступил. Сейчас — только у кого деньги... Иностранцев много. Латинская Америка, особенно Аргентина. Французы и итальянцы — их единицы. Я вел там курс. Талантливые ребята... Но когда они выучились, работы не стало.

Высоцкий

— Эдуард Яковлевич! В семидесятые про вас говорили всё больше в связи с Высоцким.

— Да...

— «Володарский — друг Володи», — это звучало очень значительно. А вы с ним когда познакомились? Как это было?

— Я его во ВГИКе иногда встречал, когда учился. Он с Колей Губенко дружил, а еще у нас была такая прима, Таня Иванова, очень красивая девка, — и он ее захомотал. Поэтому он у нас появлялся довольно часто. Мы виделись, но отношений тесных не было. А после, в 68-м, мы встретились в Питере. Я туда приехал писать сценарий, а он — на съемки. Так получилось, что мы жили в соседних номерах — и снюхались, спились. Оттуда уезжали уже друзьями. Приехали в Москву и тут стали встречаться.

— Вы действительно много пили? Даже больше, чем во ВГИКе?

— Больше! Когда в загуле, по пять бутылок коньяка выпивали за день на брата! Во ВГИКе же была еще проблема — достать денег!

— Но у вас, слава богу, до наркотиков не дошло, насколько я знаю...

— Бог миловал. Я даже не знал про них. Вот я помню... Сколько раз бывало: сидим, выпить хочется, денег нет, и вся компания смотрит на Володю: ну давай! Ладно, говорит... Кто со мной? Ну я. И приползали к ресторану. К «Арагви» иногда. Стучимся... Швейцар орет: что надо? Требуем позвать официантку. Она приходит, видит Высоцкого, делает большие глаза и пускает нас. Нас ведут в подвал, а там стол огромный накрыт, и магнитофоны стоят: записывать. Высота (это Володина кличка такая) пару рюмок выпьет, ему говорят: ну давай. Он берет гитару и поет им. А я сижу, выпиваю, закусываю... А уходим — у нас по сумке у каждого, а там выпивка, колбаса всякая. А там ждет голодная компания: ну вас только за смертью посылать! Спасибо ж никто не скажет.

— А кого кормил-то?

— Много было людей. Антон Макаров, Епифанцев Жорка, Севка Абдулов, Володя Акимов, — сейчас всех не упомнишь... Володю Акимова уговорили комнату сменить 40-метровую на 22 метра — сосед дал магнитофон и две тыщи рублей; «Хули мы без денег сидим!» Ну он и поменялся, ради товарищей.

— Самая трогательная история про вашу дружбу с Высоцким — это с дачей. Вы ему отдали кусок своего участка, чтоб он на нем построил себе дом.

— Да... У меня тогда было полгектара, и я ему отдал 20 соток под дом. Его самого не брали ни в какие дачные кооперативы. Бывало, он и задаток даже вносил — а после ему на правлении отказывали: жена иностранка, а кругом под Москвой зоны, закрытые объекты. Вот у нас рядом с Пахрой — филиал Курчатовского центра атомного.

— А он очень хотел дачу?

— Марина хотела. А то друзья вечно, в квартире бедлам, пьянка. Она говорила: «Вот видишь, Володарский пьет-пьет, а потом спрячется на даче, и порядок. И там никто его не поит». А у меня был на даче полуразвалившийся домик, там когда-то жила прислуга прежнего хозяина. Я говорю — забирай его, восстанавливай и живи. Я его любил, Володю... Ну вот. Он договорился на складе каком-то, ему за концерт дали бруса на дом, он начал строиться. И тут мне Юлик Семенов, сосед, говорит: «Ты что, нельзя же, все знают, что ты Высоцкому незаконно дачу строишь! Тебя ж из кооператива выгонят!» Потом пришел Рязанов, тоже предупредил — там правление собирают... Я ему говорю: ты меня поддержи... Я все-таки имел право по закону на дополнительное здание — архив и библиотеку. И вот дача Высоцкого — это как будто моя библиотека. И правление даже не стали проводить. А потом Марина подняла скандал, потребовала участок разделить. Правление было против раздела, чтоб не создавать прецедента. Люди подумали: а если с женой разводиться, что, тоже участок с ней делить? Нет! Правление решило, что участки неделимы.

— Но Володя, как известно, не попользовался этой дачей.

— Ну да. В марте 1980-го достроили, а в июле — всё, умер он.

— И Марина захотела тогда получить этот дом, который он построил, и кусок вашего участка. Вы тогда испугались?

— Я не испугался. Я ей объяснял — Марина, земля не моя. И дом не мой, — у меня только пай в кооперативе. Марина, она за франк удавит любого. Характер железный! Твердость такая!

— Ей сейчас сколько?

— Она ровесница с Володей, с 1938-го.

— А чем бы он сейчас занимался? Я часто про это думаю...

— Я не знаю. Но я не думаю, что он принял бы то, что происходило во времена ельцинские. То, что сейчас...

— А где бы он был в 91-м? В 93-м?

— Трудно сказать. Ей-богу, трудно! Я часто об этом задумываюсь...

— А что бы писал?

— Песни. То, что он писал, и то, что писали после него, — разве можно сравнить? Как его слушали!

— Да... Я помню, он приезжал к нам на шахту Бажанова, в Макеевку, — году в 72-м. Клуб был забит, всё на магнитофоны писалось. Потом долгие годы это переписывалось... Он, конечно, съездил в шахту, и спел «Мы топливо отнимем у чертей, свои котлы топить им будет нечем... Черное надежное золото...»

— Это он написал в мою картину — «Антрацит». Порезали ее сильно...

— Были разговоры, что он плохо влиял на молодежь, ему же пытались подражать, ну и пили, и уходили в блатняк. Что скажете?

— Это не так. Вон Евтушенко тоже много пил. И Рождественский много пил... Да ну, чушь собачья. Подражать? Да невозможно ему подражать. Он никогда не халтурил. Никогда! С любого концерта он мокрый выходил. Он был всеобъемлющ настолько, его любили все — от блатарей до физиков-теоретиков Курчатовского института.

— Что такое — Высоцкий? Пушкин наших дней? Что это? Как вы можете это сегодня обозначить?

— Это Моцарт. А как поэт... Если выстроить ряд, он такой будет: Пушкин, Некрасов, Высоцкий.

Деньги

— А вы тот дом с участком, куда пустили Высоцкого, — за бешеные деньги купили?

— Да... В 75-м я за это заплатил 65 тысяч. Рублей.

— Ого!

— Я купил дом у вдовы поэта Кирсанова. Люся Кирсанова была сильно пьющая женщина. Все пропила. Дом — это ерунда, а у нее был Фальк, был Малевич... Картины потрясающие — а она их за бутылку отдавала. Купил, значит, и потом целый год был в долгу как в шелку. Расплачивался.

— Из каких денег?

— У меня тогда пьесы шли по всему Союзу, мне отчислений каждый месяц приходило по 4000—4500 рублей. Я тогда чуть не спился! Бутылка коньяка 4.12 стоила! 500 рублей была зарплата официальная министра!

— А сколько это в теперешних долларах, по вашим ощущениям?

— В долларах — тыщ сорок в месяц. Но самое ужасное, что тогда на них ничего нельзя было купить. Не как сейчас...

— То-то вы тогда, все знают, по утрам покупали коньяк по 200 рублей за бутылку у банщика бассейна «Москва»!

— Да, да. С Володей...

— А еще была история с 50 000 долларов.

— Откуда вы про это знаете?

— Да так, рассказывали люди...

— Ну дал я другу в долг. Я ему сказал — Володь, это мои последние деньги. Я тогда продал старую дачу, чтоб построить новую. И вот эти деньги я и отдал. Он обещал отдать в срок, железно. Друг этот занимался бизнесом, лесом торговал. Он мои деньги вложил, а его кинули. Деньги пропали. Он все потерял. Продал квартиру... Наверно, он не только мне был должен. Я тогда, чтоб дачу достроить, продал свою кооперативную квартиру в Москве. Да таких историй в те времена было навалом, в 90-е годы...

Еврейство

— Вы всерьез собирались с Высоцким бежать из страны? Он же тоже еврей, как вы.

— Ну да, у него тоже, как у меня, мать русская, а отец еврей.

— Академик Амосов говорил, что самые талантливые люди — у которых есть доля еврейской крови.

— Да, и Андрюша Смирнов говорил: «Эдька, чтоб делать хорошее кино, надо иметь хотя бы 25 процентов еврейской крови».

— Так у него ж нету...

— Есть, есть! У него мать наполовину еврейка, наполовину армянка. Вот мой сосед Саша Червинский... Способный мужик, драматург хороший...

— А, это который издал книжку «Как выгодно продать хороший сценарий»?

— Да, есть у него такая книжка. Только он сам почему-то не может свои сценарии продать. Он в свое время поехал в Голливуд, работать... Я его спрашиваю: «Зачем, Саша? Кому ты там нужен? Там нужно быть или евреем, или педерастом — одно из двух». Он говорит: «Но я-то еврей!» Но ты еврей без английского! Ты же по-английски еле-еле ботаешь...

— Так вы с Высоцким всерьез валить собирались? Разговоры такие были?

— Естественно, были! Тогда много народу поехало, началось... Но после первой своей заграничной поездки Володя мне сказал: мы там на хер никому не нужны.

— Это когда к Марине в первый раз съездил?

— Ну да, это 72-й или 73-й год. Он мне рассказывал, что, когда зашел в магазин и увидел изобилие продуктов — колбасы и все такое — его стало тошнить, он просто сблевал. Прежде он никогда не видел столько еды. Это было кошмарное зрелище...

— А вы насколько чувствуете себя евреем?

— Да не чувствую.

— И то правда. Для еврея вы какой-то совсем не бизнесовый. И говорите, что думаете.

— Я доверчивый всегда, меня нагреть ничего не стоит.

— Для еврея вы к тому же как-то слишком уж выпиваете.

— Ну, евреев очень много пьющих.

— А как печень у вас?

— Уже плохо. Сдал анализы, мне говорят: вы на грани цирроза. А, на грани? И пошел в магазин. Я скажу так: кому суждено погибнуть под трамваем, тот не умрет от сифилиса.

— Евреи бывают патриотами круче, чем русаки.

— Такое бывает, но не думаю, что это мой случай. Отец мой еврей, но он не вернулся с войны. А мать — орловская, на лето меня всегда в деревню спроваживали. Кстати, о евреях. Вот я сейчас снимаю 15-серийный сериал про Столыпина. Так он два раза вносил в Думу законопроект об отмене черты оседлости. И Дума оба раза его проваливала. Почему? Потому что в боевики шли молодые еврейские ребята, у которых не было шанса сделать карьеру, им просто некуда было идти. А если им дать возможность учиться, работать... Еще Ленин писал: если реформы Столыпина будут проведены в жизнь, о революции в России можно забыть на ближайшие 50 лет...

Заграница

— Высоцкий рано начал ездить на Запад. А вас не пускали.

— Я был невыездной в те времена. Меня считали неблагонадежным.

— Ну так вы ведь пили много. И с Высоцким дружили. Притом что самого его пускали...

— Вот еще что могло повлиять: я дружил с Пашей Литвиновым — он вышел на площадь в 68-м, когда была оккупация Чехословакии. Ему дали 5 лет.

— И что с ним дальше было?

— В Англии живет. Физик. Приезжал два раза... Его дед — тот самый Литвинов, и это сыграло свою роль: мало дали, всем-то по червонцу. Богораз — и кто там еще был.

— А когда вы перестали быть невыездным?

— В первый раз я выехал в 96-м. Помню, в 85-м году я захотел поехать в Испанию на чемпионат Европы. И вот за три дня до вылета меня вызвали в КГБ, и там подполковник, добродушный такой с виду, говорит: «Знаете, футбол и по телевизору можно посмотреть. Ну чего вы туда поедете? Только лишние траты... Мы считаем это нецелесообразным».

— Так вы жили буквально как Пушкин!

— Ха-ха-ха! Царь, между прочим, Пушкина не выпускал не потому, что боялся, что тот останется, — он боялся, что тот там себя не убережет и погибнет. И что Лермонтова царь убил — херня это. Есть же письмо бабушке Лермонтова за подписью Бенкендорфа: «Наконец-то наш Мишенька едет домой».

А в 96-м я съездил с делегацией в Югославию. Война уже шла. Потом — в Голландию, там наша подруга живет, она давно уехала. После в Германию. Мне там один бизнесмен предложил писать сценарий о контрабанде икон из России в Германию. В результате получился фильм «Бездна» — неудачный. Потом мы сняли картину «В России опять окаянные дни». На съемки мы ездили в Лондон, там я пробыл полтора месяца.

Герман

— По мне, так ваши лучшие сценарии — это те, по которым снимал Герман.

— Ну, сценарий «Лапшина» написан по лучшей повести Юрия Германа. «Проверка на дорогах» — тоже по его. Я тогда, не читая книги, взял под сценарий аванс в 25 процентов, а это 1250 рублей. Половину мы сразу в Питере пропили, меня в поезд грузили в бессознательном состоянии. Приехал в Москву, протрезвел, прочитал повесть — и охренел: полное говно! Какие-то чекисты, шпионы, зондеркоманды... Боже мой, куда я влип! Были б деньги, вернул бы на хер сразу. И тут приехал Герман в Москву, мы встретились, пошли в забегаловку возле Маяковки, там за полтинник наливали пятьдесят коньяку. Зашли, я выпил сто грамм, он спрашивает: ну как повесть? Я отвечаю: говно повесть. У него ни

один мускул не дрогнул. Да, говорит, повесть плохая. Там только один характер хороший, а остальное придется писать заново. У меня прямо от сердца отлегло. Заново так заново! Пишите, говорит, как хотите. Я стал читать Адамовича про партизан, меня в основном интересовал их быт — как они строили землянки, как жили... Как из снарядов они выплавляли тол, они каждую секунду рисковали жизнью! Потом они этот тол охлаждали, брикеты из него делали. За 22 дня я сценарий написал. 70 или 75 страниц. Кстати, я там роль написал для Володи специально.

— Какую же, интересно?

— А власовца. Я приехал из Питера с отпечатанным экземпляром и, не заходя домой, поехал к Володе и сказал: «Читай, это вот для тебя». Но его Герман не взял!

— Почему же?

— А испугался. Я приехал на худсовет, смотрю — он выставил на пробы Дворжецкого, Заманского и Лаврова. Я говорю — Лёш, а где Володя? Он отвечает — я его снимать не буду. Я истерику закатил: «Ты что делаешь? Мы с тобой сколько раз говорили! Это ж для него роль!» Я, говорит, боюсь, он завалит мне картину и меня задавит! А не дай бог он запьет — что я буду делать? Тогда в Германе было больше человеческого... А потом из него говно полезло.

— Такое бывает, когда человек, например, подшивается. Он такой злой становится.

— Он не пил, его врачи предупредили: съешься в момент. У него отец пил. Такая полезла подянка...

НКВД

После мать вышла замуж за майора из НКВД, его перевели в Москву, ну и мы с ним.

— А отчим ваш, энкавэдэшник, случайно не штрафбатами занимался?

— Нет, он был картограф. Начальник Первого отдела Главного управления картографии... Приехали в Москву, и я сразу пошел в школу — в 8 лет, с опозданием. Замоскворечье — такой район, там все прибалтнанные.

— И вы набрались от них. Наблатыкались.

— Ну да. Дрался, с финкой ходил — она была пристегнута к бретельке на подкладке пиджака. Очень многие сели.

— А вы не зарезали там никого?

— Нет. Бог миловал. А вот меня резали сильно. Я как-то пришел в больницу, а у меня рукоятка ножа из груди торчит. Одно ребро сломано, в другом лезвие застряло.

— Значит, что касается НКВД, то вы его тоже знаете не понаслышке. А изнутри. По отчиму. У вас уникальный experience — обе стороны баррикад, и блатняк вы знаете, и с ментом под одной крышей сколько лет прожили. На чьей стороне, всем ясно — после фильма вашего.

— Это — да...

— В жизни иногда наступает момент, когда человека сам решает, с кем он — с ментами или с братвой.

— Да. Лучше с братвой, чем с ними.

— Я так понимаю, у вас с отчимом тяжелые были отношения... Судя по тому особисту, которого вы выписали в «Штрафбате»...

— Ну как сказать... Я вспоминаю его... ну довольно хладнокровно. Хотя он колачивал меня частенько. Но сейчас уже... я простил его. Я с ним прожил жизнь, я держал его за своего отца. Потом, я видел таких отцов — еще пострашней, чем мой отчим.

Никита Михалков

— А вы какой свой фильм больше любите?

— «Свой среди чужих». Мы с Никитой вместе писали сценарий. Нашел сюжет Никита, но там была история немножко другая: про эшелон с золотом, который несколько раз переходил из рук в руки, — но сценарий с эшелоном не получался. И я придумал вариант с баулом. Да, это фильм я больше всего люблю. Больше всего удовольствия я получил от написания и от съемок. Мы тогда молодые все были... Так-то я редко езжу на съемки, я ненавижу на них ездить — ты лишний там. Лезешь со своими критическими замечаниями, а их хватает

и так. Разве только режиссер позвонит и скажет — приезжай, надо что-то там дописать или переписать. Тогда — да.

— А играть вы не пробовали?

— Снимался пару раз в эпизодах. Но это тяжелый труд. Даже в эпизодах.

— А вот вы еще пишете с Никитой Михалковым «Утомленные солнцем 2».

— Никита меня позвал, когда сценарий был уже почти готов. Давай, говорит, поможешь...

— Вы там какие эпизоды написали?

— Ну работа еще не закончена, неизвестно, что там останется, что нет... И потом, это же в основном Никитина работа.

— А эти отрывки из сценария, которые он обнародовал, зачитывал на пресс-конференции, — про то, как там Богородица являлась красноармейцам — это не вы, часом, написали?

— Нет. Что касается явления Богородицы на Курской дуге, во время танкового сражения под Прохоровкой — это известный факт. Об этом много писали. В дыму было видение Казанской Божьей Матери. Я читал письмо одного капитана домой: «Когда, Поля, вдруг я увидел в небе Казанскую Божью Матерь, я понял — мы им ломаем шею». Были свидетельства немецких солдат и офицеров. Хотя чисто физически... Что это такое было? Там стоял такой чад, такая гарь от тысяч танков на поле — ад был кромешный! Одному могло померещиться одно, другому другое...

— Эдуард Яковлевич! Я вот все думаю про ваше новое кино... Знаете, одни от экрана не могут оторваться, другие его просто не могут смотреть, особенно если у кого родня погибла по лагерям и штрафбатам. Хотя сколько времени прошло, казалось бы. Вот скажите, как вы думаете: удастся переломить это отношение верхов к низам как к пушечному мясу?

— Так было здесь всегда... Максим Горький говорил: «В России народу, что песку, не скоро вычерпают». И вот — вычерпали до дна...

АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН:
«Жулики, добро пожаловать в Париж!»

Писатель Гладилин, у которого в 60—70-е была необычайно громкая слава, теперь хотя и наезжает в Москву, и мы с ним видимся здесь, да хоть случайно — сталкиваясь если не в профильном министерстве или, к примеру, издательстве, так в ресторане ЦДЛ, — интервью, тем не менее, давал в Париже. И это правильно. Человек же в этом городе живет как в родном. Это его дом. Куда я приехал из нашей безжалостной северной страны. Я бы даже сказал варварской, — а что? Так оно и есть.

И вот мы сидим в парижском кафе, называется Deauville, на самых что ни есть Елисейских Полях. Я пью вино, Гладилин — кофе; он, наверно, единственный русский писатель, кто не начинает пить раньше 22.00 местного времени. И в этом тоже глубокий смысл: начиная так поздно, не потеряешь не то что день, но даже и вечер, и остается больше времени для писания, что несомненно хорошо (Веню Ерофеева, который не лезет в схему, мы тут не обсуждаем, для ясности).

Город-праздник всегда

— А мы почему именно сюда пришли — вы тут живете рядом?

— Нет. Я просто люблю тут прогуливаться, когда приезжаю из своей деревни. У меня тут есть прогулочный маршрут. А так я живу в пригороде, на юго-западе, там самое начало Запада.

— И что у вас там в пригороде? Негры (которых тут с каждым годом я вижу все больше)? Арабы? Поджоги? (Как мы знаем из СМИ.)

— Нет, нет. Мы живем в хорошем пригороде. Там этих меньше, и они тихо себя ведут. Но все равно на всякий случай моих внуков отдали в частную школу. И только последний внук пошел в лицей, — но он один из лучших во

Франции, там определенная публика, туда довольно трудно попасть.

Я достаю цифровой диктофон, размером с зажигалку, и писатель на него эмоционально реагирует, ностальгически вспоминает молодость:

— О, тридцать лет назад я ходил с та-а-ким магнитофоном! — руками он обозначает габариты хоть и чемодана, но такого, что можно брать с собой в самолет. — Он весил 8 килограммов.

— А, это когда вы на радио работали.

— Да. Радийный магнитофон, и еще батарейки запасные с собой, а это плюс полтора кило. А то [основные] сядут, — и всё. Плюс набор кассет. И надо было с этой тяжестью бегать по германским аэропортам...

— Помню — это когда прибывали знаменитые эмигранты из СССР на ПМЖ к вам!

— Да.

— Которые ехали не к вам, а в Калифорнию, так те, как напьются, затягивают — «И на Тихом океане свой закончили поход». Должен сказать, я вам завидую — вы впервые увидели этот город в юности. (Я в тридцать с лишним, тоже неплохо, но уже не то, не то.) В 61-м, кажется, вы сюда впервые приехали?

— Да. И это было счастье. Я приехал сюда с делегацией писателей. Каверин был... И молодые авторы — Бондарев и Бакланов.

— Это они-то — молодые?

— Ну да. Для меня. А я был самый молодой. Поездка та меня просто сразила! Я просился после в Москве, чтоб меня отправили во Францию пожить. Я б работал на заводе Renault и писал бы повесть о рабочем классе.

— Они хоть обещали рассмотреть просьбу или сразу послали куда подальше? И вообще, что вам тут понравилось — музеи, рестораны, воздух?

— Улицы. Мне очень нравилось просто ходить по улицам Парижа. Я поэтому сорвал поездку группы в Версаль, — только Париж! Зачем нам эти дворцы, давайте мы тут проведем все время! Нельзя, программа ведь. Но я их уболтал,

я им сказал тогда: зачем нам резиденция королей, когда вместо нее мы можем посетить редакцию l'Humanité — коммунистической газеты? И тут им нечем было крыть. А мне-то лишь бы лишний денек в Париже! У нас была неделя здесь, а еще на неделю нас повезли на юг Франции.

— Вас заставляли встречаться с читателями?

— Да. Это было ужасно. Кто-то на этих встречах даже выступал, но это были проверенные товарищи. Но случались и срывы. К примеру, у нас были запланированы большие мероприятия в городе Ним, встречи со студентами и прочее. И вот мы подъехали к назначенному месту — и вдруг баба, которая нами командовала (при ней был еще товарищ такой тихий, я все спрашивал, кто такой, мне не отвечали), сказала: «Сидеть тихо, не вставать, никто не выходит, едем дальше». — «Что так? Почему вы нас не выпускаете?» — «Нам сообщили, что ожидается провокация».

— Смешно.

— Я сидел тихо: мне важно было, чтоб меня снова пустили во Францию.

— Ну все-таки — что вас туда тянуло? Свобода?

— В те времена и у нас была свобода...

— Что тогда — магазины?

— В магазинах было всё, это правда... Всё! Но денег у нас было в обрез.

— И вы пошли в Tati, тогда это было модно у советских туристов.

— Нет, все-таки мы ходили по магазинам в районе Place Орега. Эта баба наша руководящая с удовольствием водила нас по магазинам. А деньги были только у Бакланова. Ему удалось выбить свой гонорар за какую-то западную публикацию — аж 200 франков. А у нас было только по 100 франков.

— Значит, просто город как таковой вас притягивал.

— Ничего не надо — только ходить и смотреть. Девочки какие! Правда, в Москве девочки не хуже... Но тогда в Париже начиналась мода на короткие юбки, — чего совершенно у нас не было.

— Но проститутки у вас тут просто страшные. Ходили вы, кстати, как советский человек на Place Pigalle?

— О, это отдельная история. Я узнал, что наши военные собираются на Pigalle...

— Военные?

— Ну военные писатели. Бондарев и Бакланов. Они шли на стриптиз. Франков пятнадцать это стоило тогда, бешеные деньги.

— Я им говорю — ребята, как вам не стыдно одним идти, я с вами! Ты что, отвечают, вот тот парень, который ходит за тобой, — он тогда тоже пойдет с нами. И меня не взяли. Но после я таки сходил. В какой-то день все пошли на встречу с читателями, а я оторвался от группы и остался один с этой бабой и с этим тихим гэбэшником. Они говорят — ну что, Толь, ты, наверно, опять гулять пойдешь? А куда? Я им обрисовал маршрут. Ходил я быстро. Им стало страшно — вот так бегать за мной! Сказали — иди, вот тебе телефон, если что, звони. Мы тебе даем три с половиной часа — хватит? И тогда я на полчаса зашел на стриптиз. Мне не очень понравилось. Меня просто тошнило. Реально меня начинало тошнить в стриптизе!

— А мне сценарист Володарский рассказывал, что Высоцкого тошнило не в стриптизе, а в супермаркете. И он плакал от жалости к своему народу. Они вдвоем — Высоцкий с Володарским — задумывали свалить за бугор и в Нью-Йорке устроить русский театр. Нет, все-таки как это красиво, что вас тошнило от буржуазного разврата! Вы настоящий советский человек. Были тогда.

— Похожая история была с Юзом Алешковским, который вроде сволочь и развратник. Он когда эмигрировал и застрял в Вене, ждал там визу в Америку, и его позвали погостить в Париж. И вот мы идем по Латинскому кварталу, по пешеходной зоне, это рядом с бульваром Сан-Мишель, ближе к набережной, там сплошные рестораны. Смотрит он на эти кабаки... Смотрит, смотрит — и вдруг этот циник как заплачет! Такого, говорит, даже в Вене нету! Плачет — и бормочет что-то нечленораздельное.

— В смысле — матом ругается, как он любит?

— Нет. Что-то такое: «Ну зачем, зачем? Зачем что? Зачем нас так мучили? И мы не знали, что такое бывает?»

Исход

— Помните, была чья-то фраза насчет того, что русские эмигранты на Западе не просто так, но в послании. Алешковский это прокомментировал: да, в послании — но в послании на хуй. Вам какая версия ближе? Что просто в послании — или с расширением? Вас же сам академик Сахаров благословил уехать из Москвы в Париж, чтоб помогать знатному диссиденту Максимову. Вы ж сюда поехали не только потому, что вам понравились парижские бульвары, но и с миссией.

— С моим отъездом не все так просто. Я когда уехал, то всем говорил: «Ребята, если есть возможность издать хоть одну книгу, сидите и не рыпайтесь. Книга, изданная здесь, на Западе, — ничего не значит. А там (в смысле в СССР) — значит».

— Но вы этого сначала не знали. И — уехали. Мало знания — много печали.

— Я уехал, когда понял, что все, что мог, — напечатал уже там. А то, что я тогда писал, — не могло выйти в Советском Союзе. Если б знать, что будет перестройка, что крамольные книги будут выходить миллионными тиражами...

— То вы бы не выехали?

— Конечно нет!

— Ну да, вы уехали, и ровно через десять лет пошло шевеление. Горбач уже начал что-то исполнять...

— Вы знаете что? Это воспринималось тогда как провокация — местная эмиграция так это видела. Никто ж не знает, как все было... Что происходило с людьми. Я уехал... Добровольно. Меня после скандала больше не пускали.

— Какого именно скандала?

— Комсомольский лидер Павлов в своем докладе сказал, что воспитанию советской молодежи в коммунистическом духе мешают две вещи: интриги американского империализма и книги Гладилина.

— О, достойная формулировка.

— Это совпало с подписанием мною письма в защиту Синявского и Даниэля. Мне на Старой площади сказали — мы вам советуем заняться переводами. Я человек гордый

и ответил, что и без указаний ЦК партии придумаю, как мне заработать на хлеб.

— А вы, кстати, не думали тогда поменять профессию? Поменять — и остаться в стране. Все равно ведь в итоге меняли вы масть — с писателя на журналиста. Можно было б переквалифицироваться и без эмиграции.

— Ну, я это отчасти и сделал. Стал писать книги в серию «Пламенные революционеры». Нас потом попрекали — диссиденты, а писали вон про революционеров!

— Ну, революционеры — тоже достаточно темная публика.

— Когда в той серии вышло «Евангелие от Робеспьера» — даже те из литераторов, кто меня не любил, сказали, что это — первая серьезная книга Гладилина. 200 000 тираж, а ни в одном советском магазине я ее никогда не видел.

— Да, ею из-под прилавка торговали.

— Фокус был в том, что тексты не проходили цензуру — ну кто будет книги «Политиздата» цензурировать? И они не понимали, что такое подтекст. Я сидел два года по библиотекам, прочел все, что было у нас по истории Французской революции переведено. Когда я изучил все восемь версий происшедшего, мне стало что-то ясно. Книга была про французскую революцию — но все равно я писал, естественно, про нас. Фраза, которая потом, после, тыщу раз повторялась, — впервые вышла у меня, я ее поставил эпиграфом: «Революция, как и Сатурн, пожирает своих детей». «Это кто?» — спрашивают в издательстве. Это сказал товарищ Верньо, известный жирондист, вот сноска.

— Так у вас все было в порядке? Даже книги выходили! Такими тиражами! (Которые сегодня выглядят вообще нереальными.)

— Ну, у меня вышло переиздание «Истории одной компании», вышла еще детская книжка и две книги в «Политиздате». Я уже член жилкомиссии, мне уже предлагают трехкомнатную квартиру, — отчего бы не взять? Но — я уже решил ехать. Я понял, что если сейчас не уеду, потом не будет сил начинать жизнь сначала. И еще понял, что если я не буду писать, то меня будут выдвигать вверх, в номенклатуру писательскую. Короче, надо было ехать.

— О! Я и сам думал в 1984-м уехать. Уже записался в поездку от Союза журналистов, Португалия — Франция. Португалию я думал проехать как турист, хрен с ней, — а в Париже сдать властям: «Воп юнг. Я выбираю свободу».

— Если бы сдались в Париже, то первые деньги от меня бы получили. Как очень многие!

— Я тогда думал после сдачи пойти работать на «Свободу» и ее реформировать. А то она вещала только на своих, кто и так ненавидел большевиков. А надо ж было агитировать колеблющихся и нейтральных! То есть расширять аудиторию. Мне казалось, что «Свобода» работает слишком жестко, грубо. Надо было отказаться от критики Ленина, на первых порах хотя бы, — и мочить только Сталина.

— Обычно я не влезал в те споры... Но когда они передавали воззвание генерала Власова, который говорил в 1943 году, что надо дружить с Гитлером, — мне было ясно: они ничего не понимают! ЦК КПСС должен был бы перепечатать этот текст — и стало б ясно все, и не надо б было советским пропагандистам обличать «Свободу». Вот они хвалят пособника фашистов! К этому нечего было бы добавить.

— То есть вы бы поддержали мои идеи насчет перестройки радио? Славно бы мы с вами там потрудились на благо демократии! Да... Я планировал к вам идти проситься на работу, но чекисты все испортили. Как это часто с ними случается. И попал я в ваш чудесный город только через девять лет после запланированной даты — не в 1984-м, а в 1993-м. Жизнь распорядилась иначе. Я остался в Советах.

— А я — уехал...

Свобода в кавычках

Я в Париже до перестройки, пока не стали закрывать наше бюро...

— Проклятая перестройка!

— ...кормил весь русский Париж. Все приходили ко мне за заработком. За моей спиной стояла колоссальная организация — деньги для радио «Свобода» выдавал Конгресс США.

— Они теперь вам и пенсию платят неплохую.

— Да. Они ввели меня тогда в *cadres superieur*, — как это по-русски?

— По-русски это будет VIP. Или топ-менеджеры.

— Тут было интересно! Мне сразу предложили Мюнхен, но я категорически отказался.

— Конечно! Есть же Париж! Рабочий поселок Парижск. Говорят, это ваш термин?

— Да, мой. А на радио была хорошая обстановка. Тут собрались очень авторитетные авторы. Максимов, Галич, Синявский, Некрасов, Горбаневская...

— Неплохая компания!

— Хорошая. Мы набрали людей на парижскую организацию СП! По-хорошему. Потом приехал профессор Ефим Эткинд, из Питера. И художники были. Олега Целкова я встречал в Вене, я знал его по Москве. А у нас было вот что хорошо: я брал интервью — и тут же платил за это человеку деньги, доставал из кармана. И конечно, глазища у него на лоб. Причем не австрийскими шиллингами я платил, а немецкими марками. Целков тогда сказал: «Пусть я тут умру под забором, но все равно я рад, что уехал». Я ему сказал, чтоб он успокоился, под забором он не умрет. Некоторым тут было, конечно, очень трудно. Сережа Довлатов...

— Его же выгнали с работы, со «Свободы», — а вы его восстановили.

— Да, я восстановил. Более того: я дважды его восстанавливал. Меня послали в Нью-Йорк проверять кадры. Видимо, они тем, кто там работал, не очень верили. И Довлатов мне рассказал про всю обстановку...

— Конечно, собрались русские — и сразу интриги. Это нормально.

— Я действительно ввел в нью-йоркское бюро Вайля и Гениса. Я увидел, что они сильные журналисты. А не только друзья Довлатова. И мне Довлатов сказал тогда: «Вот ты их взял — а ты думаешь, они тебе скажут спасибо?»

Гладилин много и подробно рассказывает о своих успехах на Западе в политической журналистике, вкус к которой ощутил именно там, — да и то сказать, что у нас была за пресса при

Советах? Даже хуже чем сейчас. И снова рассуждает о том, из какой ситуации уезжал:

— Но я бы не уехал, если б знал, что в Москве всё начнут печатать! На месте Коротича, у которого в руках был самый популярный на тот момент журнал, — я бы никогда не уехал! И Евтушенко уехал...

— Вы с ним, кстати, не разговариваете тридцать лет.

— Ну да... А с остальными я общался, когда они были в Париже: Булат, Аксёнов... Вознесенский пришел ко мне в первый раз с Аксёновым — в 1976 году. Слава Голованов приезжал, мой старый товарищ. Мы, кстати, получали там «Комсомолку» с опозданием в один день — выписывали за валюту, для Некрасова; правда, она ему как-то не пригодилась. Потом началось размежевание. Каждый стал сам по себе. Вот пример с Максимовым — какие мы были друзья! А потом поругались. Года на три. И не разговаривали.

— На идейной почве?

— Э-э-э... не хочу об этом. Ну за идею, конечно. Меня потрясло, что в его журнале было напечатано интервью с ним же. Чего, в принципе, не делается!

— Он сам его у себя взял?

— Нет, сотрудница журнала. И она по ходу дела страшно им восхищалась. Короче, на моих глазах диссидент Володя Максимов стал тут секретарем парижского обкома... даже райкома партии.

Жёны и дети

— Когда вы уезжали, у вас была очень сложная и запутанная личная жизнь. Одна из причин, по которой не эмигрировал ваш коллега Битов — то, что он не мог вывезти две семьи. (Это моя версия, он такой не высказывал.) А Ходорковский почему вернулся из поездки в Штаты, когда уже запахло жареным? Может, не в последнюю очередь оттого, что не мог вывезти детей от прежнего брака; что б с ними было? Что б с ними сделали?

— Я выехал с одной женой... А потом вывез и другую, с которой мы расстались перед отъездом, как казалось, навсегда.

— Какая романтическая история!

— Было так. Она приехала ко мне в Париж, на несколько недель, и уехала домой — как потом выяснилось, уже беременная. И родила в Москве.

— Удалось наладить отношения между женами?

— Да.

— Но как? — спросил я про эти отношения, а он стал отвечать на другой вопрос, он подумал, что я спросил о методике вызволения второй семьи из СССР.

— Когда я узнал, что будет ребенок, у меня произошел сдвиг по фазе. Я бросил все и занялся воссоединением семьи. Мне удалось поставить на уши парламент, и совет министров Франции, и лично товарища Ширака. И Миттерана: он, когда приезжал в Москву, говорил про мою московскую дочку...

— У Миттерана у самого было две семьи, и он все понимал.

— Да. Он свою дочку брал во все зарубежные поездки последние свои полтора года. И никто из журналистов к нему не лез с этим, пока он сам не захотел дать интервью. Пока не решил засветиться. Да... Жена моя в Москве родила, а зарегистрировать ребенка как своего я пошел в мэрию Парижа, мне прислали документы из Москвы. Я признал дочку. Я добился для нее французского гражданства в 1984 году — она автоматически его получила как моя дочь. И вышло, что французскую гражданку не выпускают из СССР — как так? Газета *Mond* возмущалась по этому поводу.

— И все удалось!

— Да. Живем в Париже. Старшей дочке пятьдесят лет, а младшей тридцать. Внуки растут... Всё в порядке!

Марина Влади

— А что Марина Влади, старинная московская ваша подруга, — как она вас тут привечала?

— Ну...

— Вы диссидент, а она — большой друг Советского Союза. Да?

— Ну да...

— Считалось же, что у вас с ней романа не было. (Хотя многие думали, что — был.)

— Но тем не менее она считала — в Москве, что я должен быть при ней. Я рассказал ей про дочь, спросил: «Можешь мне помочь? Ты же командуешь Обществом францужско-советской дружбы». Она сказала: «Я подумаю». И потом сказала: «Я не буду этим заниматься, но дам тебе телефон своего коллеги, он лучше меня в смысле помощи». И она дала мне правильного человека — это был генерал Гомбъез, он командовал французскими войсками, которые высадились на юге, в Тулоне — после союзников в Нормандии. Он как член общества той же самой дружбы стал помогать. И в конце концов, я думаю, что Горбачев принял положительное решение именно после того, как ему передали письмо генерала.

Обратно. Репатриация?

Впервые после долгого перерыва попал в Москву в 91-м, в октябре, еще советская власть была. В день моего приезда как раз вышла рецензия на мою книгу в «Известиях», с моим портретом — я и Горбачев. В тот приезд в Москве — каждый день репортеры у меня, съемки. Это все происходило в квартире моей матери; одна группа снимает, а другая на лестнице ждет.

— Это была слава. Вы получили 15 минут ее, как и обещал Эдди Уорхолл, каждому.

— Утром, помню, мы пошли в магазин посмотреть, что дают, — а не давали ничего. Было как? Вдруг — очередь, и все сразу в нее кидаются, не спрашивая, что дают. И я умудрился однажды купить сметаны.

— А я в валютном покупал курево тогда. Ваши, кстати, французские сигареты — Gitanes.

— Мне платили тогда гонорары — колоссальные деньги! Я в коммерческом магазине покупал болгарский коньяк и все охали — 43 рубля бутылка! Если не смотреть на нищету, то все было фантастически прекрасно, такая эйфория! Одна девушка с радио сказала мне: «Возвращайтесь!» Она такое сказала, — а больше меня никто не звал.

— А кто должен был вас еще звать? Ну вот кто? Верховный Совет? Министерство культуры? Отдел пропаганды ЦК КПСС?

— Ну не знаю... Я думал — позовут! У меня ведь такая школа западной журналистики! Мне есть что рассказать. Такой опыт работы!

— А может, как раз потому и не позвали, что опыт. Вы бы начали всех учить. А люди, скорей всего, подумали: вот он там как сыр в масле катался, пока мы тут в очередях за колбасой стояли. Он уже свое получил, теперь наша очередь наслаждаться жизнью... Одни, значит, уехали, а другие остались. А иные уехали, но после вернулись. Это все очень интересно!

— Да... Владимир Максимов и Василий Аксёнов вроде вернулись, но они были как-то обижены и чувствовали себя невостребованными в России. Я думал: если они так, то куда ж мне! Тогда, в 91-м, была потрясающая поездка. Я понимал, что другой такой не будет. И потому после долго не ездил — чтоб не портить впечатление от того триумфа.

— Да... Действительно, не очень понятно, зачем они вернулись — Солженицын и Аксёнов. Писатель, он же везде может жить и писать. Хоть Достоевский, хоть Тургенев, хоть Гоголь...

— Это правильно. Но с другой стороны... Солженицын вернулся — но ведь дом-то свой американский он не продал.

— Куда ж продавать — там дети остались.

— То же самое и Аксёнов. Он вроде поехал в Москву, но оставил за собой дом в Биаррице. Не дворец, но тем не менее. Аксёнов мне говорил: для того чтоб стать знаменитым русским писателем...

— ...надо жить в России. Но сам он не сказать чтоб вернулся.

— И тем не менее. Аксёнов и Войнович вернулись в свои московские квартиры. Которые им возвратили. По их просьбе. А я этого не сделал. Я не просил мне возвращать жилье.

— Почему?

— Потому что... Когда распался Советский Союз, и русские из бывших республик побежали в Россию, и их там не

принимали, а тут еще приеду я, у которого есть квартира во Франции... Нехорошо это. Я этого не сделал. И Максимов не сделал. А если бы у меня была возможность, я бы половину времени проводил в России.

— В смысле — если бы вам дали квартиру?

— Я, когда уезжал, сдал свою квартиру и ордер на новую — вернул Союзу писателей. По-другому нельзя было.

— А вы, может, вот почему не вернулись — у меня появилась версия. Аксёнов и Солженицын — провинциалы все-таки, они не вернулись в Казань или там на Кубань, а в Москву поехали. В этом смысле для вас возвращаться в Москву, откуда вы уехали — было бы в какой-то мере потерей лица. Ага, вернуться туда, где был пацаном, грубо говоря, никем! А они вернулись все-таки в Москву, которую тоже не так просто завоевать. И которая вам досталась даром.

Жулики в Париже

— Вот я слушаю вас и думаю: сейчас, может, снова пора валить?

— Я не знаю...

— Так пора или нет? Скажите что-нибудь!

— Не знаю. Вы говорите — валить на Запад. Но я в ужасе от того, что тут происходит, в Европе.

— Да, да! Вы много писали о том, что Европе конец, она погибнет под гнетом инородцев, разных арабов и негров, которые понаехали. И вы говорили о том, что белые побегут из Европы в Россию — спастись. Но вы сами, как я посмотрю, не торопитесь отсюда бежать спастись. Думаете, на ваш век хватит white power? С удовольствием читал вашу книгу «Жулики, добро пожаловать в Париж!». Про выходцев из бывших колоний, которые испортили страну. Когда вас называют фашистом, вы как реагируете?

— Меня так не называют.

— Да? Ну это только потому, что в России ваша книга слабо пропиарена. А во Франции она, кстати, так и не вышла?

— И не выйдет никогда.

— Стало быть, в России больше свободы, чем у вас?

— Абсолютно верно! Было даже при Сталине больше свободы, чем сейчас здесь. Французы были в прошлом смелыми людьми, но давно — при Наполеоне! Он нас бил тогда, сколько хотел, он взял всю Европу.

— А потом все поменялось. В Москве не было гестапо, а в Париже — пожалуйста. Где, кстати, был их офис? *Quelle rue?*

— *Rue Loriston*. На дверях гестапо висела медная табличка «Доносов не принимаем». Слишком много было доносов. Там, кстати, одно время рядом жил Максимов, и там же была редакция «Континента».

— В продолжение темы иммигрантов. Не только в России, но и тут довольно популярен фашизм, насколько я заметил.

— Да не фашизм это. Они очень хорошо все разыграли. Национальный фронт мог тут быть очень сильным, если бы не этот мудака, который выжил из ума почти — Ле Пен. Когда-то у него был острый язык, — я помню! А ведь он посредственный политик... Миттеран — вот кто сделал Ле Пена, создав ему партию. Ему надо было это для своих внутренних дел — чтобы ослабить Мишеля Рокара, лидера социалистов. И тогда он сложным маневром возродил Национальный фронт, который, как и планировалось, забрал голоса у социалистов. Миттеран не боялся Ле Пена как политика, как конкурента, он думал, что тот напугает людей своими глупостями и потеряет влияние. Но Ле Пен взял мест в парламенте больше, чем даже популярные тогда коммунисты! И вообще стал играть в свою игру. Теперь он стар, но его дочь Марина — очень умная баба, она может унаследовать лидерство в партии.

— Ле Пен первый начал бороться против нелегальной иммиграции. Наверно, многие посмотрели на него новым взглядом, когда в Париже начались те знаменитые поджоги авто. Он предупреждал, а никто не слушал!

— А в основе этого лежит политика КПСС. Вот откуда пошла проклятая политкорректность! Советский Союз требовал свободу для Африки, ну белых и выкинули... И что теперь? Тут все боятся про это писать. Все журналисты — левые, а правых нету! Я им говорю, что мы в советское время были гораздо смелее! Ну выгонят с работы — так найду другую.

А тут если выгонят за «расизм», то больше работы не найдешь. Все тут дико запуганы... — Он возвращается к старой теме, видно, она его не отпускает: — Эх, если б знать заранее, что в Москве будут издавать мои книги — я б еще потерпел, я б остался.

— Сахаров был вами недоволен, когда вы уезжали.

— Да, тот разговор с Сахаровым перед отъездом помню. Я видел по его глазам, что он против того, чтоб я уезжал. Я думал, что это надолго, что они долго еще будут править, а я хотел мир посмотреть...

...Они, уехавшие из страны, часто говорят, что главное было тогда — мир посмотреть. Ну вот мы и из России поездили, повидали мир, и что? Везде люди живут. Везде одинаковые Макдоналдсы, кока-кола, Хилтон и мерседесы...

Неизвестный

— Вот ваш друг Эрнст Неизвестный говаривал, что эмиграция — это страшней, чем война и тюрьма. Как вам этот афоризм?

— Ну, я объясню, почему он так говорил. В Союзе у Эрнста было исключительное положение. Эрик был в центре московской жизни — а потом поехал сюда. Он был первым тут (в Москве), а там (то есть тут, на Западе) стал одним из многих... Это стресс, конечно.

Итого

— В России роль писателя так упала за последнее время...

— Что вы, раньше это было дворянское сословие!

— Так то раньше. Сейчас же русские писатели — особенно старой школы, качественные, — на обочине жизни. Некоторые даже нуждаются. И это не только в эмиграции, но и на родине. Так при таком раскладе ваше положение даже предпочтительней! Ни в России, ни на Западе русские писатели никому не нужны (в отличие от телезвезд), но вы (в отличие от очень многих) хорошо устроены, пенсию платят, семья в порядке, медицина на уровне, здоровье есть...

— Здоровье — во многом и благодаря моему образу жизни. Я очень много двигаюсь.

— Анатолий! Ну вот была советская власть, вы от нее уехали. Сражались против нее на Западе, на деньги американцев, на вражеском радио. Так что, сокрушили коммунистический режим — вы?

— Абсолютно не мы. А Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Другое дело, что он какие-то вещи не понимал... Не понимал, с кем имеет дело... Но — он! А не мы.

Гладилин Анатолий Тихонович родился 21 августа 1935 года в Москве. После школы работал электромехаником, несколько месяцев проучился в военном училище. В 1954—1958 гг. — Литинститут. Был и. о. завотделом искусства и культуры «Московского комсомольца», редактором киностудии им. Горького, много ездил по стране. Считается основоположником молодежной прозы (повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», «Юность», 1956). Автор книг «Бригантина», «Дым в глаза. Повесть о честолубии» (обе 1959), «Первый день Нового года» (1963), «История одной компании» (1965), «Евангелие от Робеспьера» (1970), «Прогноз на завтра» (1972, за рубежом), «Сны Шлиссельбургской крепости. Повесть об Ипполите Мышкине» (1974).

После выступления против суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем, которое «привело к постепенному вытеснению Гладиллина из отечественного литературного процесса», он в 1976 году эмигрировал. За границей вышли его книги «Концерт для трубы с оркестром» и «Тигр переходит улицу» (обе 1976), «Запорожец» (1977), «Репетиция в пятницу» (1978) «Парижская ярмарка» (1980), «Каким я был тогда» (1986), «Большой беговой день» (1983), «Французская Советская Социалистическая Республика» (1985). После, в России, вышли «Меня убил скотина Пелл» (1989), «Тень всадника» (2001), «Жулики, добро пожаловать в Париж!» (2007).

АЛЕКСАНДР ГЕНИС:
«Вижу отражение Бога в селедке»

Родился в 1953 году в Риге. Окончил филологический факультет Латвийского университета. С конца 1970-х живет в США. Многократно публиковался в послеперестроечной России и за рубежом. Автор ряда эссеистических книг, написанных совместно с Петром Вайлем («60-е: мир советского человека», «Русская кухня в изгнании», «Родная речь», «Американа»). С Вайлем писал 17 лет — ровно столько же, сколько Ильф и Петров. Написал несколько книг критики и эссе о литературе и культуре («Вавилонская башня», «Иван Петрович умер», «Довлатов и окрестности» и др.). Премия журнала «Звезда» (1997).

Мы с соавтором (по «Ящику водки») Альфредом Кохом встретились с Генисом (отцом жанра русской околокулинарной книги) случайно на Манхэттене, на писательской эмигрантской тусовке. Два мира, два, как говорится, детства и два Шапиро. Нью-Йорк из Города желтого дьявола сделался сперва столицей мира, а потом провинцией — если глянуть на это дело с русской литературной колокольни. Так оно и есть, после возвращения и/или смерти русских титанов — обоих нобелевских лауреатов, а после Аксёнова и других. (Один только Евтушенко остался в Оклахоме, я как-то был там проездом и вряд снова заберусь в такую глушь; он там как в Болдино застрял, как в холеру, как еловая шишка...)

С Генисом мы договорились сходить в ресторан, а куда ж идти с автором-гурманом. И вот мы сидим в довольно пафосном итальянском заведении в центре Манхэттена и по русской привычке озираемся: кто тут, что, с кем, как, не сидят ли вблизи бандиты, проститутки или просто знакомые. Нету никого — ну значит, можно расслабиться и спокойно поговорить за жизнь.

Русские женщины

Как бы подслушав мои мысли, Генис — большой знаток московской жизни, он к нам туда заезжает раз в год, ненадолго, и, видно, в наших суровых краях жадно копит впечатления — рассказывает, сам того, может, и не зная, про жриц любви, которых он наверно не сильно распознает, ведь в 70-е, когда он уехал, все было иначе:

— Я заметил, что в московских ресторанах много женщин, по одной, по две; мужчины, значит, занимаются делами, а женщины ходят по ресторанам.

Я в ответ рассказываю смешную историю про то, как серьезные люди пошли в ресторан поговорить о делах. Один из приглашенных братвой на беседу кидал взгляды на соседний стол, за которым скучала стайка красавиц. Он подумал было с ними пойти знакомиться на вечер, когда разговор закончится, — но случайно и очень вовремя узнал, что это жены его собеседников, они сидят ждут конца переговоров. Генис продолжил о женщинах, нормальная тема для инженеров человеческих душ:

— Я заметил (он снова заметил, ну что, писатель ведь, он возит себя в Москву, как Макс Горький возил писателей на Беломорканал. — *И. С.*), что женщины сделали лучшую карьеру, чем мужчины — во всяком случае в издательском мире рулят женщины. Все, чем я занимаюсь в России, — идет через женщин.

— А просто мужчины в России вырождаются. Те, которые остаются, — они избалованы женщинами.

— Я совершенно согласен с этим.

— Мужиков после войны осталось мало, и бабы бились за них.

— И потом женщины политически нейтральны, им все равно, какая власть. Им лишь бы приспособиться. А мужчина будет бороться, на кухне на власть жаловаться... Я всё жду, что кто-то напишет роман про русских женщин или сериал снимет... В 80-е годы, когда перестройка началась, все

женщины были похожи на доярок, но потом они стали королевами — на моих глазах произошла революция.

— А у тебя жена русская?

— Да. Она моя однокурсница. А мои родители прожили вместе 60 лет.

Хлеб чужбины

— Вот кто вы вообще такие? Есть такое мнение, что русские — бывшие граждане СССР — и не русские, и не американцы, а они образуют отдельную нацию. Со всеми признаками отдельного народа.

— Да. Я убежден, что люди, которые живут между двумя великими державами, обречены на тяжелую судьбу — потому что они знают слишком много и о той стране, и о другой. Мы всё знаем и про Россию, и про Америку. А американцы что хотят знать про Россию? То, что они уже знают, — плюс десять процентов. Ну пятнадцать максимум. А если больше, то это уже лишнее. Америка в этом смысле очень похожа на Россию, обе эти страны — очень эгоцентричны. Они самодостаточны, им больше никто не нужен. Да взять хоть меня: когда я в Москву приезжаю, то забываю, что есть Америка вообще.

— Скажи, а это, по-твоему, круто — жить в Америке? Раньше говорили — вот это да! А сейчас?

— Думаю, в мире миллионы людей мечтают жить в Америке — но они мечтают об этом уже не так, как вчера, так?

— А вот есть у тебя такое чувство, что вы, умные ребята, свалили, а лохи остались в России?

— Это хороший вопрос. Многие люди в России именно так это и воспринимают — что мы пересидели в Штатах самые трудные времена, а потом приехали на все готовое. Россия уже не такая дикая страна, какой была в 80-е годы, и поэтому... Вы страдали, а мы на все готовое приезжаем. И люди так думают не без основания. Но когда я уезжал... наша третья волна... то никакого выбора не было. Я уезжал навсегда, — все мы уезжали навсегда. Пропать — раз и навсегда. Тогда, в 70-е годы, сюда приехало пятнадцать или двадцать лучших писателей России...

— Это ты про кого? Первый, наверно, ты...

— Нет, я еще был молодой. Я про других: это Войнович, Владимов, Солженицын, Бродский, Саша Соколов... Я могу перечислять долго. Цвет русской литературы уехал сюда — без всякой надежды на то, что что-то произойдет.

— А кто ж в России остался?

— Распутин, Белов, Битов...

— Почвенники ненавидели власть больше, чем либералы. Они же дети раскулаченных.

— Конечно.

— Но им некуда было бежать. У них не было израильского вызова.

— У меня много знакомых уехало по толстовскому фонду. Среди эмигрантов немало почвенников, это князья, графья, — я знал многих. Есть такой замечательный человек Аркадий Небольсин. Его дед был командиром «Авро-ры», его повесили революционные моряки. Когда началась перестройка, он стал ездить в Россию, восстанавливать старинные русские города, маленькие. Небольсин дружит с принцем Чарльзом, который имеет огромное влияние в кругах экологической архитектуры. Эти люди, старые русские дворяне, они знают замечательно Россию, удивительно говорят по-русски. Они никогда не понимали евреев, никогда не понимали нашу литературу, советская им до лампочки, — их литература кончилась на Бунине. Я, кстати, очень много работал с Андреем Седых, который был секретарем Бунина, он потом владел газетой «Новое Русское слово».

— А какая была логика уехавших писателей? Уеду, значит, и там... Писатель — это ж не зубной техник.

— У нас не было никакой логики. Писатели хотели одного: печататься. А если б нас там печатали — никто б не уехал. Ни один из писателей, которых я знаю, не уехал бы, если б его печатали в России! Довлатов никогда б не уехал! Ему было 39 лет, и у него не вышло ни одной книжки... Когда я приехал сюда, нам два месяца давали благотворительное пособие, три доллара в день получалось. Мне казалось, что это большие деньги. Один доллар на метро, один на сига-

реты, и на один можно было купить 12 сосисок — шикарно можно было жить, правильно?

— Ты как Ломоносов жил буквально: «копеечка на хлеб, копеечка на квас и копеечка на бумагу». Мы в Союзе не имели таких удовольствий — чтоб покупать в день пачку американских сигарет (три рубля) и еще 12 сосисок из мяса (опять три рубля), а не из толченых копыт.

— Я так прожил два или три месяца — и встретился с Барышниковым, а он рижанин, как и я. Мы с ним познакомились, стали говорить, и он пожаловался на свое тяжелое материальное положение — в имении мосты обвалились и конюху не плачено.

Генис долго и со вкусом смеется. Когда он затихает, я его попрекаю:

— А вот до Израиля вы не дохали. Вот если б я был еврей, то я б туда поехал и воевал бы за свой народ, за свою страну...

— Я б тоже поехал, если б был такой еврей, — но я не такой.

Я рассказал про дочку Димы Ицковича — московского издателя и ресторатора, — которая специально поехала в Израиль, когда там началась очередная война, и пошла добровольцем (добровольцей) в танковые войска. Генис вежливо удивился.

Романтика еды

— Вот эти ваши с Вайлем и твои личные книги про еду; ты с их переизданиями после разной духовности и всякой херни — вернулся триумфально в Москву, притом что первые издания их вышли, кажется, еще в 80-е. Что б ты ни писал, тебя считают автором книг про еду.

— К несчастью. Это как Конан Дойль отрешивался от Шерлока Холмса, а читатели не дали его убить.

— А в чем причина успеха и шума?

— В том, что эта книга — гимн русскому характеру. «Вот уехали два еврея — а не могут жить без русской кухни. Смотрите, всё там говно: страна говно, политика говно, а без щей

они жить не могут!» Я убежден, что так оно и есть. Русская кухня льстит национальной гордости великороссов. В 80-е, когда я стал приезжать в Россию, все открывали журналы. А теперь те же люди открывают рестораны. После семидесяти лет унижений и голода люди хотят поесть... Когда Хрущев приехал в Париж и его там стали водить по ресторанам, он сказал, что в России рестораны не хуже — например, «Прага». Из этого французские журналисты сделали вывод, что Никита Сергеевич никогда не был в настоящих ресторанах. И вот в Москве это все появилось; это был шок и истерика. Мне это очень понятно, я сам это испытал, попав на Запад. Я больше думал о Мандельштаме и Пастернаке, как и положено русскому интеллигенту, — но сильнее всего меня поразила супермаркет. У меня выпучились глаза, я не знал, что такое вообще бывает!

— Во-во. Очевидцы рассказывали, что Высоцкого стошнило, когда он впервые попал в супермаркет, в Париже. А потом, поблевав, он плакал. Ему было жалко советских людей.

— И мне было жалко. Тогда. А сейчас не жалко. Я-то раньше думал, что колбаса бывает двух видов — та, которая есть, и та, которой нет. Когда ко мне приезжали люди из Союза, я водил их в магазин на Брайтоне, они смотрели и говорили: «Мы такой пошлости у себя не допустим». А я считаю, что придумать салями гораздо сложнее, чем избобрести телевизор.

Длинный доллар

— Ты за дом выплатил хоть?

— Плачу — mortgage, ипотеку. 16 лет я жил в Манхэттене и вот 16 лет я живу в Edgewater, через речку — около русского магазина, как раз напротив.

— О, это, наверно, неслучайно — напротив гастронома!

— А еще есть рядом чисто русский город, Fair Lawn, это можно перевести как «Ясная Поляна»! Там есть даже футбольная команда русская. После матча (русский футбол) они идут в русскую баню. Там очень в моде фигурное катание, шахматы, гимнастика.

— У тебя одна за другой вышли три книги...

— Да, я туда включил лучшее, что написал: в одну, «Колобок», вошла вся кулинарная проза, вторая собрала филологическую прозу — «Частный случай», а третья, «Шесть пальцев», — обыкновенную.

— И теперь тебе капают отчисления.

— Э-хе-хе... Проживешь на ваши гонорары... как же...

— А ваши гонорары лучше?

— Тут тоже непросто. Писателей, которые живут на гонорары от своих книг, думаю, всего десять человек на весь мир. Их очень мало; в России — какой-нибудь Акунин... А тут писатели обычно преподают. Набоков — и тот преподавал! Я знавал его студентов. Кстати, жена Апдайка у него училась. И Апдайк всю жизнь пересказывал байки своей жены про Набокова, он перед ним преклонялся. Ну вот есть рассказ про то, что Набоков входил в темную аудиторию, в которой окна были наглухо закрыты шторами, открывал их и говорил: «Вот так, как солнце, в русскую литературу явился Пушкин».

— Такие люди преподавали! А ты — нет.

— Это очень тяжелая нудная работа. Другое дело, что Бродский, преподавая, играл по своим правилам.

— Да, не от всех такое стерпят.

— Не от всех. У Бродского было, кажется, одиннадцать студентов. Раскиданных по четырем университетам. Многие стали потом переводчиками. И он преподавал им знаешь что? Поэзию как таковую.

— А никакую не занудную историю литературы.

— Он очень любил преподавать. Потому что он говорил только о том, что ему интересно.

— И что, этих одиннадцать студентов к нему свозили?

— Эти университеты расположены на расстоянии десяти миль друг от друга.

Америка — пуп Земли Русской?

— А как у тебя с английским? Выучил?

— Я, конечно, говорю по-английски и читаю. Но моя родина — русский язык. Я всю жизнь пишу на русском. Есть

люди, которые поменяли язык. Набоков писал на английском. И Бродский. Но он гений.

— Оба гении?

— Нет, Набоков просто с детства знал английский.

— А вот говорят, что все гении невыносимы, их всех всем хочется побить. И про Бродского я слышал такие истории.

— Можно, конечно, сказать, что и Бродский такой. Но это не совсем так. Он был человеком вспльчивым — но он многим, многим помог! Бродский был человек отзывчивый, а в эмиграции это важно. Насчет гениев; в Америке жили два русских нобелевских лауреата — еще ж Солженицын. И он однажды сказал: «Бродский — хороший поэт, но ему нужно следить за русским языком». А тот ему ответил — через интервью — «чья бы корова мычала».

— Ну... Когда человек получает «Нобеля», то все, что он написал раньше, — предстает в другом свете.

— Это правда. И все-таки это интересно: оба лауреата жили в Америке!

— Что давало вам основание думать, что вся главная русская литература — в Америке. А в России — херня. (Как Томас Манн говорил: «Где я, там и немецкая культура».)

— Я так не думал.

— А я бы на твоём месте так думал.

— Довлатов так и делал. Я не был с ним согласен, мне всегда казалось, что сейчас появится что-то в России, из ящика письменного стола достанут великую рукопись... Юрий Казаков — помнишь такого?

— Как же, как же, прекрасный был стилист. Но бухал всерьез.

— Да. Я думал, что у него в ящике лежит роман. А в ящике у него были дохлые мухи. Но я все-таки думал, что русская литература должна жить в России. А вот, кстати, Довлатов говорил, как Томас Манн! Он про себя говорил: «Я — Чехов!» Не писал такого никогда, но — говорил.

— Вот ты говоришь, что он на Чехова равнялся, а разве не на Куприна?

— Да, он говорил: «Я бы хотел быть размером с Купри-на». Он однажды ехал в трамвае пьяный, стал знакомиться

с девушкой и, чтоб как-то ее разговорить, сказал: «“Яр” — любимый ресторан Куприна». А она отвечает: «Оно и видно». В общем, Чехов с Куприным — он о них думал. Он еще такое как-то сказал: «Можно восхищаться Достоевским, спорить с Толстым, но быть хочется только Чеховым».

— Может, он и прав...

Свои и чужие

Вот я хочу определить, ты все-таки где, и потому спрошу: скажи, а ты обижаешься, когда ругают Америку?

— Я ругаю Америку гораздо больше, чем кто бы то ни было. А когда ругают Россию — то я вспоминаю Пушкина, который говорил «Я, конечно, ненавижу отечество (цитата как вы понимаете приведена неточно. — И. С.), но мне обидно, когда его ругают иностранцы». Я ненавижу, когда в Америке показывают Россию в идиотском виде — а это постоянно происходит, — я ненавижу это! Эти чудовищные фильмы, которые тут для идиотов снимают... Там когда показывают русский ресторан, то в меню написано: «икра черная, икра красная, икра баклажанная» — ну не может такого быть в одном ресторане! Меня такие вещи возмущают. И точно так же, когда я приезжаю в Россию, мне неприятно слушать гадости про Америку.

— Ты поругался с Битовым после того, как он покритиковал Америку.

— Я не ругался! Но я был огорчен тем, что он после грузинской войны подписал коллективное письмо против Америки. Правда, он свою подпись после отозвал, сказал, что невнимательно прочел текст, — а надо читать, что подписываешь. В письме было написано, что Америка — самая тоталитарная страна в мире, — это же чудовищно!

— А случилось тебе поссориться с человеком из-за того, что он ругал Россию?

— Понимаешь, когда с тобой разговаривают американцы, то они про Россию скажут, что любят Прокофьева. Или борщ. Они из вежливости всегда стараются сказать что-то хорошее.

— Но тебе, наверно, кажется дикой мысль поехать в Россию жить. Ты, наверно, думаешь: «Я что, мудака — в России жить? Я что, себя на помойке нашел?»

— Если бы я остался в России, я был бы другим человеком. Тот опыт, который вы получили, живя все это время там, — слишком сильно отличается от моего. Еще пять лет назад я, может, и мог бы вернуться — но не сейчас. У меня тогда были большие надежды... Я был большим поклонником Ельцина. Горбачев был коммунистом, а Ельцин — это человек, который взшел на танк. Как Наполеон на Аркольском мосту — так и Ельцин на танке. На мой взгляд, он достоин истории. Сегодня я потерял ощущение — кто на чьей стороне. Раньше мы думали, что нас ссорит власть, то есть она думала, что ссорит. Мы сидим за одним столом — и какая разница, что скажет Брежнев? А теперь этого нет. Когда я говорю со своими друзьями, я никогда не знаю, на чьей они стороне. Особенно когда речь идет о голосовании, о выборах. Мои друзья в России не ходят на выборы, им неважно, кто придет к власти — потому что «все они воры». А я хожу всегда на выборы в Америке, я еще не пропустил ни одних! Вот и в Веймарской Германии люди считали, то все воры — и потому Гитлер пришел к власти.

— А ты, как я понимаю, за Обаму голосовал.

— Да. Я всегда голосую за демократов.

— И тебе не кажется странным, что негр — президент твоей страны?

— Я был глубоко убежден, что его не выберут.

— То есть ты голосовал безответственно, просто выразил свое мнение? И теперь не желаешь нести ответственности за свой выбор? И ты не разочарован?

— Нет. Притом что впервые на выборы от республиканцев пошел человек, которого я глубоко уважаю: Маккейн. А вот младшего Буша я глубоко презирал и сейчас презираю.

Кто такой?

— Ты кто вообще — писатель, журналист, эссеист?

— Понимаешь, я writer, а это человек, который пишет слова. В этом смысле я писатель, и ничего больше меня не интересует. Ну уж точно я не журналист, потому что журналист — это человек, который занимается фактами. Статья описывает мысль, а эссе изображает, — я бы так это обозначил.

— Точно, точно. И еще у тебя был вопрос, уровня коана: «Я помню чудное мгновение» — это fiction или non-fiction?» Прокомментируй это.

— Этот вопрос я поставил потому, что поэзия — это то, чего нельзя придумать; чувство нельзя придумать! Стихи не бывают фантастическими. Лирические стихи, они не бывают вымышленными. Там главный персонаж — это «я». Также и с эссе. Эссе тоже нельзя пересказать, только процитировать. Вот есть гора, у нее много склонов. С одной стороны поднимаются те, кто пишет романы, с другой — те, кто эссе.

— А, и на вершине вы должны встретиться?

— Этого я не знаю.

— А роман почему тебе не написать? Раз ты писатель? Много ума на это не надо, вон посмотри, чего только не издают...

— Разница тут в том, есть в тексте персонаж или нет. Либо герой я, либо герой — Каренин (условно говоря). Я никогда не буду писать не от себя. Я не могу пережить за другого. Но я очень уважаю писателей, которые могут писать «про Каренина».

Раззявил мохнатку, засунул голыш

— Вот интересный факт из твоей жизни — как ты жил в деревне под названием Медведь.

— Да, я там собирал фольклор. Новгородская область. Очень интересное место! Туда приезжает много японцев, они помогают теперь местным коровники строить. Потому что после русско-японской войны там содержались японские

военнопленные. И там осталось много их потомков. А вообще это старообрядческая деревня. Имена они, как того требует их вера, брали из Библии — Соломон, Исаак... Мужики там с приезжими не разговаривают, а бабки — охотно. Они загадывали мне загадки, им нравилось меня, молодого студента, смущать. Что значит: «сунешь — встал, вынешь — вял»? Я краснею, они говорят — сапог. «Разязвил мохнатку, засунул голыш» — что это? Варезка. Настоящий народный юмор! Старообрядцы, они дольше всех хранили народное слово. Я записал целую тетрадь. И все это меня заставили выбросить, когда я эмигрировал! Рукописное же нельзя было вывозить за границу. Я все эти бесценные тетрадки своими руками порвал. Дневники свои школьные...

— Тебе, значит, отрубили прошлую жизнь, когда ты уезжал.

— А мне-то что, я молодой был! — говорит он с повышенной бодростью.

Раскрутка

На десерт я взял cheesecake.

— О, это чисто нью-йоркское блюдо! — оживился Генис. — Тут неподалеку, 200 миль отсюда, есть монастырь, и там монашенки делают лучший в мире cheesecake. Люди туда специально едут...

Молодец он все-таки, сделал из еды культ и все ею мерит. На таких фанатиках и держится земля!

— По твоим сведениям, любимое слово в России — это «раскрутить».

— Ненавижу его. Я романтик я верю в имманентную ценность каждого творческого сочинения! Я верю, что Бетховен лучше, чем Лимонов, — верю, и всё. И Шекспир тоже лучше. Нельзя никого раскрутить, то есть можно, но ненадолго. Я лично проверял! Когда я приехал в Америку, у меня была бредовая идея — прочитать все бестселлеры, которые вышли за 30 лет. Я ж ничего не знал, думал, что нас советская власть обманывала! Оказалось, что это всё были халифы на полчаса.

Родимые язвы капитализма

— И вот еще насчет чего советская власть нас не обманывала: насчет ужасов безработицы. В Латвии, когда я оттуда уезжал — в отличие от России, были люди, которые помнили, что такое капитализм. Моя тамошняя начальница (я работал в газете, где печатали программу телепередач) пожила в буржуазной, как тогда говорили, Латвии, и она говорила мне: «Куда ты едешь! Ты не понимаешь, что такое безработица! Не скажу, что там все плохо, — но такой лафы, как тут, ты там не найдешь». И она была абсолютно права. Я в Союзе работал 8 часов в неделю. Советская власть позволяла никому никогда не работать. Были миллионы людей, которые не работали. Более того, власть никому не позволяла работать! Если кто-то хотел делать свое дело хорошо, у него возникали проблемы. Солженицын хотел работать. Бродский хотел. Я хотел. Советская власть не терпела людей, которые работают. В Америке я работал грузчиком, — такой умный, и грузчиком. А потом оказался безработным, меня выгнали. А у меня была беременная жена. Я понял, как это страшно — быть безработным. Тяжелая болезнь, смерть близкого и безработица — вот от чего худеют.

Так что не всегда нас советская власть обманывала.

Нью-йоркская «Работница»

— Ты как-то сравнил *New Yorker* с советским журналом «Работница».

— Я Дэвида Ремника [главного редактора] уважаю, люблю и ничего плохого про него не скажу. Он замечательный. Он изумительно пишет, это очень хорошая проза. Но что касается русских на страницах *New Yorker*, то это ж «Работница», и ничего я с этим сделать не могу. Все сюжеты одинаковые. Приезжает персонаж из России в Америку, не говорит по-английски, бабушка плачет, у героини получается несчастливый роман с американ-

цем, а потом все это кончается на лирической ноте. Все это полная херня.

— Витю Ерофеева там печатают.

— No comments. Я тут про других писателей, которые молодыми приехали и стали американцами. И начали писать на темы своей русскости. Я пытался это читать... Это как чернила для пятого класса; в то, что есть русская литература для американцев, я не верю.

— А еще у них много рассказов про то, как пакистанская семья...

— Да, да! Пакистанская семья! Мама не говорит по-английски, бабушка плачет... Все то же самое!

Говно. И смерть литературы

— В чем же дело? Почему даже такой журнал не может найти хорошей прозы?

— Дело в том, что нету прозы, просто нету! Нету ни одного писателя, который мог бы по качеству литературы сравниться с тем, что было в прошлые поколения, — ни в России, ни тут, нигде. Вот Умберто Эко, — он-то должен знать, — и я спросил у него про это. Он сказал: «Они все пересказывают Ромео и Джульетту на своем жаргоне». Я просто считаю, что сейчас не время для художественной литературы. Зачем писать роман в 800 страниц, если можно поставить кино на два часа? Я бы точно кино поставил, если б мог.

— А что тебе мешает?

— Я не умею так придумать кино, как Джармуш.

— То есть, по-твоему, настоящая литература — это кино?

— Сегодня — да.

— А кто ж вы такие получаете?

— Мы арьергард. То, что я пишу, нельзя перенести на экран. А Пелевина можно, и Сорокина. Короче, все сюжетное должно уйти в кино. А вот стихи нельзя поставить в кино!

— А «Онегин»?

— «Онегин» — это не стихи, это роман. Поэтическая форма — не значит стихи.

Рейтинг классиков

— А назови-ка ты лучших русских писателей.

— Я не знаю людей нового поколения. Я могу говорить только про людей своего поколения. С которыми я дружу. Вот прозу Сорокина я помню с начала 80-х — он же мальчиком был, когда я начал за ним следить!

— Мне в Сорокине нравится, например, его писательская дотошность — когда он писал, как ели говно, то он и сам поел говна.

— Я слышал. Важно, что из этого вышла «Норма» — лучшая его книга. А «День опричника» я считаю лучшей книгой о нынешней России. Мне очень нравится Пелевин. Пелевин, когда он появился...

— Это же ты его вытащил из небытия?

— Сильно сказано.

— А ты как открыл Пелевина — тебе случайно попалась книга?

— Нет, нет. Помню, я спросил когда-то юную Юлю, дочку Аллы Латыниной: «А что читаете вы, молодое поколение?» Оказалось, им нравится Пелевин. Я прочитал — и пришел в полный восторг. В 1993 году это было. А я был тогда членом Букеровского жюри. Я купил пять экземпляров сборника «Синий фонарь» и раздал книги всем членам жюри. Среди них были Окуджава и академик Иванов. Академика безумно раздражала повесть «Омон Ра». Он сказал: «Никогда в жизни я не буду за нее голосовать!» Но я сказал им — прочтите эту книгу! Они прочли, и Пелевин получил малого «Букера».

— А он понимает, кому обязан?

— Ну почему — мне? Ведь это он ее написал. Правда, мне не очень нравятся его поздние книги; какие-то нравятся, какие-то нет. В «Книге оборотня» есть совершенно гениальная сцена, как нефть вымалывают. В связи с оборотнями я вспомнил, как в Балканскую войну сербы хотели поднять из земли своих вурдалаков, и те будут нападать только на американцев, если они вторгнутся. У Пелевина был рассказ «Миттельшпиль», в котором встречаются две валютные проститутки, они в прошлой жизни были комсомольскими

работниками... Оставшись без работы, они сменили пол и профессию. Там есть гениальная фраза: «Ты же меня выгнал с работы за то, что я нарисовал Ленина в перчатках и Дзержинского без тени».

— Великий рассказ, да.

— Но у него есть и неудачные книги. Он пошел за своими читателями. Он опустил планку, чтоб его больше понимали. Но это ничего не значит, потому что это человек необычайной фантазии. У него самая богатая фантазия в мировой литературе! Мне нравится Татьяна Толстая. Я вот только вчера перечитал все ее рассказы. Она написала двадцать рассказов, которые останутся в русской литературе. Она займет место на полке классики. Я верю в это! Писатель Валерий Попов; я его необычайно ценю. Я знаю его наизусть. Сейчас он мне нравится меньше, но я ему благодарен за каждую строчку. Мы были незнакомы с ним, он приехал сюда, мы пошли в ресторан, и я под каждую рюмку цитировал его рассказы.

— Это у тебя просто мозг такой.

— Нет, это потому, что я вырос на его рассказах. И абсолютно потрясающий — Довлатов, я считал его своим учителем. Довлатов умер, но его литература такая же живая, как была. Вот и все... Это не так мало. Наверно, есть еще какие-то писатели, они появились — но я их не читаю. Например, Алексей Иванов (он почему-то говорит — Ив́анов. — И. С.), я купил его книжку «Географ глобус пропил». Знаешь, что это такое? Юный Гладили́н в пересказе для бедных.

Отражение Бога в селедке

— Хочу тебя спросить, чтоб определить степень твоего писательства: насколько ты общаешься с Богом?

— С Богом? Я тебе скажу: я днем с Богом не общаюсь, а ночью он общается со мной. Это очень печально...

— Ты его игнорируешь?

— Я его не игнорирую. Это он меня игнорирует — днем. Я как Паниковский — «пиво пил, а про Бога молчал».

— Ты, значит, не пишешь текстов типа «с тех пор как вечный судия мне дал всеведенье пророка...».

— Я считаю, что все мы пишем про Бога. Есть он или нет — мы никогда не узнаем, но мы о нем думаем, человек так устроен. Но пока мы о нем думаем, у нас растут мышцы души. Метафизика — необходимая часть нашего сознания. Можно не думать о Боге, — но видеть селедку, в которой Бог отражается. В голландской селедке — точно отражается! Я почему про нее вспомнил? Сейчас сезон начинается голландской селедки. Бог отражается только в голландской селедке, как в любой луже отражается небо. Я бы сказал, автор — это тот, кто видит отражение Бога в селедке.

— Богохульство.

— Нет! У голландцев ничего не росло, и когда они занялись селедкой в XIV веке и придумали рецепт засолки, в бочке — это была манна небесная, в голландском варианте. И они увидели в этом отражение Бога. И поставили памятник человеку, который придумал рецепт засола. А где нужно видеть Его отражение — только в иконе? Нет, оно во всем. Я не отдам селедку!

Русское застолье — достижение духа

— Вот ты сказал как будто специально про нашу с Кохом книгу «Ящик водки»: «Русское застолье — высшее достижение человеческого духа».

— Для России — да. Я знаю тут много славистов — да наверно, всех, их человек двести... Так вот все профессора славистики приезжают в Россию не для того, чтоб Достоевского читать, а чтобы выпивать на кухне с русскими. Русские не понимают невероятной ценности этого общения на кухне! Эскимосы не понимают, что охотиться на тюленя трудно, — так же и мы, русские, не понимаем, какая это редкость — русское умение общаться. В кухне за водкой, за чаем, до четырех утра. Я знаю японских славистов, они тоже приезжают в Россию, чтоб на кухне пить чай или водку — и разговаривать.

— Русское застолье — это не камлание ли?

— Это не камлание, люди же не пьяные!

— Так и шаман не пьяный. Он просто в трансе.

— Как говорят русские, бойся гостя стоящего. Русские никак не могут отлепиться друг от друга, они продолжают разговор уже стоя у двери. Не могут закончить! Я написал такую книжку «Американская азбука», там есть глава про бар. Как американцы общаются? Они сидят в баре и не поворачиваются лицом к соседу, а русские — сидят за столом, они отгораживаются спинами от этого страшного мира, который вокруг. Кто бы ни пришел, он садится, и круг становится больше. Это круг — даже если стол квадратный. Так по-прежнему все и осталось... Я вот у Тани Толстой был в квартире, не в теперешней, а в предыдущей. Три комнаты. Везде книги, чужие, холодные, — а гости сидят пьют на кухне.

Нет денег на чтение

— А ты еще пишешь учебник чтения.

— Это я хочу написать. Но у меня нет денег на это! Надо же все бросить и год не работать, заниматься только этим. А написать хочу! Для того чтоб дети нового поколения читали книжки. Школьную литературу я никогда не любил, мне не жалко ее. Но я знаю, что нету в жизни выше наслаждения, чем чтение. Это больше, чем все остальное — чем еда, чем водка! Чтение сопровождает человека всю жизнь. Вот мой отец умер, читая Ильфа и Петрова.

— Да, человек может читать, когда ему уже не нужны ни бабы, ни водка.

— И представь теперь поколение людей, которые не умеют читать. Какая трагедия... Я хочу, чтоб молодежь научилась читать так, как я умею это делать. Я хотел бы научить других людей получать такое же наслаждение. Я гедонист чтения, я учу гедонизму. Я уже все придумал. Там должно быть о том, как читать о любви, как читать о войне, как читать Библию. Мне надо 50 000 долларов, чтоб прожить год или полтора, пока я буду это писать. Когда тыходишь в состояние писателя, ты понимаешь, что он имеет в виду и предвидишь поворот фразы на следующей странице. Вот я бы хотел учить тому, как в это состояние войти. Я понимаю, что у него происходило в голове в тот момент.

— А в школе этому не учат.

— В школе учат истории литературы. Пятиклассника учат, кто такой Пушкин. А вот его же не учат истории арифметики — но арифметике учат! Надо знать таблицу умножения, а не историю темы. Надо учить чтению — особенно теперь, когда теряется контекст. Вот скажи «Митрофанушка» — а наши дети не знают, кто такой Митрофанушка. Я говорю не про Америку даже.

Низкопоклонство

— Вот в России, как ты указывал, можно поесть еды разных стран — а русской толком нету. Кроме как в «Пушкине», — по твоей версии.

— Ну, «Пушкин»... Это дорогой ресторан — что неправильно. Человек же должен прийти не в пафосный ресторан, а в трактир, так? Украинскую кухню в Москве я знаю, а русскую — не знаю.

— Наверно, это неслучайно. Думаю, в этом есть какой-то глубокий смысл.

— Это все от низкопоклонства перед Западом. Когда оно кончится, все вернется: и русская еда, и русская культура.

— А самое лучшее, что есть в русской кухне — это, по твоей версии, белая рыба?

— Ну почему — белая? На самом деле она красная, в смысле красивая, хорошая. Вот лучше семги нет в мире вообще ничего. И осетра. И угри — но это не совсем русская рыба.

— Угри, они как ты — то в одной стране, то в другой.

— Я в России бываю раз в год — и недолго.

— А как ты пришел к мысли, что ты должен готовить?

— Всегда должен готовить мужчина, потому что женщина готовить обязана, а для мужчины это хобби. Моя мать очень хорошо готовила, но ненавидела это дело.

— То есть твоя жена забот не знает.

— Она не знает, что такое лавровый лист — думает, что это веночек. Однажды я шел по улице и нашел лавровый веночек — можешь себе представить? Я потом сообразил, что это

была школьная какая-то демонстрация, парад, и кто-то уронил.

— Может, это по дороге на кладбище обронили?

— Возможно. Кладбище у нас есть. Там похоронена индейская принцесса.

Борщ в Японии

Тут ведь жило индейское племя хакензак (в их честь назван один из окрестных городков). Они убили и, как врут, съели голландского плантатора Врееланда.

— Эх, как славно мы закольцевали тему тебя как автора кулинарных книжек! Ты живешь на земле индейского племени, которое съело человека из Голландии — страны, с которой, как известно, у тебя внутреннее родство... И ты оттуда, как это ни смешно, летаешь в Японию и учишь там людей варить борщ.

— Борщ вошел в их кухню благодаря нашей книжке.

— Борщ — в японскую кухню?

— Да. Несмотря на то что свекла и, например, укроп там очень дороги. Ну вошел или не вошел, но, во всяком случае, в столовой университета в Саппоро, на Хоккайдо, был борщ. Но — только на Хоккайдо. Туда на остров вообще много русских приезжает. Они привозят крабов и продают. А краб там может стоить 100 долларов. Его для сохранности держат на поролоне, пропитанном водкой. Он в том состоянии, в котором находится половина населения России.

— Поэтому он не умирает.

— Как и Россия...

ВАЛЕРИЙ ГРИНБЕРГ:
«Мне нравится все, что я пишу»

Гринберг — не очень молодой, а напротив, очень взрослый человек. Правда, совершенно нетронутый сединой. Я однажды присутствовал при попытке его разоблачения: «А, ты красишься!» Нет, говорит. А ну, расстегни рубашку! Расстегнул. И там, на груди, был тот же колер растительности — южный, цыганский. Когда начинаешь расспрашивать Гринберга про жизнь, про то, как и почему он стал писателем, и выяснять, что в его текстах правда, что вымысел, он пытается вслед за Маяковским настаивать на том, что интересен своими текстами, а не жизнью...

Однако, загнанный в угол неумолимыми аргументами, честно признает, соглашается: Маяковский если чем и интересен, так уж точно не пролетарской риторикой, но тем, что он при советской власти ездил в Париж и в Штаты, жил с Лилей и Осей Бриками, участвовал в большевицком подполье, а потом катался по Москве на личной иномарке, у него были бабки, и в итоге он так драматично и загадочно застрелился... Соглашаясь, Валера оправдывается, что это его первое интервью. Хотя на самом деле это не очень интервью, мы просто сидим в ресторане и пьем водку. С пивом. Я с юности с опаской смотрел на это сочетание напитков и всячески его избегал — но теперь, поддавшись литературному влиянию и человеческому обаянию Гринберга, сдался и решил: буду запивать пшеничную ячменным, а там будь что будет...

После второй рюмки я требую от Гринберга, чтоб он мне рассказал об особенностях своего творческого пути и метода. Вздохнув, он начинает:

— Мне всегда нравился Хемингуэй, он начинал без предисловий. И еще нравилась фраза, которой Юрий Олеша начал роман «Зависть»: «Он поет по утрам в клозете». Вот и у меня десять лет назад появилась фраза... Я говорил, что пишу роман, и начало такое: «В лесу было накурено». И Вова Григорьев, который тогда еще был не замминистра, а простой издатель, говорил: «Ну вот у тебя уже есть роман, состоящий из

одной строки». Но я никогда не помышлял о писательстве. По одной причине: я сам книголюб, много чего прочитал в юности, у меня было огромное уважение к пишущим людям. И я думал: ну разве я могу сосуществовать на бумаге параллельно с людьми, которых я безмерно уважаю? Такой у меня был комплекс. К примеру, я читаю Сорокина и Пелевина, но лично с ними не знаком. У меня никогда не было желания познакомиться с писателем. Робость какая-то, они ж небожители. Плетение словес я в те годы считал большим даром... Сейчас понимаю, что это не так. Но тогда я думал: «Писать? Нет, ни за что!» Я мог только что-то рассказать. За столом. Мне говорили: эти истории, они занятные, запиши их! Я садился, брал ручку, писал три строчки, — а дальше что? Я не знал, что делать, как описывать ситуацию...

И вот вышли мои первые три книги. Люди, которые меня много лет знают — мой брат и сверстники, удивляются: «Зачем ты написал, что ты — сексуальный террорист? Мы никогда за тобой такого не замечали». Я им говорю, что это фантазия, мифологизация, это приписывание себе того, чего не было. У меня все время в голове крутится кино про себя, я постоянно веду с собой внутренний диалог, придумываю, что бы я сказал в той или иной ситуации, передним умом — или задним. Ни с того ни с сего я начинаю представлять себе: а если б мне сейчас позвонила моя девушка, из прошлой жизни, и сказала: «Здравствуй, Валерий. А у меня папа умер». Я б ее спросил, не нужна ли ей помощь. И я придумываю, что мы с ней едем покупать венки. Постоянно у меня в голове возникают картины, причем не для дела, а просто так, без всякой выгоды и практической пользы. Я не сюжет сочиняю в голове, а жизнь свою... Это было всегда. Хотя, надо сказать, в каких-то рассказах изображены реальные ситуации и сюжеты из моей жизни. Что-то я уже описал, что-то — еще нет.

Как известно, у каждого писателя — свой круг тем. Вот меня, вы будете смеяться, всегда волновал вопрос нравственного выбора. К примеру, я после института пошел в армию. По моральным соображениям! Чтоб никто не говорил: а, евреи выкручиваются. Ребята, которые рядом жили, все

шли служить. У нас было неприлично косить от армии. После армии, когда я с дипломом экономиста работал в Витебске, в вычислительном центре НИИ, сложилась еще одна ситуация, которой я горжусь. Меня назначили завсектором по алгоритмике, добавили к окладу 15 рублей, что было очень существенно. И вот вдруг в мой сектор пришел новый сотрудник. Я быстро понял, что в вычислительной технике этот парень разбирается лучше, чем я, — что, в общем, было нетрудно. Вдобавок я к тому времени успел понять, что не могу руководить людьми. Я не мог сказать многолетней матери: «Значит так, бросай детей и езжай в колхоз на неделю!» То есть сказать я мог, но она возражала, рассказывала о своих обстоятельствах, я с ней соглашался и в результате сам ехал в колхоз. Точно так же взносы в Красный Крест за весь сектор я платил из своих денег, потому что люди посылали меня и были правы. И вот я пошел к своему начальнику, с которым мы периодически выпивали, и говорю ему: «Виталий, поменяй нас местами с этим парнем, он лучше меня знает программирование, я чувствую себя неловко, на меня это давит». Начальник сопротивлялся, объяснял мне, что я не прав, но я настоял на своем. Он разжаловал меня в пользу того парня, правда, сохранил мне мою прежнюю зарплату. Такое компромиссное решение. Когда оно было принято, у меня сразу упал камень с души. Про все это я, может, когда-нибудь напишу...

Помню, в НИИ я выступал на каких-то конференциях, занимался экономическими исследованиями по поводу перспектив станкостроения. Смешно, что их ценили другие ученые. Потом как нужный народному хозяйству специалист, как светило науки я был приглашен на флагман отечественного станкостроения — завод «50 лет Октября», это на Нижегородской, недалеко от Птичьего рынка. Я сделал карьеру...

Первый мой контакт с миром литературы случился в то время, когда я еще жил в Витебске. Я однажды отвез в Москву, в журнал «Юность», несколько рассказов. Прямо с улицы пришел к заведомому сатиры и юмора, — это был Славкин — он меня принял нормально, и через пару месяцев в журнале

вышел рассказ. Это произвело эффект взрыва в нашем маленьком городе. Автор этих рассказов немедленно прославился на весь Витебск. Но это был, увы, не я, а мой товарищ Алик Крумер, который потом уехал в Израиль. Но не прошло и тридцати лет с того дня, как я тоже стал писателем.

— О! С чем я тебя и поздравляю. Постой, ты писать начал когда «Альфа-Банке» работал?

— Нет, нет. После.

— Это легко объяснить. Я думаю, это связано с писательскими амбициями Петра Авена, который давно планирует войти в большую литературу. Ты не мог вот так поперед батька... Он же не пишет пока... Кстати, а чего ты ушел из банка? Поругался с Авеном?

— Я не ругался, не. Это было мое решение, связанное с тем, что банк изменил стратегию. У них раньше была региональная программа, по всей стране они открывали новые отделения. Частью этой политики была культурная программа — это когда проводились презентации новых офисов...

— Пьянка, звезды, концерт?

— Да. Но это закончилось. После того как было решено с открытия отделений в регионах переключиться на создание сети «Альфа-Банк-Экспресс» в Москве. Предмета сотрудничества не стало, я сказал, что работы нет и потому мне лучше уйти.

— Ага, и сейчас ты занимаешься тем же самым, но как ПБОЮЛ.

— Можно и так сказать. Или ИТД.

— Расскажи, вот как это происходило. Это что, привезти артистов и пусть себе поют, а ты расписался в ведомости и от нечего делать бухаешь в сторонке?

— Нет, что ты, там же нужен креатив. К примеру, Демидовский ужин в Екатеринбурге... В зале филармонии накрывается стол, меню с литературной основой — иногда выдуманной. К примеру, приносят одну картофелину и три икринки черные. В меню объясняется, что в свое время Демидову разрешили выпускать ядра и дробь, и в честь этого события придумано такое блюдо...

— А в каком диапазоне ты работаешь? Что тебе самому нравится из музыки?

— Для меня музыка как культурная среда отсутствует. Я занимаюсь этим, но у меня чисто коммерческий подход. Что бы ни хотели люди, я на это вообще не реагирую. Сердючка так Сердючка, Рома Зверь — пожалуйста. «Уматурман» всем нравится, а мне — нет... Ну что значит — уровень? Работа есть работа. Когда я вывозил в провинцию народных артистов, которые, все помнят, выступали на банкетах у Брежнева, у гостей была иллюзия, что они общаются к высшему обществу. Но если бы мне пришлось организовать выступление Михаила Круга в какой-то другой компании — я б это сделал; ну а что, это тоже работа. В этой профессии так: можно написать одну хорошую песню, как Юра Лоза, — и хватит, это я про «Мой маленький плот». И он с этой песней живет и будет жить много лет, дай Бог ему здоровья, и эта песня будет его кормить. Так это хорошо! А есть люди, у которых нет ни одной хорошей песни!

Хочешь, я скажу насчет Лепса? Я увидел его сразу после того, как его перевезли из Сочи, где он был на подхвате, пел в ресторанах. Он поет очень страстно. Но поет он довольно плоско. Но он, конечно, поет лучше, чем Буйнов. Он носитель мужского начала, у него великолепные песни — «Крыса-ревность». А многим нравится, когда мужчина надевает обтягивающие брюки.

Вот на 25-летие ухода Высоцкого поставили десять песен — так я заплакал, когда услышал их по радио. Помню, я жил в двушке и слушал «Кони привередливые». И мне первая жена говорила — хер ты пойдешь в букинистический магазин. Пока не помоешь пол. И я ставил «Кони привередливые» и драил пол. Шарил под кроватями и слушал: «Чуть помедленнее кони...». Та песня мне давала драйв такой мощный. Я Высоцкого видел в спектакле один раз, «Павшие и живые». Я не считал его крупным актером. Но с этим делом, с песнями... Знал он три аккорда или пять, не имеет значения. Без разговоров. А потом весь день на радио они обсуждали его личную жизнь. Мне все равно — был ли он наркоманом, поколачивал ли он Влади... К делу отношения не имеет.

— Какой у тебя был верхний уровень и какой — нижний? По организации мероприятий?

— Верх — это когда я, работая в банке, участвовал в организации концерта Элтона Джона. Он пел для шестисот человек, сольный концерт в Царском Селе, который через интернет транслировался на весь мир. А нижний уровень был такой. В 1993 году женился один председатель банка. Поручает мне все организовать. Я спрашиваю: какая нужна программа? Он говорит: пригласи кого считаешь нужным, ну, там, артистов, певцов... И вот начинается свадьба. Невеста весь вечер сидела в баре, ни разу не поднялась в зал. Я спрашиваю у заказчика — может, что-то не так? Артисты не те, может? Он говорит: да это меня вообще не волнует. Артисты вообще пусть уйдут, они мне совершенно не нужны, а ты тут сядь и расскажи что-нибудь. Я тебя пригласил для того, чтоб ты рассказал те истории, которые я в твоём исполнении слышал однажды за столом, когда мы в одной компании во МХАТе выпивали. Но я не мог тебе это прямо сказать и попросил позвать каких-нибудь певцов... Вот это было для меня неожиданностью. Но я вспомнил, как все было в тот раз, про который он вспомнил. После спектакля у Бори Краснова мы собрались в «Вудстоке», в нижнем кафе, и я рассказывал истории типа «Секс в небольшом городе». Этот человек, значит, там был и запомнил меня, а после нашел и предложил мне как бы спродюсировать свою свадьбу... Короче, выгнали артистов, не помню уж, кто там был. Но они не обиделись, деньги ведь получили. Ну я сел и рассказал свои истории. Меня это немножко покорило...

— А потом настал момент, когда ты наконец изложил одну из этих историй на бумаге. И что? Наутро проснулся знаменитым? Или как? С этого момента поподробнее.

— Я сел и написал семистраничный рассказ, от руки, а после набил его сам на компьютере. Клавиатуру я, в принципе, освоил, но я никак не мог запомнить, где там запятая, что затормозило процесс. Написал — и позвонил Арканову. Говорю: «Аркадий Михалыч! Тут такая история... Если ты мне скажешь, что это херня, то...» Посылаю. Он мне звонит

через три часа и говорит: «Значит так: все нормально. Можно печатать. Вреда не будет». Ну, Арканов — это авторитет, практикующий литератор, который столько за сорок лет написал... Я принес свой первый рассказ в журнал «Медведь». Ну и началось.

— Ты пока пишешь рассказы. А как насчет большой книги?

— Нет, у меня темперамента хватает только на десять страниц. Когда я читаю чей-нибудь роман — Камю, допустим, — то я если встречаю персонажа, который впервые появился на 12-й странице, и на 98-й он появляется из-за церкви, и за ним идет история, — я удивляюсь: как можно держать это все в башке?!

— Ну ладно, а сценарий? Из всех искусств важнейшим ведь является кино...

— Я говорил про это со сценаристом Бородянским, у которого сорок фильмов не самых плохих. Как это делается? Мне интересно. Он сказал, что не надо писать сценарий по кадрам, нужно сначала придумать персонажей, потом включать их в сцены и вовлекать в диалоги. Но у меня ощущение, что у меня не получаются диалоги. Ну вот как люди разговаривают? Мы сидим разговариваем, перескакивая с темы на тему, и если это записать на диктофон, а потом расшифровать — неужели наш треп может быть кому-то интересен? Неужели он может иметь самостоятельную ценность? Ну конечно, если речь не идет о компромате... Для меня образец диалога — это разговор Траволты с черным, в «Криминальном чтиве», когда они едут в машине. И черный цитирует Библию, идут комментарии, — огромная смысловая нагрузка. Какой до безумия насыщенный диалог! А они ведь едут убивать людей! Но я понимаю, что таких диалогов нет в природе... И тем не менее я попробовал написать схему сценария. Я взял лист бумаги и нарисовал домик. Разграфил его на квадратики, это квартиры. И заполнил их людьми. Здесь у меня живет нефтяник из Сургута, здесь — ветеран войны с внучкой... Потом, значит, подложил историй под них. Женщина-профессор живет с дочкой, которой она передала своего молодого человека. Потом дочка отставного полковника КГБ начинает жить с диссидентом из третьей кварти-

ры. Думаю, путь правильный: населить персонажами дом, а потом их перетрахать между собой. У меня не только диалогов нет. У меня еще и пейзажей нет, описания обстановки, в которой это все происходит, нет. И я хочу понять — правильно это или неправильно? Может, персонажу не хватает опоры? А еще я хотел бы из «Сергея Сергеевича и Маши» сделать как бы такой «Осенний марафон-2». Объясню почему. Выход этого фильма в ту пору совпал с моим уходом из дома. И проблемы Бузыкина были очень мне понятны. Вообще фильм был мне очень по теме. Тогда на искусство смотрели иначе, в нем искали ответ. Поскольку получить его от людей, которые окружали меня, было невозможно. Когда ты страдаешь, то как сказать своему другу: «Понимаешь, я не знаю, как бросить ребенка, жену и уйти в никуда». Это была проблема. А сейчас хоть что читай — никаких ответов на мои вопросы не существует. Сегодня другая жизнь. Сейчас человек, который зарабатывает, может спокойно съехать из дома, купить новую квартиру и безболезненно, не обижая одну семью, начать жить с другой. Другая ситуация, и моральная, и социальная!

— А как изменилась твоя жизнь с тех пор, как ты стал писателем? Люди тебя иначе стали воспринимать?

— Ничего не изменилось. Люди, которые меня давно знают, — они не удивлены. Никакого трепета. Ну вот у меня два брата, которые за мной такого не знали, и они мне говорят: зачем ты написал, что папа крепко пил? И что это у тебя за сексуальные приключения, о которых мы не знали? Им я открылся с неожиданной стороны. Один человек сказал: «Боже мой, “Сергей Сергеич и Маша” — это же моя история! Я же только что расстался с девушкой!» Я ему говорю — ты что, сдурел, какие девушки, у тебя же диабет!

— А твоим знакомым женщинам льстит, что они общаются с литератором?

— Ни одна женщина из тех, кого я знал раньше, не изменила ко мне отношения. Вот раньше, когда человек издавал книгу или две, то, конечно, была бы совершенно другая реакция на него. Да и не обязательно было публиковать. «Он пишет в стол», — это уже звучало. «У него вышла тетрадка

в самиздате, мы вам дадим на одну ночь». Один мой знакомый говорит: «Я пишу только для того, чтоб мне девушки давали». Ну и как, спрашиваю, есть в этом смысле движение? Есть, отвечает, но уже хочется денег. В общем, никого мои писания не удивили, да и сам я не удивляюсь тому, что вижу свой текст напечатанным на бумаге, никакого оргазма не было по этому поводу. Главное, чтоб мне не было стыдно за написанное... И все-таки есть одна важная вещь, которая изменилась в моей жизни. Писание дало мне возможность перестать играть. Я считаю, это очень важно.

— А что игра для тебя значила, насколько это тебя занимало?

— Есть две причины, по которым люди начинают играть. Либо у них уже не стоит так, как раньше, либо у них нет дела, которое бы их занимало. Человек часто не может найти себе созидательное занятие, особенно это касается людей, которым деньги упали откуда-то неожиданно, и он вынужден был приобрести дорогие привычки.

— У тебя какой случай из этих двух?

— У меня случай такой: работа, которой я занимаюсь, не требует ежедневных усилий. Ну взять, к примеру, вывоз Кировского балета в другую страну. Раньше это отнимало много усилий, а сейчас все просто. Технологически это может сделать нормальная секретарша. Тебе остается только встретиться с человеком, который за все платит, и получить с него деньги. Таких работ в месяц всего две, и времени остается полно. Картина такая: вечером ты выпил, утром встал, помылся, позавтракал, и нужно себе найти занятие. Выходишь из комнаты, небритый, с похмельюги, а тут жена ходит... Даже если она тебя не трогает, все равно как-то глупо сидеть дома. Надо уехать, а куда? Можно поехать обедать... У меня была группа, которая жила по этой схеме. Обед, переходящий в ужин, потом, значит, десант высаживался в казино. Вообще людей инфицировать несложно. Это легко — взять и подсадить на что-то. И я подсел. Стал ездить в казино. И для меня это стало проблемой. Как-то я был на дне рождения, выпил, а оттуда зашел в казино и... проиграл все, что было. А дома у меня лежат деньги на программу «День металлурга».

В четыре утра я еду домой, беру эти деньги, возвращаюсь в Golden Palace и... засаживаю 40 тысяч. Сорок! Вернулся домой и думаю: ни хера себе, хорошо выступил... Что делать? Слава Богу, так сложились обстоятельства, что пришла работа. Видно, Бог дал команду, чтоб мне эти деньги вернули. И когда я начал писать, то прыгнул с казино. Я, конечно, могу пойти сыграть, но это уже не то... Игра, я считаю, — это страшней, чем наркомания. С наркотиками, там есть физическая граница: человек потерял здоровье или сдох. А здесь, с игрой, границ нет. Игра давала мне сильные ощущения. Когда человек начинает играть, его социальная жизнь вообще не волнует. Жена, дети, работа — ничего ему не надо. Я видел людей, которые уходили в игру... Они звонили, им подвозили деньги — ну не самосвалами, но портфелями. Потом деньги снова кончаются. Ничего не волнует, вот везите сейчас еще портфель, и все. Человек начинает встречаться исключительно с девушками-крупье, которые работают в ВИП-зале. Человек 24 часа не выходит из зала, ему крупье уже и жена, и сестра, и секретарша, все разговоры, все общение — только с ней.

Я фаталист по натуре и думаю, что все происходит в то время, в которое оно должно происходить. Да, да! У меня такое ощущение. Главное — не надо упускать шанс. Всегда есть знаки, которые надо замечать. Например, когда у меня в первом браке возник роман с нынешней женой, я три года мучился, не мог уйти из дома. Всякие себе устраивал искусственные препятствия, чтобы не уйти: у меня же была маленькая дочка. А потом в один прекрасный день я пришел домой в неурочное время и мне сказали — иди на хер отсюда. И я ушел — без одежды, без ничего. В никуда. Это было совершенно просто и естественно. И я, домашний мальчик, который никогда не жил даже в коммунальной квартире, — вдруг оказался в рабочем общежитии, где люди пили с утра до ночи, били друг друга головой об стенку. Просто так, для радости. Темой их раздора не была литература, и ксенофобии у них не было, — они просто поработали и теперь выпивали. В удобства они ходили так, будто там место не обозначено. Где сел, там и навалил. И я жил там... Если б я себе такую

картинку будущего представил, я б никогда не ушел! Но оказалось, что жизнь богаче вымысла. И — ничего!

Я часто вспоминаю службу в армии. Я там добился должности писаря, но она меня не удовлетворила, хотелось лучшей доли. После я попал в саперную роту, где меня начали терзать, и я воспринял это не как наказание, а как судьбу. Я всегда на это так смотрел. Когда был путч 91-го года, я спокойно подумал — ну все, этот период жизни кончился, будем жить в новых обстоятельствах. Вот и сейчас я готов к перемене участи. Когда снова заиграет «Лебединое озеро», я буду знать, что мне делать: двигаться потихоньку к заводу автоматических линий. «Вот я, не забыли? Готов возглавить плановый отдел». Буду опять сдавать ленинский зачет, — или принимать.

Мне-то нравится все, что я пишу. И чем больше я читаю себя, тем больше мне нравится. Я вообще пишу исключительно для себя...

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО
Поэт в Оклахоме — больше, чем поэт

Евтушенко — это символ, один из, советской жизни. У него счастливая судьба долгожителя, который еще в старые времена был фантастически свободен и удачлив, он узнал славу и роскошь и дружбу великих, повидал мир, тогда еще для всех закрытый.

Он был красавец каких мало, с коллегами Вознесенским и Ахмадулиной блистал так же мощно, как сейчас Малахов, Ургант и Собчак. Только в отличие от теперешних телезвезд поэты развлекали не хабалок и пэтэушниц, но вполне почтенную публику, среди которой не стыдно появиться. У поэтов и поэтессы были замечательные пиджаки, и галстуки, и шпильки, и романы, и скандалы от амурных до политических, и поездки от тайги до Британских морей, далее везде. Стихи они тоже писали, часом даже неплохие, но сегодня над ними не застрелишься на могиле Есенина, и даже не зарыдаешь, и не напьешься! Почитал, похвалил, отметил достоинства и эпохально-историческое значение — но не более того, не более...

После всей той немислимой звездности, от которой поди еще не рехнись, в наше, в новое время Евтушенко живет в свое удовольствие, женится и рождает детей, покупает недвижимость в Америке, преподает, по-прежнему пишет и — отмечает разные свои юбилеи. Дай бог всякому, как говорится.

Не зря, не зря поэт гордится своими заслугами перед русской демократией: много говорит тот факт, что чучело Евтушенко лично сжег перед публикой не кто-то, а сам Александр Андреич Проханов! Это дорогого стоит. Ну и гринкарту американцы дали, — на другом полюсе у нас Лукашенко (в рифму кстати), людям которого даже визы не дают.

На Евтушенко и прочих шестидесятников сам я смотрел когда-то снизу вверх... И верил им, кажется, во всем. И ждал от них ответов на главные вопросы.

Прошли годы.

И что теперь?

Письмо

Дорогой Евгений Александрович!

Пишет Вам в далекую Америку поклонник Вашего таланта (без иронии, реально. — И. С.) Игорь Свинарэнко, из журнала «Медведь». Если помните, мы с Вами познакомились пару лет назад в Москве, в ресторане «Петровиц», где мы с Вами даже выпили водки, — чем я теперь хвастаю.

Я то и дело слышу про Вас хорошее, к примеру от знаменитого старателя Вадима Туманова, которому вы крепко помогли во времена гонений. Мне было это приятно слышать.

Если помните, мы с Вами планировали сделать интервью. Вопросы вы попросили в письменном виде. Вот они. Волнуюсь, жду!

*С наилучшими пожеланиями, —
Игорь Свинарэнко*

Вот такое письмо я написал классику. Которого в семидесятые застал в самом его расцвете; я, студент с претензией, лично стрелял лишний билет на его выступления не то что в Политехническом, но и, бери выше, в самих Лужниках! Впрочем, на стадионе, кажется, был групповой концерт, — да неважно.

Да, кстати! К письму я, понятно, приложил вопросы.

Но ответов не получил.

Может, затерялось мое скромное письмишко среди тыщ конвертов, наверно у поэта богатая почта.

А может, он уже достаточно сказал про все, что хотел, и просто неохота повторяться...

Или так: от долгой жизни в новой стране у человека переменились взгляды на разное, и теперь ему неловко от нашего русского толстопятого простодушия...

С другой стороны, мало удовольствия отвечать на мои вопросы, они, если вдуматься, если уж совсем честно, какие-то не очень добрые — так я ведь не мать Тереза.

Стереть теперь файл, — какой смысл в вопросах, на которые не даны ответы, — казалось бы.

Но!

Замечено: чтоб правильно задать вопрос, надо знать бóльшую часть ответа. (Это из фантастики, из сюжета, когда некий космонавт с огромным трудом и жутким риском добрался до вселенского оракула, который знал все и мог ответить на любой вопрос. Ну, думал наивный путешественник, уж теперь-то я все-все узнаю. И вот он начал задавать вопросы типа «что такое счастье» и прочее в таком духе, на что оракул неизменно отвечал: «Вопрос отклоняю как некорректный». Оракулу как минимум было совершенно неинтересно про счастье белковых тел, про которые он и не слышал... Кроме того, он ожидал, что ему прежде дадут научное определение счастья как минимум.) И тогда нет смысла этого ответа всерьез дожидаться. А если ты про ответ ничего не знаешь, вопрос будет ужасно глупым, на кой его и задавать тогда.

В общем, мне показалось, и уже не раз причем казалось, что вопросы иногда важнее ответов до такой степени, что ответов иногда и вовсе не надо. Бывает, что ответы вопросов не только важней, но и интересней! А иногда достаточно одних вопросов. Чтоб так, нужна или сильная позиция вопросителя, или талант некий особый, или везение. Вот Путин как-то задал вопрос Ходорковскому, цитирую тут не дословно, еще чего: «Что ж вы моих чиновников клеймите за взяточничество — а не сами ли вы эти взятки им несете?» Вот пожалте, вопрос выше любого ответа... Все сказано! Точка. Ответом на вопрос стала новая страна, которую мы очень быстро получили взамен старой, по поводу чего нашего мнения никто не потрудился спросить.

Ну так вот мои вопросы классику. Авось они вас развлекают.

— Евгений Александрович! Про вас рассказывают легенды. Якобы вы, защищая Неизвестного, обозвали Хрущева идиотом, и он это принял как должное и после за вас заступался. Вы — выпивши — говорили Андропову, что готовы погибнуть на баррикадах, защищая Солженицына. Вы отправили Брежневу телеграмму, протестуя против ввода танков в Прагу. Или это не легенды?

— Хрущев и вы — это как вариация на тему «Отношения Пушкина с царем». Это первое, что приходит в голову. Были у вас такие мысли? Подкалывали вас этим, завидовали?

— Диссиденты, лагеря, психушки, ссылка и высылка. Много людей пострадало за ерунду. Вас почему не тронули? Вас считали генералом КГБ... У вас ведь похоже на ситуацию с Бродским? Тоже поэт... «Рыжему сделали биографию» (Ахматова). А вам?

— Самое ужасное, что с вами было, — это на Запад не выпускали, какое-то время. Нет у вас чувства нехватки гонений? Есть примеры поэтов, любимых народом и народами, но благополучных?

— Вы думали, что можете сесть надолго? Представляли себе в деталях тюремные и лагерные ужасы? Готовы были к тому, что все кончено?

— «Все разговоры, что смелость поэтов-шестидесятников была санкционирована сверху, — это позорная клевета», — сказали вы однажды. Кто клеветал-то?

— Вы говорили, что на вас писал Семичастный — но куда? Я думал, дальше уже некуда, ему самому писали. А не мог он, не спрашивая, решить с вами вопрос?

— Раньше высылали поэтов за границу, это было вроде как наказанием. Просто аналогия с высылкой из Афин или Рима. Вступаясь за Эрнста Неизвестного, вы волновались: «Не дай бог его вышвырнут из России!» А теперь вот вы на гребне успеха сами себя выслали с родины. Ирония судьбы просто?

Я представляю страх и обалденье,
когда попало в Третье отделение
«На смерть Поэта»...
Представляю я,
как начали все эти гады бегать...
Есть Божий суд, наперсники разврата,
и суд поэта — это Божий суд! —

Что у вас было самое близкое к этому жанру, к этой ситуации?

— Предварю следующий свой вопрос цитатой: «В 1965 году существовала группа по защите Евтушенко, которая собиралась организовать демонстрацию в защиту меня. Это были молодые двадцатилетние люди, между прочим, рабочие или учащиеся вечерних школ и техникумов. Они печатали на пишмашинках листовки, расклеивали. Их всех арестовали». Что с ними стало дальше?

— «Весомость нашего слова в данный момент настолько незначительна, что даже КГБ сейчас до нас нет дела, а бюрократии и подавно. Нас, писателей, давно никто не боится. Журналистов боятся больше, чем нас. Почему так произошло?» Это вы нас спрашиваете? Лучше б вы сами ответили на этот вопрос! Интересно же...

— По поводу вашего знаменитого сюжета с алтайской пасечницей. Ниже об этом еще будет. Похожий случай был недавно у вас — не в том смысле, что с вами лично, а в вашей новой стране, в Штатах, но там даму посадили, она отсидела (за соращение несовершеннолетнего), вышла и снова побежала к тому парню (своему любовнику). Два мира, два детства, — можно сравнить? У вас в Талсе тоже, наверно, обсуждали тот американский случай? А что было б в Союзе с ней и с вами, тогда, случись на этой почве скандал?

— Вы пишете: «Поскольку Зинаида Ермолаевна (мать поэта. — И. С.) была в разводе с мужем (в 1938 году он оставил семью, боясь, что арест отца жены — Ермолая Наумовича — бросит тень на его карьеру), то она без сожаления решила переписать сына на свою фамилию. Для возвращения в Москву детям старшего возраста нужен был особый пропуск. Одновременно пришлось сыну убавить один год. Так в свидетельстве о его рождении появилась не только новая фамилия, но и новая дата — 1933 год вместо 1932-го». Подтверждаете эту версию? Что стало с арестованным дедом Ермолаем? А отец после как-то комментировал этот поступок?

— Снова цитата, из вас: «У меня есть строчка: “Россия без поэзии российской была бы как огромный Люксембург”». Поди плохо! В Люксембурге люди хорошо живут... Да?

— Вы писали, что все русские поэты похожи на Есенина. «...но все мы чем-то связаны одним: любой из нас хоть чуточку Есенин. И я — Есенин, но совсем иной». В чем сходство?

— Вот вы тоже уехали из России, с дамой (имеется в виду англичанка, одна из жен. — И. С.). Есенин не смог жить на Западе, «там не перед кем раскрыть свою душу». А вы — смогли? Прокомментируйте эту его реплику, пожалуйста.

— Цитата: «Было бы некрасиво сказать, что я работаю в Штатах только из-за денег. Хотя это фактор немаловажный, безусловно». Здесь, в России, вы думаете, не смогли бы хорошо зарабатывать?

— Тема отъезда. Звезды русской культуры — Эрнст Неизвестный, Межиров, который сочинил текст «Коммунисты, вперед!» (не знаешь, смеяться тут или плакать, когда вперед — значит в Нью-Йорк), Бродский («на Васильевский остров я приду умирать»), вы — уехали в Америку. Именно туда. А не, допустим, в Париж, Гавану, Киев или Тарусу. Это потому что Америка — самая богатая страна?

— Нет ли у вас ощущения, какое бывало у меня: что пока ты за границей, в России происходит что-то интересное, вообще жизнь, а ты из жизни вывалился и возвращаешься к ней, прилетая в Шереметьево? Я помню, прилетая оттуда на побывку, когда я жил в Штатах, всех спрашивал: ну как у вас тут, что? Они говорят — да ничего не происходило, всё как всегда, а я не верил.

— Часто ли вам говорят русские — вот бросил нас, дезертировал, а мы тут на фронте? (Мне такое даже на Украине говорят, кстати.)

— «Хотят ли русские войны?» И теперь вы живете в Штатах, которые ведут суровую войну. Забавно. Что можете про это сказать? Тут были жесткие дебаты, когда Штаты бомбили Югославию. А у вас были скандалы? Что вы там тогда чувствовали? Протестуете ли против войны в Ираке? Или вам, как иностранцу, которого приютила Америка, неловко их ругать?

— Вы смотрите там американский футбол и бейсбол, это уже интересно?

— Вы там, в Штатах, рассказываете студентам, как немецкие летчики учились в Липецке, перед войной, и мы с фашис-

тами проводили совместные парады в Брестской крепости? И делили Польшу? И расстреливали поляков в Катыни?

— Расскажите про своих детей! Они — уже иностранцы? Очень редко увезенные дети остаются русскими. Почему русскость так нестойка? Удастся вашему младшему сыну жить на две страны? Он на границе русского и американского, такое возможно — или нельзя быть немножко беременной?

— Вы — как Пушкин? Который смеялся над друзьями, которые возвращались с Запада, типа если б его выпустили, он бы уж не вернулся?

— Возвращение Солженицына из Америки в Россию — вызвало в вас какие-то эмоции? Или вы просто пожали плечами?

— Солженицын сюда, а вы отсюда, почти разминулись. Это напоминает Алексея Толстого и Макса Горького, которые тоже разминулись, да?

— Не взяли орден из рук Ельцина. А Солженицын взял из рук Путина, — вы получаете больший радикал, чем Исаич? Кстати, как вам показались его книжки при советской власти, было вам как социалисту с человеческим лицом обидно?

— У вас были волнения, как у Высоцкого, перед 37-м днем рождения? С него типа в момент слетал хмель... А вы? Вы себе представляете Пушкина, который отмечает 75-летие? Или, допустим, Лермонтова? Какими бы они были? Что тут можно об этом понять?

— «Дружба с Феллини, близкое знакомство с другими мастерами мирового экрана» — пожалуйста, подробнее об этом. Какой был Феллини? Поняли бы его, работай он сейчас?

— «Желание сыграть Сирано де Бержерака в фильме Э. Рязанова не осуществилось: успешно пройдя пробы, Евтушенко решением Комитета кинематографии не был допущен к съемкам». Почему же?

— «Товарища хороню» (который на самом деле жив, просто для вас он умер) — про что? Написано вами в 57-м, — это про Венгрию, про 56-й год? Сейчас, кстати, про то восстание (отзывались ли вы на него?) говорят, что в нем участвовало много фашистов, что Венгрия, вообще говоря, воевала на стороне Германии... Что вы об этом думаете?

— Ваша «Ярмарка в Симбирске»:

Храни Христос тебя, яснолобый.
А я уж как-нибудь сама дойду. —

Это намек на то, что лучше б Ленин не трогал Расею?

Границы мне мешают... Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка.
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
со всеми говорить — пускай на ломаном.

И ведь все сбылось?

Хоть скройся в Мекку,
хоть прыгни в Лету,
в кишках — Россия.
Не выдрать! Шиш!
Невозвращения в Россию нету.
Из сердца собственного не сбежишь. —

Это 1965-й. Вы как знали, что уедете; это было гениальное озарение?

— Кто занял место больших русских (советских) поэтов — телеведущие, олигархи, футболисты?

— На вашем примере видно: что ни делай, каких подвигов ни совершай, будут говорить: ну и что? Что нужно сделать, чтоб реально заценили?

Не получив ответов на вопросы от классика, я решил написать про него своими словами

Считается, что Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1933 года на станции Зима в Иркутской области. По другой версии — в 1932 году в Нижнеудинске. Отец — Гангнус Александр Рудольфович, геолог. Мать — Евтушенко Зинаида Ермолаевна, геолог, актриса.

В 1947 году переехал в Москву. Печататься начал в 1949 году. В 1951 году был принят в Литинститут, в 1952 году, после выхо-

да первого сборника стихов — в Союз писателей. В 1954 году его отчислили из института. По одной версии — за то, что выступил в защиту романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». По другой версии — за прогулы.

Самое известное из написанного: «Бабий Яр» (1961), «Наследники Сталина» (1961), «Братская ГЭС» (1965), «Под кожей статуи Свободы» (1970), «Мама и нейтронная бомба» (1984), сборники «Шоссе энтузиастов» (1956), «Интимная лирика» (1973).

Поставил два фильма по собственным сценариям: «Детский сад» (1984) и «Похороны Сталина» (1991). Мир эти ленты не сказать чтоб перевернули.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1983) и другими правительственными наградами.

Лауреат Госпремии СССР (1984) — за поэму «Мама и нейтронная бомба», «Тэфи» (1998) — за лучшую просветительскую программу «Поэт в России — больше, чем поэт» и множества прочих премий.

Двадцать лет Евтушенко был занят составлением антологии русской поэзии XX века «Строфы века» — 875 персоналий, больше 1000 страниц (Минск, 1995). Произведения Евтушенко переведены более чем на 70 языков.

С 1991 года работает в США — преподает в университете (городок Талса, штат Оклахома). Женат в четвертый раз, теперешняя жена — Евтушенко Мария Владимировна, врач, филолог. Отец пятерых сыновей.

Как стать поэтом

Он вспоминает: «15-летним мальчишкой меня исключили из школы в Марьиной Роще. Кто-то похитил классный журнал, поджег... Директор школы логически вычислил: раз Евтушенко схватил пару двоек, значит, это его рук дело. Меня вышвырнули с волчьим билетом. Папа написал своим друзьям-геологам рекомендательное письмо. Я уехал в алтайскую экспедицию, а что тогда были там за деревни? Сплошные солдатки. Одна из вдов, пасечница, и стала моей первой женщиной. ...Она была на 12 лет меня старше и оди-

ноко жила на отшибе села. Все, что между нами произошло, считалось тогда уголовным преступлением, ведь мне было только 15 лет — я даже паспорта не имел. Врал, прибавляя к своему возрасту пару лет. Вдова, когда это поняла, была просто убита, раздавлена, — женщина религиозная, она сочла свой поступок страшным грехом. Она плакала, стояла перед иконой на коленях и просила прощения у Господа. Она была поразительно чистым существом, благодаря ей я открыл доброту и чистоту женской души, что для мужчины в первом опыте очень важно. Может, не будь ее в моей жизни, я и не стал бы поэтом...»

Страдания

Как всякий уважающий себя поэт, Евтушенко прошел через преследования и даже страдания. Они могут достигать разного градуса в каждом отдельном случае, нет двух похожих поэтов — и тем не менее...

«Меня и жестоко наказывали (за вышедшую на Западе “Автобиографию” и “Бабий Яр”». Дошло до того, что даже «машина моя пострадала — кто-то нацарапал на дверце: “Жид”».

А вдобавок милиционеры делали замечания, он оправдывался, приходилось. Но это так, цветочки. Были вещи и похуже, он с горечью вспоминает:

«Меня сняли с поезда, идущего за границу (два раза и с самолета снимали)».

Невыносимо! Непонятно чем бы это могло кончиться, но «спас Степан Петрович Щипачев — этот тихий, застенчивый поэт, написавший “Любовью дорожить умеете”, пришел в ЦК партии, бросил свой полученный еще 1918 году партбилет и воскликнул: “Что же вы с нашей молодежью делаете, почему крадете у них мир, который они должны и имеют право увидеть?! Если Евтушенко не выпустят за границу, я выйду из партии”. В результате, немало еще разного натерпевшись (такого врагу не пожелаешь, я в восторге от этих формулировок, преклоняюсь перед этими мучениями, до которых куда там Мандельштаму. — И. С.),

отправился я в гнездо американского империализма — город Нью-Йорк».

Продолжаем тему мучений. «Цензура долго не хотела пропускать мою двунаправленную (и против наших мудачков, и против американских. — Примеч. авт.) поэму “Под кожей статуи Свободы”, а потом замечательный одноименный спектакль Юрия Любимова на Таганке».

Цензура какое-то время позверствовала, а потом махнула рукой и все разрешила; Евгению Александровичу по крайней мере.

После — на глазах у Евтушенко (это негуманно, бесчеловечно, нельзя так, представьте себе движение зрачков обносимого — туда-сюда), еще одного, после Пастернака, «Нобеля» дали опять другому русскому пииту. И вот вам по поводу счастливицы цитата из Евтушенко:

«Бродский — очень талантливый поэт, и стихи его, особенно написанные до отъезда из России, я люблю, включил в антологию, но он принадлежал к такому своеобразному типу людей, которые, когда кто-либо им помогает, чувствуют унижение и отвечают на добро неприязнью. К сожалению, его оскорбительные высказывания обо мне (типа Евтушенко — агент КГБ. — И. С.) перепечатываются, и круги от них расходятся до сих пор».

И уж кстати на тему органов: «Лет пятнадцать назад в четыре часа утра в Будапеште он [поэт Александр Межиров] спросил меня: “Скажи мне по совести: ты все-таки генерал КГБ?”»

Красивая фраза из какой-то рецензии, написанной типа провинциальной учителькой: «В “постперестроечное” творчество Е. Евтушенко вторгаются мотивы иронии и скепсиса, усталости и разочарования». А ведь с этим, сами понимаете, непросто жить...

Гражданская позиция: Оклахома, Green Card

«Я был единственным человеком, который написал художественное произведение (поэма “Тринадцать”) о событиях 1993 года, когда все общество разделилось надвое. Это была

мини, но все-таки гражданская война. Кто-то должен говорить такие вещи».

Разве важно, где поэт говорит последние страшные слова о русской гражданской войне — на баррикадах родины или в колбасной (ой пардон, случайно вырвалось, я не хотел) эмиграции? Какая типа разница? Совершенно некстати тут вспоминается анекдот, где персонажа призывают или трусы надеть, или крест снять. Либо ты русский поэт, либо ты уехал в колбасную эмиграцию. В богатую страну Штаты. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, — правда, с гражданством история долгая, сперва надо грин-карту выхлопотать. Но с этим порядок: «Я преподаю в университете в нефтяном ковбойском городе Талса. Там я купил милый, уютный дом. Помимо поэзии я преподаю русское и европейское кино...»

Евтушенко считает необходимым пояснить, что, несмотря на ковбоев и нефтяников, в его оклахомской глуши хватает духовности: «В Талсе балет “Щелкунчик” уже 20 лет не снимается с репертуара. Весь город собирает деньги, чтобы спасти в Антарктиде пингвинов, которых, оказывается, тоже чем-то травят. [Еще я преподаю] в Куинс-колледже в Нью-Йорке, где у меня квартира. Я неизменно подчеркиваю, что не эмигрировал — паспорт у меня российский, просто имею грин-карту, которая дает право на работу и безвизовое жительство в США».

Я нашел где-то в прессе деликатную строчку: «Жаль, что лекции он читает американским, а не нашим студентам». Ну если его там внимательнее слушают и к тому ж больше платят, то почему нет? Кто бросит камень в многодетного отца?

Замах

Что б вы ни говорили, а у него хороший замах, достойные амбиции.

О нем в прежние годы много писали и говорили в таком духе: «С завистью поэты наблюдали, как он менял вызывающе пестрые пиджаки, машины и жен, как выбивал у властей квартиру в сталинской высотке под предлогом, что должен

иметь возможность принимать у себя высокопоставленных иностранных гостей, а потом — ну надо же! — и впрямь принял там Никсона».

На буфетной стене Центрального дома литераторов поэт Семен Кирсанов написал: «Ев тушёнку, вспоминал Евтушенку...» Как должна людей беспокоить тема, чтоб ее раскрывали в граффити! В настенных росписях!

Он как-то рассказал, что один его сборник — «Взмах руки» — вышел стотысячным тиражом, а в то же самое время продавалась книжка коллеги Пастернака «На ранних поездах», тираж, почувствуйте разницу, 5 000.

Или еще про поэтов, про место среди них. Вся читающая публика самой читающей страны знала это четверостишие:

Ты — Евгений, я — Евгений,
Ты — не гений, я — не гений.
Ты — говно, и я — говно,
Я — недавно, ты — давно...

Люди так понимали, что это Евтушенко дружески так про Долматовского. Автор отрешивается, а зря, сильные ведь строки, на века. Пушкин бы многое из приписываемого ему признал открыто за свое, просто не успел.

«Мое первое стихотворение, благодаря которому я стал известен, — “Со мною вот что происходит...” Есть ли в России человек, который его не знает? Его переписывали от руки. А моя первая песня была тоже о любви, сейчас исполняется как народная, что является высшим комплиментом: “Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня”».

«“Танки идут по Праге” ходили в нашем самиздате», — вспоминает Евтушенко. И это реальная, без шуток, заслуга. Я буквально снимаю шляпу.

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.

«...я включил приемник и услышал сквозь треск помех голос моего друга Зикмунда. “Женя, — кричал он, — Евтушенко, ты помнишь, как мы говорили о будущем социализма с человеческим лицом!? Женя, что же случилось? Почему ваши танки, которым в мае 45-го я аплодировал, входят в Прагу? Они уже на улицах, передача сейчас оборвется...”

Покончить жизнь самоубийством, — такое желание у меня только раз было: когда узнал, что наши танки вошли в Чехословакию».

А еще Евтушенко вступился за инвалида войны Эрнста Неизвестного: «Хрущев стал кричать: “Если вам, господин Неизвестный, не нравится наша страна, забирайте свой паспорт и убирайтесь”. Я сказал: “Никита Сергеевич, как вы можете повышать голос на воевавшего в штрафном батальоне фронтовика?” ...Хрущев рявкнул: “А-а! Горбатого могила исправит!” Налился кровью, побагровел и стукнул кулаком по столу, за которым мы только что ели и выпивали. Тогда я тоже стукнул кулаком по столу, сказал: “Нет, Никита Сергеевич, прошло, — и надеюсь, навсегда! — время, когда людей исправляли могилами”.

...Я его, в общем-то, не обзывал, но одно неловкое слово у меня таки сорвалось... “Идиот”. Я заявил Хрущеву: “На выставке есть очень плохие картины, ваши портреты, — почему вы на них внимания не обращаете? Вы там то с колхозниками, то с рабочими — эти услужливые художники изображают вас, Никита Сергеевич, простите, как идиота”».

Герцен себе такое позволял только из Лондона, что твой Сева Новгородцев, — а Евтушенко — нет, он резал правду-матку на дому из материала заказчика. Круто!

Широко была известна история про то, что Евтушенко написал Андропову письмо: «Если Солженицына из страны вышлют, в знак протеста я повешусь прямо перед зданием КГБ». Андропов якобы ответил: «Ничего, приезжайте — липы у нас тут крепкие, выдержат».

Евтушенко эту версию не подтверждает, а дает свою: «О том, что Солженицына арестовали, я узнал от Юрия Любимова. ...позвонил в справочную Москвы и попросил дать

мне приемную Андропова. В службе “09” вежливо спросили: “Кто звонит?” Я честно ответил: “Поэт Евгений Евтушенко”.

На другом конце провода чуть замешкались, но обнадежили: “Подождите”. Меня куда-то переключили, а потом перевели на приемную Андропова. Я был на взводе... Заявил, что это будет удар по престижу страны, и добавил: “Если процесс над Солженицыным начнется, готов умереть за его освобождение на баррикадах. И не я один”. — “Проспитесь!” — сказал [Андропов] и положил трубку... [Я] перед этим действительно выпил...»

Если это не гениально, то что тогда вообще гениальность?

Кто там еще у нас был, кроме Андропова, — Ельцин? И про него есть: «Как может сегодня существовать поэт, который ничего — не обязательно стихами — не сказал своему народу о Чечне! Возможно это? Невозможно! Я был первым человеком, который выступил против войны в Чечне. Я хорошо знаю Кавказ и понял, что эта война продлится долгие годы. Чеченский блицкриг придумали люди, которые никогда не читали даже “Хаджи Мурата”. На второй день после начала чеченской войны я читал по телевизору стихи и отказался получать из рук Ельцина орден».

Неплохо для начала. Теперь осталось еще заклеить войну в Ираке. Развязанную людьми, которые не читали даже «Последнего из могикан» и не видели Гойко Митича в роли аборигена. И отказаться взять орден из рук Хиллари Клинтон, Моника Левински и Барака Обамы.

Сочиняя этот текст, я наткнулся в периодике на отрывок из нового романа Аксёнова (который уехал на Запад не в 91-м, когда позволили, а при глубокой советской власти, когда за это могли и башку оторвать), там было что-то вроде не дословно, но по сути верно:

— А что Бриджит Бардо, вы виделись с ней там? — спрашивает поэта некая поклонница.

Он отвечает:

— Когда я был в Париже в одиннадцатый — нет, в двенадцатый раз, и остановился, как обычно, в отеле De Crillon, Бардо должна была ко мне прийти, очень хотела, но у меня

просто не было времени на эту встречу. Так что мы с Бардо знакомы только заочно.

Так замечательно написал Василий Аксёнов в своей книжке, выведя несомненно Евтушенко, кого ж еще, под именем Яна Тушинского. И далее: «Черт знает этого Янка, подумал Ваксон (а это, как известно, сам Аксёнов — И. С.), иногда кажется — он свой, кореш. В другой раз думаешь — нет, не свой, типичная агентура». Недобро, недобро как-то; но не нам же и не теперь лезть в их дела... А вот чуть добрей, оттуда же: «Довольно часто в Нью-Йорк заезжал Ян Тушинский: то за мир, то за гуманизм».

Не все, может, помнят, что именно Евтушенко — автор бессмертной строки:

Поэт в России — больше, чем поэт.

Если интересно, дальше там так:

В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет.

«Есть такой Союз евтушенковедов (!), его председатель — Юра Нехорошев. В 1962 году, когда он служил на Северном флоте главным механиком подводной лодки, пошли они на маневры — на кратковременное погружение. Но случился Карибский кризис, и их забросили на Кубу (угрожать, вот забавно, Соединенным Штатам, где теперь дом поэта. — И. С.). Чуть ли не год Юра с командой провел под водой без всплытия. На лодке не было других книжек, кроме моего двухтомника. Больше читать было нечего... Лучших знатоков моего творчества, чем эта команда, я не встречал». А куда они денутся с подводной лодки? Этот прием, кстати, называется — буквализация метафоры. После в стране начались проблемы с финансированием ВПК, ну и как теперь приохотить людей к высокой поэзии?

Забавно, что этот подводник Нехорошев нашел некие мемуары Битлов. Ссылаясь на него — а я ни за одним из них

не проверял, оставляю всё на совести рассказчиков — Евтушенко сообщает: «В своих воспоминаниях Пол Маккартни описывает, что перед первыми гастролями по континентальной Европе его девушка подарила ему мою книжку, только вышедшую в Англии, и прочла оттуда несколько страниц. Стихи Полу очень понравились, и Маккартни прочитал их Битлам перед первым концертом, когда ребята очень волновались. Выступление прошло замечательно...»

Или так еще про замах:

«После тридцатых годов первый авторский вечер одного поэта — мой, в Литературном музее на Якиманке. При этом скопление народа было столь велико, что даже машина Микояна не могла по улице проехать (он мне сам рассказывал)».

Более того:

Мне кажется сейчас — я иудей, —

писал он, —

Вот я бреду по Древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей*.

Но... Его никто не распинает (ну только изредка пинает), он все не гибнет, он живет дольше лучших русских поэтов вместе взятых — ну и дай Бог ему здоровья. И успехов в труде и личной жизни.

* Вообще же эти строчки про гвозди и погибель — думаю, очень не случайные. Как сказал кто-то из великих — в изложении Андрона Кончаловского — нельзя стать по-настоящему великим художником, не получив хорошей порции настоящих страданий, не померев мучительной смертью. Мне кажется, это противоречие, эта драма изводит Евтушенко: что лучше — счастье, или гениальность, или великая судьба? Поди еще выбери... Это вам легко, вы же не художники...

СЕРГЕЙ ЖАДАН:
«Не жду звонка от Порошенко»

Я много слышал о поэте Жадане, он такой читаемый, сам живет в Харькове, но пишет, надо же, на мові. Мы с ним однажды пересеклись в Днепропетровске, куда приплыл когда-то писательский пароход «Литературной экспедиции», — но поговорить не успели. А во Львове, на Форуме издателей (2014), это такая как бы книжная ярмарка — не только поговорили, но даже и выпили за разговором. Уже началось, из России мало кто приехал, война же вроде, а я таки прилетел. Я сейчас часто думаю про то, что вон даже немецкие нацисты — до чего ж они были наши враги-враги, а теперь немцы такие наши друзья, что — кто нам ближе, чем они? То есть война кончится, не было еще отродясь вечной войны — и все равно придется мириться. И с этим лучше не тянуть, можно прямо сейчас начинать.

И вот мы с Жаданом к этому приступили не откладывая в долгий ящик.

Начал я по простоте душевной говорить на русском, но он мягко и неконфликтно стал отвечать на украинском. Ну и таки он прав! Почему нет. Могу только сказать, что русский мне привычней, и я на нем написал куда больше текстов, чем на украинском, — но что с того? Ничего с того.

Но здесь мы текст даем все же в переводе. Вдруг кто-то не знает украинского?

— Уже бы, кстати, и перекусить пора, — сказал я.

— Хотите мацы?

— А як же, — честно ответил я. И мы стали пить красное, закусывая мацой.

Потом перешли на коньяк и киш. И дальше я спросил о том, что давно меня мучило — про Олега Жадана, которого помню по старой «Комсомолке», он был там когда-то великий. Не родственники ли? Вроде нет.

— Про Олега Жадана знаю, але особисто знайомий не був. (Я слышал про Олега Жадана, но лично знаком не был.)

— Він керував відділом новин. (Он руководил отделом новостей.) Это не были экономические и политические новости, а так называемые новости. Позже по этому образцу в «Ъ» сделали отдел «некоммерческой информации». Ну что там в Донбассе? Я сейчас путешествовал и последних новостей не знаю.

— Оперативные новости? Не было утром ничего. Захватили переговорщиков с «Айдара», которые пошли договариваться...

— Кто захватил?

— ЛНР.

— А у вас есть знакомые, которые там воюют? Много их? Где воюют?

— Много. Они и в гвардии, и в добровольческих батальонах, и в милиции.

— И у меня есть знакомый из Киева, который воюет. Он до войны был продюсером. А с другой стороны — под Славянском живет мой товарищ, с которым мы учились в школе. Сверстник. Говорит сейчас: «Под москалями жить не буду». Я, кстати, написал когда-то о том, почему нет границы между Германией и Францией (что отличает их от Украины с Россией). Так они же воевали друг с другом! А между Россией и Украиной есть границы. Хотя это же родные сестры, какие же границы между ними?

— Пока что все наоборот.

— Невозможно, чтобы Россия воевала против Украины, — думал и я... Но я написал тогда, что после войны границы исчезнут. Словно знал будущее. Получается, что так. А у вас лично не было мыслей уехать на фронт?

— Пока еще нет.

— А может быть, нам еще выпить?

Переходим с вина на коньяк.

— Сам я, пока есть возможность не воевать, не буду. А если призовут — пойду.

— А какая у вас военная профессия?

— Непризывной.

— Здоровье?

— Нет, другие причины.

— Вижу, это интимно. Не буду настаивать. Когда я был молод, у меня была мысль поехать в Югославию. Там повоевать... Но я этого не сделал.

— Слава богу, что вы не поехали. Я сейчас своего любимого писателя — Лимонова — читаю, как он был в окопах Югославии. «Ну что ты хвастаешься? Чем ты хвастаешься?» — думаю я.

— Он харьковский парень.

— Да, он наш. Я с ним виделся в последний раз в июле 2014-го. В Москве.

— И что он сказал?

— Когда только начался Майдан, он был весь на нервах. Был против Майдана. Понятное дело, что он против украинской государственности как таковой, — но он восхищался стихийностью Майдана. Восторгался динамикой Майдана. И при этом говорил: «Сережа, когда восстанет Восток?» — «Восток не восстанет. Нет никаких оснований». И здесь, когда началась «русская весна», он немного воспрянул духом. Но после я прочитал у него печальный пост о том, что Харьков не поднимется. Это же не Донецк. Он отличается политически, социально, экономически, ментально. Во-первых, это украинский город, там больше среднего бизнеса, и так называемое гражданское общество там сложнее. Во-вторых, там совсем другая политическая система, несмотря на давление Добкина, — все равно там нет такой четкой иерархии, как в Донбассе, где Ахметов. А потом, там партия студенческая — более двухсот тысяч студентов. Это как население Луганска — 200 тысяч.

— И Гепу, и Допа — это актеры. Мне нравятся! (Только как актеры. Не как политики.)

— Они оказались больше актерами, чем реальными персонажами.

— Я говорил Лимонову: «Зачем тебе вся эта политика, все эти войны. Ты начитался Хемингуэя и хочешь жить, как он, — в Париже, в Нью-Йорке, на войне. Это игра».

— Нет.

— «Эта партия, которую ты организовал, — говорю я Лимонову — это пиар. Это — чтобы книги продавать». А он не согласен, спорил со мной: «Я — политик!»

— Он мне сказал, что чувствует себя скорее политиком, чем писателем.

— Он это говорит, — а можно ли ему верить? «А что за название у твоей партии?» — спрашиваю я его. Нацбольская! Он согласен с тем, что это не очень хорошее название: «Но ничего уже не сделаешь. Уже поздно менять. Людей убивали под этим флагом. Они сидели в тюрьмах». А теперь у меня такой вопрос к вам. Возможны сейчас культурные контакты между Украиной и Россией? Возможны были во времена Гитлера контакты немецких писателей со сталинскими? Или невозможны?

— Подождите. Были контакты, проекты. Был Томас Манн. В изгнании.

— Да, в изгнании.

— Не все же в России поддерживают Путина. Не все поддерживают аннексию Крыма. Я думаю, контакты не только возможны — они нужны. Война закончится. Очень просто всех сейчас послать, обрубить любые варианты общения.

— Уже обрублено многое. А обратный путь есть, как вы думаете?

— Обратный путь всегда есть, просто обычно обратный путь гораздо медленнее и гораздо сложнее. Как бы ни закончилась эта война, какую бы стену Коломойский сейчас ни построил на границе, Россия же никуда не исчезнет. У меня такое впечатление, что часть украинских патриотов считает, что если построить четырехметровую стену, все решится. Только закрыть глаза — и все страшное пропадет! Но Россия останется, она и дальше будет нашим соседом.

— А она в своих нынешних границах останется, как вы это видите?

— Мне трудно даже как-то говорить на тему геополитики.

— А у вас есть какие-то контакты с российскими коллегами?

— У меня много друзей, знакомых среди русских писателей.

— Кто, например?

— Это не секрет. Но просто если сейчас начнутся персоналии... За каждым из этих случаев стоит своя история. Кто-то из них сейчас называет украинцев фашистами.

— Хунтой.

— Да, кто-то из них называет украинцев хунтой! Кто-то, наоборот, называет Путина фашистом... На самом деле за каждым из них стоит имя, свое дело, своя история, свои расклады. Я просто не хочу сейчас все это выносить на обсуждение. Потому что убежден: когда все это закончится...

— ...эти люди будут иметь проблемы?

— Нет, не так, не в этом дело. Когда это все закончится, многим будет стыдно за свои слова.

— А может, и не будет.

— Это еще хуже.

— Вспомним политические процессы, которые происходили во времена Сталина. Дети людей, которые были преступниками, убийцами, — нормально себя чувствуют. У вас есть колонка о Донбассе: о том, как после войны будут относиться к определенным людям из Донбасса. Могут сказать: «Это они там во всем виноваты!» Да и раньше говорили: «Спасибо жителям Донбасса за президента Гондураса!»

— Да, да, да. Изначально это абсолютно цинично созданный механизм. Именно цинично, потому что целый регион выставляется активным объектом, вернее субъектом этой затеи. Так, жители Донбасса проявляли активность, они пошли на референдум и заявили, что не хотят быть в составе Украины. На самом деле никто не знает, сколько их там было, сколько из них действительно этого хотели. Там же липовые цифры. Ложные данные, ложная статистика. Никто не вспоминает уже сегодня, сколько людей выходило на просепаратистские митинги, а только — на проукраинские. На проукраинские, может быть, получалось даже больше! Были же и партизаны — оппозиция ДНР. А все это подавалось как воля региона, воля миллионов людей. Вроде они что-то хотят, что-то решают. На самом деле людей завели в огромную ловушку. И теперь они — заложники ситуации, более того, они и нас в нее втянули. Страна является заложником кри-

зиса! Но — да, я согласен: если отвечать на ваш вопрос, то сейчас проще сказать, что виноваты жители Донбасса.

— А есть люди, которые воспринимают эту ситуацию без истерики? Как философы?

— Очень мало таких людей. Когда ты видишь утром трупы — как воспринимать это философски?

— Вы видели трупы?

— Вживую? Нет, вживую я не видел.

— По телевидению только?

— Да, по телевидению. И на фото. Вживую — не видел.

— Если человек это увидел, он утрачивает объективность и непременно становится на какую-то сторону баррикад?

— Необязательно.

— Я бы это сравнил с войной в Афганистане, которая длилась десять лет. А сколько там людей погибло?

— Мирного населения?

— Российских...

— Официально — 12 тысяч. Но на самом деле, думаю, гораздо больше.

— Сколько гибнет в год в автомобильных авариях в России? От двадцати до тридцати тысяч в год. И кого это волнует...

— Одно дело, когда погибают в автомобильных катастрофах, другое — на войне. Понятно, что это трагедия, но это какая-то небрежность водителя или несчастный случай. Но когда одни люди убивают других сознательно, — мне кажется, отношение совсем другое. Тогда на самом деле появляется большой соблазн выбрать одну из сторон баррикады.

— Огромный! А что может людей удерживать? Неужели — культура? Трудно в это поверить, очень трудно...

— Я согласен с вами. Культура просто обнаруживает тотальную беспомощность. Даже — фатальную беспомощность! Потому что голос разума — он такой какой он есть. Часто он убедительный, но также часто к нему не хотят прислушиваться. Поскольку, если ты принимаешь голос разума, ты должен идти на внутренний компромисс. Должен признать, что и ты в чем-то не прав, что и ты, возможно, кое-что

сделал не так. Что, возможно, и к тебе могут быть претензии. Это же сложно.

— А часто бывает, когда кто-то спрашивает писателя: «Как мне жить дальше, за кого воевать?»

— Постоянно! И это — очень непростой момент. У писателя появляется соблазн давать какие-то советы, кого-то поучать.

— А как он это может знать? Откуда? Он же только пишет.

— Вот. И я об этом говорю. Поэтому желательно, чтобы писатель не терял остатки адекватности, не играл в мессию. Мне кажется, что, когда писатели начинают заниматься геополитикой — это плохо и для писателей, и для геополитики.

— А вот как Томас Манн говорил: «Где я, там Германия...»? Вы так могли сказать? О себе и об Украине?

— Нет, это слишком громко. Я бы так не сказал.

— Как вы относитесь к ситуации с русскими книгами на Форуме в этом году?

— Вы про квотирование книг на русском? Я об этом писал. Я, в принципе, очень настороженно отношусь к каждому случаю цензуры на уровне государства. Сегодня они будут цензурировать российские книги, ссылаясь на войну, а завтра — цензурировать украинские книги, ссылаясь на то, что кто-то не поддерживает политику партии и правительства. В принципе, я бы к этому подходил — к квотированию, к ограничению — исключительно с экономических позиций. Я об этом говорил еще сто лет назад. О том, что в принципе нужно защищать свой национальный рынок, книжный в частности. Но — не на идеологических основаниях. Если мы не пускаем российские книги, то не потому, что они русские, а потому, что поддерживаем своего производителя. Иначе — это конъюнктура. Кто-то надеется заработать себе баллы перед выборами, сыграть на ксенофобии, на русофобии, подогреть общую ненависть, которой в нашей жизни сегодня и так много. Я вижу в этом элемент государственной цензуры, и это меня пугает. Если сегодня они запретят Прилепина как русского фашиста, то завтра они запретят какого-то украинского анархиста.

— О Прилепине. Вы с ним знакомы?

— Мы с ним знакомы заочно. Лично никогда не виделись. Но я постоянно говорил, что мне нравится что он пишет, а он регулярно что-то говорил обо мне.

— А дальше что было? Почему вы не познакомились?

— Ну во-первых, не было возможности, во-вторых, я все-таки понимаю, что у него немного специфические политические взгляды, которые я не разделяю. А в связи со всем, что сейчас происходит в Украине... Я даже не знаю...

— Что вы можете сейчас о нем сказать?

— Что мне его книги нравятся не меньше, чем нравились раньше.

— А «Обитель»?

— Я еще не читал. Хочу прочитать. Это не касается его взглядов на Украину, Майдан, события на Донбассе. Я говорю о нем, как о писателе.

— Он — как Лимонов сейчас.

— Каждый реализует свое эго как может.

— Я его нашел сколько-то лет назад, какие-то его книги видел, пролистывал. Интервью сделал с ним. Мы часто виделись, — до того как он стал таким гуру. Где он — и где я! Сейчас мы просто знакомые.

— Я думаю, нам многим трудно будет искать слова, чтобы как-то объяснить свои позиции.

— Я его просил дать комментарий к моему тезису (шутливому и саркастичному): «Победили Чечню, победим и Украину». Ничего не отвечает. А еще я написал: «А что это за “русская весна”, где Гиркин, Безлер, Соловьев, Миша Леонтьев, Юнна Мориц? А почему эти ребята не назвали весну “юго-восточной” или “российской”? Нет, подавай им “русскую весну”». Притом что там не очень русская публика собралась.

— Провокатор, провокатор.

— Ну провокатор. Немного. Чтобы людей развлечь. А вы же и себя считаете, как вы говорили, украинским анархистом?

— Не украинским. Для анархизма такое национальное определение звучит оксюморно. Ну что это — украинский анархист?

— А вот я — украинский космополит.

— Украинский может быть националист. Либерал.

— Я украинский интернационалист. Украинский космополит. Это тоже оксюморон.

— Это симпатичный оксюморон.

— Я — именно украинский космополит. Не безродный, а — украинский. Макеевка была территорией Войска Донского. А Донецк — это уже за рубежом.

— Подождите, а до того, как это было территорией Войска Донского? Это же были украинские поселения! Это спорный вопрос.

— Я, как космополит, не слишком беспокоюсь о том, где какие границы. Какая-то есть во мне цыганская кровь, это тоже влияет... Еще пятнадцать лет назад написал: «Мне все равно, кому будет принадлежать Крым. Если он будет русским, у меня российский паспорт, смогу туда ездить без визы, если украинским — мне будет приятно как украинцу». Если я везде буду ездить без визы — то и хорошо. Этого достаточно. Но я не поеду в Крым, — что там делать? В Турции дешевле и больше комфорта, — если мы об отдыхе.

— Все это прекрасно, хорошо очень звучит. А вот такой момент... Российский паспорт. А если там будут крымских татар щемить и украинцев щемить, как вы к этому будете относиться?

— Это мне не нравится. Пятнадцать лет назад не было такого.

— А сейчас — есть! Обыски в школах, лицах, квартирах.

— Айдер Муждабаев, который работает в «Московском комсомольце», — мы с ним пьем водку время от времени, и я об этом много знаю... Скажите, а что сейчас будет с переводами?

— Украинско-российскими? Я думаю, они сейчас остановятся. Я подозреваю, что будет так. Отношения между нашими литературами и до этого не были простыми. В них было много политики и идеологии. А теперь очевидно, что нас отбросили в этом и так не очень хорошем процессе — лет на пятнадцать назад. Мы с моим переводчиком весной отдали мою последнюю книгу «Месопотамия» российскому издательству.

— Какому?

— Я не буду говорить. Это было после Крыма, но еще до активной фазы на Донбассе. Не было русских танков, но уже были Безлер и Гиркин. И мы тоже с издательством колебались некоторое время: нужно ли нам все это? Как это будет выглядеть, что мы в России издаем книгу? Тра-та-та-та-та. Но мы подумали, что все же, несмотря ни на что, несмотря на какие-то пассажи со стороны Путина, могут быть совсем другие украинско-российские отношения. Мы решили все-таки издать эту книгу. На самом деле в России еще остается часть писателей, которые до сих пор очень симпатично относятся к Украине и к украинцам.

— Их не так мало.

— И с ними, мне кажется, не надо обрубать отношения, не надо валить всех в одну кучу как «агентов Кремля» — а наоборот, максимально за них держаться. Потому что нам дальше с Россией жить, а России жить с нами, мы же никуда друг от друга не денемся. Можем распадаться, можем не распадаться, границы могут сдвигаться...

— Объединиться...

— Могут быть какие-то объединения. Я лично этого не хочу, например, но всякое может быть. Это история. Это история, и это геополитика. Но, так или иначе, наши два народа рядом — так сложилось исторически. И в этой ситуации самое глупое — находиться в состоянии взаимной истерики.

— Да никто это не будет слушать, эти рассуждения!

— Ну и ладно. Ничто мне не мешает с вами нормально общаться. Это же не то что мне позвонил Порошенко и сказал: «Рядом с тобой сидит человек — это москаль, не общайся с ним». Не нужно ждать звонка от Порошенко — я сам могу решить: общаться или не общаться.

В этот момент к нам подходит известная украинская издательница, и Жадан начинает ей рассказывать:

— У меня есть знакомый, живущий в Луганске. Так вот он не уехал оттуда! Остался там. Пишет прозу. О войне. Вам не интересно было бы? Как по мне, он хороший писатель.

Он все эти события фиксировал с самого начала. Это практически военная проза. Она почти не появляется.

— Должна появиться позже.

— Она и будет появляться, ее будет много, и она будет очень разная. Чем дальше, тем она будет хуже, потому что писать будут в зависимости от политической конъюнктуры. А это пишет человек, который в этой ситуации не встал ни на ту сторону, ни на другую. Оказался между двух фронтов. Он сейчас в Луганске. Иногда прорывается в интернет. Прислал позавчера письмо: там, в городе, осталось довольно много стариков, им некуда выезжать. Они сидят совсем без воды. Водопровода нет, а те колодцы и источники, которые были в пределах города, просто исчерпаны. Он, поскольку молодой парень, бегает за город по балкам, по оврагам, собирает воду и пенсионеров поит. И вот он об этом пишет.

— Но не воюет.

— Он не воюет. Мне кажется, очень важно, чтобы это услышали. Он нигде не печатался, он писал для себя. Он пишет на русском. Как по мне, вполне сформировавшийся писатель. Со своим голосом. Все у него хорошо. Это не какая-то там любительщина. Просто ему это интересно, для него это какое-то хобби. Он там работал, каким-то бизнесом занимался.

— Бизнесмен пишет прозу!

— Да. И до этого у него были какие-то философские, исторические рассказы, а когда все это началось, он начал писать о том, что видит. А видит он, как Саур-Могилу штурмуют. Хрящеватое он проезжает... Такие вещи. И он пишет, не впадая при этом в какую-то идеологию. Он немножко иначе на это смотрит — как человек, который вдруг оказался в центре ада, между вторым и третьим кругами. И, не принимая сторону второго и третьего кругов ада, он между ними пытается остаться человеком.

— Философ. Как мы с вами.

— Он не философ. Он никогда не был откровенным сепаратистом, однако и «Слава нации!», и «Смерть врагам!» никогда не кричал. Обычный человек. Обычный нормальный человек.

— А как его зовут?

— Олег Куликовский. Вы никогда о нем не слышали, у него не было публикаций. Это мой знакомый, он меня где-то нашел в интернете и начал писать. Я пришлю вам...

— Хорошо.

— Всё, увидимся, встретимся — еще поговорим.

Жадан засобирался, ему на ТВ выступить, потом стихи читать людям... Про мир. Про человеческие отношения. Наверное, это как раз то, чем должен заниматься поэт. А мог бы на войну звать. Как некоторые.

АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ

Возвращение из Силиконовой долины

Биография — без которой ну какой же писатель — у Иличевского роскошная. Закончив знаменитый Физтех, он уехал в Калифорнию и там работал по специальности, физиком, — но все бросил и вернулся в Россию. *Cherchez la femme*, да к тому ж писателю сподручней творить среди родных осин. Обо всем этом — беседа с Иличевским. Которая проходила в редакции журнала «Лехаим», в которой один из собеседников — угадайте который (шутка) — трудится по совместительству. (Дело прошлое — Саша давно оттуда ушел и уехал на ПМЖ в Израиль. — И. С.)

Лехаим!

— Ну, Саша, коротко расскажи о себе. Что у тебя тут происходит в редакции «Лехаима». Чем ты тут занимаешься?

— Наш замечательный журнал выходит раз в месяц. Я тут работаю человеком, который пишет сюда колонку, надзирает за всеми подписями к картинкам и пишет некрологи.

— Некрологи... Это уже о вечном! Как и положено писателю.

— Вот в этом месяце уже написал два. Это всё евреи. Луис Хенкин, крупный спец в области международного права, помер на Манхэттене в возрасте 92 лет. И популярная писательница — Белва Плейн, которая померла в возрасте 95 лет. Не на Манхэттене, но тоже в Нью-Йорке.

— Работаете, значит, только с евреями. Ну что, тоже подход!

— Нет, у нас подход широкий. У нас печатается все на свете. Но все связано с еврейской темой. Я горжусь, что работаю в этом журнале, потому что он реально хороший. Жалко только, что он распространяется исключительно по подписке!

— Должность твоя как называется?

— Трудно сказать. Ну, в мои обязанности входит еще функция, которая описывается термином «креативный редактор». Я этим год почти занимаюсь.

— А как это получилось, с журналом?

— Я долгое время работал на радио «Свобода». Я там был веб-редактором. Мы сайт развивали, занимались производством веб-контента. Потом я ушел с радио, потому что подписал договор с издательством АСТ на книгу. И написал ее.

А потом деньги кончились, и я снова пошел на работу. Сюда.

— Но год ты пожил как король.

— Абсолютно! Но я вкалывал, естественно. Я добился ровно того, о чем мечтал всю жизнь, — все бросить и писать. А то же мне всегда все мешали писать. Это была перманентная борьба. Была всегда работа ненавистная...

— Это ты про какую именно?

— Всякого рода менеджмент, всякого рода рутинная му-тотень. Это вынуждало меня вставать в пять утра, чтоб хоть что-то успеть сделать. Нездоровая такая деятельность... Это было довольно-таки напряжно.

— И в чем же тут дело? Почему нет денег у модного писателя, которым ты являешься? Что тому виной? Черные тиражи пиратов? Или книги у тебя неправильные, а надо писать, как Донцова, чтоб зарабатывать? Или вся беда в том, что ты пишешь про русских?

— Я думаю, тут вот что... Уверен, что тиражи — той литературы, которой я занимаюсь — не очень высоки. Раза в три ниже, чем у попсы. Думаю, что литературная интеллектуальная жизнь у нас мало чем отличается от европейской. (Я говорю про европейскую не англоязычную литературу.) Очень похоже дела обстоят во Франции. Там, в принципе, книжками невозможно заработать — и здесь тоже. Но это кардинально отличается от ситуации с англоязычными писателями: все, что происходит в англоязычной литературе — это чрезвычайно широковещательно. Я знаю одного писателя шотландского замечательного, единственная книжка которого в 2004 году получила хороший отклик и солидную

премию — и он замечательно живет с одной этой книжки в течение шести лет.

— Может, тебе на английском начать писать? Ты там ведь и пожил, ты в теме...

— Я писал на английском, когда жил в Америке. Но это был какой-то начальный подступ. И забавно то, что мой товарищ американский, Тейт Андерсон, который 10 лет прожил в Зальцбурге, сказал мне: «Все это хорошо, но твой синтаксис похож на немецкий». Для меня это огромная загадка — почему мой английский синтаксис похож на немецкий.

— А я тебе объясню. Вот в Одессе строй речи довольно странный, и людям, которые не в теме, это непонятно. А на самом деле это строй идиша, который сохранился в языке людей, даже на идише не говорящих, а это с такими заходами говорили по-русски их идишные бабушки. Идиш же, как известно, произошел от берлинского диалекта немецкого языка... Значит, не смог ты на английском писать по-писательски! Твой друг тебе объяснил, что ты не сможешь повторить успех Джозефа Конрада.

— Ну, он не приговаривал меня...

Бегство из Америки

— Но ты этот путь отринул.

— Отринул. Главным образом потому, что вернулся сюда.

— Редкий случай.

— Ну почему — редкий?

— Почему — это долгий разговор. Но статистика такая, что мало кто возвращается. Или уж если на родину, так с американским паспортом.

— Я вернулся без паспорта.

— С грин-картой.

— И без нее.

— Как так? Теперь мне уж совсем ничего не понятно.

— Когда я туда ездил последний раз, меня спросили, планирую ли я там жить? Я честно ответил — нет.

— Соврал бы.

— Нет, человек, который ею владеет, должен каждые полгода подтверждать свое присутствие в США. И половину года там находиться.

— То есть ты теперь как простой человек должен получать визу...

— Ну, это сильно для меня облегчено, потому что в Калифорнии живут мои родители. И другие родственники.

— Да... Не использовал ты этот шанс — конвертироваться в англопишущего. А разве это не заманчиво — из провинции (то бишь русскоязычной литературы) перебраться в столицу — в англоязычную литературу то есть?

— Гм... У меня любопытство к Америке возрастает с годами. Пока я там жил, я не очень любил ту страну, потому что я воспринимал ее всю в несколько декоративном виде. Я не мог прочувствовать ее природу, ее ландшафты определенные. Я находился там в очень отчетливой тоске по каким-то невоплощенным делам, которые остались здесь, в России.

— Ты размазался в пространстве, туда-сюда-обратно.

— Да. И надо было как-то почетче почувствовать почву под ногами. Я сейчас — уже задним числом — понимаю, что какие-то вещи, которые мне были тогда доступны, но неинтересны, — сейчас интересны, но недоступны.

— Например.

— У меня вот есть — теперь — мечта: проехать на машине из Нью-Йорка в Калифорнию. От начала до конца. По всем национальным паркам проехать...

— Сколько ты там прожил, лет десять, кажется?

— Я уехал туда в 91-м, а окончательно вернулся в 99-м. Но я там, конечно, бываю, связи не потерял. Мне все-таки приятно ездить туда, в страну, зная, что в лучших ее университетах мои книжки разбираются. Это приятно. Приятно получить письмо, к примеру из Стэнфорда, в котором сообщается: «Все, что сегодня завезли, — уже раскуплено».

— На русском?

— Да. У меня пока нет переводов, вот только ведутся переговоры с Harper's & Collin's. Будем надеяться... Мне будет

почетно и приятно — видеть себя переведенным. Насчет эмиграции скажу. Одно из моих самых первых ярких впечатлений на территории Калифорнии — это когда меня привезли знакомые в Окленд, на flea market. Там много чего продавалось, винил меня больше всего интересовал, виниловые пластинки. Иду смотрю — и вдруг вижу: на газетке лежит собрание Добролюбова, 57-го года. Переведенного на английский. Я листаю... А продает это огромный негр, растафари. И я его спрашиваю: сколько стоит? А он меня: откуда ты? Из России. А зачем ты сюда приехал? Ну как, — эмигрировал. О, мэн, ты уехал из такой великой соцстраны, зачем ты это сделал? Я социалист!

— Ну и пусть валит в соцстрану. Какую-нибудь. Пока они еще остались.

Продаем смысл

— Ну да ладно, Америка для тебя — тема закрытая.

— Запечатанная.

— Нету, значит, такой темы, что ты — гражданин мира. Ты теперь решил стать писателем Земли Русской. Но это какая тема — (графо)мания? Задача спасти мир? «Не могу молчать?» L'accuse? Изменить мир у лучшему? Разгадать тайну бытия? Стать знаменитым, чтоб девушки давали бесплатно? На хера, короче, тебе это все?

— Ну, это дикое любопытство, я думаю. Все-таки по большому счету хочется узнать, как устроено мироздание.

— Так это скорей физика — про то, как оно устроено.

— Физикой я занимался.

— А, и там ты все понял. И теперь решил зайти с другого конца, залезть в новый слой?

— Не то чтобы я там все понял, просто в какой-то момент мне стало понятно, что существуют еще и гуманитарные модели, которые дают возможность приоткрывать какие-то тайны мироздания. Не только наука — но и романый мир мог бы приоткрыть перед человеком некоторые стороны сложного устройства мироздания.

— Как кто? Как Флобер? Как Толстой?

— Как Хлебников. Меня в нем привлекает какая-то дикая пытливость. Ему хотелось узнать, как устроена история, — он писал «Доски судьбы», маниакально высчитывая какие-то формулы, наполненные степенями двоек, троек.

— Как процесс — это любопытно, а результата же нету. У Хлебникова.

— Результата, слава богу, нету. Хотя — как нет? Твое любопытство так или иначе продуцирует смысл, а смысл выходит, собственно говоря, на рынок, и этим смыслом питаются другие люди.

— Ловля смысла у тебя происходит?

— Ну да. Если ты меня спрашиваешь про какие-то материальные отзвуки моей деятельности, то я бы это назвал продажей смысла. Так всегда везде всё устроено, и в науке тоже.

— Продажа смысла? В виде книг?

— В виде книг, да.

— И еще любопытство тут.

— И любопытство, да.

— И уход в отшельничество?

— Нет, нет, нет. Мой товарищ старший и учитель, Алеша Парщиков, — он говорил, что эпоха отшельников прошла. Сейчас у нас метаболизм информации — обмен веществ в информационных слоях — настолько ускорен, что отшельничество непродуктивно. Отшельник — он, не будучи подключен к смыслам, ничего не добьется. Время очень сжато, мир развивается по экспоненциальной такой кривой, прогресс — технологический по крайней мере — идет с огромной скоростью... Сейчас мы, к примеру, уже не можем себе представить, как мы жили без мобильных телефонов.

— Я сам часто думаю об этом. Смотришь старое кино и думаешь — жизнь вся была другая.

— И еще мы не можем себе представить жизни без ноутбук. А потом мы не сможем себе представить, как мы жили без планшетников, устройств, которые объединяют в себе мобильный телефон и компьютер. Отшельничество как способ отдыха прекрасно. Но если ты занимаешься производством смысла, то тогда отшельничество совершенно непро-

дуктивно. Это раньше можно было каким-то образом отойти в сторонку, посидеть подумать...

— «Посидеть» — в хорошем смысле слова.

— Да, в хорошем. Написать «Анну Каренину». Потому что все знали — за то время, что ты будешь писать толстый роман, мир, в общем, останется прежним. А сейчас, пока ты будешь заниматься отшельничеством, мир тебя обгонит. То, что создано в рамках отшельничества — для мира будет непригодно. Поэтому волей-неволей, для того чтобы делать какие-то смысловые вещи, надо быть в гуще. Тексты должны быть очень конкурентоспособными, они должны быть обращены в достаточно далекое будущее. Сейчас хорошая литература — это футурология, на самом деле. То есть надо предсказать поведение человека в суровых условиях ускоренного технологического прогресса. Как он будет меняться... Это очень важно. И человек как вид — тоже меняется. Вот мы сейчас обнаруживаем, что есть правые и есть левые — чем это предопределяется? Наследственностью, воспитанием? Это все очень большая тайна. И речь идет, я уверен, о видо-вых изменениях в человеке. Это все очень забавно. Человек тоже меняется!

Роман «Перс». Замах

— Если говорить про твою книгу как про попытку продать смыслы — то ты туда вставил все самое модное: Америка, ислам, нефть, Кавказ, нимфетки...

— Нимфеток там нет.

— Минуточку. У тебя взрослый дядя пользуется несовершеннолетней — это что?

— А, есть, да.

— Я уверен, что это автобиографичное; у тебя явно была любовь с девочкой двенадцати лет, и ты даже хотел на ней жениться, но ты это по понятным причинам приписал одному из персонажей.

— Вне всякого сомнения.

— Сколько ей было лет?

— Не помню.

— Я тем более. Но, вижу, ты замечаешь следы.

— По большому счету я в меньшей степени думал о модности.

— А думал ты об актуальности.

— Я писал о том, что меня дико волновало. Для того и не надо быть отшельником, чтоб тебя волновало то, что волнует всех остальных. Для того чтоб быть на острие луча, который проникает в новую эпоху, — это на самом деле хлебниковское выражение: «Я стою на острие луча».

— Пафосно.

— Это цитата из Хлебникова, можно ему этот пафос простить. Он находился на острие, его волновало новое. Он распахивал эпоху. Он же по образованию математик. Это неспроста, что мой роман по большей части о нем, — его дико интересовали научные открытия! Все, которые начинались в XX веке. И по большому счету теория относительности, идея единения времени с пространством, — она очень сильно повлияла на структуру его мышления. Вот. И герой мой занимается всякими сумасшедшими вещами, ищет прародителя всей жизни на Земле в нефтяных скважинах, например.

— Чтобы продать этот смысл.

— Это действительно так. С очень большой вероятностью универсальный общий предок всего живого — действительно произошел от микроорганизма *Methanospirillum hutchinsonii*, который обнаруживается при глубоком бурении.

— «Контора Глубокого Бурения» — помнишь? (Помнит. Смеемся. Мы еще в чем-то совпадаем, несмотря на разницу в возрасте.) — А на премию ты замахиваешься в этом году? Как обычно?

— Я, честно говоря, считаю, что книжка достойна всего самого лучшего. Замахиваюсь или нет — неважно, главное, что я доволен тем, какой она получилась. Задумывалась она очень давно. Двенадцать лет подряд я читал все, что связано с Каспием, с этим ореолом хлебниковским, и с Персией. Историей ислама я занимался, суфизмом — и всем на свете. Я смотрел, как это все происходит. Это была большая важная работа. У меня на чердаке два огромных столитровых рюкзака, забитых только распечатками материала к роману. Не

говоря уже о том, что огромное количество материала я счел недостойным распечатывания. Роман был написан со второй попытки. Была пять лет назад попытка, я написал страниц двести — и скис. Понял, что не хватает...

— ...жизненного опыта. И ты пошел в люди. Как Макс Горький.

Смеемся.

— Ну да, еще отхлебнуть чуть-чуть. Стал я работать на радио «Свобода».

— «Свобода» в кавычках.

— Свобода — с большой буквы! На свободу, короче, пошел. Дальше ты уже знаешь.

— Помнишь, я тебе про прошлые твои книги говорил — это у тебя поток сознания лирический, а нужен сюжет и жизненное мясо. Но ты орал: «Пошел нах! Не будет тебе никакого сюжета! Как хочу — так и пишу! В манду вас с вашими советами!» Но вот пожалте — всё есть. Видишь как! Старый хохол все-таки оказался прав.

— Ну если без шуток, то я считаю, «Перс» — сложнее всего, что написано до сих пор.

— В мировой литературе?

— Нет, из того что я написал. Тут был вот какой момент: я понял, что сложно о сложном писать невозможно. Поэтому я писал просто о сложном. И видимо, наверно поэтому возник эффект большей доступности.

— Сюжет возник! А то у тебя было без начала без конца. Рыдания лирического героя. Описание закатов/рассветов.

— Да, да.

— Видишь, я все-таки выполняю свою задачу как литературный академик — достаю молодежь.

— Ну да, ты раз в год говоришь мне — годится или нет.

Путь в писатели

— А это немало. И потом, каждый берет ношу по силам. Кто-то в каменоломнях вкалывает каждый день, а кто-то раз в год изрекает мудрое, выпивает стакан водки — и уходит... Скажи, пожалуйста, а думал ли ты в детские годы стать

писателем. Как, например, Альфред Кох. Или Петр Авен. Но им отцы не разрешили идти на филфак. На который и ты не пошел, кстати.

— Как это случилось? В детстве я никогда ни при каких обстоятельствах даже мысли не имел стать писателем. Все детство я читал без конца, причем энциклопедии, как это ни странно. Сначала Детскую, потом Большую советскую. И еще я конструировал двигатели. Самолетные. Я брал специальную тетрадку и там их рисовал. Прорисовывал, как расположены цилиндры, как там топливо приходит, как устроен турбореактивный двигатель. Это меня очень волновало. А еще я любил решать задачи. Началось с того, что папа прочел в моем дневнике сообщение классной руководительницы: «Саша не знает порядок действий в арифметическом выражении». Папа не ругался, он посмотрел на меня и сказал: «В ПТУ пойдешь». В ПТУ я идти не хотел ни при каких обстоятельствах. И потому через полгода поступил в заочную школу при МФТИ. И я начал решать задачи и долго не мог остановиться. Я ждал, когда мне пришлют новые задания, и кидался их решать. Я любил решать, когда засыпал. Эта граница сна и яви... Мозг в состоянии творческой деятельности схож со своим состоянием во сне. Скажем, в «Капитанской дочке» Пушкин описал вещий сон, который снится Гриневу, — снится именно «в первосонье», как это состояние назвал Александр Сергеевич. Бывает, что когда засыпаешь, у тебя возникает некое видение, а в нем — творческий смысл.

— Ты там выше упомянул «Анну Каренину». Про которую Лимонов сказал, что роман тот — ни о чем. Сюжета нет, жизни нет. Ну женщина трахается с офицером, а муж недоволен, — и дальше что? И нету, по Лимонову, профессии такой — писатель, а надо просто жить интересно и эту свою жизнь описывать один в один.

— Это неэффективный способ писанины. Да, по молодости лет мне, как и Лимонову, казалось, что если ты не пережил всякого разного, если нету у тебя мяса собственной жизни — то не о чем писать. Но в какой-то момент у меня стали получаться вещи, которые работают на предсказание. Я говорю об интуиции, — когда ты кусаешь не кусок жизни,

а плоть интуиции. Ухватываешь какие-то правильные вещи, которые на самом деле гораздо более реальны, чем реальность. То есть твоя выдумка — она дает такую прибавку к твоей личности. Бродский говорил, что вы начинаете стихотворение одним человеком, а заканчиваете совершенно другим. Вот и я об этом же. И Бродский, естественно, очень нелюбимый писатель для Лимонова — и тут мы имеем два разных взгляда на литературу.

— Один из них получил «Нобеля», а другой пока нет.

— Да, кстати. Но — я считаю, что оба взгляда имеют право на существование. И потом, всегда ли в этом есть смысл — собирать фактуру, специально изучать жизнь? Вот я в прошлом году проехал с товарищем 7500 км по России. Мы исколесили Харьковскую область.

— Харьков — это не Россия.

— Извини, извини: это была не поездка по России, а заграничное турне. Мой прадед по материнской линии — он из села Козиевка, под Харьковом. Мы ездили посмотреть, как там всё.

— А у меня дедушка тоже из тех мест. Он служил в Харьковской Чрезвычайке.

— Да?

— Так вышло.

— Мы в пути повидали много, поездка была насыщена впечатлениями. Я, естественно, вел дневник. Но когда я сел писать...

— Ты понял: писать не о чем.

— Да. Я вдруг понял: максимум, что я из этого могу выжать, — это три страницы, которые и вошли в мой следующий роман. Это описание грозы в степи. Чернозем набухает, вылезает на асфальт, вся дорога прекращается в такую скользкую змею. Очень жирная скользкая степная земля. Молнии разлетаются по небу.

— То есть ты не чувствуешь, что перед тобой стоит задача ездить на войны, в Африку на охоту, жениться на миллионерах, ловить рыбу с яхты «Пилар»...

— Все меняется. В юности я дико завидовал друзьям, которые сплавлялись на плоту 10-местном по какому-то

притоку Лены и за три месяца прошли 937 км. Они видели брошенные деревни на берегах, видели медведей, которые ловят рыбу на перекатах, но людей не встретили! За три месяца — ни единого человека. Я думал — как это здорово, попасть в такую красивую пустоту. А сейчас меня на такое не тянет. Мне уже нужны люди. Такая эволюция. Сейчас меня привлекают путешествия по Европе. Пешком или на велике по Каталонии, по Франции... С рюкзачком.

— Скажи, а должен ли писатель Земли Русской болеть за судьбы, идти в народ или на Триумфальную площадь, чтоб его били по башке дубинкой? Должен пить чай с Путиным и наезжать на него — почему в стране не соблюдаются законы и почему у вас все так невысокохудожественно и херово? И ваши менты почему стреляют людей? Должен ли он писать новую крамолу и слать ее на Запад, как Солж? Или должен говорить: «Отвалите от меня нах и дайте мне тихо сидеть в башне из слоновой кости?»

— У меня очень жесткое убеждение на этот счет. Я считаю, единственное, что писатель должен — это все лучше и лучше писать. А больше он никому ничего не должен. Все остальное его не должно трогать вообще. Включенность его в социум — дело добровольное, хочет — пусть включается.

— Очень важна всегда тема «Русский писатель и водка». Он или пьет, или подшился, или мучится как-то иначе. Расскажи!

— У меня в семье никто никогда не пил. Разве что, помню, мама раз в полгода могла себе позволить пиво. Она край стакана солью еще смазывала. Отца я никогда подшофе не видел. Он никогда не пил и не курил. Но тем не менее я люблю выпить. Что касается напитков, то с возрастом у меня все свелось к красному вину.

— Ни запоев у тебя, ни мрака...

— Нет, нет. Мне не надо: я ловлю чертей и без того. Но я очень хорошо понимаю Фолкнера, который после практически каждого романа уходил в очень серьезный запой. Человек, собственно говоря, уходил в отдых — серьезный, долгий и мучительный.

«Эта» тема не раскрыта

— Вот я сейчас слушал тебя — и вдруг понял: персонажи у тебя вяло как-то себя ведут, тема «про это» у тебя не раскрыта.

— Это предстоит еще.

— Ты пока боишься взяться? Или копишь фактуру? Читаешь по теме и ждешь, когда наберется два рюкзака распечаток? Ездишь в творческие командировки? А помнишь, коллега Куприн поселился в публичном доме, чтоб насобирать фактуры для романа про проституток «Яма»? У тебя тоже такой план? И то сказать, незачем тебе по верховьям Лены мотаться, там не то что баб — вообще нет людей. Ваще баб нету.

— Что касается фактуры по этой теме, то, думаю, у меня все нормально.

— Что значит — нормально? Женился, и живешь с одной женой, и даже ей не изменяешь?

— Жизнь-то прожита долгая. И молодость была... Фактура накоплена.

— А ревность, самоубийство, попытка по крайней мере, убийство соперника?

— Это очень неинтересно. Вот эти психопатического рода вещи мне не интересны, я считаю, что это какая-то чистая химия. А не настоящие чувства.

— То есть у тебя все тут позитивно, жизнерадостно.

— Ну, не то чтоб жизнерадостно... Момент любовной одержимости — он замечателен. Меня это дико привлекает. Я сейчас взялся за некую вещь, и там тема одержимости настоящая и совершенно плотская. Доступная многим юношам. И это основная драма в этом романе, за который я взялся и который еще названия не имеет.

— Ты созрел, значит.

— Бунин, кстати, писал «Темные аллеи» уже в состоянии достаточно престарелом.

— И там все устарело, читать невозможно про эти слюни капающие.

— Как говорил Бродский, наступает выгодный возраст, когда ты смотришь на девушку без прикладного желания на нее взобраться.

— Ну, тебе еще рано об этом.

— Ну, одно дело мочь — а другое дело смотреть неангажированно.

Прогноз

— Вот ты говорил про футурологию — так дай же нам прогноз по развитию мира. Писатель — он же оракул и пророк.

— У меня никогда не было лучшего настроения насчет будущего. Не то чтобы я вижу впереди розовые времена... Я просто был пессимистичен раньше. Лет пять назад я в розовых тонах о русской политической жизни думать не мог. Но теперь иначе.

— А что было пять лет назад у нас?

— Депрессивная ситуация была. Почему у меня настроение улучшилось? Оно начало улучшаться с того момента, когда Медведев сказал о преступлениях Сталина. Для меня это было очень важно, потому что у меня много родственников умерло в 1933 году от голода на Ставрополье. Сталина моя бабушка иначе как убийцей не называла. Можно смеяться над словами о модернизации и насчет всего остального, но я почему-то вижу живую заинтересованность, вижу желание Медведева — не знаю про остальную власть...

— ...понравиться тебе и таким, как ты.

— И слава богу! Почему нет? Мне нравится, когда мне хотят понравиться. Это симпатично. Я не считаю себя самым плохим человеком в этой стране, понимаешь? И когда власть сигнализирует, что она хочет мне понравиться — настроение у меня поднимается. Кто там из них главней, мне не интересна эта внутривластная параша. Если бы они махнулись местами и мне бы премьер сигнализировал — это было бы тоже замечательно.

— Ты думаешь, это все всерьез?

— Я не обнадеживаю себя особенно. То же самое Сколково — это еще один повод для воровства. Как и нанотехнологии. Хоть туда и вкладывается самое лучшее. Но это не так надо делать. Силиконовая долина — это продукт очень долгого периода конкуренции огромного количества серьезных компаний. Когда я жил в Калифорнии, то это было совершенно нормально, когда люди вкладывались в венчурные проекты. Но сколько раз я видел, как через три месяца после удачного стартапа проект сдувался! В той же Силиконовой долине безумные деньги просто ушли в хлябь, в топь. Ушли, потому что лопнули фирмы. Вероятность успеха там — не более десяти процентов. А здесь они планируют на ровном месте сделать сплошь успешные проекты. Чушь полная!

— Если мы говорим про ту же Калифорнию — Силиконовую долину ведь не в Малибу же строили. Не в обжитом месте, а в стороне, подальше от цивилизации и от дорогих гектаров.

— Конечно! Когда Физтех строили, то Долгопрудный был медвежьим углом. Там не было асфальта, и люди там в галошах ходили и галоши теряли в грязи. Надо строить в глуши, чтоб народ не отвлекался. И самое удивительное, я тебе скажу, — бессмысленно строить научные центры и при этом не вкладываться в образование. Бес-смыс-лен-но. Вот как был устроен наш Физтех? У нас там были базовые кафедры, мы там учились, учились и буквально с первого курса знали, где будем работать — в каком именно академическом институте будем применять знания. А где Сколково будет брать людей? Покупать за границей? Это глупость. Надо рубить туннель с двух концов. Не будет образования — ничего хорошего в нашей стране не будет. А где сейчас учиться? Почему у нас до сих пор нет ни одного частного университета? Почему у нас нет предпринимательства в области образования и медицины? Это ненормально. Сколково не решит ничего.

— Какие у тебя еще мысли о будущем?

— Меня больше волнует настоящее. Я убежден, что мы должны жить очень сильно настоящим, наше будущее — это настоящее. Нельзя себя закладывать на будущее и на него рассчитывать. Правильное состояние природы — это когда

человек может наслаждаться настоящим, получать от него удовольствие. Это на самом деле довольно трудное дело. Но мне кажется, что нужно себя вытягивать именно на такое мироощущение.

— Ты же себе вытянул.

— Ну да.

— Ладно, в политике ты видишь позитив. А если шире взять? Какой будет Россия, Европа через десять или двадцать лет, каким будет мир? Что случится с ним?

— Я убежден, что если говорить с точки зрения конца времен, то XX век был веком апокалипсиса. В этом веке появился такой двухголовый антихрист в виде Гитлера-Сталина...

— И еще же были американцы, которые применили ядерное оружие против мирного населения.

— Двадцатый век — это был сплошной ужас. И степень взрослости цивилизации в том, чтобы этот ужас осознать и его отработать, осознанием — осознанием того, что такое был двадцатый век. Он не должен повториться, и это важно понимать. Нужно выработать корректное отношение к двадцатому веку. А что будет через десять или двадцать лет? Про это я знаю только, что неостановимы будут технологии. Появятся совершенно немыслимые (пока что) вещи, которые предсказать совершенно невозможно.

— Например, частные летающие тарелки.

— Ну что-нибудь в этом духе. Или произойдет деградация человека до состояния искусственного интеллекта.

— Или разделится человечество на тех, кто живет на дереве...

— И тех, кто на околоземной орбите. Я бы желал, чтобы третий мир перестал быть третьим миром, а стал вторым.

— А может, он будет уничтожен. А что будет с мусульманской экспансией?

— Думаю, что так или иначе произойдет отчетливая реформа ислама, хоть это кажется невероятным. Проблема экспансии ислама — это проблема бесплодия западной цивилизации. И пока западная цивилизация не возьмется в себе силу...

— А может и не возыметь. Некоторые цивилизации успешно развалились.

— Я вот что на это скажу. В 1900 году Владимир Соловьев написал книжку «Три разговора» — и там есть «Повесть об Антихристе». В ней в очень живом ключе разбираются ситуации с разными экспансиями. Кончается все вторым пришествием Христа, которого евреи признают подлинным мессией. Силы зла проваливаются в огромную трещину, которая проходит вдоль Мертвого моря, и на земле строится Царство Божие. Мне очень нравится думать про это.

Деньги

— Вот Роулинг — ну будучи в тыщу раз дурней ее, неужели миллиона нельзя заработать книгами? Ты рассматриваешь такую возможность?

— Рассматриваю. Я считаю это вызовом. Вот мы с товарищем написали сценарий по моему рассказу. У киношников замечательное мышление. Они очень строго говорят: вот не надо рассказывать, — где действие? И ты уже подтягиваешься. Ведь что такое искусство? Это дисциплина. Стихотворение начинается с дисциплины ритма, рифмы, строфики. Есть требования жанра, требования рынка — это все-таки заставляет быть искусным. Грубо говоря, либо ты принимаешь вызов — либо нет. Если принимаешь, то понимаешь, что результат будет оплачен. И ты соответственно начинаешь работать. Если бы у меня не было ситуации с договором с АСТ, этого вызова, — я не написал бы роман, который написал. Если бы не было вызова. Плата за труд — она может только стимулировать человека. Взять Микеланджело — он же всегда был в долгах и потому работал как проклятый.

— Загонял себя в долги.

— Да. В ситуацию, когда или пан или пропал. Это, конечно, очень тяжело психологически — зато результативно. Мой покойный старший товарищ Алеша Парщиков, с которым я советовался подписывать мне договор с издательством или нет, — сказал, это надо сделать. И я его послушал. Это действительно было трудно, но продуктивно.

— Это год заняло у тебя.

— Ну не год, а два. Договор был на пять лет, на три новых романа. И они купили все книжки, которые я написал. Это меня поставило в жесткие рамки.

— Но несмотря на договор ты работаешь в журнале.

— Естественно, я потратил деньги на повышение благосостояния семьи. Довольно-таки у нас в Москве дорогая жизнь. Каким бы замечательным ни был договор...

Сила любви

— Может, центральная история из твоей жизни — это история с женой и ухаживанием. Это было одной из причин возвращения? Или вовсе главной? Расскажи.

— Я познакомился с ней на Физтехе. На первом курсе. Но там была такая масса ухажеров! И она была еще на курс меня старше. И факультеты разные — она с ФУПМа, а я — ФОПФ. Она все время тусовалась на ФОПФе. Еще в институте замуж вышла. Девиц на курсе в Физтехе — ну пять, максимум. Но недостаток девушек компенсировался: мы перед дискотеками посылали делегатов в Плехановское или в Институт культуры, где изобилие девиц было.

— Как же, как же, и я туда, в Институт культуры, ездил на культурный отдых. Автобус 368-й ходил на Левобережную с «Речного вокзала».

— Да, да! Как ты все помнишь!

— Ну. А ты, получается, не то чтобы ухаживал, а больше облизывался.

— Да, это правда. Так это называется. Вздыхал, как говорится.

— А ты был не доминирующий там самец.

— Я не жаловался на отсутствие личной жизни... Во-первых, мы тогда все сильно стройнее были, хотя и сейчас не жалею, а тогда тем более. Компания у нас была довольно бойкая, искрометная. (Теперь кто в Бостоне, а кто в Чикаго.) Мы не жаловались на нехватку женского внимания. Иногда из соседних комнат приходили — мужики, будьте людьми, поделитесь бабами. Ну, мы делились, делегировали парочку

девчонок. Но в целом на Физтехе не было откровенного студенческого блядства. У нас было очень рыцарское отношение к дамам. А потом я уехал в Израиль, потом в Америку...

— Не воевал там? На Ближнем Востоке?

— Нет. Я там учился. Год. Я наезжал сюда, я скучал, очень скучал. В Америке я не успел толком ничего полюбить. Все девушки, которые у меня в Америке были, — это был лингвистический кабинет. Для языка, — а другой пользы с них не было. Бабы — такое дело! Хочешь не хочешь, а заговоришь. И вот я маялся, катался туда-сюда... Тем временем моя будущая жена развелась. Она ответила мне взаимностью в 1997-м, а поженились мы в 2000-м. У нас уже двое детей. Видишь, как получилось? Я прошел путь тяжелого естественного отбора.

— Чем она занималась?

— Она всю жизнь работала в фирме ABBY Software House, лучшая в России IT-компания. Это физтеховская команда в основном. Жена занимается дизайном всех обложек и коробок. Она отказалась ехать в Америку, и мне пришлось тут остаться.

— Скажешь, это главная причина?

— Да.

— Ладно тебе!

— Точно.

— Я потрясен.

— Ну вот так вот. Меня увлекало что? Моя личная жизнь. И плюс литература. Я этими двумя вещами занимался и не замечал больше ничего вокруг.

Духовность в хорошем смысле слова

— Ну и точно: довольно глупо быть писателем Земли Русской — а жить за границей. В Штатах тем более.

— Совершеннейшая глупость, конечно.

— Ладно, Бунин — хер с ним.

— Ну, Бунин уехал с ненавистью, «Окаянные дни». И кроме того, он уехал сложившимся писателем. А я был только в начале пути. Для меня это все было важно — приехать и жить здесь.

— Ты, значит, эксперт по теме — пора валить или нет? Вот была передача недавно на НТВ про это. Чечня, таджики, грязный воздух и прочее — ничего типа хорошего в России. Так что — валить? По крайней мере, детей в Лондон отправить, на учебу для начала?

— Давай лучше я тебе про русскую провинцию расскажу. Волей-неволей я ее наблюдаю в течение последних десяти лет. Восемь лет назад в Тарусе (я там тогда дачу купил как раз) не было уличного освещения. Как садилось солнце — вместо города просто зияющая дыра. И не было асфальта практически нигде, дорога от Серпухова до Тарусы — просто какая-то катастрофа. Это касается и более удаленных, чем Таруса, мест. Я хочу сказать, что Москва сейчас и Москва десять лет назад — это наследуемые сущности. А в провинции я наблюдаю реальные изменения. Тула сейчас и Тула десять лет назад — это вещи несопоставимые. И Таруса тоже. Там лучшее кардиологическое отделение в области.

— То есть Россия встает с колен.

— Давно она уже встала. Тем более что встать с колен — это вопрос сознания. Медленно и сложно, — но постепенно жизнь в стране, на мой взгляд, улучшается. Конечно, изменения могли идти хотя бы в два раза быстрее, но тем не менее хорошо, что хоть что-то есть.

— Значит, тебе смешны разговоры насчет того, что надо валить? Скажи как эксперт.

— Скажу. Как эксперт. Я очень хочу, чтобы здесь все изменилось к лучшему. Я хочу, чтобы произошли какие-то волевые усилия по управлению финансовыми потоками, чтоб эти потоки пошли в систему образования. Вот жестко я мечтаю об этом.

— Но твое пожелание не является руководством к действию.

— Я это понимаю. Про себя скажу, что я живу тут, я вернулся. Послать детей учиться за границу? У меня не хватит никогда денег на это. Я мечтаю, чтобы здесь появились частные университеты. Они должны работать рука об руку с фирмами, которые будут принимать этих выпускников. Еще раз скажу о главном. На моих глазах в окрестностях

Тарусы восстановили две церкви. Огромная работа проделана. Собор Петра и Павла стройно стоит в Тарусе на высоком берегу — так взгляд притягивает! Очень красиво. Я знаю потрясающих священников, потрясающих раввинов, верующих евреев и верующих православных — это люди, которые живут верой, у них душа красивая. И что касается веры — я убежден, что все будет прекрасно. Я вижу реально и отчетливо духовное возрождение. Я знаю изнутри общины — и еврейские, и православные — которые просто полны духа и силы...

Александр Викторович Иличевский (по паспорту Кузнецов) родился 25 ноября 1970 г. в Сумгаите (Азербайджанская ССР) — поэт, прозаик. В 1993 году окончил факультет общей и прикладной физики Московского физико-технического института по специальности «теоретическая физика». В 1991—1998 гг. занимался научной работой в Израиле и Калифорнии. С 1998 года снова в Москве. Женат, имеет сына и дочь.

Первое место в номинации «Поэзия» литературного конкурса «Дварим» (2005). Лауреат премии «Нового мира» (2005); премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ 2005 года; IV Международного литературного Волошинского конкурса за рассказ «Белый домик». Серебряная медаль Бунинской премии за книгу «Бутылка Клейна» (2006). Финалист Национальной литературной премии «Большая книга» за — сборник «Ай-Петри» (2005), роман «Матисс» (2007), сборник «Пение известняка» (2008), роман «Перс» (2010). В 2007 году роман «Матисс» стал также лауреатом премии «Русский Букер».

**ПОЭТ ИРТЕНЬЕВ —
он же Правдоруб и Рабинович**

«Ну сколько можно о говне, / Давайте лучше обо мне», — сказал поэт Игорь Моисеевич Иртеньев.

Про Иртеньева говорить просто: человек пишет стихи, причем довольно часто — очень приличные и, что совсем уж редко встречается у других, смешные.

Игорь Моисеевич Иртеньев родился 25 мая 1947 года в Москве в семье историков. Закончил заочное отделение Ленинградского института киноинженеров и Высшие театральные курсы. Работал на телевидении в отделе хроники механиком по обслуживанию киносъёмочной техники. Писать начал в конце 70-х годов. Впервые опубликовался в 1979 году в еженедельнике «Литературная Россия» (рассказ «Трансцендент в трамвае»). В 1982 году он с телевидения перешел в газету «Московский комсомолец». Автор ряда поэтических сборников. Бывший главный редактор журнала «Магазин» М. Жванецкого (закрылся). Появлялся на телеэкране в программе Виктора Шендеровича «Итого». Лауреат премий «Золотой Остап» и «Золотое перо».

Гроза скинов

— Игорь! Расскажи еще раз, как в преддверии своего 60-летия ты бил скинхедов. Мне очень нравится этот мужественный сюжет. По мне, так настоящий поэт обязан остро реагировать на несовершенство этого мира. Что ты и сделал.

— Во-первых, это было пять лет назад. Во-вторых, на счет бил, — это ты сильно завернул. Просто мы ехали с моим другом драматургом Вадиком Жуком в электричке. С дачи. И вот на станции Левобережная в вагон зашли четверо тинейджеров. Двое совсем клопов лет по двенадцать, двое постарше, лет семнадцать-восемнадцать на вид. У одного наколки в виде эсэсовских рун. Они заорали: «Слава России!»

А после накинулись на таджика, который сидел напротив нас, и стали его бить. Самое ужасное, что он даже не пытался защищаться, воспринял это как должное.

— Может, он так тихо сидел, потому что наркокурьер?

— Знаешь, если рядом с тобой метелят человека, то всегда можно найти оправдание. Типа — а может, это наркокурьер? Но когда в следующий раз начнут метелить тебя, не удивляйся, что твои соседи могут подумать то же самое. Кстати, не уверен, что будь это в другом конце вагона, я бы так сразу подхватился. А здесь просто на расстоянии вытянутой руки... Короче, мы вступились за таджика, стали махаться, трое скинов убежали, — а одного мы с Жуком скрутили и привели в милицию. Таджик пошел с нами, но по пути, узнав, что он без регистрации, я ему отсоветовал идти в милицию.

Привели мы этого гаденьша. Он стал ныть, что вот он не виноват, что его другие заставили. Мы дали какие-то показания, но выяснилось, что раз нет пострадавшей стороны, то ничего и не будет. А мы-то думали, что менты этого скина просто порвут, ведь это все было на другой день после футбольного матча Россия — Япония, когда случился погром на Манежной...

Работа над имиджем

— Твой внутренний мир мы затронули, но кроме содержания важна и форма. Поэту нужна экзотичность: он должен быть арапом например, или сидеть в тюрьме, или воевать на Кавказе. А у тебя все было как-то ровно. Но наконец ты, по крайней мере, хоть бриться перестал, ходишь со щетиной, это уже хоть что-то.

— Нет, мне как-то чуждо игровое начало, все эти понты... Правда, на заре моей телевизионной карьеры я приходил на эфир программы «Взгляд» в красных высоких кроссовках. На это все обратили внимание, говорили — круто! Но это не было работой над имиджем. Просто тогда, в 87-м году, вообще нечего было носить, абсолютно, и одна моя приятельница привезла из Германии на продажу именно эти

ботинки. Были б они черные, я б взял черные. А красные, точно такие же как у меня, я потом увидел у Игоря Талькова; мы с ним где-то выступали вместе.

— Ну да, Тальков же тоже поэт. Хороший у вас получился тандем в красных ботинках, забавный такой. Он же был, кажется, радикальный левый патриот.

— Дело не в этом. Он был абсолютный такой графоман. Клинический. Да еще с мессианскими заходами.

— Да, да, я слышал, поэты обычно не любят друг друга...

— Типично обывательское мнение. Но, возвращаясь к теме красных кроссовок, скажу: экстравагантность мне, видимо, не свойственна. Не мое это... Может, потому — пусть это самонадеянно звучит — что мои стихи интересны сами по себе и внимание к ним мне ничем не нужно подкреплять.

— Ну тут дело такое... Раньше, чтоб человека заметили, он должен был водить муравьеда на поводке или омара выгуливать в Тюильри. Как, чтоб не соврать, Дали. А сегодня достаточно просто банально мелькать в ящике.

— Я довольно долго был таким ТВ-персонажем. Но моя так называемая слава была не слишком обременительна... Поклонницы не рвали мой клифт на куски. Ну где-то узнавали, это приятно, конечно, было.

— Везде пускали без очереди.

— Был такой случай. Трагикомический, можно сказать. Пришел я в крематорий, забирать урну с прахом матери. Подхожу к окошку — и тут приемщица, широко улыбнувшись, говорит: «Что ж вы сразу не сказали!» Представляешь? А если б сразу сказал, — что, мать бы из праха восстала? Что же касается этой самой славы, то стоит исчезнуть с экрана, как тебя напрочь забывают уже через неделю. Не могу сказать, что меня это каким-то образом травмировало. Поскольку я знаю цену ТВ-популярности. Объявляй я пять дней в неделю погоду, меня б узнавали в пять раз чаще. Да что сейчас про это говорить. Нет уже того НТВ... Удалили... При участии твоего дружка Коха, кстати.

— Ты как-то, вспоминая про те события, употребил термин «смешные баррикады». А сейчас ты как их видишь?

— Это была последняя попытка что-то сделать, последний пример народного волеизлияния. Никто никого не гнал на митинги, люди шли по своей душевной потребности! Потому что их любимый канал был в опасности! Люди пытались что-то изменить. Это все было... — он подыскивает слово, но ему это не удастся, в самом деле, такому тонкому стилисту не сбиваться ж на пафос, сегодня-то, и он ограничивается нейтральными словами, — вполне впечатляюще. Митинги в Останкино... На Пушкинской... Помню, мы стояли на площади, с плакатами, а из «Московских новостей» вышел знаменитый писатель и журналист, фамилию называть не буду, поскольку он мой друг, и, обдав нас смешанным запахом дорогого виски и отличного парфюма, проходя мимо, снисходительно сказал: «Ну что вы тут встали? Зачем? Без вас эти жулики между собой разберутся». А в толпе не последние люди были... Кстати, когда пару лет спустя его, вместе с отборной командой, также пинком под зад погнали из классного журнала, который они сделали, ни одна падла не пошевелинулась. Впрочем, мы уже с тобой об этом говорили, в связи с тем случаем в электричке.

— Я тоже иногда вспоминаю про то НТВ. При всем общественном накале нельзя не сказать, что ситуация та была не очень корректная: телеканал взял у власти денег, а потом на эту же власть за ее деньги стал наезжать. Я после разговаривал с разными людьми из УЖК, уникальный журналистский коллектив это расшифровывается, это вы сами так себя называли, так они в свое оправдание говорили, что, мол, тогда все федеральные каналы взяли денег. Вроде как займы, но отдавать никто не собирался. Логика немного странная.

— Да, но что на выходе из той ситуации получили? Это был лучший канал, он задавал уровень всему ТВ. Да, пускай УЖК был обласкан, пускай его пригревали...

— Лучший, да. А бабки? Ну вот ты у меня возьмешь бабки, а потом начнешь меня ругать. Ты, брат, или молчи, или расплатись сперва...

— Согласен, некрасиво. Но наша элита вообще очень беспринципна. На презентацию книжки «Ящик водки» бла-

гополучно прискакали разные люди, даже те, которые выступали в защиту НТВ, ругали твоего соавтора Коха. Пришли, чтоб его поздравить, нормально выпить и закусить... Это напоминает старинные борцовские терки, когда борцы боролись, потели, а после этого шли все вместе пиво пить. Так и на вашей презентации... Люди друг друга поливают, а потом мило беседуют...

Лежишь бессонными ночами
И вспоминаешь со стыдом,
Как пил вчера со сволочами
И приглашал мерзавцев в дом.

А завтра те же мизерабли,
Хоть повод вроде не даешь,
Тебе протягивают грабли,
И что ж вы думаете? Жмешь.

— А должны типа бить друг другу хари — или как по-твоему?

— Нет. Просто если ты публично демонстрировал с кем-то несогласие и выражал ему личную неприязнь, то потом как-то странно фотографироваться с ним в обнимку...

— Ну, это же игра. Взять хоть вас, поэтов, народных страдалцев. Тот же Некрасов занимался винными откупками и проигрывал тыщи в карты, — вместо того чтоб пожертвовать на убогих селян, которых он воспевал. Сценический образ — это одно, образ жизни — другое...

— Как у кого, как у кого...

Поэт и народ

— Вот ты говоришь: элита херовая. Но это ж лучшая часть народа! А плебеи разве лучше?

— Не, — быстро откликается он. — Друг друга стоят.

Молодец Иртеньев. А то я уж ждал, что он затянет старую шестидесятническую пафосную песню. Меж тем он продолжал:

— Мое народолюбие, которое обычно свойственно интеллигентам, в последнее время очень сильно поколебалось.

— То есть ты был шестидесятник...

— Ну, самым краем, наверно, зацепил. И по формальным признакам тоже. Ведь в конце 60-х я уже как-то функционировал... А потом я вот к какому грустному выводу пришел. Элита наша — плоть от плоти народа. Какой народ, такая и элита.

— Совершенно с этим согласен. И когда на тебя нашло просветление?

— Точка расставания с этой иллюзией была такая: прошлый год. Когда с интервалом буквально в несколько месяцев заживо сожгли двух православных священников. Одного, причем, с женой и малолетними детьми. Заметь, не евреи сожгли, не комиссары в пыльных шлемах, не интеллигенты, а простые русские люди. Чуть ли не за бутылку водки. Я считаю, вот такой народ...

Тут он сделал паузу (и это хорошо, когда поэт так тщательно подбирает слова, за это мы и читаем Иртеньева так внимательно), после которой уверенно продолжил:

— ...будущего не имеет. Цивилизационные нормы тут упорно не приживаются. Почему? Не канают в наших широтах либерализм, товар с таким названием здесь просто не пользуется спросом.

— Как сработала пиар-акция!

— Эта какая?

— Ну сожжение двух священников.

— А, типа пиар-акция израильских спецслужб?

— О-о-о... Куда тебя занесло. Я о том, что любое деяние можно рассматривать как пиар-акцию, кто бы и с какой серьезностью его ни совершал. Вот люди вроде ходили чисто выпить и закусить в грузинское кафе, а это можно выдать и за пиар-акцию против антигрузинских настроений.

— Остроумный пассаж. Но я не считаю сожжение священников пиар-акцией.

— Если серьезно, то все-таки, как мне кажется, у нас мало фактуры по этим двум сожжениям, чтоб судить весь народ. С другой стороны, достоверно известно, что тот же

самый народ в свое время священников тыщами стрелял и топил в прорубях — но до самого последнего времени тебя этим не смущал. М-да... Мы скатились в беседу, какая вполне могла идти в 1989 году, в перестройку, на кухне.

Армия

— Давай лучше ближе к телу. Вот расскажи, как тебе удалось попасть в армию. Все косили, косили, по дуркам скрывались, а ты...

— Потому что учился на заочном. На дневное — в МИИТ — я не прошел. Меня не взяли даже на «мосты и туннели», это была там самая чудовищная специальность.

— О, это был знак — ты же после работал на НТВ, принадлежащем группе «Мост».

— Да... Не поступил. Замаячила армия, про которую я еще в четырнадцать лет понял: ловить мне там нечего. Никаких романтических иллюзий не было, особенно после того как я прочитал «Солдата Швейка». На следующий год я поступил в Ленинградский институт киноинженеров. Вуз был заочный, я получил от армии всего лишь отсрочку. Я промучился семь лет, а потом все-таки пошел в армию, правда всего на год. И все мои худшие опасения насчет службы подтвердились благополучно. Я служил в Забайкалье, в Улан-Удэ, в отдельном полку связи. Притом что я ничего не понимал в проводах, в стрелочках, которые там прыгали. Я был чмошник, ходил в наряды...

— Однако хотя ты был чмо, твоя служба, насколько я могу судить после беглого поверхностного осмотра тебя, закончилась удачно: тебе вроде ни ноги не отрезали, ни хера, как некоторым.

— Не, не. Это было не страшно, просто — абсолютно пустое, идиотское времяпрепровождение. Но я тогда понял, что если вдруг попаду в тюрьму, то благодаря армейским навыкам общий вектор поведения в этих условиях будет мне понятен.

— Папаша твой был куда более доблестным солдатом, чем ты. Он даже на фронте был.

— Что значит — даже? Он туда добровольцем пошел. Воевал на Карельском перешейке, в Крыму, а закончил войну в Венгрии после тяжелого ранения. Десантником был, между прочим.

— А на тебе, чмошнике, военная природа отдохнула. Вон страна то и дело воюет, а ты все в тылу, твоя гражданская позиция только на словах...

«Разговор поэта с фининспектором»

Сегодня поэтов очень много. Но очень мало кто востребован, кто на виду, кто зарабатывает на жизнь стихами. Многие сидят, пишут о своих чувствах и не знают, что с этим делать, куда нести.

— Когда-то поэт мог издать стихотворный сборник и потом на этот гонорар два года безбедно существовать... Но эта система приказала долго жить, после того как грохнулась советская власть и такая ее институция, как Союз писателей. Сейчас это занятие очистилось от корыстных побуждений. Ты за редчайшим — абсолютно редчайшим исключением! — не можешь жить на средства от публикаций в журналах и от книжек. За подборку стихов в толстом литературном журнале могут заплатить, ну максимум 200 долларов, журналов таких у нас пять, в год у поэта могут взять одну подборку, максимум две... Издал книжку, раз в год — это тысяча или две долларов... Ты ж понимаешь, на эти деньги жить невозможно.

— Ты не попал в тот последний трамвай с Союзом писателей.

— Не попал, хотя и планировал. Но тот трамвай навсегда ушел в депо. Зато я попал в более удачный! Вот смотри. Я получаю какие-то деньги за свои книжки. Правда небольшие, — книжный гонорар даже в приличном издательстве вдвое меньше моей теперешней месячной зарплаты в одной только газете «Газета». А еще я за зарплату сочиняю стихи для передачи Шендеровича «Плавленный сырок» на «Эхе Москвы» и для «Газеты.ру», куда меня Михайлин позвал (об этом у поэта есть строки: «Пока не требует поэта / К священной жертве интернет»). Мы оба давно

уже не работаем в «Газете.ру». — И. С.). Езжу в Штаты регулярно, раз в год, выступаю там перед русскими эмигрантами. В итоге получаю вполне приличные деньги, причем отнюдь не кровавым способом, к тому же не курвясь и никому не подмахивая.

— По сути, ты не что иное, как рифмованный журналист.

— По большей части — да, это рифмованная журналистика. Но есть и некий остаток, причем вовсе не сухой, а очень даже плодоносный. За свою последнюю книжку «Избранное» я получил премию года «Московский счет», а ее присуждают сами поэты, путем голосования по опросным листам.

— Сколько вас — таких поэтов, которые на плаву, при деньгах?

— Мало. Ну кто еще? Володя Вишневский своими выступлениями зарабатывает, думаю, довольно неплохо. Саша Вулых, который пишет для попсы какие-то тексты. Есть очень модный Орлуша, сетевой такой парень*, он сделал себе имя — ну и слава богу. Он стал по клубам выступать за такие деньги, каких мне не предлагают.

— Орлуша — настоящий поэт, по-твоему?

— На мой взгляд, не совсем. Он человек, безусловно, талантливый, но там слишком много эстрады. Это все забавно, но стихи его слишком длинные и, с точки зрения профессии, не сделанные. Да и мата там, на мой взгляд, перебор, а это субстанция чрезвычайно деликатная. В общем, нас с Орлушей, с Евтушенко и Вознесенским — ну, может, человек пятнадцать. Остальные стихами не зарабатывают. Лева Рубинштейн пишет колонки в интернет-издания, Сережа Гандлевский редакторствует в журнале «Иностранная литература», Тимур Кибиров — тоже служивый человек, работает на радио «Культура», он всегда служил. Дмитрий Александрович Пригов — у него какие-то проекты, гранты там всякие. В общем, каждый крутится, как может...

* Орлуша услышав такой про себя отзыв удивился: «Что значит — сетевой? Мы с Иртеньевым знакомы с 1974 года, никакой сети еще не было».

Политика

— А вот скажи: может, надо, чтоб государство поддерживало поэтов?

— Чем меньше государство суется в творчество, тем лучше. Вот Путин, когда собирал молодых писателей, правильно сказал: «Мы будем поддерживать те направления, которые нам нужны, — патриотическую линию, например». И ты тогда будь добр, отработывай и не тявкай на эту власть.

— А тебя к Путину не звали.

— Там были только молодые. Но даже если б пожилых пригласили, вряд ли я бы попал в этот список. У меня есть про это стихи:

Что-то, видно, со мной не в порядке:
не зовут на высокие блядки.
Чуют, видимо, суки, нутром
что не кончится это добром.

— Не зовут, хотя ты подаешь сигнал власти. Я видел в прессе твои выступления, что типа вот Путин навел-таки порядок... Не приняли в Кремле твоего сигнала пока, несмотря на то что твое восприятие Путина стало более позитивным.

— Это я такое про Путина говорил?

— Ну не я же.

— Да? Честно говоря, что-то не помню. Тебе не напекло, часом? Хотя тут не жарко вроде...

— Минуточку! Что значит — напекло? Вот цитата из твоего выступления на радио «Свобода»: «Кончился несусветный бардак, который был при Ельцине, который мы с тобой, Витя, вполне успешно обстебывали в наших передачах», — говоришь ты Шендеровичу.

— Но хорошо ли, что он кончился, этот бардак?

— А, вот даже как.

— Вот в Веймарской республике был бардак, а при Гитлере настал порядок.

— Понял тебя. Но насчет «напекло» — это не ко мне.

Служение музе

— Игорь Моисеич! Вот смотри что получается. Писать ты начал в тридцать, а до этого твоя жизнь проходила бессмысленно. (Строго говоря, первое стихотворение он написал лет в шестнадцать, но почти сразу бросил, так что это не считается. — И. С.) И толку от тебя не было.

— Никакого.

— Ты вот таскал кинокамеры с аккумуляторами, работая в кинохронике, — так можно было нанять любого дебила, и он бы таскал с тем же успехом.

— Абсолютно.

— И вдруг в тридцать, когда ты полжизни прожил зря, свой путь земной пройдя до половины...

— «Увидел впереди все те же спины», — как писал Лева Рубинштейн.

— Прожив, значит, полжизни, ты решил сеять разумное, доброе, вечное.

— Не совсем так. Мне мой дружок Мишка Копнев, мы работали вместе, как-то сказал: «Что ж ты ерундой занимаешься, вон писатели, они столько получают, при этом ни хера не делают, так что давай вперед!» Я задумался, хотя вроде и так неплохо жил. Работая на хронике, объехал всю страну (не был только на Камчатке, Чукотке и на Сахалине). Мы снимали и «Сельский час», и «Больше хороших товаров», но были вполне серьезные, содержательные передачи. Катаешься, встречаешься с разными интересными людьми — замечательно было! С командировочными 180 рублей выходило. При этом еще сильно подворовывали в командировках. Давались деньги на рабочих, чтоб те таскали технику — но мы ее, естественно, носили сами, а деньги забирали себе. Короче, это была легкая, интересная, полная приключений жизнь. Приезжаешь, везде стол накрыт...

— И с тех пор у тебя такое хобби — выпивать и закусывать.

— Нет, оно у меня раньше появилось. Я класса с десятого начал регулярно выпивать. Многие из тех, с кем я тогда начинал, уже давно завершили, как говорите вы с Данте, свой земной путь. На «ящике» квасили по-черному. Бывало, при-

ходит в коллектив человек, буквально со школьной скамьи, весь такой свежий, бодрый, для начала пару лет в магазин за водкой побегает, потом заматерееет, уже следующего молодого посылает. Через пяток лет, глядишь, морда у него совсем разгладилась, руки ходуном, а еще через годок-другой мы уже не сослуживцы ему, а группа товарищей.

— А почему ж ты не спился?

— Не знаю, может, у меня просто другой химический состав крови. Во всяком случае, личной моей заслуги в этом нет.

— И вот ты по совету своего друга Миши приступил к творчеству. Стал писать рассказы на радио, по 20 рублей за страницу, — бешеные деньги. Как ты писал о себе:

Я, признаться по секрету,
Очень денежки люблю.
Ничего приятней нету,
Чем копить их по рублю.

И шагаю с этой ношей
Я по жизни, весь звеня.
Вот какой я нехороший,
Полюбуйтесь на меня!

— Да-да-да! Радио — это самое начало восьмидесятых. Примерно тогда же я стал писать и стихи. Они всем нравились, но их долго не печатали: ирония не встраивалась в общий формат, который тогда господствовал, не в почете, скажем так, была, казалась подозрительной: «Что это он фигу в кармане держит?» Но однажды, году в восьмидесятом, в буфете ЦДЛ я сунул Виталию Резникову, был такой легендарный редактор, свой стих про то, как «Атос, Портос и Арамис однажды в баню собрались», — и он буквально с колес напечатал его в «Неделе»...

— И это в тридцать три. Про Христа не говорю, но Лермонтова уже кости сгнили в твоём возрасте.

— А Гайдар уже семнадцать лет как полком перестал командовать... Да... Я очень долго к этому шел, но быстро

и успешно стартовал. Юмористические разделы, какие-то сценарии, мультипликация... Стандартный путь, нисколько не уникальный. Для радио приходилось писать, например, про то, как некто пошел в гости и забыл там галоши, — или еще что-то столь же острое. В 84-м году, когда мои литературные заработки стали стабильными и сравнялись с телевизионными, я бросил работу — отвалил от железа, которое таскал по стране.

— И стал ты, значит, глаголом жечь сердца людей?

— Ну как — глаголом жечь... Просто мой общественный темперамент наконец-то совпал со временем.

— Насколько я знаю, он у тебя с детства. Есть же известная история про твою переписку с Маленковым.

— Да, когда мне исполнилось шесть лет и я получил в подарок цветные карандаши, то оранжевым — почему-то — написал: «Дорогой товарищ Маленков! Пишет вам Игорь». Дальше ничего придумать не смог, и переписка заглохла, практически не начавшись. Но, видимо, еще ребенком я понимал, что надо как-то отметить, доложить о своем существовании на свете.

— Ты тогда жил на Таганке — на самой окраине Москвы.

— Когда мы в начале пятидесятых жили на Таганке, в Марксистском переулке, среди деревянных халуп, наши соседи через три дома, евреи кстати, держали корову.

— А ты сам как себя видишь в рейтинге поэтов?

— Есть, есть в стране люди, которые пишут лучше меня. Их, может быть, не так уж много, но все равно существенно больше, чем хотелось бы.

— И кто ж это, например?

— Пусть читатель догадывается сам. Хотя на литературную осведомленность читателя «Медведя» (для которого я делал это интервью. — И. С.) я, честно говоря, не сильно рассчитываю.

— Вот очень интересно: ты понимаешь механизм сочинения стихов? Как это все происходит?

— Как был впервые запущен механизм, я не понимаю, а как работает — представляю. По крайней мере, когда пишу обязательку. Я смотрю ТВ, или читаю газету, или слушаю

радио, после чего увиденное и услышанное трансформируется в некий текст. Желателен остроумный поворот, неожиданная ассоциация, какой-то трюк словесный, парадокс, ударная, по возможности, концовка, в общем, какая-то сумма приемов. Однако эта технология вовсе не обязательно распространяется на стихи, написанные, так сказать, по воле небес. Там все по-другому, а как именно — объяснить не могу.

— А бывает, что нет вдохновения? Если да, то как тогда — вообще не пишешь или пишешь заведомо плохо?

— Такое бывает, что я пишу не очень здорово.

Чтобы написать стихотворение,
Кроме авторучки и листа,
Требуется также вдохновение,
Без него не выйдет ни черта.

Вдохновенье — штука ненадежная,
Есть оно — валяй себе строчи,
Не пришло, что вещь вполне возможная, —
И хана, хоть лбом об стол стучи.

Но я не могу написать ниже какого-то определенного уровня. Все-таки есть же техника. А бывает, хотя и очень редко, что за меня просто Алка (Боссарт, жена. — И. С.) пишет.

— Как интересно! А что именно она написала?

— Не скажу. Но иногда, если у меня какая-то жуткая запарка, это может сделать она, причем очень ловко. С ее уровнем версификации это несложно.

— Так она поэт?

— Она не поэт, а замечательный прозаик, но легкий и очень умелый стихотворец. В ее романах есть стихотворные фрагменты, а однажды она наваяла в стихах для своей «Новой газеты» отчет о кинофестивале. Между прочим, полосный. Скажи, не хило! Кстати, мы вместе с ней, — именно вместе, то есть с указанием обеих фамилий — написали песни для одного музыкального спектакля и сейчас пишем для второго.

— Мне пришла в голову смешная мысль. Если у тебя напроць пропадет вдохновение или ты не дай бог помрешь раньше нее...

— Да, да! Правильно! Она скроет факт моей смерти, похоронит поэта тайком — и будет сама сочинять и получать гонорары.

— А у тебя в паспорте какая записана фамилия?

— Иртеньев.

— Жаль. Если б Рабинович, то тебя легче было б похоронить тайком, и схема была б еще более реальной... Вот в обществе идет дискуссия, кто такой Иртеньев — просто поэт, поэт-юморист или иронист, там. Я тоже много размышлял над этим и понял, что ты не юморист.

— Это правильно. «Ирония — это мы, конечно, понимаем, а есть у вас настоящая поэзия?» — как правило, такие вопросы задают люди, которые не понимают в стихах и не чувствуют лирики вообще.

— Вот я и говорю. Если бы ты был юморист, то уж не стал бы менять фамилию Рабинович на Иртеньев. Объяви «Юморист Рабинович» — уже смешно. Фамилия Рабинович более выигрышна для чтения куплетов.

— Для куплетов — да. А для поэта Рабинович — это тяжело. Потому что сразу ассоциации с героем анекдотов. Хотя — есть известный поэт Вадим Рабинович, и он с такой фамилией мужественно и достойно в русской поэзии существует. Он профессор МГУ, доктор химических наук. Крупнейший специалист в области алхимии. А Иртеньев — моя родовая фамилия и досталась мне от бабки, Веры Константиновны.

— Тебя, в гроб сходя, благословил старик Окуджава. Он тебя серьезно пропиарил.

— Давай только без амикошонства — старик... пропиарил... Не знаю, как тебе, мне он никакой не старик Окуджава, а Булат Шалвович, и не пиарил он меня, а просто однажды позвонил и сказал о моих стихах такие слова, которыми я горжусь до сих пор.

— Это и есть — «в гроб сходя, благословил».

— Ну если ты настаиваешь на этой формулировке...

— Ну вообще-то да, настаиваю. А ты, в свою очередь, вслед за Окуджавой, видишь подрастающую молодежь, которой в свое время передашь жезл?

— Жезл — это у регулировщиков. В крайнем случае — у маршалов. У нас это называется лира. Видеть, может, и вижу, но жезл не передам. С собой унесу. Пусть копают потом.

— Ну на этой мажорной ноте и закончим нашу беседу...

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР:
«Я думаю...»

Эти слова — «я думаю» — Фазиль Абдулович повторяет очень часто, через фразу. Это очень симпатично, от кого еще такое услышишь? Классик советской литературы, издававшийся огромными тиражами у нас и на Западе еще в старые времена, он достиг мудрости, продолжает работать. Я встретился с ним, когда он готовился отметить свой 80-летний юбилей.

Абхазия

— Фазиль Абдулович, судя по обильным и эмоциональным интервью летом и осенью, когда вы поддержали позицию России по Абхазии и Южной Осетии, самочувствие у вас бодрое. Вы живете в России. Это для вас эмиграция? Или что? Как вы это ощущаете?

— С тех пор как я переехал сюда, прошло страшно много лет. Я тут учился, работал, — очень много лет прошло. Привык. Нет-нет, это никогда не было эмиграцией. Но, конечно, родиной я ощущаю Абхазию.

— Но дом ваш здесь.

— Дом здесь, конечно. Тем более что там почти никого не осталось из моих близких...

— Готовитесь к юбилею?

— Ох, этот юбилей... Торчит поперек горла. Он мешает моей внутренней вольности. Но что делать — надо как-то его пройти. Если уж собираются его устраивать, я же не могу пропустить его. Я должен присутствовать, что-то сказать, может, что-то прочесть.

— Абхазы — долгожители.

— Говорят, хотя я этого не проверял. А дед мой прожил больше ста лет. В мои годы он был очень крепок. Очень крепко... Всю жизнь на воздухе, всю жизнь физической работой занимался. До последнего был невероятно работающий, все время был чем-то занят.

— Абхазский язык — вы писали на нем?

— Почти совсем не писал, так, чуть-чуть. Я с самого начала писал по-русски. После смерти Сталина стали возрождать абхазский язык... Я тоже за него взялся. Тогда у меня появились более основательные знания. Я тогда стал читать по-абхазски и немножко писать.

— Абхазский вы знаете лучше, чем русский?

— Нет, русский лучше знаю.

— Абхазский бедней, там слов меньше.

— Ну разумеется. Патриархальный язык! У него и словарь патриархальный. Язык, которым пользуется абхазская деревня, — это и есть абхазский язык в основном.

— А дети ваши его уже не знают.

— Нет!

— А почему вас отдали в русскую школу?

— Ну во-первых, она была близко к дому. А во-вторых... Вообще в Абхазии в те времена — да, думаю, и сейчас — в Сухуми главный язык был русский, мы все говорили по-русски, и, естественно, меня отдали в русскую школу.

— А по-грузински вы знаете?

— Я знаю только в тех пределах, которые дала мне школа, у нас ведь преподавали грузинский язык.

— Как иностранный?

— Нет, как якобы второй родной язык. Я вместе со всеми его изучал и в школе знал его лучше всех — лучше всех не-грузин. У нас же были и грузины в школе. Но сейчас, конечно, уже подзабыл. Немного разговаривать мог, читать мог, конечно. Я знал его как школьник, который учился на «отлично».

— Как английский?

— Пожалуй, посильней. Нам же грузинский преподавали фактически каждый день.

— Грузия долгое время утверждала, что грузинский и абхазский языки очень близки. И потому достаточно учить только один из них. Нам со стороны трудно судить, а вы что скажете?

— Полная ерунда. Это совершенно разные языки, и принадлежат они к разным группам.

— Вы поддерживаете сейчас отношения с грузинами?

— У меня есть знакомые грузины, я с ними поддерживаю отношения. Сейчас я мало кого вижу, но ни с кем из них не ссорился.

— Если б вы остались в Абхазии, как вы думаете, как сложилась бы ваша жизнь?

— Не могу сказать. Боюсь, что была бы бедней — в духовном смысле. А здесь, в Москве, жизнь многообразней, и это сказывается на том, что мы пишем.

— Да, вы бы не стали, живя в Абхазии, великим русским писателем.

Он смеется, как в замедленной съемке — как бы отдельными смешками.

Мудрость

— Скажите, что значит «мудрый человек»? Кто может считаться мудрым?

— Как это коротко определить? — он задумывается на минуту. — Мудрый человек, я думаю, тот, ум которого, впитавший практику жизни, не растворился в практике жизни. Мудрость — это ум, настоящий на совести. Поэтому мы часто вспоминаем и цитируем мудрых людей.

— Вы хотели стать мудрым?

— Я такой задачи, конечно, не ставил...

— Почему «конечно»? Вот я — ставил...

— ...но подсознательно хотел этого, наверно...

— Когда вы заметили, что вы уже немного мудрый?

Короткий смешок, а дальше серьезно:

— Когда начал писать прозу.

— Иными словами, ровно пятьдесят лет назад.

— Да.

— Я вот думал: почему мудрость часто связывается с горами? Может, потому что в горах мало места для жизни, террасное там земледелие, там много предметов не поместишь, и потому приходится думать о невидимом.

— Очень остроумно вы придумали этому оправдание... Но в основе вы правы. В том смысле, что в горах среди очень красивой благодатной природы человек чаще остается один.

Выпивка

— Очень близка русскому читателю ваша мысль о том, почему иностранцы пьют крепкие напитки глотками, а русские и абхазы — залпом: боятся, что не дадут допить, отнимут. Глубокая мысль...

— Ну конечно, доля истины в этом есть, но это, скорее, шутка.

После он читает свое:

...Все пьют и даже бьют посуду
Недорого образца.
И только мы всегда повсюду
Всё выпиваем до конца.

— Как шутка?! Я думал, тут целая философия. А для вас это всего лишь шутка... Выпиваете иногда?

— Да, иногда выпиваю. Но в самые последние годы стал меньше пить. Тем более я болел.

— Что предпочитаете — вино, чачу?

— Я все пил. В Москве в основном приходилось пить водку.

— Ну а что вы хотите? Вы же русский писатель.

— Да...

— А русский писатель не может не пить водку.

— Ну есть такие, которые не пьют, но, в общем, подавляющее большинство пьет.

— Наверно, это как-то связано с творчеством? С его природой?

— Я думаю, это больше связано с образом жизни. Писатель не ходит на работу... И когда встречается со своими коллегами, то, конечно, они выпивают...

— У меня есть знакомая рыночная торговка, Джульетта, ей из Абхазии везут чачу, так я иногда у нее покупаю. Джульетта — красивое абхазское имя!

— Ну не абхазское, — но привилось в Абхазии.

Литература

— Вижу, машинка у вас расчехлена, листы по столу раскиданы. Стало быть, вы в работе?

— Ну это я так, кое-какие дополнения вношу. Но и стихи пишу.

— Как вам сегодняшняя литература?

— Она сегодня довольно примитивна. Почему — объяснить не могу. Наверно, развитие искусства идет какими-то неведомыми нам волнами.

— Но есть надежда, что все как-то исправится?

— Безусловно! Я верю в это. Потому что даже в течение моей жизни уже несколько раз было ослабление литературы, а потом ее укрепление.

— Вы про какие времена?

— Ну вот в течение моей жизни.

— После войны?

— После войны, да, было ослабление литературы. Потом, после смерти Сталина, литература начала укрепляться. А вот сейчас, несмотря на практически полную цензурную вольницу, литература слабая! Нет сильных писателей, которые входили бы в литературу со своей оригинальной мыслью.

— А вот сегодняшние молодые писатели, вы всматриваетесь в них?

— Я очень плохо знаю молодых писателей... И выделяю только одного. По-моему, Дмитрий Быков его зовут. Он талантливый и как прозаик, и как поэт.

— Вы ему говорили об этом?

— Нет, я с ним даже не виделся.

— А что вам нравится у него?

— Мне нравится все, что он пишет. Это хороший мыслительный и художественный уровень. Заставляющий ждать от него чего-то интересного.

— А Прилепин, попадался вам такой человек?

— Да. Да. Способный.

— Интересно, а Пелевина вы читали?

— Читал. Небездарный человек. Но после чтения его книг у меня в голове почти ничего не осталось.

— Какое вы им хотите отправить послание? Я передам.

— Что ж... Передайте, что я им всем желаю, чтоб они сосредоточили свои духовные силы, это и уровень их будет поднимать, и оригинальность, которую они ставят, пожалуй, превыше всего, а это фантом.

«Метрополь»

— «Метрополь» — это было давно, но вспоминают про него часто. Вот вы туда пошли, а Окуджава — нет.

— Не помню, приглашали ли его.

— Точно приглашали! Но он не пошел — может потому, что был член партии и ветеран войны.

— Не пошел, и правильно сделал. Ну что там было? Получилась довольно-таки жалкая вылазка с нашей стороны. Как бы желание подчеркнуть, что мы все — свободные художники. Тогда это все было очень наивно! Но, однако, сильно переживать нас заставило литературное начальство. Оно восприняло наш альманах как оскорбление. И всячески пыталось нас как-то расколоть, наказать. Некоторых из Союза писателей выгнали. Литературные начальники таскали нас на беседы, выспрашивали, хотели понять, не стоял ли у нас кто-то за спиной, не подталкивал ли... Но ничего этого не было.

— В КГБ вас вызывали?

— Нет. Но люди, которые с нами говорили, были как-то связаны с КГБ.

— А вы не думали уехать на Запад? Как некоторые?

— Меня, когда я без разрешения начальства на Западе начал печататься, в издательстве «Ардис», спрашивали, не собираюсь ли я уехать. Я отвечал: не собираюсь. И действительно никогда не собирался! Меня никогда туда не тянуло.

— Интересно почему?

— Вы знаете, может потому, что я более консервативный человек. Мне претило бы — и тогда, и сейчас тем более — устраиваться в какой-то чужой стране, усваивать что-то не свое... Никогда мне это в голову не приходило.

— А было страшно? Не было мысли, что посадят или вышлют?

— Нет! — уверенно говорит он. — Этого не было. Я боялся только одного: что меня перестанут печатать. Что я совсем без денег останусь.

— Ну так и перестали ведь.

— На какое-то время.

— И как же вы жили?

— Ну какие-то запасы были, да и жена всегда работала — получала свои 140—150 рублей.

— Значит, вы это пережили легко.

— Сравнительно легко. Но это противно было.

Твардовский

— Первая публикация в «Новом мире» была принципиально важной для вас? Или вы и до того успели отличиться достаточно?

— Ну до этого я печатал только стихи и рассказы. А тут — повесть в «Новом мире» страниц в сто пятьдесят. Первая большая публикация! «Созвездие Козлотура».

— Вы с Твардовским близко общались после этого?

— Я его бесконечно любил и очень уважал, но не могу сказать, что близко общался. Иногда только... У меня был такой случай после той публикации. Я пришел в редакцию «Нового мира», и завотделом мне сказала: «Вас хочет видеть Твардовский». Но я решил, что это просто добрые слова его, а он человек занятой, не буду врываться в его жизнь, — и не пошел! А в следующий раз пришел, и заведующая сказала: «Идемте, Твардовский вас ждет!» И мы с ней пошли к нему. Поговорили... Первое, что он мне сказал: «Лихо написано!» Я несколько раз виделся с ним. Он был очень доброжелателен. Мне кажется, он с любовью относился к тому, что я делаю. Стихи, которые я приносил, он тоже печатал. И прозу.

— Он выдвигал вас на Государственную премию, а Жванецкий — на Нобелевскую.

— Да... Я даже не знал, что выдвигался, и кем... Слышал, даже академик Дмитрий Лихачев как-то в этом участвовал.

Солженицын

— Вы когда в «Новый мир» хаживали, не встречали там Солженицына?

— Нет, там я его не помню. Но я видел его мельком пару раз. Однажды я увидел его с женой, ее я уже знал, подошел к ним, и она нас познакомила. Но я ему ничего не сказал, и он мне ничего не сказал. И так мы расстались. Никакого близкого личного знакомства у нас не было.

— Каждый из вас возделывал свой огород. Он, как русский, занимался осмыслением имперской истории (и правильно, пусть русские сами занимаются своей империей), а вы размышляли о мудрости и человеческой жизни.

— Да-да.

Отец и его братья

— Вашего отца выслали на его историческую родину, в Иран, оттого что он был классово чуждый, из капиталистов?

— Он не был капиталистом. А вот его отец до революции имел кирпичный завод, и мой отец там работал.

— Остались еще дома, построенные из вашего кирпича?

— Да, и довольно много. Сухум, конечно, бомбили, но мало. Выслали же отца потому, что он был персидскоподданный. Таких много было. И я так понял, что в двадцатые годы люди с иностранными паспортами не спешили принимать советское гражданство, так они чувствовали себя посвободнее. В тридцатые они поспешили, но было уже поздно. И мой отец не мог уже добиться советского подданства. И его выслали. А братьев его арестовали, и они сгинули в лагерях. Мой любимый дядя Риза погиб в Магадане. Он работал в какой-то серьезной конторе, не знаю, чем занимался. Его взяли в 1937-м. Это был самый любимый мой человек. Он меня любил, и я его очень любил. Это он меня познакомил с книгами, из его рук я взял первую [в своей жизни] книгу и прочитал. Он меня приучал к книге, к духовному. Он дал мне толчок к чтению, я страшно полюбил книгу и непрерывно читал.

После забрали второго моего дядю, большого любителя выпить. Страшно подумать, как он в лагере мучился без выпивки... На воле он беспрерывно пил. Жил на то, что на базаре для крестьян писал всякие заявления в органы, куда им приходилось обращаться.

— А как происходила высылка?

— Я хорошо помню, как мы провожали отца. Какое ужасное рыдание раздалось, когда мы с ним прощались! Все родные так плакали, что весь вагон расплакался. Я помню это невероятно горестное ощущение. И помню слезы на глазах у проводницы... В Иране почти всех высланных арестовали, подозревая их в возможности шпионажа в пользу Москвы. Мы долго о нем ничего не знали. Только через два или три года пришло первое письмо. Оказывается, их отправили на какой-то страшный остров, где они постепенно умирали. Люди сами рыли себе могилы, чтоб не утруждать посторонних, чтоб другие не тратили последние силы на них. В 1941-м наши войска вошли в Персию, отца и его товарищей выпустили. Он писал, чтобы мы хлопотали о возможности его приезда сюда. Я хлопотал, ходил даже в Министерство иностранных дел, но это не принесло никакой пользы. Он умер там, а не на родине.

— Видите, ему не пришлось жить в Абхазии — и вам не пришлось...

Деньги

— Фазиль Абдулович! Вы как-то сказали, что молодые литераторы сейчас слишком много думают о деньгах, а вы в свое время денег не копили, собирали впечатления.

— Да. К деньгам у меня всегда было, к сожалению, достаточно равнодушное отношение. Главное для меня было — найти, что сказать, и выработать в себе возможность это сказать.

— Это трудно?

— Не очень. Обыкновенный творческий процесс, который длится у меня всю жизнь. Бывают писатели, которые испытывают иногда мучительную трудность при письме, но

таких больших мучений я никогда не знал. Были какие-то затруднения, но довольно-таки обычные. Они были, даже когда я просто журналистикой занимался. То же было и когда я более сложные вещи стал писать. Ну разве что я их более тщательно переписывал, каждую вещь перепечатывал минимум по три раза, не сокращая, а увеличивая текст.

— Вот и вся разница...

— Ага.

— Вы сказали про деньги — «к сожалению».

— Да, к сожалению.

— В том смысле, что могли бы сейчас быть более богатым человеком?

— Конечно, мог бы! Ну если деньги шли мне прямо в руки, я их, конечно, не пропускал. Но и немалые деньги, которые я должен был получить, например, в том же «Ардисе» и других издательствах, прошли мимо, я как-то не обращал на эту возможность внимания. Мне тогда намного важнее было напечатать своего «Сандро из Чегема». Полностью он впервые там появился, на Западе.

— А в СССР только куски оттуда печатались.

— Да. Некоторые после цензуры, а некоторые и не страдали от нее. Но полностью впервые в «Ардисе». У нас глава «Пирры Валтасара» долго ходила в самиздате, а потом та же участь постигла «Кролики и удавы».

Итого

— Вот вы говорите об упадке литературы, но, может, мы как-то переживем этот упадок?

— Разумеется! Такие упадки были во всех литературах.

— У вас оптимистический взгляд на будущее. Вы как-то сказали: «Если в России был Пушкин, значит, гармония тут возможна». Не переменялся ваш взгляд на это?

— Надеюсь, что он верен.

Искандер Фазиль Абдулович родился в 1929 г. в городе Сухум. Отец, иранец по происхождению, в 1938 г. был выслан из СССР, мальчик в основном рос у родственников по мате-

ринской (абхазской) линии. В 1954 г. окончил Литинститут. Был литсотрудником газет «Брянский комсомолец» (1954—1955) и «Курская правда» (1955—1956), после несколько лет работал в Абхазском государственном издательстве, с 1957 года — член Союза писателей СССР. В начале 60-х начал печататься в московских толстых журналах, переехал в Москву.

Громкую известность приобрел после выхода в «Новом мире» повести «Созвездие Козлотура». Прогремел также роман «Сандро из Чегема», который вышел впервые на Западе, а после, в перестройку, получил Госпремию СССР. Книги его переведены на многие языки мира.

Лауреат государственных (СССР — 1989; РФ — 1993) и многих других премий, наших и зарубежных. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999) и II степени (2004), «Честь и слава» I степени Абхазии (2002). Член различных академий, комиссий и советов. Почетный доктор Норвичского университета (США), член и лауреат Баварской академии изящных искусств (Германия).

Живет в Москве. Женат, двое детей, внук.

Написано в начале 2009 года:

Когда приближение смерти
Доступно и ясно уму
В прощальную мудрость не верьте,
Она не далась никому.

А лучше придумать, запомнить
Живущим наглядный урок:
Хорошею шуткой заполнить
Оставшейся жизни кусок.

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ:
«Писатель-пророк — это вам не баба Ванга»

В пророки он попал 12 июня 1989 года. В тот день вышел шестой номер журнала «Искусство кино» с повестью «Невозвращенец». Произведение нашумело в СССР, а также, будучи переведенным на различные языки, еще в двадцати с чем-то странах. После чего слово в слово сбылись раскиданные по тексту повести предсказания Кабакова: саперными лопатками разогнали демонстрацию, перестройка потерпела крах, случился путч, развалился СССР, а на его территории тряслись гражданские войны...

Однажды за обедом в любимой узбекской пельменной Кабакова мы с ним обсудили вклад писателя-пророка в литературу.

Промолчи — попадешь в стукачи

— Саша! Как тебе в голову пришел столь странный для восьмьдесят девятого года сюжет?

— Это было в восьмьдесят восьмом году. Я тогда работал в газете «Гудок» редактором отдела информации. И вот вызывают меня однажды в отдел кадров, а там двое мужчин: один помоложе, другой постарше. Они начали меня вербовать. Всё. С этого места читай «Невозвращенца».

— То есть это репортаж?

— Фактически — репортаж. Я там даже сохранил имена-отчества этих людей, только поменял их крест-накрест. И портретное сходство сохранил. Один такой пухлый, молодой, а другой худой, этакий человек с плаката, с чеканным лицом. Они потом еще несколько раз приглашали меня на встречи — в гостиницу «Интурист», в «Центральную», где у них были служебные номера. Это все у меня там описано с небольшим гротеском, с очень небольшим преувеличением. Ну, одежда их превращается в форму НКВД... А то, что они в книге несли чушь, — так они и в жизни несли чушь. Они

объясняли, что если я советский человек, то должен иметь совесть. Напомнили мне, что я ездил за границу, встречался там с нашими эмигрантами, что у меня есть знакомая датская журналистка, так вот она работает на спецслужбе... Мы ж, говорят, не призываем тебя стучать на своих, а предлагаем выполнить долг патриота — помочь разоблачению вражеского агента. Я мямлил, что у меня не получится. Швейком прикидывался.

— А эта датчанка, она действительно работала на спецслужбе?

— Меня это не интересовало. А если б действительно работала, то мне оставалось только молча пожать ей руку. Ведь я же был противник существовавшего в этой стране строя. И все, что его подрывало, было мне близко, я это приветствовал. Потом тот строй рухнул...

— А было страшно, что на тебя наехал Комитет?

— Мне было действительно не по себе. Они меня пытались запугать. Я даже помню, советовался с отцом...

— Полковником ракетных войск Абрамом Кабаковым...

— Да. К тому времени давно уже отставным. Отец сказал: «Кончай с ними играть. Это не те люди, с которыми можно играть. Нет — значит, говори им “нет”. Всё». Я послушал его и сказал тем нет. Тем более что свой интерес к их методам работы я удовлетворил. Удовлетворил, значит, и уехал в отпуск — писать про них эту повесть. О чем их честно предупредил перед отъездом.

Эта повесть была мне нужна по двум причинам. Во-первых, я не читал в русской советской литературе ни единого художественного описания процесса вербовки.

— Привет, а Солженицын?

— Так то в лагере. А про вербовку на воле — это я первый. Кроме художественной задачи я перед собой ставил и практическую: отмазаться. Чтоб они, вымещая злобу за неудачу, не записали меня в стукачи. Как это они сделали со многими людьми.

Буквально предчувствие гражданской войны

Ну вот. Будучи сотрудником «Гудка», я получил путевку в пансионат железнодорожников, что в поселке городского типа Затока, под Одессой. И вот там, под пение Пугачевой и запах дуста, которым посыпали розы, сидя на балконе своего номера, я за двадцать дней написал 75 машинописных страниц, — почти без помарок. Я туда с собой брал портативную машинку Rheinmetall, ну знаешь, у нее еще футляр серенький в белую точку, как у дорогих саксофонов. И поставил заголовок — сейчас будешь смеяться — «А потом наступает рассвет». Хорошо потом додумался поменять.

— И все же, как ты все угадал?

— Ну если ты интересуешься насчет трех источников и трех составных частей, то это — сама вербовка; дальше — известное сочинение Оруэлла «1984»; и наконец, предчувствие гражданской войны.

— Да, теперь все говорят: «Мы всё знали наперед!» Но у тебя у одного есть документальное подтверждение. А как это предчувствие, интересно, выглядело, какое оно было и откуда?

— Я тогда домой с работы ходил пешком через Пушкинскую площадь. И останавливался возле кафе «Ли́ра», где все время шли митинги. Стоял, и смотрел, и слушал. Слушал, слушал — и вдруг осознал, что девяносто процентов нашего населения психически нездорово.

— Да ладно! Так много?

— Ну может, я преувеличиваю процент, может, у меня специфическое общение... Может, я принимаю за психическое нездоровье просто малую образованность и связанную с этим склонность к гиперболам. И еще умственную отсталость, воинствующее невежество, экспансивность... Все вместе это называется — «желание изменить мир». Это когда человек абсолютно не понимает, что вообще происходит, и мир для него — враждебная загадка... И еще я увидел лютую ненависть граждан друг к другу. Я тогда подумал, что если в руки этим людям попадут автоматы — а они неизбежно попадут, — то эти идиоты начнут друг в друга стрелять.

И общее состояние декаданса наводило на мысль: что-то неизбежно будет, будет плохо.

Да. Значит, вернулся я из Затоки с рукописью и прибег к устному самиздату. А именно собрал литературных приятелей дома, — это Игорь Иртеньев, Юра Арабов (приятно сейчас называть его Юрой, после его успеха на Каннском фестивале)... Кто еще? Боря Гуреев, Дима Попов, киновед, он сейчас живет в Германии... Еще кто-то... И вот сидят они, пьют мою водку, закусывают моими бутербродами — пусть кто попробует что плохое сказать. Закончил я читать, и тут Володя Эфраимсон (сейчас в Америке) говорит: «Ну, Сань, ты даешь! В разгар гласности написать непроходняк, — это ж надо!» Я и сам понимал, что непроходняк, — там же был Горбачев и крах перестройки. Я даже не мечтал это напечатать! Но Дима Попов забрал у меня рукопись и отдал своему начальнику по «Искусству кино» — Косте Щербакову. И тот ее, к общему офигению, лично протащил через цензуру!

— А как ты угадал, что стрелять в Москве будут именно в девяносто третьем?

— Роман Гюго «93-й год» произвел на меня такое впечатление, что действие своей повести я перенес в девяносто третий год. Только поэтому, уверяю тебя. И я пытался представить, как же будет выглядеть гражданская война в Москве.

— Да... ты тогда почти точно угадал фамилию главаря путчистов — Панаев.

— За это спасибо цензуре. Она потребовала изменить фамилию диктатора Гончарова — чтоб не было созвучно с Горбачевым. Цензоры не просто понимали литературу, они понимали авторский замысел! Подсознательный замысел! Так сегодня уж никто больше не читает. Я и поменял Гончарова на Панаева...

— А какой еще вклад цензура сделала в твоё произведение?

— Выкинула описание большого котлована на месте Мавзолея и маленьких ямок у Кремлевской стены, на которое меня вдохновил Марк Захаров, потребовавший немедленно закопать Ленина.

Слава — яркая зарплата

— Вот вышел журнал, и началась слава, так?

— Раньше! Еще до публикации! Рукопись, отксеренная, пошла гулять. Попала на «Ленфильм», где по моему «Невозвращенцу» сняли чудовищный фильм.

— Хемингуэй тоже был недоволен экранизациями себя.

— Только это меня и утешало. А через полгода мне позвонил Оливер Стоун...

— Да ладно! Сам Стоун?!

— Ну его агент. Стоун тоже захотел снять фильм по моей повести; как раз «Невозвращенец» вышел на английском. Но было уже поздно: я ведь подписал договор с «Ленфильмом». Это самое трагическое, что связано с «Невозвращенцем». Да... Значит, получил я тогда в редакции десять авторских экземпляров, привез домой, а вечером уехал в Париж. По частному приглашению. Там меня нашли французские репортеры и взяли интервью как у автора прогремевшей в России повести, — чему я очень удивился...

— Ты славен и богат, денег полно...

— Да, деньги уже были, но менять же можно было только пятьсот рублей, ты все забыл! Так что дальше «Тати» я не ходил — тогда. Я даже не в «Тати» покупал, а вокруг, там типа ларьки. Вернулся в Москву — звонок из Парижа: хотят у меня купить мировые права на повесть, предлагают шесть тысяч франков. Тысяча долларов, это ж были бешеные деньги! — если кто помнит восемьдесят девятый год. Я... отказываюсь. Они через десять минут перезванивают, извиняются и предлагают в десять раз больше. Дальше повесть издали в двадцати странах. Меня печатали почти в стольких же странах, как Солженицына.

— Чем ты можешь объяснить тот успех?

— Как верно сказал тогда Гребенщиков про одну успешную рок-группу, которую хорошо приняли в Финляндии: «Ребята, это не вы поете, а Горбачев». Не буду преуменьшать, я думаю, что и за меня процентов на тридцать спел Горбачев, если не больше. Россия была дико в моде. Я возник на гребне

моды. Должен сказать, что одновременно со мной переводили троих наших, с такой же или почти такой же интенсивностью. Витю Ерофеева, с «Русской красавицей» (секрет успеха был в том, что красавица — русская), потом еще был «Од-лян» (чернуха про детскую колонию), и Свету Алексиевич, с ее «Чернобылем».

— То есть они туда, на Запад, взяли самые смачные русские позиции: зона, Чернобыль, русские женщины и...

— ...и будущее этой сумасшедшей страны. Думаю, кроме всего прочего их в повести привлек диалог между персонажами: насилием или ненасилием решать проблемы? И вот началось то турне. Меня пять месяцев возили по странам, где вышла книжка. Германия, Франция, Англия, Дания, Испания, Норвегия...

— Ты тогда увидел, съел, выпил все, что хотел?

— Да, увидел, съел, выпил... Пожил! Мы с женой очень хорошо провели время. Тогда мне все было интересно... Я тогда привык к нормальной, хорошей жизни. Привык, что можно запросто вечером сесть в поезд, в обычный второй класс, и из Мюнхена поехать ночью в Париж. Захотелось в Лондон съездить — поехал... И это все в девяностом году!

— Ты тогда стал богатым и знаменитым и бросил газетную службу, чтобы блистать.

— Да, я уволился из «Московских новостей». Меня торжественно проводили, выпили мы хорошо... Я решил, что раз я теперь знаменитый писатель, то на жизнь мне хватит, причем на какую жизнь! Я один из первых в Москве получил кредитную карточку! Но после понял: мне просто казалось, что я богатый. Я потом увидел столько людей, которые были по-настоящему богаты, о богатстве которых я раньше просто не знал!

— Теперь знаешь?

— Теперь все знают... Я довольно долго жил в Париже. На радио «Свобода» я часто выступал, почти как штатный сотрудник, с комментариями — долбал всё. У меня в городе появились свои любимые места. Меня там знали. Бывает, даже теперь приедешь в Париж, зайдешь в любимое кафе

La Palette (это на левом берегу), а там спрашивают: что вы к нам не заходите? Да вот, отвечаю, дела... Они не догадываются, что я просто на три дня в Париж заехал. Когда я жил в Париже... туда приехал Егор Яковлев. Мы встретились, и он велел мне по возвращении в Россию выходить на работу. Я послушал его и на работу вернулся. И надо сказать, что за это я ему благодарен. На что б я жил, если б не он? Деньги-то быстро исчезли! За эти годы и куда большие деньги у людей успевали исчезнуть... А когда-то я мог купить «ягуар»...

Все сбылось, ну и что?

— Ты ожидал, что народ так удивится этой книжке?

— Нет, я ничего не ожидал. Но повесть сразу нашумела, потому что все испугались.

— Когда стало ясно, что твои пророчества начали сбываться? Ты можешь обозначить этот момент?

— А это когда в Тбилиси применили саперные лопатки. Сразу все руками замахали! Оказалось, что я выдал пророчество — и оно на глазах у восхищенной публики сбывается! Это страшно добавило шуму, разных интервью; но уж, правда, ни новых денег, ни славы не принесло. Да... Немало говорили в том духе, что-де «повесть не бог весть каких литературных достоинств, она интересна разве только в политическом смысле». Но на самом деле повесть заметили еще тогда, когда ничего не сбылось! Вот был анекдот про интеллигента, который писатель-прозаик. «Про каких таких прозаек?» А я как бы писатель-пророк: «Про какой такой на фиг рок?»

— А ты сам удивился, когда сбылось?

— Отчасти — да. Человек — орудие, и я, как верующий человек, не могу думать иначе. И любой, кто всерьез задумается о происходящем, поймет, что это не он живет, это им живут.

Жизнь после славы

— Слушай... А как же после такого мирового успеха дальше жить? Как ты дальше после этого зажил?

— Понимаешь, перешибить первый успех очень трудно. Что ни напиши, — ничего не считается! Никто этого не оценит. И у тебя начинается чудовищный кризис... Это не упрек, просто так устроена человеческая цивилизация.

— Вот и Гоголь сжег второй том...

— Не хочу ни с кем мериться, но... взять такую выдающуюся фигуру в истории русской жизни этого века, как Александр Исаевич Солженицын. Вот написал он «Ивана Денисовича» и «Архипелаг». После этого он мог написать последовательно «Илиаду», «Ромео и Джульетту», «Евгения Онегина», потом «Войну и мир», «Шинель» — все не имело бы уже никакого значения, он остался бы автором «Одного дня Ивана Денисовича» и «Архипелага». Он живет, пишет, и пишет лучше...

— И ты тоже стал лучше писать?

— И я тоже — лучше. Более того, то, что я написал до «Невозвращенца», тоже лучше, но это понимает десяток глубоко литературных людей. Тут ничего не сделаешь, это клеймо.

— И от этого ваш брат писатель спивается...

— Да... С этим нельзя сделать ничего.

— А ты думал, что еще напишешь столь же громкие книги, как «Невозвращенец»?

— Нет. В ранней молодости у меня была единственная мечта — хоть что-нибудь написать и напечатать. Так эта мечта давно сбылась, мне жаловаться не на что...

— Тебе, наверно, часто говорят: «Какой же ты умный!»

— Ну... Сейчас уже реже.

— Теперь классический вопрос: «Каковы ваши творческие планы?»

— Пишу новый роман, очень большой. Несмотря на то что с кино мне сильно не повезло, что я дал себе зарок никогда больше с кино не связываться, я опять ввязался и занимаюсь новым фильмом по моему сценарию.

Успокойтесь, все будет хорошо

— Саша! Предскажи что-нибудь, пожалуйста. Ты же писатель-пророк, у тебя ведь получается! Скажи — что будет дальше?

— Нет, нет, я ничего не предсказывал, все вышло нечаянно. Но мне кажется, что и России, и Северной Корее, или Ираку, или Кубе — всем путь один.

— В смысле — расстрел Белого дома, мечта об импичменте, «семья»?

— Нет, я про хорошее — про коммерческие ларьки, супермаркеты, пепси-колу. Свобода в земной жизни придумана не нами. Ее учредил Господь, он завещал людям не отнимать друг у друга собственность, не убивать друг друга, живет человек — пусть себе живет (извини за такой вольный пересказ заповедей). Этот Божий порядок личной свободы отменить нельзя, его только можно на время, ненадолго, приостановить, — как у нас или в Германии. Ким Чен Ир, Кастро, Зюганов — все это не имеет значения. Все наладится... Это моя надежда, а не предсказание, — я ж не баба Ванга.

Примечание. Вообще вся эта книга началась с интервью, которое мне в 1999 году дал Александр Кабаков.

**ИВАН КОНОНОВ —
который «Левый берег Дона»**

Как сочинить народную песню

— Иван! Мы с тобой знакомы с 1975 года. Поступали тогда вместе на журфак, в Москве. И так более или менее я понимал, кто ты и что, — думал, что понимаю. А потом мне сказали, что русскую народную песню «Левый берег Дона» якобы написал ты. Не Орлов ли мне первый это сказал, который поэт Орлуша? Мне просто смешно было это слушать. Ну ладно — Шолохов там у себя в станице всю жизнь жил... Ну а ты — московский журналист, хуже того — телевизионщик, ну что ждать от простого человека, такого же, как мы? И вдруг — народная песня. Я когда тебя про это спросил, ты просто расцвел. Ну, думаю, гонит! Потом проверил информацию — точно! И я стал всем хвастать, что лично знаком с автором шедевра. Я считаю, что это выдающаяся заслуга перед народом — написать ему песню, чтоб он ее присвоил, принял, стал не то чтоб даже петь, а заказывать в кабаках, за деньги, когда душа рвется наружу. Давай-ка наконец расскажи же мне, ответ строго и ответственно, где, когда и при каких обстоятельствах...

— Ты еще скажи: «В глаза мне! В глаза мне смотреть!»

— Да, да, смотреть! При каких обстоятельствах ты сочинил эту песню — «Левый берег». Подробней. С кем ты ездил туда на катере? Чем там занимался? Была ли она замужем?

— Все ровно наоборот. Я написал это именно в силу того, что я никуда ни с кем не ездил. Просто давно не был в Ростове, истосковался по родине.

— Давно — это сколько?

— Ну не знаю, лет пять. Кстати, у меня в Ростове не было ни одного романа. Я уехал оттуда крошкой. Родители увезли. А потом я приезжал, когда уже был женат. Ну я, конечно, бывал там, когда мне было десять, пятнадцать лет. Уже половозрелый, но еще стеснялся. Я соседку пытался притиснуть, но она мне не дала. Красивая была девчонка, нравилась мне

с детства. Но, как говорил Гекльберри Финн, «совесть — это такая большая шляпа, которая мешает войти в двери». Я тебе больше скажу. По секрету. Первая любовь, не считая детской, у меня случилась только в армии.

— Так. А где ты служил?

— В Киеве, в стройбате. Я глухой на одно ухо, поэтому меня определили туда. Жизнь там у меня, как это ни звучит странно, была замечательная. И вот уже под конец службы появилась она. Ей было 16 лет, и она потешалась надо мной, что я такой неопытный, наивный и глупый.

— Тебе всю жизнь испортило твое хорошее воспитание! Да?

— Нет. Я считаю, наоборот. Оно защитило меня от всех ненужных историй. Вот я тебя сейчас слушаю и думаю: наверное, действительно это и есть сублимация — писание стихов. Стихи — это как раз попытка перешагнуть те барьеры, которые мне попадались в жизни.

— То есть задним числом стать плохим мальчиком?

— Но я становлюсь в них не только плохим, но и супер-хорошим.

— Когда ты сказал про попытку перешагнуть барьеры, я сразу вспомнил твой стих под названием, если я не ошибаюсь, «В полуспущенных кальсонах». Которым ты меня поразил в свое время. Лет десять или пятнадцать назад. Ты его сочинил, позвонил мне, чтоб прочесть, я как раз сидел на балконе и пил пиво, опохмелялся, самая подходящая обстановка для наслаждения поэзией. Я выслушал и сказал тебе, что это крепкое порно удалось! А ты обиделся — типа какое ж порно, это тончайшая интимная лирика! Просто у нас разные взгляды на поэзию. Ну-ка напхни, какие там были строки, пожги-ка глаголом!

— Путь земной на пять десятых
Я прошел в кальсонах смятых,
С колтунами в волосах,
В полуспущенных трусах,
От усердия пердя,
Через женские мудя...

- Жестко, жестко, конкретно!
- Мне все время товарищи говорили: «Нет у женщин мудей!» А я им: «У тех, которых я знаю, есть!»
- Давай дальше, это круто. Нестандартно!

— Между сладостных деталей
Сокровенных гениталий,
Через мусор, через грязь,
Развращаясь и резвясь.

— Вот видишь, когда я тебя просил почитать твои лучшие стихи, ты отнекивался, «ах, у меня все строки хорошие». Но это ты говорил с пафосом, а сейчас ты улыбаешься, ты расслабился, у тебя открытое светлое лицо. Наверное, это и есть настоящие твои стихи, которые естественны для тебя.

— Не все вещи, которые достаются легко, — настоящие. Иной раз нужно себя напрячь.

— Однако ближе к телу. В каком году ты написал «Левый берег»?

— Я написал в 88-м. Причем я никогда до этого не писал песен, обрати внимание. Единственный песенный импульс у меня был прямо перед этим — чисто бардовский. Я пел под гитару:

Как же много-то нас! А зачем? А зачем — непонятно.
Большинство скоротает судьбу в денщиках.
Мы сбриваем вранье, и родимые белые пятна
Проступают на розовых наших щеках.

Но это было — пение стихов, а не песня. Мы все росли на Галиче, Окуджаве, Высоцком, Визборе. И потом, вслед за этим, у меня стало свербеть. Я давно не был в Ростове. А я его ужасно любил, люблю и тоскую по нему. По городу своего детства. Это — мои молодые папа и мама, благодать, лепота, познание жизни. Я всегда говорю, когда меня спрашивают, откуда у тебя столько познаний о Ростове, что в первые пять-семь лет жизни человека один год идет за два, а иногда и за три. Я научился в Ростове всему: ходить, думать, говорить,

кушать... Любить! Я уже был влюблен и думал о пиписьках со страшной силой. Я когда пошел в школу, то заявил своим старшим подружкам, чтобы они меня больше не тискали и не сюсюкались со мной как с маленьким. Короче, у меня появились какие-то первые ностальгические строчки, и я не придал им значения. Это тот самый случай, когда стихи появляются непонятно откуда и пока еще непонятно про что. То есть я не сел и не сказал себе: «Сейчас я буду писать песню о Ростове»: «Играй, гармоника, играй! Мы на земле искали рай!» Почему? Какой нах рай? Какая гармоника? Я ее там и не слышал никогда на самом деле, если честно.

И он, казалось, был невысказанно далек.
А до него — рукой подать,
Чтоб наступила благодать,
Давай-ка сядем в этот старый катерок! —

Вот что я действительно знал, помнил и любил, так это «старый катерок». Он для меня был символом счастья. Маленький пассажирский катер, куда грузятся на правом берегу (там, где город) человек тридцать-сорок — и плывут на левый, туда, где пляжи и зоны отдыха. Свобода и кайф.

— А как ты понял, что это песня?

— Не знаю, но я сразу стал ее напевать. И кстати, почему «левый, левый, левый»? А просто потому, что я других слов не мог найти. Я понимал, что по размеру должен быть какой-нибудь там «левый, растакой-то берег Дона». А какой такой — «растакой»? Никак не мог придумать. А потом решил, это же не стихи, а песня. В ней можно повторять одно и то же, сколько угодно раз. Я и повторил: «Левый, левый, левый берег Дона!»

— И получилось еще, что налево пойдешь. А это было злачное место?

— Нет, тогда это просто было местом отдыха. И не было никаких кабаков. Конечно, любое место отдыха со временем становится злачным. Но тогда мы брали все с собой, стелили там одеяльца, доставали свою снедь нехитрую.

— Ты сам ездил туда?

- Понятное дело, что с родителями.
- Ты видел, как взрослые там щиплют девок?
- Ничего я такого не видел. Мне даже в голову такого не приходило.
- Но когда ты писал песню, ты ведь о какой-то девушке думал?
- Лирический герой и лирическая героиня.
- Но — «мы с тобой добратся не умели...»
- Это — условная девушка.
- Ну хорошо, не хочешь рассказывать, не надо. Ты, как женатый человек, имеешь право молчать.
- Нет, клянусь, ничего не было! Все придумано.
- Все, что будет вами сказано, может быть использовано против вас.
- Это удивительная вообще вещь, когда ты пишешь, не имея в виду ничего конкретного.
- А как ты проснулся знаменитым?
- До этого было еще далеко. Вот я написал, нашкрябал на гитарке, на трех аккордах мотивчик...
- А ты гитару освоил?
- С трудом. Мне ее настроил сын. Специальным образом. Мой гениальный сын, без всякого музыкального образования играющий на всех инструментах с шести лет.
- Я помню, вы выступали где-то вместе.
- Было дело. Он сел в шесть лет за пианино и стал стучать по клавишам. Как выяснилось впоследствии, — гармонию. Пальчики у него сразу упали на гармонию.
- Как это?
- Ну просто. Он не играет одним пальцем мелодию «ля-ля-ля», а сразу выстраивает гармонический ряд. Знаешь, что это такое?
- Нет.
- И я тоже не знаю. А он играет. На пианино он нажимает одновременно несколько клавиш, которые друг с другом гармонируют. Играет аккорды, выстраивая мелодию.
- А в кого это он у вас такой?
- Наташка училась музыке, но недоучилась и всю жизнь мечтала так играть. Я тоже только мечтал. И вот в нем —

наши мечтания. Все, что записано сейчас моего, — это его аранжировки. С использованием всех инструментов. И он научил меня играть на гитаре специальным образом. Мне было лень научиться дотягивать пальцы вверх, я играл только на трех нижних струнах. И он настроил так верхние, чтобы, когда я их перебирал бы большим пальцем, в открытом виде, без всякого прижатия, гармонировали бы с теми аккордами, которые я выдавал на нижних. Вот так я «играю» на гитаре до сих пор. Слушай дальше! Это очень поучительная история о том, как появляются шлягеры на свет. В ней фигурирует персонаж сам по себе очень любопытный. Сережа Соколов. Помнишь такого? Это тот, который создал у Березовского частное охранное предприятие «Атолл». Он был Гувером у Березы. Ты помнишь эту громкую историю с прослушиванием всех врагов Березовского?

— Да, что-то припоминаю.

— А ты в курсе, что это я помирил Гуся с Березой? Уже когда я вел свой «Третий глаз» на НТВ, встретился мне Серега. Взялся подвезти и по дороге спрашивает, не хочу ли я послушать, о чем Гусинский базарит с Березовским. Я говорю, каким образом? Он говорит, это моя работа. Поехали, говорит, у меня пленочки уникальные. Мне, слава богу, хватило ума отказаться. Он говорит: «А ты можешь меня свести с охраной Гуся?» Я говорю: «А на фиг?» Он говорит: «А ты в курсе, что они хотят убить друг друга, и я хочу их помирить». Я, конечно, офигел, но передал своим друзьям — отцам-основателям НТВ этот разговор. Они на меня зашипели, велели сбегать из Москвы. Я понял, что дело нешуточное, но решил довести дело до конца. Встретился со службой безопасности Гуся и рассказал все, что знаю. Короче, в результате они там вместе с Соколовым эту ситуацию разрулили.

— Ты хотя бы оказался в доле? Или хотя бы поощрен как-то?

— Щас.

— Ну да. Спасибо, что в живых остался.

— Так вот, я знал Серегу Соколова еще с тех пор, когда он был успешным продюсером шоу-бизнеса. Он такой —

небольшого росточка, но очень шустрый парень. Сейчас борется с коррупцией, а тогда был продюсером. А я работал на ТВ в «молодежке» у Сагалаева. И вот он пробегает мимо моего кабинета на двенадцатом этаже, и я хватаю его за рукав и говорю: «Серег, погоди, зайди на минутку. У меня есть вот такая песня, не знаю, что с ней делать». И он так, не глядя ни на песню, ни на меня, говорит: «Знаешь, сидит тут без дела и пропадает один очень талантливый парень — Костя Ундров». И дает мне телефон.

— Никогда не слышал.

— Ну что ты! Вообще, все считают, что автор «Левого берега Дона» — именно он. Когда однажды меня объявили и сказали, что «сейчас перед вами выступит автор легендарной песни», зрители, увидев меня, закричали: «Наконец-то мы знаем, как выглядит Ундров!» Представляешь? Короче говоря, поехал я к этому Ундрову. Парень живет один в квартире, заставленной пустыми бутылками, не просыхает, мордатенький такой, пузатенький и вообще с тенором. Я был разочарован, честно говоря. Но этот Костя, несмотря на то что с бодуна, оказался очень прозорливым парнем. Услышал он мой ростовский бесхитростный репертуар...

— Сообразил, да?

— Да, тут же все понял. И тут надо отдать ему великое должное. Он очнулся от своего этого самого состояния. Это была как будто прививка такая. Просто — р-раз! Схватил песни, написал аранжировки. Блистательные, кстати говоря.

— А мелодия была твоя?

— Ну, мелодией это было назвать трудно. Это было намурлыкано, на трех с половиной аккордах сыграно. По большому счету мелодию, конечно, выправил он. Но только выправил. Основа была моя. Но я, на радостях и сдуру, записал его соавтором музыки.

— Это правильно было?

— Нет, я считаю, что неправильно. Он все-таки сделал аранжировку. Как свою сделал потом Шуфутинский. Кстати, знаешь, откуда у него взялся «Левый берег»?

— Спер, наверное.

— Не совсем. Как Михаил Захарович сам мне потом рассказывал, ему спел ее на кухне его дома в Лос-Анджелесе помощник Розенбаума. Просто под гитару. На кухне. Прикинь! Он сказал ему, что есть в народе такая очень популярная песня. Автор неизвестен.

— А на самом деле?

— Если давать точную формулировку, то автор Кононов сочинил, а Ундров подправил. И спел.

— То есть Ундров — паразит?

— Нет, это тоже не так. Эту песню никто бы никогда не знал и не слышал, если бы он не сделал того, что он сделал. Тут я тебе зуб даю. А сделал он следующее, Игорь. Тогда ведь не было ни интернета, ни радио и ТВ-шансона. Ничего этого не было! Тогда был только Разин, который свою кассету распространял через проводниц на железнодорожных вокзалах. И они запускали в поезде «Ласковый май». И люди, ехавшие, к примеру, из Москвы во Владик, выходили из поезда уже полностью зомбированные «Белыми розами» и Шатуновым. Так вот послушай, что самое главное сделал Костя. Тогда роль интернета играли киоски «Союз», в которых по всей стране продавались все эти кассеты. И если ты помнишь, везде в людных местах торчали эти киоски, и из них на всю ивановскую неслись мелодии. И от них зависело — кого они будут крутить, тот и будет раскручиваться. А у Кости был знакомый, один из владельцев этой сети. Очень хороший мужик. И он с ним договорился, собрал на одну кассету все мои написанные к тому времени (уже специально) ростовские песни и запустил альбом в тираж. Очень быстро. Буквально очнулся ото сна и провернул все это за два-три месяца. А в Ростове был такой кассетный король по фамилии Ладик. И он тоже растиражировал альбом каким-то космическим тиражом.

— А кто инвестировал?

— Никто, он сам. В расчете на прибыль. И не ошибся! Но потом плохо кончил. Он плохо повел себя по отношению ко мне. Верней, никак не повел. Я приехал в Ростов за славой. Не за деньгами. Блядь, не за деньгами! У меня с ними и так все было в порядке. Я работал на телевидении, у меня была

офигительная карьера, я получал нормальные бабки. Я приехал, чтобы мне просто сказали: «Ваня, какой ты молодец, спасибо тебе!» Потому что, как только это вышло, это стало звучать из каждой форточки. Ростов и Юг России все это сразу схавали. Потому что у Ростова не было песни, которая идентифицировалась бы с ним.

— Как, например, «Одесса — жемчужина у моря!».

— Вот именно. А где Ростов? Сейчас они начинают вспоминать. А вот была «Улица садовая, скамеечка кленовая». Херня собачья все это! Понимаешь? Такой, чтобы в десятку, не было у них песни! А эта попала сразу.

— Почему, как ты думаешь?

— А потому, что было пустое место. Почему оно было пустым, я не могу сказать. Просто у меня засосало под ложечкой, и я сам себя насытил. Оказалось не только себя и не только Ростов. У меня на одном мероприятии был один парень, он спрашивает: «А это вы написали: “Я часто вижу тебя с этапа, Ростов — мой город, Ростов — мой папа”?» Я говорю: «Я». — «А я, — говорит, — рос на этой песне». Почему-то он рос на этой песне! Живя при этом в Сибири! И он всю жизнь считал, что ее Ундров написал. А это — песня с той самой кассеты. На ней — все культовые места моей родины. Когда ты слушаешь, ты поймешь дух Ростова. Моя мамочка (царство ей небесное) — отчаянная ростовчанка. Она последние годы жизни провела прикованной к постели. Она уже была страшно слаба, ничего не видела, все быстро забывала, но страстно тосковала по Ростову-на-Дону. Она готова была ползти к нему, лишь бы прикоснуться к родным реликвиям. И вот она целыми днями слушала все мои ростовские песни. В моем исполнении. Она знала их наизусть, интересовалась судьбой их героев, как живых, а не вымышленных. И светлые слезы счастья текли по ее щекам. Я считаю, что только ради этого стоило их написать. И главный замысел, который я вынашиваю и лелею сейчас, — это фильм по моим ростовским песням. Я написал сценарий фильма-мюзикла. Там — три друга. Действие происходит параллельно в 60-х и 90-годах. Естественно на левом берегу. Никто мне не платил, просто взял и написал. Начинаю исподволь по-

бираться к воплощению. Есть еще одна идея — сделать ежегодный фестиваль искусств, спорта и предпринимательства «Левый берег Дона». Оттуда и инвесторы могут подтянуться.

— Так, значит, ты приехал в Ростов, чтоб насладиться славой, — и?

— Ну да, я приезжаю, иду в свой родной Дом строителей, где я играл, будучи мальчишкой, всяких зайчиков и Емель на елках. Это на улице Шаумяна, самый центр Ростова, я там рядом родился и страшно горжусь этим обстоятельством. А у него там офис, у этого парня. И вот я прихожу туда и говорю, скажите, мол, что приехал автор такой-то песни. Мне говорят: «Вы подождите немного». Я говорю: «Хорошо». Жду, никто меня не приглашает. Пять минут, десять, пятнадцать. Я выхожу на улицу, подышать родным воздухом. Мне все равно хорошо, по фигу, примут меня или нет. Вижу — какой-то чувак выходит с тремя девицами, грузятся они в машину и уезжают. Я спускаюсь вниз, интересуюсь, где, мол, начальник? Освободился или нет? Мне говорят: «А он уехал только что». И я понимаю, что это он и был. То есть он прошел через другой выход и смотался. Наверное, решил, что его сейчас будут душить, прессовать, требовать денег. Так и не состоялась эта великая встреча...

— А концерты ты давал там какие-нибудь?

— Нет, не давал. Я тогда очень стеснялся петь, тем более у меня не было ни фонограмм, ничего. Единственно, что я делал — приезжал, вставал и кланялся во все стороны, когда у Ундрова были гастроли. Он ездил по гастролям, он заделался ростовчанином большим, чем я. Все считают, что он ростовчанин. А он москвич четвертого поколения. Но — стал ростовчанином.

— То есть бабок тебе этого не дало никаких?

— Слава богу. А его бабки и сгубили.

— Как так?

— Ну он за меня там собирал бабки, выдавая себя за автора. И квасил на каждом углу. Везде его хватали, таскали, он везде пел. И пил. Я его всегда жалел. Он помер совсем недавно. Из-за чудовищной ошибки врачей. У него был инсульт, как я понимаю, а его лечили, как всегда, то ли от

гриппа, то ли от геморроя. Но я еще раз говорю, у меня на него никакого зла, ни обиды, ничего. Наоборот, я ему очень признателен за то, что он всю свою накопившуюся энергию пустил на реализацию ростовского проекта. Я бы этого не сделал. И ты напрасно считаешь, что оно и само бы пошло. Ни фига бы не пошло! Он сделал то, благодаря чему это все завертелось.

— А этот Ладик? Что дальше?

— А черт его знает! То ли убили его, то ли сам помер.

— Короче, ты доволен судьбой этой песни, хоть ничего и не заработал?

— Для меня было самое большое счастье, когда я ходил по Ростову и у малых и у старых спрашивал, знают ли они «Левый берег Дона»? И все говорили: «А как же! Да ты что!» — «А это я написал!» — «Да, ладно, не трюнди, иди в жопу!» И я, счастливый, шел дальше. И до сих пор нигде я не встречал ни одного человека, который не слышал бы и не знал ее. Недавно, на мероприятии, девчонки стоят, модели, ноги от ушей растут. Им там по 18 лет, гораздо меньше, чем самой песне. И они: «Ой, неужели это вы? Конечно, знаем!» И радостно подхватывают ее, если я запеваю. Откуда у них это? Откуда?!

Ответа нет. Никому не понятно, почему одни становятся всенародно любимыми, а другие остаются незамеченными и уходят в песок и сразу забываются, независимо от того сколько денег они потратили на пиар.

ПИСАТЕЛЬ КОХ: «Славы Чехова мне хватит»

Лучшие годы русской литературы были таковыми во многом потому, что прежде ее двигали дворяне — люди, которые писали не для денег, не для заработка, а просто потому, что так им хотелось. Потом пришли разночинцы, кухаркины дети, стали писать на потребу, — и вот они-то все испортили. В итоге мы получили соцреализм, травлю Пастернака, конвейерные убийства писателей и поэтов, кучи занудных лживых книг, казенные дачи в Переделкино и много других малосимпатичных вещей...

Когда я объявлял о своих мечтах по поводу возрождения русской «дворянской» литературы, это было шуткой максимум на 50 процентов. С одной стороны, известный банкир Петр Авен пока только публично обещает новые книги, а Альфред Кох уже давно и активно пишет. Две книги у нас с ним общие, вместе сочиняли...

Итак, писатель Альфред Кох.

Путь в литературу

— Алик! Когда мы с тобой писали «Ящик водки», ты сделал сенсационное заявление. Ты тогда сообщил, что самая лучшая для тебя профессия — писатель, а все остальное — ерунда. Чего в этом заявлении больше — игры, шутки, эпатажа, правды? Вранья, пиара, откровенности? Вместо того чтоб и дальше колотить бабло, ты решил сменить род деятельности: «Не буду, значит, убиваться за лишний миллион, начну писать книги!» Как так? Это интересно, наверно, не только мне, но и многим другим людям, которые думают про тебя: «На хера он пишет? Почему бы ему не жить в Геленджике на пляже, и не есть шашлык, и не пить вино целыми днями напролет, — что казалось счастьем при Советах?» Дуришь ты народ, или это серьезно?

Повисла пауза...

Которая через минуту закончилась, и Альфред Рейнгольдич стал отвечать:

— Ты напихал в вопрос столько всего, что я не знаю, с чего начать.

— Так уж получилось.

— У меня недавно брали интервью в Лондоне — по поводу предстоящего выхода «Ящика» на английском — и вот тоже спросили: «А почему вы вдруг начали писать?» Я обиделся: что за глупый и бестактный вопрос! Я спросил их: а почему вы такой вопрос не задаете Льву Толстому? «Лев Николаич, с какого хера? У тебя ведь блестящая военная биография, ты богатый граф, у тебя поместье под Тулой, положение в обществе и так далее, и так далее. Вместо того чтобы наслаждаться жизнью и жрать черную икру — ты взял и начал писать. Ладно, поначалу писал беллетристику — а под конец вообще начал на царя наезжать, на церковь, так что даже отлучили, и так далее». Вы же этот вопрос Льву Толстому не задаете! Почему же вы его мне задаете?

— А ты вон жил-жил финансовой экономической и политической жизнью и бизнесом, а потом вдруг — херакс! — и в писатели.

— А может, я всю жизнь хотел! Всю жизнь хотел, но все недосуг было!

— И что, это оправдание?

— Ага, если б я начал в двадцать, то не было б вопросов!

— Ну да. Ты вот женился в 1980 году, и вопрос закрыт. А если б ты щас женился, всем бы стало интересно: с чего вдруг? Вот и с писательством: был ты нормальный — и вдруг тронулся, стал писать.

— А ты считаешь, что если писатель, так тронутый?

— Ну да. Только не все признаются. Бунин один нашел в себе силы признаться: «Живу в тайном безумии».

— Вообще обычно люди не готовы отвечать на вопрос, почему они именно этим видом деятельности занимаются... Вот спросить Путина, почему он занимается именно политикой — так он бы искренне ответил: «Вот не поверите — не собирался! Совершенно другие планы были». Вот и Лев Толстой,

в отличие от тебя, не заканчивал журфак МГУ. Он в Казанском университете восточные языки учил. Но я отвечаю на твой вопрос про писательство, несмотря на то что он бестактный. Тем более что я сам думал над ним: «С какого хера вдруг ты, Алик Кох, полез в это дело? Тем более что у тебя по литературе в школе была твердая четверка. Сочинения твои не нравились учительнице, и, соответственно, у тебя не могло сложиться впечатление, что ты это делать в состоянии». Но могу тебе сказать: я помню, когда почувствовал к этому вкус — в институте. И тем более когда учился уже в аспирантуре и начинал писать диссертацию. Я много раз говорил о том, что мой научный руководитель мне даже стиль правил. При том что диссертация была посвящена прикладной математике. Но он даже стилистику вербальных абзацев, состоявших из слов, а не из формул, правил, — ставил запятые, менял слова, вычеркивал фразы — литературно правил!

— Его звали, кажется, Овсиевич?

— Да. Профессор Борис Львович Овсиевич. Меня это тогда так потрясло! Я никак не мог взять в толк, почему для него это так важно. Смысл-то понятен, ну и чего ты тут ковыряешься? И только потом я понял, что ему резало, корябало внутри, когда неправильно было написано. А когда правильно, то оно раз — и проскальзывает, проглатывается. Я понял, что внутри фразы, внутри текста — магия. Если ты разовьешь в себе шестое чувство, то начнешь эту магию чувствовать. И поскольку он меня заставлял работать над текстом с упорством, достойным лучшего применения, я по десять раз переписывал, — я бесился. Но в итоге начал чувствовать вот эту магию. И потом, когда я с этим новым знанием начал читать писателей, я увидел, что очень часто они пишут херово. Я обнаружил, что есть писатели, которые великолепно пишут, у которых без зазубринок текст вылезает, а есть такие, у которых коряво выходит. Я был потрясен совершенно волшебным непревзойденным русским языком, которым написана «Капитанская дочка». Потом я заметил, что есть люди, которые пишут на первый взгляд коряво, а на самом деле — не коряво, прям очень даже в сердце, к примеру Лев Толстой.

— Толстой — так себе стилист, а вот насчет «Капитанской дочки» — согласен.

— Вот просто оно у Пушкина льется. Бывают турбулентные струи, а бывают ламинарные, которые без брызг.

— Как сказал кто-то из великих, простота приходит последней.

— Да, да! И мне захотелось так научиться. А кстати, Лев Толстой — это не херня, это ты напрасно. У него есть несколько писем — в частности одно из моих любимых, написанное Александру Третьему, на убийство Александра Второго...

— Это где — «прости убийц»?

— Да. И открытое письмо по поводу отлучения его от церкви... Это очень серьезно! А «Смерть Ивана Ильича»? А «Крейцера соната»? Это очень круто. А еще у него есть маленький, буквально на полторы странички, рассказ «Алеша Горшок». Не читал? Это просто вершина русской словесности, вершина! Лучше нету!

— Странно... В это все ты вник после того как Овсевич...

— Да! Буквально носом тыкал. Как в музыкальной школе учат на фортепиано играть. Учат, учат, учат... Сидит балбес, а ему по рукам дают... Теперь переходим ко второй части. Я занимался прикладной математикой, — а что это такое? В отличие от общей абстрактной математики, которая никакой связи с действительностью не имеет и может оперировать какими угодно пространствами и законами, прикладная — это создание некоего языка для наиболее адекватного изображения действительности. Прикладная математика — описательная наука. Берется какой-то экономический процесс и создается его модель математическая.

— А что литература?

— Так вот самое интересное, что процесс формального описания экономического процесса, так, чтоб внутри этой модели не было противоречий, чтобы все ее части между собой стыковались, чтобы с изменением одного параметра начинали адекватно меняться другие параметры, чтоб это все не выпадало из реальности, — это сродни литературному процессу! Процесс творения некоего текста тоже должен

быть внутри не противоречив, чтоб в новом абзаце ты не отказался от того, что говорил раньше, не должно быть повторов, лишних оборотов, текст должен быть компактным. И вот сам этот процесс творения доставляет мне колоссальное удовольствие! Такое же, как было, когда я работал с математикой.

И тут самое важное все-таки — овладеть инструментом настолько хорошо, чтобы писать ровно то, что ты хочешь написать... А то, бывает, звонишь кому-то и спрашиваешь: что ж ты тут написал так-то и так-то? Он мнетя, оправдывается, вот, я на самом деле хотел другое написать, а получилось — что получилось. Вот недавно Немцов опубликовал доклад о том, какой Путин плохой. И там помимо прочего было написано: «В 90-х все шло плохо, пока я в 97-м не пришел к власти». Я ему говорю: «Боря, ну на кой черт ты это написал? Ладно, допустим, тебе приватизация не нравится, — но реформы Гайдара то были нормальные?» Ну, говорит, я на самом деле хотел написать то-то и то-то... Человек, который позиционирует себя как писатель, не имеет права говорить таких слов! «Хотел написать то, а написал это, вот рука сама так встала, и написалось другое» — позор! Если хотел написать одно, а написал другое, значит, ты мудак. Писатель — это тот, кто написал ровно то, что хотел написать. Написать так, чтоб не было других трактовок — это удовольствие само по себе.

— Ну да. Часто писатели на вопрос «Что вы хотели сказать этим текстом?» отвечают: да пошли вы, читайте текст, там все, что я хотел сказать.

— Да! А если он начинает разъяснять свои тексты, значит, он хреновый писатель.

— Вот Немцов. Он идет тем же путем, что и ты, — или использует свои книги, чтоб пропиарить свою политическую составляющую?

— Конечно, они у него прикладное значение имеют. А у меня процесс писания имеет самоценное значение. При чем он не сразу начинает мне доставлять удовольствие, несколько первых абзацев я высираю долго-долго. Но это необходимый разгон, а потом процесс идет так, что не оторваться — ни пожрать, ни посрать...

— Это связалось у тебя с выделением эндорфина и прочих наркотиков, которые вырабатывает организм и вбрасывает в кровь.

— Наверное...

Главное — биография

— Теперь ты должен дать свой список величайших писателей. Значит, первый в нем — Толстой?

— Ты имеешь в виду — в мире?

— Ну.

— Говорить об иностранной литературе сложно, потому что иностранного языка я почти не чувствую, а в переводах это совсем не то... Так что могу судить только о русской литературе. Тут если говорить о владении инструментом — то Пушкин, конечно, number one. Многие говорят про Набокова, что он почти как Пушкин и даже лучше — но я так не считаю. А если брать интегральный показатель, не только как написано, но и что, и масштаб, и судьбу (каждый русский писатель, любого возьми из первой десятки — его жизнь тоже произведение искусства, прекрасный happening), то по интегральному показателю — это Лев Толстой.

— Или взять офицера, который тоже, как Толстой, воевал на Кавказе и тоже стал писателем, — Прилепин: что б он ни писал, главное, что он воевал, вот и отстаньте. Или Лимонов... Который вслед за тобой идет в этой книжке.

— Ну да, смешно рассуждать про режиссера, который только закончил ВГИК, ему 22 года и он начинает снимать фильм... Что, ему есть что сказать? Да нечего ему сказать. Настоящим хорошим писателем может стать тот, кто много пережил, много путешествовал, видел людей в разных ситуациях, какие-то масштабные процессы — либо войну, либо крах империи, строительство городов, смерть великих людей, — понимаешь? А когда человек родился, женился, не привлекался, не состоял и снимает фильм — ну про что фильм? Сниму, говорит, сука, «Макбета»! Да что ты про Макбета знаешь! Что такое предательство, что такое убийство, что такое смерть?

— Чтоб это знать, надо быть бандитом или бизнесменом, что-то в этом роде, да? Ну или чекистом.

— Чекистом — это смотря каким. А если сидеть в секретном отделе какого-нибудь НИИ, всю жизнь там протирать штаны...

— Значит, ты согласен с Лимоновым в том, что нет профессии писателя и незачем сочинять, надо просто жить интересно и эту жизнь описывать правдиво.

— Конечно! Жить так, чтоб тебе было что сказать. Лимонов, конечно, пожил, биография у него есть.

— Значит, у нас что идет — Пушкин, Толстой...

— Пушкин, Толстой, Лермонтов...

— Лермонтов — по прозе?

— И по поэзии тоже. Люди, которые жили на переломе, которые войну прошли, — все! И Рубцов, и Гудзенко. Да начиная с Серебряного века...

О коллегах

— А живые? Они тебя не вдохновляют?

— Почему? Если говорить о Солже (разговор шел незадолго до смерти Исаича. — И. С.), то он меня вдохновляет. Есть же два разных Солжа. Солж как физически существующий человек — чего уж говорить, нет там никакого творчества давно. А Солж как писатель, который писал, скажем так, в репродуктивном возрасте — «Архипелаг», «В круге первом», «Раковый корпус», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Один день», — это шикарно!

— Еще кто из живых?

— Мне Акунин нравится.

— Ну это, наверно, потому, что ты математик, а он там так холодно рисует схемы.

— С точки зрения качества фразы у него все хорошо. Потом из поэтов — Кибиров. А с точки зрения оригинальной образности текстов, с точки зрения мира и языка, очень адекватного — мне Сашка Лаэртский очень нравится. Он создал некий мир, а к нему — некую модель языкового описания. И это очень совпадающие вещи. Там нет зазубрин и противоречий, там очень хорошо все подогнано.

— А что вот эти величины, которые созданы большой машиной пиара — типа Робски?

— Про Робски я все уже рассказал в «Медведе». Это все мерзко, это бизнес... (Как интересно: бизнес — и вдруг мерзко. Стоит только погрузиться в писательство, сразу у человека появляется некая левизна, нелинейность, парадоксальность, противоречивость и вследствие всего этого — некая новая глубина, и это — притягивает. — И. С.)

Цитата (Кох про Робски и ее читателей, «Медведь», 2005, № 92):

Они хотят прочитать простую вещь. Что богатые и успешные люди — нравственные ублюдки. Что они просто животные, неспособные отличить добро от зла. Что они алкаши и наркоманы. Что они забыли родителей и детей. Что они способны убить человека и делают это. Что они сексуально распущенны и вообще бисексуальны.

И тогда становится легче. Ярче сияет тезис «честность — бедность» и собственная нравственная чистота. Отступает куда-то в сторону мысль о том, что ты не гробишь не потому, что считаешь это грехом, а потому, что у тебя нет такой возможности... И жизнь кажется не такой беспросветной. Как безнадежно больному раку дают обезболивающие наркотики, так и эти книги — наркотик, нужный новоявленным васисуалиям лоханкиным.

— Так, значит, не любишь ты Робски; а нет у тебя зависти к ее огромным тиражам?

— Абсолютно нет. Абсолютно! Я тут недавно почитал Полякова... Помню, какой прелестью были «100 дней до приказа», «ЧП районного масштаба». А сейчас он — просто Робски!

— Он ее, кстати, хвалит: якобы она похожа на молодую Токареву.

— Он тоже (как и Робски) описывает жизнь, которую не знает. Я вот тут ездил в Венесуэлу, делать было нечего, и в транспорте читал его рассказы. Два — из жизни миллионеров; вообще мимо кассы! Полное непонимание того, как эта жизнь устроена.

— Икра, яхты...

— Да! И блядство бесконечное. В свое время разбор творчества Робски я начал с рассказа Чехова «Сапожник и нечистая сила». Там сапожник рассказывает, как он бы вел бы себя, если б было бабок до хера. Так и тут Поляков пишет, как бы он жил, став миллионером: трахался бы с разными телками, жрал бы водку, путешествовал бы — ну короче, понимаешь, да? А вот рассказ из жизни главного редактора, как он жену бросил и стал жить с какой-то молодой сотрудницей, потом пожалел жену и обратно вернулся — он такой милый, хороший, адекватный. Это та жизнь, которую он знает, бытовые подробности очень правильные... Я хочу им сказать: ребята, не пишите о том, чего не знаете. Вот Робски пошла в ресторан и через два столика увидела миллионера, посмотрела и решила написать про него... Ну хватит, вы не знаете этой жизни, не знаете мотивов, которые руководят этими людьми! Понятно, что у вас есть свой читатель, которому нужно прочитать, что миллионер — полный гондон.

— Это как я вас — тебя и коллегу Гринберга — осуждаю за то, что вы описываете жизнь бомжей, которой вы не знаете, вы их только изредка видите из окна BMW, которую ведет персональный шофер.

— Ну, жизнь бомжей я описываю совершенно по-другому, ты понимаешь, что это была метафора, а почему Гринберг описывает жизнь бомжей — это ты у него спроси. Я жизнь бомжей описываю для того, чтоб показать народность персонажа...

— Ха-ха-ха! Очень хорошо. Ты, значит, за собой оставляешь право описывать жизнь, которой не знаешь, а другим в этом праве отказываешь. Ну это нормально, писатель не обязан быть объективным.

— Стереотипы, они настолько распространены в народе! Почему Путин так популярен в обществе? Потому что это типичный образ народного царя. Это совпадает со стереотипом народа! Он вышел из нас, из рабочей семьи, не боги горшки обжигают, и университет закончил, и языкам выучился, и в КГБ послужил, потом всех выебал и президентом стал.

И он справедливый, добрый и вот этих жидов-коммерсантов давит ради нас. Ради народа....

— Ну вот тебе и литература.

— Но это не чистая литература, а эпос, фольклор... Ты же понимаешь разницу между литературой и эпосом? Разница, как мне представляется, в том, что литература — это цветы, а то — земля, из которой они растут. Это некий склад запчастей. Аморфная масса, которой ты питаешься.

Роман из жизни миллионеров?

— Теперь такая важная вещь. Размышляешь ли ты о том, чтоб надо тебе написать роман?

— Нет. У меня нет такого замысла — и я могу объяснить почему.

— Давай! Интересно...

— Потому что в силу врожденной болтливости я не могу долго молчать. А для того чтобы написать роман, нужно взять десять, двадцать или даже сто различных точек зрения и концепций и, объединив их в рамках нескольких десятков героев и нескольких сюжетных линий, все это выложить в большом полотне в 1000 страниц. Для этого нужно идеи додумать, дострадать, посмотреть, как персонажи состариваются и умирают — или остаются актуальными на протяжении трех-четырёх лет. И тогда, пройдя испытание временем, они становятся среднесрочными и, следовательно, годными для вставления в роман. А у меня только какая-то идея появляется — я тут же ее выбалтываю в каком-то своем публицистическом труде. У меня маленький накопитель, он быстро переполняется, и сразу из него выплескивается. А у романиста накопитель должен быть огромный. Человек должен молча ходить три года, чтоб у него успел сформироваться этот большой кусок материала какого-то в этом накопителе — и тогда он пишет большой труд, потихонечку его так высирая. А у меня много не накапливается...

— У меня есть все-таки очень серьезное возражение...

— Тогда ответь, почему ты, человек, который старше меня, до сих пор не сел и не написал такого произведения.

— Здесь я задаю вопросы!

— Если ты считаешь это крайне важным и неизбежным, то почему ты сам этого не сделал?

— Это уж совсем неинтересно. Но, если хочешь, об этом мы с тобой поговорим как-нибудь в другой раз. А возражение у меня такое. Если ты бизнесмен, то ты не можешь сказать: «Вот я заработал миллион, а теперь все брошу и буду лежать на диване». Если ты бизнесмен, то ты должен рубить бабло ради бабла, подчеркивать, что ты готов удавиться из-за копейки... Так и тут — взялся за гуж...

— Неправильно. Если уж ты сравниваешь с бизнесом... Твоя логика такая: я открыл магазин, а ты говоришь — ну теперь замахивайся на нефтяную компанию! Почему же? Лучше я три магазина открою, потом десять, сто, тысячу. И потом у меня будет огромный Walmart, у которого капитализация больше, чем у любой нефтяной компании. Зачем из одного жанра в другой переходить? Я не вижу необходимости. Почему тех выразительных средств, тех методов донесения мыслей для читателя недостаточно? Я считаю, что вполне достаточно. Зачем придумывать лишние и ненужные прибабасы только лишь для того, чтоб сказать: «У меня в багаже есть и крупная форма!» Я вообще не люблю крупную форму. Мой любимый Лев Толстой при всем моем респекте к «Анне Карениной» и «Войне и миру» для меня велик главным образом «Севастопольскими рассказами» и «Хаджи Муратом».

— Очень хорошо. Только если бы не было романов, никто б не читал рассказов.

— Ничего подобного! Он прославился именно «Севастопольскими рассказами». Когда еще никакого не было «Войны и мира». Я не замахиваюсь на славу Толстого, мне славы Чехова вполне достаточно. Я даже не Чехов. Я почти совсем не пишу беллетристики. Более того, некоторые поклонники моего творчества — в их числе Егор Гайдар, считают, что беллетристика мне вообще не дается. Мои беллетристические произведения кажутся Егору Тимуровичу слабыми и неправильными. А эссеистику и публицистку мои он существенно выше ставит. Да и ты, по-моему, к моей беллетристике кри-

тически относишься... Зачем же мне писать роман — чтоб обосраться?

— Ладно, твое отношение к жанрам я понял. А темы? Важнейший пласт литературы — это описание жизни миллионеров.

— Я с этим не соглашусь. Мне кажется, что это неинтересно.

— Тебе, может, и неинтересно. А миллионам читателей очень даже интересно. Вон у Робски какие продажи! Ты же сам ею недоволен — вот она пишет про вашу жизнь, не зная ее и выставляя вас мудаками. Как ты осуждал Маркоткина, ее тогдашнего издателя — типа зачем он ее издает! А как ты Леню Парфенова ругал! Что он на вашего брата поклеп возводит! (Его знаменитый сюжет еще на НТВ про Куршевель, где нувориши сорят деньгами.) Ну так напиши правду! Выведи положительный образ миллионера — чудесного парня. Который не на яхте с телками плавает пьяный с утра и объевшийся икрой, и губы лоснятся от foie gras, — а приносит пользу отечеству, осмысленно причем. И ты не только являешься настоящим миллионером, но ты — еще и один из отцов приватизации, русского чуда, ты своими руками строил новый класс! Ты говоришь, что иначе было нельзя, это единственно возможный для страны путь! И сегодня, когда страна сваливается влево и чекисты ввели термин «лихие девяностые», кидая камни в твой огород, — кому как не тебе ответить «клеветникам России», художественно причем? Все сошлось на тебе! Не от Петра же Авена ждать нам романа о миллионерах — хотя бы потому, что он ничего в них не смыслит будучи миллиардером! И вот от тебя ждут текста, чтоб люди прочитали и сказали — да что ж мы на них наезжаем? Они белые и пушистые! И Чубайс типа потрясающий парень, и Гайдар — красавец. А иначе ты будешь потом объяснять на Страшном суде: да, я мог это написать, но не стал, потому что я вообще никого не слушаю и делаю что хочу. И ты будешь нести ответственность за новую социальную революцию.

— Значит, докладываю. Во-первых, мне кажется, в этом вопросе ты выражаешь субъективную точку зрения, твою собственную — и больше ничью. Для тебя серьезной литературой

является только крупная форма. Я так не считаю. Более того, я считаю, что, когда человек замахивается на крупную форму, за редчайшими исключениями это получается плохо. С точки зрения меня как человека, который в молодости занимался математикой, скажу: статьи размером больше чем в десять страничек математики воспринимают как какую-то фигню. Потому что нет такой мысли, которую нельзя было бы выразить на двух-трех страницах машинописного текста, включая формулы. Если мысль требует двадцать страничек, она уже вызывает подозрение: значит, что-то там неправильно. Вот эта крупная форма — она, по мне, не имеет никакого смысла, все, что я хотел бы донести — про реформы, про Чубайса любимого, я мог выразить статьей. Напомню тебе, что крупной формой у Чехова является «Степь»; так вот если там есть страниц семьдесят, то хорошо.

— А «Остров Сахалин»?

— Но это не литература, это публицистика та же самая. Это даже не «ГУЛАГ»!

— Книга очень крутая...

— Но — не литература. Если ты хочешь, чтобы я такую книгу написал... Тогда я лучше диссертацию напишу. И защищу ее. Про то, как я делал приватизацию. «Остров Сахалин»... Мне не про что рассказывать в этом смысле! Тогда мне надо ехать, как ты, по тюрьмам.

— Куда ты хочешь ехать собирать информацию о жизни миллионеров? Сиди дома и оглядывайся по сторонам, записывай впечатления.

— Теперь к вопросу о жизни миллионеров. Я, который, в отличие от Робски, знает, как устроена жизнь миллионеров, могу тебе сказать следующее. Их жизнь, в принципе, ничем не отличается от обычной жизни. Расхожее представление о том, что это бесконечная пьянка, наркота, и бабы, и рестораны, покупки яхт и самолетов, — все это неправильно.

— И черная икра.

— Черная. И красная. Это не так...

— Частные самолеты.

— Вот мой товарищ Витя Вексельберг — он уже зеленый от этого своего самолета, он не получает от полетов на нем

никакого удовольствия. Он раб своего бизнеса и потому вынужден летать. Он летает как угорелый, вытаращив глаза, по всему миру. Если взять конкретно мою жизнь, мои траты... У меня в семье нет поклонников шопинга. Поэтому покупаются хорошие, даже дорогие, может быть, вещи — но только те, которые нужны, ничего лишнего нету. Если говорить о произведениях искусства и антиквариате, я не коллекционер; когда у меня интерьер формировался, я что-то покупал, а собирать — нет потребности. Библиотека есть — ну так ее может накапливать и человек среднего достатка. Вот в чем деньги кардинально меняют образ жизни, так в том, что они дают невообразимо иную возможность путешествий. На порядок! Я эту возможность использую по максимуму. Ты сам знаешь, ты со мной много путешествовал. А во всем остальном наша жизнь не сильно отличается от жизни других людей. Больше летать — это минус, а не плюс: устаешь от этих аэропортов и самолетов, даже частных. Так вот что касается путешествий, так эту часть жизни я выкладываю на суд общественности. Упрекнуть меня в том, что я не описываю своих путешествий, — нельзя. Что я считаю интересным для других людей — про это рассказываю. А то, что выдуманно и не соответствует действительности, — про это я тоже много писал, объяснял, что жизнь устроена по-другому. Жабы (снова про Робски и ее персонажей) — это не жены, это другая история. Вот и все. Все, что я считаю нужным рассказать о жизни миллионеров, — я рассказываю. А высасывать из пальца и придумывать миры, которых в реальности не существует, — зачем? Для этого есть Робски, Поляков, Минаев (или как его там зовут). Я-то считаю себя писателем, который работает в реалистической традиции. И не за деньги. Потому что я прекрасно понимаю, что те деньги, которые я зарабатываю в бизнесе, они на порядок больше тех, что может заработать даже выдающийся писатель России и, может, мира. Поэтому какой мне смысл пытаться заработать деньги, поступая вопреки собственным представлениям о литературе? В то время как я могу совершенно спокойно, не нарушая никаких мною же самим установленных для себя правил, заработать в бизнесе...

Дорога в ад

— Ну на Страшном суде я скажу как свидетель: «Алик, вспомни, я тебя предупреждал, что ты должен был это сделать...»

— Ну, было бы несправедливо за это попасть в ад. То, что я не написал роман из жизни богатых, — это мне простят. У меня есть за что попасть в ад...

— А, значит, тебе по-любому туда?

— Ну наверно... Хотя я еще не утратил надежду, что Господь простит меня. За мои грехи. Но пока что, думаю, баланс не в мою пользу. Особенно если считать, что наказывают и за помыслы. За помыслы тоже отвечать придется...

— И мы даже знаем, по каким заповедям!

P. S. Когда материал готовился к печати мне пришла мысль: наказывать писателей за помыслы — это было бы не вполне логично. Так что, может, с этим обойдется? Можно нам надеяться, что там нет цензуры и на Высшем суде нас простят за мысли?

ЭДУАРД ЛИМОНОВ: **«Черная кость должна прийти к власти»**

Со стороны это выглядит так, будто он целенаправленно выстраивает яркую писательскую биографию. Ее ведь сейчас почти ни у кого из пишущих нет. А Лимонов — что твой Хемингуэй! Пожалуйста: жил во Франции, в Штатах, воевал, вел яркую личную жизнь... Практически у него в жизни было все, что и у американского Хемингуэя, — плюс к тому еще наш сидел в русской тюрьме. Куда он, уверяют злые языки, давно стремился. И где он объективно стал писать значительно лучше. Его новые книги не зря стали модными.

Литература

Сам Лимонов с такой трактовкой своей жизненной линии, конечно же, не согласен:

— Хемингуэй — это для меня не пример. Пусть даже он и крупный писатель. У него своя биография, у меня — своя. Я никогда ничего не делал намеренно. У меня никакого не было желания ни сидеть в тюрьме, ни порой даже и менять женщин. Я мечтал прожить с одной всю свою жизнь и умереть с ней в один день. Не получилось! Нет, для биографии я ничего не делал. Я просто поступал всегда так, как считал нужным. Человек я достаточно энергичный, я не удовлетворялся тем, что мне давала судьба, я старался изменить жизнь каким-то образом. Я пришел в сознание на окраине рабочего поселка, и мне, грубо говоря, ничего не светило. Если бы я родился в семье Михалковых-Кончаловских, то жизнь моя была бы другой! А я вот сын капитана. Что такое капитан? Мелкий, маленький человек. Была капитанская дочка у Пушкина. Отец Базарова был штаб-лекарь — это тоже что-то вроде капитана. Я своей судьбой был недоволен. Я хотел другую судьбу. Сначала я работал на разных харьковских заводах, куда меня определила жизнь. Но потом я оттуда сбежал, пошел дальше — в большой мир.

— Хорошая карьера: вы были харьковским пролетарием, а стали писателем, известным по обе стороны Атлантики.

— Ну писателем я себя никогда не ощущал. Писатель — это слишком мало. Это всего лишь профессия, скажем так, буржуазная, появившаяся где-то в первой половине XIX века. И в Советской России она существовала. Но вообще такой профессии не должно быть. Это ненормально, когда люди сочиняют какие-то выдуманные истории, пишут о том, чего никогда не было. Это скучно! Цезарь писал о Галльской войне только потому, что у него было что сказать: он в этой войне участвовал! То есть первые и исконные импульсы для создания книг — накопленный опыт, страсть, какие-то идеи. И сегодня самые интересные книги — именно те, которые о личном опыте, о страсти, об идеологии. А все остальное... Его не должно существовать.

— То есть Лев Толстой...

— Лев Толстой — крайне занудный писатель. Во второй половине XIX века он воссоздавал 1812 год, каким тот ему виделся. Существует масса исследований, доказывающих, что Толстой изобразил то время ходульно, глупо и неинтересно. Действительность была интереснее на самом деле! Его типажи, особенно народные, не удались. Они слишком приблизительны. Платон Каратаев — это, на мой взгляд, крайне убого. Это так! Не дадим себя уговорить, что это не так! Пусть вес этой литературы и истории не давит на нас. «Война и мир» — это заурядный пухлый исторический роман. Все темы, которые Лев Толстой пытался решить — в «Анне Карениной», «Воскресении» — они все давным-давно списаны историей за ненадобностью. Что сегодня такое — неверные женщины? Адюльтер — особенно это видно в «Мадам Бовари» Флобера — это была проблема буржуазного общества. Ее не существует ни в обществах более примитивных, ни в обществах, перешедших на современный уровень.

— Совершенно с вами здесь согласен.

— Смех и грех.

— Я, кстати, очень часто привожу в пример сюжет «Анны Карениной». Ну вот дама гуляла с офицером, муж ее за это

дело выгнал из дома, забрал ребенка, она попала под транспортное средство.

— Это именно так. Как литература это мне не интересно.

— Но там были неплохие шутки. Лучшее место в «Анне Карениной» — это когда Стива Облонский пришел просить места у еврейского банкира. Секретарша велела ему сидеть и ждать. Он думает: «Как же так, я — дворянин, а сижу у какого-то еврейского банкира в приемной и дожидаясь. А чего? Я пришел до жиды, сижу дожидаясь». Такой каламбур довольно забавный был.

— Не помню.

— Но ведь это, согласитесь, смешно?

— Да, пожалуй.

— Вы в каком-то интервью сказали, что бросаете писать. Что вы теперь не писатель, а политик.

— Я давно это говорил, еще до того, как сел. Я собирался сдержать свое обещание, но просто в тюрьме надо было выживать. Да и денег надо было заработать — на процесс, на партию. Так что пришлось опять писать. Ну и психологически это была огромная поддержка. Это был не только литературный труд: я пока писал, упорядочил свои взгляды на Россию, на мир. За те два с половиной года, что я сидел, у меня вышло в общей сложности восемь книг.

— Хороший темп!

— Неплохой. Еще если учесть, что я все-таки был занят в процессе больше десяти месяцев; меня и пятерых моих подельников судили очень долго.

— Ну а теперь-то вы будете писать?

— Не вижу в этом особенной необходимости. Но если она появится, то, конечно, придется писать.

— Необходимость писать — это как?

— Есть два рода необходимости. Одна — финансовая, которая меньше важна, и другая — философская. Появился какой-то как бы сет новых мыслей или положений, концепций и прочее, и вот надо их оформить и представить обществу. Если возникает такая необходимость — то это самый сильный побудительный мотив. Литература — это только одно из средств выражения. Точнее, не литература даже,

а именно книга. Гутенберговское изобретение — это средство донесения мысли, на сегодняшний день не превзойденное. Вот главная причина, почему я к этому обращаюсь. Ну, финансовая необходимость тоже играет определенную роль.

— Действительно, тиражи у вас большие, так что заработать на книгах вы можете.

— На самом деле все относительно, безусловно. Я все-таки не Алла Пугачева и не Киркоров. Речь идет о суммах от 5 до 10 тысяч долларов за книгу, а порой и меньше. Тем более что эти деньги все уходят немедленно! На газету «Лимонка» постоянно идут деньги.

— Эдуард, вы мне расскажите, — а что происходит у нас в литературе? Русской.

— Не знаю. Я не занимаюсь литературой.

— Но что-то же вы читаете?

— Нет. Я не читаю даже.

— Может, литература вообще кончилась?

— Не знаю. Меня это не интересует.

— А с писателями вы поддерживаете отношения?

— Я не поддерживаю отношения с писателями, я никогда и не поддерживал. Интересны слесари, убийцы, заключенные, эмигранты, молодые национал-большевики, кто угодно, но писатели — абсолютно неинтересны. О чем с ними говорить? О чем? Большинство из них — люди крайне старомодные, классического такого воспитания, млеющие при слове «Пушкин» или «Марина Цветаева». Они как сектанты. Писатели — они какие-то мелкие. Меня даже раздражает само это слово — «писатель».

— Давайте о приятном. Ваши книги из новых — «Книга воды», «Священные монстры» — я читал с удовольствием.

— Это книги интеллектуала. Это взгляд на что-то, а не какие-нибудь выдуманные истории. Это как бы из другой категории совершенно.

— Из другой... Вот вы пишете, а — не писатель. Кто же вы? Как вы себя позиционируете?

— Я — человек, который смотрит на мир и что-то думает. Я скорее согласен называться, как бы высокопарно это ни звучало, просто человеком мыслящим, мыслителем.

— Типа гомо сапиенс.

— Но не интеллигент ни в коем случае! Я — интеллект. Потому что я использую именно это вот оружие — интеллект. Родился я не интеллектуалом, я им стал. И вот этим званием я горжусь.

— Действительно, мне самому кажется, что интеллигент — это какое-то обидное сейчас слово.

— Не в этом дело. Интеллигенция, в частности российская, — это именно классовое понятие. А у меня классовых привычек нет и никогда не было. В молодости я работал на харьковских заводах: «Серп и молот», турбинный и прочее. У меня осталась такая рабочая недоверчивость. Я вообще в только 37 лет стал профессиональным писателем.

— Так вы сперва стали писателем, а после перестали им быть?

— Я стал профессиональным писателем в том смысле, что стал зарабатывать на жизнь литературой, изданием книг. И сейчас зарабатываю. В этом смысле можно сказать, что я литератор, как Ленин писал в анкетах, что он журналист.

Политика

— Название вашей партии навеивает мысли о преступных тоталитарных режимах.

— На самом деле национал-большевизм — это как раз как противовес тоталитарному режиму. Это попытка слияния идей национальной справедливости и идей социальной справедливости. Впервые этот термин появился в 18-м году, почти одновременно в России и Германии. Руководителем первой национал-большевистской партии был Эрнст Никиш. Позднее, при Гитлере, он сидел в тюрьме. Лидером русского национал-большевизма был профессор Устрялов. Он вернулся в Россию из эмиграции, из Харбина, и в 37-м году сгинул чисто. Устрялов в свое время переписывался со Сталиным, письма сохранились. Еще можно прочесть отличную книгу Огузкова — «Национал-большевизм». Мы взяли это название для партии еще в 93-м году. Если бы, конечно,

мы делали партию сегодня или даже несколько лет назад, то уже мы бы не выбрали бы такое название. Я говорил об этом, и неоднократно. Но сейчас нет смысла его менять, поскольку уже столько наработано под этим названием. Около шестидесяти человек сидели или сидят в тюрьмах под этим флагом красным — с черным серпом и молотом. Бессмысленно менять... Я всегда чувствовал такие вещи — что такое бренд. Любой бизнесмен понимает, что менять название преуспевающей фирмы — это достаточно глупо.

— Эдуард, вот я изучал вашу книгу под названием «Моя политическая биография». Но, видимо, изучал не очень внимательно. Я толком не понял, какая ваша политическая задача. Вы с вашей партией и вашей задачей хотите установить какой-то другой строй, новый режим? И какой же? Может, вы мне это сейчас объясните?

— Чтоб это все понять, надо прочитать и другие мои книги: «Дисциплинарный санаторий» (это критика западного типа общества), «Убийство часового», «Другая Россия». В них описан комплекс идей, который в одном интервью, безусловно, не уместится.

— Ну как-то в общих чертах давайте попробуем.

— В общих чертах все очень просто. У нас есть программа партии, есть основные цели и задачи. Их три.

Первое — это безусловное изменение границ Российской Федерации. Поскольку ряд земель, населенных русскими, практически тотально перешли в ведение бывших республик Советского Союза. Это, в частности, города северного Казахстана. До сих пор, несмотря на бегство русских оттуда, они в подавляющем большинстве населены именно русскими! Это места очень богатые. Та же бывшая Восточно-Казахстанская область, где добываются редкие металлы — и вольфрам, и европий, ванадий, и уран, не говоря уже об оловянных и цинковых рудниках. Это русский рудный Алтай, который еще Демидов эксплуатировал, он открыл эти залежи, — и это все должно быть наше. Точно так же и в Уральске (который при Пугачеве назывался Яицким городком) — наши заводы, наши фабрики. На какую-нибудь Алма-Ату не надо зариться, а вот эти русские города надо

вернуть. Они входили в состав Омского генерал-губернаторства, и это просто постыдно, что их отдали. Ну и ряд других территорий тоже... Речь идет о Северном Казахстане, о части Донбасса и так далее.

— Вы что же, предлагаете — войной идти на соседей?

— Можно и войной. А можно и договориться: обмен людей на территории, территории на людей... Мы 27 миллионов русских оставили за границей. Это надо исправить. Значит, первое — это изменение границ.

Второе. Необходимо обновление элиты. Сегодняшняя элита состоит из советской номенклатуры. В ней мы находим и таких людей, как наш президент — в прошлом кагэбэшник, затем демократ собчаковского стиля, вице-мэр при Собчаке и так далее. Вот эта элита, состоящая из полутора миллионов человек, — она не способна ни на что, она не талантлива, она как чудовищная грибница на теле России. От нее, безусловно, надо избавиться. Всех уволить! Заменить свежими силами, взятыми из народа, из провинциалов, из молодежи, как бы из малых сих. К власти должна прийти черная кость. Восстания Пугачева, Разина — это были именно попытки свержения старых элит. Пугачевское в значительной степени было направлено против германизации России Екатериной. Тогда ведь все генералы, сражавшиеся против Пугачева, за исключением какого-нибудь Бибикова или Суворова, — все были немцы! В этом, возможно, разгадка того, что происходило...

И наконец, третья цель — это передел собственности. В пользу большинства, несомненно.

— То есть опять обобществление? Новая национализация?

— А ничего страшного в этом нет. Приватизация прошла почти не замеченной большинством народа. А теперь надо все поделить справедливо. Поскольку целью любого государства является благо большинства населения, а не пяти или десяти процентов.

— О чем нам и пишет малявы зэк Михаил Ходорковский.

— Ему просто прищемили хвост, вот он и пишет. А до этого он с радостью пользовался этими благами. В случае

с Ходорковским государство действует не в интересах большинства населения. Идет передел сфер влияния отдельных групп номенклатуры. Заберут у Ходорковского — отдадут другим представителям элиты. А надо действовать в интересах большинства населения. Вот вам вкратце и вся наша программа: передел собственности, изменение границ России и отстранение от власти теперешней элиты, которая ни с чем не справляется.

— Вы просто людей хотите поменять? А структуру органов власти вы планируете оставить?

— В нашей программе сказано, что, например, Совет Федерации является абсолютно ненужным инструментом. Даже в том виде, в каком он был до Путина. Мы предлагаем заменить Совет Федерации так называемой палатой представителей — по десять от каждого региона. Это должна быть не выборная должность, а селективная: и туда попадали бы, скажем, религиозные деятели, ученые, представители каких-нибудь тяжелых профессий, шахтеров например, многодетных матерей, пенсионеров и так далее. Цель палаты представителей — это как бы наводка правительства, Государственной думы, президента (если таковой останется) на те проблемы, которые реально существуют в каждом регионе. На реальные проблемы, а не на какую-то там хрень и демагогию! Это достаточно разумно, в ряде государств такие палаты представителей исторически были, существовали, они принесли массу пользы. И сейчас они есть в Испании, в странах Латинской Америки, во Франции они были до прихода к власти де Голля.

Что еще сказать о нашей программе? Мы считаем, что политические партии не должны проходить никакой регистрации, поскольку это унижительно, контрпродуктивно и приводит просто к удушению политических сил. Пускай радикалы и экстремисты дискутируют в Думе, в противном случае они будут бесноваться на улицах!

— Что значит — «они»? Почему вы так говорите? Вы ведь и сами радикалы чистейшей воды.

— Мы все равно до конца пытаемся использовать все легальные способы политического существования. В результате, чтобы вести свою агитацию и пропаганду, мы разрабо-

тали тактику, которую иногда называют «бархатным терроризмом». К примеру, мы захватили на литовской границе вагон, идущий в Калининград. Так мы протестовали против введения визового режима. Или — акция в ныне сгоревшем Манеже в конце лета 2003-го, когда наши активисты поразили Вешнякова метательными снарядами — закидали его майонезом. Эта акция имела огромный успех, потому что Вешняков — человек, достаточно ненавидимый в народе за свою ложь. Он — маниакальный лакей власти.

— Такое лицо холодное у него.

— Он похож на инквизитора из фильма о Средневековье. Таковым он, очевидно, и является. Но как его мы вздули, как с него согнали спесь! Потом были все эти акции против Касьянова — на съезде «Единой России». Эти акции кому-то кажутся легкомысленными, — но есть люди, которые от них в восторге. Такая наша тактика — единственный способ существования политической партии, агитации и пропаганды в условиях полицейского режима. К нашим обычным возмущениям власти добавляются еще и факты фальсификации выборов в Думу. Мы основали движение «Россия без Путина» и выдвинули программу из семи пунктов. В числе первых — признание выборов в Госдуму недействительными, роспуск Думы и проведение новых выборов. А те выборы мы бойкотировали и всеми доступными нам средствами агитировали за неучастие в президентских выборах, поскольку были сфальсифицированы выборы в Госдуму.

— Я, кстати, не участвовал.

— И правильно.

— Эдуард! Я вот подумал: раз вы — лидер политической партии, которая хочет сменить режим, тогда вам в случае победы придется возглавить страну, вообще говоря. Вы как-то себя к этому готовите?

— Ну, думать, что мы — самая большая в России сила — это было бы просто глупостью и несерьезным занятием. Мы готовы действовать совместно с другими оппозиционными силами, в том числе с либералами, коммунистами, вообще любыми силами, которые противостоят вот этому государству окрика и кнута.

— Это все очень симпатично, то, что вы говорите. Я бы и сам с удовольствием жил в стране с бескорыстными умными политиками, со справедливым устройством. Но реально ли это? Мы все-таки живем в бедной стране третьего мира... Гражданского общества у нас нет... Население у нас диковатое...

— Это оговор России и русского народа! Да, у нас немало диких людей, это все верно. Но в любой стране — включая Англию — вы тоже найдете немало диких людей! Но в то же время Англия — страна самого древнего парламентаризма в Европе. Это все мирно сосуществует. И надо приготовиться к тому, что наши дикие люди будут сосуществовать со всеми вполне современными организациями.

— Эдуард! Вот вы требуете свободы творчеству масс. А у нас ведь уже было народное творчество в 1917 году — со сменой, как вы любите, элиты. И что? Четыре года страна не работала, люди всё жгли, резали друг друга, разваливали экономику.

— Вы что думаете, это просто так? Это, знаете ли, было необходимо. Революции не происходят ни с того ни с сего. Они — следствие определенной ущербности общества, когда очень многие не удовлетворены жизнью. Не забудьте, что перед этим было крепостное право чудовищное, был абсолютизм отвратительный. А сейчас нам пытаются пудрить мозги и убеждать, что царизм — это прямо великолепно. В ту эпоху, если студенты собирались на какую-то вечеринку, они должны были уведомить пристава. Вы считаете это нормальным? Ленин был первый раз задержан и в ссылку отправлен за то, что он 17-летним подростком пришел на встречу Симбирского землячества в Казанском университете. А петрашевцев за изучение идей — идей! — за разглагольствование, за дискуссии о книгах приговорили к смертной казни! (Заменяя ее после гражданской казнью.) Вот такая вот хрень. Это нормальная была жизнь, нормальное существование, что ли? Это была чудовищная просто структура — русское самодержавие!

— Да ладно! Что так сажали, что эдак. Лучше ж не стало. Упразднили царизм — расстреливать стали больше...

— Ну, удел человеческий — это и в том числе и внутривидовая борьба. Это заложено в человеке.

— Как зверьки.

— Зверьки далеко не все имеют внутривидовую борьбу. Но в нас это заложено.

— Вы хотите напомнить о том, что человек — это животное, тварь такая.

— В нем есть и Божье, вы не перегибайте палку. Речь идет о том, что надо смотреть на человека реалистически. Он агрессивный, но одновременно он способен на самопожертвование. Он защищает ценою жизни не только своих детей и жену, — он может защитить своего друга, свою нацию. В нем есть всё, вся вот эта планка. Но когда раба делают из человека — это никогда ни к чему хорошему не приводило. Я считаю, революция — такой же нормальный способ развития общества, как и эволюция. Революция еще более экономична, чем эволюция. Зачем терпеть в течение поколений, когда можно сделать все сразу, одним ударом? Это болезненно, но если посчитать, то, может быть, и меньше жизней человеческих уходит на революцию, чем на эволюцию...

— Так и что ж хорошего мы получили от революции?

— Много получили. Россия из какой-то средневековой Индии, какой она была во времена Первой мировой войны — Индией, Индией! Не надо обольщаться! Где-то на задворках Европы была страна. Я когда-то нашел, в Париже живя, старые иллюстрированные журналы французские конца XIX — начала XX, несколько ящиков, кто-то из прошлых жильцов квартиры оставил. Так в тех журналах место России — среди всяких курьезов: царь и его казаки — между голыми африканскими туземцами, которые курят свои трубки, и выездом турецкого султана. Мы абсолютно были архаичной страной, чудовищной. Революция нас просто рванула и сделала из нас великую державу! А пик вот этой великой державы — это русский солдат на развалинах рейхсканцелярии в Берлине, есть фотография великолепная, которую я очень люблю. Вот какой путь мы прошли от 17-го до 45-го. Если б не крестьянский сын Горбачев и кто-то там еще, если б не эти олухи и недоумки, то мы владели бы половиной мира!

— Да. Владели б. Если б не кончилась дешевая нефть...

— При чем здесь нефть? Это называется — вульгарный экономизм. У нас все меряют экономикой, не понимая, что у человека есть душа, что у него есть порывы, эмоции. Владимир Владимирович Путин сказал: мы удвоим ВВП, похлебка будет менее жидкой, чем она была. Но это упрощенное представление о человеке! И революции, и контрреволюции делали не из-за похлебки. А по другим причинам. Есть в народах — и в нашем народе тоже есть — и чувство гордости, и чувство униженности. Вот сейчас очень сильно чувство униженности. И никакой ВВП никакого отношения не имеет к этому! У нас презирают как бы эмоции, духовную сферу, метафизику, мистику — все это отмечается. А между тем это составляет добрых 70 процентов жизни человека, и только 30 процентов определяется его желудком. Не надо думать, что прямо все рабы своего желудка...

— Эдуард, я сам субъективный идеалист, но вы уж совсем круто заворачиваете.

— Я не говорю, что вы не идеалист. Вы мне задаете какие-то темы, я вам разворачиваю.

— Скажите, пожалуйста, а когда вы планируете устроить вот такое кровопускание? Я так, для справки. Хочется быть на всякий случай немножко в курсе.

— Я не собираюсь устраивать кровопускание.

— Как, вы же сколько про грядущую революцию говорите!

— Со мной надо об этом осторожнее говорить, поскольку я вышел по условно-досрочному освобождению. Не надо меня провоцировать на такие разговоры...

— Всё-всё-всё. Я иначе спрошу. Дайте ваш прогноз: когда может случиться революция?

— Не хочу. Но могу сказать, что теперешний режим, — я так уничижительно называю строй, который у нас установился, вот в колонии режим, и по всей стране режим, — умудрился восстановить против себя активную часть населения. Именно активных. Пассивные — ну чего там, они традиционно голосуют за ту власть, которая есть. При Сталине — за Сталина, при Горбачеве — за Горбачева. Потом власть пере-

текла к Ельцину, они голосовали за Ельцина... Смотрите! Сначала режим вытолкнул из политики радикалов, вот таких, как мы; и правых радикалов, и левых. Теперь он выгнал из этой политики и вообще отстранил от участия в ней уже и либералов, даже СПС, «Яблоко»! Процессом Ходорковского этот режим показал, что и богатые не могут быть в безопасности в нашей стране! Ладно, когда вытеснили Гусинского, можно было сказать: «Это единичный случай, Гусинский пытался влиять на политику путем создания медиаимперии. А Березовский — ну тот вообще интриган». Можно было считать это единичными случаями! Но в случае с Ходорковским все эти объяснения, что якобы он лез в политику — полный бред. Он вел себя достаточно разумно. Его беда в том, что его бабки понадобились близким к власти людям. Так что теперь у нас и богатые боятся режима. Но достаточно десяти процентов неиспуганных, чтоб прийти со своими деньгами к оппозиции! Чтоб составить заговор!

— Эдуард! Вы такой энергичный, живой. Хотя вы и старше меня. Я просто завидую вам. Еще я хотел вас спросить...

— Во-первых, не надо мне завидовать. Во-вторых, выслушайте до конца, раз вы уж меня взяли слушать.

— Я...

— ...мы прекрасно знаем, как у нас проводятся выборы. Я в тюрьме в них участвовал. К нам просто пришли и сказали: «Распишитесь за бюллетень». Мы расписались. А как я голосовал — не знаю, я даже бюллетень в руках не держал. В общем, не было у нас выборов. А где были, там все подтасовано. Когда нам говорят, что 97 процентов избирателей проголосовало в Ингушетии — я в это просто не верю. Потому что ингуши еще больше ненавидят российскую империю, чем даже чеченцы. Они еще более несговорчивы, более упрямы. Генерал Ермолов сказал, что ингуши не подлежат перевоспитанию!

— Они что, круче чеченцев?

— Круче! Чеченцы, кстати, сами ингушей не очень любят. Это такой упрямый, мрачный народ. А чеченцы иные. У них есть такая рыцарская бравада иногда... Короче, подтасовки. То же самое в Башкирии, Татарстане. Татары —

умные, крепкие, самостоятельные люди. Не могли они так проголосовать... Сейчас вообще очень много самых различных людей противостоят этому режиму Путина. Вспомните, в свое время диссидентов-то горстка была. И они достаточно быстро разъели, разломали Советское государство. А сейчас все общественные процессы убыстрились — благодаря телевидению, газетам, интернету. Не нужны даже десятилетия, счет идет на годы. Поэтому я не верю, что Владимир Владимирович с такими замашками государя-императора Николая то ли Второго, то ли Первого, досидит даже до конца своего срока.

— Да ладно! Может, все-таки обойдется?

— Не, не...

— Все-таки остается еще надежда. Вот вы говорите — русская интеллигенция недовольна властью. А когда она вообще была ею довольна? Вы можете назвать такое время?

— Зачем? Я говорю о том, что сейчас есть объективные причины. Уничтожены политические свободы. Говорить, что у нас выигрышная для интеллигенции экономика, тоже не приходится, — никогда интеллигенты не жили так плохо.

— Вот вы говорите — уничтожили политические свободы. Да их в России и не было никогда! Все-таки пора бы к этому привыкнуть. И как-то спокойней к этому относиться.

— Ну знаете, это не аргумент в споре. Вы говорите «никогда не было». Вот не было сионизма, а пришел Теодор Герцель, пришел Жаботинский, взяли создали сионизм. Сперва земли у них никакой не было. Но посмотрите — меньше чем за полстолетия появилось государство Израиль.

— Так то евреи. Чего ж нам с ними равняться...

— У нас тоже есть свои евреи... Да и помимо евреев есть у нас прекрасные люди. Не все согласны отводить душу в бутылке. Есть люди очень крутые и сильные. Вот я перед вами сижу! Достаточно я крутой? Я не исключение, поймите!

— Э-хе-хе... Вот так мы, русские, все бегаем да меняем один режим на другой, типа чтоб сразу всем было счастье. А люди смотрят на это и смеются...

— А я вам говорю — не будет второй советской власти. Никто не будет плясать под дудку чекистов.

— Возможно, возможно... Я, когда читал ваши книги, думал о том, что вот буржуазность — это скучно, уныло: ну какие-то машины, ну брильянты, элитные дома — тоска. А вот революция, романтика, поездки в Сербию на войну — это красиво, это ярко. Возможно, большинству молодежи ближе эта ваша романтика, а не карьера буржуа. Вы не раз говорили, что даете молодежи какой-то идеал, даете возможность стать героем — в отличие от всех прочих. Я сам в юности симпатизировал левым идеям...

— Мне, возможно, удастся давать каким-то людям смысл жизни, в основном молодежи, наверное, — поскольку взрослых трудно, что называется, сбить с толку, то есть заставить думать иначе. Взрослые, они уже сложились и вобрали в себя массу всякого дерьма ненужного, — как пылесос грязью наполняется, так вот они. А молодые люди лучше воспринимают идеи, которые выражены, например, в моей книге «Другая Россия»: это определенная ненависть к семье, к этой разлагающейся социальной ячейке, к русскому обучению бессмысленному, тупому, вообще к государству как таковому... К Российскому государству...

— Вы после долгой жизни в других государствах пришли к выводу, что там лучше?

— Западные государства более устойчивые и менее дегенеративные. Они не угнетают своих граждан до такой степени. Это в России гражданин всегда был предметом, врагом. Агрессивность в России всегда была направлена на своих. Скажем, американская цивилизация крайне агрессивна, но ее агрессивность направлена вовне. Она предохраняет своего гражданина. Так было в Древнем Риме. Знаете, в Риме даже не все обитатели Италии имели право быть гражданами. Но потом, в конце, они стали варваров брать, и это их сгубило. Так и Соединенные Штаты... А у нас — иначе. И крепостное право, и послереволюционный, сталинский период — это был террор против своего собственного населения. Умные люди давно разгадали эту загадку. Мы живем в морозной стране, где урожаи низкие. Поэтому феодалы вынуждены были отстранять крестьян от дележа продукции. Это все климат, это климатическо-географическая реальность.

— Ну у вас же нет в программе партии изменения климата?

— Нет, я говорю о традиционной жестокости российской государственности, о том, почему она была абсолютистской. Еды на всех не хватало. Четыре месяца только возможно было работать в сельском хозяйстве. И сегодня все то же самое.

— Ну да. Когда солнца нет, мрачные мысли приходят в голову. Февраль, октябрь — мерзкая погода. Хочется кого-нибудь прибить. Возле баррикад погреться у костра...

Быт

— Вот у вас день занят чем? Встречи?

— Встречи всякие, разъезды, средства массовой информации. Обычная деловая жизнь.

— Куда вы ходите? Что вам в Москве сейчас нравится?

— Я стараюсь никуда не ходить. Мне не очень это все интересно.

— У вас скромный солдатский быт.

— Лично мне ничего не нужно. У меня ограниченные потребности. У меня ничего нет: ни квартиры (я снимаю постоянно), ни даже прописки до сих пор. Вот и сейчас, как обычно, я живу в обшарпанной съемной квартире.

— Это где?

— Зачем же я буду говорить? Скажу — а меня найдут и пришибут.

— Вопрос снимается. Вы книги сейчас читаете?

— Я постоянно что-то читаю. Я давно не читаю художественную литературу, это закончилось где-то еще в конце 80-х годов. Ну, я могу, если мне кто-то что-то рекомендует, могу это посмотреть — и только.

— А телевизор?

— Только новости.

— Вот все это время вы в Москве? Вы же под подпиской?

— Да. Я отмечаюсь в милиции.

Тюрьма

— Эдуард! Пока вы сидели, мы про вас не забывали. Печатали про вас разные сочувственные теплые тексты. Мы рады за вас, что вы вернулись. Как вам вообще на воле-то?

— На воле?

— Ну вся эта эйфория: вот вышел — свобода, счастье!..

— Эйфория, конечно, была. Но, с другой стороны, я на воле живу не лучше, чем в тюрьме.

— Как так?

— Живу я крайне нехорошо. За мной следят. И наружное наблюдение, и подслушивают меня. Меня обещали снова посадить, вот и работают над этим усиленно. Меня еще в январе предупредили, что готовится провокация, дали фамилию человека, который этим всем руководит. Я это дал в СМИ. Возможно, благодаря этому до сих пор не сел. Потому что когда говоришь заранее, что тебя хотят посадить, подбросив оружие, — а я был осужден как раз за оружие, по 222-й статье, — то как-то неловко им его подбрасывать?

— А зачем им вас опять сажать?

— Потому что им не нравлюсь я. Они считают, что я — как бы сам дьявол, который всегда что-то мутит. Они думают, что организация без меня не проживет. Но на самом деле это полная чепуха! Поскольку организация жила и без меня, пока я сидел в тюрьме. Она даже выросла.

— Что бы вы могли сказать о своей книжке «По тюрьмам»?

— Ну, эта книга, которую меня просили написать люди, с которыми я сидел: «Напиши за нас, ты же умеешь». Там все фамилии подлинные. Это мои товарищи по несчастью. Кто-то из них получил пожизненное заключение. Я наблюдал их, наблюдал, как они менялись под грузом этой тяжести чудовищной. Многие из них несли достойно свой крест — большинство. Эти люди достойны сострадания, сожаления, сочувствия, как и все другие, а может быть, даже в большей степени. В основном это были бандиты, которые уничтожали друг друга, — они не убивали невинных старушек!

Это просто агрессивное такое, умное, злое племя ребят, которые при мне перешагнули из этого мира в тот, в мир смерти. Пожизненное заключение — это куда страшнее, чем смертная казнь. Многие говорили и высказывались, что смертная казнь была бы для них лучше. Это безусловно так. Хотя обыватели-идиоты этого не поймут... Смертная казнь — ну что, жизнь была, и все, ты ее потерял, отдал. А вечное унижение и мучения, которым подвергают людей, получивших пожизненное заключение, — это очень тяжелая ноша... Вопреки традициям русской литературы, которая относилась свысока к преступникам, я не отношусь к ним свысока в этой книге и вообще никогда к ним так не относился. Они в ряде случаев куда более благородные типажи, чем обыватели: ведь они осмелились, они нарушили! Знаете, нынешние законы ни на чем не покоятся. У государства нет сакральности так называемой, то есть нет священного права на насилие. В старых государствах подданные короля верили, что власть от Господа Бога. Позднее власть покоилась на праве большинства, как это было во Французскую революцию, — священным субъектом права являлся народ, большинство. Даже во времена сталинского террора все равно была диктатура пролетариата! Да, был террор, но было равенство. И это давало право вершить закон. А сегодня у государства, у чиновников, у милиции, у спецслужб нет священного сакрального права вершить закон. Они у власти только потому, что у них есть аппарат насилия. Наше государство нынешнее хуже бандита, у него руки в крови людей, которые пишат по тюрьмам и лагерям... Милиция подавила организованную преступность и сама стала организованной преступностью. Это ни для кого не секрет.

— Вот усы, борода — это вы как художник отрастили или как революционер?

— Это знак мудрости просто-напросто.

— Да-а?

— Ну, это претензия на мудрость. Понимаете? Я даже в тюрьме отстоял это все. В тюрьме я ходил с длинными волосами и с бородой и усами, что крайне сложно было. Постоянно

находился под давлением, чтобы сбрил, но тем не менее я их отстоял. Только в лагере сбрил.

— Почему — в лагере сбрил?

— Я не захотел иметь лишних проблем, потому что хотел условно-досрочно освободиться. Я понимал, что это даст возможность ко мне придрататься. Поехать в карцер из-за бороды и усов — само по себе это не страшно. Но каждая поездка в карцер отдаляет каждый раз на шесть месяцев условно-досрочное освобождение. А мне надо было выйти и продолжать дело, которое я начал.

И вот я вышел...

Приложение к Лимонову

Из книги «По тюрьмам»

Я ощутил свою природную принадлежность к этим людям. Я стоек и молчалив, как они, у меня такие же тяжелые глаза, прищуренные, как щели. Безусловно, я с зэками, а не с государством. Конечно, я зэк и, еще не попадая в тюрьму, имел воинственную психологию зэка.

Кто я? Только брат их, мужичок в пугачевском тулупчике...

Безусловно, в российских тюрьмах находится самая энергичная часть населения России. Безусловно, определенное количество людей будет находиться в тюрьмах при любом режиме.

Россия уродует свою молодежь дважды: создав неприглядную, гнусную, мизерную действительность на Воле, и второй раз — свинцово-тяжко карая за незначительные проступки. Все приговоры российских судов в два-три раза тяжелее, чем преступники заслуживают. Сказывается тяжелая традиция деспотизма и уничтожения личности государством.

— А что вы чувствовали, когда вас брали на Алтае? — спросил он [офицер], снял и вновь надел свою фуражку.

— Чувствовал, что если вот сейчас меня застрелят, то никто не узнает об этом. Можно будет свалить на медведей, медведи съели...

«По-человечьи», по-нормальному сокамерники пожлобились: кто-то из пацанов должен был уступить мне по возрасту место на шконке. Но принцип «своя шкура ближе к телу» перевесил. Самым достойным из них оказался «азер». Мне пришлось еще раз признать моральное превосходство «чурок».

За все время пребывания в Саратовском центре я встретил лишь одного зэка, соблюдавшего воровской ход.

Отель «Саратовский централ» — каменный и стальной. За его стенами — ледяная Россия. Через мерзлое пространство близок Ледовитый, т. е. Ледяной океан. От его кромки рукой подать до Северного Безумного полюса. А над полюсом вверх — Ледяной космос. Абсолютная минусовая температура во Вселенной — минус 273 градуса. А в Космосе — ледяные планеты. И далеко от тебя в Космосе — горячая щель любимой девочки — единственное место во Вселенной, где тепло.

ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ: «В русской душе темно»

Один из отцов-основателей литературной премии «Дебют» Дмитрий Липскеров вырос в интернатах, где его били смертным боем. После 8-го класса ушел в знаменитую блатную 127-ю вечернюю школу (за гостиницей «Минск»). Занятия в ней были днем, а по вечерам он работал монтировщиком декораций в ТЮЗе. Выучившись на актера, стал — при советской еще власти — модным драматургом. После чего эмигрировал в Америку. Вернувшись из нее в Россию, сделался успешным ресторатором. У него редкое хобби: в свободное время он пишет романы (за десять лет напечатал шесть книг.)

Двое детей.

Написание своей лучшей книги, в которой будет сказана «вся правда», Липскеров откладывает до последнего: потому что за нее его точно застрелят.

Цитата: «Липскеров — это от польского города Липск. Мой прадед — знаменитый поэт Серебряного века Константин Абрамович Липскеров. Его и Немирович ставил, и Станиславский (пьесу «Карменсита и солдат»). Он и второй мой прадед имели газету «Новости дня» — то же самое, что сегодня «Московский комсомолец». У них была своя типография, они Чехова издавали. У Чехова про это написано».

Школа

— Это была блатная школа? 127-я?

— Ну да. Школа была гениальная. Там учились дети министров и членов Политбюро...

— А, типа теперешних олигархов?

— Я бы не сказал. Правильней это сравнивать с шоу-бизнесом, с теперешней творческой элитой. Это были люди, которые уже знали, чем будут заниматься, они туда шли, чтобы

не тратить время на математику и физику. Они уже готовились к чему-то.

— А что сейчас этому какой аналог? Ну когда человек сразу получает, что ему надо, и не отвлекается?

— Сейчас какой аналог? Сейчас — такой: деньги.

— Тоже неплохо. А ты тогда уже решил, что будешь заниматься театром? И потому пошел в монтировщики?

— Я пошел туда просто потому, что мне нравился театр: богема, кругом артисты, женщины красивые... Я посмотрел на это — и все, заболел. Ну, дальше поступил в Щукинское, на актерский факультет.

— Притом что ты всегда говорил: «Актер — такая профессия подневольная...»

— Я туда пошел, потому что больше никуда бы не поступил. Я же совсем плохо учился. А там же важен не аттестат, а способности. Правда, в театре я работал очень мало. Причем в кукольном.

— У Образцова?

— Нет, это был театр Хаита, «Люди и куклы». Хаит после уехал в Израиль. Я к тому времени начал писать пьесы.

Драматургия

— А ты зачем стал пьесы писать? Потому что нечего смотреть было, так?

— Нет. Надо было просто куда-то девать накопившуюся энергию. Мозги уже заработали к тому времени. И мне был необходим самодостаточный способ применения сил, действительно такой, чтобы ни от кого не зависеть. Так что литература — это наиболее подходящее для меня дело.

— А в армию?

— Какая армия?! Я же психически больной человек.

— Так, ясно: от армии ты откосил.

— Да, в психиатрической больнице. По полной программе. Много народу это делало...

— И вот ты, значит, пишешь пьесы, и их ставят.

— Не, ну не так все было, конечно. Первые опыты — они так и остались опытами. Но в 88-м я написал пьесу «Река на асфальте» и отдал ее в Театр Табакова. Ее поставили сначала там, а после еще в восьмидесяти профессиональных театрах и в множестве студий и школ. Я был в то время абсолютный лидер проката. Удачно получилось: пьеса была на двух артистах, не требовала особых декораций, ее легко было ставить нищим студиям. А потом я написал пьесу, тоже на двоих мужиков, и ее взяли в «Ленком». Там играли настоящие звезды, два состава: Абдулов/Збруев, Янковский/Караченцев. Захаров поставил. И шла она одиннадцать лет с аншлагом. Ее сняли по причине взросления артистов, перешедших из среднего в старшее поколение; там надо по канатам лазить, а им тяжело. Кстати, когда эту пьесу я послал в ЦК ВЛКСМ — он объявил конкурс на лучшую пьесу о молодежи, то председатель жюри зашвырнул ее в урну. А драматург Мишарин позволил себе сказать, что пьеса достойна принимать участие в конкурсе. И в итоге я стал лауреатом. Это единственная моя премия литературная дана была комсомолом за антисоветскую позицию. Я благодарен Мишарину за это — ведь я отсюда весь пропрос, как зерно. Если бы он не помог, неизвестно, хватило бы у меня сил еще что-то написать или протолкнуть, — тогда были времена тяжелые. Тогда был Главлит... Тот спектакль шел по всей стране.

А сейчас, мне кажется, невозможно найти такую некоммерческую идею, которая взволновала бы все общество. Оно нездоровое, причем нездоровое сегментарно. И каждому из нездоровых сегментов нужно что-то свое. Одним творчество, другим псевдоискусство, третьим — масскультуру и попсу. Поэтому сегодня не может быть никакой объединительной книги. Ну разве только кино...

— Может, это потому, что рассыпается страна, а раз так, чем же объединишь общество?

— Все страны вообще рассыпаны. Особенно молодое поколение. Я не могу сказать, что американское общество здоровое...

Америка

Я жил в Америке, я знаю.

— Где ты жил там?

— В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

— А, кино?

— Нет, я был пицца-мэн: развозил пиццу. Искусством и не пахло. Америка... Я уезжал всерьез и надолго, это в 92-м было. Но уже на второй день там я был глубоко болен ностальгией. Совершенно.

— Странно... При каких же обстоятельствах ты поставил такой диагноз?

— Это было страшно... В Лос-Анджелесе есть такой крошечный ресторан Black Sea («Черное море»). Может, его сейчас уже и нет. Я попал туда на второй день моего пребывания в эмиграции; один владелец автосервиса справлял день рождения, и я пришел с кем-то. В ресторане пела Агузарова. Когда я это увидел — Агузарову и сидящих за столами людей, я заплакал. В этот момент мне показалось, что это самое страшное, что может случиться с человеком, я ни за что не хотел бы вот так петь в ресторане за границей.

— Тут принципиально важно, что — в чужом ресторане.

— Потом я уехал в Нью-Йорк и работал там на русском ТВ.

— Это такой провинциальный канал, где Юрий Ростов? Знаю. Слушай, а как тебе пришло в голову в 92-м уехать? Когда тут все начиналось? Самое интересное?

— Да... Здесь как раз начинали бабки делить. А я там, как козел. Я сам себя обманул. Получилось так. Я три дня стоял под Белым домом в 91-м году, я тогда такой патриотический порыв испытал. А потом, когда события стали дальше развиваться, я подумал: а зачем я стоял там? Где то, чего нам хотелось в августе 91-го?

— И ты уехал, подумав, что демократия какая-то неправильная у нас.

— Нет, я просто задумался: а вообще хорош ли демократический способ управления государством? Сейчас я уверен, что для России это совершенно неприемлемо.

— Так, так, в момент отъезда из России ты был кто?

— Я был сложившийся драматург. Я хорошие деньги зарабатывал здесь. По здешним параметрам я был совершенно обеспеченный человек: с квартирой, с машиной. Я поехал в другую страну просто. Я не ставил вопроса, для чего я еду в другую страну. Просто мне захотелось... Я пробыл там недолго: год с небольшим. Но успел научиться тому, что меня теперь кормит.

— Чему ты научился?

— Работать. Я бы всем советовал поехать в Америку с тремястами долларов в кармане и попытаться там пожить.

— То есть вставать рано утром — и вперед.

— Да. В течение четырех месяцев я вставал в 5 часов утра. Автобусы еще не ходили, и я пешком шел несколько километров — из Нью-Йорка в штат Нью-Джерси, через Washington Bridge. Это я уже на повышение пошел, — уже не пиццу развозил, как в Калифорнии, по ужасным черным районам, где пушку мне приставляли к голове и отбирали бабки. Отберут, а ты все равно должен хозяину. В Нью-Йорке я пошел на повышение: диджеем, репортером, диктором, писал рекламу... Я сначала четыре месяца работал бесплатно там, чтоб получить место.

— За харчи?

— Нет. Ни за какие харчи. Реально бесплатно. Тогда же это круто считалось — Америка! Там же куча народу, людей, которые в Москве были телевизионными звездами первой величины: Марина Бурцева, Дима Полетаев. Но тут их никто уже не помнит. Они ведут там местечковое существование, а сюда боятся возвратиться. А потом я как-то так в два дня собрался — и отвалил оттуда. С радостью. Я шел по неубранной Москве ранним апрельским утром 93-го года и чувствовал, что я совершенно счастлив. С тех пор я не очень люблю вообще ездить куда-нибудь. А когда выезжаю, то мне трех-четырёх дней хватает, чтобы захотеть обратно. Кто-то из юмористов хорошо сказал: Россия — классная родина, но очень херовое государство.

Рестораны

— Вернулся ты из Америки — и купил в Москве ресторан.

— На что бы я его купил? Имея долг 15 тысяч?

— Дима, это вопрос некорректный. Так можно любого спросить, на что он купил завод или там нефтяную компанию. «Накопил — водокачку купил».

— Это другое дело. А у меня было иначе. Я придумал проект (ресторан «Твин Пикс», на улице Королева), знаковый бизнесмен его воплотил и дал мне рабочую долю. Я немного подзаработал, и второй ресторан, «Джонку», мы с этим человеком открыли уже с равными паями. Потом я ушел из этого бизнеса: я же писатель. Один серьезный издатель тогда пообещал, что даст мне возможность зарабатывать литературой. Но не дал. А я как раз собирался жениться. И пришлось мне со своим партнером открывать новый ресторан — «Караван».

— В Москве рестораны заняли важное место... Которое раньше занимало что?

— Они заняли нишу кухонь. Раньше люди покупали водочку, шпротики, и сидели на кухне. Теперь они сидят в ресторанах. Кто в недорогих, кто в запредельных. Люди становятся постоянными клиентами, здрасте-здрасте, как делишки. Не могу сказать, что меня это очень увлекает, но это честный кусок хлеба.

Романы

— То есть получается, что ты ходишь на работу, а хобби у тебя — писать романы.

— Можно и так сказать.

— Как это делается во всем мире. Иностранцы писатели тоже зарабатывают не литературой — преподают в университетах к примеру.

— У нас в стране такого нет. У нас художник обычно не работает, он предпочитает пить горькую или проливать слезы по причине того, что он непризнан, материально не-

обеспечен, наследства нету, картины не покупают, а если покупают, то за копейку. Вместо того чтобы вспомнить, что он мужчина, и пойти что-то построить...

— Ты, значит, наладил бизнес и после этого стал спокойно писать романы.

— Ну, не могу сказать, что я их стал спокойнее писать. Но могу сказать, что я стал спокойнее относиться к тем, кто говорит о моих романах, или к тем, кто их печатает. Меня мало волнует эта ситуация. Критики знают мое отношение к ним и за это меня ненавидят. И молчат, когда выходит книга. Не хотят про меня бесплатно писать! Конкретно с меня деньги требуют. Вот по новой книге у меня было более сорока предложений — чтоб я заплатил, и тогда они напишут...

— Много просят?

— От 300 долларов. И выше, как одна сильно уважаемая радиостанция, которая во времена событий у Белого дома покорила нас своей демократической позицией. Там мне откровенно сказали: «Мы про вас скажем, только заплатите». Я больше эту станцию не принимаю. Они, к сожалению, не различают писателей и бизнесменов.

— А ты писатель и бизнесмен в одном флаконе.

— Если бы я рекламировал свой ресторан, я бы заплатил деньги! Но за свою собственную книжку... Когда мой пиар-агент сообщает в прессу, что у меня вышла книга и не хотят ли они про нее написать, ему иногда говорят: «Мы даже читать бесплатно книгу не будем». Если книжка начинающего писателя может принести ему 300 долларов в лучшем случае, то откуда ж у него деньги на пиар?

— Но ты-то еще и бизнесмен. А не бедный писатель.

— Я не плачу просто. Плевать. Нельзя брать с некоммерческой литературы деньги за рекламу. К тому же я считаю, что в этой стране известным быть стыдно. Я вот никогда не стремился к известности, никогда не пиарил себя. На мне нет черных очков, я стригусь коротко, и имидж у меня совершенно не писательский.

— Вот тебя не зря все время спрашивают в интервью про это противоречие: бизнесмен, он же литератор. А ты прикидываешься, что этого противоречия не видишь.

— Не вижу. Это обычная история. Да, в нашей стране я один такой, а в других странах это норма: человек работает кем-то, к примеру официантом, а в свободное время сочиняет. Ему за это не платят же ничего. Не вижу в этом ничего удивительного.

— Ты как Некрасов. Он тоже был практически в вашем бизнесе, занимался винными откупами. Ну и еще литературой немножко.

— Ну... Некрасов... Я бы никогда не занимался этим бизнесом, если бы мне книги приносили достаток. Но они ничего не приносят. Я сам — ладно, но у меня же есть дети. И я хочу, чтобы они гуляли на воздухе, ели нормальные продукты и чтоб фрукты для них не были сезонным продуктом, как это было у меня.

— Привет, так у тебя же папаша — драматург!

— Папа не жил с мамой, у мамы ненормированный рабочий день, молодые все, ребенок не очень нужен. Я воспитывался в детских садах на пятидневке, у бабушки и у дедушки, который умер рано. И в интернатах. А интернаты в те времена — это как колония для малолетних была. Там били смертным боем. Интернат — это немножко другое место, там понимаешь, что надо держаться друг за друга, иначе вообще ничего не получится. Я был предоставлен самому себе. Я мог потопать по дороге криминала, уголовного. Но что-то внутри не дало мне этого сделать, некий стержень поколений.

— Как тебе нравится термин «шизореализм», которым кто-то обозначил твою прозу?

— Мне все равно, кто как паразитирует на мне.

— Да сколько на тебе зарабатываешь...

— Какая разница! Сколько бы ни заработали — зарабатывают же. Если бы им было неинтересно, они бы занимались чем-то другим.

— Вот еще где-то написали, что «Липскеров оказался буйнопомешанным на любви».

— А, это про мою книгу о любви. О любви в достаточно глобальном понимании этого слова — о любви к Богу, любви

к окружающему миру, каким бы уродливым он ни был, любви к себе, к человеку.

— А что Пелевин? Ты его не очень?

— Не очень.

— Вы конкуренты с ним?

— Он не конкурент мне. Мы совершенно в разных нишах. Но в России, как и во всяком другом мире, писатель — это такая профессия, что писатель писателю не друг. Не могут в унисон думать люди в сегодняшнем быстром времени. И нет сейчас никакой преемственности, нету никакого уважения одного поколения к другому. Это плохо. Я помню еще хорошие времена, не знаю, застал ли Пелевин это — каких-то стариков, которые пытались что-то рассказать, которые реально помогали тебе стать писателем. Я просто начал немножко раньше писать, чем Пелевин.

Премия

— И вот в какой-то момент ты, занимаясь и бизнесом, и литературой, вдруг учредил премию для молодых авторов.

— Ну я тут не один. У меня есть друг, депутат от Белгородской области Андрей Скотч. Он возглавляет фонд «Поколение». Серьезный человек. Как-то мы с ним выпивали, и я говорю — давай замутим что-нибудь, премию какую-нибудь литературную. Оказалось, у него точно такая же мысль была! Мы объединили усилия и придумали, что наша премия будет отличаться от других: ее вручают только людям до 25 лет. Именно так! Потому что мне тяжело быть последним писателем России. Не то что я себя так высоко ставлю, но в тот момент у меня не было за спиной ни одного писателя моложе меня, все старше. И вот после объявления о конкурсе мы получили 50 тысяч рукописей! 50 тысяч! Оказывается, вся страна пишет чего-то! Не какие-то там старые пердуны, а молодежь. Она чего-то хочет! На своем первом взлете она хочет сделать что-то настоящее в жизни. У мальчика папаша слесарь, говорит, кончай дурака валять. А тот приносит две

штуки и книжку, типа не трогай меня, я талантливый. Вот такая у меня была идея.

— А бабки на премию откуда — вытащены из ресторана?

— Нет. Это некоммерческий фонд «Поколение», куда крупный бизнес сливает на такие нужды бабки. Не только на премию, но и на операции детям на сердце, на реставрацию церкви в захолустье. По размеру наша премия на втором месте после Букеровской премии.

— А я думал, вы со Скотчем скинулись...

— Мы не настолько богаты. И потом, если человек личные деньги вкладывает, ему всегда хочется вернуть их. А тут другая ситуация.

— Когда вы премию впервые вручили?

— В 98-м. Премия — это не только деньги. Еще и книга у человека выходит. Ну что такое в 17 лет получить книгу? Это делает человека счастливым. Есть такой человек — Сигарев. После нас он получил еще кучу премий всевозможных. «Антибукера», потом какую-то самую крутую премию в Англии за революцию в театре...

— А кто читает все эти 50 тысяч рукописей? Не ты же...

— Главный координатор премии — Ольга Славникова, замечательная писательница сама по себе. Она делает самую сложную и серьезную работу. Она находит ридеров, и они все читают. За каждую рукопись они получают какую-то копеечку.

— Профессиональные читатели. Типа дегустаторы.

— Во всех издательствах мировых есть ридеры.

— Сдвинулось, изменилось что-то за это время?

— Появилась молодежь, двадцатилетние писатели. Их зовут всюду, их знают в мире, кого-то уже переводят. Кто-то получает мировые премии. А я вот такого никогда не получал... Но я же не завидую.

Скука

— Давай теперь коротко о промежуточных итогах.

— Вообще я, достигнув какого-то возраста, понял, что в жизни нету ничего, кроме скуки, которая нами владеет

и заставляет развлекать себя искусствами или какими-то сопутствующими искусству пороками.

— Типа?

— Алкоголизм, разврат и т. д. Много чего.

— А вот еще такое лекарство есть от скуки, как казино.

— Нет. Я вообще не люблю казино. Когда трезвый. Я часто думаю: старшему поколению повезло! Они доживают до таких преклонных лет, что пишут уже по третьему гимну, и детей рожают в девяносто, и все у них хорошо. Я преклоняюсь перед таким желанием жить и такой живучестью невероятной. Во мне этого абсолютно нет. У меня все время ощущение, что я нахожусь в каком-то предсмертном состоянии, что я уже все прожил, все посмотрел, все скучно.

— Может, оттого что ты пьешь много?

— Когда я пью, мне очень хорошо живется. Но наутро... Ха-ха!

— Кто пьет, тому хорошо вечером, кто не пьет — тому утром.

— Не скажи. Когда я не пью, мне утром очень плохо. А другие — ничего... Вот посмотри на Вову Жечкова. Другой бы 25 раз умер уже на его месте. Вот попробуй за ним угнаться. Или за Абдуловым... Невозможно! Настолько у них серьезный темп, настолько серьезное здоровье заложено — лошадиное абсолютно. Они похожи друг на друга. В своем этом невероятном драйве они прожили уже по три жизни.

— То есть ты, в отличие от какого-нибудь Льва Толстого, не думаешь спасти мир, открыть ему какие-то истины?

— Никогда и ни за что в жизни. Я что же — мессия, что ли? Нет, я отношусь к себе очень спокойно. Литература на сегодняшний день — это совсем-совсем частное-частное место. Это абсолютно частное дело писателя, никого, кроме него, не волнующее. И неспособное ничего изменить. Писатель никакого уровня не способен сегодня в России что-то сделать. Никакой Солженицын, никто. Сейчас культурный уровень настолько упал по сравнению с каким-нибудь девяностым годом. Просто страна тупарей. Такое ощущение, что в доме для дебилов и олигофренов находишься. Люди обычно читают журналы дайджестовые, которые состоят из

сообщений в десять строчек. Хотя — людей этих тоже можно понять. Сегодня в стране — каторжный способ жизни, и людям ничего не остается, как себя развлекать. А Липскеров не может дать отдых. Он может только напрячь человеческий мозг. А мозг — это какой-то нарост ненужный.

— Ты себя видишь как бы таким автором кануна конца света? Русский писатель эпохи начала конца света.

— Не, не, не. У меня абсолютно частное творчество о любви, о дружбе, смерти, вообще существовании человеческом, я такие простые задачи решаю для себя. Никого не учу, догматиком не могу быть и не собираюсь.

— Значит, никаких высоких целей? Никаких сверхзадач?

— Ну, это бред. Я считаю, что этого не бывает. Ни высоких целей, ни сверхзадач. Ничего нету... Я считаю, что более глупого занятия, чем писать, что надо спасти Россию, нету. Надо что-то делать, а не писать.

— Значит, смысл твоей литературной деятельности такой: ты лично себя отвлекаешь от скуки.

— Да. Только себя.

Судьбы России

— Скажи мне как русский писатель, что же происходит в стране у нас? Тебе по статусу положено знать. Ну или, по крайней мере, высказываться.

— Россия как была, так и остается страной единого общего настроения. Если есть судьбы, то это как раз скорее исключение, нежели правило. Все равно будем стадом. Ненавидим стадом, любим стадом. Любим Америку безоглядно, потом так же ее ненавидим. Ненавидим богатых, как всегда ненавидели. Ничего в этой стране не изменилось со времен Салтыкова-Щедрина. Все такой же город Глупов — это Москва, в которой 50 процентов доходов от всей страны. Разнужданная такая, блудливая кошка. Вместе с тем Москва — такая, как баба, к которой все время возвращаешься, потому что у нее так в каком-то месте сладко. Судьба же страны непонятная: куда это все вылезет? Я думаю, что дефолт 98-го года — это цветочки по сравнению с тем, что нас ожидает

в будущем. Нефть когда-то будет стоить долларов двенадцать, а страна по-прежнему не будет ничего производить. А новая ветка власти после второго срока президентского тоже захочет что-то поиметь, и она что-то устроит... Я далек от оптимизма. Я много езжу по России и понимаю, насколько страшно живет человек, насколько чудовищно. В генофонде русского человека хромосомы переломались. У него совсем нет сил на революцию. Значит, конец.

— А ты не паришься насчет духовности? Типа там русская душа...

— Как не парюсь? Я совершенно отдаю себе отчет, что в русской душе, настолько в ней темно, сумрачно и страшно, что спаси нас Господь от русского бунта.

Финал

— А какую книгу ты не напишешь никогда?

— Документальную книгу о том, что происходило в политических эшелонах, в шоу-бизнесе, в рекламном бизнесе в 90-е годы. Я знаю про это все. Благодаря некоторым людям, которые меня туда ввели. О пацанах разных много знаю всяких...

— Если про это напишешь, тебя застрелят?

— Однозначно просто.

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО:
«Себя считаю русским шовинистом»

Фантаст Лукьяненко входит в первую пятерку, а то и тройку — живых русских писателей. По тиражам и по заработкам, то есть, другими словами, по читательской любви. Снятые по его книгам кинематографические «Дозоры» подняли годовые суммарные тиражи с 500 000 до 2 500 000 — и потом стабилизировались на миллионе. В России. Плюс полмиллиона в Германии, ну и еще ж переводы на все основные языки. По некоторым подсчетам, книгами Сергея Лукьяненко покрыто две трети земной суши.

За что его так любят? И какой он вообще?

Как стать великим

Мы встретились с писателем Сергеем Лукьяненко в Дели, на книжной ярмарке, где коллеги называли его олигархом — имея в виду его миллионные тиражи и отсюда весьма значительные доходы. Просто-таки завидные! Вечером я зашел к нему в номер, беседу мы начали с обсуждения удивительного происшествия. Писатель начал свое повествование:

— Прилетел я, зашел в номер, только собрался в душ — и тут звонок в дверь. Кто бы это мог быть? — привычно закручивает интригу маститый автор. — Открываю — грязный весь, потный, в трусах, — а там индус с пакетом, и он говорит: «Возьми, сахиб». Спасибо, говорю. Открываю пакет — а там литр джина Bombay Sapphire, две бутылки Hennessy VS, бутылка сухого да еще и шоколадки. Ничего не понимаю, ничего не трогаю, хожу день, другой, спрашиваю ребят — это что, всем такой паек выдают? Нет, не всем. Тогда чье это? Некоторые говорили — пакет наш! Ну тогда говорите, какая марка коньяка, сколько бутылок, какой общий счет... Никто не угадал. На третий день, не найдя хозяина, я решил, что пусть это будет общак. Теперь пью и наливаю людям.

(Ну что, везет человеку, что тут скажешь... Сказать нечего. И мы просто стали пить что бог послал и беседовать о жизни.)

— Сергей! Тебе самому понятно, отчего ты так поднялся?

— Некоторые с меня требуют на полном серьезе формулу успеха... Люди думают, что есть некая формула, по которой из букв составляют слова, складывают их — и выходит хорошая книжка... Формулы нет никакой! Если бы она была, то все издатели печатали б только бестселлеры.

— Значит, сидят по всей России десятки тысяч людей, пишут, пишут, и никто не знает, что из этого получится...

— Таких, кто пишет и публикуется, я тут только про фантастов, — в стране порядка тысячи. А кто пишет, но не публикуется и понимает, что он не самый лучший автор в мире, — ну, наверно, таких тыщ десять. Почему одни пробиваются, а другие нет? Есть такой миф, что будто бы есть писательская мафия, и признанные авторы не хотят, чтоб появились новые молодые талантливые конкуренты, и потому их дают... Этот миф совершенно смешной, я когда его слышу, то всякий раз улыбаюсь. Ведь единственная, к моему глубокому сожалению, отрасль бизнеса, которая в России достигла правильных нормальных капиталистических высот, это как идеальный капитализм — книгоиздание. Редакторы реально сидят и читают все говно, которое им шлют. Говна очень много. Но все из него надеются выковырять новую Роулинг или, на худой конец, Лукьяненко нового.

— ...и купить задешево на корню.

— Конечно, конечно! Конечно! Все издатели — сволочи, они хотят купить за пять копеек и перепродать за миллион рублей. Это нормальные правила игры. На то и щука в реке, чтоб карась не дремал.

— Значит, в игре 10 000 человек, а джекпот — у тебя.

— Получилось так, что да.

— А ты чувствуешь, что сеешь разумное, доброе, вечное?

— Я ничего не стараюсь сеять. Я вообще считаю, что литература ничего никому не должна. Это просто способ одного человека рассказать многим другим — тысяче, миллиону, ста миллионам, как получится — про наш мир то, что ему кажется важным и интересным. Естественно, я делаю то же самое, я рассказываю то, что хочется рассказать мне. Потому что самая большая ошибка писателя, если говорить о секретах — это

пытаться угадать, чего хочет публика. И пытаться написать то, что ей нужно. «Значит, сейчас в моде гламур — напишу-ка я про дамочку с Рублевки. Что там еще в моде, криминал? Значит, дамочка с Рублевки попадает в разборки. И православие в моде? Вводим второго персонажа, это ее духовник, простой поп, а он — в моде же и патриотизм — бывший офицер спецназа, воевавший в Афгане, Чечне и Сомали, и вот он ее спас. Что еще в моде, семейственность? Дамочка и поп поженились, создали здоровую ячейку общества». Просто идиотизм! Пытаться написать так, чтоб стать популярным, — самая большая ошибка.

— И тем не менее ты на высоте своего положения можешь взять именно вышеизложенный сюжет и написать такую книгу, и публика схавает.

— Да, конечно. Почему бы и нет? Написать можно все, что угодно. Сюжет не важен, вот в чем дело... Неважно, о чем ты пишешь! Ты можешь написать о том, как трактор бороздит просторы Нечерноземья или про то, как боевой космический корабль «Меч России» бьется в глубинах космоса с жукоглазыми уродами, которые там хотят всех нас съесть... Это все неважно!

— Значит, выходит, что если бы Анна Каренина не кинулась под поезд, то ничего страшного бы не случилось и книжка все равно бы пошла на ура?

— Конечно. Просто это была бы другая история и другая мораль. Все было бы немножко по-другому. В свое время я любил проводить такой тест... Сидишь, бывало, с людьми и говоришь им: «Вот есть стандартное заблуждение в среде интеллигенции, что Анна Каренина бросилась под поезд». — «Как?» — «Вы что, не читали “Каренину”? Она хотела прыгнуть под паровоз, но машинист ее остановил!» Тут главное — говорить убедительно, и смотреть человеку в глаза, и делать вид, что сам ты читал «Анну Каренину». И я рассказываю про то, что она все поняла, вернулась к Вронскому и все у них стало прекрасно. Так ломалось процентов семьдесят людей, они говорили: «Не, ну понятно, что не бросилась, мы сами знаем, но это просто такая фигура речи...»

— Ага, ты им предлагал фантастическое прочтение «Карениной»!

— Ну, во-первых, классическую литературу не читает никто — за исключением узкого круга профессионалов, которых я люблю и уважаю. Люди могут цитировать: «Мой дядя самых честных правил», — но не более того... Пять процентов реально читали классику!

— Кстати о классике: я недавно написал про то, что Наташа Ростова — это фактически Ксения Собчак.

— В общем, да.

— А духовность-то где, про которую мы привыкли думать? В связи с классикой?

— Она — в учебнике литературы...

— Тебе, наверно, дают множество советов, люди считают своим долгом помочь тебе с сюжетами.

— Я никого не слушаю. У меня есть любимый писатель Леонид Каганов, московский автор. Его можно считать и фантастом, хотя то, что он пишет, ближе все-таки к сатире. И у него есть такая маленькая притча, которая мне очень нравится. Человек приходит к писателю и говорит: «У меня есть прекрасный сюжет, напиши книгу. Будет здорово!» В ответ писатель говорит: «Однажды к садовнику приходит человек и говорит: вот тебе прекрасный огрызок яблока, а вырасти-ка ты из него прекрасный сад». Вся суть в том, что сюжет может быть какой угодно, важно, как ты его расскажешь. У всех есть семечки, у каждого есть свой огрызок яблока, из которого можно вырастить сад. Но не надо этот огрызок предлагать садовнику, потому что у садовника у самого таких огрызков миллион.

— Какие у тебя возможности влияния? Ткнешь пальцем — вот гений! И все кинутся на него.

— Ну, рекомендация моя, наверно, что-то значит, она может помочь автору пробиться. Но сейчас все так устроено, что человек с улицы может пробиться. Хрестоматийный примере — Роулинг, которая ходила по издательствам со своей книжкой и пристроила ее только с седьмой попытки. За символическую оплату в тыщу фунтов. Теперь это издательство из заштатного превратилось в крупное и успешное...

Помню, мне было 19 лет, я только начинал писать, я посылал свои вещи в журналы... Сначала меня в Алма-Ате напечатали, потом — в «Уральском следопыте». Там работал Дмитрий Бугров, великий знаток фантастики, человек, открывший и воспитавший десятки авторов.

— Ты часто думаешь про Роулинг?

— Ну как женщина она не в моем вкусе, а как писатель — в моем. Я читаю ее с удовольствием. У меня стоят ее книжки. Это хороший автор, она сильная писательница. У нее есть непонятная магия текста! Книг про то, как маленький сиротка отказывается могучим наследником древнего рода или волшебником, — таких книг полно, и книг про учебные заведения, где учат на волшебников, тоже много. Роулинг тут абсолютно не первооткрыватель. Но тем не менее она ухитрилась как-то по-особенному это сложить, сделать вещь оригинальную и необычную, которая стала культовой. Я очень уважаю Роулинг — но часто я про нее не думаю.

— Она просто чемпион мира.

— Да. По-моему, она самый богатый писатель мира. Я за нее очень рад. Она ухитрилась создать такой образ, такой мир, что в итоге у нее теперь и слава, и деньги.

— Она, значит, чемпион мира, а ты — чемпион России?

— Это не совсем то. Трудно сказать — чемпион, не чемпион... Литература — это не тот случай, где меряются длиной прыжка. Но могу сказать, что славы Толстого или Достоевского Роулинг все равно не добьется, и Шекспиром она тоже не станет, это факт. Но это не означает, что Достоевский и Шекспир выше, чем Роулинг, — просто это очень разные вещи. Штучная работа...

— Давай решим: Нобелевскую премию не может получить фантаст?

— Почему? Может, в принципе. Если он при этом будет негром голубым и одноногим, — шанс у него будет. Хотя Сэмюэлю Дилэни это не помогло; это изумительный фантаст, как раз негр и голубой.

— Ему не хватило самой малости: он, наверно, не болен СПИДом.

— Ну да, и к тому ж он писал в 60-е годы, когда это было не очень актуально. Да и вообще что такое Нобелевская премия по литературе? Это явление сильно конъюнктурное и политическое...

Рейтинг

— А ты можешь дать картину сегодняшней русской литературы?

— Это сложно очень. Литература-то большая... Но если коротко, то происходит в ней все то же, что и всегда. Люди пишут про то, что им интересно: про жизнь, про секс, про политику, про насилие, про воспитание детей, про ращение собак, про возделывание огорода. Писателей много, каждый пишет про свое, это прекрасно, так и должно быть. У нас есть по-прежнему свои Чеховы, свои Достоевские, свои Гоголи.

— И мы их не знаем?

— Кого-то знаем, кого-то нет.

— Ну дай тогда хотя бы первую пятерку.

— Дашь пять — остальные 25 обидятся и скажут, что я козел... Но тем не менее попробую.

Алексей Иванов. Чудесный совершенно человек, прекрасный парень, у него великолепное литературное чутье, язык... Начинать писать фантастику, когда был совсем еще молодым. Мы вместе были на каком-то семинаре... Я прочитал то, что он туда принес, и схватился за голову: «Я, видимо, несчастный графоман, я пишу ерунду, а книги Иванова — великие и прекрасные, в них есть душа, стиль!» Но — его книги тогда осмеяли, его называли графоманом и идиотом, который пишет ерунду, — и человек оказался из литературы выкинут. На фантастику он после этого обиделся. Стал писать мейнстрим — назовем это так — и пробился, добился своего. Теперь он — уважаемый писатель, молодая надежда литературной России. Притом что он наш, фантаст! Я был очень рад, когда удалось издать сборник его фантастики в издательстве АСТ. То, что он написал в 20 лет, — это прекрасные вещи, умные, серьезные, глубокие, добрые, смешные. В нем убит великий фантаст...

— Ну может, недобит?

— Надеюсь. Если он решит преодолеть это оскорбление, которое было нанесено реально, то это будет великий роман. Он умеет, он может. Просто человека очень хорошо обидели.

— Тебя можно понять так, что фантастика — это более настоящая литература, чем мейнстрим.

— Фантастика — это не более чем прием. Нормальный писатель-фантаст не верит в вампиров и пришельцев. То, что мы используем эти приемы, не значит, что мы идиоты, которые сидят и ждут прилета летающей тарелочки. Это просто прием, позволяющий более интересно и более ярко говорить о той жизни, которой мы живем, вот и все. Не более того.

— Так, хорошо, Иванов. Кто еще?

— Пелевин, — как это ни банально звучит. Тоже наш, фантаст, он получал наши премии. Все его вещи более или менее относятся к фантастике. Кого бы еще назвать? Дима Быков. Очень люблю и уважаю, интересный автор, который гениален в стихах, офигенный журналист. Пишет очень сильные прозаические вещи, отчасти фантастические. Кого из чисто фантастов назвать? Марина и Сергей Дяченко из Киева; это авторы украинские, но они пишут на русском, и я их причисляю к русской литературе, — пусть украинцы не обижаются.

— Все названные — молодые ребята. А кому за сорок, тех ты скинул с корабля современности?

— Ну каждый любит в первую очередь свое поколение, это понятно. Но я никого не скинул с корабля. Могу сказать про Бориса Стругацкого. Это сильный мудрый пронзительный автор. Пишущий под псевдонимом Витицкий, — они с братом в свое время решили, что не будут никогда использовать свое имя, если станут писать поодиночке. На мой взгляд, его вещи, написанные после смерти брата, — сильные и глубокие. Наверно, им недостает той легкости, которую давало соавторство, но это хорошие мудрые книги.

Говно и кровь

— Вот Сорокин когда писал про говно, то счел своим долгом, как писатель, поест говна. А тыпил кровь?

— Что, он поел говна реально?

— Да.

— Сильный человек.

— А тебе случалось пить кровь, чтоб достоверней писать про вампиров?

— Я только этим и занимаюсь, ха-ха. Увижу журналиста — и сразу припадаю к его яремной вене. Если серьезно, то, конечно, кровь является пищевым продуктом, — люди ведь едят кровяную колбасу.

— А и ты ограничился колбасой!

— Я ее, бывало, ел. Но кроме того, с кровью связано много символов. Питье крови — это символ власти, сексуального насилия. Вампиризм как психическое заболевание обычно сопрягается с какой-то сексуальной патологией.

— Ты это имел в виду, когда писал свои книги?

— Нет, нет. Я дал чистую прозрачную трактовку: вампиры — это хищники... Думаю, необязательно пить кровь, чтоб писать про вампиров. К тому ж я не уверен, что это вкусно. У меня нет желания, как у Сорокина, проверить материал, о котором пишешь.

— И тем не менее вкус крови знаком каждому...

— Конечно! Кто получал по зубам или отсасывал кровь из ранки, — это нормально, хороший способ очистить рану.

— Еще про кровь: ты ведь у всех, кто рождает у тебя в доме, принимаешь роды.

— Я был при родах, когда моя жена рожала. Роды — это тяжело, это трудно, это очень интимный процесс, и, наверно, не каждому мужику надо это видеть. Но я-то врач... Я и так все видел. Для меня это все проще. И при родах своей собаки я присутствовал: она мне родила щенков просто под бок.

— Пуповину ты зубами перегрызал?

— Нет, ногтями разрывал. Это Горький — зубами, ну или не он, а его персонаж в одном из рассказов.

О пользе курения

— Скажи, а вот ты врач — и куришь. Ты в курсе, что капля никотина убивает лошадь?

— Один из самых страшных мифов, которые поддерживает человечество — это миф о вреде курения. Один мой товарищ, врач, писал на эту тему диссертацию, собирал факты. Так оказалось, что у человека, который курит до пачки в день, риск заболеть раком или эмфиземой такой же, как у некурящего, разница там на уровне погрешности. Это немножко большое надувательство, типа мифа о здоровой пище — когда идет американец весом полтора центнера и радостно поливает свой гамбургер низкокалорийным майонезом. Ну я не курил пару лет, потом закурил, может, снова брошу. Конечно, это не очень полезная привычка, вред от нее, конечно, есть, но он очень сильно преувеличен. И он бывает обычно при превышении критических доз...

Репатриация

— Вот ты жил в Казахстане, — а язык выучил?

— Я казахский не выучил и сейчас жалею.

— Если бы русские знали местные языки тех советских республик, где жили, могло все по-другому повернуться.

— В общем, да.

— Даже если ты, деятель культуры, не выучил...

— Это просто не было нужно. Все говорили по-русски.

— Вот-вот, все так говорят... В 1997-м ты, значит, уехал из Алма-Аты в Россию.

— К этому времени я уже что-то заработал: проявился интерес к русской фантастике, и за нее стали платить деньги. До этого писатели работали в стол. Некоторые просто бросили писать. Был период, когда считалось, что русские не любят своей фантастики и надо им давать американскую. Ее давали, — ну такую, прогрессивно-гуманитарного содержания — но тем не менее хорошую. И переводили тогда серьезные люди: Стругацкие, Райт-Ковалева... До нас доходили сливки, прекрасно к тому же переведенные.

Уехал я не из-за гонений, их не было — спасибо Назарбаеву. Но я себя всегда считал гражданином СССР, хотя родился и вырос в Казахстане. Во мне половина татарской крови, четверть русской и четверть украинской — но я себя считаю русским шовинистом. Когда *это* произошло, когда страна распалась, я решил, что не хочу жить в суверенном Казахстане. Я не говорю, что они не правы, но я хотел, чтоб мои дети родились в России и жили в России. Притом что пройдет какое-то время, и наши страны снова будут вместе, в какой-то форме. Я ведь абсолютный имперец.

— Ты уехал, как только появились деньги.

— Да. Когда меня стали издавать, я сказал жене: «Вот у меня есть пять книжек, за каждую дадут по 5 000 долларов, этого хватит на хорошую квартиру в Питере. А там у нас много друзей». Жена вздохнула и говорит: «А давай лучше купим самую плохую квартиру в Москве!» И правда, я сам по менталитету больше московский, чем питерский.

— «Золотая дремотная Азия опочила на куполах» — это не про Питер, а про Москву. А вы же из Азии приехали, вам Питер совсем чужой...

— Я поехал в Москву, пришел в издательство АСТ... Они, конечно, такие же акулы империализма, как все, — но при этом еще и любят фантастику. Я сказал, что хочу переехать, и попросил аванс за пару книг, — чтоб не снимать квартиру, а купить. Они согласились, мы подписали контракт, который не был чудовищно кабальным. Поэтому я люблю это издательство: они тогда проявили себя по-доброму, по-человечески. Они помогли мне, дали денег, и я купил квартиру. Однокомнатную. (Позже писатель переехал в большую квартиру, где и живет с женой, двумя детьми и двумя собаками, которые тоже члены семьи. — И. С.)

— Причем от чувств — рядом с издательством! (Которое, да, когда-то располагалось на Звездном бульваре, недалеко от метро «Алексеевская».)

— Абсолютно случайно! А пока мы не купили жилье, жили в одной из квартир знакомого бизнесмена, любителя фантастики, он нас пустил.

— Значит, Москва тебя встретила как родного.

— А у нас очень хорошая тусовка. Писатели-фантасты и любители фантастики — это особая каста. Даже когда я был не очень известным, все равно знал, что могу проехать всю Россию и в каждом городе найду своих, меня накормят, и напоят, и спать уложат, и будут мне, в принципе, рады. Это очень интересная субкультура... Мы тогда поселились возле ВДНХ, я полюбил этот район, с тех пор я вообще обожаю северо-восток Москвы. Потому что мы именно там поселились, когда мир раскололся, и мы безумно штурмовали столицу, уехав из Казахстана... Мы были счастливы, что из провинции — все-таки провинции — перенеслись в среду, где жизнь бурлит. А свою однокомнатную в Алма-Ате мы продали за 4000. Сейчас она стоит, наверно, 40 000, но тогда нам те деньги были важны: мы на них после жили целый год, пока я отработывал выданный издательством аванс.

Еда: вкусная или научная?

— А ты же еще готовишь.

— Конечно! Это же удовольствие! Мужик, который не умеет приготовить пару фирменных блюд, — чудак на букву «м»!

— А ты что можешь приготовить?

— Я могу сготовить все, что угодно! Венгерский гуляш. Блины у меня очень хорошие получаются. Плов — легко. Шашлыки — само собой.

— Казан из Алма-Аты вез?

— Нет, тут купил. Американский — но его похвалил Сталик (Ханкишиев, известный московский кулинар. — И. С.). Сказал, что это правильная фирма — Longhi, настоящий чугун.

— А как научная еда, как тот же Волков?

— Ну ходил я к Волкову. Меня укололи иголкой, взяли кровь... Но ведь понятно, что это разводилово! Мне дали список, из которого следует, что у меня аллергия на мучное и на сладкое — ну это же смешно! Смешно говорить об этом взрослым людям!

— Тем более дипломированным врачам. Но несмотря на твой скепсис, некоторые у Волкова серьезно худеют.

— Да! У меня есть друг, который у Волкова похудел со ста семидесяти до ста пяти и мечтает еще упасть до ста.

— Так в чем же дело?

— А в том, что не надо жрать мучное и сладкое, вот и все! Нормальное разводилово, прекрасное разводилово; если человек заплатит свои кровные деньги и под этим соусом перестанет сжирать на ночь пару тортов, это прекрасно! Он, естественно, похудеет. Надувательство имеет право на существование, если оно помогает людям.

— Итак, мы с тобой обсудили уже два медицинских мифа: что курение вредно и что лишний вес вреден.

— Понятно, что можно дожить до девяноста лет, будучи большой жирной тушей, — тут уж как Господь положит. Но, конечно, лишний вес вредней, чем курение. Я почему снова начал курить? Потому что к своим большим килограммам набрал еще семь, которые уж совсем лишние, и я до сих пор их не могу сбросить. Курение же хорошо тем, что отбивает аппетит. Когда человек бросает курить, то начинает искать, что бы в рот засунуть. Как сказала Майя Плисецкая, чтоб похудеть, надо просто жрать меньше. А все диеты — говно! (Он все больше увлекается. — И. С.) Если у тебя есть сила воли и тебе надо похудеть, ты похудеешь.

— Почему же мы с тобой не становимся стройными, если все так просто?

— А мы не замотивированы! Это для нас неважно. Иначе б мы быстро и легко похудели. Если стимул такой, что лень идти смокинг покупать в «Трех толстяках» — так это не стимул, это не работает. А если в двадцать хочется нравиться девочкам или если в пятьдесят лет мальчику захочется поправить здоровье — то он похудеет. В юности я сбросил вес со ста кило до семидесяти двух, за год. Я просто перестал жрать!

— В молодости ты хотел, чтоб тебя любили, — и похудел...

— А сейчас нас и так любят и ценят, и нам незачем ограничивать себя в таком удовольствии, как еда. И не надо нам

никакого Волкова. Я к нему шел именно с таким пониманием, что я валяю дурака. Я к нему пришел с женой, которая тоже хотела изменить вес — добавить. Она у меня очень хрупкая, миниатюрная женщина. Мы когда идем с ней в магазин, то мне нужен самый большой размер, а ей самый маленький. Как это ни странно, анализ крови выявил у нее аллергию на растительные продукты, и ей прописали — не на глаз, а после уникального анализа! — есть больше хлеба, мяса и жира...

— Как тонко!

— А у меня, понятно, все наоборот.

Детектив

— Сергей! Ты давно уже обещаешь написать классический детектив...

— Я придумал наконец самое главное — фигуру сыщика.

— Не с себя списал?

— Это банально, это не работает. В чем основная прелесть классического детектива? Мы его читаем не для того, чтоб узнать, что сыщик поймал преступника...

— ...а мы смотрим на Шерлока Холмса — морфиниста!

— Да! Нам интересна фигура. Она должна быть любопытной. Шерлок Холмс — человек не от мира сего... Сыщик должен быть странным и забавным.

— Лучше всего ему быть бабушкой.

— Да. Старушкой. Она смотрит на лорда и говорит — он похож на нашего дворника, который отравил жену, и я подумала, что это тот самый тип... Гениальный ход, прекрасная бабулька. Она смотрит, кто какому типу соответствует, и сразу все понимает. Или Ниро Вульф: толстый и ленивый, он сидит в кресле, сделанном по спецзаказу, у него орхидеи в оранжерее, и больше его ничего не волнует.

— А Мегрэ — это совсем просто. Трубка, и все?

— Это очень интересный вариант, он простой буржуа, весь такой среднестатистический, добропорядочный, обедает дома — но раскрывает все тайны. А в чем секрет женских детективов?

— Ну, потому что там сыщица — кошелка такая...

— Да! Баба разбитная, напилась, ее стукнули по голове и отвезли в Гималаи, где ее встретил Махатма Ганди и хочет узнать, какой секретный код ей прошептали. Читательница думает: «Вот такая же баба, как я». Фигура сыщика — это самое главное, я над этим бился лет пять. Как отбить хлеб у Акунина и придумать свое — это мне неинтересно, но интересно поработать на этом поле, потому что обожаю детективы классического плана. Заслуга Акунина в том, что он возродил классический детектив в русском медийном поле. И вот я придумал своего сыщика...

— Какого — это секрет, наверное?

— Конечно. Потому что главное — фигура сыщика, а что он будет расследовать — неважно. То ли олигарх подавился итальянским стилетом XVII века, то ли убили бомжа... Детектив — это большая игра, она должна кончиться торжеством справедливости. В жизни это не так, но когда мы читаем детектив, все иначе...

— А когда ждать нам эту книжку?

— Где-нибудь через годик.

Смешно про нано и нефть

— Мне понравилась твоя мысль о том, что если инопланетяне и прилетят, то их не заинтересуют ни наши ресурсы, ни мы сами в качестве пищи или рабов. Им тут ничего не нужно.

— Ничего! Помню, был такой американский рассказ. Прилетают инопланетяне. Они продают нам какие-то устройства. А сами покупают коровьи лепешки за бешеные деньги. Через десять лет вся земная экономика переориентируется на производство коровьего говна. И вдруг они перестают интересоваться лепешками — и начинают скупать яблочные огрызки. Они просто прикальвались. Далее мировая экономика переориентируется на огрызки...

— Похоже на правду. Это как бы злая шутка не тему нефти. Думаю, что с нефтью уже вопрос решен, альтернативное топливо найдено...

— Про это фантасты много писали.

— Думаю, что это не фантастика, а реально изобретателей вычисляет и убивает нефтяная мафия. Это напоминает реальную историю про изобретателя троллейбуса, у которого американские производители автомобилей купили патент. Он ходит счастливый и спрашивает — а когда ж мои троллейбусы забегают по Детройту и по прериям? Ему объяснили, что никогда, для того и купили... Скажи, а кто первый начал исполнять про нанотехнологии — ты или Медведев?

— Это очень смешная история. Мы в интернете иногда проводим конкурсы на заданную тему, анонимные, под номерами. Рассказы вывешиваются, люди обсуждают... Роберт Шекли однажды задал такую тему: нанотехнологии. Все слегка выпали в осадок: зачем, что за тема, не пришей кобыле хвост... Но я тем не менее написал три рассказа — и занял три первых места в трех разных группах!

— Шекли так над нашим начальством прикалывался?

— Нет, он серьезно! Это было года три назад. Тогда нанотехнологии как светлое будущее России еще не фигурировали.

Политика

— Вот ты говоришь, что ты за империю, за то, что надо присоединить к ней «временно отпавшие республики». Ты готов политически в этом участвовать? На войну пойдешь за империю?

— Я пойду на войну только за спасение Отчизны. А насчет временно отпавших республик скажу: Горбачев сделал абсолютно подлую гнусную вещь. Да, необходимо было реформировать Советский Союз — но Горбачев умудрился с водой выплеснуть и ребенка. Много зла и крови произошло результате всего этого... Китайский восточный путь эволюции существовал, но эта возможность была им профукана — по наивности ли, по злему умыслу, неважно... Горбачев сделал очень большую ошибку: страну, которая при всех своих недостатках имела много правильных хороших вещей, он

позволил уничтожить, развалить, он сделал так, что десятки миллионов впали в нищету, многие скатились вниз по социальной лестнице. А сколько людей было убито? Это хуже, чем преступление, — это ошибка.

— И сделал он это тем более не вовремя, что скоро, как ты прогнозируешь, разговоры о демократии кончатся и начнется новый крестовый поход.

— Ну какая ж это демократия, когда в Америке сначала правит династия Бушей, а теперь будет династия Клинтон? Это несерьезно... Это не кончится ничем хорошим. То, что мир ждут большие потрясения, мне понятно.

— Политкорректность закончится на наших глазах?

— Боюсь, что да... В ней была большая правда — та, что ко всем людям надо относиться как к равным. До тех пор пока это не дает обратной реакции, выверта полного...

— Ты излагаешь свои взгляды на широкую аудиторию. Очень широкую. К тому ж ты имперский человек. На выборы тебя не звали работать?

— Нет, не звали.

— Странно... Наверно, обиделись, что ты над нанотехнологиями стебался...

БОРИС МИНАЕВ:
«Графоман — я, а Быков кокетничает»

— Скажи, пожалуйста, а зачем ты пишешь книги? Хочешь сделать этот мир лучше? Сеешь разумное-доброе-вечное? Развлекаешься? Прикалываешься? Зарабатываешь? Или это мания? Вот Дмитрий Быков открыто называет себя графоманом, редко кто отваживается на такой coming out...

— Я, конечно, графоман. Но только когда Быков это говорит, он кокетничает. У него, я уверен, ни одна строчка, страничка не пропала из написанного. Я же написал адское количество страниц неизвестно зачем. Когда-то, например в середине восьмидесятых, была у меня такая пионерская повесть (то есть про пионеров) — «Здравствуйте, мы из школы!». Она никуда не пошла, никому не понравилась, друзья мои в «Комсомолке» дружно за нее отругали. Повесть 240, что ли, страниц (причем я ее много раз переделывал и переписывал). Тем не менее я на этом не остановился и написал по ней еще и пьесу (хотя при этом пьес вообще никогда не писал и не знал, как это делается) и отнес в Министерстве культуры. Еще 150 страниц, по-моему. Итого 400. С переделками все 500. Отправил их в пустоту. Ну получил аванс. Сто пятьдесят, что ли, рублей или сто тридцать. За 500 страниц! И таких историй в моей жизни далеко не одна. За сорок лет я написал тысячи (это не преувеличение, а точный порядок цифр) бессмысленных заметок, тысячи страниц, которые мне сейчас совершенно не хотелось бы перечитывать. А те из них, которые бы я с интересом сейчас прочел, наоборот, исчезли безвозвратно, в этом бесконечном потоке. Но я должен признать, что все это я делал с удовольствием, легко. Романы, рассказы, повести, статьи, биографии, рецензии, заметки, пьесы, сценарии для агитбригады, тексты для музея, концепции журналов, подписи под фотографиями — конечно, все это я писал не из-за денег. Хотя порой уговаривал себя, что из-за денег. Нет, просто когда я пишу, жизнь становится более осмысленной. В ней появляется какой-то сюжет — вот человек не просто так живет, а все-таки что-то пишет. Я сижу

пишу, и как-то быстрее кровь течет по жилам, что ли. Исчезает обычная депрессия. Появляется слабая, но все же уверенность в завтрашнем дне. Конечно да, это графомания.

Книжки как жанр появились в моей жизни не так уж давно. Мне было сорок два, когда вышла первая книжка рассказов (или роман в рассказах) «Детство Левы». Как жанр книжка мне нравится больше всего. Все другие жанры остались где-то в прошлом. Единственный минус этого дела — долго. Но быстрее не получается. Это, разумеется, мания. И безусловно, я таким образом развлекаюсь и отвлекаюсь от того, что жизнь бывает ужасно грустной. Короче, все твои ответы подходят, кроме одного: разумное, доброе, вечное — его посеять нельзя, наверное. Оно само по себе растет, без нашего участия, по воле Божьей.

— Есть ли между журналистикой и писательством пропасть? Это кошка и собака — или просто разные породы внутри одного вида, бульдог там и болонка?

— Да, есть люди, которые пишут блестящие очерки, репортажи, колонки, интервью, но собранные в книжку, эти прекрасные тексты внезапно скучнеют и теряют в весе. С другой стороны, многие великие начинали в молодости журналистами — Маркес, Хемингуэй, Шкловский, да кто только не писал для газет и журналов — Чехов, Лесков, Короленко, Белинский... Без журналов и газет вообще не было, нет и не будет никакой литературы. (Вот, кстати, скоро все бумажные газеты и журналы закроют, и мы это увидим своими глазами). Они нужны писателям — кто-то редактирует, кто-то пишет «срочно в номер», кто-то просто имеет в виду, что вот эту вещь я отдам туда-то. Журналистика кормит писателей, но сама, конечно, литературой не является. Это совершенно другой вид деятельности, хотя тоже связанный с языком, стилем, умением писать. Да, собака и кошка. Но я слишком поздно это понял.

— Если б были бабки, ты что бы делал? Так бы и писал книги?

— Думаю, да. Но вопрос чисто гипотетический.

— Почему писателей все время спрашивают про вечное, про политику, про мораль и прочее? С чего вдруг? Потому

что они как бы жрецы? Или типа сильно умные? И зачем они на эти вопросы кидаются отвечать? Есть же, в конце концов, политологи, психиатры, философы и прочие.

— По-моему, ты ошибаешься. Те писатели, которых недолгое время об этом спрашивали — чуть-чуть до перестройки и во время нее, — они все умерли, и не сильно они вообще рвались давать все эти интервью, даже, скорее, наоборот. Ну там Окуджава, Астафьев, какой-нибудь Бродский. Во время перестройки действительно казалось, что вот они сейчас возьмут и все нам объяснят (а то все как-то непонятно). Наверное, дело было в том, что у каждого из них была легенда. Всех наказывали, высылали, запрещали, не печатали. Все были в силу тех же причин — и в силу таланта тоже — страшно популярны.

— Больно ли тебе оттого, что раньше писатели были верховными жрецами, а потом масть перешла к телеведущим, теперь они, балбесы, рулят?

— Не, не больно, противно. Но одно дело, когда рулит, условно, Парфенов, и совсем другое — когда Петр Толстой.

В девяностые и начале нулевых было не так противно и даже временами увлекательно.

— Каков рецепт идеальной книги? Есть он у тебя?

— Наверное, есть. Толстая книжка, и чтоб временами было очень смешно, и чтобы про любовь тоже обязательно. Вообще мне всегда очень нравилось, когда человек может писать про себя, но как-то очень интересно. Когда он только «создает героев», это чуть меньше. Но, наверное, время Довлатова прошло. Он эту нишу собой закрыл, как Матросов амбразуру.

— Реализм как-то сдал позиции, и теперь для (коммерческого) успеха нужны чудеса, колдуны, магия, летающие метлы, вампиры и прочее. Это же так? Или нет?

— Почти уверен, что нет. Почти уверен, что для настоящего успеха нужно придумать такого героя и такой сюжет, чтобы просто попал в точку, по больному. Но при этом, чтобы было не просто очень-очень больно, а чтобы потом как-то все к лучшему... И дело тут не в фактуре. Дело тут именно в сюжете и в человеке. Чудесами и колдунами сыт не будешь.

Это так, почитать и забыть. Про детскую литературу — отдельный вопрос: можно ли продолжать писать сказки? И я на него на данный момент ответа не знаю.

— Ты все еще журналист или уже нет? Чему тебя научила работа в журналистике? Что хорошее она в тебе убила?

— Деньги я этим уже не зарабатываю. Значит, не журналист. Но в газеты иногда еще пишу. В частности, пишу в «Новую» (недавно начал) такие странные очерки про Москву. Так случилось, что жена Ася втянула меня в сетевое сообщество под названием «Клуб “Милый друг”», и вот уже несколько лет мы совершаем экскурсии по городу вместе с профессиональным историком. Вот это было именно то, о чем я всегда мечтал (да и многие, я уверен, тоже) — а что за дом, красивый такой, а в каком году построили, а кто в нем жил? С этого началось. А потом я понял, что ужасно хочу написать книжку, наподобие Акройда «Лондон. Биография» — только про Москву. Этот город абсолютно незаслуженно лишен своей биографии. Ну книжка не книжка, а вот благодаря Оле Тимофеевой я к делу все-таки уже приступил.

— Расскажи про журнал «Медведь», не чужой нам с тобой. Что сейчас происходит в этом секторе?

— Несколько лет назад по чисто экономическим причинам прежний бумажный «Медведь», классический глянцевый журнал, которым я руководил последние полтора года его жизни — закрылся. Это было печально. Никакой политики, только по бизнесу, ты знаешь. Ну я начал ходить по разным людям, пытаться найти новых издателей, но тщетно. Уговариваю я плохо. Видимо, это не моя сильная черта. Единственное, что удалось сделать, это открыть сайт. Чем он хорош? На нем мы выложили в интернет массу классных материалов, и старых, из прежнего «Медведя» (Кох, Новодворская, Свинарченко, Зеленогорский и так далее), и частично новых — народ на сайт заходит, смотрит, читает, но ведь интеллигентских сайтов в интернете сотни. А журнал такой был один. Ну посмотрим-поглядим... Жизнь покажет. Короче, сейчас это волонтерский, но живой проект, который ищет издателя.

— «Комсомолка» старая, в которой ты долго работал, и новая — что скажешь? Та комсомольская романтика, «Алый парус», «Письмо позвало в дорогу», «Отдел морали и девственности» — это же был ужасный блеф, китч, фуфло, а? Кто-то серьезно на это велся, а потом херакс — и за вроде красивой занавеской гробы повапленные, как так вышло?

— Ну почему же фуфло. Абсолютно не фуфло. Нет, это был такой язык, на котором журналисты тогдашние, власть, общество, пытались друг с другом разговаривать. Да, это частично был птичий язык, или эзопов язык, или зашифрованный, но иногда, ты знаешь, прорывались ведь и действительно важные вещи. А главное, никто на это не жалел ни места в газете, ни денег, ни, самое главное, усилий. Ехал человек в командировку в какую-нибудь дыру, сидел там неделю, набирал фактуры на пять блокнотов, писал очерк на целую полосу. Иногда получалось дерьмо. Иногда — песковские «Лыковы», статьи Роста, Руденко, Гека Бочарова, от них плакать можно было. Сейчас можно от чего-то плакать, что в газете пишут? Да, все это было наивно. Но как-то по-честному. Вот странно — рядом с голимой пропагандой, на той же странице, но по-честному. Я сам все время бьюсь над этим парадоксом. Просто тогда все было как-то жутко прозрачно для читателя — вот это пропаганда, оно и выглядит как пропаганда, и подано как пропаганда, и заголовок такой специально поставили, и язык сделали особо свинцовый, и всё-всё... А вот это вроде как для чтения заметка. Ее почитаем. И все — буквально все это понимали. Какой-нибудь работяга на стройке в обеденный перерыв, он разворачивал «Комсомолку» за своим кефиром — и сразу, в секунду, понимал, что пропаганда, что нет, что читать, что не читать. И редакторы, как ни странно, этого и добивались. И вот туда, где была не пропаганда, — туда упорно, целенаправленно поставляли, искали и растили талантливых людей.

Для чего, почему — до сих пор я бьюсь над этими вопросами. Но так было. Сегодняшняя газета с тем же названием — увы, это пропаганда, с одной стороны, причем очень умелая, очень лживая и попадающая в организм благодаря

современным технологиям как-то сразу, минуя мозги. А технология не нами изобретена — это таблоид, желтые новости, желтые сенсации, желтый подход ко всему. Я это все не люблю. Акционирование газеты привело к тому, что у нее появился рачительный хозяин, и к тому, что она превратилась в голимый таблоид. Пусть не сразу, но превратилась. С другой стороны, то же акционирование привело к тому, что группа журналистов «Комсомолки» взбунтовалась и появилась «Новая газета».

— Расскажи коротко про литературный процесс наших дней. Кто главные писатели, кто самые важные литературные генералы?

— Ну, это я бы сказал, не совсем процесс, а такая машина... Или механизм, верней. Он работает довольно хитро. Я даже и сам не пойму, как именно. Но чувствую, что это такая серьезная вещь, ее так с полпинка не объяснишь. Главных писателей, собственно, никаких нет. Есть люди, у которых сформировалась некая репутация. Иногда в силу того, что они получили когда-то премию, скажем, «Большую книгу», и потом попали в какое-то жюри, скажем, «Ясной Поляны». То есть всё в масть. Ну и разумеется, написали действительно приличную книгу, скажем, новую биографию Толстого, как Павел Басинский. А иногда — совершенно нет... И книга вроде талантливая, а как-то вот человек не получил ни того влияния, ни той репутации, и как-то все про него забыли. Иногда, кстати, в жюри попадают странные люди, известные только в узком очень кругу, что, конечно, не умаляет их достоинств. И тем не менее я считаю, что гораздо лучше так, чем снова почувствовать на себе железную лапу государства и госзаказа.

— Какие премии круче? Какие журналы влиятельней? Какие творческие союзы еще остались, и какой от них толк?

— Премии, трудно сказать... «Большая книга» по-прежнему номер один. «Букер», «Нацбест», «Ясная Поляна» уверенно делят второе место. Но на тиражи это «второе место» уже никак не влияет.

Толстые журналы важны и нужны, потому что это архаика как бы и при этом единственная качественная «база

данных», по современной литературе. И премиальный процесс, конечно, опирается именно на нее.

— Что сейчас мейнстрим? Какой он? Что такое — прорывы? Что с молодежью? Россия все еще литературоцентрична? Или она хер-знает-чего-центрична? Чего именно?

— Ну как мы видим, мейнстрим — это роман о сталинских временах. «Обитель» Прилепина и «Зулейха открывает глаза» Яхиной — два года подряд, условно говоря, первый приз «Большой книги» (а это все-таки главная пока премия по литературе) доставался именно за такой товар. Тема ключей проволоки снова на вершине хит-парада. Не договорили. Причем кто такие Прилепин и Яхина, условно — сорокалетние люди, внуки и правнуки репрессированных... Я многое сюда могу добавить — Юзефович «Журавли и карлики», про Гражданскую войну, про белых и красных. Терехов «Каменный мост», тоже там сталинизм, сталинское время присутствует. А Сорокин весь последний? Никуда не девается все это. Я сейчас тоже пишу об этом времени в «Мягкой ткани», во второй ее части под названием «Сукно».

Мейнстрим ли это? Наверное... Но я бы хотел, конечно, чтобы писатели, как говорили в советское время, больше исследовали жизнь. Ну там про фермеров каких-то несчастных написали или про милиционеров, я не знаю, ну про какую-то сегодняшнюю историю... Про то, что на улице происходит вот сейчас. Я очень, очень хочу прочесть книжку про любовь русского к узбечке или таджичке или осетина, чеченца — к русской девушке. Как они любят друг друга, притираются, привыкают, женятся, как это все трудно, как две свадьбы, на одной водка и «горько», на другой — танцы с бубнами и стол на триста человек, а вокруг горы. Господи, да таких тем миллион. Удивительных. Но что-то вот все копится, копится... Никак не накопится. Поэтому мейнстрима на самом деле нет. Он еще не родился.

Центрична ли... Ну, судя по тому, сколько народу пишет, сколько молодежи приходит всюду со своими рукописями — да. Система литературная (та, которую я описал), она конечно, выдыхается, она очень плохо отбирает продукт. Она не умеет его продать достойно, верней, подать...

— Главные темы и вопросы литературы сейчас? Вот у тебя в одной книге персонажи, он и она, познакомились в дурке — это как бы отсыл к Достоевскому и Гоголю, возвращение к классике, к большому стилю, к подсознанию?

— Да, тема психического здоровья меня лично, пожалуй, волнует сильно. В «Психологе» я попытался к ней подступиться. Ну, дело в том, что вот те люди, о которых я выше говорил — скажем так, из народа, с которыми постоянно происходят яркие интересные события (помнишь — таджичка, русский парень, в предыдущем вопросе, ну или скажем, менеджер по продажам, который взял кредит и сильно попал на бабки), так вот, у них вообще-то нет времени на подсознание. Я бы даже сказал, что у них и сознание-то с трудом в голове помещается. А вот человек, у которого ну очень много и сознания, и подсознания (скажем, мой доктор Левин) — что с ним такого может происходить? Он изо всех сил пытается жить в честном, безопасном мире, где нужно прежде всего соблюдать правила своей социальной среды... Иначе кирдык и ему, и его близким. То есть жить как нормальный человек, зарабатывать какие-то деньги ответственным и по возможности не стыдным трудом. И вот он потеет, думает, пытается что-то сделать для людей. Проваливается в подсознание. Выныривает оттуда. Но у него нет ярких событий — в сегодняшнем, повседневном понимании. Он старается избегать таких вот «событий». Поэтому тема «Психолога» — борьба со своим собственным «я», она на фоне окружающего нас реального дурдома, не читается. Не становится очевидной для всех. Но это не значит, что у доктора Левина, моего героя, не будет новых приключений. Они будут. Если я все успею.

Но ты, в общем, попал в точку — для меня главный вопрос «литературы сейчас» — это как раз попытка разобраться, что такое норма для человека постиндустриального мира, а что такое не норма. Как ему жить с этой ускользающей «нормой». Ух, прямо писать захотелось.

— Какая твоя книга нравится тебе больше и почему?

— Первая — «Детство Левы» и последняя «Мягкая ткань». Но последняя все-таки больше. Ну потому что... потому что

первая, она про папу и маму, в ней много чего-то такого простого, что и есть я. А последняя, «Мягкая ткань», — потому что я никогда не думал, что смогу написать о Первой мировой и революции. Иногда я сам себе говорил: ты сбрендил или что? Но нет, я не сбрендил. Я люблю этот роман, во-первых, потому, что он еще не закончен, и вообще потому, что он дал мне возможность развиваться, изобретать новый язык, работать с какими-то источниками (чего я раньше никогда не делал), выстраивать свои модели русской истории (просто поневоле, иначе непонятно, чего-куда с героями), ну и так далее. Это совсем для меня новое. Значит, я еще живу.

— Как вам же жить дальше? Вот некоторые уезжают в Израиль и там работают русскими писателями, тот же Иличевский. Писать сценарии сериалов? Речи политикам? Сочинять концепции гибридных войн и новых русских миров? Преподавать? Как ты встроен в музей Ельцина? Насколько эта работа «твоя»?

— Я хочу пожить где-нибудь, где мне будет спокойно и красиво, чтобы написать там что-то прям хорошее-хорошее, немного попутешествовать (оттуда ближе), почувствовать себя белым человеком, как шутили в советское время. Но в моем случае это пока не очень реалистично, хотя жизнь покажет. Уехать навсегда — только в случае катастрофы, но, боюсь, от ядерной войны уже не убежишь. Сериалы еще не пробовал (как и вообще кино), писать речи — тоже. Всякая работа хороша. Если за нее платят и если за нее не стыдно.

Концепции гибридных войн и русских миров сочинять не стану из принципиальных соображений (хотя и не позовут), это шизофрения, которая выдает себя за большое душевное здоровье. Что особенно пугает, если честно. В музей Ельцина в Екатеринбурге я встроен как один из авторов музейных текстов (а текстов там очень много), как автор ельцинской биографии, то есть я помогаю экскурсоводам, думаю над развитием экспозиции и развитием всякой иной музейной деятельности. Но пока это лишь первые опыты. Мое это или не мое — покажет будущее. Вообще делать музей было страшно интересно. Это был какой-то сногшибательный по новизне опыт. И результат оказался достойный. Я люблю

наш музей, в том числе и потому, что огромный поток людей туда все никак не кончается. И от этого весело, реально весело. Музеи вообще сейчас — это какая-то новая ступень развития культуры и общества. Их всё открывают, открывают... Почему? Это какое-то важное для человека развлечение, в котором он чувствует себя чуть лучше, чем он, может быть, есть на самом деле. Это такая 3D-книга, величиной в трехэтажный огромный дом, жутко дорогая и странная. То, что раньше было в головах, в памяти, теперь нужно превращать в вещи, картинки, последовательность событий... И так далее. Современный музей — это вот и есть одна из первых важных страниц нового века. Преподавать журналистику или литературу юным талантливым девушкам (просто их всегда раз в пять больше, чем юношей, поэтому я так говорю) — тоже можно, но пока не звали. А может, и хорошо, что не звали... Мне и своих дел пока хватает.

— Вот ты построил дом в русской провинции. Это чтоб узнать, как живут простые люди? Или чтоб спрятаться от действительности? Или чтоб вести здоровый образ жизни?

— Ну да, так случайно получилось, что мы с Асей построили, верней купили дом в Боровске [под Боровском]. Это Калужская область, 100 километров от Москвы. В первый раз, когда я увидел этот город, я понял, что хочу тут жить или рядом где-то. Это какая-то другая Россия, не заводской поселок городского типа, которых я в своей жизни видел много, а просто какое-то средоточие всего — город старообрядцев, причем даже в советское время им тут разрешили молиться на дому, тут могила боярыни Морозовой, мифологическое место, тут Пафнутьевский монастырь, который советская власть почему-то вот взяла и отреставрировала, где на костях русских бояр играли в футбол учащиеся сельскохозяйственного техникума, здесь было героическое самосожжение в Смутное время, здесь полоумный глухой Циолковский женился на дочери священника, родил пять детей, придумал ракетное топливо, здесь, короче говоря, особое место. Мы уж, конечно, тут всё выучили наизусть, и все равно тянет походить, подумать между этими домами. Они разрушаются, никто тут ничего не сохраняет особо, и все равно дух

тут есть... Я об этом месте долго могу говорить. Сам от себя не ожидал такого почвенничества, я же человек городской, дворовый даже. Для меня родина — это дворы, футбол, гаражи, доминошники, голубятни. Вот это моя родина. Но тут хочется все время дышать, тут даже еда другая, и водка тоже по-другому пьется. Но слиться в едином порыве с местными интеллигентами, боюсь, нам, дачникам, не дано. У них другая, своя правда. Здесь, в Боровске, полно местной интеллигенции — художники, музейщики, историки, религиоведы, но мы для них пришлые нувориши, они вряд ли жаждут общения, у них свой Боровск и свое к нему отношение. Хотя я бы, конечно, сделал какую-то попытку объединения, потому что из Москвы многие сюда, по-моему, переселяются умные люди.

— Давай теперь обсудим роль водки в жизни писателя. Многие бухают. Кто-то спивается, кто-то спился давно, слетел с круга или даже хуже того. Может ли русский писатель быть независимым от темы алкоголя? Что у тебя с этим? У твоих знакомых? Можно без фамилий.

— Ну, у меня какой-то другой журнал наблюдений. Пьют поэты. Причем все (особенно если талантливые). Иногда даже детские. Страшно пьют, часто спиваются. Пьют артисты. Причем все. Особенно народные. Пьют рок-музыканты. Причем все. Если не курят и не колются. Прозаики не пьют. Это тяжелая физическая работа, требующая много времени и чистой, ясной головы. Кто пил? Венедикт Ерофеев. Да. Но это, во-первых, все-таки алкоголик (увы, но это ясно видно по тексту) и, во-вторых, все-таки поэт. У него и вещь так называется — поэма. Кто еще? Шукшин, да. Но он артист. Виктор Некрасов — не знаю, не уверен. Поддавать и пить — это разные вещи. Ну представь себе, вот ты поэт, ты встал с утра, башка трещит, пошел на улицу за сигаретами, там лужи, кошка пробежала, девушка прошла, трамвай проехал, раз, и завертелось... И вся работа у тебя в башке! Вертится строка, вертится... Во сне, наяву, она уже с тобой. Тебе ничего не надо, даже стула, чтобы работать. А тут ты обязательно садишься, и у тебя производственный план, как на заводе. Какая водка вообще? О чем ты? Но это не значит, что я не

поддаю. Поддаю. Хотя уже по возрасту лучше не надо. Все-таки какое-то поэтическое начало в прозаиках тоже есть.

— Роль разврата. Любовь-морковь, публичные дома (Пушкин, Чехов, Блок и др.), педофилия (Лолита), групповой секс (Маяковский и проч.). Это неизбежно? Что в этом? Надо переходить границу миров, иначе никак? Можно быть примерным семьянином — и при этом великим писателем? Моральную устойчивость декларируют ну разве только русские «фошызды», а кто еще?

— По поводу исторических примеров, которые ты приводишь, ну, у меня несколько иная точка зрения. Все-таки в этом во всем достаточно много исторического контекста. Ну вот смотри. Публичные дома — дело в том, что в XIX веке ходить в них вовсе не считалось зазорным. Отцы посылали сыновей, чтоб чему-то научились, по крайней мере так гласит устойчивая историческая легенда. Да и сами иногда посещали. Женам и матерям об этом вслух не говорили, но они знали, конечно. Это сейчас бордели у нас превратились в какие-то бандитские притоны, а тогда это было цивилизованное место. Туда ходили офицеры, цвет и гордость нации. Студенты. Там было не стыдно! Им было не стыдно... Причем вот что забавно, именно те люди, которые грудью встали в своих произведениях на защиту несчастных замученных проституток, написали об их жизни просто-таки трагические произведения, до сих пор пронзающие сердце этим праведным гневом, этим пафосом защиты маленького человека, они вот... любили они это дело. Как я потом узнал, уже в постсоветское время, и Чехов, и Куприн, они в некие периоды своей жизни проводили там очень много времени. Имели скидку, возможно, как постоянные гости. Но нам об этом в школе, конечно, не говорили.

Или вот Маяковский. Любовь втроем. Но это был расхожий сюжет той эпохи! Сексуальная революция двадцатых годов... Вокруг такого было полно! Это было связано с левыми взглядами, с эстетикой, модной в то время, даже с философскими теориями. Это была просто окружающая жизнь. Таково было, так сказать, веление времени! Талант Маяковского тут совершенно ни при чем. И потом, почему втроем?

Лилю он, конечно, любил один. С Бриком у нее были совершенно другие отношения. Сейчас геи, обеих (обоих) полов, ну это ведь тоже исторический сдвиг, это не просто так. Так же как революция двадцатых — в этой области — это огромный, длинный, сложный процесс, он все идет, идет, идет и никак не кончится, причем это ж разве про секс? Нет, это очень близко к диссидентскому движению, к революции, к идеологии, люди жизнь готовы отдать за право быть другими, «не такими, как вы». Им это, прежде всего, идеологически нравится. Это религия, вера опять же. Ну и в каждое время был какой-то свой контекст. При Сталине боролись за аборт. При Брежнев за развод. Да, конечно, писатель это такой пограничник, он ходит вдоль этой границы, как сержант Карацупа, с собакой, следит, чтоб не переходили, или, наоборот, сам переводит, хочет сделать границы более открытыми, раздвинуть границы, или сделать их, наоборот, закрытыми, как угодно. Но он всегда при этом деле, такая его судьба. Но это — из-за профессии. А в принципе есть несколько известных мужских типов, способов жить — женолюбы, женатики, кто женится по пять раз, кто вообще не хочет с этим связываться — в этом смысле писатели ничем от других мужчин не отличаются, в какой тип попадешь, так тому и быть, лучше не сопротивляться, наверное...

В романе «Психолог» я написал несколько рискованных страниц на эту тему. Роман вообще-то совсем не об этом. Он на самом деле о судьбе детей, попадающих в ситуацию войны полов, в ситуацию войны между родителями. На известных довольно примерах. Но самую важную для меня тему критики не заметили, а вот на эти страницы отреагировали довольно своеобразно. Оказалось, что в нашем обществе по-прежнему работают всякие интересные табу, просто люди как-то по-другому это выражают. Они ж не говорят прямо: фи, какая мерзость. Они говорят что-то другое, с высокомерной такой интонацией, с таким вот холодным прищуром, что становится сразу понятно, что ты их чем-то сильно задел. Причем что интересно, женщины, что называется, с опытом, то есть у которых есть дети, семьи, мужа, в настоящем и прошлом, они все правильно восприняли, прониклись и увлеклись.

А вот свободные агенты — они восприняли это как какое-то посягательство на свое достоинство. На свою территорию. Причем романы этот класс девушек иметь хочет, случайные связи приветствуются, но вот описывать это в свободной манере, всерьез, без ужимок — увы, нельзя. Задевает это людей почему-то.

Сексуальные перверсии сами по себе никакого протеста у меня не вызывают. Любые. Смотреть на это дело в кино не очень приятно (неслучайно же порно-актеры специальным образом одеваются, двигаются, и все равно это зрелище не для слабонервных). Смотреть — нет, но я понимаю, что таки да, это крайне увлекательно все... Границы расширяются, да. Но... не для меня. Я не то чтобы классик, я все же дилетант скорее. Можно ли быть великим писателем и примерным семьянином — это как раз мой вопрос. Не знаю. Время, как говорится, покажет.

— Как там писал Пушкин — он не горевал, что ему не дали боги счастливой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать, и спрашивал риторически: зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли мне равно? Должен писатель быть диссидентом? Или имеет право быть аполитичным? А может приличный автор служить режиму и его защищать, пиарить? Насколько писатели сейчас расколоты из-за политики? «Крымнаш», Украина, бей америкосов и прочее?

— Это самый болезненный сейчас вопрос, если честно. Люди, с которыми ты всю жизнь общался, дружил, вдруг становятся твоими идейными врагами. Это так глупо, что даже невозможно поверить, что наша власть умудрилась всех настолько вот стравить... Для меня то, что сейчас происходит, — трагедия, конечно. Но, как я понимаю, это очередной виток спирали, не более того. Какой-то всплеск национальной обиды на весь мир. Но он пройдет. Он всегда проходил. Другое дело, что он проходил очень страшно — через какую-то беду. Ничего с этой страшной обидой сделать нельзя — это из области комплексов, расстройств таких глобальных, это лечится только временем... Писатель, конечно же, питается страстями человеческими, и в этом смысле эпоха «крымнаш» не исключение. Другое дело, что талант всегда выводит

к правильным, глубоким выводам, помимо идеологии. Идеологически Бабель был большевик, но кто еще написал про красных так правдиво и жестоко, как он, изнутри? Идеологически Достоевский был дикий ретроград, антисемит, революционеров он ненавидел, хотел насадить православие по всему миру — всё как сейчас... Но что он написал-то? Написал про Россию такие страшные вещи, что патриотом его, конечно, ну никак не назовешь.

Писатель должен быть диссидентом, но эстетическим. Он должен глубоко копать. Прокопает до земного ядра, и никто тогда его не упрекнет, что вот, мол, а взгляды-то у вас были, дорогой товарищ, какие-то не того, нурукопожатный вы товарищ. Невозможно считать Достоевского нурукопожатным, хотя он был такой «донбаснаш», переводя на современный язык, что просто держись. Но копал-то глубоко. Или деревенщики, Распутин, Белов... Ох они наследили в идеологии, адский стыд. Но если почитать их, то получается, что лучше этих почвенников никто про СССРовскую жопу и не сказал. Не Довлатов, не Войнович, не Аксёнов, а именно они. Так что на митинги протеста и марши мира я хожу как частное лицо. А как писатель... Как писатель я пытаюсь в общем строю не ходить.

— Какой будет Россия и ее литература через десять лет? Двадцать? Тридцать?

— Понятия не имею. Скорей всего, сетевой и подпольной.

— Ну и конечно, прости, но ты просто обязан рассказать нам о творческих планах.

— Я пишу роман, исторический, «Мягкая ткань». Очень скоро выйдет вторая его часть, «Сукно». Начинаю собирать материалы для второго тома (я еще не знаю, как он будет называться), во втором томе тоже будет две книги, и там речь пойдет уже о годах 40-х и 50-х, 60-х даже и далее, Даня Каневский будет жить до старости со своей Надей, в Марьиной Роше, Сталин помрет, наши полетят в космос, белые мыши сожрут черные лакированные туфли Розы, ну и так далее, и так далее. Но я очень хочу написать книгу рассказов. И детских, и взрослых. То есть не одну. Я очень соскучился по рассказам. Есть рабочее название «Девушки 80-х».

— Название для нового тома про ткани — к примеру, «Сермяга». Непременно, да, еще я тебя должен спросить: насколько тебе близко то, про что я тебя спрашивал? Или, может, ты думаешь о другом и то другое считаешь важным? Если так, то что именно?

— Некоторое время назад, когда я осознал внезапно, в какой части жизни я нахожусь, меня посетил простой вопрос: а зачем все это было? Я задавал его разным людям. Некоторые возмутились, некоторые смеялись. Мало кто понимает его смысл. Дело в том, что жизнь — это такой довольно хаотичный набор событий, впечатлений и встреч. Я в своей жизни здоровался, обедал, общался, даже некоторым образом приятельствовал с каким-то чудовищным количеством людей. Ну вот, например, это — зачем? А эти «неотложные дела»? Неужели и правда все это просто космический мусор? Не верю. Ну вот хочется понять, например, это... Это действительно был хаос и так задумано? Или нет?

— И вот я сам пропустил важное: бывают ли большие художники — атеисты? Ты планируешь жить в вечности после, или там ничего нет? Если нет, то тогда какой мотив — писать?

— Нет, я просто умру, и я абсолютно не хочу знать когда. Мучает, конечно, вопрос, зачем нам все это — болезни, разрушение плоти, вообще зачем вся эта боль, зачем все так грустно, почему я должен видеть и так сильно чувствовать этот общий процесс, переживать за близких, за друзей, холодеть от ужаса и т. д. Я заранее верю, что в этом есть смысл, но грустно все равно очень. Нелегко бывает из-под этой грусти выбраться, а надо. Что касается моей бессмертной души, ну она ведь живет отдельно от тела. Она будет принадлежать, конечно, какому-то другому телу, в это я верю абсолютно. Но я, который тут был, прощается с нею навеки. И понимая это, я пишу, чтобы остаться в каком-то ином пространстве и чтобы оставить здесь то, что мне дорого, и тех, кто мне дорог. Не потому, что меня будут читать потомки (это вряд ли), а потому, что это важно для кого-то другого, кто есть. Зачем ему это важно, я не знаю, но он мне уже это сумел объяснить...

АНДРЕЙ ОРЛОВ:

«Я — пьяница, алкоголик, придурок и бабник»

Предисловие

Много лет назад я придумал название для текста — «Последний хиппи». И даже написал его начало, которое было таким: «У, кажется, Марка Твена был сюжет о том, как некто литературовед, оказавшись в раю, попросил ему показать обладателя самого серьезного литературного таланта. У человека были сомнения насчет личности, он колебался между Шекспиром и Гомером. Однако же его подвели к человеку по имени типа Смит. А что он написал? Ничего, он вообще неграмотный. А что ж вы говорите, что он лучший писатель? Он сапожник. Ну так и?.. Минутку, вы же спрашивали не про запись в трудовой, а про талант! Так вот он и есть. Если б этот парень начал писать, он бы всех сделал».

Текст этот я собирался писать про одного своего давнишнего приятеля, одного из самых искрометных собутыльников Москвы и Московской области. Вместе с Михаилом Мишиным, Юрием Ростом, Михаилом Жванецким и Валерием Гринбергом он входит в пятерку лучших устных русских (ну русскоязычных) рассказчиков.

Собирался, собирался — но долго руки не доходили: не было информационного повода.

И вот повод нашелся. В один прекрасный летний день 2005 года читающая Москва открыла для себя гениального сетевого поэта, который скрывался, недолго правда, под никнеймом *oglusha*. Его как сговорившись в один день начали цитировать в газете «Ведомости», на радио «Свобода» и частных вечеринках первого ранга. Любители сетевой литературы, которые с декабря прошлого года носятся с *oglush'ей* как с писаной торбой и еще зимой объявили его своим классиком, смеются над «бумажными» лохами. Мы не обижаемся... Я даже искренне рад тому, что мой товарищ, непризнанный гений, мастер экспромта, последний хиппи

Андрей Орлов наконец заслуженно прославился. Он и есть тот самый Орлуша.

Начало

— Ну, Андрей, как тебе такое начало?

— В принципе, я не прочь оказаться в раю, но только чтоб общество было как в аду. Вряд ли в рай попадут люди, которые мне больше всего интересны. (Далее идет краткий список, который мы тут не приводим по причине интимности.)

— А я еще такую фразу заготовил загодя: «Орлов пока что неизвестен широкой публике (в отличие от узких кругов), но после смерти станет культовой фигурой. Как Энди Уорхол, который, по сути, тоже ничего не делал, только стебался с этикетками от консервов». Моя концепция оказалась ошибочной, но это меня радует. Поздравляю тебя!

— Насчет смерти. Моей маме цыганка нагадала, что я умру в 28. У родителей хватило ума сказать мне об этом, когда мне было четыре года. Я в тот момент не придал этому значения, но, когда вспомнил об этом предсказании в 28 лет, просто обосрался от страха. Но одна знакомая американка мне объяснила тогда, что в картах таро смерть означает не прекращение жизни, но всего лишь какую-то в ней перемену. И мне сразу полегчало. Я вообще заметил, что жизнь разбита на циклы, семилетние. Вот смотри: в семь я пошел в школу. В четырнадцать перешел в другую, потому что мне там одна девка нравилась. В двадцать один в армию я пошел, тоже такая себе перемена. В двадцать восемь я бросил журналистику и занялся народной дипломатией.

— Под народной дипломатией ты что понимаешь — твое участие в выборной кампании Березовского Б. А. в Карачаево-Черкессии?

— Не, это позже. Я имею в виду телемосты, которые делал с Познером и прочими... Я был продюсер, бабки были не мои, но я за них отвечал. Все думали, что я гэбэшник, да они и сами тоже, полагали, что я свой. Я был совладельцем фирмы, моими партнерами были американцы. Помню, когда

я был продюсером, то возил Кусто на Байкал, и мы там с ним по пьянке утопили подводную лодку.

— Подводную лодку? Ты гонишь.

— Ну маленькую такую, на ней только телекамера умещалась.

— «Что случилось с подводной лодкой? — Она утонула, — сказал Кусто».

— Типа. Помню, мы привезли в Москву Билли Джоэла, он дал концерт. А Scorpions только в Ленинграде выступили, в Москву их не пустили. Тогда, используя журналистские ксивы и связи, можно было открыть любые двери. И разместить любую заметку — официальной рекламы же не было. Да... После, в 35 лет, я начал заниматься рекламой, в сорок два — выборами, о которых ты говорил, а сейчас дело идет к сорока девяти годам, так что опять перемена приближается.

— Гм... И ты, имея свою фирму, работая с иностранцами, будучи акционером — стал миллионером?

— Нет. Но я б стал, если б мои американцы не сошли с ума! Они все бросили и стали искать красную ртуть. И белые рубли. Ртути такой не было, но искали ее всерьез. Ртуть была придумана и пропиарена: вот якобы не летает ракета без присадок в виде красной ртути. Сделано это было для того, чтоб выявить интересующихся темой. Мое мнение, кагэбэшники просто искали потенциального покупателя на ядерное оружие и средства его доставки — чтоб это все, может, и продать реально. Было объявлено, что цена красной ртути — 8 000 000 баксов за кило. Чтоб взять на анализ 5 грамм, в Швейцарии стояли самолеты под парами. Американцы очень хотели получить образцы, им было интересно, что это за ртуть такую особенную ищет Каддафи, — раз ищет, значит, она для чего-то нужна! И вот у меня дружок-американ сошел с ума на ртути, буквально клинически сошел. Потом еще была тема белых рублей: что якобы где-то стоят 28 вагонов сторублевок, это зарплата, не выданная нашим офицерам в ГСВГ. И вот люди хотели найти это и ввезти в страну... Кстати, насчет рублей. Госконцерт тогда платил западникам рублями, а рубли за границу, как известно, было нельзя вывозить. И вот западные звезды получали справку

незаполненную — разрешение на вывоз культурных ценностей — и ходили с ней по магазинам. Они покупали в комиссионном на Октябрьской антиквариат (Айвазовский тогда стоил 16 000 рэ), наполеоновскую бронзу и прочее. Помню, после шести концертов Джоэла его жена вывезла с собой из СССР вагон барахла — как какой-нибудь сержант Приходько из Берлина в 45-м. (Фактически она увезла трофеи обратно.) Мое любимое занятие тогда было такое: гулять с женой рок-звезды по Москве с целью потратить 6 000 000 гонорара за три часа. Надо было двигаться по городу со скоростью 2 000 000 рублей в час.

— Но хоть что-то ты сам тогда наварил? К примеру, по дешевке купил себе «Чайку» Брежнева?

— Нет... Easy come, easy go. Это синусоида, от богатства до бедности, от Grabus до метро. Я не раз ее проходил. И я этого не стесняюсь. Это не бравада, но у меня бывали дни, когда я зарабатывал десятки тысяч долларов. Были дни, когда я выносил из казино сотни тысяч долларов... Ты ж меня видел в разных состояниях.

— Да, помню. К примеру, когда ты был арт-директором журнала «Столица» (в котором я был всего лишь собкором в США), то ты ездил по пафосным ресторанам на персональном авто с личным шофером. А теперь, как в юности, у тебя снова нет даже на портвейн.

— Да... Приходится много занимать... Но ведь у меня же есть кредитная история! Я-то знаю, что отдам. Я знаю, что я не ячменное зерно, но петух этого не знает...

— Андрей! В твоей биографии есть такой знаменательный факт: ты учился в МИХМе (Институт химического машиностроения) с со знаменитым журналистом Андреем Васильевым. Как ты, поэт, попал в такой институт? Чтоб от армии откосить?

— Я как все остальные нормальные люди хотел уехать из страны, работать в посольстве или торгпредстве, получать деньги, покупать джинсы и продавать их здесь... Сертификаты Внешэкономбанка, чеки бесполосные... Ради этого я собирался поступать в МГИМО или в иняз, но папа мне сказал: «Дурак ты, дурак! Как я большой химический начальник, так

и ты иди в МИХМ, где я, кстати, председатель экзаменационной комиссии. Дело несложное...»

— Тебя, как Гринева, записали в полк смолоду.

— Ну да. У меня отец — полный self-made man, из уголовников. Он вырос в районе Рязани, который назывался Монастырь. В 13 лет, в войну, при рабочей пайке хлеба грамм триста, мой отец делал уголовникам наколки и этим зарабатывал в день две буханки хлеба. Одну нес домой, а вторую менял на барахолке на книги. Мильтон, «Потерянный рай», Библия с иллюстрациями Доре — там он брал сюжеты для татуировок. Он потом прошел по конкурсу в Суриковский, со своими рисунками, но там стипендии не было. И тогда он со слезами на глазах выбрал МИСиС, где была самая большая стипендия, выучился и дошел в карьере до самого верха. А все из его круга ушли на зоны и на расстрелы. Отец после отказался от цековского пайка. Но прикрепление к 4-му Управлению оставил. А я от «кремлевки» отказался — не захотел получать удостоверение, где моя должность была обозначена как «сын начальника главка». Почему я это сделал — не знаю. Никакого героизма, детская поза.

— Потому что «падонок».

— Ну да, наверно... И вот отец говорит: через шесть лет ты выезжаешь в страну, а твой одноклассник, который МГИМО кончил, будет у тебя переводчиком, с зарплатой в шесть раз меньше твоей. Я осознал, что это красиво и понтово — говорить за границей по-русски, а специально обученные люди тебе переводят. Но судьба распорядилась иначе. Она так распорядилась, что я попал в одну группу с Андрюшей Васильевым. Полтора курса нашего общения с ним закончились тем, что мы начали писать в «Московский комсомолец»... Написали текст и отправили в редакцию, по почте, два юнца, наглых и талантливых... В понедельник мы текст отправили, а в четверг уже вышло полполосы — $\frac{1}{8}$ объема ежедневной газеты. Притом что люди, закончившие журфак, печатали маленькие новостюшки. Тогда в редакции все думали, что это шутка культовых журналистов Щекочихина и Гутионтова, которые парой работали в «МК» — до нас, за нашим столами. Когда мы пришли, нас водили по редакции и показывали: вот они,

мальчики из «Лабиринта» (питейное заведение упомянутое в публикации. — И. С.). Мы ходили в институт, писали заметки, а потом нас выгнали, и мы пошли в армию.

— У вас с ним один тип алкоголизма, вы одинаково напиаетесь — и потому так долго смогли продержаться вместе.

— Я думаю, да.

— А потом вы с Васей как-то разошлись.

— У нас с Васей синусоида — по статусам, например. Мы с ним разные по психотипу... Бывало, мы ссорились серьезно. Сейчас у нас ссоры нет, но у нас просто разные подходы. У меня нет Васиной лояльности к работодателю, он швейцарский гвардеец: ему дали форму, и он служит. У меня этого нет. Я романтичен, а Вася циник. Когда мне совсем хреново, мне помогает Вася. Я прекрасно помню, как и когда мы познакомились. 1 сентября 1974 года в 11 часов 20 минут Вася вошел в институтскую аудиторию, осмотрелся и увидел меня... Я был молодой, женоподобный, с длинными, до задницы, волосами. Он сказал себе: «Телка нормальная, жаль, сисек нет; ну да ладно, без сисек ебать будем».

Хиппи

— Длинные волосы — это оттого что ты хиппи, так?

— Да, надо сказать, что какое-то время я был центровым хиппи, и кликуха у меня была Энджи, — поскольку Эндрю и Энди были заняты старшими товарищами, старыми кондовыми центровыми хиппи. Володя-Солнце, был такой старый хиппи. И Красноштан... Они много пили, были по колено в триппере, ширялись — так что, скорей всего, их уже нет.

— У меня был в Штатах знакомый хиппи — старый, седой, полулысый... Мой кузен у него снимал в доме две комнаты, видал, коммуналку устроили в Калифорнии! (Правда, он оказался не настоящий хиппи. Потому что когда у жильца закончилась виза, хозяин повел себя как буржуа и выселил человека.)

— Наши хиппи не имели никакого отношения к тому, что на Западе называлось хиппи... У них хиппи в Калифорнии, там тепло, — а у нас они грязные... Вообще много чего не переводится. Слова «любовь», «семья», «друг» — разное

значат у нас и у них. Свобода — у них и у нас совершенно разные вещи. Выпускной вечер: тоже разные вещи. Так и хиппи тоже не переводится. И холодно у нас. Быть хиппи в Москве — это как играть Моцарта на стиральной доске. Если говорить про нас, то тогда в хиппи шли люди, которым не очень хотелось работать. Молодежь из английских спецшкол, — я сам в одной такой учился, в 31-й. После стилаг, когда повзрослели Кабаков и Аксёнов, появились мы. И заполнили пространство. Зимой стояли в переходах, летом ходили по Стриту, сидели на лавках за Юрием Долгоруким. А если лавки все заняты? Подходишь и поешь на мотив «Марсельезы»:

Коммунисты поймали мальчишку,
Притащили в свое КГБ.
— Ты скажи нам, кто дал тебе книжку,
Наставленья к подпольной борьбе.

Ты зачем совершал преступленья,
Клеветал на наш ленинский строй?
— Срать хотел я на вашего Ленина! —
Отвечает им юный герой.

И тут же лавка освобождалась. Люди уходили, чтоб быть подальше от преступления. Можно было садиться пить портвейн из стакана, украденного из автомата...

Мы тусовались на Стриту, на коротком отрезке улицы Горького — от Трубы (подземного перехода, который ведет к Красной площади) до Пушкинской площади. Причем только по правой стороне, ведь все самое интересное было там: «Российские вина» и еще винный «Кишка» между Елисеевским и гостиницей «Центральная», ресторан «Центральный», кафе — «Московское», «Арагви», «Птица», «Космос», «Елисей» тот же, и винный его отдел отдельно... В Столешниковом еще два винных и «Яма». Это был такой московский вермутский треугольник. Деньги на выпивку стреляли, на аске. Бомбилы были такие, которые приставали к иностранцам. Они были люди рыночной экономики тогда уже. Мы могли

за пять рублей принять в хиппи парня с рабочей окраины, у нас даже был бланк удостоверения для таких случаев. Бывало, подходишь к девушке и говоришь, что надо срочно выкупить заложенную бабушкину сережку, без которой умрет дедушка, — и тебе дают деньги...

В этот момент у Орлова звонит телефон. Он берет трубу и начинает в нее рассказывать: «Вот я занимаюсь сбором денег для выкупа своих вещей. Мои прежние квартирные хозяева их не отдают, потому что я должен им за полтора месяца. Антиквариат, серебро столовое, я покупал это у детей мародеров, которые это привезли из Италии... Мне буквально надо перехватить на четыре дня...» Телефонная беседа закончена, мы продолжаем нашу.

— Андрей! Хиппи — это sex, drugs, rok-n-roll, так ведь?

— Нет, наркотиков мне не удалось попробовать.

— Как так?

— Я с юных лет полюбил алкоголь. И выбрал его.

Да... Опыт такого общения, выпрашивания денег (не всегда, правда, срабатывает), спокойная привычка пить из горла, умение спать на скамейке, положив голову на плечо друга — эти умения помогают очень разным русским выжить. Даже и олигархам. Этот опыт не исчезает. У нас вся страна — страна хиппи. Та же МММ — это чистый аск. Человек попросил денег, ему дали...

— Значит, говоришь, ты был на бабу похож...

— Как я с моим женоподобием не стал пидорасом — просто даже не понимаю. Ко мне ведь в те времена всегда приставали, типа: «А знаете, что Чайковский был пидором?» Гомосеки писали друг другу записки на дверях сортира... Чат сортирных дверей — это совершенно интернетовская вещь. Люди вступали в переписку... Это был прообраз интернета.

Армия

— Интересно, а как ты, хиппи, служил в Советской армии?

— Я тогда был карикатурист, один из отцов-основателей клуба карикатуристов при «МК». Когда Бильжо туда пришел, я уже ушел, — это в 74-м. И служил я художником-оформи-

телем. Причем на восьмой день службы мне по ошибке — еще до принятия присяги — присвоили звание младшего сержанта. Когда через две недели ко мне в армию приехал Вася, у меня уже была своя каморочка, в ней стол и кошка Ксюша. А также ключи от библиотеки, благодаря чему у меня до сих пор полно книг с печатью в/ч 554217. А потом и деньги появились: я до двух тысяч в месяц зарабатывал.

— На распродаже войскового имущества?

— Нет, у меня был подпольный оформительский комбинат. Мы пошли в жестокий демпинг и дали расценки в 25 процентов от фондов, выделенных на оформление колхозных полевых станков. Замполит у меня был на откате, получал 10 процентов. Я, бывало, по 15 000 рэ аккумулировал, такой у меня был стабилизационный фонд. За деньгами друзья ко мне ездили с гражданки.

— А это нравилось твоим командирам?

— Не всегда. Однажды меня наказали посадкой на губу утром 31 декабря. Чтоб я там встретил Новый год. Однако я смог освободиться в 9 вечера. И решил наказать виновных в моей посадке. Я в офицерском буфете скупил все бухло. Ни одной бутылки не оставил. Офицерам пришлось ехать за водкой в Пензу, и они привезли оттуда выпивку — правда, было уже два часа ночи. Пока виновные путешествовали, приличные офицеры, которых мы уважали, выпивали у меня в библиотеке бесплатно.

— Ну это беспредел просто. С твоей стороны.

— Не, не. Я на свои деньги боролся за соблюдение законов! У нас в части шесть человек отказались ехать в Афган, их отдали под суд, устроили показательный процесс. Поскольку деньги у нас были, мы наняли в Москве лучших диссидентских юристов уровня теперешнего Падвы... И ребят оправдали. В присяге ведь было записано: «Выступить на защиту священных рубежей своей родины». (Байка. В присяге «на защиту своей Родины». — И. С.) А за границей мы же не подписывались воевать. До Кушки — куда угодно, но не далее! Правда, потом в тексте присяги вместо «защиты границ» вписали «защиту интересов». Но потом, когда готовилось

вторжение в Польшу, мы, наоборот, стали записываться добровольцами. Мы хотели показать, что второй Чехословакии не будет. У нас в части из восемнадцати мест четырнадцать были заполнены нашими, которые бы не стреляли. По хиппи пошла такая передача, и все пацифисты кинулись записываться в Польшу. Это было б странное вторжение, если б оно состоялось.

Стихосложение

— И вот теперь ты прославился и ведешь наконец жизнь поэта.

— Как у кошки девять жизней, так и я следующую жизнь начинаю поэтом. Стихи — это такая вещь... Для человека, который много лет занимался комбинаторикой... Стихи у меня никогда не были связаны с романтическими увлечениями. Хотя нет — когда я увлекся Леной Березовской, то написал ей стих «Королева и шут», такую веселую балладу... Но все-таки тот случай со стихами для Лены был исключением. Первый хороший стих я написал на смерть моего дружка Сережи Шкаликова. Там есть две строчки, которые легко войдут в русскую поэзию:

Один метр на земле — не расстояние,
метр вниз — значит, нам уже не встретиться.

Я написал, перечитал и понял: это хорошо. И я стал по-другому на все это смотреть. Я осмелел и обнаглел, начал писать экспромты... А так как я люблю дешевую популярность, связанную с алкоголизмом, с компаниями, я стал писать активно. Песню я как-то написал, ее турфирма КМП даже выпустила на диске, «Сиднейская олимпийская»:

Над Сиднеем становится тихо,
мы просрали большую игру,
потому что наш ласковый Миша
отказался ебать кенгуру.

— А кого из поэтов ты ценишь?

— Есть хорошие стихи у Барто, у Маршака... Чуковский — это вообще панк и падонок реальный. То у него паук муху в уголок поволок, то поход зверей на Петроград, то крокодил курит трубку, то Ваня Васильчиков вспарывает животики сабелькой, — жесткий поэт-то. У Чуковского был настоящий наркотический бред: он описал, как посадили туфельку и из нее выросло обувное дерево! Похоже, это был кокаин. Кокаина тогда матросам, чтоб не страшно было убивать людей, выдавали больше, чем они могли употребить, ну и Чуковскому перепадало. Явно из Швеции морем гнали... А вот еще:

— На прививку! Первый класс!
Вы слышали? — Это нас!..

Скажи, что это не наркоманская песня!

Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..

Почему я встал у стенки?
У меня... дрожат коленки...
Ну подумаешь, укол!
Укололи... и пошел...

Там был кокаин, а тут уже похоже на морфий.

— А кто сегодня великий поэт, по твоей версии?

— Не знаю. Я вообще себя с поэтическим цехом не ассоциирую. Но могу рассказать, что мне сегодня нравится. Очень хорошие есть у Иртеньева стихи. Мои стихи могут называть имитацией Иртеньева. Но мы идем к разным выводам в стихах. Есть занятные стихи и Саши Вульха. (Правда, его либретто по Ильфу и Петрову плохое.) Мне нравится Сукачев как поэт. И Бонни Рейд — как певица и поэт. Группа «Ленинград» как поэзия — то есть Шнуров, без всякого сомнения. Нравится Боб Дилан. Люблю как поэта Леонарда Коэна. Dance me to the end of love, — когда я слушаю это, то плачу, у меня

это связано с совершенно конкретной любовью. С девушкой, на которой я хочу жениться. Но, скорей всего, не женюсь.

— Как можно обозначить твою литературную позицию?

— Ну вот есть женские детективы: быдлятина и серость! Это принцип Лёни Голубкова: 5000 раз покажи мою задницу по ТВ, и у нее начнут брать автографы на улице. Пелевин и Акунин — это не литература, это бред, это напечатанная интернетовская графомания и вседозволенность. Но на плохое всегда есть рынок, всегда! И тут появляются эти так называемые подонки. К которым я себя уверенно причисляю. Это — попытка создания реальной литературы. Настоящей, неформальной. Это движение литературного сопротивления. Не зря они так любят не очень мной любимого Че Гевару! Тут нет политики издателя и магазина, нет беспокойства оттого, что это не понравится фирме Mercedes-Benz или Анастасии Волочковой.

— Как у тебя с жаждой славы?

— Тут есть любование своим умением формулировать, которое очень немногим свойственно... Это первое. А второе — это сверхрезкое и лозунговое выражение своих взглядов, иногда в абсурдной форме. Иногда это касается политики и политиков. Мне многие вещи активно не нравятся. И они быстрее передаются от человека к человеку если они: а) смешные и б) честные.

— Коротко выскажись на тему «Поэт и Бог».

— Я себя отношу к малопрактикующим православным. Был сильнопрактикующим — до тех пор пока в церкви, куда я ходил, из алтарников в батюшки не переквалифицировался Иван Охлобыстин... Представить даже на секунду, что я пойду исповедоваться Ване, я не могу.

— Почему?

— Потому что я знаю, какой Ваня человек... Плохой. Он хотел построить церковь для фирмы Smirnoff на спонсорские деньги и меня звал туда служить...

— А его хвалят. Тот же Владимир, епископ Ташкентский и Среднеазиатский мне говорил, что Ваня выше всяких похвал.

— Ну, они его используют. Охлобыстин, засветив лицо на ТВ, стал фигурантом информационного поля. Они используют его для привлечения молодежи для своей этой фабрики звезд.

— А ты можешь не писать?

— У меня с поэзией то же, что с сексом: нравится, но я могу жить без этого месяцами, не чувствуя ущербности.

— Как тебе кажется, что лучше для поэта: чтоб его в юности застрелили на дуэли или чтоб он ходил старенький, тряся и у него слюни капали, как у настоящего классика?

— Думаю, поэтов убивать надо, на хуй, беспощадно. Написал один хороший стих — и убить.

Женщины

— Про тебя говорят, что ты бабник. Да ты и сам себя так позиционируешь. Для поэта это как раз то что нужно?

— «Бабник» — это не совсем точно; оказалось, что я серийно моногамен. Жене я не изменял. Я ушел от нее, как только появились другие отношения. Случалось, у меня было по три женщины в сутки, но ни одной из них я не изменял: они были не параллельны, а последовательны. Но если серьезно, я очень люблю баб и этого не скрываю. Есть люди, которые все деньги воспринимают как свои — а я всех баб как своих. Искренне совершенно. Это все мое стадо. Есть женщины, которые, появившись здесь, помянут пальцем — и я уйду, забыв взять мобильник со стола.

— Вот ты рассказывал про то, как ухаживал за женой Березовского. А с какой целью? Для эпатажа, чтоб создать себе поэтическую биографию?

— Да нет, когда я с ней познакомился, я ж не знал, что она жена. Я когда вижу красивую женщину, то вообще всегда имею намерение. А у нее ж на лбу не написано, что она жена. В клубе «Маяк» мы познакомились. Да, от нее шарахались люди, которые работают в «Коммерсанте» у Березовского (на тот момент хозяина издательского дома), но они ж тоже не признаются, чего шарахаются, стыдно ж в таком признаться. Я подошел и начал знакомиться...

— Как с обычной девушкой.

— Она и есть обычная хорошая девушка.

— А, понял, это когда ты Березе делал избирательную кампанию!

— Нет, самое смешное, что я с Березой познакомился не через Лену. Я когда приехал к нему на дачу, обсуждать его участие в выборах, в комнату заходит Лена (с которой мы два часа назад расстались в «Маяке») и, хлопнув меня по плечу, говорит: «Привет, Орлуша!» И Боря говорит: «Да, похоже, олигарх не ошибся в выборе мастера черного пиара».

— Вот ты написал очень пафосный стих, клеймящий педофилов, — а сам совратил малолетнюю, дочку нашего общего знакомого N.

— Ну, это другое. Никто ж не татуирует возраст на лбу... Девушка выпивает, сидя у меня на коленях — я ж не зверь какой-то... К тому же роман с той дочкой закончился в дофизической фазе... У меня это бывает: ухаживания, цветы, стихи, песни и прочая ерунда — а до физической фазы не доходит. Она необязательна. Другое дело, что у мужчин есть очень неудобная вещь — механическая возбудимость. Поэтому я б запретил бабам ходить по улицам с голым пупком.

— Вот ты говоришь про нефизические романы; а зачем они тебе?

— Это накачивание себя. Я люблю состояние влюбленности. В нем у меня нет тоски и вытья на луну, а есть состояние кайфа. Это достаточно наркотично. Типа амфетамина, назовем это так. Вот и то, что я называю дешевой популярностью. Я могу часами играть с детьми, чтоб они кричали: «Дядя Орлов, ты наш кумир!» Быть маленьким богом для компании детей на даче...

Шизофрения

— И все-таки скажи серьезно: поэт, он что, он как — бросает послание в вечность, чтоб приобрести бессмертие?

— Да нет, я же объяснял, у меня другое: подтвердить статус доминирующего самца в малых женских группах. Вот и всё...

— То, что ты начал self-promotion выходом в интернет — это был просчитанный шаг? Ты же все-таки занимался пиаром и тут, наверно, все продумал.

— Не так. Я просто выложил стихи в интернет, на сайт litprom.com, чтоб они не пропали. Я время от времени лишуюсь (или лишую себя) не только денег, но и вещей, компьютеров... на дисках которых записаны мои тексты. И вот чтоб они не пропали, я их выложил. Я ведь деструктивен...

— А почему — деструктивность? Потому что ты хиппи? Или ты в хиппи попал на почве деструктивности?

— Не знаю... Это у меня просто неуважение к материальному.

— Чисто русская вещь.

— А, как в анекдоте про хрустальные шары?

— Ну типа. Так что твоя деструктивность? Расскажи про нее!

— У меня совершенно нет страха перед отсутствием денег. Мне не нужно положение в обществе. Мне достаточно популярности в узком кругу друзей. Когда я имею успех за столом, в обществе товарищей и незнакомых баб, в мою кровь выплескиваются гормоны удовольствия. Лидерство за столом мне больше нравится, чем деньги. Я и без денег получаю положение доминирующего самца в малой группе. Мне нужно показать, что все бабы мои, и у меня это получается — в том числе в присутствии олигархов. Я принципиально асоциален. Попытки как-то исправить были. К примеру, я когда-то женился — хотел быть как все, ведь надо же, думал я, достигать какого-то социального статуса. А то у тебя что-то не так. Это как у девушки не растет грудь... Но потом страх быть не как все ушел, я понял, что семейная жизнь мне этого ничего не дает. Я развелся. Сейчас Галя, моя бывшая жена, зовет меня в Массандру, расписывать ей снаружи дом. Я всегда мечтал иметь дом в Крыму...

— И теперь твоя мечта частично сбылась, да.

— Да, свой дом — это, кажется, не мое. Я давно заметил: как только начинаю приближаться к формальному успеху, тут же начинаю чувствовать себя неловко. Это что-то странное... У мамы есть легенда про цыгана в нашем роду. Может, именно отсюда моя склонность к эскапизму — я могу вылезть в окно и пропасть на два месяца. Я не люблю получать

письма, не общаюсь с родственниками. Когда-то я думал про себя плохо, а потом понял, что я просто такой и должен себя принять. При этом я отдаю себе отчет в том, что я — пьяница, алкоголик, придурок и бабник. Да, думаю, что я алкоголик и шизофреник; мне нравится такой диагноз. Вполне возможно, что у Достоевского и у меня — один и тот же ген шизофрении. Почему я поставил себе именно такой диагноз? Потому что я совершенно точно ненормальный, но, с другой стороны, у меня нет мании преследования, нет суицидальности. У меня всегда хорошее настроение, независимо от того, ночую ли я в отеле Martinez в Cannes — или на автовокзале в Ялте. А что у меня нет Audi-8, как у других, — так это мне по херу. Я вообще достаточно удобно с собой живу. Я не считаю отрицательными качествами то, что я не умею водить машину, что я курю, пью, что я не всегда обязателен. Эйнштейн был рассеянным и не всегда узнавал свою секретаршу. А Орлов пропил мозги и [тоже] не узнает свою секретаршу. Я считаю себя одним из великих людей своего времени, и у меня есть тому доказательства... Это не мания величия, а некое осознание своей уникальности, как бы глупо и по-хамски это не звучало.

— Ну а что? Ты вот прославился как поэт.

— Странно, почему ты меня называешь поэтом? Потому что я пишу стихи? Если б я хотел быть поэтом, то лег бы на сайт «Русская поэзия точка ру». Я не поэт, я падонок, который пишет стихи. В свое время я обманул «МК», и все тогда подумали, что я журналист. Потом я обманул рекламный рынок, и меня считали рекламщиком... Я в фильмах «Афера» и «Блеф» ассоциирую себя не с ментами, а с аферистами. Это, в принципе, всё аферы. Сварщик я не настоящий, журналист не настоящий, и при этом... Понимаешь, какая история: я не был мушкетером, но фехтовал лучше д'Артаньяна...

ВИКТОР ПЕЛЕВИН:
«Нужно всего 2000 иероглифов»

Его книжки — популярные и в то же время неглупые. Это редкость. Вот за что я люблю этого автора. Я давно заготовил начало текста про Пелевина. Оно такое: «Встречаемся мы с Пелевиным, и я говорю: “Вот, Витя, смотри. Я — член Союза писателей. А ты кто?” Пелевин отвечает: “...”».

Мне казалось, что б он ни сказал — все будет хорошо. Ответ будет точно ведь неожиданный. Так оно и вышло. Встретились мы как-то, я выдаю ему эту домашнюю заготовку. Далее по тексту, «Пелевин отвечает»:

— А у меня тоже ксива есть, ну такая зеленая — Международный союз журналистов.

Красивый ответ! Мне оставалось только умыться, удивиться, отчего ж у меня нет такой зеленой ксивы, от которой даже реальная польза есть, по всему миру с ней в музеи бесплатно пускают — из нас двоих это же я журналист! Журналист, который, кстати, хочет взять интервью...

Виктор Петрович умер, а Виктор Олегович жив

Пелевин не любит давать интервью, и фотографироваться тоже не любит, — когда этого от него хотят в России. А на Западе, откуда идут основные гонорары, ему приходится подчиняться правилам раскрутки и, хочешь не хочешь, пиарить себя. Но то ж на Западе! А когда я в России достал диктофон, он страшно огорчился. Даже смотреть на меня не мог. Не говоря уже про ответы в диктофон. Так что это не интервью, мы просто говорили о разном.

Второй вопрос у меня был тоже простенький. Дело было в первых числах декабря 2001-го, неделю спустя после похорон в Овсянке и траура в Красноярском крае, так что я спросил:

— Вот — умер Астафьев; ты что на это скажешь?

— Что я скажу? — он, может, сразу б принялся отвечать, но перед нами как раз встала официантка с блокнотиком, и молчит, и смотрит. — Я скажу: безалкогольное пиво!

Девчонка записала, потом посмотрела на меня, и я сказал свои слова, которые страшно противоречили пелевинским:

— А мне — алкогольное, более того — нефильТРованное!

Она ушла за пивом. На чем мы остановились? Ах да, на Астафьеве. Пелевин вернулся к теме:

— Так он, значит, умер? Я не знал... Да я, кажется, ничего у него и не читал. Меня не очень интересует эта сторона жизни. Правда, я слышал, что он закончил сильную книжку — «Прокляты и убиты». Но я ее не читал...

Ну, в таких случаях никогда не знаешь наверняка, точно человек не слышал и не читал — или это игра. Вот меня, к примеру, один знакомый обвинял в лицемерии, когда я говорил, что не слышал про группу «Стрелки» (там девушки поют). Он думал, что я «Стрелок» тайком слушаю, но стыжусь признаться. Но тут что мне было делать? Объяснять русским классикам, как им друг к другу относиться, тем более когда один из них на днях помер? Нет, конечно... Я только сказал, что меня задела астафьевские слова про то, что русского народа больше нет, а есть только быдло.

— А что, разве он есть? — откликнулся на это Пелевин.

Я молчал. Было странно, что два знаменитых русских писателя, идя с разных точек каждый в свою индивидуальную неповторимую сторону, пришли к одному выводу... Встретились, короче. Хотя шли вроде в разные стороны.

Воздержание

Принесли нашего такого разного пива. Я пил свое, нефильТРованное, смотрел на Пелевина и думал. Он стал другой в последние годы. Он был раньше весь такой brutальный, телесный, небритый, задиристый. Бывало, придя с утра куда в присутственное место, в издательство какое-нибудь, требовал водки; слали секретаршу, она, одна нога тут, другая там, несла, и он выпивал стакан и смотрел соколом. Некоторые наши с ним общие едва знакомые девушки клялись, что он, выпивши, настойчиво предлагал им заняться сексом немедленно. Может, ввали? Желая

примазаться к чужой славе? Типа — сам Пелевин, такой модный и знаменитый, лично уделил им внимание? Типа непростые они девушки?

Теперь писатель вместо водки с той же настойчивостью просит — не требует уже — чаю. Если есть хороший, зеленый, из самого Китая, да в глиняном чайничке, — берет. А нет, так он заказывает чайник кипятку и насыпает туда сухих черно-зеленых листиков из маленькой баночки, которую обыкновенно носит в кармане китайского френча. Чай — не водка, его приносить с собой и распивать разрешается...

Вообще связь выпивки с творчеством, особенно с литературой, тем более русской, — тема страшной важности. Тут не отмолчишься. Пелевин говорит, что уж года три не пьет. Я усомнился, мне казалось, что три года — слишком долго, что я вроде бы видел его с водочным стаканом в руке ну года два назад. Он подумал и уточнил — да, скорей два. Так что третий мой вопрос был про воздержание от алкоголя.

— Но как же это так стало возможно? — удивлялся я. — Я вот однажды целых два месяца не пил, так под конец уж совсем утратил интерес к жизни... И мне ничего другого не оставалось, как снова предаться этому пороку.

Но Пелевину было не смешно. Хотя он согласился, что все удовольствия у нас часто так или иначе связаны как раз с принятием алкоголя. И рассказал мне про хитрый механизм, который работает в мозгах. Там циклы какие-то замыкаются в голове, причем с участием водки — и радостные эмоции гоняются по замкнутому циклу без какой бы то ни было зависимости от успехов или неудач во внешнем мире. А если долго, три месяца или полгода, не пить, этот порочный круг разрывается. Все меняется! И можно просто от музыки получить столько же приятных чувств, сколько способна дать бутылка водки.

Четвертый мой к нему вопрос был тоже простой, ясный, неизбежный. Ведь пять лет, до «Диалектики переходного периода», Пелевин не издавал новых книжек. Выходили только переиздания старых вещей, правда одно за другим, в разных сочетаниях, под разными обложками, — чтоб люди это бра-

ли как новое. И в этом большой смысл — по моим догадкам и наблюдениям, из десяти купленных или полученных в подарок книг люди читают едва ли две-три. Таким образом легко предположить, что у кого-то полшкафа занято старыми пелевинскими книжками, и владелец не догадывается, что это всё переиздания старья. Так вот мой вопрос был про причины этого долгого пелевинского молчания.

— Я собирался в 2001 году закончить роман, но кто ж знал, что будет 11 сентября? А у меня там как раз два одинаковых дома взрывались, причем именно в Америке... Ну, я его и отложил.

Причина вроде уважительная... Но я знал уже от знакомых издателей, что девять из каждых десяти писателей, которые сорвали сроки сдачи книжек, ссылаются на то, что в своих текстах предсказали исламскую атаку на Twin Towers. И типа когда атака таки случилась, пришлось заново все переделывать. А что, красиво! Но лично мне отчего-то кажется, что русская водка (или другой точно такой же русский народный напиток виски) имеет к молчанию больше отношения, чем заморские небоскребы. То ли он книжек больше не пишет, оттого что пить бросил. То ли, наоборот, бросил пить, оттого что не пишется... Ведь водка, если ее пить или, напротив, не пить, меняет химический состав крови и, значит, всего организма. Мозги становятся другими! И мысли в них другие. Можно изменить если не все, то очень многое в жизни, изменив состав раствора внутри себя.

The medium is the message

Что важнее — автор или его книжки? Простенький уход Льва Николаича из Ясной Поляны привлек гораздо больше внимания мировой общественности, чем все его книжки вместе взятые, которые, честно говоря, толком и не читал никто. Солженицын, как фигура, куда масштабней своих книжек. Да вот и Астафьев, будем откровенны, интересен больше как солдат, который умирал в окопах, да не умер, а после до самой смерти говорил правду и никому не продался. Книжки его мало кто читает, но жизнь его незамеченной не прошла.

Некоторые думают, что Виктор Пелевин (родился в 1962 г.) — коллективный псевдоним, наркоман и даже женщина. Сам он считает себя мужчиной и иногда рассказывает, что вырос в Долгопрудном и любил там драться с физтеховскими, — впятером против двоих. Судя по другим интервью, Пелевин вырос не в Подмоскowie, но на Тверском бульваре, «около ТАССа», и учился в 31-й школе на улице Станиславского — вместе с Михаилом Ефремовым и Антоном Табаковым, причем последний приносил покурить бычки от отцовского Winston'a.

Пелевин окончил МЭИ (электромеханик) и Литинститут, где семинары у него вел Лобанов Михаил Петрович. Служил в армии (авиация). Рядовым или офицером — не установлено.

Печатается с 1989 года. Первая публикация — сказка «Колдун Игнат и люди», журнал «Химия и жизнь». В 93-м получил малого «Букера» за сборник рассказов «Синий фонарь», в предисловии к которому был назван «новым Борхесом». Между прочим, одним из членов букеровского жюри тогда был Булат Окуджава, который проголосовал «за», — типа в гроб сходя, благословил. А книжки купил на свои деньги и этим вот членам раздал, как известно, один из них — Александр Генис, которому «Синий фонарь» порекомендовала Юля Латынина, на тот момент маленькая девочка. (Подробнее см. главу про Гениса в этой же книжке.)

В 97-м Пелевин чуть не получил большого «Букера» за «Чапаева и пустоту». В 98-м New Yorker (для которого его снимал сам Аведон) вставил его в шестерку лучших молодых писателей всея Европы. Про Пелевина писали, что «он сам себе направление, течение, серапионов брат и зеленая лампа». Виктор Ерофеев однажды сказал, что никакого литературного поколения нет, а есть один Пелевин. Сам он секрет своей популярности считает нехитрым: дело всего лишь в том, что он пишет «занимательные книги».

Послушать Пелевина, так «Карлос Кастанеда — лучший писатель XX века, если оставить в стороне вопрос о реаль-

ности дона Хуана». Он сильно сомневается, что заимствовал у этого писателя века идеи — «сложно объявить себя собственником идеи». Кстати, где-то мелькнула версия: «То, что нигде нет его интервью и фотографий, всего лишь часть имиджа, эдакого подражания Кастанеде».

Вот портрет Пелевина работы Вознесенского: «На тусовке в “Вагриусе” у него была типичная внешность призрака — коренастый, коротко стриженный, в очках. Таясь от публики, он играет тезис Ролана Барта — мол, писатель умер». Хотя не так уж он и таится — мы Пелевина куда лучше знаем, чем Кастанеду.

Свои переключки с Булгаковым Виктор Олегович считает случайными: «Просто “Мастер и Маргарита”, как любой гипертекст, обладает таким качеством, что сложно написать что-либо приличное, что не походило бы на “Мастера и Маргариту”». Притом что «вообще в русской литературе было очень много традиций, и, куда ни плюнь, обязательно какую-нибудь продолжишь».

Пелевин уверяет, что не читает журналов и не смотрит ТВ, у него даже антенны нет — только видак. По телефону якобы тоже не говорит, но мобила у него все-таки есть. А машины нет, ездит на метро — и на чайниках. В метро всегда читает «Московский комсомолец». Любит говорить на фене: ведь «в речи братков есть невероятная сила, потому что за каждым поворотом их базара реально мерцают жизнь и смерть... русский язык, захиревший в речи интеллигентов, воскрес в блатном базаре». Он часто возвращается к этой теме.

Вот еще мощный пример: «...логос устал “храниться”, устал преть во рту бессильного интеллигента — и возродился в языке сражающихся демонов... на их языке очень интересно формулировать метафизические истины — они оживают. Например, можно сказать, что Будда — это ум, который развел все то, что его грузило, и слил все то, что хотело его развести».

Политика, наркотики, секс

Пелевина однажды спросили: «Как вы относитесь к нашим нынешним политикам и ко всей этой чехарде с постоянными сменами премьеров?» Он тогда метко ответил: «А о том, что творится с правительством, подробно написано во второй части “Generation П”. Кстати, даже поражает, насколько всё совпадает с текстом — такое ощущение, что его используют как сценарий». В самом деле: если писатель Толстая, говорят, пишет речи министрам, почему и писателю Пелевину тоже не подрабатывать сочинением каких-нибудь сценариев — для того же самого правительства? Чего-то же хотят наши начальники, чего-то ожидают, когда зовут русскую литературу на казенную службу — вкуса, стиля, а может, просто гениальных озарений, предвидения, банального предсказания будущего? И кстати, это все — почему бы и нет.

Что касается политики, то он «всё про нее понял уже». Вот его сравнение нашей политики с иностранной: «Как-то я спросил одного шведа: “Какая у вас в Швеции национальная идея?” Он пожал плечами и ответил: “Живут люди”. Пока наши начальники не допрут до похожей национальной идеи, нас всегда будет кидать из оврага в овраг». Он точно знает, что этим миром «правит не тайная ложа, но явная лажа». Про олигархов Пелевин понял и высказался раньше всех: «Если ситуация будет развиваться так же, кончится тем, что Березовский приватизирует время, а Гусинский — пространство, и все кончится всеобщим коллапсом». Похоже, в Кремле к писателю прислушались: вселенского коллапса российская власть, видите, не допустила.

Пелевин часто утверждает, что он не наркоман. А тему не обходит потому, что наркотики — часть культуры. Но откуда-то знает, что «под ЛСД совершенно другая скорость, и для фиксации того, что происходит под ЛСД, нужны другие носители информации. Лучше подходит диктофон». Еще одно его наблюдение: «Не очень понятно, кто кого употребляет — ты ЛСД или ЛСД тебя». Всякий раз, как речь заходит о наркотиках, Пелевин начинает агитировать за здоровый образ жизни: «Большинство моих друзей да и я сам давно поняли, что

самый сильный психоделик — это так называемый чистяк, то есть трезвый и достаточно дисциплинированный образ жизни. Тогда при некоторой подготовке снимается проблема непримиримого противоречия между трипом и социальной реальностью». Вообще Пелевин умеет говорить вещи и правильные, и нескучные одновременно.

В отличие от наркотиков секса в его книгах мало — потому что его «очень много в жизни... Чтоб какой-то баланс был». От вопросов на религиозную тему Пелевину «делается неловко. Приходится говорить о божественном, а я вчера водку пил с девушками. Как-то неудобно». Однажды вот так на досуге ему подлили клофелина, после которого он очнулся в «Склифе» — и там врачам удалось его вывести из комы, которая тянулась 16 часов. Он и сам признавался: «Если же говорить о моих действительных недостатках, то я, к сожалению, иногда злоупотребляю алкоголем». Одна девушка написала после похода с Пелевиным в ресторан, что взгляд его не теряет цепкости, даже когда писатель плохо держится на ногах; впрочем, это было давно, летом 1999-го.

О девушках, их красоте и отношениях с ними он вообще говорит убедительно: «Когда красивые девушки думают, что ты умный, они быстрее раздеваются». «Мне кажется, что когда красивая девушка одевается в красивые вещи, она ждет, что ее просто повалят на пол». Еще про это: «Девушки, которых я недотраhal, слали факсы». А одной он сказал: «Какой бы у тебя ни был органайзер, в нем никогда не напишешь: в четверг с одиннадцати до двенадцати — счастье».

Стрижется он коротко, почти наголо, — научился этому в буддийских монастырях в Корее, куда любит ездить. Он «не до конца уверен, что это правильный поступок — здесь родиться в форме человека». «Человек слишком мимолетное существо, чтобы составлять хоть сколько-нибудь серьезные планы или, тем более, заговоры». «Мы в России находимся в состоянии хаоса, и это снимает с нас многие обязательства, которые висят на человеке в нормальном стабильном обществе... У нас есть свобода самоидентификации, чего западный человек лишен». «Очень хороший процесс — потеря координат. Потому что в конце концов человек приходит

к тому, что единственная система координат — это он сам». Впрочем: «Надеюсь, что меня в этом нельзя обвинить», — отвечает он, когда его обзывают гуру.

Литературоведение-1: про Пелевина

Пелевина в полный рост исследуют серьезные критики типа Гениса, Роднянской, Немзера и т. п. Вот забавные мнения разных авторов.

...Обычная для пелевинских книг судьба — мгновенный успех у читателя и бешеный отпор критиков... После чтения Пелевина не остается мучительных вопросов типа «что автор хотел сказать». ...Пелевин ссылается на Набокова, который сказал, что и у вдохновения есть три составляющие: лень, похоть и тщеславие, и цитирует ахматовское: «Когда б вы знали, из какого сора...»

...Американская критика обходится с Пелевиным куда лучше отечественной. В Америке его сравнивают не только с Булгаковым и Довлатовым, но и с автором легендарной «Уловки-22» Джозефом Хеллером.

...Считают, что он пишет сатиру, но скорее это — басня.

...Представьте себе читателя «Мастера и Маргариты», не только не знающего, но и не желающего ничего знать о христианстве. Абсурд! Однако именно это произошло с пелевинским «Чапаевым».

...Пелевин, взяв фольклорные фигуры «чапаевского цикла» анекдотов, превратил их в персонажей буддийской притчи.

...Советская власть служит ему таким же исходным материалом, как Троя Гомеру или Дублин — Джойсу.

...В поздних фильмах Феллини самое интересное происходит в глубине кадра — действия на переднем и заднем плане развиваются независимо друг от друга. К такому же приему, требующему от читателя повышенной читательской алертности, прибегает и Пелевин. Важная странность его прозы заключается в том, что он упрямо вытесняет на повествовательную периферию центральную идею, концептуальную квинтэссенцию своих произведений. Обо всем по-настоящему серьезном

здесь говорится вскользь. Смысл происходящего раскрывается всегда неожиданно, невпопад. Наиболее существенные мысли доносят репродуктор на стене, обрывок армейской газеты, цитата из пропагандистской листовки, речь парторга на собрании. Так, в рассказе «Вести из Непала» заводской репродуктор бодрым комсомольским языком пересказывает тибетскую «Книгу мертвых»: «Современная наука установила, что сущностью греха является забвение Бога, а сущностью воздушных мытарств является бесконечное движение по суживающейся спирали к точке подлинной смерти. Умереть не так просто, как это кажется кое-кому...»

...Владимир Орлов, автор «Альтиста Данилова», еще до того как широкие слои российской интеллигенции познакомились с Андреевым и Кастанедой, вспомнил о Данте и построил свой многоэтажный демонический мир, называемый «Девятью слоями».

...Телеведущий Соловьев как-то сказал, что некто может нечто совершить «накурившись наркотиков или начитавшись Пелевина».

...Наркотики освобождают подсознание от цензуры рассудка и порождают неконтролируемый поток образов. У Пелевина ни о какой бесконтрольности не может быть речи. Всякий образ у него имеет литературный источник, а всякая связь образов продуманно концептуальна.

...Читая Пелевина, мы ощущаем рядом с собой четко действующий рассудок, который нанизывает на логичные схемы притчи, аллегории и якобы галлюцинаторные образы. Сочетание галлюцинаций, снов и трезвого рассудка чрезвычайно роднит Пелевина с Гессе — вообще надо заметить, что композиция последних романов Пелевина немного напоминает произведения Гессе, особенно «Степного волка».

...Пелевин, Акунин и Мураками успешно заполняют «лакуну» между серьезной и массовой литературой.

...Грубо говоря, место, занимаемое Пелевиным в современной русской литературе, сопоставимо с тем, которое принадлежит Мураками в литературе сегодняшней Японии. Оба они являются посредниками, перекидывающими мостик через пропасть, разделяющую серьезную и массовую литературу.

...очевидно, что структура романа Мураками сходна с композицией пелевинского «Чапаева и Пустоты». В романе Пелевина точно так же имеются два мира, чередующиеся по главам. Сходство между романами является, конечно же, случайным. Пелевин никоим образом не мог прочитать роман Мураками перед написанием «Чапаева и Пустоты», поскольку этот роман Мураками никогда не переводился на русский язык (а на известный Пелевину английский? Да вдруг он на досуге и японский выучил, почему нет? — *И. С.*). Однако совпадение между ними остается весьма примечательным, потому что оно указывает на общность позиций и предпочтений авторов. Они оба испытывают интерес к описанию параллельных миров, этому излюбленному средству жанра фэнтези.

...В своем эссе, написанном для японского литературного журнала «Синтё», Пелевин рассказывает об одной необычной игре, в которую ему случалось играть в юности: надо было придумывать японские стихотворения на русском языке, выдавая их за перевод с японских оригиналов, которых в действительности просто не существовало. Такая постмодернистская игра характерна для творчества Пелевина в целом.

...В эпоху разложения какого-нибудь жанра он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин wpłyвает в центр новое явление (это и есть явление «канонизации младших жанров, о котором говорит Виктор Шкловский»). Так стал бульварным авантюрный роман, так становится сейчас бульварною психологическая повесть.

(Последняя цитата — из статьи Юрия Тынянова «Литературный факт», которую кто-то из критиков процитировал в связи с Пелевиным.)

Литературоведение-2: сам Пелевин

...Это книга о поколении, которое думало, что выбирало пепси, а на самом деле выбрало пиздец.

...По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь

они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее. Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы SS просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии. ...стоило ли менять империю зла на банановую республику зла, которая импортирует бананы из Финляндии.

...Антирусский заговор, безусловно, существует — проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России.

...Маскульт — это и есть Большая Культура, хотим мы этого или нет.

...Если возникают сомнения в том, существуешь ли ты реально, можно провести несколько простых экспериментов. Например, сесть на гвоздь или на горячую конфорку плиты.

...Я еще не настолько ошизел, чтобы иметь какое-то отношение к христианству.

...если ты понимаешь, что какая-то книга оказала на тебя влияние, то сам факт этого понимания это влияние нейтрализует.

...мне нравится песня про «я сам себе и небо, и луна».

...Hарру end — самое хорошее, что только может быть в литературе и в жизни. В принципе, у меня есть устойчивое стремление к harру end'у. Тексты, которые я пишу, очень воздействуют на мою жизнь, и иногда возникает желание написать роман про умного и доброго миллионера, который живет на Багамских островах.

...Хорошо было бы научиться превращаться в джип Cherokee, чтобы тебя каждый день продавали в Южном порту, а ночью ты тихо линял бы со стоянки. Потом можно было бы написать об этом новую русскую сказку.

...Я однажды попробовал сделать коммерческую книгу, типа детектива. И на 120-й странице у меня вирус срубил компьютер.

...Меня недавно потрясла фраза — женщина закончила матерную тираду словами «да отъебитесь вы от меня на три хуя».

...Есть такая фирма «Gap». Я им придумал рекламу для их русских магазинов: «Russia was always notorious for the gap between culture and civilization. Now there is no culture and no civilization. The only thing that remains is gap — your style». Это что касается европейского мышления и азиатского образа жизни.

...Если начинают наезжать виртуальные персонажи, есть два варианта — можно выключить компьютер, можно обратиться к психиатру.

Этимология (происхождение мастера)

Само слово Пелевин — что значит? Красиво про это сказал Андрей Вознесенский: «Пелевин — пленки компьютерного подсознания. Мне интересно, когда он пленгует нашу ирреальность...»

По мне же, на слух тут сразу π -Левин, виртуальное, как он сам любит, число — 3,14 с чем-то, и к этому математическому коэффициенту совершенно в постмодернистском духе прилеплен персонаж из «Карениной», второе «я» самого Льва Толстого. Ну разве не красота? Как я люблю эту чистую, бескорыстную и, скорей всего, случайную игру слов и букв! Но это еще не всё... Еще слово вроде отдает и высокой лексикой, тут слышатся — и не зря — «плевелы». Не зря потому, что библейское это «плевелы», которое пермские крестьяне запросто употребляют в своем быту — точнейший синоним словечка из южного диалекта — «пелева», то бишь, по Далю, «обоина зернового хлеба, при обмолоте, лузга, шелуха и все части колоса, измельченные молотью, что остается за ворохом, по отвейке зерна. Пеловый хлеб, мякинный, плохо отвеянный. Пелевный корм. Пелевня — сарай для мелкого скотского корму». Тонкие ценители могут порадоваться; смотрите, плевелы и шелуха — это русские народные проявления любимой Пелевиным пустоты, «Чапаева и Пустоты», буддизма с его симпатичной пустотой же.

«Он живет в разговорах с Богом»

Я Виктору Олеговичу в глаза говорил все, что о нем думаю:

— Мне нравятся, честно, твои книги! Вот только «Чапаева» я не понял.

— Да я и сам там не понял толком всего... — утешает он меня.

— Но вот «Жизнь насекомых» меня порадовала. Муха Наташа — она просто прекрасная!

Он не отвечает, молчит...

Лично мне приятно, что Пелевин могуч и славен, значит — притом что он не модель, не телеведущий, и даже не Марго из-за стекла, и не персонаж «Дома-2», и не — хуже того — Дима Билан, наконец! Почему это так на меня действует? Может, я просто радуюсь за изящную словесность? Или тому, что игра ума может быть интересна широкой публике? Все-таки хорошо, что есть русский писатель, которым зачитываются и школяры, и олигархи, и иностранцы от французов (прекрасно они назвали его «Чапаева» — «Глиняный пулемет») до китайцев, — пусть даже и в переводе. Я даже этим немного горжусь в рамках русской традиции, по которой наш брат хвастает заслугами посторонних людей. Я и личным знакомством с Виктором Пеленягрэ тоже горжусь: он своими текстами типа «Как упоительны в России вечера» и «Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой» поднял на небывалую высоту имидж и роль нового русского поэта — как Пелевин дал всем понять, что русский писатель может и сегодня быть модным, счастливым, богатым и плевать он хотел на то, что о нем думает публика. Это же прекрасно, господа! Все мы, кто б мы ни были и откуда, принадлежим к русскоязычной культуре. Поднимая ее, Пелевин как бы и нас чуть поднимает.

...Вместо задиристости, задора, стиля наезда — в нем теперь скромность, деликатность, даже, пардон, незаметность какая-то. Он славится теперь и тем, что молчалив. Может, это свидетельство просветленности? Он правда мало теперь говорит! Мне кажется, это правильно, что есть люди, которые говорят мало и редко, причем так, что их слова ловят,

запоминают и передают после по цепи. Так было с его словами насчет проданного времени, которые он при мне сказал однажды. Причем в три приема, между заходами в парилку. Сперва он обронил: «Я телевизор вообще не смотрю». Сказал эти странные слова, надел банную войлочную шапку и ушел, голый, в парилку. Вернулся — сел за стол, где народ пил водку и пиво, налил себе нарзану. Все замолкли, и он сказал, продолжая мысль так, будто все запомнили, на каком полуслове он вышел. Да точно запомнили, потому что все сразу въехали, что это именно продолжение. Он сказал: «Потому не смотрю, что там реклама, то есть они время продают». Посидел еще, снова сходил в парилку, вернулся, весь красный, и дослал свой файл: «Время-то они мое продают, вот я и не смотрю». И ведь точно сказал, и красиво — время, которое рекламщики продают, оно наше ведь! А деньги за него берут они... (Я тут сам себе кажусь летописцем, который ходит за гуру хвостом и записывает его афоризмы; а что, забавная, любопытная роль, это мне не кажется пустой тратой времени.)

Да... Бывает как? Сидит компания, люди пьют водку или, скажем, Chivas Regal, спорят, орут, перебивают собеседников, пытаются привлечь к себе внимание, как это бывает на дружеских попойках, — а Виктор Олегович сидит тихо в уголке, молчит, к беседе не прислушивается, пьет чай, минералку либо же, в крайнем случае, безалкогольное пиво — и смотрит в одну точку, может думает, — а после берет свою маленькую раскладную мобилу и туда тихо что-то наговаривает. Однажды я такое подсмотрел в самолете, на 10-километровой высоте, где мобила брать вроде не должна. Возможно, там, в телефонном аппарате, была функция цифровой записи. Но это только одна версия. Есть же и другая, мне ее подкинул банкир Авен, который про Пелевина сказал буквально следующее: «Он какие-то волны получает от Бога. ...он живет в разговорах с Богом и озвучивает то, что услышал». Я это процитировал в газете. Но Пелевин говорит, что ее не читал. Я ткнул пальцем в эти строчки, он прочел; кажется, ему было приятно. Газету я ему отдал, — он взял.

А что, правда же любопытное мнение... Бог знает (простите за невольный каламбур), с кем это Пелевин беседует в зоне недосягаемости, в которую мы ж вроде одновременно с ним вошли, поднявшись над Шереметьево... Лично мне приятно покупать и даже читать книги человека, про которого не фанаты в подъездах, но солидные люди говорят и думают такое.

Белая кожа, узкие глаза: Евразия

...Таки он точно теперь другой: похудевший, немного высохший, он как бы даже и ростом стал поменьше, да и пожелтевший — как будто от интереса к Востоку и частых туда поездок.

Я, глядя на Пелевина, рассматривая его, вдруг понял, что такое Евразия, что такое это срединное положение России. Это нас, а не Китай надо бы по-хорошему обозначать иероглифом, который неотличим от нашей буквы «Ф»; это значит — срединная империя, прямоугольник — это Вселенная, а поперечная риска означает средину. Это мы — срединные, а не китайцы! Так вот что я понял: в нас таки точно главное — то, что мы между Европой и Азией. В Европе — белые люди с круглыми глазами. В Азии — желтые раскосые аборигены. Кажется, нигде больше и нет таких людей, каких много у нас: кожа — белая, а глаза — раскосые... Нигде больше!

Всмотритесь в эту яркую вопиющую узкоглазость! Первый, с нашего современного края русскоязычной словесности — Пелевин! Навскидку вот вам еще пара литературных громких имен: Вампилов, Шукшин, Распутин... Да хоть и тот же Слава Курицын. И — «Остапа понесло» — Пеленягрэ, про которого была уже речь. Дальше вы сами можете играть в эту игру и прикидывать по памяти, а достаточно ли узкоглазы, к примеру Достоевский и Толстой, чтоб их всунуть в нашу концепцию. Странно думать, что именно узкоглазые с белой кожей определяют сегодня лицо великой и могучей русской литературы... Вот оно такое: круглое, раскосое, заметно испитое, но в то же время и изнуренное воздержанием и борьбой с собой...

Их пожирает Восток

Пелевин напомнил мне Сэлинджера, про которого недавно вышли две книжки. Одну написала бывшая любовница, другую — дочка. Там много похожего! Раннее писательство, оглушительный успех, ненависть к интервью, буддизм, уход, уединение, суровое, безжалостное вегетарианство, легкое мессианство... Вот странно, отчего у нас, когда люди впадают в глубокую религиозность, они не обращаются к конфессии предков? В православии тоже ведь есть суровый путь, самоистязание, поиск истины, и достаточно много времени отводится для поедания морковок... Но только есть еще и золотые купола, и масленица, и чертогон, и ряженые, в общем, и весело бывает! Так отчего же? Нет ответа...

Восток, уход — это полдороги к смерти и забвению, это типа тюрьмы и эмиграции: вроде вот только что был человек, да он как бы и есть, продолжает быть, но только не для нас, а для себя одного и своих странных, чужих для нас идей. Чисто оборотень! Такие люди, побыв с нами, вдруг с чего-то перекидываются в восточные дела и постепенно становятся все более непонятными, все более чужими, они сохнут день ото дня, желтеют, как будто даже уменьшаются, — и часто вскоре куда-то деваются. Немало уж таких сгнуло, потерялось где-то на чужбине. Хотят люди ухода от суетности, желают покоя, уединения и чтоб интервью у них не брали, — и получают желаемое, и исчезают, и забываются...

Но это все в будущем, — в их будущем, в их идеале. Пока же у нас с ними все в порядке.

Застольная беседа

Мы снова сидим в ресторане. Нас четверо. Трое заказывают водку, селедку и далее в таком же духе. И только один Пелевин говорит свое, ни на кого не похожее:

— Мне, пожалуйста, чаю и фруктов. Порежьте разных фруктов, какие у вас есть, и на тарелке подайте.

Официантка смеется в ответ, негромко, необидно. И заказ записывает себе в блокнотик. Но мэтр обиделся. Тихим, но недовольным голосом он отчитывает девицу:

— Ну чего вы смеетесь? Что тут смешного? А если б я заказал шесть бутылок водки, вы б не смеялись, да? Или если б я заказал язык, вырубленный из мертвой коровы, вы б тоже не смеялись? А когда я попросил принести нормальной здоровой еды, сделанной не из трупов, вы смеетесь!

Она, пробормотав какие-то извинения, уходит. Он не может успокоиться и продолжает, уже в развитие темы:

— Вот некоторые мяса не едят, а едят рыбу — но какая ж разница? Это лицемерие, и всё...

С чего-то заговорили про одного знакомого, он писатель. Виктор сказал:

— У него почти все силы уходят на имидж. Все эти платочки, пиджачки... Он старается как-то выглядеть, потому и пишет мало.

— А ты? — спросил я. — Вон у тебя френч китайский, это не имидж, что ли?

— Нет! Не имидж. Это просто потому что удобно!

И точно удобно! Под френчем можно легко вместо рубашки с галстуком носить майку — да хоть такую, как у Пелевина, черную, с нарисованным драконом. Да и сшит френч замечательно. На это у писателя есть достойный ответ:

— Так это я в мастерской взял, где для членов Политбюро пошивали! Вот видишь?

Он оттягивает ворот, и я вижу лейбл с иероглифами и еще латиницей: *Vaihui*. Легко запомнить — «купи хер». Воротник спереди застегивается маленьким металлическим крючком. А изнутри есть еще мелкие пуговики.

— Это еще для чего?

— Как для чего? Это для подворотничка! Я, правда, сегодня без него, запросто; это ничего?

Вот оно как поворачивает! А ведь раньше Пелевин одевался в модных лондонских кварталах... Видите, растет человек над собой!

Вспоминаем любимый Китай, в котором мы с ним бываем порознь, в разных местах. Я — в курортных отелях и на приемах в обкомах партии, где в президиумах под красными транспарантами сидят бонзы, а под конец официального мероприятия туда подгоняют стайку девиц с белыми сумочками, в которые легко влезет десяток презервативов, — видно, это cheer team из обкома комсомола. Пелевин же проводит время, к примеру в Пекине, где в парикмахерских сидят у стенки массажистки, которые могут оказать клиенту услугу в задней комнате, так называемой массажной. Но в основном он посещает монастыри...

Китай он любит больше, чем я, — даже собирается учить китайский, да уже и учит.

— Да ну, поздно! У нас мозги уже затвердевшие.

— У меня — нормальные... Да там и нужно-то всего 2000 иероглифов!

Напоследок вот вам рецепт его любимого блюда: «Берется банка лосося, майонез, нарезаются два яблока на мелкие кусочки и все это смешивается. Можно добавить рис или картошку». Рис — это Восток, тонкость и т. д. А картошка — это русское, простое, как у всех...

Примечание

Я перед публикацией послал Пелевину этот текст, — вдруг он что-то захочет исправить. Он прислал ответ:

...хочу кое-что уточнить. В романе, который я сейчас пишу, действительно происходит взрыв двух одинаковых зданий, хоть и не в Америке. И поэтому события 11 сентября напугали меня вдвойне. Но я отложил работу над романом не только по этой причине, а еще и потому, что занят сейчас другим проектом. Кроме того, ты почему-то считаешь меня богатым. Это, к сожалению, большое преувеличение, хотя в любой другой стране мира автор, продавший миллион и больше книг, становится весьма состоятельным человеком. То, что этого не произошло со мной, кажется мне еще одним свидетельством

уникальности исторического пути России — во всяком случае, той ее части, к которой приписан я. Из твоих слов можно сделать вывод, что я вместе с покойным Астафьевым считаю русский народ быдлом. Это не так. Мне вообще не свойственно делить людей по национальному признаку — для меня важнее другие их свойства и качества. Кроме того, досадная оплошность прокралась в описание моего любимого блюда. Я не ем майонеза и избегаю консервов. На самом деле из еды и напитков мне больше всего нравится свежая июньская черешня и бирюзовый чай «Те Гуаньинь № 742».

Харе Кришна, Виктор.

ВИКТОР ПЕЛЕНЯГРЭ:
«Я сложил гимн РФ»

«Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Это удивительная песня, она так точно передает настроение русской жизни. Сколько раз я исполнял ее по пьянке под караоке! И еще есть такие слова, уже из другой песни: «Как упоительны в России вечера». Это все, а также многое другое сочинил поэт Виктор Пеленягрэ.

Свою родословную он ведет буквально от Пушкина: «Я — плод кишиневских забав поэта». И жизнь он ведет вполне пушкинскую: стихи, шампанское, карты, проститутки — но наряду с ними и девушки из хороших семей... Молдавия, ссылка в деревню, безденежье, неудачная женитьба... Те же обвинения: «Что ж вы все пишете про не очень возвышенное — про секс, выпивку, закуску!» Да потому писали и пишут, что читатель не может без этого прожить! Ведь это все — вечные темы, к которым всегда обращалась высокая поэзия...

Слава

— Витя! Какие твои самые знаменитые стихи?

— Мой самый известный текст — «Дева-девочка», его знала вся страна, — да вообще весь русскоязычный мир.

Девочка, волнуясь, села на карниз
И с ужасным криком кинулася вниз.
Так соединились детские сердца,
Так узнала мама моего отца.

— А в чем смысл этой песни? Пародия на блатную романтику? Там же еще персонаж чистит краденый наган.

— Нет, это не пародия, не шутки. Мне всегда очень не нравилось стихотворение Сергея Александровича Есенина «Письмо к матери». Но что меня не устраивало? В таких песнях мать всегда седая, в старомодном ветхом шушуне, вдоль

перрона идет в тишине — в общем, мрак какой-то. А у меня мама в стихах другая:

Первая красавица в городе жила,
Очень неприступная девочка была.

Красиво! Необязательно ужасы писать о маме.

— А о папе? Он действительно был бандит?

— Нет, но 15 суток отсидел. А мама была действительно девушка из хорошей семьи — красивая, изящная, элегантная.

— А чем же он взял ее?

— Он взял ее социально недетерминированным оптимизмом. А чем можно еще девушку взять? Я знаю, многие берут деньгами, но это скучно.

— А чем эта песня взяла нашу публику? Ее же крутили везде, по всем кабакам...

— Некоторые думали, что песня блатная, — да она и была блатная... Тут получилась гремучая смесь попсы и блатной романтики, к которой у людей тогда была тяга определенная, и это было смело. Хотя в 92-м эту песню крутили во всех кабаках бывшего Советского Союза, у меня часто не было денег на ужин, — мне за исполнение не присылали ни копейки. Я стал получать за нее настоящие деньги только в 95-м. Тогда я наконец смог позволить себе обедать в ресторанах, играть в рулетку... Потом появилась Лайма. Я для нее написал слова четырех джазовых песен, и все четыре попали в караоке, — это признак того, что песня пошла. «Я вышла на Пикадилли».

Не спеши, дорогой,
Все я сделаю сама,
Не спеши, мой родной,
Ты сведешь меня с ума.

Ну в сущности, эта песня — рисунок. Как-то я ехал за машиной, а на заднем стекле у нее была надпись: «Не спеши, дорогой». Цитата, между прочим. И вот я из этой строчки сделал эротическую песню. Еще был «Зеленый остров в зеленом

море», это мы с Раймондом Паулсом писали. А потом появился в моей жизни прекрасный композитор Игорь Яковлевич Крутой. Мы пересеклись неожиданно, — Лайма показала ему мои тексты.

— А с Лаймой ты как начал работать?

— Мы просто встретились с ней на одном вечере, и она, зная меня как автора модных песен, дала мне свой телефон.

— У вас, кажется, был роман?

— Нет, к сожалению. Об этом я очень сильно жалею. Я знаком с Андрюшей, другом Лаймы, так что я не мог позволить себе... Если мужчины дружат, они одной помадой не мажутся. Вот. Что еще из наиболее известного? «Мои финансы поют романсы». Это песня реалистичная. Я тогда проигрался в казино, вышел оттуда чуть живой и, понимая, что не могу даже взять такси, родил эти бессмертные строки.

— А эта строчка про «финансы — поют романсы» — твоя или чья?

— «Финансы поют романсы» — это написал народ, это цитата, да, но я ее сделал бессмертной. Потом — «Белый орел». Они записывали альбом и поставили туда две мои песни. Они думали, что первой песней будет «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Но я говорил им, я знал, что первой станет именно «Как упоительны в России вечера». Я оказался прав! Эта песня — фактически гимн Российской Федерации.

— Слушай, а зачем Жечков поет, как ты думаешь?

— Душа просит! Вот и поет. Это — правильно... Еще у меня есть песня «А когда я вернусь домой», которая попала в сериал «Откройте, милиция!». В «Убойной силе» есть шикарная песня, которую мы написали с Игорем Матвиенко — «Позови меня тихо по имени», сейчас она на большом подъеме. Потом была песня «Без тебя», там мы обильно процитировали прекрасного композитора Голдмана, — впрочем, со ссылкой. Вот оттуда строки:

А там где пир стоял, теперь — чума,
И я боюсь, что я сойду с ума,
Без тебя, без тебя, без тебя...

— Что-то знакомое... А это ты у кого украл?

— Украл?! Что же, пусть меня обвинят в том, что я украл у Пушкина! Что я взял его сюжет «Пира во время чумы»! Чума! Ну где там Пушкин? Там Пеленягрэ один, и больше никого!

Цитаты

— Ты славишься тем, что воруюшь строки у коллег. Причем даже у тех, кто умер 100 или 500 лет назад.

— Да, некоторые обвиняют меня в отсутствии всяческих принципов. Но у меня их нет, принципов, у меня их никогда и не было! Да, я в стихах цитирую практически всю мировую литературу — начиная от Петрарки и заканчивая Блоком. Только в отличие от других, я цитирую, опуская кавычки, — это старый прием, давно известный в литературе.

— Приведи пример своего такого цитирования.

— «Так вонзай же, мой ангел прекрасный, / В сердце острый французский каблук». Это из моего текста. С удовольствием я тут процитировал Блока. Вся литература построена на цитатах. Быть может, вся литература — одна крепкая цитата.

— Кто это сказал?

— Это, если я не ошибаюсь, Ахматова. А может, Мандельштам. Но точно — кто-то из них.

— Тут идет цитирование с кавычками. Этого ты себе еще не приписал.

— Не приписал. Я ж не все себе приписываю! Между прочим, Сенека-младший этим идиотам и негодьям, которые обвинили его в использовании чужих цитат без ссылок, сказал, что все написанное другими он считает своим. И он был абсолютно прав! А великий режиссер Тарантино, которого тоже обвиняли в том, что у него сплошные цитаты без ссылок, бросил своим обвинителям: «Я краду у всех». Великим художникам отдают дань уважения тем, что крадут у них!

— А у кого ты еще брал? Вот ты привел одну фразу, украденную у Блока; а еще примеры?

— Что значит — украл? Я переработал ее!

— Ну украл — в хорошем смысле слова.

— Гм... Я цитировал очень многих поэтов. Один из последних случаев — это цитата из Андрея Туркина. В песню

А в чистом поле система «Град»,
За нами Путин und Stalingrad —

я вставил его слова «а глянешь на небо — там звезды одни». Так из этого раздули целую истерию! А Туркин никогда бы не обиделся. Это мой приятель очень добрый, еще из Литературного института. Я его лет десять не видел, думал, вот — процитирую его, он и откликнется. Но он не смог откликнуться: он, к сожалению, умер... А парень был талантливый. У Пеленягрэ есть одна особенность — он не цитирует бездарных, он цитирует только великих. Неужели я, большой художник, не мог бы написать все сам? Я все могу. А цитирую я просто из любви к литературе. Великий Элиот полностью состоял из цитат, — но они не отменяют его величия. Он был великим писателем! Для того чтобы подключиться к высокому напряжению мировой культуры, нужно быть одной крови с этими разбойниками. Вся литература — это разбой на большой дороге... Да и меня цитируют! Без ссылок! Вот недавно в журнале «Медведь» был заголовок статьи — цитата из моей песни: «В притоне Катманду я закажу свой виски». Я не обижаюсь. Мне даже приятно, что моя песня крутится как народная. Автор там написал, что вот в детстве он услышал эту блатную песенку. А на самом деле эту песню сочинил я. Не так давно. Я написал очень много! Кстати, мне уже очень тяжело отделить свое от чужого. (Громко смеется.) Но самое великолепное, самые ударные тексты я написал сам: «Как упоительны в России вечера», «А в чистом поле...».

Деньги

— Вот скажи мне... Популярность, даже слава, всенародная любовь... Этому же должны сопутствовать миллионы, виллы, лимузины, да?

— Что слава? Яркая заплатка. Меня больше всего удивляет то, что у меня даже кабинета своего нет на сегодняшний

день. Все удивляются! «Виктор, вы написали такие песни, в Америке вы, наверное, были бы миллионером, в Малибу жили бы!» Так и думают, наверное, что я живу в Малибу. Но мы-то знаем правду...

— Ладно тебе! Вон Дмитрий Набоков мне рассказывал, что его великий папаша писал свои бессмертные труды в совмещенном санузле на биде. У него тоже не было кабинета!

— Шукшин свои прекрасные произведения тоже писал в санузле.

— Но почему так? Слава есть, а бабок нету. В чем проблема?

— У меня был приятель, который написал в свое время песню «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я». Так он на эту песню купил три квартиры. Потому что тогда была очень сильная организация под названием ВААП, которая обеспечивала ему по 17 копеек за каждое исполнение песенки. Со всего Советского Союза ему слали эти копейки, и набегала приличная сумма. А теперь... Сидишь в ресторане, при тебе десять раз подряд заказывают твою песню, и никакой ВААП это не волнует.

— Не далее как в пятницу я по пьянке исполнил твою песню «Потому что нельзя...» в клубе Beverly Hills на дне рождения одного человека. Получишь ты с этого 17 копеек?

— Не думаю... Был короткий период, когда наш труд оплачивался правильно. До дефолта (1998 г.) за каждый прокрут песни на радио присылали три рубля. Это было 50 центов по тогдашнему курсу! Я получал хорошие деньги... А сейчас все равно шлют по три рубля... Какая страшная несправедливость!

— Но зато слава есть!

— Слава — это тоже прекрасно...

Кто-то из друзей так описывал его повадки: «Деньги разрушительно действовали на жизненный уклад Пеленягрэ, страдавшего склонностью к мотовству. Стоило ему почувствовать себя богатым, как он сразу обрастал массой дорогостоящих привычек и начинал столоваться в первоклассных ресторанах, заказывать одежду у первоклассных портных и содержать одновременно множество любовниц...»

Девушки и поэзия

— Поэт и любовь. Ты конкретно расскажи. Вот ты развелся со всеми своими женами, да?

— Да.

— Значит, ты можешь рассказать всю правду про баб!

— Всю правду? Всю правду невозможно рассказать. Впрочем, всё в стихах. «Балы, шампанское, закаты, переулки» — про все я рассказал в стихах. Всю мою жизнь можно вычитать из стихов, как говорил Александр Сергеевич... В стихах вся моя жизнь!

— Давай, давай. Во-первых, ты — поэт, а во-вторых — неженатый.

— Да ну...

— Ну кончай, а? Рассказывай. Значит, встал ты утром, выпил шампанского...

— Ну да, выпил шампанского, побрился бритвой и пеной Gillette...

— ...и поехал к девушке..

— Взял букет, поехал к девушке. Вот ты знаешь, мне буквально сейчас нужно уезжать, между прочим, к девушке.

— Так, приезжаешь ты к ней...

— Приезжаю. Пылкие объятия, фальшивые восклицания... Что рассказывать? Все очень обыденно...

— Что, у поэтов это все происходит, как у простых людей?

— Да. Просто это окрашено поэтическим чувством. Все то же самое, ну почти все то же самое. Я прочитал воспоминания Блока, то есть не Блока, а девушки, которую он привел с улицы, с Мойки, — он приводил иногда девушек легкомысленных, чтобы узнать, что такое сладострастие. Так там написано: «Он привел меня к себе и всю ночь гладил мне волосы». Вот так и напиши: «Пеленягрэ приводит домой девушек, гладит им волосы, как Блок».

— Ты тоже водишь проституток, как твой коллега Блок? Делаешь из них Сонечек Мармеладовых, как Достоевский?

— Достоевский это делал в минуты отчаяния. А я — нет. Мне хотелось бы встречаться с порядочными девушками в приличных домах.

— Да еще и денег им не платить.

— Не платить. По большому счету проститутки — это скучно очень. Мы же их не понаслышке знаем. Это скучно... Все просто — заплатил и поимел. Это недостойно, хочется, как Блок говорил:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Хочется интриги, хочется некоторого fleur d'orange, отношений. Хочется больших страстей, высоких полетов во сне и наяву.

— О-кей. Скажи, скольких девушек ты любишь чистой, возвышенной любовью?

— Чистой и возвышенной любовью я люблю одну, — по большому счету одну только.

— В смысле — каждый раз одну.

— Да, я в этом смысле очень моногамен. Овидий говорил: «Даром время не тратя, несколькими встречу назначу». Но Овидий был негодеям...

— Ты б его в свое Общество куртуазных маньеристов не принял бы?

— Нет, принял бы, принял. Он очень хороший, замечательный поэт. Как он писал, обращался он к мужчинам, неумехам в женских делах:

Что помешало тебе достичь полноты вожденной?
Стыд? Вовсе не стыд, разве что серость твоя.

Понимаешь?

— А периодически влюбляться положено поэту?

— Это обязательно. Для поддержания внутреннего стержня. Хотя... Данте всю жизнь любил одну Беатриче — и ничего, написал «Божественную комедию», а Александр Александрович любил эту законченную дуру Менделееву, и — ничего, тоже писал неплохие стихи.

Сам Пеленягрэ когда-то так описывал свою личную жизнь: «Когда я говорю, что я путался в женских именах, я не преувеличиваю. Как только мы выпроваживали одних,

мы с тем же энтузиазмом шли снимать других». «Как веселы эти беспечные оргии! Каких женщин — обнаженных, прекрасных, плачущих — тащили мы за волосы, не зная жалости. Все они сладкая добыча негодяев и наглецов!..» А разве ж не трогательны такие любовные строки Пеленягрэ:

С поцелуями лезут старухи,
И горит под ногами земля.
Молодые красивые шлюхи
Словно крысы бегут с корабля.

Пьедестал почета

— Ладно, некорректно тебя спрашивать, кто первый русский поэт. Скажи тогда — кто второй?

— Андрей Андреевич Вознесенский. Я его очень люблю, он замечательную песню написал: «Ты меня на рассвете разбудишь». Человек, который написал также песни «Плачет девочка в автомате» и «Миллион алых роз», может быть спокоен за свое место в поэзии.

— А третий?

— Наверное, Бродский. Его трагедия в том, что он не писал песен. Но у него есть очень хорошее стихотворение, на которое можно написать песню: «На Васильевский остров я приду умирать». Писать песни — трудно... Маяковский очень хотел написать песню, но ничего у него не получилось. Не у всех поэтов это получается. Но бывают удачи. У Цветаевой есть прекрасная песня «Мне нравится, что вы больны не мной». У Пастернака — «Никого не будет в доме».

Судьба поэта

— Расскажи о себе. Кто ты, откуда? Как жил раньше?

— Я из Молдавии. Закончил ПТУ, работал в Москве на стройке. Строил институт на Профсоюзной, и сегодня, проезжая с кем-нибудь мимо, с гордостью говорю: «Это здание я строил!» Строил, строил... И понял, что Москву я с первого раза не возьму. Потому поехал в Калугу и закончил там

педагогический институт. Набравшись там, в Калуге, сил, я в 81-м вторично пошел на штурм Москвы. Меня, правда, хотели по распределению отправить в сельскую школу. Я им сказал: «Да вы чё, меня — в деревню? Да это все равно что Пушкина ссылать!» А они говорят: «Ничего, ты там еще лучше напишешь. Пушкин в сельской местности очень плодотворно трудился». В том числе и на территории Калужской области — в Полотняном Заводе, в имении своей тещи. И ведь они правы, мне нечем было крыть! Но я все равно решил на побег. И сбежал в Москву, и поступил тут в Литературный институт, и даже закончил его...

— А из чего вообще состоит жизнь поэта? Пьянки, девки, да?

— Очень хорошо ответил на этот вопрос Александр Александрович Блок. Не могу процитировать дословно, но попробую. Это из дневников его: «Первое августа. Напиваюсь в пивной на Гороховой. Второе августа. Опять напиваюсь в пивной на Гороховой. Третье августа. Напиваюсь в пивной на Гороховой под граммофон и зачем-то покупаю пальто». Так вот, вся жизнь поэта — это сперва отдых в пивной на Гороховой под граммофон, а затем покупка ненужного пальто...

— Скажи, Витя, а тебя можно назвать поэтом-песенником?

— Мне это очень не нравится. С таким же успехом можно назвать меня столяром-краснодеревщиком. Лучше назвать меня поэтом, который время от времени делает вылазки в сопредельные государства.

— То есть ты как бы чистый поэт?

— Да, хотя....

— Но разве это не комплимент — «поэт-песенник»? Значит, народу ты нравишься.

— Мне не очень нравится эта формулировка. Вот у Есенина есть хорошие песни, но можно ли назвать его поэтом-песенником? Глупо. Однажды я видел визитку Евгения Александровича Евтушенко, там было написано: «Поэт, режиссер, депутат, фотограф, лауреат Государственной и прочее», в общем, куча званий и должностей. А у Пушкина просто было написано — «сочинитель». Вот это мне нравится. Была бы

у меня визитка, а у меня, к сожалению, их никогда нет, я бы написал: «Пеленягрэ — сочинитель».

— Вот ты жалуешься: нету денег. Это, конечно, печально. Но ты лучше радуйся, что не погиб в 27 лет на Кавказе, как иные поэты.

— Я в этом смысле всегда вспоминаю А. П. Чехова, который говорил: «Если вас секут березовыми прутьями, радуйтесь, что не бьют осиновыми колами», понимаешь.

— Но ведь согласишься, судьба поэта должна быть трагичной. Не на Кавказе завалят, так в Питере, либо дама задушит в койке в крещенские морозы. А?

— Я бы не хотел такого... Когда я только начал писать стихи, познакомился с замечательным поэтом Влодовым. Он был в андеграунде, его не печатали, потому что он, кажется, бутылкой разбил голову какому-то литературному вельможе. Влодов жил очень страшно, и я, глядя на него, говорил себе все время: «Витек, только не так, только не так!» Ну не хотелось мне так... Все поэты мечтают о жизни тихого буржуа, о мещанском быте. А жизнь так устраивает нас, что мы, к сожалению, этот уют видим только в мечтах. Поэтому и стихи сочиняем. В России все пишут стихи, но стать поэтом в России очень тяжело. Большой путь нужно пройти, многое испытать и не пожалеть о бездарно прожитых годах. Смотреть на облака, парить в эмпиреях, — а не ходить на службу. Для службы очень много людей создано, еще Пушкин говорил об этом. Он сказал замечательно: «Когда бы все так чувствовать могли, тогда не мог бы мир существовать», в смысле — когда все были бы праздными Моцартами, понимаешь?.. Кто-то должен отдуваться за всех, отказывать себе в главном — в обыкновенном человеческом счастье. Обыкновенное человеческое счастье, я тебе уже говорил сегодня, это мещанское окошко с резедой. Но — цветы не выращивать мне, вот о чем я говорю.

— Давай бегло окинем взглядом современный литературный процесс: прежде у нас были Шолохов и Евтушенко, а сегодня мы пришли к новым классикам — Пелевину и Пеленягрэ. Почему так сдвинулась стилистика?

— Думаю, по многим причинам. В сущности, это вполне закономерно, что в Советском Союзе был классицизм. За

ним должен пойти сентиментализм и романтизм. В сущности, это и происходит. Классицизм, потом романтизм, потом опять классицизм... Писатели того поколения были какие-то слишком серьезные. За исключением двух, которые ломали стройные ряды, взрывали бастионы — это Лимонов и Довлатов. В поэзии роль сентименталистов играли шестидесятники Вознесенский, Евтушенко, Окуджава. Потом все медленно опять превратилось в классицизм. Потом какая-то фигня пошла: «уберите Ленина с денег». Ну сбылась мечта идиота, убрали Ленина с денег — и что дальше? Что дальше?! А теперь вот мы. Евтушенко в одной передаче топал ногами и кричал про нас: «Эти, эти, отплясывающие канкан на идеалах шестидесятников!» А по мне, канкан — это шикарно, мне нравится канкан отплясывать, это мой любимый танец. Но — он очень прав, наша поэзия — это по большому счету канкан, шоу-бизнес — это канкан... В новом альбоме «Белого орла» много будет хороших песен не только с моими стихами, но и с моей музыкой. Там есть великая песня:

Даже если я пройду с другой,
Ты не верь своим глазам, я — твой,
А ты люби, люби, люби меня.

— Это ты описываешь реальную жизненную ситуацию?

— Да. Любовь была, измена, конечно, тоже. Все мои песни — на реальной базе, и это ужасно. Потому что осталось только написать «Я умру в крещенские морозы», как написал Николай Рубцов — он после и умер как раз в крещенские морозы, не раньше и не позже.

— Ты лучше напиши, что ты стал миллионером, и живешь на вилле на островах, что тебе 25 лет, тебя любят девушки...

— Напиши лучше ты про это. Пожалуйста! Напиши, что Пеленягрэ, балбес, живет на вилле. Похмеляется с манекенщицами, успешно играет в рулетку и танцует танго в лучших ресторанах Парижа. Еще напиши, что он, то есть я, — голубоглазый блондин... Как глубоко порядочный человек, я хотел бы быть молодым и богатым. Напишешь?

— Да уже пишу... Это легко: бумага все стерпит.

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ:
«Молодые пьют меньше, едят хуже»

Мы встретились с писателем Поляковым в Дели, на книжной ярмарке. Он был тоньше и стройней, чем обычно.

— Что с тобой? Ты как-то похудел.

— Да! Сбросил семь кило за месяц. Гречневая каша и белое мясо, курица или индейка, зелень и печеные яблоки. Больше ничего.

— И не бухать?

— Естественно. Максимум сто грамм в день.

— Как же ты выдержал?

— Вот — выдержал! Все выдержал, кроме ста грамм...

С этим твердым, как скала, человеком мы поговорили о русской литературе и вообще о вечном, — а о чем же еще говорить с высокотиражным автором, модным драматургом, главным редактором «Литературной газеты»...

Санация бизнеса

— Ты уже семь лет командуешь «ЛГ». Это когда-то была совершенно особенная газета, а потом как-то сдулась...

— Успех «ЛГ» был со многими условиями. Одно из них — это мощная культурологическая легенда. Видишь, газету основал Пушкин. А в XX веке возродил Горький... Возродил в 1929-м как газету, которая должна была противостоять и рапповской, и левовской агрессии! Это было центристское литературное издание, направленное на восстановление культурной традиции! Новая, советская, «ЛГ» была задумана как орган, призванный объединить именно нормальных писателей — мы-то знаем, сколько в переломные эпохи бывает шизофреников. Их и в правительстве в такие времена много.

— А в литературе еще больше?

— Их в литературе всегда много, а в переломные эпохи так просто караул. И неслучайно газета была названа именно так! А то ведь в те времена какие были названия?

«Красная новь», «Прожектор», «Революционная гильотина», «Новый мир», «Октябрь», «Знамя». И вдруг такое — просто «Литературная газета». Уцелевшая интеллигенция тогда сказала: «Ну слава богу, Пушкина вспомнили с Дельвигом!» Все было продумано... В начале 30-х годов газета пыталась выполнять задуманную Горьким функцию, но потом это стало сложно, во второй половине 30-х газета изменилась, — но тем не менее... Легенда никуда не делась, а мы ее актуализировали. И вернули на логотип профиль Горького, которого в девяностые неадекватные товарищи убрали... Мы это сделали после того, как провели опрос среди читателей, и оказалось, что 95 процентов — за возвращение Горького! Когда мы принимали решение об этом на собрании трудового коллектива, только два сотрудника высказались против. Оба, кстати, до сих пор в газете работают. Кроме легенды в «ЛГ» всегда был сильный коллектив, который подбирали главные редакторы, все, какие там были: Фадеев, Кочетов, Смирнов и самый из них мощный — Чаковский.

— Который, пользуясь дружбой с Брежневым, и здание в Костянском забрал себе, хотя много было желающих после Олимпиады, когда оттуда съехал Олимпийский комитет.

— И это тоже говорит об отношении к газете.

— Серьезное здание!

— Да, это был доходный дом начала XX века, меблированные комнаты — бордель, короче говоря. Кстати, сам район в те годы в просторечье именовали «Драчевка». Большой дом, старый, требовавший серьезной реконструкции... А это нам не по карману.

— И вы оттуда съехали...

— Да! Редакция переехала в Хохловский переулок, это возле «Исторички». У нас теперь особнячок XVIII века, четырехуровневый. Заходите!

— Я слышал, что, придя в редакцию, ты там провел целую революцию.

— Еще четыре года назад у нас были жуткие долги, но теперь мы вышли на самоокупаемость. Во-первых, мы увеличили тираж за это время в четыре раза. Все культурологические издания теряли тираж, а мы наращивали. Во-вторых,

помогли подняться и коммерческие профильные приложения: «Лад», «Многоязыкая лира России», «Детское чтение», «Евразийская муза» (это страны СНГ), «Московский вестник», «Невский проспект» (питерское приложение), «Научная среда», «Литературный резерв» — это молодые писатели. А чистую рекламу мы почти не печатаем. Не наш формат.

Власть не права?

— Самая громкая акция «ЛГ» под твоим командованием — это, наверно, борьба за то, чтоб на разные книжные тусовки посылали не только либералов, и ваша победа.

— Да, газета четыре года была в бубен некоторым чиновникам, чтоб на ярмарки посылали разных писателей. Мы писали про книжные ярмарки во Франкфурте, в Варшаве, Париже... Говорили — нельзя, чтоб нашу литературу за границей представляли исключительно Пригов, Сорокин, Ерофеев, Маканин, Битов, Кабаков и другие прогрессисты... (Сейчас, правда, у Кабакова изменились взгляды, он как-то и по писательской манере, и по взглядам к центру сползает, это естественно для умного талантливого человека.) Мы говорили о том, что почвенников тоже надо возить. Нам отвечали, что это не наше дело, собаки лаяли, а караван шел. Мы писали — нехорошо, когда на казенные деньги приезжают писатели либерально-модернистского пула и с трапа самолета начинают поносить Россию и ее руководство, обзывают свою страну полицейским государством и прочее в таком духе. Мы не против, чтоб они ругали, — но тогда пусть едут за свой счет, а не за государственный. Мы предупреждали, что кончится это все скандалом! Так и вышло. На Парижской ярмарке некоторые деятели из официальной писательской делегации демонстративно отказались идти на прием к Путину и дали по этому поводу развязные интервью. И тогда наверху спохватились — вы что, обалдели, за наши деньги нас же и поливаете?

— А кто там не пошел к Путину?

— Не помню по именам. Но после этого почвенников тоже стали брать... Они-то уж точно на прием к президенту пойдут, хотя могут там сильно напиться...

— Ладно, не будем их сдавать. Еще ты в своей газете долго корил Путина за то, что тот в своих посланиях не упоминает про культуру — и вот наконец в своем президентском послании он начал говорить про культуру и говорил о ней довольно долго. О как!

— Да, у меня даже статья была «Зачем вы, мастера культуры?» Я там писал: «Вы будете смеяться, но в послании президента уже в седьмой раз нет ни слова о культуре». А в восьмой раз таки оказалось про культуру очень много! Кстати, кампанию против учебников истории, прививающих нелюбовь к родине, тоже начала «ЛГ».

Писательские разборки

— «ЛГ» по определению должна заниматься литературным процессом. А он такой, что русские писатели делятся на враждебные группировки и мочат друг друга, топят и обличают, смешат почтенную публику. Многие занимаются этим, — наверно, из-за адреналина? А по-другому, мирно, — никак нельзя у нас?

— Тут вот в чем проблема. Группировки в литературе были всегда, это необходимое условие любого нормального культурного процесса. Если нет группировок, то нет и поляризации эстетических, мировоззренческих концепций, нет этой разности потенциалов, которая прошибает молнией художественного открытия... В чем специфика сегодняшней ситуации, чем она принципиально и печально отличается от того, что было даже в сталинские времена, когда все равно велась полемика между западниками и славянофилами? Сегодня борьбы нет — есть угрюмое противостояние...

Но серьезно писатели страдали чаще всего тогда, когда пытались свою литературную борьбу привязать к политической борьбе в высших эшелонах власти или оказывались в нее случайно вовлечены. Как, например, Бабель, крутивший роман с женой Ежова. Тогда им обламывалось по полной программе... Вот еще пример: отличный писатель Борис Пильняк. Он сочинил по мотивам троцкистского мифа о смерти

Фрунзе (во всем виноват Сталин) «Повесть непогашенной луны». Кстати, из последних исследований видно — Сталин к этой смерти никакого отношения не имел. Ему вообще это было невыгодно. Ведь он сам поставил Фрунзе командовать Красной Армией, чтоб тот вычистил именно троцкистские кадры, нацеленные на мировую революцию. (Мы не обсуждаем, хорошо это или плохо, просто ту ситуацию надо рассматривать в парадигме двух политических группировок, одна из которых была за мировую революцию, а другая — за восстановление Российской империи, пусть даже в новом идеологическом формате.)

Приводят еще пример жуткой писательской драмы замечательного Варлама Шаламова. Но ведь его же не за литературу посадили! Сейчас все опубликовано, даже не надо в архив лезть! Кино про Шаламова недавно сняли — вранье... А правда в том, что молодой парень, талантливый, пишущий, попал в троцкистскую группу и активно в ней работал. И вот в 1926-м или 1927-м его в первый раз замели. Я читал протокол его допроса.

«— Почему вы встали на путь борьбы с советской властью?

— А потому что у меня к ней есть претензии. Почему она свернула мировую революцию? Почему перестали сажать священников?»

Притом что сам Шаламов — сын священнослужителя... Говоря по-современному, парень подсел на экстремизм.

— Сначала подсел на экстремизм, а потом подсел за экстремизм.

— Его посадили. Но срок Шаламову дали небольшой. Потом его досрочно освободили. После спохватились, что освободили неправильно, бардак же был в стране. Объявили во всесоюзный розыск. При этом Шаламов спокойненько работал в Москве, в центральных изданиях, заведомо литературы всесоюзного журнала — даже судился с этим журналом, который ему денег задолжал. Вообще человек вел активную литературную и общественную жизнь! Его никто бы не нашел, если бы он в один прекрасный момент не встретился с той же самой троцкистской группой, в которой состоял

до посадки, и не занялся тем же. Ему дали новый срок. Ну где тут литература? Чистая политика. Я, кстати, застал Шаламова живым. Он любил пообщаться с молодежью, но никогда не рассказывал о причинах своей трагедии...

— Троцкисты — это были такие первые глобалисты.

— Да. Они, между прочим, едва не победили! Если бы не подавили свои революции немцы и венгры, если бы европейцы не переключились на социал-демократию, — был бы возможен глобальный коммунистический проект. Коминтерн и был создан как мировое правительство на случай победы мировой революции! Это мировое правительство сидело в России, его кормили, поили, готовили к тому, чтоб в нужный момент оно взяло в руки власть, а потом за ненужностью посадили....

— Но вернемся к нашим баранам. Что у нас сегодня с дискуссией западников и славянофилов?

— Чем принципиально отличается нынешняя ситуация? Да, у нас по-прежнему есть славянофилы и западники. Но беда в том, что никакой полемики, никакой разности потенциалов, никакого спора между ними нет. Это — два, скажем так, идейно-эстетических гетто...

— ...которые считают друг друга мудаками.

— Близко к тому. Они не считают нужным друг с другом полемизировать. Им все заранее ясно. Василий Белов, например, для либерального гетто — графоман. А с точки зрения почвенников, либералы Битов, Искандер и Бродский — редкая дрянь. Но это бред, так не должно быть! Все авторы, которых я назвал, — объективно хороши!

— А ты посередине, ты над схваткой.

— Щас, щас, я к этому подхожу. Это отсутствие дискуссии наносит колоссальный урон литературной жизни. Когда нет дебатов в цивилизованной форме, то нет движения. О чем могут спорить между собой единомышленники, сидя в гетто? Только о нюансах.

— Раньше и те и другие апеллировали к начальству, а теперь начальству все по барабану.

— Ну и сейчас стучат. На меня, например. Недавно, мы в «ЛГ» напечатали письмо писателя Черныха, критикующее

Союз российских писателей. Так руководительница СРП Василенко объявила Черныха, диссидента со сроком, друга Солженицына, черносотенцем. Неслабо, да? Вот тебе и вся дискуссия...

— Но не зря же так сложилось. Это о чем говорит?

— О страшном отчуждении между людьми, которое возникло в начале 90-х, когда выбирался путь. Это пропасть между людьми! Она глубже, чем та, что была между представителями русской дореволюционной интеллигенции, даже шире чем между уехавшими в эмиграцию и оставшимися в Совдепии. Цветаева в стихах постоянно апеллировала к Пастернаку, они ссылались друг на друга, вели скрытую полемику... Раскол, казалось бы, эмигранты и советские — но между ними был контакт! А между этими писателями, живущими в одной стране, жрущими в одном ЦДЛ, когда деньги есть, приезжающими на одни книжные ярмарки, — нету контакта!

Над схваткой

— Как тебе удалось стать таким мудрым? Все как дети в песочнице, а ты типа один над схваткой.

— Над песочницей. И не я, кстати, один. Но сначала я скажу о проблемах почвенников. Все 90-е годы они замалчивались, авторам этого направления не давали никаких премий. Пропущенное поколение! Там есть интересные, заметные фигуры, да хоть Петр Краснов, оренбургский автор, или Сергей Алексеев, который работает в том же направлении, что Алексей Иванов, только он на три головы выше и начал раньше на 20 лет. Абсолютно замолчанные фигуры! Это я про информационное пространство, — а так-то у них читателей миллионы. Но этих фигур нет в консолидированном общественном сознании. Эти имена были табуированы и в бумажных изданиях, и на ТВ. Только я один из этого поколения прорвал блокаду! Но не благодаря каким-то личным заслугам. А просто потому, что у меня был очень шумный дебют в перестройку, и было тяжело меня замолчать. Я к тому же был востребован на ТВ, меня приглашали на передачи,

чтобы имитировать наличие в телепространстве патриотической точки зрения. Нужно было скандальное патриотическое выступление — звали Проханова, нужно спокойное — звали Полякова. Вот мы двое на этом ковре и крутились. Но есть же масса талантливых людей моего поколения! Например, Юрий Козлов... Вера Галактионова. А еще был в Воронеже Слава Дегтев, умер, не дожив до пятидесяти. Великолепный рассказчик — даже внешне был похож на Куприна...

— Вот ты сколько уже людей перечислил — а я никого не знаю.

— Это и плохо!

— Тут беда еще и в том, что имена такие — Козлов, Поляков, Алексеев... Слишком просто. Не запоминается. Вот Распутин — это звучит!

— А Белов? Вот уж редкая фамилия!

— Однако Распутин не пишет давно прозу. Только публицистику. Я ему говорил: «Валентин Григорьич, дорогой, заметок и без вас насочиняют! А вот романов за вас не напишет никто!» Он отвечал: не могу сочинять романы, глядя на страдания народа, надо бороться...

— Да, пишет Распутин гораздо меньше, чем хотелось бы. Кстати, много было разговоров о том, почему Шолохов после «Тихого Дона» ничего такого не написал? Но мало кто знает, что писатель во время войны попал в авиационную катастрофу, у него была травма черепа, по своим последствиям сравнимая с обширным инсультом. Ну может ли человек с тяжелой травмой головного мозга активно работать как писатель?

— Шолохов заслуженный человек, но он давно умер. А ты сам — не потянешь на лидера патриотического крыла?

— Я — нет.

— Да ты просто не пробовал.

— Не получится! И я объясню почему. Хотя я по своим корням русский, и отцовская и материнская ветви из Рязанской губернии...

— Да, корни корнями, но сам ты — московский, городской, а это действительно не катит для лидера почвенников...

— Ну я мог бы нажимать на то, что я из есенинских мест...

— Да, и тоже кудрявый такой... Эту тему вполне можно развивать.

— Но я по менталитету — советский человек. Понимаешь? Когда идет речь о национально-патриотическом направлении в рамках многонационального государства — я горячо «за». Но когда начинают вычленять национальную проблему, в смысле: «а вот если бы кругом были одни русские, то было б лучше» — тут я категорически против. Российская государственность изначально строилась на многоэтнической основе. А славяне стали государствообразующей нацией потому, что в основе их социума испокон лежала соседская община, легко вбирившая в себя иноплеменников. В этом секрет нашей русской уживчивости. Именно поэтому президентом Российской академии художеств может быть грузин, а русский в Грузии не может быть даже автоинспектором.

Другое дело, что русскому большинству России нужна какая-то своя национальная форма представительства. Вот, скажем, татары или чеченцы могут обсуждать свои культурные и демографические проблемы в национальном парламенте, правительстве. А русские? Нам надо ждать, пока в Кремле почешутся и спросят: «Что это у нас русских все меньше становится? А русских с высшим образованием как-то и совсем уж мало? Что-то не то...» А если не зачешутся?

— Но не могли же тебя не выдвигать в патриотические лидеры!

— Ну да, не могли... Я помню, на съезде Союза писателей — патриотического, которым Ганичев командует, — меня хотели секретарем выдвинуть. Но при обсуждении из зала вдруг стали выкрикивать: «Что ты нам тут про государственность рассказываешь? Ты же печатаешься в либерально-еврейских изданиях — в «МК» и в «Комсомолке!» Я ответил: «Какое вам дело, где я печатаюсь? Где хочу, там и буду!» И вышел из этого союза. Мне с ксенофобами не по пути... Есть и еще одно обстоятельство. Я писатель с сатирическим взглядом на жизнь.

— Да, это с патриотизмом трудно сочетать, патриотизм — это же пафос...

— Да, почему-то считается, что чувство юмора и ирония — признаки нерусского ума. Почему? Непонятно. Ведь гигантами сатиры в нашей литературе были Гоголь, Щедрин и Булгаков...

— Думаю, это связано с тем, что русские — молодой этнос, он думает, что надо делать серьезное лицо. А у древних народов — иначе.

— Во-первых, русские гораздо древнее, чем думают. В последние годы появилось много исследований на эту тему. Кстати, пропагандистом этих идей на страницах «ЛГ» выступает один из самых остроумных нынешних людей — Михаил Задорнов. А во-вторых, взять, например, армян... Древний этнос, но чрезмерной иронии я у них не вижу... Твоя гипотеза хромает...

— «Армянское радио» и «Наша Раша», пожалуйста, вот тебе навскидку два примера замечательной иронии.

— Не уверен... «Армянское радио» придумывали всем миром. Так вот про иронию. В 1993 году я выпустил повесть «Демгородок».

— А, это где олигархов ссылали в Сибирь?

— Вроде того... Мне за эту книжку навешали прилично. Сейчас, кстати, в театре имени Рубена Симонова сделали инсценировку «Демгородок», о том, как в современной России царь появился. Роскошный спектакль! Я вскоре после выхода повести дал ее почитать Распутину, это было в Переделкине, в Доме творчества. Он выходит на следующий день к ужину хмурый такой. «Не удалось полистать мою книжечку?» — спрашиваю. «Я прочитал, — говорит, — сейчас народ так тяжело живет, такая колоссальная драма в стране — а вы в этой книжке смеетесь. Ну как можно смеяться в такое время?» Я говорю: «Валентин Григорьевич, а как же Гоголь смеялся? А время его было тоже не самое лучезарное». — «Но, Юра, вы же не Гоголь», — ответил он. И на это мне возразить было нечего.

— И он тебе, значит, лиру не передал...

— Нет, не передал. А с либералами у меня получилось так: печататься я начинал в либеральной «Юности» у Андрея Дементьева. Он пробивал мои первые повести...

— «Сто дней до приказа» и про комсомол еще! Да, да, ты же был практически диссидент! Что тоже не к лицу патриотическому писателю.

— Мне этого потом долго не могли простить. Я помню, Аксёнов захлебывался на «Голосе Америки», хвалил мои вещи... И я был в Российский Пен-клуб принят, как только его основали. И все это гавкнулось в один прекрасный момент. Мы, инициативная группа пенклубовская, в 1991-м обсуждали события в Вильнюсе. И был проект письма от Пен-клуба, где осуждались имперские амбиции. Я сказал: «Ребята, то, что вы говорите про свободу Литвы, это правильно. Но там же есть и русское население, судьбу которого мы должны оговорить, а то для него эта литовская свобода может плохо кончиться. Кроме того, есть законные варианты выхода из СССР, надо проговорить все условия. Вас разве не заботит судьба Клайпеды, которая оказалась в составе Литвы только в результате победы нашего народа в Великой Отечественной войне? Если мы лишимся этого порта, это ж будут гигантские потери! Нельзя так — мол, сначала свобода, а потом разберемся!» Я говорил про то, что потом стало понятно всем. Но тогда, когда я это все высказал, на меня все посмотрели как на ненормального. И от меня отшатнулись... Я тоже отшатнулся, поняв, что все эти люди озабочены абсолютной виртуальной и мифологической идеей демократии и прав человека. А что такое демократия, где ее границы? Я убежден, что каждый народ пользуется лишь той степенью свободы, которую может себе позволить, — в зависимости от уровня экономического, политического, геополитического, нравственного, культурного развития страны... Вот Европа себе позволила прав человека больше, чем реально могла переварить, — и что получилось? Белые там становятся меньшинством. Позволили косоварам больше, чем допустимо, — и теперь мы имеем самопровозглашенное суверенное Косово. Тито тем сербам, которые бежали из Косовского края от немцев, запретил возвращаться домой, а албанцев, которые сражались за фашистов, не тронул, оставил в покое, ради баланса. Результат: косовары отделяются от Сербии с сербскими землями, на которых живут сербы! Это как если

бы гастарбайтеры из Средней Азии облюбовали Можайский район Московской области и отделились бы от нас вместе с Бородинским полем и местными русскими крестьянами. Бред!

Тогда на заседании Пен-клуба я понял, что нахожусь среди чужих людей, у нас с ними разные взгляды... Им во что бы то ни стало хочется сделать еще один шаг к свободе. Но если это шаг к пропасти? Может, лучше сделать шаг от пропасти, даже если это будет шаг в сторону от свободы? Потом прогрессисты мне сказали: «Если ты еще раз вякнешь, что патриотизм не зоологическое чувство, а иммунная система нации, — извини, мы вынуждены будем тебя вычеркнуть отовсюду!» Вякнул. Вычеркнули.

— И так ты наконец встал над схваткой.

— Торопиться! Сперва меня мотнуло в патриотический лагерь. А там тоже свой миф, только не либеральный, а патриотический. Я пытался объяснить, что если видеть только проблемы русских, то многонациональная страна развалится! Мотнуло меня туда, потом сюда, и в итоге я остановился в центре. И когда меня назначили главным редактором «ЛГ», я стал продвигать эту свою центристскую идею. Я привлекаю авторов со всех сторон и пытаюсь вовлечь их в диалог... Естественно, меня возненавидели и те и эти.

— А, то есть у тебя нет статуса стоящего над схваткой! Либералы считают тебя патриотом, а патриоты — либералом, и все ненавидят! В тебя стреляют со всех сторон!

— У меня нет этого статуса, потому что я не отмалчиваюсь, как некоторые. Когда спрашивают, например Битова или Маканина об их взглядах, они дают уклончиво-метафорические ответы! Это лукавство людей, которые не хотят ничем рисковать... Но это абсолютно не в традициях отечественной литературы. Отечественные писатели — и славянофильского, и западнического направлений — всегда очень четко высказывались на наболевшие темы, оттого они и считались совестью нации и ориентиром. Хотя оценки их не всегда были правильными. <...> Тот же Герцен, вытерев ноги о Николая Первого, которого он представлял тираном и полным солдафоном, в конце жизни сказал:

«Я был все-таки несправедлив к царю». Но об этом новом взгляде Герцена на царя мало кто узнал. Раньше слова Герцена подхватывала вся Европа — ну как же русского царя не обгадить лишней раз! А как только Герцен смягчился по отношению к русскому царю, он обнаружил, что это никто не подхватывает. Бывало, он воскликнет: «Царь Николай солдафон!» И слышится эхо: «Фон, фон, фон...» И вдруг тишина в Европе... То же самое и сейчас происходит. Когда кто-то из наших говорит, что Россия — страна рабов, Запад это охотно подхватывает. А скажет кто, что Россия — страна древнейших демократических традиций, вот вече у нас созывали, цеховое и городское самоуправление было, — в ответ полная тишина...

— А напосми-ка историю, как из-за тебя «Комсомолку» закрывали в 1993 году!

— Было дело... Они напечатали мою статью «Оппозиция умерла, да здравствует оппозиция!». Это была единственная публикация в открытой печати, где конкретно осуждался обстрел Белого дома. Там была фраза, которую все повторяли, я этим горжусь: «Плохим президентам всегда парламенты мешают». И настолько власти были возмущены, что газету закрыли. Целый день она пробыла в закрытом состоянии, — но потом им хватило ума ее открыть. Статья была очень жесткой, она мне долго потом икалась. Меня тогда совсем уж отовсюду отодвинули... И вот я — один, сам по себе. Может, оно так и лучше. Никто тебе на мозги не капает, а если кто закапает, ты его коротко посылаешь куда положено... Но есть и недостатки такого положения. Наша нынешняя критика — она абсолютно групповая, она идеологизирована донельзя. В итоге ни те, ни эти про меня не пишут. Парадокс — мои последние романы инсценированы, экранизированы, переведены, по ним пишут диссертации — а критики по ним нет. То же самое я сейчас переживаю со своими пьесами. Я сейчас один из самых востребованных драматургов! В одной Москве у меня идет шесть пьес! При полных залах! Седьмую — «Одноклассницу» — принял к постановке театр Маяковского. А критика молчит.

— Если книги выходят, пьесы ставятся, люди покупают билеты, — то что тебе до литературной критики?

— Хорошая критика помогает посмотреть на себя со стороны. Это важно.

Водка

— Юрий! У нас писатели делятся на левых и правых — а еще на сильно и не сильно пьющих. Литераторы всегда пили, а сейчас, наверно, еще больше пьют. Расскажи про это.

— Сам я человек пьющий — ну, скажем так, выпивающий. Читатели спрашивают: «У вас так точно и убедительно описано похмелье, вы где фактуру собирали?» Я говорю: специально брал командировку в вытрезвитель, опрашивал алкашей. «Вы серьезно или шутите?» А вы зачем дурацкие вопросы задаете? В 90-е был взрыв пьянства, и много хороших писателей умерло... Смотрю на молодое поколение, — меньше пьют! Это вызывает сдержанный оптимизм... Но ведь и пишут хуже...

ТВ вместо книг?

— Юрий! Место властителей умов, которое занимали писатели, теперь оккупировано телеведущими. А литература — это вроде хобби, на уровне выпиливания лобзиком. Пифосный вопрос «С кем вы, мастера культуры?» сегодня должен быть адресован людям ТВ.

— Тут вот что получилось. Эффект фанерного пения: когда рот открывать может любой! А чьим голосом он поет? Вот вопрос! Функция интеллектуально-духовного полигона, да простится мне такое сравнение, литературой не утрачена. Россия как была литературоцентристской страной, так ею и осталась. В Германии идеи мироустройства обкатывались в философии, в Англии — в парламенте, во Франции в салонах и театрах, а у нас в литературе. Все это осталось! Да, сегодня именно телеведущие артикулируют интеллектуальные тренды российского общества — но это не их мысли, они просто озвучивают то, что придумали

писатели! Приведу характерный пример. К юбилею Пушкина на ТВ был показан многосерийный документальный фильм модного на тот момент телеведущего Парфенова. Я сел смотреть... А надо сказать, что когда-то я довольно серьезно занимался пушкинистикой. И вот я то и дело подсакивал и восклицал: «Минуточку! Эта мысль — из Тырковой-Вильямс. А эта — из Бартенева...» Потом заканчивается фильм и в титрах идет: пиджак от такой-то фирмы, парфюм — от этакой. И ни слова про писателей, которые были анонимно процитированы, ни одной фамилии пушкинистов, словами которых говорил телеведущий! Вот как это делается! А говорят-то все равно пушкинисты, положившие всю жизнь на это и от кутюрье не одевавшиеся. Что мне оттого, что это озвучивает несимпатичный Парфенов? Да ничего. Я все равно мысленно разговариваю с Томашевским, Бонди и Лотманом...

Другой пример. Бывает, смотришь по ТВ дебаты политологов, не будем называть имен... Я слушаю их и понимаю: это точка зрения покойного Александра Панарина, его мысль о гедонистической цивилизации. А другой Тойнби цитирует. А третий — Валерия Соловья. Четвертый передает то, что вычитал про Сталина в книге Юрия Жукова. И все без ссылок! Это то же самое пение под фанеру... Ну есть исключения среди ТВ-людей, у кого-то из них есть свои мысли — но в основном это все же озвучивание чужого. Логичней, если бы на ТВ со своими мыслями выступали их авторы... Но тогда куда мы денем эту фанерную братию, которая привыкла жрать в три пуза и пить в шесть глоток? Они не уступят! Вот в чем проблема... Но это не так уж и важно. Если в литературной среде появляется мысль, то она все равно пробьется. Так что это чисто внешнее впечатление — будто литература ушла куда-то в катакомбы. Она по-прежнему генерирует идеи и осмысливает время. Но, к сожалению, мысли мудрецов по иронии судьбы высказывают в ТВ-эфире в основном люди с явной мозговой недостаточностью. Это драма нашей эпохи. Впрочем, не самая большая...

Повторить рекорд?

— А можно ли повторить тот успех, который был у «ЛГ» при советской власти? Или для этого надо закрыть ТВ, отрубить интернет и разогнать желтую прессу с глянцем?

— Значит, так... Думаю, главная причина неслыханного успеха «ЛГ» при советской власти — это закрытое распоряжение Политбюро ЦК КПСС о том, что газете [должно быть] позволено чуть больше, чем остальным. Как повторить тот триумф, как поднять тираж с теперешних 100 000 (это без приложений) до бывших 6 000 000? Если наша суверенная демократия будет, как это наметилось, идти к сувенирной демократии, в обществе снова возникнет голод на честную аналитику и честную интеллектуальную фронду, и будет принято закрытое решение Администрации президента о том, что нам можно больше, чем остальным, — то мы повторим старый рекорд «ЛГ»...

Юрий Поляков — писатель, публицист, поэт, драматург, литературовед. Родился 12 ноября 1954 г. в Москве в рабочей семье. Окончил литфак Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской в 1976 году. Как поэт впервые опубликовался в газете «Московский комсомолец» в 1974 году, первая книга стихов «Время прибытия» вышла в 1980 году с предисловием Владимира Соколова. Отслужив в армии (1976—1977), написал повесть «Сто дней до приказа» (1980), которую напечатали только в 1987-м. В журнале «Юность» (1985, январь) опубликовал повесть «ЧП районного масштаба» о подноготной аппаратчиков ВЛКСМ (написана в 1981-м). О школе написал книгу «Работа над ошибками», которую экранизировали и поставили по ней спектакль «Кресло». С этих трех книг началась слава Юрия Полякова.

Работал в газете «Московский литератор», в журналах «Смена», издавал альманах «Реалист». С 2001 года — главный редактор «Литературной газеты».

Кроме упомянутых самые известные книги Полякова: «Апофегей», «Демгородок», «Козленок в молоке», «Небо

падших», «Замыслил я побег...», «Возвращение блудного мужа», «Грибной царь».

Общий тираж книг Полякова давно перевалил за пять миллионов.

Почти все его сочинения экранизированы, многие переведены на иностранные языки.

Пьесы Ю. Полякова «Левая грудь Афродиты», «Хомо эректус», «Женщины без границ» и другие идут в России, СНГ и дальнем зарубежье в десятках театров.

Кандидат филологических наук. Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

Женат, есть дочь, внуки.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН:

«Нацболы прокляты властью, народом и зоной»

Прилепин, как говорят в таких случаях, ворвался в литературу. Деревенский парень, выпускник провинциального филфака, нацбол, он в составе ОМОНа воевал в Чечне, родил трех детей и стал писать книги — настоящую крепкую прозу. У него есть, как вы видите, биография — а это для писателя самое дорогое.

Я встретился с Прилепиным сразу после вручения ему премии «Ясная Поляна». За книгу «Санька». Вручал лично директор музея граф Владимир Толстой. Один из критериев выдвижения книги на премию — а понравилась бы она Льву Николаевичу? Вроде, значит, должна была...

Дипломат, писатель, мент

— Захар! Что-то ты изменился. Был худой такой, на волка похож. А теперь как-то покруглел, мирный стал...

— Хороший зачин. Я только что вернулся из Польши, встречался там по линии ОБСЕ с послами Великобритании, Америки, Финляндии, прочих стран и, понятно, старался быть дипломатичным и толерантным.

— Это ты в качестве писателя Земли Русской встречался? Или как ветеран ОМОНа?

— В качестве представителя э-э-э... «Другой России».

— Ах да, я и забыл, ты ж оппозиционер...

— Но не дипломат. Сахаров из меня получается плохой, хотя я старался... Мне много чего не нравится в стране. Ну и что ж я буду об этом говорить с американским послом?

— Ну и чего ты им в итоге рассказывал? Какая была у тебя позиция?

— Я старался выстраивать нормальное человеческое общение. Для того чтобы, когда они — представители режима — будут сажать следующую партию моих знакомых товарищей и соратников, следующую партию пацанов...

— Партию в каком смысле?

— В смысле, порцию. Так вот. Когда начнут сажать, чтоб была какая-то возможность на них воздействовать. Когда в отделение милиции звонят послы семи стран и спрашивают: «А где у вас там и как сидит товарищ Петр Сидоров?», менты тут же обращаются к начальству. Это действует. И пока я выстраивал человеческое общение — чисто прагматически, волчье слетало немножко. А час назад я получал премию «Ясная Поляна» и там тоже много улыбался...

— Захар! Вот объясни мне, как так: ты учился на филфаке — и вдруг ты мент...

— Меня все время удивляет этот вопрос. Да нормально все! Мы же все читали учебник по литературе за десятый класс. Чем у нас занимались М. Ю. Лермонтов и Л. Н. Толстой? Они служили в русском спецназе. Будучи фактически филологами.

— Сначала ты, значит, учился, а потом...

— Все параллельно. Я вообще долго там учился, лет восемь. Меня выгоняли не раз...

— За пьянку и аморалку?

— Да нет. Просто уезжаю в командировку в Чечню — и меня нет год. Возвращаюсь — учусь дальше. На вечернем.

— Ты пошел в менты, как Иван Лапшин из кино? Очистим типа землю от сволочи и посадим на ней цветущий сад.

— Абсолютно. Так и было: «Твари, кто посмел?» У меня во взводе был такой Бизя, у него на разгрузке было написано: «До последнего чечена». С такими мыслями ехали на войну... Но потом в Чечне это прошло. Я понял, что чечены ни в чем не виноваты, они такие же несчастные люди. Все изменилось. Романтика — это не долгоиграющая вещь, она быстро кончается. Остается сухой остаток...

Спасибо дефолту

— А помнишь, ты на трассе тормозил кавказцев-дальнобойщиков и брал с них бабки?

— Что, я про это рассказывал?

— Ну не я же.

— Это было, да. Брал с них деньги.

— И нормально жил.

— Не, плохо жил.

— Я вспомнил анекдот. У нас, кстати, в журнале прочитал. Парень пришел из армии и в ментовку поступил работать. Через пару месяцев ему делают замечание: «Почему за зарплатой не приходишь?» Он удивился: «Как, тут еще и зарплата? А я думал, дали ствол и крутись как хочешь!»

Прилепин долго и заливисто смеется. После продолжает:

— Так все и было! Хорошая история... Значит, 1998-й, дефолт, Кириенко... Я к нему, кстати, сейчас хорошо отношусь. Он не похож на других, он такой energizer.

— Атомный energizer.

— Реально! А в дефолт он, вполне возможно, был фигурой подставной. Значит, в дефолт я работаю в ОМОНе. Зарплату я тоже не получал, потому что ее — 500 рэ она была — не платили. По полгода. А давали нам только пайковые — 300 рэ в месяц. А у меня в 1998-м как раз ребенок родился первый. У жены пропало молоко. Банка молочной смеси стоила 80. Я покупал четыре банки с пайковых, и сын их съедал за три дня. Денег нет, хоть вешайся иди. Ну я иду на трассу: «Привет, Кавказ!»

— Типа, что везем?

— Нет, я ничего больше не говорил, я же не гаишник, ничего не знаю. Торможу — и они ко всему готовы, сами все знают. Платят и едут дальше. Могли посадить запросто меня. [Если б поймали.] Хотя нет, просто выгнали бы из ментовки.

— По сколько ты брал?

— Не буду говорить, ты что.

— Все-таки признайся, ты в менты пошел, чтоб после описывать?

— Не, я вообще писать не собирался. Даже в голову не приходило!

— Тогда зачем филфак, тебе что, учителем хотелось стать?

— Не то чтобы хотелось, но я этого не исключал, мой отец в школе работал. Кузина моя, вся такая воздушная и литературная, пошла на филфак, и я с ней. Просто надо было куда-то идти... Мог бы и в медицину, это я после понял, в ОМОНе. Нас возили по моргам, показывали трупы — проверяли на восприимчивость. Меня это, оказалось, не трогает... Пацаны у нас на курсе все были чистые филологи, а я качался,

занимался спортом, стрельбой — нормально себя чувствовал. Потом был академ, я в армии послужил, по специальной ельцинской программе, неполный срок — тогда была такая возможность. Мать тем временем почти обнищала... Сестра с ребенком... В начале девяностых все сразу стали нищими. И я пошел работать в ОМОН.

— То есть добровольцем в Чечню.

— Ну да, в 1996-м все было понятно: раз ОМОН — значит Чечня. Осмысленно все. Мне двадцать два тогда было...

— Немало ты положил там людей?

— В упор никогда не убивал никого. Такого не было. А пацаны убивали, да... Там были вообще дурные ситуации. Помню, чеченцы в очередной раз захватывают Грозный. Идет обстрел штаба округа. Мы в ответ стреляем по хрущевке, где засели боевики. Потом ведем зачистку, и выясняется, что кто-то из наших попал в ребенка. До сих пор ночами снится — а вдруг это я в ребенка попал?

— Вернулся ты — и пошел в газету.

— Да... Я очень быстро сделал карьеру журналиста — на нижегородском уровне, но тем не менее через два месяца стал редактором газеты «Дело».

— «Дело» — хорошее ментовское название.

— А мне никогда это не приходило в голову! Я тогда читал «Лимонку» и «Завтра».

— А что ты в рубашке черной ходишь?

— Так я тринадцать дней дома не был! Все в пути... Немаркий цвет...

— Во-во, ваши всегда так говорят. Никто не признается, что черная рубашка — неслучайна...

Политика

Неожиданно он переходит к теме 1991 года.

— Я был в Москве тогда, 19 августа. Ходил с колоннами.

— Напрашивается вопрос: ты на какой был стороне?

— Я уже тогда был за «ублюдков» — националистов и антисемитов. Но колонны были в основном демократические, других не было, вот я с ними и шел. С кем было еще идти?

— А в 1993-м ты был как и где?

— У меня тогда отец умер, мне было ни до чего. Я б, конечно, хотел, чтоб Союз был, но он распался. Боженька, он в курсе всего и ничего просто так не делает. Распался — значит, так было надо. Довыебывались русские, все от нас устали...

— Захар! У тебя в книжке «Санька» мелькнула мысль, что страна держится только на власти. Лимонов твой писал, что в Москве молодые люди еще могут как-то устроиться, а в провинции им дорога или в бандиты, или в менты. Люди пьют, мужики мрут, это от безнадёги, как ты верно пишешь... И отсюда ваш брат нацбол выводит необходимость протеста. Но мне чего-то не хочется новой революции, когда полстраны режет другую половину.

— И мне не хочется.

— Но вы же, нацболы, хотите облить страну бензином и поджечь!

— Да мы ни одного человека не убили и вообще никого всерьез не обидели! А наших сто двадцать человек сидело в тюрьме. Сажают студентов ни за что. Или того хуже. Вот у нас пацан залез с флагом на McDonald's на «Марше несогласных». Так его сбросили с трехэтажной высоты, сломали основание черепа и позвоночник, человека сделали инвалидом и уродом ни за что. Стерпели вы этого пацана? Не вступились, не подписались? Типа, хер с ним? А за это спросится! Сгусток зла увеличивается... Оно копится, и будет отдача, и она снесет страну. Революция делается не людьми, а космическими энергиями. Вы вспомните, как сидели в своих редакциях, в своих Кремлях — и смирялись с неправдой... И когда придет отдача, тогда не жалуйтесь.

— Надеюсь, что пронесет. Вот, Захар, одно дело, если б ты был чистый политик...

— Тогда б мне не дали нигде сказать. И слушать бы не стали.

— Вот именно. Ты интересен как русский писатель. Которому положено болеть за правду, справедливость, за народ и все такое. Когда писателя заносит на поворотах — это святое... А как политика я тебя вообще не рассматриваю. И зря ты пытаешься меня разводить и пропагандировать. К тому

же меня сильно смущает слово «большевистская» в названии твоей партии.

— А меня — нет.

— Захар! Ты говоришь, что надо изменить жизнь в стране и начать жить по новым правилам. А как ее изменить, жизнь-то? Люди остаются все такими же. Уже поменяли строй один раз, и?

— Вся эта теория неправильная. Это теория профессора Преображенского, который говорил: «Не ссыте в подъездах!»

— Что ж плохого перестать ссать в подъездах?

— Все пиздеж и провокация, все не так.

— Что ж плохого не ссать в подъездах?

— У вас, у либеральной сволочи, свои подьбеки.

— От большевицкой сволочи слышу! Вот ты писал, что есть некая энергия снизу, которая идет от народных масс, она будто бы нарастает и может изменить страну без революции. Где ты увидел эту энергию? Где доказательства? Ты мент, я бывший криминальный репортер, мы же должны рассматривать доказательную базу. А если ее нет, то такое дело в суде разваливается.

— А в суде любое русское дело разваливается.

— Твоя газета, кстати, называлась «Дело».

— Русская история развивается не по кругу, а по спирали, потом по зигзагу, потом как угодно! Она прыгает, как сумасшедший кузнечик, как беременная кенгуру... Была ситуация в конце восьмидесятых, когда журналы и ТВ давали тысячи статей и сотни фильмов, чтоб доказать, что Россия — это Верхняя Вольга с ракетами, что это тысячелетняя раба, что советское время — черная дыра, куда провалилась история XX века. Это вдалбливалось с удивительным постоянством. А что такое была газета «Завтра» против этой масштабной кампании? И вдруг спустя двадцать лет русская нация начинает говорить: нет, ребята, нас это не устраивает, мы хотим вернуть в лексикон слова «империя», «русский», «холодная война»... Коллективный разум нации не поддался воздействию СМИ, он выжил. Но теперь авторитарная идеология возвращается — и бьет по мне по первому. По нам...

Проханов выдвигает идею, что Россия жива, пока в ней есть хоть один праведник. А я говорю, что Россия жива не праведниками, она жива проклятыми. Пока в России есть реально жертвенно проклятые — вот мы, нацболы...

— Кто проклял-то вас?

— Ответ очевиден: мы прокляты, с одной стороны, властью, которая наших сажает в тюрьму, а с другой — народом, который не понимает, почему наших посадили и зачем их оттуда вытаскивать. Но это, прошу прощения, реальные мученики за народ. Это и есть русские праведники — равно проклятые. Зонай они тоже прокляты... Но все нацболы, кто сидел, были в авторитете. Они там дружили с чеченами. Они выживают вместе с чеченами. То, что они дружат, это дурной звонок нынешней власти.

— А тебя если, не дай бог, посадят, то на ментовскую зону?

— Да. Но я ж не прокурор, к спецназовцам там нормально относятся. Я не боюсь.

— Почему?

— Да потому что ничего не надо бояться. Все, чего ты боишься, к тебе приходит. В жизни получается только то, на что тебе по фигу. Разве не так? По фигу на эту женщину, на этот кусок почвы, на эту территорию... Ты легко к этому относишься, будет это твое — хорошо, а нет — и ладно, значит, Бог так решил.

— Это мы говорим о твоём литературном успехе?

— В том числе о нём. Очень хороший вопрос. Очень точный вопрос.

— А тебе не в падлу соблюдать партийную дисциплину, ну там демократический централизм и прочее? Голосовать, как прикажут? Партия — это же, как говаривал Солженицын, намордник на личность.

— Все херня. Ни разу за все эти годы в партии мне не звонил Лимонов и не говорил: «Делай то-то и то-то».

— Но ты обязан голосовать, за кого скажут?

— Нет.

— То есть у вас не партия, а клуб по интересам.

— Формально у нас партия... Но все могут послать нах всех.

Чечня

— Расскажи, пожалуйста, про эту схему, когда федералы то брали Грозный, то сдавали. Это тема предательства?

— Я один раз был свидетелем. Мы там встречали генерала из Москвы. Он и наш генерал, оба такие трошевского пошиба, с розовыми лицами, целуются, обнимаются. Садимся в козелок... Наш спрашивает: «Как дела?» Тот ему кидает папку с бумагами на колени. Наш раскрывает, читает бумагу и орет: «Как выпустить? Как раскрыть кольцо? Мы их полгода искали, нашли и зажали!» — «Ничего не могу сказать, такой приказ: дать боевикам коридор, чтоб они ушли из ущелья». Это происходило не то что раз и два, это происходило постоянно!

— Может, это закон русской жизни в таком случае?

— Если бы это был закон, то русские не стали бы, прости меня, строителями великой империи. Потому что люди, которые все покупают за бабки, не способны больше ни к чему другому, как жить на Лазурном берегу. Но тем не менее мы по финансовым причинам сдали первую чеченскую войну: там отмывались бабки, их слали на восстановление школ, заводов и пароходов — и крали. А вторая война была сдана по политическим мотивам: Путин хотел остаться в истории как замиритель Чечни наподобие генерала Ермолова. На самом деле там никакого мира нет. Как только федеральные войска уходят из Чечни, там начинается гражданская война. Кадырова убивают за полчаса до вывода войск.

— Старого или молодого?

— Старого уже убили. А теперь чеченские кланы убьют молодого. Там же кровная месть, безвластие, бандитизм. Все держится только на федеральных войсках.

— Вот люди, которые воюют в Чечне, готовы они умереть в бою?

— Да.

— А можно было не выполнить приказ и уничтожить боевиков, а потом хоть трибунал с расстрелом? Были такие случаи?

Молчание.

— Почему не было?

— Зато были случаи русской смекалки. Вот тогда в козелке... Наш генерал еще раз смотрит в папку: «Я все понял! Приказ вступает в силу в семь утра. А сейчас десять вечера!» Он тут же берет рацию и поднимает вертушки, они летят к ущелью и бьют по боевикам. Так было!

— Но невыполнение приказов невозможно.

— Мы именно поэтому все и просрали в стране. Переломить ситуацию мог каждый из нас в тридцати восьми случаях! Вот Политковская... Она честная женщина. Она ответила за базар. Она полетела тогда в Беслан, но в самолете ее отравили. Я не любил Масхадова, я воевал с чеченцами, но я понимаю, что в той ситуации, когда Масхадов был готов к переговорам с федералами в присутствии Политковской, можно было спасти несколько сотен детей. Но эту ситуацию обломали, и ничего не получилось. Ее траванули и после застрелили, сами чеченцы. Сперва ей выстрелили в спину, она обернулась и, видимо, узнала стрелявшего, и тогда ей выстрелили в лоб. Дай Бог всем русским мужикам такой судьбы.

— Это смерть солдата?

— Это как Пушкин... У него была странная судьба — пьянство, карты, бабы... Раненый Пушкин упал на снег и сказал противнику: «Стой, я продолжаю дуэль». И выстрелил. Такой выстрел на снегу исправляет любой путь судьбы. Вот и у Политковской был выстрел на снегу. Такой выстрел определяет путь и судьбу. Человек может неправильно прожить всю жизнь, но в финале он ставит такой восклицательный знак.

Литература: сверхзадача

Мы снова возвращаемся к литературе.

— Биография писателя — это половина успеха.

— Да. Хорошо писать на русском языке может много кто. А отвечать за базар — таких намного меньше. Сережа Есенин отвечал за базар. Володя Маяковский отвечал. Николай Гумилев...

— Пушкин...

— Да. Пушкин, Лермонтов, Толстой. В русской литературе главное — отвечать за базар.

— А старики не ответили. Ты жаловался на шестидесятников, что советская власть их и давила, и дарила как-то вяло, у них к ней ни любви, ни ненависти, а так...

— Да... Говорили много, а за базар не ответили. И советские, и антисоветские. Вот ответил Солженицын, которого я не люблю. Он сильно переоцененный автор.

— Я встретил такой отклик на твою книгу: «Это — лучший довод в пользу эмиграции».

— Ха-ха-ха!

— Может, нельзя так на слабых людей давить? Прочтет человек и сопьется или застрелится после твоей книжки...

— Я книгу писал, чтоб у людей создалось четкое впечатление. Либо ты обманываешь себя и думаешь, что живешь в хорошей, нормальной стране, несмотря на то что Россия подыхает. Либо ты вытаскиваешь страну живыми руками из земли так, чтоб под ногтями была земля...

Планы

— Ну а теперь расскажи о своих планах.

— Политических, жизненных, писательских?

— О всех.

— Политической амбиции у меня нет ни одной. Политику ненавижу всеми фибрами своей души. Это пристанище уродов и негодяев.

— А что ж ты тогда там делаешь?

— Потому что если не я, то ублюдки в высоких кабинетах будут думать, что политика — это их личное дело. Если не я и не несколько сотен мне подобных, они подумают, что рождены, чтоб этим всем рулить. Они не имеют на это никакого права! Потому что я сын своей страны и имею право голоса по любому вопросу. И меня должны слушать. Потому что я честно заработал это право по всем жизненным путям. Если говорить о теории малых дел, то все дела я сделал:

вкрутил лампочку в подъезде, родил троих детей, заплатил налоги, отстрелял из автомата, отучился в институте, прочитал десять тысяч книг — я все сделал. И теперь вы будете слушать, что я говорю. Дальше. Планирую написать книгу о Леониде Леонове, который является крупнейшим русским писателем XX века после Михаила Шолохова. Леонов — абсолютный гений русской литературы. Стопроцентный!

— Но ведь Леонова никто не читает.

— Это ты не читаешь! А вот проведи среди русских писателей опрос, кто у них самый любимый автор второй половины XX века. Леонов будет вторым после Распутина. Если я верну это имя в читательское пространство, буду считать, что моя жизненная задача выполнена на девяносто девять процентов. «Вор» Леонова — это увлекательней, чем «Идиот». «Пирамида» — самый умный роман XX века. Книга «Evgenia Ivanovna» поэтичней всех рассказов Бунина вместе взятых. Некоторые его книги вызывают во мне ощущение ледяного ветра, бьющего в лицо. Леонов для меня — абсолютное физиологическое удовольствие, я над Леоновым просто плачу.

— Ну так иди и пиши, на хера ты залез в политику! Крутишь эту шарманку бесконечную...

— Эх! Я тебе душу раскрыл, а ты мне такое: шарманщик...

Настоящее имя Захара Прилепина Евгений. Родился он в деревне Ильинка Рязанской области в 1975 году. Сын учителя и медсестры. Закончил филфак Нижегородского университета. Член партии нацболов с 1997 г. Воевал в Чечне на обеих войнах как командир отделения ОМОНа. Женат, отец троих детей. Няня его детей, Наталья Викторовна, чтоб вы знали, — из рода князей Пожарских. Автор романов «Патологии», «Санька», «Грех», «Обитель». Финалист и лауреат премии «Большая книга» и прочих. Участвовал во встречах писателей не только с Сурковым (в Кремле), но и с Путиным (в Ново-Огарево). На встрече с президентом Прилепин предъявил ему претензии по поводу политических свобод.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ:
«Я — матерый разбойник»

Он был при советской власти обычным номенклатурным писателем: ездил в командировки, хвалил великие стройки, атомные подлодки. Кто это все читал? В те годы властитель дум из Проханова был никакой.

Под занавес старого режима он начал издавать скандальную газету «День», его обзывали антисемитом, — это уже было оригинальней, но, впрочем, тоже вяло. Проханова считали персонажем скучным и ограниченным. И вдруг этот человек уже, по сути, в пенсионном возрасте написал бестселлер «Господин Гексоген», после чего вдруг стал звездой ТВ и радио. И стало наконец ясно: Проханов — яркий человек.

К барьеру с Жириновским

— Александр Андреич! Я давно наблюдаю за тобой. Сегодня, когда все вокруг как-то сдулось и поскучнело, ты — один из немногих ярких людей, которые еще остались.

— Я действительно яркий? И в профиль, и в фас яркий? Да, есть во мне какое-то свечение, я чувствую. Особенно это в темной комнате видно. Вот у Анны Карениной в темноте глаза светились, так и у меня тоже...

— Все б тебе шутки шутить... (Хотя это он, может, от смущения. — И. С.) Много кто уже сдулся. А ты не прокалываешься. Держишь уровень. Вот ты Жириновского как-то уделал на дуэли, в передаче «К барьеру». Там счет был приблизительно 75 000 : 26 000. Многим это показалось странным, но большинство зрителей проголосовало за тебя.

— Ну, Жириновский — это не вопрос интеллекта, не вопрос политических симпатий, это вопрос энергетической наполненности. Бывают такие децибелы ужасные, которые валят с ног. И вот Жириновский включает как бы такие жуткие громкоговорители, настолько мощные, что с ним практически никто не может справиться. Я пришел на передачу...

— А он слова не дает вставить!

— Не дает! У него магический крик. Он тебя поражает.

— Шаман.

— Да. Шаман. Эта энергия модулируется в какое-то безумие. Он тебя облучает, он на тебя брызжет сначала мертвой, потом живой водой, он плюется — у него огромное количество эманаций. И я вот пришел, постоял, постоял... Смотрю — весь оплеванный стою, оглушенный, пуговицы с моего пиджака начинают опадать от крика Жириновского. Да что же это такое? И тогда я взял и включил свои установки. Я их очень редко включаю, но они у меня есть. И пошел на форсаже.

— Ну ты ж авиационный инженер все-таки.

— Я авиационный инженер и матерый разбойник, я знаю, как оторваться! И я включил свои форсажи, сначала по левому борту, потом по правому, полыхнул... И я смотрю — его копилка начала меркнуть, меркнуть... И к концу первого раунда Жириновский погас.

— Вот меня спроси, про что вы там оралы — я не смогу пересказать. Осталось только ощущение битвы.

— Да и я тоже не помню, про что мы говорили! Я включил свои источники модуляции, свои торсионные двигатели — и промодулировал их чистой ненавистью. Это была ненависть не на поражение, а на подавление. Этот мой поток энергии сразил его, и довольно быстро он смирился. А потом мы ушли в предбанник и там дружно пили коньяк. Я достал чистый платок и отер его кровавый пот.

— Эта победа дорогого стоит.

Евреи

— И тут мы плавно от частного случая с Жириновским, который, как известно, еврей, плавно переходим к еврейской теме вообще. Тема эта очень провокационная. Ты как только ее поднимаешь, так сразу и подставляешься. Чуть кто начинает про еврейский вопрос, сразу кричат — дурной вкус, то-сё...

— Я на «Эхе Москвы» веду иногда передачу «Особое мнение». Так сложилось, что моими слушателями являются в основном евреи — как московские, так и израильские.

— Я заметил, тебе туда часто звонит некий Соломон из Саратова.

— Да, и Моисей еще звонит. И Абрам, — все библейские имена. С одной стороны, они мучаются, а с другой стороны, ждут этой встречи. Это встреча как бы старинных любовников. Они присылают мне книжки из Израиля.

— Типа «Бей русских, спасай Израиль»?

— Нет, нет! Книги, в которых они объясняются в любви к русским снегам, к России. И там картинка — под полярым небом в снегу стоит семисвечник. Отношения с евреями, если они длительные, если они непродуманные, если они не имеют коммерческой базы — они могут сложиться очень хорошо.

— Ну разные люди по-разному относятся к евреям, но не особенно об этом распространяются...

— А мы — говорим. К евреям я отношусь лояльно. Еврейский вопрос мне просто навязали, точно так же, как на Чубайса навесили все беды страны. В меня как в мусорную яму сбрасывают накопившийся в обществе антисемитизм... Я скажу с долей иронии, не переводя это в серьезную политологию, что я по своей природе, по натуре, — империалист. Причем империалист, который равнодушен к тому, какая социальная система на дворе, какой официально строй. Лишь бы оставалось великое пространство, великий субъект имперский. И потому в русской истории евреи, как только появились, стали играть имперскую роль. Шафиров — пленец гнезда Петрова. Это любимый человек Петра, это премьер Фрадков петровского времени, в одном ряду с Брюсом, Репниным, Меншиковым. Он ведал финансами и сопровождал Петру в баталиях. Это такой первый заметный и положительный еврей в истории Государства Российского. Тогда же и негры пришли — Ганнибал, к примеру. А великая империя не может быть антисемитской. А что такое великие советские евреи? Сколько сделали для страны! Еврейская проблема опять вспыхнула остро на стыке 80—90-х, она, конечно, была связана с тем, что советские евреи перестали чувствовать себя частью советского социума. И они стали выдираться

из него, причем достаточно умело. Это прежде всего такие евреи, как Березовский и Гусинский, — особенно последний демонстрировал свое еврейство. Он был председателем РЕК и в Израиле рассказывал, что евреи владеют 50 процентами недвижимости и 80 процентами всех русских капиталов. Тогда же писатель Тополь (мы в своей газете шутили: что такое Тополь — это ракета, дерево или еврей?) выступил против этих ужасных заявлений олигархов, укоряя их в том, что они провоцируют народ, и действительно тогда была вспышка антисемитизма.

— Мне, кстати, тоже казалось, что некоторая беззастенчивость и личная нескромность Березовского могут евреям боком выйти.

— Да, да! Но, как это ни странно, после того как Путин потеснил и кастрировал пару-тройку олигархов, антисемитская тема ушла в подклеть. Правда, сейчас опять с этим проблема...

— Что, из-за Ходорковского?

— Думаю, что не из-за него. Это связано с тем, что в Израиле настали плохие времена. Начинается бегство оттуда евреев, пошла реэмиграция. Они едут в Россию! В Москву приехало оттуда 53 000 евреев. Сионистские группы, которые работают по всему миру, пытаются создать ощущение, что в России фашизм и погромы, типа — ребята, не покидайте родную землю. Ну что еще сказать про евреев? Некоторые из них меня достали, честно тебе скажу. Такой есть еврей Брод, и чуть ли не после каждой моей статьи подает на меня в суд и пишет в прокуратуру. Могут упечь!

— Да ладно!

— Вот те крест.

— Это после того как Лимонова выпустили?

— Конечно, кто-то ж из писателей должен сидеть.

— Но я считаю, что прогресс в стране налицо. Раньше писателя или поэта убивали на дуэли, а теперь ему дают дожить до пенсионного возраста, после чего на пару лет сажают в тюрьму, где дают возможность много и плодотворно писать. Смягчение нравов!

Лаэртский

Ты с Сашей Лаэртским составлял прекрасный дуэт. Когда вы выступали в паре. У тебя в газете «Завтра».

— Казалось бы, мы несравнимы: он срамник, матерщинник, непристойный, — но при этом изысканнейший собеседник, фантазер. Я тоже обожаю брехать, но такого восхитительного трепача я еще не видел! Это безответственный безостановочный треп... В юности я был в среде лингвистов, которые чувствовали звук и постоянно играли, экспериментировали в таком роде: «Я пойду на Волгу, а какая там влага; влагалище, пещера Ваала и Валгалла». Вот и с Лаэртским у нас было наворачивание огромных каруселей словесных, в которых, казалось бы, нет ничего, кроме дури. Но внутри этих разговоров какое-то странное солнце начинает зажигаться. Странное солнце... И это солнце зажигаешь не только ты, но и он тоже, и мы вместе становимся жрецами этого загадочного таящегося солнца. Лаэртского, кстати, выгнали с работы чуть ли не из-за меня.

— Да, была версия — якобы из-за того, что он хотел сделать с тобой беседу в прямом эфире «Эха Москвы». А Венедиктов, начальник «Эха», придерживается другой версии: Лаэртский обещал не ругаться в эфире матом, а после взял и заругался... Лаэртский уверяет, что матом не ругался, но «пизда» для него не мат, кстати, при этом. Поди разберись там у вас...

Советская романтика

— Скажи, а с чего ты начал свое писательство?

— Первая моя книжка — о русской природе, это книжка-лубок, книжка-изразец. Там про мои поездки по деревням, про жизнь на природе... Я же был лесником, жил в деревне, среди крестьян, среди народа. И этот мой уникальный опыт вдруг показался интересным «Литературной газете». Мои большие очерки о песнях, нравах, игрушках народа... Я вышел из леса и искал себе применения. Очерки понравились

«Литгазете». Я был взят на работу и выполнял в газете эти свои хохломские узорные нарядные работы.

— Хохлома — от слова хохол?

— Думаю, конечно, это так... Я страшно любил стройки громадные. Я обожал техносферу советскую.

— Я тоже на БАМ ездил. Огромные траты, привлечение эков, плакаты с фальшивыми комсомольцами, спирт по 7.65, драки на танцах, дефицитные дубленки и чешское пиво в свободной продаже — это все было. А романтики я что-то не заметил там.

— Тында меня тоже не поразила в ту пору. Но экибастузский карьер, эти гигантские ТЭЦ! Потом, объездив экономическую техносферу, я приступил к техносфере военной. Я был единственный из советских писателей, кто описал всю ядерную триаду. Автономка на лодке, дозаправка в океане, ядерный взрыв на полигоне в Семипалатинске, запуск первого «Шаттла» советского... Я обожал это. И описал это. Я счастлив был видеть советскую техносферу, хоть на излете. Философия освоения пространства, экспансия. Огромная энергия. Почему я стал таким лютым оппозиционером? Потому что я видел, как оборвался этот полет. Делались огромные накопления, было ожидания великих родов — но вместо этого закололи младенца, который был в чреве.

— Народ наш оказался не такой романтический и имперский, как ты, а попроще, ему хотелось не ядерной триады, а джинсов и колбасы.

— Ты не понимаешь. Дело все в том, что царская империя себя исчерпала. По всем статьям. Рухнула. Потенциал, который был заложен в царской русской империи, он сдерживался, и потому он рванул, и все лопнуло. Без этой оболочки потенциал обречен был выветриться, исчезнуть. Но нашлись люди, имя им большевики, которые опять свинтили это, на эту бочку разлетевшуюся они надели обручи. Они исправили ошибку Февральской революции, после которой страны не было, все летело к чертовой матери. Учредительное собрание, которое сейчас воспевают, — оно бы узаконило уход Украины, отпадение Кавказа, Средней Азии и так далее.

— Ну и 1991 год наступил бы быстрее.

— Поскольку та структура изжила и израсходовала себя, большевики предложили другую структуру. И ее можно было реализовать только теми жестокими и страшными методами, которыми они действовали. Иначе ничего нельзя было сделать. Иначе все бы разлетелось вдребезги. Они собрали все в ядро — где пряниками, где кнутом, где ГУЛАГом, где вручением боевого ордена Красного Знамени пацану, которому едва семнадцать стукнуло. И она, собранная держава, совершила гигантские вещи, которые больше никому не были по плечу.

— А может, и так бы их совершили, и без ГУЛАГа? Вон Штаты без всякого Сталина на Луну слетали...

— Если б не было Сталина и партии, все равно б войну выиграла, лапотными мужиками, без оружия? Ни хера б не выиграла! Войну выиграла организация, супер-организация. Это брехня, что народ выиграл войну! Какой народ?! Тот, который в 41-м завалил окопы трупами своими? Нет, нужны были танки, самолеты, превосходство в артиллерии — мобилизационный проект был нужен! Вот и сейчас без мобилизационного проекта просто пропадем. Как он будет реализовываться — я не знаю. А поскольку все противоречия, накопившиеся к шестидесятым годам, снова не нашли выхода, люди бухали, занимались бытом, трахали баб, какое количество умнейших людей не нашли этого выхода! Как и царь не нашел его. И — все разлетелось.

Христианство

— У нас с тобой, Саша, разные взгляды на Советы. Ты воспевал придуманную романтику, а я работал в подпольном издательстве. Неплохо, кстати, зарабатывал — рублей по сорок в день. Начальника нашего арестовали — и в лагерь. Я в первую очередь про это думаю, когда ты так красиво рассказываешь про свою империю и нахваливаешь ее стройки. За «Евангелие» человека посадили! Кому ж вы, спрашивается, служили в таком случае? Ясно — сатане! И ваша звезда — это же, как известно, перевернутая козлиная голова!

— Ну, церковь царской империи была наполовину атеистическая. Она не заступилась за царя. Только в советское время, когда гонения начались на веру, церковь вернулась в первоапостольские времена, когда сиял огонь Христов. Я говорю тебе по-богословски! Большевики создали сонм святых, сонм мучеников! А если б не создали, где бы были сегодняшние священники?

— Интересный взгляд, парадоксальный. Но я-то тут при чем? Я был простой парень, который тиражировал «Евангелие». А твои имперские чекисты ловили нас за это.

— Но ты же там за бабки работал.

— Не скрою, и за них тоже.

— Это была твоя работа, твой бизнес.

— Да. Но еще я чувствовал себя культуртрегером, — хотя это не так важно. Не пойму, к чему ты клонишь?

— Жалко, тебя тогда не арестовали!

— Типун тебе на язык!

— Если б арестовали, у тебя была б другая жизнь. Ты б, может, стал архимандритом, я б к тебе обращался «владыко», припадал бы к твоей руке. В миру ты Игорь, а так был бы какой-нибудь Вонифатий.

— Лучше уж тогда Филадельф. У тебя был такой знакомый.

— Да, да. Иеромонах Филадельф. Я ездил к нему в Лавру в 93-м, перед бойней. Ездил. Я ему исповедался, рассказал, чего я хочу, чего жду, чего боюсь, — и получил от него благословение. Перед смертью он стал иеросхимонахом Моисеем. Я в какие-то переломные моменты брал у него благословение. Первый раз — когда шел во Фронт национального спасения. Потом, значит, в 93-м. А третье я получил от ныне покойного Николая Гурьянова, на Псковщине. Он мне его дал за год до смерти своей. А газету нашу «День» окормлял отец Дмитрий Дудко. Он считал, что Гастелло и Талалихин — это святые русские. Красные герои крестились кровью пролитой за Отечество и потому заслуживают того, что быть причисленными к лику святых, рядом с Александром Невским и Сергием Радонежским. К иерархам я отношусь очень сдержанно, а к живому православию — прекрасно.

— Ты когда-то думал о монашеской схиме.

— Был момент, когда готов был прийти к этому, но... задержался в мирской жизни.

Слава, деньги

— То, что ты всегда делал в газете «Завтра» с ее скромным тиражом — это была одна история. Но после сокрушительного успеха романа «Господин Гексоген» у тебя началась другая жизнь — открытая, светская, ты стал модным, ты звезда ТВ и радио. Проханов — модный писатель! Что такое? Мир перевернулся...

— Мы все в ситуациях, мы все в запале, и эти ситуации иногда извергают из нас самые непредвиденные сентенции, взгляды, позиции, и нельзя по этим ситуациям определять человека. Человек в динамике. Время сумасшедшее, время меняет планки. Ты неподвижен, а планки меняются. Ты всегда законопослушен, но если планки сдвинуть, ты можешь стать преступником к вечеру.

— Как Солженицын: то его сажают, то награждают, то президента к нему домой везут, — а ведь он всю жизнь одно и то же говорит и пишет, не меняется.

— Да...

— Ты его уважаешь?

— Уважаю, хоть он и зануда. Он зануда и мученик. Что касается изменения моего статуса, то это не стало для меня духовным переломным моментом, я тебя уверяю. Я же playboy, так же как ты, я гуляка, волокита, я богемный человек, меня затолкали на эту войну, когда она началась, а как передышка, как отводят во второй эшелон — то я снова playboy. Но это все для меня не ново — я же еще в советское время пережил успех.

— Ну да, ты же был «соловей Генштаба».

— Да. И в этом качестве я мог улететь в любой штат Америки, сев верхом на любую ракету и соскочив с нее за пять минут до взрыва. Я знал, что такое успех, внимание общества, критиков...

— Это после книги «Дерево в центре Кабула»?

— Раньше! Я написал роман «Место действия», про сибирскую стройку — и сразу стал обожаемым.

— А, производственный роман...

— Но это же так интересно: стройка в Тобольске! Архаика и новое. Я пережил успех... На ТВ я вел программу «Служу Советскому Союзу». Поездки по гарнизонам... И не только. Я объездил весь мир. Я знаю все мировые столицы. В моей жизни был такой период, когда я состоял в руководящем органе Комитета защиты мира — как писатель модный. Это давало мне возможность двигаться по миру. Но на Западе мне нигде не было интересно — ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Берлине. Ни даже в Рио на пляже Копакабана. Вознесенский, Евтушенко, Рождественский ездили в Рим, Париж, Нью-Йорк... Они ездили на Запад, их интересовала западная эстетика, они западники. А я не заразился Западом, я не почувствовал, что я обделен чем-то, что я могу взять оттуда. Куда с большей охотой я мотался по войнам, по горячим точкам. От Никарагуа до Кампучии, от 5-й эскадры на Средиземном море до Мозамбика, — меня вот это привлекало, я всегда был империалистом. Мне интересно было смотреть, как советская империя реализует себя...

— И денег у тебя было полно.

— Конечно. После издания первой книги я уже был обеспеченным человеком. Имел возможность на эти деньги, не посылая жену в шахту, родить двоих детей и вырастить. Причем жена у меня все одна и та же.

— Это круто.

— Это признак ущербности, я понимаю. Убогости и одномерности.

— Да ладно, брось ты, нас таких много. В связи с твоими поездками я подумал: ты, наверно, и языками разными интересуешься.

— Языки? Я больше всего говяжий люблю и бараний, и семенники тоже. По-немецки читаю, английский знаю. По-русски немного...

Войны. Афганистан

— Может, главная твоя тема — это войны. Мне кажется, это связано с тем, что твой отец погиб на войне.

— Мой отец погиб под Сталинградом. Он кончил исторический, учился в аспирантуре, у него была бронь. Так он выкинул бронь и пошел воевать.

— А как ты попал на войну в первый раз?

— Случилось так, что произошел бой на Даманском, на Уссури. И я после всех своих хохломских зарисовок — был отправлен туда.

— А, это когда ты записывал, как плачут и причитают над убитыми солдатами, и опубликовал это?

Он писал об этом так:

Когда случился Даманский, я поехал туда и описал момент, когда на заиндевелые гробы, оставленные в больших штабных палатках — гробы, в которых лежали убитые пограничники, — кидались матери и отцы, которых туда привезли. Я сидел с блокнотом и фиксировал все их плачи, крики, причитания, весь этот причет — я знал законы транса, как в него впадают, истерику горя. Мой репортаж произвел ошеломляющее впечатление. И с тех пор я стал военным журналистом.

— Вот, вот. Я попал туда — и стал баталистом. Когда попадаешь в такую обстановку, то возникают глубокие переживания, связанные с войной, с родиной. Отец под Сталинградом погиб, страна... И это меня очень захватило. И с тех пор я занимаюсь проблемой страны, державы, государства, армии.

— Это понятно. Я, помню, поехал в Чечню в командировку, еще шла первая война. Приезжаю из Слепцовска на «чайнике» в Грозный... Где остановиться? У меня были и чеченские адреса и рекомендации, и армейские. На перекрестке шофер остановился и говорит: «Ну куда? В город или в Ханкалу, в штаб группировки?» И меня пробило: ё-моё, как же я к духам поеду? Когда там, в Ханкале, свои, наши солдаты и офицеры? А в Москве я этого не чувствовал, все было равно — ни своих, ни чужих.

— Ты был как витязь на распутье. Голубчик, вот это оно и есть, самое главное: на войне ты слушаешь голос своей природы, Бога, ты пробиваешься через толстые шкуры наслоений к ощущению своего «я». Войны-то плодотворны для художника, они тебя пробивают насквозь, возникает короткое замыкание, такая дуга вольтова, которая зажигает всю твою сущность внутреннюю.

— За тобой вслед стал ездить на войны Лимонов.

— Он — автономно. Лимонов — он же тоже авантюрист, как и я, во многом. Лимонов — это человек, которому обыденность противна, он ищет экзотику в жизни, он ищет адреналина и подвигов. Лимонов один из самых рыцарских людей нашего времени. И борода у него, как у рыцаря.

— И такая тема: Артем Боровик тоже ездил на войны. Ты его там не встречал?

— Я помню, как он начинал... Боровик-старший приходил ко мне и рассказывал, что вот, мальчик хочет ездить, готовится... Мне нравилось, что он молодой и ездит. Он отправился в Афганистан. Там ему Варенников обеспечил сумасшедшую охрану. После этого Артем получил Красную Звезду — один раз съездив в Афганистан! Мужики пахали там всю войну, и им даже медали не дали. А потом сразу поехал в Штаты и прошел там курс молодого бойца и воспел это все, — это отвратительно. Вся страна воюет с Америкой в Афганистане, наших парней там стреляют из американской винтовки М-16, — а он поехал хвалить это чужое оружие! Я понял, что это распад... Тогда как раз началась травля нашего контингента, нашей армии, ее убиение. Это продолжилось на первой чеченской войне. Те же самые перья, те же самые журналисты мочили наших солдат и в Афганистане, и в Чечне. И довели до гробов. У меня к Боровику отношение сложное. Он очень талантливый человек, но он, конечно, баловень своего отца, баловень системы. Я жалею, что он погиб, он погиб на посту, и все претензии, которые у меня к нему были, — они все сняты его трагической гибелью. Он погиб как военный, — хотя и летел по коммерческим делам. Это неважно. Его догнали, может быть, те пули, которые в Афганистане и где-нибудь еще пролетели мимо.

— Один наш с тобой знакомый знаменитый журналист много лет провел в Афганистане — и не то что в бою не был никогда, так в его сторону даже не выстрелили ни разу.

— Я тебе скажу, что это никак не умаляет его роли. Когда я в первый раз попал в Афганистан наивным молодым человеком, я попал сразу в хазарийский путч. Весь Кабул клубился от взрывов, танки стреляли по толпе, моджахеды пытались взять город штурмом, а десантники их отбивали. Находиться в городе, обстреливаемом артиллерией, — это все равно военная ситуация.

— Помню, как на армяно-азербайджанской войне я попал под танковый обстрел. Я ругал себя страшными словами: вот мог бы сидеть дома на кухне и пить чай под красной лампой, а вместо этого лежу на земле возле машины и страшно боюсь.

— Ты сейчас, наверно, об этом не жалеешь, а радуешься, что это было в твоей жизни! Представляешь, ты бы этот момент пропустил? Радуйся, что судьба тебя кидала, страх — это драгоценные ощущение. Социальный страх, что вот тебя арестуют, — это ценный опыт. Человек, который не пережил социального страха — это младенец, эмбрион. Человека должны одолевать страхи — за любимых, за детей, за страну, за свою жизнь, за свои книги, за святых. Только это и делает нас людьми, понимаешь... Если ты испытал страх в Ханкале, это хорошо...

— Ты же еще ездил к моджахедам, вызволять пленных.

— Я ездил вызволять наших пленных в Пешавар. Была такая сцена. Русские матери приехали туда, Гульбеддин выставил перед нами в ряд 300 калек-моджахедов, сидящих в колясках, с оторванными ногами, и сказал: «Вы просите ваших сыновей? Посмотрите, что они сделали с моими сыновьями!» Русские матери, рыдая, бежали вдоль ряда этих колясок и просили прощения. Незабываемая сцена, перформанс страшный. Но он отдал.

— Всех?

— Одного.

— И Руцкого ты вроде вызволял.

— Нет, Руцкого вызволял Крючков, и Крючков же его представил к герою. Он же выполнял задание КГБ, когда его сбили: мочил одно племя, которое взяло от нас оружие, а потом блядануло и ушло к противнику. Пикантно то, что Руцкой потом арестовывал Крючкова и вел его, пленного, в тюрьму.

— Сбитый летчик... А что с ним делали в плену?

— Много чего. Мучили. Он висел на дыбе... Руцкой — герой. Он такой человек Возрождения: они были отважные, безумные, беспринципные, игроки. И вот он авантюрист такой великолепный.

— А правда, что на войнах в Африке тебя перекрашивали в негра?

— Перекрашивали.

— Ваксой?

— Нет, каким-то военным гримом. Он был грязно-рыже-черного цвета, очень вонючий. Такое ощущение, что его сделали из мускусных желез. Это в Анголе было. Я направлялся в штаб-квартиру Сэма Нуйомы, президента Намибии. Там была база намибийских партизан, мы до Виндхука еле доехали. И на трассе иногда били машины, а белые были валютой, их выменивали потом у буров на своих пленных. Так меня намазали, чтоб я не выглядел валютой.

— Известна твоя позиция: на войне журналисту нельзя просто смотреть, он должен стрелять по противнику.

— Что касается поведения журналиста на войне... Пришел — воюй. Я считаю, что если журналист, который попадает на передовую, требует, чтобы его защищали там, отвлекая на него военных, бойцов, солдат, — это безнравственно. Журналист — такой же, как остальные, он должен участвовать в бою. Я стрелял везде, где только можно стрелять. Вылетаем на вертолетный удар. Ну конечно, я не сижу со штурманом за гашетками, но я — на борту боевого вертолета, весь экипаж стреляет, и я стреляю, бью вместе с командой. И смотрю, как внизу пылают объекты, где сидят враги. Или, скажем, Саланг: идут наши колонны, везут снаряды. Налет душманов на эту колонну. Грузовики горят. А в руках у тебя автомат или гранатомет. Бьешь.

— Много убил врага?

— Неизвестно. Я, может, никого не положил, но я стрелял. По мне стреляли, и я стрелял. Помню случай. Последний штурм Грозного, перед тем как нам откатиться, еще Пуликовский там был, — и группа журналистов попала в окружение. Чтоб их спасти, туда прорвались наши десантники. Человек пятнадцать положили головы, чтоб вытащить журналистов, а те вернулись в Москву и стали писать про армию гадости. Это омерзительно.

— На войнах ты собрал большую коллекцию бабочек.

— Бабочки — это вторая моя тема в жизни. Каждая бабочка — это кусок моей жизни, там зафиксированы все мои дела и боевые операции, любви мои, имена политиков. Медитируя, я погружаюсь в безумие, я смотрю на бабочек и галлюциногенно погружаюсь в свое прошлое. До сих пор бабочки вдохновляют меня на мои писания.

— Кстати о бабочках: ты при советской власти декларировал, что Набоков твой любимый писатель, а потом эта тема ушла.

— При советах все читали YMCA PRESS, которая приходила в огромных количествах. Потом это ксерили и перепродавали. Я тогда перечитал всего Набокова, в ксероксах. Может, это ты и печатал...

— Книжка стоила 20 рублей минимум.

— Тогда я был восхищен этой красотой. И, эпатируя, на одном из вечеров публично сказал, что мои любимые писатели — Платонов и Набоков, что вызвало дриблинг у литературного начальства.

Личное

— Саша! Тебя, раннего, хвалил Вознесенский, а потом спрыгнул. Трифонов тебя опекал раннего, но потом вместо тебя взял Маканина, потому что ты стал что-то не то писать, да? Ты писал, что Трифонов, будь он сейчас жив, ушел бы к демократам.

— Литературная жизнь, она не напрямую отражает социальную и политическую, а как-то сложно, ассоциативно... Поэтому такие люди, как например Синявский, который был

демократом и сидел в лагерях, Владимир Максимов (журнал «Континент») и Зиновьев — они пришли к нам в газету. Их либеральное мироощущение не помешало им в какой-то трагический момент истории соединиться с моей газетой, со мной. Трифонов, наверно, был бы либералом — но не сто процентным. А Высоцкий, я убежден, сейчас не был бы с либералами, он бацал бы свои хрипатые песенки против Кремля, против Ельцина, против Путина. Он не пошел бы в либеральную службу. Окуджава был бы с ними, но Высоцкий — нет, он бы был с народом.

— По-прежнему, как настоящий патриот, на «Волге» ездешь?

— Да, на 31-й «Волге». Люблю тяжелые советские машины. Сам за рулем.

— Про тебя говорят, что ты идеолог двух путчей. Манифест путчистов — «Слово к народу» — ты написал?

— Я! И горжусь тем, что ныне покойный Яковлев [А. Н.] по ТВ назвал меня идеологом путча, а мою редакцию — штаб-квартирой путча.

— Смотри что получается: мечтал ты убрать знаменитых демократических журналистов с НТВ — и вот пожалуйста: твой план выполнен!

— Сказать что я выполнил свой план руками Путина — это будет не совсем правда. Это будет полуправда.

— Кстати, к НТВ и Альфред Кох руку приложил. А вы, левые патриоты, его как-то не жалуete, несмотря на то что он и латышей припечатал, и чеченов, и памятник поставил Александру II.

— Я мало знаю Коха, мы пару раз на ТВ встречались в передачах, и все. Но могу сказать, что он мне симпатичен, это сильный, яркий, циничный, талантливый человек.

— Меня смущает немного то, что вашему брату не нравятся евреи, которые делали революцию, демократы не нравятся, Путин тоже не нравится... Экие вы капризные и переборчивые. Кто ж вам нравится?

— Да всё мне нравится! Мне страшно нравятся евреи, которые делали революцию, особенно когда их кокнул Сталин. Либералы очень хороши, особенно сейчас, когда их вышвырнули

из власти и они без когтей и без зубов... Немцов и Хакамада хороши, особенно когда они неопасны. А сами себе они нравятся, думаешь?

— Давай лучше ближе к телу. У тебя в редакции семейственность: вон родственники работают.

— Да, оба моих сына в газете работают, они у меня оба «белодомцы», в 93-м году на баррикадах были. И зять, и дочь — тоже в редакции.

— У тебя, как у Сталина, две дачи: ближняя и дальняя.

— Я купил когда-то под Дмитровом полдома и там всех детей вырастил. Я называю это дальней дачей. А ближняя — это скромный такой двухэтажный коттедж, за Кольцевой: я его недавно купил, после того как продал квартиру на Пушкинской. Ко мне под окно прилетают снегири, сойки, коростели, — великолепно. Разве можно жить на Пушкинской? Там же такая концентрация энергии. А мне хотелось на природу.

— Тебе на Пушкинской неуютно еще и оттого, что там же была цитадель демократии — редакция «МН».

— Да, была... Еще когда я жил на Пушкинской, помню, из окна видел, как ВТО горело. Я смотрел и радовался.

— Странно. А почему ты радовался?

— Потому что ВТО уже было фашистским.

— Ну, под фашизмом у нас чаще все-таки не ВТО понимают, а другую аббревиатуру из трех букв... Когда я смотрю по ТВ сюжеты про боевых скинхедов, про сочувственное отношение к ним милиции, то мне иногда кажется, что фашизм — это русская мечта.

— Ты знаешь, не будет фашизма. Я всем это говорю. Сегодня в русском компоте очень силен татарский фактор, они просто не дадут все подчинить узконациональному русскому компоненту... В генотипе русского человека империалист сильней националиста. Фашистская идея не будет реализована. Я думаю, мы вернемся к империи раньше, чем победит идея узконационального обороняющегося от нацменов государства. Россия будет создавать пятую империю.

— Это с Путиным, что ли?

— Неизвестно с кем. С Путиным, с пост-Путиным... Неважно. Но империя будет! Без империи нам никак.

Текущий момент. Чубайс и др.

— Александр Андреич! Я, честно говоря, был потрясен финалом нашей прошлой встречи. Ты глянул на часы, встал из-за стола, за которым мы с тобой выпивали, и уехал не куда-то, а в РАО ЕЭС, к самому Чубайсу.

— Я сам потрясен. Это интрига! Утонченное политическое действо — две воюющие армии роют подземные ходы друг к другу.

— И модератором, медиумом, посредником этого выступил близкий тебе полковник Квачков, посаженный в тюрьму по обвинению в покушении на Чубайса.

— Не столько Квачков, сколько странный взрыв, который ему приписывают. Этот взрыв, он как бы разрушил перегородки, отделяющие Чубайса от партии «Родина», от Квачкова, от Ходорковского, а меня — от всего остального мира. И в эту зияющую пробоину ринулись интеллекты, в том числе мой. В первый раз такое было с Березовским. Береза тоже был от меня отделен феноменологией вражды и ненависти взаимной, а потом что-то произошло, — видимо, он утратил равновесие и его сбросили с пьедестала, — и мы перестали враждовать. И встретились. Это породило жуткий хаос в общественном сознании, как среди патриотов, так и среди либералов. В этом хаосе рождается новая жизнь. Вот так и я поехал в РАО ЕЭС, а после на их объект — Бурейскую ГЭС. Я снова ощутил себя молодым мужиком, который мотается по великим стройкам. Здоровья почти не осталось, но, когда я вешаюсь на ЛЭП-500 и на руках перебираюсь с одного берега на другой, здоровье возвращается.

— А как произошло это экзотическое сближение тебя и сил Чубайса?

— Зачем тебе технологические подробности? Давай это в таких терминах опишем. Шла грызня Проханова и Гозмана на ТВ, была свирепая ненависть патриотической группировки к либеральной и наоборот. Но однажды после очередной баталии противники встретились в гостевой комнате. Два утомленных войной человека выпивают по рюмке

коньяка и размышляют о нелепости этой изнурительной конфронтации. Я сказал: «Хочу посмотреть ваши объекты и убедиться что это не туфта, не блеф». Гозман обещал подумать. Через несколько дней последовал звонок, и меня позвали на станцию. Я полетел туда с их благословения. Там меня встретили, окружили заботой и вниманием, все показали, от людей до бетонных работ.

— И Чубайс летал?

— Нет, конечно. Он ждет, что я сделаю, вернувшись со станции, — вылью ли на него ушат патриотической грязи...

— Ты раньше много летал по великим стройкам коммунизма. Что изменилось с тех пор?

— То, что раньше мы могли строить двадцать станций одновременно, а теперь только одну, и то с огромным напряжением. И еще: там впервые проявился труд свободных людей, там нет эзков, которые работали на строительстве всех наших станций! Там появилось то, что называется рынком. Проект и оборудование не навязываются теперь Госпланом, можно выбирать между русским и иностранным, проводить тендеры. Идет конкуренция. И конечно, появились в большом количестве западные технологии. В нашу устаревшую, утомленную и обветшавшую за 15 лет экономику врезаются очень точные и прекрасные фрагменты западной цивилизации, идет трансплантация органов — приборы, технологии, внедрение новых изобретений. В этом — новизна. Но главная новизна в том, что кончено уныние! Прошла страшная апатия и депрессия, которую переживал энергетический комплекс — и люди.

— На одной станции это кончилось?

— На одной станции и в одном человеке, — то есть во мне. Я на этой станции зарядился пассионарным потенциалом.

— То есть Чубайс — нормальный парень?

— Не знаю. Это сложно... Чубайс — это на сегодняшний день достаточно трагический персонаж. С одной стороны, он демонизирован, страна его ненавидит вся, от Москвы до самых до окраин. Более того, его ненавидит не только простой народ, лишенный вкладов...

— Минуточку, вклады обычно все-таки на Гайдара вешают, а не на Чубайса.

— Ну, Чубайс тоже с этим отождествляется, — из-за ваучерной приватизации. Его ненавидят и элиты, которые вместе с ним проводили приватизацию, а теперь сбрасывают на него всю гадость и весь хлам. С другой стороны, на станции он кумир, в РАО он бог. И вот есть два Чубайса. Один — за пределами РАО, где его ненавидят, другой — внутри, где его боготворят. И вот такой Чубайс предстал передо мной. И мне предстоит в своих текстах решить эту проблему: Чубайс — кто он?

— Значит, с Чубайсом тебе непонятно еще как быть?

— Чубайс еще совсем недавно, при раннем Путине, чувствовал, что он и РАО являются центром экономической, философской и политической жизни России. Но после Путин сформировал второй центр — Газпром. И Чубайс со своей РАО как бы хиреет, уходит на периферию. И двойственное отношение к нему, растущая настороженность к нему Кремля вообще ставит под угрозу его карьеру. Раньше он был абсолютно уверен в себе, но в таких условиях он перестал быть безапелляционным, начал сомневаться, понимать, что не во всем прав, стал более пластичным и гибким. И это дает возможность взаимодействия с ним. Проще всего демонизировать человека и сбросить его с корабля политики...

— Как это с тобой делали.

— Делали, но уже не делают. Так вот, демонизировать просто — но более тонкая политика в том, чтобы людей соединять, собирать. Конечно, Чубайс — это не бросовая агентура, это — супермен. Он обладает огромным опытом, знаниями, влиянием, его концептуальная башка заслуживает не только того, чтоб ее пробить осколком из гранатомета, — но чтоб подключить ее к идее развития, к строительству новой, пятой империи, которая, я убежден, рано или поздно будет создана у нас.

— Значит, если бы люди, которые хотели Чубайса взорвать, узнали его поближе, они бы отказались от своего плана?

— Возможно. Точно так же, как Квачков, оказавшись на одних нарах с Ходорковским, изменил свое мнение об этом

человеке. Может, Квачков, оказавшись на одних нарах с Чубайсом, и о нем тоже изменил бы свое мнение. Я бы не исключал возможности их взаимодействия.

— А что это вообще за прикол такой в духе «Комеди клуб» — посадить в одну камеру этих двух?

— Да, прикол... Так или иначе это сделано не без умысла Кремля. Это попытка соединить двух диссидентов — патриотического и либерального.

— Чтоб они уничтожили друг друга?

— Нет, нет. Чтоб в общественном сознании возникло ощущение: крайности сходятся, смыкаются.

— И?

— И чтоб оно отвернулось как от патриота Квачкова, так и от Ходорковского — главного нефтяного еврея России.

— А может, оно их обоих полюбит?

— В моем лице — да. Но я думаю, что все-таки это вызвало недоумение. Кремль ведь манипулирует общественным сознанием. Он сводит несоединимое, раскалывает нерасторжимое. И это все порождает психопатическое состояние общества. Квачков и Ходорковский как бы друзья и братья — хотя так нельзя сказать...

— Ты и Чубайс — это тоже раньше казалось несоединимым.

— Просто разгромленные армии пытаются соединиться, так всегда бывает. У патриотов положение ужасное, все патриотические движения и партии деградируют, они разгромлены, они становятся маргиналами, их выдавливают на обочину. И либералы тоже разгромлены, их вытеснили из политики, из культуры, они тоже на обочине. Либералы и патриоты судорожно пытаются соединиться. Из этого кое-что получается, но — немного. Большой синтез, который необходим для создания пятой империи, — он еще впереди. И синтезом будут заниматься не маргинальные силы, а какой-то новый политический субъект, который, скорее всего, родится внутри власти. Сейчас это только мерцает, только проглядывается. Но пройдет совсем немного времени, и мы увидим персоналии, услышим идеологические и политические формулы.

— То есть известные нам еврейские политологи придумают стране идею?

— Думаю, что еврейские политологи, которые придумали нам идею встраивания в западную цивилизацию, будут оттеснены. На их место придут имперские политологи, скорей всего русско-татарские, православно-исламские, славяно-тюркские, — которые сформулируют новую концепцию Евразии и империализма в нетрадиционных формах. А еврейские политологи, как всегда, будут служить силе — умной, грозной, щедрой.

Пятая империя

— Саша! Вот ты говоришь: пятая империя. Почему именно пятая?

— Объясню. Были периоды, когда мы были выше всех! Викинги называли Россию страной городов! (В то время как везде были деревни.) Первая империя — это Киевский период, единая русская империя собирала земли, она простиралась от норманнов до Тмутаракани. Этот период кончился с приходом Батые. Второй период — это московское царство, византийство, Третий Рим, — с Калиты до Ивана IV и даже, может быть, до Алексея Михайловича. Третья империя — Петербургская, Петровская. Тогда народ был превращен в колониальное стадо, в быдло, в черных рабов, и была создана новая элита. Четвертая империя — Красная, она была построена на костях, на руинах, на полупепелище, когда все разрушилось и не было больше ни государства, ни даже самого народа. Вся русская цивилизация рухнула в 1917 году. И Сталин опять все свинтил, сварил железными швами и вывел империю на вершины духа и мощи. А сейчас настало время строить пятую империю.

— Когда решили начинать?

— Уже начали. Строительство идет.

— Народу это неинтересно, он устал и ослаб.

— Чем слабей народ сейчас, тем сильнее он будет завтра. Остатки Красной империи, старые обветшавшие идеи — все будет сброшено с плеч. Будут созданы пассионарные группы,

задействован огромный социальный двигатель. Используем для этого Газпром, РАО ЕЭС, Администрацию Президента. Последние выступления Суркова сквозят чаяниями имперскими. Все об империи думают! Чубайс говорил про либеральную империю, Березовский — про либеральный патриотизм. (Это все равно что летающий бегемот.) Битов писал про империю. Бродский тосковал по ней. Многие авторы сегодня пишут о том же. А литература, она всегда ощущает больше, чем политика. Весь Серебряный век русской поэзии, он чаял революцию, поэты взывали к ней. Они, с одной стороны, тосковали и ужасались, а с другой стороны — чаяли.

— Многие из тех ребят плохо кончили. Когда свершилась их долгожданная революция.

— Понимаешь, художнику не важно уцелеть, ему важно быть свидетелем. Даже если придется за это заплатить головой, он не должен роптать. Маяковский грохнул себя. Есенин — это была такая пылкая, страстная натура, которая не могла не погибнуть тогда. Они все были захвачены жуткой воронкой, коловращением мира, люди просто физически не выдерживали. Но они были свидетелями, они сами выбрали себе эту долю. И Заболоцкий, который сидел в сталинских лагерях, и Даниил Андреев, который сидел в тюрьме, и даже Мандельштам, который там погиб, — они все были внутренне счастливы оттого, что стали свидетелями этих грандиозных титанических сдвигов, они славили эти сдвиги — но погибали. Философия художника вообще такая: иди и смотри, даже если...

Итак, грядет новая империя, зажигается чаяние, фантастическая баснословная мечта! История сожжена. Распри кончились. Настало время объединяться.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН — новая русская правда?

Справка: Сейчас люди так мало читают и так позабыли историю, что, наверно, не лишне объяснить: Валентин Григорьевич Распутин никакого отношения к Гришке Распутину не имеет.

Вместо эпитафии:

Мы всё забудем, всё с тобой забудем,
Когда с аэродрома улетим
Из города, где ресторан «Распутин»,
В край, где живет Распутин Валентин.
(Андрей Вознесенский)

Там дальше еще были строки:

Завидую тебе, орел двуглавый, —
Тебе всегда есть с кем поговорить...» —

они к делу не относятся, но уж больно красивы, и потому я их не могу не привести тут.

Я впервые увидел его живьем так. Однажды в самом начале нулевых великий Распутин приехал в издательство «Вагриус», там как раз вышел его сборник. Офис тогда еще — до всех переездов — располагался на Троицкой, во дворах между Садовым и Олимпийским, в прямо-таки в сельском срубе, который, кажется, как на заказ построили для визитов писателей-деревенщиков. Они туда и ездили охотно, да вот хоть тот же Распутин. А как перебрался «Вагриус» сперва на улицу «Правды» — заметим, что слово это пишется в кавычках, — а после и вовсе в Библиотеку иностранной литературы, напротив «Иллюзиона», так не очень туда заворачивают деревенщики... (Да и я раньше куда чаще бывал в «Вагриусе», в те времена, когда там выходили мои книжки.)

Слово за слово, поздравили, отметили, выпили водки демократично из пластиковых стаканчиков, я посмотрел на

классика вблизи и перекинулся с ним парой слов; приобрелся, значит.

Я смотрел на Валентина Григорьича, конечно, откровенно снизу вверх. Он реально был для меня тогда крепким авторитетом и даже ориентиром. Я прекрасно помнил и имел в виду энергетику его старых книг. Про дезертира. И про деревенских, которые приехали на родину хоронить свою старуху, а она вдруг возьми да оживи. Про затопленные за ради прогресса и, как выяснилось, Абрамовича и братьев Черных (это открылось Распутину) русские земли, — это про Братскую ГЭС, которая строилась для снабжения алюминиевых заводов жирными киловаттами. Я замечательно помнил про воздействие на меня тех книг, и в первую голову, конечно, про дезертира.

Дал бы мне кто сейчас почитать таких книг, чтоб я вот с той же интенсивностью чесал репу! Все ж таки среди книжной дрисни, которую на нас вываливала при советах тогдашняя правящая партия, среди скучных тем и мертвых идей, которыми тогдашний какой-нибудь хитроумный Сурков или унылый аналог Грызлова намеревались нас развлечь, а мы только казали им кукиш в кармане, — Распутин был полноценным сверкающим алмазом.

И я, конечно, глядел на титана во все глаза и ловил его слова, чтоб он ни говорил.

Ну и что ж изменилось с тех пор? Ведь все как было, так и осталось! Распутин жив, пишет, я все так же охоч до хороших книжек, — так почему я про этот пиетет в прошедшем времени? Не из-за переезда же «Вагриуса»? Пожалуй, нет... Наверно, дело в другом. Где-то ближе к середине первого путинского срока я стал замечать, как мельчает все кругом. Люди вокруг становятся все менее масштабными. Политики — все менее похожи на государственных деятелей. Интересы публики — мелкие, всё больше хозяйственные. Застой, что-то в этом роде. Конечно же, он, как и всегда, коснулся литературы, а пуще того — отношения к ней. Писатель уж более не жрец и не носитель истин(ы), а такой же непутевый разночинец, как и репортер, только что пишет меньше и беспорядочней да зарабатывает обыкновенно помене. Ну

и кто ж его будет слушать открыв рот? Бедных не слушают, как заметил кто-то из великих. К тому ж в стране появилась новая околореческая каста — телеведущие. Вот они теперь и властвуют над умами, над бедными русскими умами. Там теперь слава, и деньги, и мода, и ответы на, pardon, духовные запросы, так сказать современности. Оттуда, с ящика, даже Солженицына при жизни ссадили, а уж про Распутина (в смысле Валентина) и говорить нечего.

Короче, тяга советских и постсоветских образованцев к литературе ослабла, а вера в возможность легкого и быстрого — прижизненного еще — нахождения истины сделалась весьма нетвердой. К тому ж мы за это время увидели, что богоносец как-то уж слишком рьяно требует твердой руки, и страстно любит чекистов, и всех соседей вокруг как-то он стал немножко ненавидеть, вплоть до того, что один не последний у нас писатель сообщил мне о своем открытии: «Народ — говно». Смело, резко, даже ужасно в какой-то мере — что ж, идите с ним поспорьте. Народ наш, может, и прекрасен, но хорошего уж не ждешь от него, когда у него в башке собачья чушь из телевизора. И на писательские головы, безусловно, падает какая-то часть вины народа — в смысле простой публики — перед публикой «чистой», в смысле которая на работу ходит «в чистом». Народ поддался, кажется, всем дешевым и постыдным соблазнам, какие только на нас могли свалиться и таки, увы, свалились. То есть искатели истины потерпели поражение.

Оказались неконкурентоспособными.

Так что уж не жжет глаголом сердца людей В. Г. Распутин, да и вообще, как говорят падонки, «не жжот».

Но тогда, тогда! Все было иначе.

Взять хоть 89-й год, когда ВГ «взорвал бомбу» на Съезде народных депутатов. Он тогда, как все помнят, предложил, чтобы Россия вышла из состава Советского Союза. И пусть, значит, союзные республики, раз они такие умные, живут своим умом, хватит доить Россию!

Я, как уже сказано, смотрел на писателя во все глаза и мучился вопросом — а отчего ж он не пишет романов и повестей? Почему ж ушел он в публицистику? Из большой литературы?

Ну наверно, это не только мой вопрос, он многих терзал в те времена, когда еще такие абстрактные вещи вообще могли кого-то беспокоить. На вопрос можно смотреть шире, можно вообще спросить — а где, к примеру, Василий Белов? Который весьма звонко звучал, как мы помним. Где Крупин, бородатый, будто пророк, с попыткой и интонации соответствующие вызвать к жизни? Лихоносов, наконец, стилист удивительной тонкости? Где... э-э-э... нет, те уже умерли, кажется. Живые и мертвые — все они молчат одинаково громко.

— Да такие важные проблемы стоят перед народом, что надо писать именно публицистику! — отвечал мне Распутин уверенно.

— Ну знаете, Валентин Григорьевич, публицистов и без вас много — а вот повесть за вас не напишет никто.

Мне казались его повести страшно нужными тогда. Необходимыми как воздух. Может, я и был прав, тогда-то. Он, однако, отвечал, все с той же уверенностью в голосе, как теперь понятно, я был неоригинален и его достали уже этим идиотским вопросом, я тут цитирую по памяти, могу в словах ошибаться, но смысл точный:

— В дни, когда страна в опасности, нельзя писать повести! Надо всё бросить и уходить в журналистику.

— Это к нам, что ли? — кривился я. — Зря вы это задумали, — высказывал я свое мнение, которого он не спрашивал, и в советах моих, как мы понимаем, он никогда не нуждался. Жил как-то без меня и дальше, может, еще лет тридцать проживет, дай Бог ему здоровья.

Вот в таком приблизительно духе вели мы беседу. Которая стала подходить к концу, потому что ему пора уж стало ехать, да вот беда — машины не было. Должна была машина какая-то прийти, но где-то застряла. Вот мне и нашлось дело, выдался случай помочь писателю Земли Русской:

— Так давайте я вас подвезу! У меня машина внизу...

В отличие от Никиты Михалкова, которого я когда-то — на вручении «Оскар» то ли в 1994-м, то ли в 1995-м точно так же вызвался подвезти в Калифорнии от кинотеатра, где он показывал эмигрантам документалку про свою младшую

дочь, продав ностальгическим старикам 20-долларовые билеты, а он непонятно почему отказался, — Валентин Григорич любезно согласился; ну а почему нет, в самом деле?

Спустились мы, сели в машину... Наверно, это было концептуальное зрелище: я везу писателя-деревенщика от издательской избы на своем автомобиле с сельскохозяйственным названием «Нива» (!).

Поехали мы в центр. Там у писателя была — да наверно и есть, осталась — квартира в чудесном кирпичном доме, двенадцати, кажется, этажей — такие в старые времена доставались счастливым — цековским аппаратчикам и прочим небожителям.

Это его зимняя база.

Тогда там жила, царствие ей небесное, его дочь Маша. Маша Распутина.

Какая суровая, просто черная, ирония — ее, дочку знаменитого «нравственника» (термин Солженицына), звали в точности, как разудалую попсовую певицу, словно в какую злую насмешку.

В пути мы продолжали разговор. Распутин давал мне советы — как вести дела с издателями. Я, само собой, попытался договориться насчет интервью, а то как же.

— Интервью? Нет, не могу сейчас. Нету столько свободного времени. У меня все расписано, и недели на интервью нету.

— Как — недели? В полтора часа уложимся.

— Что значит — в полтора?

— За это время я успею задать все вопросы, а вы ответите.

— Ну это вы успеете. Но мне ж потом надо садиться и все переделывать. Вписывать мысли, идеи...

— А, вот как...

Ну мне, в общем, стало ясно, что вместо интервью получился б манифест, к которому я бы имел едва заметное отношение, так что и незачем лезть под руку. Пускай классик сам пишет свои манифесты и обращения к гражданам России. Он их и так уж написал немало (вам наверняка попадались), но, как ему кажется, недостаточно.

И вот теперь приходится мне писать о Распутине своими словами, ну конечно, с цитированием его многочисленных манифестов. И чужих о нем слов, которых тоже немало сказано — и друзьями, и поклонниками, и недругами. И как ни странно, трезвыми литературными критиками, которые, вы удивитесь, не перевелись еще на нашей почве в эпоху оскудения умов.

CV

Для начала надо коротко окинуть глазом жизненный путь писателя.

Он появился на свет в мощном по рождениям году — 1937-м (15 марта, в один день с Маканиным, в один год с Вампиловым, Юнной Мориц, Высоцким, Ахмадулиной и Аверинцевым). Тогда в СССР как раз был заметный всплеск рождаемости — вот что значит сталинский указ о запрещении абортов летом 1936 года! Наблюдение это не мое, избави бог, — но Андрея Битова, который родился как раз в тот самый год.

Кстати, есть мнение, что деревенщики больше ненавидели советскую власть, чем городские диссиденты, — поскольку они все так или иначе были из семей раскулаченных. Это мне Битов подсказал.

Место рождения ВГ — поселок Усть-Уда, Иркутской области. Видите, какая незадача — деревенщик родился вовсе не в деревне. Но детство он все-таки провел в настоящей деревне, с названием Аталанка, где была только начальная школа, и уж оттуда после поехал в среднюю школу в Усть-Уду. Закончил Иркутский университет (историко-филологический факультет).

Роскошная деталь, про которую ВГ когда-то рассказал:

«Когда попал в Иркутский университет, жили в общежитии тоже коммуной. Братское было отношение друг к другу. Буряты, русские, ребята с Украины... Всё покупали в складчину и ели из одного котла. У нас даже тарелок не было, все своими ложками в одну кастрюлю ездили. Скоро выяснилось, что у меня и еще у одного парня скорость повыше, и,

чтобы всем поровну доставалось, ребята вынуждены были купить нам алюминиевые тарелки».

Так ВГ попал в элиту, стал не как все, обособился, — забавно. И очень трогателен тот факт, что не смог человек сбавить обороты, не удалось ему замедлить движение ложки, какой он черпал из общего котла, обделяя нищих (как и он сам) товарищей. Что тут — азартность, слабость перед лицом инстинкта, легкомыслие его тогдашнее? Красивый случай, его так сразу не объяснишь... Хотя, может, это очень простая история про увлекающуюся личность, которая идет напролом, делает, что должно, что хочется, и плевать что про это подумают другие.

В Иркутском университете на том же истфиле в одно время с Распутиным учились несколько писателей, которые печатали прозу и даже вступали в СП, в их числе тот самый Вампилов. «На старших курсах приходилось подрабатывать на радио, в молодежной газете. Я в то время подружился с Вампиловым. Он учился на год младше, но уже тогда издал книгу рассказов, и я ему немного завидовал. “Чем я хуже?” — думал я и тоже стал писать рассказы. Они были, конечно, наивные», — вспоминал после Распутин. Вампилов, как известно, погиб молодым, очень яркой высокохудожественной смертью — утонул, причем не где-то, но в Байкале. Там, кстати, непросто найти мелководную бухту с пляжем и поймать редкий момент, чтоб вода была не ледяная. А так-то она холодна, как наша родина к своим детям. Тяжело плыть по ней, легко утонуть... И вот по прошествии множества лет, а именно в 2006 году в Иркутске провели опрос, и оказалось, что самый выдающийся местный писатель — Александр Вампилов (19,9 процентов голосов). Валентин Распутин — вот ведь неожиданность — занял только 9 место (3,9 процента голосов). Про что эта история? Что Вампилов круче и Распутин расцвел только после ухода более масштабного соперника? Что театр главней прозы? Что Распутин похерил литературу, ушел в журналистику и потому пропал с читательских радаров? Что теперешняя литература потеряла силу и люди с удовольствием вспоминают блеск советской звезды? Что Распутин стал фальшивить?

Что он перестал быть писателем, художником и сделался общественным деятелем, пропагандистом и идеологом, то есть в некой народной табели о рангах спустился вниз на пару-тройку ступенек? Не могу знать.

Учась на историка-филолога, Распутин в итоге стал журналистом еще в студенчестве: он писал в иркутскую комсомольскую газету. Получив диплом, продолжил работу в сибирских СМИ (Красноярск, Иркутск, ТВ и газеты). Первой его книгой был сборник не рассказов, но очерков, причем с откровенно недеревенским названием: «Костровые новых городов». Но прозу он писал еще, как мы помним, со студенчества. Пытался прибиться к писателям, ездил на семинары, на одном из них — Читинском писательском (1965) — засветился; его заметили. Семинар — это что за зверь такой? — спросят молодые. При Советах была такая штука, там искали таланты, чтоб их после двигать. Почему бы не сделать все проще — публиковать авторов, и пусть читатель голосует рублем? Нет, другие были времена. Наверно, как-то пытались партийные начальники фильтровать кандидатов в жрецы и небожители. Конечно, был смысл как-то отсеять неблагонадежных. Чтоб зря не палить ресурс. Распутин фильтр прошел. Советскую власть (в отличие от теперешней, ну той, что была в начале нулевых) он, в принципе, не ругал, ну разве так, по мелочи, были у него разногласия: экология, деревенская, пардон, «духовность» — в противовес казенной романтике больших строек.

Пройдя, значит, через фильтр, выдержав проверку на благонадежность, в 1966 году нестарый журналист Распутин бросил газетную поденщину и стал свободным писателем; тогда гонорары были такие, что жить было можно, причем довольно кучеряво. Книжный тираж в 30 000 считался совсем небольшим. Причем еще до выхода книги, после подписания договора, писателю платили аванс в несколько тыщ рублей — ну и какой был смысл горбатиться в газете? Логично, логично...

Ну и дальше — вперед, к успеху! В начале семидесятых его уже печатают не только в Сибири, но и в Москве и даже за границей (пусть даже это всего лишь Польша). В 1971-м

награждают орденом «Знак Почета». В 1977-м дают первую Госпремию (за повесть «Живи и помни»). В 1987-м — вторую (за «Пожар»). Он успел побыть делегатом писательских съездов и депутатом Верховного Совета СССР. Под самый занавес социализма он делается Героем Соцтруда. О чем это говорит? Ну как минимум о том, что Распутин крепко вошел в номенклатуру совка. Системе он был не чужой, а очень даже родной человек.

Фраза кого-то из критиков: «Распутин влился в стан “деревенщиков”, старших по возрасту — Ф. Абрамов, В. Астафьев, Е. Носов, В. Белов, Б. Можаяев, В. Шукшин. В них он нашел поддержку». Но Распутин не ограничил себя работой на уровне «инда взопрели озимые» (что, конечно, тоже важно и нужно, у него полно слов навроде «на обыденок», «шалаган», «воздырять», «дадена», «на опоздаках», «изговелась», «ветробой», «крыльцы», «вдругорядь», «миликает», «простохожий»), и свою главную книгу сделал саспенсом, достойным Голливуда. Хватило мастерства и полета. Это я про «Живи и помни». «Сюжет о дезертире не нов для Сибири. В фольклоре наших мест немало быличек, связанных с ним. Видимо, таежная глушь не однажды соблазняла ослабевших духом укрыться в ней от злодейки пули», — написал кто-то из сибиряков. Быличек полно, а книга такая — одна. (Те, где дезертиров клеймили и разоблачали, не в счет.) Были, конечно, тупые наезды — как так, к юбилею победы — и вдруг про дезертира! (1974) Но — как-то обошлось, даже Госпремию дали. Сегодня можно себе такое представить — такую премию да за книжку на такую тему? Лично у меня не получается. Страна, кажется, стала более казенной и забубенной, чем в самый махровый совковый застой! Ну и дела...

Далее повесть «Прощание с Матёрой» (1976). Про строительство ГЭС. (Привет пострадавшим Саянам от благополучного пока Братска.) Он тогда говорил про то, что жаль затопленных деревень, а про грядущие техногенные катастрофы если б и надумал сказать, так не дали б точно.

В первый год перестройки — 1985-й — выходит повесть с несчастливым названием «Пожар», в ней автор завернул в сторону социалки и публицистики, там про людей, кото-

рые уехали из деревни и стали жить по-новому, то есть как попало. Там при желании можно найти кучу символов. За книгу дали, как я уже говорил, Госпремию-2.

Далее была кампания против переброски северных рек на юг. Она началась в 1986 году. Позже партаппаратчики рассказали в прессе, что они разрешили публике орать про экологию, чтоб остудить горячие головы, отвлечь пассионариев от политики и экономики. Те, кому положено, уже знали — денег ни на поворот рек, ни на ликвидацию ЦБК на Байкале нету. Это была как бы победа Распутина и его сторонников. Ненастоящая, но все равно победа ведь. По любому лучше, чем чистое натуральное поражение.

Десять лет молчания. Или пятнадцать

Это молчание — пожалуй, самое первое, что приходит в голову при мысли о ВГ.

Распутин надолго забросил литературу и выкинул из жизни лучшие свои годы — ради чего? Заради политики, экономики, крика и ора. Он молчал как писатель с объявления перестройки самое меньшее до 1994 года, в котором он вернулся к писанию рассказов (правда, уж не таких мощных, как прежде). Что же, это был его выбор...

Какая проза! При чем тут литература! У него были дела поважней, без иронии это говорю. Да взять хоть «Слово к народу» (1991), одним из подписантов которого был ВГ! Его можно без натяжек назвать идеологом (одним из) путча! Он делал революцию! Или контрреволюцию, поди щас разберись, задним числом. Горбачев, помните, про путч говорил, что все равно нам всего не расскажет? Если близки к правде разговоры о том, что Михал Сергеич сам тот путч сынициировал, чтоб поднять свой рейтинг, почему нет, нормальный для политика поступок, — то горе Валентину Григорьичу...

Левые газеты писали про то обращение: «Патриотическая общественность пыталась удержать страну от сползания в новую революцию». Кроме ВГ вот кто еще, напомним, подписал тот текст: Герои Советского Союза генералы Валентин Варенников и Борис Громов, а также Людмила Зыкина,

Юрий Бондарев, Вячеслав Клыков, Александр Проханов, Геннадий Зюганов, Александр Тизяков (ВПК), Василий Стародубцев. (Я еще вернусь к теме обращения, она всплывет в связи со ссорой ВГ с Астафьевым.)

Он много говорил, после, про свое молчание:

— Теперь о моей эволюции. В свое время я оставил литературу, полагаю, не потому, что исписался, а потому, что уткнулся в тупик, — это не одно и то же. Я был «деревенщиком». Все, что могла сказать «деревенская литература», она сказала, — горько признается он.

Было похоже, что он после этого замолчит навсегда, чего уж тут. Раз так.

Но навсегда — не получилось.

Длительность его молчания обычно оценивают в десять лет. А сам он называет другую цифру:

— Я за пятнадцать лет не написал ни одной книги, потому что постоянно за что-то боролся. Боролся за культуру — ведь столько грязи было в 80-е годы, она же не в 91-м году только пришла, она пришла раньше. Нужно было бороться за культуру, за нравственность, и мы готовили закон о нравственности. Была создана комиссия в Министерстве культуры Николая Губенко, который тоже прекрасно понимал, что происходит. Приходилось бороться против поворота северных и сибирских рек, за Байкал, да за многое что приходилось бороться.

Ему важно объяснить, что молчал он долго-долго, он считал необходимым уточнить сколько:

— Повторяю, в сущности, 15 лет я почти не писал. Считаю, что это жертва была немаленькая.

ВГ еще и еще раз объясняет, пытается объяснить — почему так получилось, почему он принял такое решение:

— Я бросился в публицистику, мне казалось: надо немедленно сегодня показать источник зла. Не мы выбираем, что нам делать. Существует сила, которая выбирает нас. Я, по крайней мере, не мог бы только затравленно озираться, когда Россию с потрохами продавали и дурачили.

Потом он начал писать повести, впрочем очень и слишком публицистичные, но кто их заметил, после такого долгого

перерыва, в новые времена, которые успели уже настать? Он сам приводит статистику:

— Даже друзья, те, кто следит за литературой, спрашивают: а почему вы молчите? Создается впечатление, скажем, что я, Василий Белов, Евгений Носов, другие писатели, которые прежде были все-таки известны, — все мы замолкли. Но это ведь в самом деле не так. Просто выход книжки теперь имеет только «местное значение». Если она даже вышла в Москве, то тиражом две, три, пять тысяч экземпляров, не больше. А что такое на Россию пять тысяч экземпляров? Это капля в море. Но и этой капли, очевидно, достаточно для читателя, потому что книжки все равно расходятся с большим трудом.

Ну а теперь — самое, по-моему, главное, хотя у него много главного:

— Да, писать, как Толстой, Бунин, Лесков, мы сейчас не сможем. Как будто ветер прошелся не только вокруг нас, но и по нам самим и унес что-то главное.

И вот еще:

— Старость, она ведь не делает человека красивее. В любом отношении — ни внешне, ни внутренне. Старость, она многое огрубляет в человеке. Выстужает его. У меня сейчас очень небольшой круг людей, с кем можно говорить о чем угодно.

Хорошо про возраст... Годы же не идут зря, если, конечно, человек имеет привычку думать и способен чувствовать. И про узкий круг все верно, не возражишь. Мы, простые читатели, в число избранных не входим, — чего ж нам досадовать на молчание классика? Вежливо и деликатно он ставит нас на место. Ему не о чем с нами говорить.

Тут уж сама собой приходит мысль про Льва Толстого: тот тоже перестал сочинять fiction и переквалифицировался в памфлетисты.

И уж совсем чтоб добить вас уровнем трагизма ВГ:

— Мы тужимся восстанавливать разрушенное, складывать распавшиеся части воедино, но они выскальзывают из наших рук и рассыпаются без того цементирующего состава,

который есть читательское внимание. Мы пытаемся склеивать разрозненные концы, но сухая бумага, не пропитанная сочувствием, не пристает к полотну.

Горькие, суровые слова.

Глупо после этого приставать к нему с вопросом, а типа что ж вы не пишете лирических книжек? Зачем лезть с советами к пророку. Это выглядело бы глупо.

Он все-таки настоящий. Он по гамбургскому счету. Этого нельзя не признать.

Так кто же виноват?

Да, Распутин в те годы звал куда-то, — вместо того чтоб писать повести или хоть осмыслить происходящее с народом. Он все силы бросил на то, чтоб выяснить: кто виноват? Как будто это самое важное! Когда начинается катастрофа, надо не судейских вызывать, а спасателей МЧС все-таки. Так мне кажется. Но кто я такой? У ВГ — другой взгляд был на это все.

Вот его, к примеру, откровения начала 1992 года, только-только от путча отошли и начали жить в новой, не СССР уже, стране: «Все несчастья России происходят оттого, что ей никак не дают жить собственной головой... [Главное] для русских — это освободиться от навязанного им комплекса неполноценности, осознать свое достоинство и неповторимость». И много прочего в том же духе. Ну о чем это?! Что стоит за этой фразой, в чем ее смысл? Русским не дают жить своим умом, — предположим, это так. Почему же писатель-пророк не берется объяснить, в чем тут дело? Отчего русским кто-то может что-то разрешать или запрещать? По какому праву? Если они выполняют приказы извне, во вред себе, — как их назвать? Что это — мазохизм, слабость головы, ну что еще, черт возьми? Кто навязал русским комплекс неполноценности? Можно ли навязать комплекс? Он или есть — или нет, так? Если у человека есть некий комплекс, и за это он взваливает вину на врага — как назвать такую манеру вести дела? Что это за диагноз?

Я глубоко сочувствую русской идее, я всячески желаю русским успехов и удачи, я русским, как украинец, живущий

много лет в Москве, — не чужой, хоть сами они держат меня за чужого. Но, кажется, я не видел еще ни одного вменяемого русского национального идеолога. Никто из них не может мне объяснить отчего бы русским не устроиться на работу в той же Москве, почему они доверяют это, к примеру, киргизам и таджикам.

Чаще всего — уж давайте сразу быка за рога — русские националисты обижаются на евреев, что те их сбили с пути. Ну допустим, что это так. И вот я представляю себе как два еврея строят в шеренгу 140 русских, и те делают, что им скажут. Как известно, в России с населением сто сорок с чем-то миллионов человек евреев всего два миллиона (это по официальной статистике! — И. С.). Ну и в чем же тогда вина этих евреев, что русские выстроились к ним в очередь за получением указаний? Любой бы рад иметь на посылках 70 бесплатных добровольцев... пусть даже и пьющих.

Я, может, не понимаю тут чего-то, но я честно ищу ответ, а мне его никто не дает. Что не так с русскими, отчего ими помыкают всякие злодеи — вопрос, увы, остается открытым. Не хочу никого обидеть, но мне, вообще говоря, не представляется трагической фигура танцора, который выходит на сцену и, вместо того чтоб танцевать, рассказывает, как ему мешают его же яйца. Может, ему лучше как-то молча попытаться станцевать? (Пардон за резкость.) Вот такие скорбные радикал-патриоты навязывают России образ Пьеро. Он ходит и ноет — вот, нехороший мальчишка увел у меня Мальвину, и теперь я несчастен и пою вам свои то-скливые песни. Известно, что русские склонны к мазохизму, — но зачем еще и приучать их к мысли, что Пьеро — наряду с Емелей и Иваном-дураком — национальный герой и носитель национальной идеи? Пусть Пьеро даст Буратине в торец и/или найдет себе другую девушку... Или уж заткнется и уйдет в сторонку.

А вот еще одно настолько же глубокое высказывание ВГ:

«Как бы хотелось призвать к старому нравственному правилу: нельзя мне поступать дурно, ибо я русский. Когда-нибудь, будем надеяться, русский человек возведет эти

слова в свой главный жизненный принцип и сделает их национальным путеводством». Это Распутин донес до нас в том же 1992 году, в июне. Мероприятие, где это было сказано, называлось пафосно — I съезд Всемирного Русского Народного Собора. И вот эти откровения мы читали вместо книжек писателя... Русскость типа — это святость, что ли? В противовес чертям нерусским? Неважно, прав он или нет, но тут какие-то проблемы со вкусом начинаются, автор как-то немножко слишком серьезно относится к себе. И к своим соплеменникам.

Принято считать, что Распутин прервал свое писательское молчание в 1994 году. Но точно ли прервал? Может, он так и остался публицистом, спустился в наш цех, в трюм, а вылезти наверх уж не стало сил? Или «он вышел на палубу — палубы нет»? Это я про первый рассказ из цикла «О Сене Позднякове». Деревня пришла в упадок, Сеня запил, потом проспался и придумал ехать в Москву — сражаться против неправильного ТВ, которое во всем виновато. (ТВ вместо яиц, оно тоже, значит, мешает. Кто у нас командует телевидением — ЦРУ или все-таки Сурков?) И нету у него других забот. В самом деле, идти работать — это как-то тупо и бездуховно. Пусть таджики пашут или киргизы, — кто у нас еще на стройках?

Бля, чего я лезу спорить? Искать виноватых? Нет, я не про то. Мне просто обидно, что главный писатель-патриот не может мне, человеку доброжелательному и сочувствующему, готовому слушать, объяснить что к чему. Что ж про остальных тогда говорить? Про злых и насмешливых?

Дальше — больше: рассказ «В ту же землю» (1995). Некая измученная жизнью тетка, не имея денег на похороны матери, закапывает старуху в лесу, тайком, ночью. Чернуха, безнадега, прочел — и хочется выпить. Внутри рассказа попытка вроде как объяснения: «Я тебе скажу, чем они нас взяли... Подлостью, бесстыдством, каинством. Против этого оружия нет». И правда, нету против этого оружия... у малых неразумных детей. Которые не видели еще взрослой жизни. Но я-то думал, что мы про взрослых говорим...

Потом была на шумевшая — в узких, правда, кругах — повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» (кажется, 2004). Мать убивает насильника своей дочери прямо в зале суда. Он — кавказец. Некоторые потом упрекали писателя, что он сгустил краски, уж прям так надо было кавказца придумывать! Ан нет — писатель, по примеру своего коллеги Достоевского, взял фабулу из газет. Это реальный случай, весь Иркутск гудел! И чем тут крыть? Что с этим делать? Не знаю, откуда ж мне знать. Но литературки в этой повести, по мне, так не слишком много. Это как статья в оппозиционной газете. Человек сел решать задачу... С виду — вроде честно искал решение. А по сути — подгонял под ответ в конце задачника. И он это знает да и не скрывает от нас, и мы это видим, но молчим, из вежливости ли, от неловкости ли или еще чего. Мы не в своей тарелке, — а он-то, он? С его-то деревенским чутьем? Наверно, остановиться не может...

Даю еще цитату: «Китайцы хитрее, кавказцы наглее, но те и другие ведут себя как хозяева, сознающие свою силу и власть». Если это правда, то что с этой правдой делать? Русским пойти на дно с любимой народной песней «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”»? Или выслать всех инородцев из России, в опломбированных вагонах? Провести этническую чистку, как в Югославии? Раздать кавказцам и китайцам должности менеджеров?

Нет ответа...

Вообще же можно выстроить догадку — отчего ВГ так зациклился на русской национальной теме. Может, это от хорошей порции у него нерусской крови, как это часто бывает в подобных случаях? В лице писателя добрые критики давно уже заметили некую «примесь коренной сибирской породы, этакую *тунгусковатость*», и то правда, дед его из туземцев. Это как если бы в Северной Америке он был индейцем; наверно, как-то иначе он бы ощущал штатовский патриотизм, и праздники б не как белые праздновал бы. Чем бы занимался? Требовал бы прикрыть резервации? Поди знай.

Пришли злые белые люди, споили туземцев огненной водой и за стеклянные бусы забрали у них землю. У туземцев не хватило ни воли, ни ума этому воспротивиться. Они об-

лажались, они всё потеряли, — несмотря на всю свою духовность, несмотря на великих предков, несмотря на то что они великий и терпеливый народ. Это так — и что, отдавать теперь Манхэттен обратно команчам, а Сибирь — вертать взад якутам и тунгусам? Бред. Что за чувство клокочет в груди ВГ? Гнев русских — против кого? Кавказцев и китайцев он не напрямую называет виновниками всех бед, а только косвенно, говоря об их высоких боевых качествах, в противовес русским. Русские обижены (не хочу тут даже думать о тюремном значении этого слова) — кем конкретно, когда? непонятно. Так, может, это в сердце ВГ, тунгуса, стучит пепел его предков, у которых белые отняли всё? И он не только не может сказать об этом прямо, может, он этого и высказать не может, и понять это ему невозможно? Кому эта мысль кажется слишком надуманной, тот пусть ответит себе на простой вопрос: может ли полкукровка слушать голос только одной половины своей крови, в ущерб второй, способен ли он быть тут непротиворечивым? По мне (да и, пардон, по статистике тоже), так русский — это прежде всего житель города, но уж никак не затерянной в тайге деревни. Это городской человек, который скорей уж в Нью-Йорке выживет (и тут статистика на моей стороне), чем в лесу или на хуторе (вспомните про Лыковых и их таежный тупик).

Вообще эта тунгуссковатость, ну или как там еще ее назвать, очень важна в русской культуре. Я не раз уже про это писал, вскользь. В России такие вот метисные лица, полурусские-полуазиатские, с монолоидным прищуром и белой кожей, со скулами, но и с голубыми или серыми, русскими водочными, бесцветными глазами — они на каждом шагу, и их обладатели необычайно заметны в метро, в истории, в культуре. Это Лев Толстой, Достоевский, Шукшин (тоже сибиряк кстати), Слава Курицын (с Урала), Сельянов, Пелевин (!), Баширов. Само собой, Вампилов, товарищ ВГ. Это кто сразу приходит на ум. Наверно, такие люди имеют больше шансов понять Россию, которая не вся же подмосковная и есенинская, вон же еще Сибирь огромная, которую отнимали у монголоидов наши предки казаки-разбойники с Ермаком во главе. Какой-нибудь чисто русак спокойно живет

себе в Москве или, хуже того, в Штатах и пишет безмятежно книжки, — а наш метис все бросил и кинулся на амбразуру... Кровь его гонит, нету у него важней задачи, чем показать, что он больший русский патриот, чем прочие. Как к этому ни относиться, а сделать с этим ничего нельзя.

Эта его тунгуссковатость — почему нет — может идти от того, что называли тунгусским метеоритом, во всяком случае там был какой-то планетарных масштабов выброс энергии, и часть ее, гляди, перепала нашему байкальскому пророку...

— У меня такое ощущение, что нашу страну кто-то целенаправленно разваливает. Так, как это было тогда, когда развалили и уничтожили Советский Союз. И сейчас появились люди, которые отработывают чей-то заказ по уничтожению российского народа, выпуская одиозные книги, газеты, обрабатывая население через радио. Сейчас идет нашествие на нашу страну. Я говорю не об иноземном нашествии. Я говорю о духовном нашествии, — жалуется ВГ. Или, как говорят его недруги, кликушествует.

Тут напрашивается цитата из другого классика все той же русской литературы — Пелевина, тоже не чуждого тунгуссковатости. Помните, он тоже говорил о том, что антирусский заговор есть, — правда, участие в нем принимает все взрослое население страны...

Дочь

Потом был кошмар: погибла дочь ВГ. 9 июля 2006 года. Помните, она полетела в Иркутск, к отцу, самолет уже сел — но, не затормозив, докатился до бетонного ограждения, пробил его и врезался в гаражи. Начался пожар, погибло 125 человек.

Это страшно, это ужасно. ВГ, как АА (Ахматова), хотел быть со своим народом, он был там, где его народ, к несчастью, был. У Ахматовой сын сидел, у Распутина — ребенком умер сын, и вот теперь взрослая дочь погибла. Он, кажется, разделит со своим народом и эту муку тоже; сколько уж рус-

ские теряли детей! У кого сын на войне погиб, или от водки, или — не знаю — в Беслане...

Мария закончила Московскую консерваторию по двум специальностям, как музыковед и органист. Защитила диссертацию по церковнославянской музыке. Вышла замуж за священника, семья собиралась уехать в дальний приход, но все-таки они остались в Москве. Откуда Мария и полетела на родину на побывку...

Журналист Кожемяко (из газеты «Правда»), с которым ВГ много лет ведет откровенные беседы, для печати, на правах старого друга, безжалостно спросил осиротевшего отца — как он теперь? Тот ответил:

— Как? Да разве сказать — как? Если бы я как писатель поставил своих героев в те же самые обстоятельства, в каких оказались мы, я не смог бы и в сотой, тысячной доле передать всё, что пришлось и придется еще пережить. И я не имею права говорить только о своем, о нашем семейном горе: 125 человек заживо сгорели в то раннее утро 9 июля. Попробуйте не представлять себе, как это происходило, попробуйте не гореть вместе с ними. В нас выгорело многое, и мы теперь совсем иные, чем были до этого страшного рубежа.

Само собой. Он сказал еще тогда:

— О времена! О нравы! Мало того что убили — все равно, конструкторской ли ошибкой или протаскиванием несовершенных машин на рынок, — так еще убийц решили искать среди потерпевших! А что машина была неисправна и что было рискованно поднимать ее в воздух — об этом ни гугу. Вина компании «Сибирь» больше, страшнее, чем остальных, как говорится, фигурантов этой трагедии. Это даже и не вина, а преступление, неслучайно она теперь спряталась за шифровку S-7, с которой взятки гладки... Выгода — вот что сегодня правит миром и что явилось главной причиной иркутской катастрофы. Большие деньги. А нам — большие слезы. Надо ли заботиться о своих соотечественниках в воздухе, если они миллионами мрут на земле?

Сказал — и после этого в Москву уже не полетел. Поездом поехал. Понятное дело...

Крещение

Русский писатель и вера: как без этого? Советский, хоть и беспартийный писатель Распутин окрестился в 1980 году, раньше очень и очень многих. Если это можно поставить ему в заслугу. Хотя немного и странно, что его не окрестили в деревне, — из-за того что в поселке родился, что ли, и там было все иначе, не по-христьянски? Сделал он это не просто так, но со значением, и рассказал:

«К этому времени осознал окончательно: быть русским — значит, быть православным. Мы много тогда ездили по России — по монастырям, полям битв, бывшим писательским усадьбам. Мы — это Владимир Крупин, известный прозаик, ученый Фатей Шипунов и кинорежиссеры Ренита и Юрий Григорьевы. Не однажды бывали в Оптиной пустыни, тогда еще разрушенной, в Сергиевой лавре, в Ферапонтовом монастыре. Способствовало этому знакомство, довольно близкое, с архиепископом Питиримом, замечательным человеком и молитвенником, с батюшками отцом Николаем и отцом Иосифом из старинного Ельца, где я и принял крещение. Крестился, потому что уже к тому времени созрел. Ну как фрукт-овощ созревает. Не могу похвалиться, что я истово верующий, но верующий искренне и, думаю, глубоко».

Ну и прекрасно.

Юбилей

На 15 марта 2007 года пришелся юбилей ВГ — 70-летие. Левые патриоты ревниво следили за федеральными телеканалами — как откликнутся?

1-й и НТВ не сказали ни слова по поводу.

«Культура» показала «Прощание» (по повести «Прощание с Матёрой», Лариса Шепитько и Элем Климов), а еще док-фильм «Во глубине Сибири. Валентин Распутин».

Канал «Россия», по мнению почвенников, почтил ВГ тем, что отменил показ фильма про Довлатова (!); очень тонко...

«ТВ-Центр» показал документалку «Вверх по течению с Валентином Распутиным».

Но пафоса фильму, по мнению суровых критиков, не хватило: «До сердечной боли было обидно, когда рассказ Валентина Распутина о матери, матери-природе, матери-русской-литературе прерывался попсовыми песенками и пьяной болтовней оболваненных телевидением людей».

Ну да бог с ним, с ТВ. А зато юбиляра поздравил патриарх Алексей II. Что касается президента Путина, так он не только поздравил, но еще и наградил — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. (IV степень уже была достигнута).

Так что ВГ на плаву, и рано вы его списываете!

Дебаты: за & против

При всем том, что литература с критикой ушли на задворки нашей жизни, какая-то полемика все ж идет. Иногда — даже интересно и захватывающе.

«Сама Россия избрала его, чтобы устоять в тяжелые дни. Но живая и слишком подвластная времени, она сама же (о уж эта наша черта — искать правды и делать все, чтобы избежать ее), сама старается обойти его, потому что он своей страшной серьезностью “мешает” жизни развиваться в свое удовольствие. Как всегда мешал русский художник, будь то Гоголь времен “Переписки с друзьями”, Достоевский, Толстой. Но она же знает, что, набегавшись, она найдет, куда вернуться, ибо такие художники хранят золотой метр ее лучшего, ее горнего, ее небесного. И уж что она знает наверное, так это то, что Распутин оставит свой пост, как последние материнские жители, — только вместе с водой, с кладбищем, с памятью», — вот показательный левопатриотический текст, каких немало кругом. Не забывают классика, молодцы. Поддерживают добрым словом.

Вот например, еще так: «Не будь протестующего труда Распутина по защите чистоты нашего славного моря Байкал, президент Владимир Путин не заставил бы сейчас отодвинуть экологически опасную магистральную трубу подальше от его священного берега». А что, может, так оно и есть.

Теперь цитата из очередного комплиментарного критического текста: «Кажется, первым о Распутине как о выдаю-

щемся русском философе нашего времени сказал Игорь Шафаревич. Да и возьмите публицистику писателя, его речи, интервью — кто еще у нас мыслит на таком уровне!» Сказано, конечно, сильно, ну и пускай. Пусть он будет еще и философом, нам не жалко.

Про распри; тема для России очень печальная, может быть безнадежная, но иногда по этому поводу ВГ говорит такие вещи, что ему мысленно аплодируешь:

— А с кем нынче брататься? С Евтушенко, Чередниченко, Коротичем? Но это невозможно. Они стали орудием разрушения России. Вначале разрушали, а потом сбежали за границу.

Молодец! Я сам либерал и отчасти космополит, но не могу не признать: уел ВГ русского поэта Евтушенко, уел. Коли ты русский поэт, то изволь жить в России или уж сбавь полемические обороты. ВГ из своей сибирской глуши, где он живет бок о бок с простой русской публикой, — имеет право говорить все, просто все, что захочет.

(Левые часто приводят слова Распутина о том, что он считает предательством добровольную эмиграцию. Воля ваша, а я Бунина предателем никак не считаю. Конечно, он бы мог остаться, и мужики б его подняли на вилы, или чекисты бы его превратили в животное, прежде чем убить, как, например, Мандельштама, — но это было бы не патриотично, а глупо. Уехал Иван Алексеич, хватило интеллекта!)

Но что ему Евтушенко! Куда больней и страшней был разлад с Виктором Астафьевым.

Дело было так.

ВГ, как известно, подписал знаменитое «Слово к народу» перед самым путчем. И тут же Виктор Астафьев дал интервью телепрограмме «Вести», в котором путчистов осудил и даже назвал «черносотенцами», — а что может быть обидней для патриота? Но, правда, он сделал оговорку: «Я не хочу сейчас давать оценку поступку Бондарева и Распутина, пусть это останется на их совести». Про этих двоих он также сказал, что они «были моими товарищами».

Забавно и показательно, что «Комсомолка», печатая текст этого телеинтервью, выбросила из его текста фра-

зу про «черносотенцев». По этому поводу кто-то из левых злобствовал:

Ну как тут было не вспомнить Эйдельмана и его отца, который был исключен из гимназии за пощечину «учителю-черносотенцу»! О ирония судьбы! Выступив против «Слова к народу», Виктор Петрович Астафьев как бы побратался со своим недавним врагом... Ну кто бы мог предвидеть такое оборотничество?

Если кто помнит, в восьмидесятые Астафьев жестко дискутировал с Эйдельманом, и некоторые даже сочли писателя антисемитом. История была очень громкая...

Почвенники были после этого интервью в растерянности, тем более и путч как-то не задался. Они не знали, что сказать про выпад Астафьева. Даю цитату, забыл из кого, да и неважно, тут же и не диссертация вам:

Василий Белов отворачивался, скрипел зубами, досадливо махал рукой. Валентин Курбатов размышлял о сложности и противоречивости писательского таланта. Кто-то из друзей бормотал: «Да нет, это все случайное, наносное, он еще опомнится, вернется к нам». И лишь помор Личутин, сверля собеседника маленькими глазками-буравчиками, был неизменно беспощаден: «Я ему, когда прочитал “Печальный детектив”, однажды прямо сказал: “Виктор Петрович, а за что Вы так не любите русский народ?”»

И дальше:

Валентин Распутин, для которого разрыв с Астафьевым был, наверное, куда мучительнее, чем для Личутина, однажды с трудом, как бы нехотя, высказал такую мысль: «Он же детдомовец, шпана, а в ихней среде жестокости много. Они слабого, как правило, добивают. Вот советская власть ослабела, и Астафьев, как бы обидившийся на нее за то, что она его оставила, бросился добивать ее по законам детдомовской стаи...»

Позже ВГ, конечно, много раз спрашивали про тот скандал и про отношение к коллеге и, можно сказать, собрату — ну, бывшему. Он отвечал:

— Кто вам сказал, что у меня было плохое отношение к Астафьеву? Я его всегда высоко ценил как писателя. А все эти политические дрязги... Никому они не нужны. Со временем о них никто даже и не вспомнит.

Теперь вспоминают другое. Как Астафьев умирая говорил: «Мог бы Валя и приехать...» Как он перед смертью читал книжки своего друга, бывшего друга.

ВГ говорил: «Я готов был приехать... Но не на те “собрания”, где было слишком много для меня чужого народа...»

Так они и не повидались больше, и уж не увидятся на этом свете.

Но кроме политической критики есть и литературная, все еще. Не могу удержаться от цитирования Валентина Оскоцкого, который крепко выступил:

— Как видим, перерождение писателя в политика (ого! — И. С.) не прошло бесследно для души. Случай не редкий, история литературы, и отечественной, и мировой, знает таких немало. Но в отношении Валентина Распутина по-человечески тем обиднее и больнее, что в его лице наша словесность имела талант яркий и сильный, который на глазах начал губительно деформироваться... писатель имеет право говорить напрямую. Дело лишь в чувстве меры: оголтелое правдорубство никому еще не сослужило хорошей службы. Удивительно, но как раз идеи, поданные, что называется, в лоб (казалось бы, куда уж ясней!), не воспринимаются в должной мере. Теряется художественная убедительность — и перестаешь доверять написанному.

А пожалуй, что-то в этом есть, есть что-то...

И еще из Оскоцкого насчет недоверия, довольно метко сказано, именно в этом отличие новых книг ВГ от старых и добрых:

— Еще о Сталине. Не верю я распутинскому Ивану Савельевичу, будто он, втихаря перекрестившись, шел в атаку с криком «за Родину, за Сталина!». Зато верю героям Виктора Астафьева и Василя Быкова, Григория Бакланова и Бориса Васильева, которые погибали без имени отца народов на устах. Да и у Твардовского в «Василии Теркине» — «Взвод, за Родину, вперед!». За Родину, а не за Сталина. Отдавать жизнь за вождя призывали политруки, да и те часто по обязанности, а Иваны Денисовичи, Африкановичи или Савельевичи обходились простонародными матерками.

Браво! И туда же чье-то:

— Газеты В. Распутин клянет так рьяно, будто утоляет ностальгическую тоску по подцензурному «правдинскому» единообразию советской прессы». Ну а что, не в бровь а в глаз.

Еще известно, что ВГ собрал коллекцию колокольчиков. Он про них говорит: «Иногда подхожу [к ним]. Посмотрю на них. Полюбуюсь. Поглажу их, чтобы откликнулись перезвоном. Поправлю свое настроение... Это как детская забава. Люблю смотреть на них, прежде чем начинаю работу.

Что за недобрая ирония; был вечевой колокол, был герценовский, а теперь — не колокола, а колокольчики...

А вот как прошелся по ВГ критик Сергей Ступин, в дискуссии с Оскоцким, в которой они обсуждали Распутина:

— Побойтесь Бога, Валентин Григорьевич, коль скоро вы человек верующий. Разве кавказцы избили вас в подворотне (на самом деле в подъезде. — *И. С.*) собственного дома? Чистокровное русское хулиганье!

Это, кажется, намек на «Дочь Ивана, мать Ивана», откуда некоторые вычитали мысль про кавказцев, которые типа во всем виноваты. И ведь точно это были русские — сволочь, которая жестоко избила писателя. Страшно даже думать про то, какие мысли терзали тогда старика ВГ...

Не приведи Господь. Вот захотел человек быть всегда и во всем со своим народом, и так и стал жить, и живет. Далеко не каждый это сумеет, редкий человек на такое отважится, я тут про наш народ, близость к которому не сказать чтоб сладка и приятна. Русские, кто может, у кого есть хоть какие-то деньги, от народа отгораживаются если не охраной, то уж заборами или железными дверьми, двустволками и овчарками, и эти «друзья человека» делают страну похожей на лагерь... Нету у людей столько сил, чтоб жить посреди своего народа голым и безоружным. А у кого есть, те уж нам кажутся пророками, и героями, и жертвами. И отшельниками: среди народа как-то одиноко. Но ВГ сделал в жизни такой вот геройский выбор. Как тут не снять перед человеком шляпу? Притом что про народ он знает поболее, чем мы, прямо скажем...

Ответы

Ну так что ж делать? Кто виноват и как исправить положение? Возможно ли вообще? По разным публикациям, по статьям и манифестам я как по сусекам собирал ответы классика. Он от них не уходил, давал, уж какие есть. Вот пожалуйста.

«Деревня, в сущности, уничтожена. Все, что осталось от нее, — скорбные остатки былого», — сказал он.

Что делать? Помогать, стало быть — вот как он добился открытия в родной деревне школы. Сделал человек доброе дело, реально помог людям. Это одна история. Но мне мало такого ответа. Я не знаю, зачем России нужны деревни. Поездил я по миру и могу сказать, что деревни есть — кроме нас — еще разве что в Азии и в Африке. Наверно, и в Латинской Америке отыщутся. (А в странах, где Россия покупает продовольствие, — деревень нету уж лет четыреста как.) Я вам расскажу, что такое деревня. Это место компактного проживания нищих, у которых даже на машину денег нет. Не говоря уж про инвестиции. И деревни России не нужны. Мысль об этом пришла мне в голову во время путешествия по Штатам. Я проехал тыщи миль по Канзасу, Арканзасу, Оклахоме и прочим сельхозрегионам, я смотрел из окна

на ухоженные поля, огороженные и обработанные, на бескрайние пастбища и удивлялся — что ж людей-то не видно? Деревень что-то нету, неоткуда взяться, значит, духовности. Только изредка мелькал заселенный людьми островок: жилой дом, сарай, амбар какой-нибудь, ангар, пара пикапов припаркована, трактор с косилкой, комбайн в сторонке — и всё! Следующая ферма мелькнет через много миль. Как же они справляются с тыщами гектаров? А так! На технике, ну или сезонников наймут. Как они живут? Почему школу не открывают при каждой ферме? Как в Аталанке? Где магазин, клуб? Нету ничего. Небось, в колхозе и то лучше, чем так на выселках маяться, — жду я ответ почвенника. А если серьезно, то все дома, где есть дети школьного возраста, закреплены за школьными округами, и учеников по утрам собирает школьный автобус — а вечером развозит по домам. Бесплатно. За покупками фермеры ездят в ближайший городок на машине, и забивают холодильник с морозильником на неделю. Там же и кинотеатр, и, кстати, храм, парковка перед которым забита воскресными утрами.

А что бы согнать фермеров в одно место, позабирать у них машины и отнять право решать, что сеять и где пахать, да поставить над ними партийного придурка, который будет гнать их на барщину? Чтоб зажили как люди, чтоб приобщились к истинной духовности, перестали гнаться за длинным долларом...

И еще насчет русской деревни. В какой-то газете я наткнулся на текст про вернувшихся из-за границы наших староверов. Они захотели в деревню (!), им предложили пойти скотниками в сельхозпредприятие, на зарплату в 3000 рублей. Те возмутились: что, батраками работать, да за копейки?! Как им посмели такое предложить? А наши «деревенщики» этого не осознают, не понимают, что происходит.

Я думаю, ВГ совершенно прав, что сам в деревне не прозябает, а живет на три дома — Москва, значит, зимой, а лето — это Иркутск, ну и еще дача. Так-то оно лучше; а в деревню можно заехать на пару дней — и домой, жить по-людски.

Не нужна русским людям деревня. Они ж не дикари какие. Хватит имитировать Африку, это наш позор — деревенские

беззубые бабки в платках. Постаревшие в сорок. По мне, так лучше б они покрашенные с фарфоровыми зубами прогуливались по Риму, вылезши из туристических автобусов — как это делают их американские сверстницы, а то и вовсе 70-летние бабушки.

Не могу не процитировать тут откровенные слова ВГ о важном проявлении русского комплекса неполноценности, о страшном грехе провинциализма (это мое определение), которым страдает народ и из-за которого он теряет, и зевает, и опаздывает, начал он про язык, но это же про всю нашу жизнь:

«Тот язык, которым пишу, он во многом от моей бабушки, она так говорила. Сидеть бы да записывать ее удивительные рассказы, жаль, в те времена у меня не было звукозаписывающей техники. Но я и без того многое запомнил, и когда пришло время писать, воспользовался бабушкиным языком. Правда, поначалу я стеснялся его. Ну как же! В город приехал, университет закончил, французских и американских литераторов читал, а тут какой-то деревенский язык! Потом у Шукшина прочитал, что он тоже, когда поступил во ВГИК, стыдился своего языка. Понять нас можно. Мы-то из деревенского языка как бы выбрались и оставили его в той, прежней жизни. Потом я осознал, какое это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и Белову. Помню, с каким удивлением читал их прозу. Оказывается, можно так писать».

Как это все важно, убийственно важно. Все люди как люди, а наши стесняются, топчутся в углу, робеют и снимают шляпу перед различными французами... Что с этим делать? Когда это кончится? Ну ведь Пушкина-то читал ВГ, слышал про Арину Родионовну? Не знаю, что и думать тут. Отчего русские так разрозненны, не встают друг за друга как, допустим, армяне? ВГ это знает, и легко делится с нами ответом:

«У нас это какая-то национальная болезнь — распри (см. выше про Астафьева. — И. С.). Мы не можем жить дружно, мы не можем делать общее дело, а если делаем, то обязательно с какими-то скандалами, с какими-то подозрениями, разоблачениями и так далее. Вот это тяжело испытывать

и наблюдать во всех отношениях. Потому что люди талантливые, люди, достойные уважения... Может быть, это национальная черта, может быть, это болезнь времени — все действительно членится, все делится, все проявляет недоверие друг к другу».

Открытым текстом он сказал нам все. Прямо и ясно. Ну кто, кто в этом виноват? Какие такие кавказцы?! Или евреи? НАТО, может? Нехорошо. Ах, как же это плохо... Некрасиво. Неудобно. Но на это классику плевать. Он знает, как все исправить:

«Люди, которые сейчас сознательно работают против России, — ну зачем они нужны? Пусть уезжают куда-нибудь, забирают свое богатство... — После короткой паузы он добавляет пару слов, решительно меняет концепцию, на ходу: — А лучше все-таки их так не отпускать и богатство оставить, потому что оно награблено, взято в России... и на все четыре стороны, а мы уж как-нибудь будем сами. Я бы и Абрамовича включил туда (в список подлежащих ссылке)».

Ну слава богу, все стало понятно. Прочтут антирусские упыри этот рецепт — и сделают по писаному. Да и есть же вокруг примеры для подражания. Куда ни глянь:

«Арабский мир на подъеме сейчас. Это национальный, духовный подъем... — говорит писатель. — Я ни в коем случае не хочу оправдывать то, что произошло в Америке, и то, что происходит в Чечне, — это уже экстремизм, террор, с этим соглашаться нельзя никак. Но арабский мир освободился от положения второстепенного мира, он сейчас заявил о себе... Я не имею в виду ни Иран, ни Ирак, а просто тот лучший дух. Который есть в арабском мире. Эта жертвенность, которой нет сейчас больше ни в каком мире, — эта жертвенность нужна. Не для того, чтобы таранить торговые центры, а для того, чтобы отстоять свою позицию, отстоять свои обычаи, и она потребуется, очевидно. Лишь бы это были здравая жертвенность и здравый подъем».

Где еще ищет положительные примеры ВГ, в каких землях? «Изрядно постаревший Валентин Распутин в интервью сделал открытие: умнее кубанского губернатора человека в России вроде как и не найти», — попрекает его кто-то.

А вот что он к примеру в Уфе рассказывал Рахимову:

«Вы живете здесь и не понимаете, насколько благополучна ваша республика. Насколько она отличается от других обнищавших районов страны. А потому для меня было важно получить признание в Башкортостане».

По мнению Распутина, только в Башкирии могут противостоять злу разложения культуры и нравственности, потому что здесь очень многое делается для поддержания талантливых людей, — написала какая-то газета.

Что еще надо? Где еще, кроме арабских стран и Башкирии, торжествует «духовность»? С кого предлагает брать пример ВГ, с кем еще советует дружить? Пожалуйста: «Лукашенко и Караджич — наша последняя надежда». Неплохо? Неплохо. Но только где тот Караджич... У Батьки дела идут получше, про него ВГ чаще вспоминает: «Почему по чужим заказам, во вред общему нашему делу, надо отталкивать от себя Лукашенко, мужественного и мудрого вождя Беларуси?» Лука, как известно, держится на дешевом русском газе; перейдут на мировые цены — что останется от «Белорусского чуда»?

Неплохой вообще рецепт: пристроиться к некой богатой стране — ну богаче, чем твоя, — и получать от нее льготы, не будем говорить подачки. Чисто по бизнесу — оставим в стороне мораль и совесть — проект неплохой; но насколько он реален? Ну и потом, на ком паразитировать — у Америки, что ли, просить матпомощь? Польша же какая-нибудь нас не вытянет. Но, похоже, от Америки ВГ не возьмет воспомоществование:

«Когда я узнал, что появились молодые люди, которые сжигали книги Сорокина, то очень обрадовался, значит, не у всей молодежи глаза сожжены американским напалмом, значит, есть еще думающие юные россияне».

И дело не только в США, ВГ смотрит на дело шире:

«Нас потихоньку начинают встраивать в глобалистский порядок. Молодежь неслучайно бунтует против него в Европе. Это бунт против выравнивания, когда сущность каждого

народа уничтожается, разрушаются все его культурные особенности».

И что же это такое разрушается, о чем жалеет ВГ? Вот о чем:

«Был же когда-то Кодекс строителя коммунизма, между прочим, с Христовыми заповедями — и вот теперь кодекс разрушителя исторического Отечества с заповедями антихриста».

ВГ говорит о том, что страна раскололась, по крайней мере, надвое:

«У нас сейчас две России, пожалуй, даже и противостоящих одна другой. Одна — с радостью принявшая новые порядки, разбогатевшая, подобно нуворишам, от разграбления страны, одуревшая духовно и нравственно от привалившего сказочного дарма... И вторая Россия — любящая свою Родину, не представляющая без нее жизни, продолжающая работать (иногда и тайно, как при оккупации) ради нее. Эта Россия строит храмы и творит молитвы, выпускает книги об отечественной истории и философии, она не окунулась в грязь и бесовство, воровство и беспутство насаждаемых порядков...»

Так, так, допустим. По ВГ — да и по жизни, пожалуй, тоже — эти две России не помирить, нет, не помирить. (Это все в продолжение темы внутринациональных распрей.) Но выход есть какой-то? ВГ уверяет, что есть, он дает рецепт, рассказывая, что делает эта вторая, «хорошая» Россия:

«...чтобы выстоять, объединяется в общины — и церковные, и просто мирские. Я знаю случаи, когда и молодежь, особенно школьная, организуется в группы и дает чуть ли не клятву не пить, не принимать наркотики, не участвовать в бесовских сборищах, не поддаваться телеизуверству».

И даже более того:

«Нарождается молодой, жаждущий действий патриотизм. Быть может, более прагматический, но и более волевой. Иногда ко мне подходят на улице и спрашивают: “Скажите, что делать?” Так было в 91-м и в 92-м годах. Тогда подходили в основном люди среднего возраста, а теперь именно молодые спрашивают: “Где находятся отряды, в которые можно

вступить?” Я не знаю таких отрядов, но если даже их нет, но о них спрашивают, они могут появиться».

Ну что же — общины, отряды, воздержание. Понятно. Если русский этнос пойдет таким вот несколько сектантским путем, то что тут сказать? Богоносец уж столько всего натворил, что вряд ли нас чем удивит. Может, лучше б ему, много-страдальному, отдохнуть от подвигов. Спокойно ходить на работу, а вечером пить чай и думать о жизни. И телевизор — теперешний, русский, который весь для пэтэушников, — конечно б, лучше отключить, — вот тут ВГ таки прав — ни убавить, ни прибавить...

Так что же, пропадет русский народ, раз так он ослаб и запутался, заблудился? ВГ только и твердит, что наших давят и теснят. Что же будет? Что дальше? Как спастись? Воду сливать? Ни в коем случае. Развязка драмы, по его мнению, случится по рецепту который успешно применялся в античном театре: *deus ex machina*.

«Придет час — и новый Богдан Хмельницкий соберет раду и выведет свой народ из одури поклонения чужим богам. Придет час — и устроит Господь, что за грехи свои смертные распадется НАТО, куда теперь шумно и грубо за-талкивают Украину тамошние “западенцы”. Придет час — и не устоит ВТО, куда на чужой каравай, на который, как известно, рот разевать не надо бы, устраивают Россию наши “западенцы”».

Тут сперва про Украину, а дальше, по плану ВГ, Всевышний и Россию направит куда надо, и сокрушит ее врагов. В общем, русские могут расслабиться, не надо беспокоиться: все кончится хорошо, писатель-пророк гарантирует *happy end*.

И тут некстати — а может как раз и кстати — процитирую вам некоего путешественника который посетил Китай, в обществе ВГ:

— Подлетая к этому городу, Валентин Распутин мне говорит: «Ну, Харбин — это провинциальный город, там, кроме русского кладбища, нет ничего интересного». И вдруг мы видим город небоскребов, городстроек, город производств, где одних

только автомобильных развязок не сосчитать. Даже такому провинциальному городу, как Харбин, Лужков может позавидовать. Я тогда спросил у Распутина: «Валя, неужели твой Иркутск, который практически не развивается уже лет пятьдесят, можно сравнить с Харбином?», а он только грустно покачал головой.

ВГ как человек мудрый ничего не стал по этому поводу говорить. А что тут скажешь. Кто мешал китайцам следовать глупым советам, преклоняться перед Западом, снимать шляпу перед мусульманами, выкидывать на помойку свои традиции, пить с утра, сливать воду, плевать на историю, жаловаться и ныть? Нечего русским радикал-патриотам сказать про Китай — к примеру.

Когда я подумал об этом, мне стало не так досадно, оттого что он молчал целых 15 лет с начала перестройки. А иные грешные столько за это время понаписали и наговорили глупостей.

ВЛАДИМИР СОРОКИН Опричник на экспорт

Владимир Сорокин — плодовитый, изысканный и в то же время скандальный писатель. Он удостоился внимания многотысячного читателя. И «Наших» в том числе: те провели перед Большим театром акцию по уничтожению его книг. А что, это почетно.

Сейчас Сорокин ожидает выхода своей книги «День опричника» за границами: ее уже переводят на 11 языков. О том, как он пишет книги и зачем, Сорокин рассказал мне весьма обстоятельно.

Владимир Георгиевич Сорокин родился 7 августа 1955 года в подмосковном городке Быково. В 1977 году окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности инженер-механик. Занимался книжной графикой, живописью, концептуальным искусством. Год работал в журнале «Смена», был уволен за отказ вступить в комсомол. Участник многих художественных выставок. Оформил и проиллюстрировал около пятидесяти книг.

В 1985 году в парижском журнале «А—Я» была напечатана подборка из шести рассказов Сорокина. В том же году в Париже же вышел роман «Очередь». Первая публикация в СССР — 1989 год (Рига, журнал «Родник»). С 1992 года широко публикуется в России.

Книги: «Норма» (1979—1983), «Тридцатая любовь Марины» (1982—1984), «Русская бабушка» (1986), «Доверие» (1989), «Сердца Четырех» (1991), «Dostoevsky-Trip», (1997), «Первый Субботник» (1998), «Голубое Сало» (1999), «Пир» (2000), «Лед» (2002), «Путь Бро» (2004), «23000» (2005), «День опричника» (2006) и другие.

Киносценарии к фильмам: «Безумный Фриц» (1994), «Москва» (2001), «Копейка» (2001), «4» (2004) — главный приз Роттердамского кинофестиваля, «Вещь», «Cashfire». Написал либретто к опере «Дети Розенталя» (на музыку Л. Десятникова, по заказу Большого театра).

Книги Владимира Сорокина переведены на 20 языков. 2001 — премия «Народный букер» и премия Андрея Белого «За особые заслуги перед российской литературой». Награжден американской премией Liberty (2005).

Люди и звери

Мы встретились с писателем в ресторане «Махараджа», — главным образом потому, что Сорокин теперь вегетарианец, а еду этого диапазона индусы готовят как никто. И она у них, кстати, считается нормальной, повседневной, а привычная там помечается как экзотическая: *non-vegetarian*. Сидим мы, читаем меню, а вокруг ходят смуглые белозубые красавцы-официанты.

— Что твои цыгане! — говорю я Сорокину. — Впрочем, цыгане как раз из тех краев к нам «понаехали».

— А я бывал в цыганском таборе, — откликнулся писатель. — Мой дед был лесником в Калужской области, в Людиновском районе. Я мальчиком туда ездил каждое лето. Те цыгане были, правда, уже осевшие, они жили в каких-то полуразвалившихся банях. Мы ходили с друзьями деревенскими, с гитарами, к ним по вечерам, сидели у костра, а цыгане нам кое-что исполняли.

— *Harrou end*: они вас не украли. И мыла из вас не сварили.

— Нет, у нас были хорошие отношения. Были милые времена, трогательные преступления! Я вот вспомнил цыганскую поговорку тех времен: «Мора, сходи до прокурора, пусть поменяет конную кражу на карманную», — сказал он и углубился в меню, бормоча тихо:

— Страшный мир людей... Я мяса не ем...

— Да, да! Ты говорил, что скорей людей надо есть, а не невинных животных. А ты бы правда смог человечинки намять?

— Я думаю, что нет. Во-первых, я верующий человек, считаю каннибализм грехом.

— Понятно, что грех, — но, кстати, где и как про это написано?..

Но он продолжает о своем:

— А потом, судя по рассказам, человечина — она не очень. Помню, в девяностых был сюжет про некоего питерского каннибала, жившего в большой коммунальной квартире. Так его сдали в милицию соседи. Им не нравился ужасный запах его варева. Оказалось, что современный человек — это довольно противное мясо, даже от запаха похлебки воротит...

— Раз уж мы заговорили об экзотической еде. На днях я разговаривал с Вадимом Тумановым, старым эзком (сидел при Сталине, а после дружил с Высоцким и добывал золото), так он рассказал, что они там в лагерях собачатину очень уважали. И Макаревич тоже ее любит, в Корее пробовал. Ресторатор Аркадий Новиков, даром что в учебке голодал и был служебным собаководом, не признается — говорит, не ел. А ел он лису, которая, по мне, та же собака.

— Лису я убивал, но не ел. Собак тем более — потому что я их очень люблю. Для меня легче человечину съесть, чем собаку.

— А как вышло, что ты стал собачником?

— Мой дедушка, о котором я говорил, жил практически в лесу, а где лес — там охота, собаки. Я с малолетства рос параллельно с этими животными. Это были большие мужественные охотничьи собаки, и они меня тогда заразили любовью к ним. Потом я втянулся в охотничье дело. Но в 22 года сказал — нет, хватит, не буду больше убивать.

— Насчет охотничьих собак понятно, это была у тебя первая любовь — но ты-то после этого чувства взял левретку. Как же так?

— Я не взял. Когда был в Японии, в мое отсутствие жене подарили левретку. Я когда узнал, по телефону негодовал: не очень люблю декоративные породы. К тому же мы жили тогда на двенадцатом этаже, а собака должна на первом жить. Я был уверен, что вернусь, — и левретки не будет у меня дома. Вернулся, вошел в квартиру... И он, меня не видя ни разу, вспрыгнул мне на руки — и... все. Залез в душу, можно сказать.

— В московских литературных кругах известно, что твой левретка лижет тебе ноздри. Это какая-то экзотическая ласка — или стандартная среди собачников?

— Левретки, они вообще лизуны. У них обоняние в 16 раз сильнее, чем у нас. Откуда у них внимание к ноздрям? Нос — это информационный канал, из хозяйского носа собаки получают огромное количество информации о человеке.

Классик?

— Мы уже привыкли читать у литературных критиков, что ты — классик, первый русский писатель. Ты с этим смирился, привык к дифирамбам?

— Знаешь, я к слову «классик» спокойно отношусь, потому что все классики умерли. Другое дело, что я люблю делать литературные открытия, и я знаю, что открыл несколько новых языковых литературных месторождений. Застолбил их. Вот этого и достаточно.

— Чтоб быть классиком... Но, как бы то ни было, ты пишешь, что хочешь, не реагируешь на критиков, у тебя большие тиражи и переводы, ты зарабатываешь литературой достаточно, чтоб чувствовать себя спокойно, и о тебе говорят непрестанно. Всё я перечислил, все параметры? Нравится, не нравится, — остается только развести руками и признать, что ты серьезный писатель.

— Я не против такой классификации...

— Ну я не литературный критик, как ты понимаешь.

— И слава богу. Я к современным литературным критикам отношусь с подозрением.

— А меня больше кинокритики раздражают. Тебе не нравится кино? Зачем ругать? Иди сними лучше и покажи нам, чтоб мы знали, как надо.

— Несколько лет назад в таком пресловутом месте, как Дом кино, был показ фильма «4», по моему сценарию. Там, в частности, была снята оргия деревенских бабушек, которые по случаю смерти своего борава напиваются и танцуют голые на столах. Причем в фильме снимались реальные бабушки из деревни Шутилово под Новгородом. В жизни они покруче выступают, чем в этом кино. Так вот к режиссеру подошел человек и стал говорить: «Вы клевете на русскую

деревню!» Режиссер спросил: «Ты там был, в этой деревне? Нет. Тогда пошел нах». На этом полемика закончилась... Я готов выслушать серьезно мнение умного человека. Есть люди, которые помогают рассмотреть вещь, показывают то, чего сам не видишь.

— Приведи пример.

— Например, я написал «День опричника» — и один приятель говорит мне: это же заговór такой! Ну, как раньше заговаривали смерть в деревнях, чтоб она не пришла. Это заговór России, чтоб с ней не случилось такого. А я об этом даже не думал, когда писал! Я просто придумывал некую фантазию на тему Великой Русской стены. Есть у нас люди, которые говорят, что надо отгородиться от Запада тлетворного и идти своим путем, у нас же все есть. Кроме демократии, да? Вот эту идею «отгораживания» я и попытался художественно реализовать. Если это случится, то Россия будет плыть только назад. Ее прошлое станет ее будущим. Наверно, для многих наших квасных патриотов наступит счастье, потому что время как бы остановится.

Россия по-прежнему остается непредсказуемым государством. Из-за того что здесь не было идеологического водораздела между прошлым и будущим, у нас история может повторяться не только в виде фарса, но и в виде реальности. Для писателя это очень хорошо... Мы с Витей Ерофеевым, когда выпиваем где-нибудь в Европе, радостно поднимаем бокалы за Россию как за литературное Эльдorado — здесь ведь чудовищные идеи-самородки валяются прямо под ногами. Но как гражданин я этому не очень рад.

— Мне кажется, что Ерофеев — более коммерческий автор, чем ты. Ты серьезней относишься к текстам.

— Витю люблю, это мой здесь единственный литературный друг.

— А с Пелевиным ты незнаком?

— Знаком. Но последний раз я его видел пять лет назад в Японии.

— А, вы там лекции читали, что-то в этом роде?

— Нет, это был некий литературный фестиваль, где мы представляли Россию: Пелевин, Толстая, Акунин и я.

Витя — достаточно интровертный человек, он живет такой, в общем, достаточно неуловимой жизнью — видимо, это нужно ему.

— Это круто — когда тебя зовут в Японию. Представлять русскую литературу.

— Это было.

— Вот я в Японии подумал: ну зачем еще нужны инопланетяне? Берите японцев, они и так чужие и непонятные, с ними невозможно обмениваться человеческими эмоциями, они как будто не с нашей планеты.

— Да, там абсолютно Марс...

— Я помню, тебя звали американцы, тоже представлять русскую литературу — а тебя не пустили. Заставили в посольстве пересказывать, про что твои книги, услышанное им не понравилось, и тебе не дали визу. Прекрасная история. Ты там так и не был?

— Был.

— Важная страна в жизни.

— Да, да. Она, конечно, очень важная. Когда в Нью-Йорке едешь в метро, идешь по улице — чувствуешь, что эти люди могут быть безвкусными, диковатыми, простоватыми, даже дебиловатыми, — но в них живет некий демократический вирус. Это очень чувствуется. Такая бацилла демократии.

— Я бы даже сказал, что Америка — это лепрозорий демократии. Он построен людьми, которые как чумные кинулись на кораблях переплывать океан. Они просто отмороженные! Половина их перемерла в пути, а кто остался, тем потом надо было покупать ружья и убивать индейцев, которые с тебя снимают скальпы. Это отбор людей с бациллой! У нас другой отбор — кто не зарезал барина и не убежал на Дон, тот стал русским, составил нацию, — бейте меня кнутом, и барин — отец родной.

— В общем, да... Эта бацилла демократии, я в хорошем смысле слова, если бы всех ею заразить...

— ...то некому было б работать на плантациях.

— Я бы очень хотел дожить до того времени, когда бы западные государства обозвали бы Россию демократической. Но я уверен, что не доживу.

— А надо дать бабок тому, кто там проводит замеры, — и нас обзовут.

— Ну, я не столь циничен, как ты. У меня функциональный цинизм. Он в основном касается профессиональных дел, а не жизни.

Цинизм

— Как говорил Есенин, будучи в Штатах, нет смысла жить на Западе, потому что там не перед кем открыть свою душу. А твой профессиональный цинизм, как мне кажется, в том, что ты и не собирался ни перед кем открывать душу.

— В общем, да. Текст — одно, а душа писателя — другое.

— А люди писателя серьезно воспринимают! Они ждут, что ты душу откроешь! Они думают, что ты отрываешь!

— Вот посмотри на этот бокал с «Маргаритой». Он может быть красивей души стеклодува, — это же разные вещи.

— Стекло — оно мертвое, а слова же живые.

— Слова существуют на бумаге, а бумага — это что такое?

— Знаешь, на бумаге все что угодно может быть написано. И «я помню чудное мгновенье», и справка из поликлиники... Бумаги, они разные.

— Это некорректный пример. Литература — это что такое?

— Я как раз у тебя хотел спросить.

— Это когда некий писатель записывает на бумаге свои фантазии. Их печатают, и если они интересные, то люди начинают их читать и даже платят за это деньги писателю. Вот что такое литература.

— Но поскольку у нас жизнь во многом первобытная...

— Да.

— ...то русский читатель в любом тексте, как мне кажется, ищет раскрытия души, ищет шаманства, камлания... А то, что ты говоришь, — это касается западной литературы. Не скоро у нас такое будет возможно... Наши люди не за то платят деньги, чтоб писатель пописывал, а читатель почитывал.

— У меня очень простая позиция: литература ни в коем случае не должна ничему учить.

— Тут я согласен.

— Она может будить мысль в человеке. Она может вызывать некие эмоции. Она может выполнять роль наркотика или антидепрессанта. Это все зависит от качества фантазии!

— То есть вот такого накала и такой самоотдачи, чтоб Есенин вешался, тебе не надо?

— Я еще не закончил. Наши читатели отравлены литературой XIX века. Л. Н. Толстой очень убедительно умел описать человеческий мир — так, чтоб читатели поверили. Человек читает и верит, что находится на Бородинском поле, он как будто видит, как ядром отрывает ногу Куракину. Кроме Толстого еще Достоевский и Гоголь решили, что могут учить людей жить, они подумали, что у них миссия. У них была такая амбиция. Это было ошибкой.

— Может быть, гениальной ошибкой.

— Да. Но Лев Толстой — не монах, не старец, живший всю жизнь в аскезе, — так что учить человечество ему не стоило. Все что он умел — это гениально записывать на бумаге свои фантазии.

— С этим позволь согласиться. Но вопрос не в том, чтоб учить жить, а в том, что безответственные фантазии не нужны, писатель должен отвечать за базар. Вот Пушкин был отмороженный, лез на рожон, пуля в живот, пеницилина нет, привет. Лермонтов — та же история. Ахматова радовалась, когда Рыжему делали биографию, судили его и ссылали. Тебе этого не надо? Ты бы не хотел, чтоб тебя, как писателя Аввакума, сожгли в срубе? Ты ближе к позиции красного графа Алексея Толстого: типа я хочу хорошо писать и хорошо жить, не трогайте меня, у меня семья, пишу фантазии, как могу. Он умер в шестьдесят с лишним в своей постели — Пушкин о таком и мечтать не мог. У тебя, значит, западная концепция? Написал, продал — и отдыхай...

— Западная концепция — вполне нормальная. Если бы я жил в демократической стране...

— А чего ж ты не живешь? Тебя ведь звали. Хоть в Японию, хоть в Германию.

— Я жил в Германии... В 1992 году мне дали престижную стипендию, с тем чтобы я год жил в Берлине (в Шёненберге). Дали мне квартиру 8-комнатную. Я там прожил всего 9 месяцев, и я не написал ни строчки за это время.

— О, русский писатель таки должен писать, питаюсь силами родной земли!

— А ты знаешь, что «Мертвые души» написаны в Италии?

— Неудивительно. «Мертвые души» — это ж тоска смертная, занудство и социология, изложение коммерческих схем... То ли дело «Тарас Бульба», которого ты часто вспоминаешь как образец, — вот так надо писать, чтоб читатель слезу пускал.

— Надо, кстати, посмотреть, где написан «Тарас Бульба». Может, тоже в Италии? У русского писателя нет выбора — либо он пишет то, что хочет, либо не пишет вовсе. Если то, что хочет, — он автоматически становится врагом русского государства. На Западе писатель — профессия, а у нас это — подрывной элемент, он подрывает основы государства.

— Ну и что с этим делать?

— Пример А. Н. Толстого не релевантный, потому что Толстой присягнул советской власти сразу. И стал государственным человеком. Сталин сделал из писателей каких-то ужасных чиновников. Но сейчас у нас другое несколько время. Хотя некоторые бывшие советские писатели мечтают о возврате старого литературного совка... Сталин говорил, что писатель — это инженер человеческих душ. Я бы поправил: соцреалистических душ.

— А ты, кстати, инженер по образованию.

— Инженер-механик. Мой диплом был по задвижкам на нефтепроводах.

— Ну значит, ты — инженер-механик человеческих душ. И еще нефтяник, — это очень тонко и актуально.

— Да. Нефтяник. Я был на практике в Баку. На заводе, где делают задвижки.

— Ты поймал нерв XXI века!

— Мы там пьянствовали, знакомились с местными девушками — но они почему-то были очень сдержанны.

— Вы просто мало денег предлагали.
— У нас их тогда вообще не было.
— С таким чутьем ты, короче, знал, куда вложить ваучеры: в нефтянку.

— Мне кажется, я их отдал теще... Нет! Вспомнил: мы их вложили в какой-то «Гермес». А потом я дал жене 3 000 долларов, она их вложила в «Чару», и деньги пропали. А насчет профессии нефтяника... Задвижка нефтепровода иногда мне снится.

— Снится? Ну да.... Открыл — закрыл, раздвинул — задвинул...

— Нет, задвижка — это скорее фаллический символ. Там же напор, давление 10 атмосфер. Нефть — это сперма земли!

— Круто! Но и странно... Сперма — и дальше идет слово женского рода. Может, родовые воды?

— Может.

Деньги

— Если б ты не зарабатывал на жизнь литературой, то где б ты работал?

— Это некорректный вопрос.

— Что значит — некорректный? Ты же все-таки где-то работал, прежде чем стал знаменитым писателем?

— Я же художником-графиком был. Книги иллюстрировал. Получал в среднем 200 рублей в месяц, причем не надо было куда-то ходить каждый день.

— А потом настал день — и ты прыгнул.

— Это получилось само собой. Когда стали на Западе активно переводить. В конце девяностых.

— Какой у тебя общий тираж?

— Не знаю.

— Но тем не менее ты вышел на уровень — пишешь что хочешь, живешь литературой, на жизнь хватает.

— Ну я не могу себе купить, например, вторую машину — нам с женой уже не хватает одной («Сузуки-Гранд-Витара»). Кроме того, еще у меня есть скутер, на котором я езжу из Внукова на рынок.

«День опричника»

— Ты был аполитичен, в молодости любил байку про то, что, когда немцы входили в Париж, Пикассо рисовал яблоко, ну и прочие авангардные истории. И вдруг тебя прорвало! «Я обвиняю!», «не могу молчать», «глаголом жечь сердца».

— А Солженицын еще сказал: «Жить не по лжи».

— То есть ты играл себе, играл в постмодернистские игры, в аполитичность — а потом тебя прорвало. Прорезался политический пафос: ты стал жаловаться на нехватку демократии. Ты вдруг начал резать правду-матку. Очень интересный процесс! Ты заговорил не голосом персонажа, как обычно, — а своим. Случился прокол, который у вашего брата описывается термином «влипаро».

— Да, это мой термин. Когда автор влипает в свой текст.

— Ты стал всерьез клеймить опричников. Ты играл, условно говоря, в пейнтбол, а потом бросил эту брызгалку с краской, взял калаш и пошел мочить. Не боясь, что тебе отстреляют башку.

— В какой-то мере да... Мне захотелось высказаться о настоящем. Захотелось просто! Накипело! Но на самом деле я этим занимался еще в восьмидесятых. Писал анти-советские рассказы и отправлял их на Запад. Это были высказывания о том времени. Потом у меня был период, когда я занимался неким литературным экспериментом и получал от этого удовольствие. А теперь мне захотелось получить удовольствие от другого. Но я не думаю, что «День опричника» — это в чистом виде сатира...

— Не знаю, сатира или нет. Для меня это первая твоя книжка, написанная от души. «Одни пишат кровью и спермой, а другие мочой, причем приемка идет по весу». Кто-то из классиков сказал. У тебя на этот раз жидкости серьезные были потрачены.

— И еще было хорошо сказано французами — где пахнет говном, там пахнет жизнью.

— Ну... Никто тебя за язык не тянул.

Он смеется.

Говно (лирическое отступление)

— В литературных кругах поговаривают, что ты реально пробовал говно. На вкус. Или это приписываемое?

— Это журналюги раздули! Имидж главного русского калоеда вывалился из одной моей фразы...

— Фразы? Я думал, из книжки «Норма». Помнишь, там ребенок спрашивает: «Мама, зачем ты ешь какашки?» Она говорит: «Дурачок, это не какашки, а “Норма”». Помнишь?

— Помню, конечно. Но я о другом. Дело было в 80-м году. У меня тогда родились девочки-близнецы. Я писал тогда «Норму», это было в Загорянке, на даче родителей жены. Тогда еще не было памперсов, только подгузники — помнишь? Я помогал жене — близнецы все-таки родились, дело очень хлопотное — менять эти подгузники. Учítывая, что я описывал продукт, «норму», я должен был хотя бы почувствовать, что это такое. И я попробовал то, что было в подгузнике. Я это лизнул. И убедился, что это просто глина, а всю погоду делает запах.

— Ну у детей все иначе, нежно.

— У взрослых я пока не пробовал.

— Давай выпьем за то, чтоб в нашей жизни было меньше говна.

— Да! Чтоб не есть норму. Новая норма, если б опять ввели, была бы иначе упакована.

— А сделана была бы в Китае, как всё сейчас.

«День опричника» (продолжение)

— Вот про кого говорили — литературный власовец?

— Про Солженицына.

— А ты знаешь кто? Литературный Ходорковский.

— Интересно...

— Жил как человек: качай типа бабки, занимайся своими делами — и вдруг понесло всерьез заниматься делом и политикой!

— Мне не хочется шутить на тему Ходорковского. Он сознательно пошел на это...

— Вот именно, что сознательно. А мог бы в Штатах остаться.

— Если он выбрал — значит, он романтик. А если он не верил, что в России могут посадить, — то он вдвойне романтик.

— Мне нравится эта формула: еврей — комсомольский функционер — нефтяник — миллиардер — романтик. Ёмко, ярко. Значит, решил ты высказаться о современной России.

— Да. И я понял: то, что происходит сейчас здесь, требует некой новой формы описания.

— Более опасной.

— Опасной или нет, не знаю... «Опричник» — как раз попытка найти такую форму. Как-то накопилось... Я не планировал писать про опричника. Я тогда как раз закончил трилогию про лед. Приехал на дачу, привез своей собаке го-стинец — мозговую кость, специально на рынке купил. Ки-нул ему эту кость на улицу, на снег, — ну чтоб он немного подышал воздухом и размялся. И я вижу, как он стал вихляться вокруг этой кровавой кости, которая была для него слишком большой, — это был такой танец под редкими снежинка-ми... Я посмотрел на это — и через десять минут сел писать «Опричника».

— «Один день Андрея Даниловича».

— Когда я сел писать, то не думал об этой параллели. Только потом вспомнил, что уже был такой опыт.

— По другую сторону баррикад.

— Да. Ну и что с того? Мне кажется, книжка получилась.

— В общем, вспомнил молодость. И снова выступил с крамолой.

— Когда я принял решение — разрешить печатать свою книгу «Очередь» в Париже, это был 1984 год. Тогда москов-скую гэбуху возглавил Федорчук, с Украины. К тому време-ни серьезные диссиденты были уже вычислены и вычищены и наконец дошла очередь до нас. До людей нашего круга, ко-торые не были нестоящими диссидентами...

— А так, вялая антисова.

— Да. Да. Ну печатались на Западе — вот и все наши пре-ступления... Дмитрий Пригов, Виктор Ерофеев, Женя Попов,

Илья Кабаков, Эрик Булатов, Лев Рубинштейн... Начались обыски. Нас стали вызывать. И вот я случайно узнал от чекистов, что они ничего не слышали про мою книгу в Париже! Они не знали, что у меня выходит книга на Западе! Я лиш­ний раз убедился, что гэбуха, как и все советские заведения, работает слишком медленно.

— Если б приватизировали, то быстрее бы работали.

— Через год вышла книжка, — но уже началась перестройка.

Ледяной молот

— Известно: ты начал писать после того, как тебя в детстве стукнуло по башке. Что это было — драка, кирпич упал?

— Нет, это была более литературная история. Мы жили в Быково, в двухкомнатной квартире, мне было три года. Оставшись один в комнате, я попытался залезть на письменный (!) стол отца, опираясь при этом на батарею. И — сорвался, и напоролся на кран батареи, это был такой острый штырь без вентиля. Я закричал и потерял сознание. Мать выглянула — и сняла меня с крана. Рану зашили. Я помню, что до этого все было серо, а сразу после у меня появились некие цветные видения, фантазии... Я очень хорошо помню, что в школе все было — серость, и на уроке сидел на заднюю парту, лепил там из пластилина крокодилов и разговаривал с ними. Я был очень живой, непоседливый... И считался нарушителем дисциплины.

— Так им и остался. «Опричники», понимаешь...

— Да... Я был очень возбужденным ребенком, постоянно болтал, дурачился, выдумывал, танцевал. Успокоился я где-то в институте — когда попробовал писать. Это как бы затормозило меня.

— Да... Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон.

— Батарейный кран.

— Но в итоге таки — Аполлон. Это столкновение с краном, его можно сравнить с ударом ледяного молота? (В три-

логии про лед избранных били по груди ледяным молотом, и они начинали говорить сердцем. — И. С.)

— Интересно... Я не думал об этом. Но, наверно, что-то есть...

— Ты написал про этот молот — и сам стал писать душевно. Ушел от хладнокровных текстов. Ты вышел из башни к нам, простым людям от сохи.

— Когда вышел «Лед», меня узнала парикмахерша и спросила: «А если ударить таким молотом в грудь — правда, что сердце заговорит?» Я сказал ей, что пока не пробовал.

— Но на самом деле именно это с тобой и случилось.

— Наверно...

БОРИС СТРУГАЦКИЙ:
«Мэтром себя не считаю»

Писатель-фантаст, сценарист, переводчик. Ребенком пережил блокаду. Закончил мехмат ЛГУ, специальность — «звёздный астроном». Работал на счетной станции Пулковской обсерватории, занимался проблемой происхождения двойных и кратных звезд. Лауреат Госпремии РФ (за 2001 год) и многих других. В соавторстве с братом Аркадием написал несколько десятков фантастических текстов, которые стали у нас классикой. Книги братьев переведены на 42 языка в 33 странах мира. При старом режиме Стругацкие печатались на Западе, в связи с чем имели небольшие проблемы в СССР. По книгам братьев снят ряд фильмов. Самый знаменитый из них и, наверно, лучший — «Сталкер» Тарковского. Тот же режиссер сотрудничал с братьями при съемках своего фильма «Жертвоприношение», однако работу заканчивал без них — уже на Западе, куда случилось эмигрировать. Немецкой экранизацией книги «Трудно быть богом» (которая нам известна, любителям, благодаря преступной просветительской деятельности пиратов) братья были очень недовольны, и от русской (режиссер Герман-старший) Борис Натанович ждет большего. После смерти брата Аркадия Борис Натанович публикуется под псевдонимом «С. Витицкий». Опекает молодых российских коллег — он член пяти разных жюри литературных премий, руководитель семинара молодых фантастов. Говорит, что раз в год ему попадается хорошая рукопись.

— Борис Натанович! После поездки в Японию я придумал термин «человекообразные насекомые». То есть понял, что японцы, даже будучи людьми, в смысле землянами, уже настолько чужие, настолько непонятные и дружить с ними так невозможно — что после них уж никакие инопланетяне не нужны, раз уж наши родные японцы нам и неинтересны, и несимпатичны. Когда вы писали про инопланетный разум, про его следы на Земле («Пикник на обочине»), — ваш брат, видимо, использовал опыт общения с пленными японцами? Говорил ли он об этом? Проводил какие-то сравнения?

— Применительно к «Пикнику на обочине» — никогда. «Японский опыт» Аркадия Натановича прослеживается прежде всего в «Хромой судьбе» и в меньшей степени в «Граде обреченном», «ПкБ» и, пожалуй, в «Трудно быть богом». Аркадий Натанович слишком плохо знал современную Японию, чтобы сколько-нибудь серьезно «отгалкиваться» от нее.

— Ваш теперешний земляк литкритик и писатель Слава Курицын высказался в том духе, что ему следовало бы жениться на Маше Гайдар. Тогда бы он породнился с высокой русской литературой — и с вами, шире — с АБС, и с Аркадием Гайдаром, и с Бажовым. И тем дал бы новый толчок развитию русской словесности. Ведь красивая идея? Дочь Аркадия Натановича, комментируя свою родословную, хотя и сказала, что семья не занимается селекцией, но тем не менее...

— Без комментариев.

— Вы, наверно, сравнивали себя с другими авторами, которые тоже писали вдвоем, да хоть с Ильфом и Петровым. Еще с кем? И что при этом думали? К каким интересным мыслям пришли? Что происходило, когда кто-то из них оставался один? Писал ли он, если да, то так же — или иначе?

— Мы никогда не задумывались на эту тему. Что же касается Петрова, то, оставшись один, он написал как минимум «Остров Мира» — вещь для своего времени превосходную и вполне ильф-петровскую.

— Почему вы все-таки не были в Америке? Такой притягательной стране? Особенно, как может показаться, для фантаста? Про Америку часто и не без оснований говорят, что это не другая страна, а другая планета.

— Такая у нас была судьба. АН не был даже в Японии, куда рвался полжизни. Но — сначала нас никуда не пускали, а потом нам стало неинтересно.

— ВТВ, то есть всеобщая теория воспитания, о которой вы много писали и говорили. Очень заманчиво. Вы, конечно, много думали про это и пытались понять, какие на этом пути могут подстерегать опасности. Есть же вероятность, что это кончится плохо? Навскидку — мысль про то, как у чукчей забирали детей в интернаты и они отвыкли от оленей, а к белой цивилизации они так и не приспособились. Могут

же сработать какие-то мины, заложенные в глубине человеческой природы? Или вы думаете о стопроцентном успехе? С одной стороны у нас Пушкин лицеист, а с другой — тыщи дворян, которые после закрытого воспитания проиграли страну? И отдали все охлосу? Или хоть — известные злоупотребления в кадетских училищах и монастырских школах и прочее? Или таки железной метлой к счастью?

— Я писал об этом множество раз. Тема слишком обширна и плохо изучена. Я знаю твердо только одно: либо человечество освоит ВТВ, либо вечно будет вынуждено повторять морально-нравственные зады отцов-дедов.

— Когда вы впервые натолкнулись на Старджона и его теорию, и в связи с чем? («90 процентов всего — дерьмо».) Какие были чувства? Что вы думали дальше? Сколько тут юмора, а сколько суровой правды? Как описывается в этих терминах советская и российская действительность? Что вы относите к оставшимся 10 процентам?

— Никакой «теории Старджона» в природе не существует. Есть остроумный и точный афоризм, — за что автору и спасибо. Никакого материала для размышлений этот афоризм мне не давал никогда. Это просто «свойство окружающей действительности». Это не хорошо и не плохо — это так. Практически (для писателя) это означает: хочешь писать хорошо, пиши для «десяти процентов». И да поможет тебе Бог.

— Сохранит ли Россия свой суверенитет? Насколько это реально в условиях нашего не очень эффективного менеджмента? Или случится чудо, и русский менеджмент внезапно станет эффективным? Deus ex machina? Про это можно написать фантастическую повесть. Или вы думаете, что обычную реалистическую?

— Слишком большая тема. Я не могу писать здесь историко-социологический опус. За суверенитет России я, впрочем, спокоен.

— Земным разведчикам некуда возвращаться из Арканара, потому что Мир Полудня (или же коммунизм) на Земле рухнул, — как вам этот поворот который, говорят, придумал Герман в фильме на базе книги «Трудно быть богом»?

Нравится это — или вы не очень довольны? Остроумно? Наверяно новой ситуацией?

— Мир Полудня не может рухнуть, — просто потому, что он никогда не существовал. Будет ли он когда-нибудь реализован? Не знаю. Только если человечество освоит ВТВ (это недостаточное, но необходимое условие).

— Жесткий контакт с КГБ, о котором вы упоминали, — нельзя ли подробнее? Даже если это было не с вами, а с кем-то из ваших друзей.

— Прочтите роман С. Витицкого «Поиск предназначения». Там это описано достаточно подробно и абсолютно достоверно.

Цитата из рекомендованного романа:

...он возразил, что слов таких не произносил, что статью Мирлина он антисоветской не считает, что со статьей он спорил, да, но не потому, что считал статью антисоветской, а совсем по другим причинам... позвольте, вот и на следующей странице то же самое! Нет, я этого определения статье не давал... я попрошу эти слова переписать... да, заново... Можно просто вычеркнуть? Хорошо, тогда я их вычеркиваю... и здесь вот то же... еще есть где-нибудь?... Ага, и вот здесь... А в конце я напишу, что это я их вычеркнул... А как же? Я же не говорил этих слов. Нет. Надо было дать мне, я бы сам написал свои ответы на ваши вопросы... а то что же получается?..

Он чиркал, вымарывал, вписывал свое заявление... Следователи продолжали подшучивать, хотя и казались раздосадованными и даже как бы обиженными, Мирлин смотрел на него молча, рассеянно улыбаясь... Но вот все это кончилось. Он чувствовал себя, как будто мешки пудовые грузил, руки дрожали... Он подписал протокол. Третий за день. Было уже — без десяти шесть. Восемь часов без обеда. В глазах было темно, язык не ворочался. Веньямин Иванович — этот был как огурчик! — любезно проводил его до самого прапора вниз. Попрощались, пожав друг другу руки, и Станислав вышел через дверь подъезда номер пять наружу. Ленивый жар раскалившегося за день города окатил его... (И далее в таком же духе. — И. С.)

— Вот слова из вашего интервью: «Опытный “следак” хорошо различает правду и ложь допрашиваемого, особенно когда идет допрос под пыткой». Откуда информация? От брата, который переводил допросы японцев?

— Не помню этой фразы. Впрочем, это ведь банальность.

— Что вы думаете о Японии и Германии времен Второй мировой и после? Об их сравнении? Демократия там стала возможной только после иностранного военного вмешательства — но могла бы и без такового восторжествовать, или как?

— Иностранная оккупация сыграла там основную роль. «Естественный» путь от автократии к демократии долг и тернист. Посмотрите на Россию.

— Брат научил вас ценить китайскую кухню. Что именно вам в ней нравится?

— «Я вкус в ней нахожу».

— Китайскую, а не японскую — видно, потому, что она была при старом режиме менее доступна? Почему именно китайская кухня так популярна в мире, а не, к примеру, русская? Разница в сложности и универсальности технологий? Как национальный характер выражается в еде? Что вы могли бы сказать о еде — и наркотиках, в частности алкоголе — применительно к вездемному разуму, к другим цивилизациям, как это описывались вами и другими фантастами? Что тут можно придумать и понять?

— Это все лежит далеко за пределами моих знаний и интересов.

— Вы избегаете ТВ, может быть потому, что массовый зритель не воспринял телевыступления ни Дмитрия Сахарова, ни Александра Солженицына?

— Я избегаю ТВ исключительно по традиции, которая сложилась так давно, что сейчас было бы грех ее нарушать.

— Вы написали про фэнтези: «Человек ощущает себя чужим в этом мире и — почти инстинктивно — ищет дорогу в миры, где он будет своим и сильным». Это как уход в банду? В криминальную субкультуру? К наркоманам или сатанистам?

— Это слишком сильно сказано. «Мягше, мягше...» Просто в мирах фэнтези легко, интересно и ни о чем не надо думать.

— Сатанисты вообще бывают. Я разговаривал с некоторыми на зонах, где они отбывают наказание за убийства. Можно ли сказать, что это явление вызвано к жизни чисто литературой, описывающей сатанистов? Больше ведь неоткуда было о них узнать.

— Ничего о сатанистах не знаю. Думаю, это одно из многочисленных эмоциональных извращений, свойственных человеку.

— Вы довольно часто хвалите Пелевина. Но вам не нравятся его последние книги. А совсем последние? В частности, про пиндосов? Не сдулся ли он? Или у него просто творческий кризис? Какие, наверно, бывали и у вас?

— Последние вещи Пелевина (в том числе и про пиндосов) мне нравятся. Просто ранние его вещи (до «Чапаева») нравятся мне больше.

— Расскажите про Высоцкого! Что вы можете сегодня про него вспомнить?

— Я знал его мало и все, что знал, уже неоднократно описывал. Он был замечательный поэт и значительный артист.

— А каков был Тарковский?

— Он был гений, и общаться с ним было практически невозможно, потому что он мыслил не словами, а зрительными образами. Впрочем, кое-как справлялись.

— После того как он уехал, не думали ли и вы тоже на Запад? Володарский и Аксёнов уверяли, что и Высоцкий собирался эмигрировать. Ну или на Восток, в Японию к примеру? Вас же издавали, платили гонорары — так что можно было б жить. К вам был бы всплеск интереса, как же, выбрали свободу.

— Мы не хотели уезжать *никогда*. Здесь было наше все: дом, друзья, язык. Куда нам было без этого?

— Что вы думаете об экспедиции вашего коллеги Уэллса в Советскую Россию? Почему он не сделал из этого фантастического сюжета?

— Уэллс ни черта не понял в новой России. Он вообразил себе: раз индустриализация потребует миллионных жертв, значит она невозможна. Какая милая наивность великого скептика и гениального прорицателя ужасов XX века!

— А правда, что вас принимали за инопланетян? Говорят, выражали сочувствие, что не могут вам помочь с ремонтом звездолета. Но якобы предлагали материальную помощь.

— Это правда. Было несколько писем на эту тему.

— Президент США — мулат. Фантастика! Пересмотреть взгляды на то, что реально, а что нет? К каким еще невероятным событиям надо готовиться?

— Как Лем нас всех учил: «Время жестоких чудес еще не миновало». Из этого и исходите.

— Вы уверены, что в размышлениях о других мирах можно обойтись без средств, расширяющих сознание, — типа ЛСД, который вроде не считается наркотиком? Ну хоть алкоголь? Вот, говорят, Пелевин многое почерпнул из своих наркотрипов. Хотя сам он это отрицает, правда, неубедительно.

— Чушь все это. Про АБС тоже говорили, что они запираются на цековской даче, накачиваются наркотиками и сочиняют. А у нас, между прочим, сухой закон объявлялся на время работы — все 45 лет, с 1955-го до 1990-го. (Выше уже было про это. — И. С.)

— Как и когда вы стали автомобилистом и как это протекало? Какие машины, за какие деньги, — подержанные «мерседесы», как у Высоцкого? Какие маршруты вы прошли? Не было ли вам больно, оттого что вам досталось такое старомодное средство передвижения — а не, например, летающая тарелка? Меня, например, это довольно часто раздражает.

— Первая моя машина была «запорожец-с-ушами». Последняя — «Тойота-Королла» (но я уже ее не вожу, только жена). Любимый отпуск у меня был: сесть в автомобиль (в три автомобиля — у нас была целая компания) и пуститься по Большому кругу: Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия и обратно — через Псковщину — домой. Примерно три тысячи кмэ.

— Какие самые сильные воспоминания остались у вас о блокаде?

— Читайте «Поиск предназначения». Там все правда.

Цитаты из вышеупомянутой книги:

Много дней он не ел досыта, а последние два — зимних — месяца он просто потихоньку умирал от голода, но он не знал этого и даже об этом не догадывался, — он совсем не испытывал никакого голода. Есть не хотелось. Очень хотелось ЖЕВАТЬ. Все равно — что. Пищу. Любую.

До конца января он дотянул только потому, что всю осень они ели кошатину... Вначале, еще брезгуя, ели исключительно и только белое мясо, а все остальное выбрасывали. Мясо — жарили. Взрослые говорили, что похоже на кроличье, но мягче, нежнее... А в конце осени — съедали уже все, до последнего клочка плоти, исключая разве что одну несъедобную шкуру да когти.

Однако кошки были уже съедены в городе все и давно, и всё мало-мальски съедобное, что могло быть обнаружено в городской квартире — старый столярный клей, засохший клейстер с обоев, касторовое масло, сушеная морская капуста (довоенное отцово лекарство от сердца) — все это уже было обнаружено и съедено, и теперь более впереди не было ничего, кроме смерти... Канализация не работала, унитаз был забит куском мутного льда. Испражнения выносили, наверное, в каком-то поганом ведре во двор, а у кого силы не хватало — выливали прямо на ступеньки этажом ниже. Он помнил загаженную лестницу, и он прекрасно помнил невообразимо, невероятно, необратимо загаженный двор...

— В начале 2001 года вы сказали, что XXI век, может, еще не наступил и надо ждать некоего важного знакового события, которое откроет новый век. Это было 11 сентября? Если так, то ваше предсказание сбылось.

— Я не уверен, что XXI век наступил именно 11 сентября. Боюсь, начало будет еще покруче.

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

Жизнь на свежем воздухе

Поэт, писатель, охотник Михаил Тарковский третий десяток лет живет в тайге на Енисее. Эти места ему открыл когда-то его дядя Андрей. Двадцать лет — многовато для эпатажа публики, для работы на имидж. Он просто живет — добывает соболя и сдает шкурки, ловит рыбу, сочиняет рассказы и рассылает их по издательствам. Миша уверяет, что живет в тайге по одной простой причине: ему это нравится! А в Москве — не нравится. «Мне неприятно, что в больших городах люди не как деревья, а как лес, как фон. В столице мало кто задумывается о жизни, люди просто стараются выжить, и все».

Зиму 2001/2002 года Михаил впервые за многие годы провел не в тайге — но в нелюбимой Москве. Прилетел — и тут же с непривычки попал в драку. Получил сотрясение, — слава богу, легкое. Хищники, морозы, вьюги — все нипочем, а тут... Что это, как не проявление конфликта с цивилизацией?

Дикая жизнь

— Ты для чего поселился в тайге? Создать биографию? Сейчас ни у кого из писателей нет биографии, а у тебя — есть. Ты — таежный охотник.

— Я просто захотел — и поехал. Я не думал ни о чем. И ничего писать не собирался.

— Но как же ты попал в дикие места? Ты осуждаешь цивилизацию и бежишь от нее, проповедуешь жизнь на природе?

— Да ну... Это все хренософия, болтология. Я просто поехал, и всё... Очень распространенный вопрос: что человека заставляет сменить место? Думают — вот он бежит от дискомфорта, который был на старом месте. Но часто причина в том, что человеку просто нравится, даже слишком, новое место, куда он едет. У меня предлог мог быть любой, но на самом

деле причина была такая: мне просто хотелось быть среди этих елок. Нравилась безумно тайга, вот это пространство огромное. Я когда смотрел на географическую карту России, особенно на зауральскую часть, меня просто начинало трясти, так туда манило. Это такой азарт! Мне больше ничего не надо. Как только я представлял себе Саяны, у меня [сразу] мороз по коже. Ладно, первое время меня интересовала орнитология. Действительно, мне было это интересно. Я всегда радовался, увидев новую птицу, хотелось узнать, как она называется, — это как азарт коллекционера. Я каждый год в Сибирь ездил с биологами в экспедиции. Еще школьником начал! Потом уже студентом в Туву ездил, на Байкал, на Енисей. Там мои друзья работали в экспедиции. Однажды я зимой в Туруханский район приехал и понял, что должен там остаться. И сразу мне предложили работу на биостанции... Я пять лет там отработал. Вместе с напарником, его зовут Анатолий. Потом он ушел в охотники; следом за ним и я. Мы ушли... Это путь, тут всё логически одно из другого следует. Человеку нравится там жить, он остается, начинает работать в экспедиции, но у него всегда мечта — подняться на следующий этап, пойти в охотники. Вот и всё...

— Значит, сразу нельзя уйти из города в охотники, нужно сначала побыть на станции...

— Обычно — да. Биостанция — это такое перевалочное место. Потрешься с мужиками, пообщаешься с охотниками, кое-что уже научишься делать, и следующий этап — уже охотничий... Таков этот сценарий, уже тыщи людей по этому пути прошли.

— Многие, наверно, поматросили и бросили.

— Нет... Это засасывает капитально. В любом поселке, куда приедешь, лавина людей со всей страны, целыми компаниями ехали — с Украины, с Дальнего Востока, из Питера... Такая мечта у любого есть, у каждого горожанина! Вот поймай сто человек, и каждый тебе скажет: «Эх, бляха-муха, если б не работа, махнул бы я туда...» Там есть это ощущение свободы... Ясно, что на лавке лежать не будешь, придется делать много всякой работы, — но ощущение свободы выбора постоянно есть.

— А не больше ли свободы вот здесь, в Москве? Вот ты, например, пошел бы, наторговал себе нефти на миллион долларов, а после делал бы что хотел. А?

— Это сказка, такого не бывает. Так не получается. Я думаю, что как только человек заработает миллион, сразу начинает второй зарабатывать. Остановиться нельзя! И потом, мы и так делаем, что захотим. Вот я напарнику Толяну говорю: «Слушай, вот было бы у тебя бабок до хрена, что б ты делал?» Он отвечает: «Ну что б делал? На вертолете на охоту забрасывался бы и охотился. Ну жрал бы что-то другое, а делал бы все то же самое».

— Это как в анекдоте, когда белый учит туземца: заработать на сборе бананов, а потом лежать под пальмой и ничего не делать. Туземец говорит: «Так я и лежу...»

— Да, да, да.

— Это как с цыганами. Их долго презирали за дикий образ жизни, а теперь все мечтают так же жить — иметь кучу детей, путешествовать, селиться на природе, жарить шашлыки на свежем воздухе...

— Ну да, есть такое. Вот когда приезжают иностранцы в тайгу, они же тоже начинают так себя вести.

— Ты возил?

— Было дело. Они отдаются обстановке! Иностранцы на этот отдых в тайге тратят такие же бабки, как если бы они на Канары съездили. Даже больше!

— Типа «знал бы прикуп — жил бы в Сочи». Можно сказать, что ты живешь на курорте?

— Мы обсуждали это с Толяном. Когда стоит прекрасная погода, градусов десять тепла, я говорю: «Вот было бы так всегда». Он не соглашается: «Да ты чего! Это было бы райское место! Тут все торчали бы, заколебали бы! Нас бы тогда выжили отсюда!» Там мало народу, потому что то комар, то морозяка, то транспорта нет. Это лимитирует. А так — конечно, классно, в принципе. Живешь один, никто тебе на пятки не наступает, всегда можешь уехать на какую-то речку, где никого нет, поймать рыбку. Завел мотор — и поехал! Ощущение такое, что ты хозяин жизни. Все зависит от тебя. Как в одном моем рассказе говорится, мир сведен

до размеров, когда в нем можно навести порядок своими руками. Вот и всё. А в городе — н-е-ет. В городе ты зависишь от множества обстоятельств, у тебя нет ощущения, что ты — хозяин положения. В городе важно одно: количество бабок. Чем больше у тебя бабок, тем сильнее у тебя ощущение, что ты — хозяин. Но свободы все равно нет! Свобода — в тайге. Она там мерится твоим мастерством, твоей выносливостью, твоей упертостью, твоей терпеливостью, какой-то работой над собой, может быть. Тем, что ты можешь сам сделать. Там все пахари, все мастера, все плотники, у всех такой сибирский мощный стиль.

— Это красиво звучит. Но смотри что получается: у вас вроде свобода и чистота, а живете вы на деньги, которые за продажу соболей. Вы фактически кормитесь с того, что миллионеры покупают своим девкам шубы.

— Нет, нет. Настоящие таежные мужики таких вот, в шубах, презирают. Дама, которая соболей носит от Диора, там она вообще для таких людей — дерьмо. Они ее презирают, им отвратительны эти дамские штучки, они ненавидят все это! Охотник — это ж белая кость. А может, это какая-то классовая ненависть крестьянина к барской жизни... Это тоже есть.

— Ну ладно, зимой ты в тайге, на промысле. А летом где?

— В деревне. В Бахте. Это на Енисее.

— Туда как к вам добираться?

— Если летом, то сперва самолетом до Красноярска, а потом теплоходом двое суток — прям до деревни. На пароходе, конечно, классно... Сел в каюту, пьешь пиво, смотришь на берега, тебя подвозят к деревне.

— Неужели причал есть в деревне?

— Нету. На лодке тебя снимут! Лодки к теплоходу выезжают обязательно — встретить кого, посадить, рыбу продать. Лодки сразу выскакивают! Событие какое — пароход! Это ж не каждый день, а раз или два в неделю. Праздник... А зимой — от Красноярска самолетом, Як-40 или Ан-24, час сорок до Подкаменной Тунгуски, а дальше пятьдесят минут на «восьмерке» (Ми-8), она по четвергам летает.

— Вот так в тайге жить и все там самому делать, по снегам пробираться, — у тебя, наверно, подготовка, как у десантника.

— Сейчас здоровье уже не то. Но тогда, в лучшие годы, я спортивно себя чувствовал.

— А в твои годы уже надо завязывать с этим, да?

— Теперь другой стиль. После сорока выбираешь, где напрячься, а где нет, где себя беречь. Уж так по тайге не шархаешься...

— А когда уж нет здоровья, что потом с охотником?

— Потом — старость, деревня, пенсия, огород... Старички там очень сильно болеют, потому что климат тяжелый, перепады давления очень серьезные... Это все печально. Когда тебе годков уже много, становишься заложником вот этой ситуации. Жизнь — суровая штука, и, когда старость надвигается, о счастье вопрос не стоит.

Охота

— Скажи-ка, Миша. А не жалко тебе зверей убивать?

— Банальный вопрос.

— Конечно.

— Жрешь курицу, носишь ботинки из кожи? Тогда молчи, за тебя другие убивают, это еще циничнее. Охота — это образ жизни. Там убийство — это одна тысячная тех дел, которые ты делаешь, — по времени, по объему.

— Да я пошутил. Стреляй себе! Убивай, радуйся! Но это очень интересно, что ты так завелся. Скажи, пожалуйста, а каких ты вообще там зверей добываешь?

— В основном соболя, белку. Еще там росомаха, медведь, лось, олень, глухарь, тетерев, рябчик. Медведь — он и на шкуру идет, и на еду, на блесны... Но главное в медведе то, что он — враг, не убьешь его, он тебя потом на уши поставит.

— А чем же он тебе враг?

— Ну, он же избушки разоряет. Залезет, разворотит там все, сожрет все, что можно.

— Ты сколько завалил медведей?

— Ой, ну мало. Не будем даже говорить об этом. Вот Генка Соловей — тот до хрена завалил медведей. А мне с моими цифрами смешно говорить.

— А как выглядит процесс охоты? Ходишь по лесу и стреляешь все, что попало?

— Нет, у каждого свой участок, с закреплением, охотовед в районе оформляет.

— За взятки?

— Ничего не надо. Хочешь взять участок — это даже приветствуется.

— Сейчас есть пустые участки?

— Да сколько хочешь, — пожалуйста! Можно брать. Только это далеко, за Братском. Там речки горные, труднопроходимые... Не каждый пройдет.

— Сколько ты за одну соболью шкурку выручаешь?

— В среднем 1000 рублей.

— Если взять за зиму 1000 соболей...

— Тыщу? У нас хороший охотник 100 соболей добывает. А бывает, что 15 добудешь. Отсюда надо вычесть расходы. Горючее, ружья, патроны и так далее. Это чуть меньше половины, если считать со 100 соболей. А допустим, ты покупаешь новый «Буран»... В общем, чтоб жить там, хватает. А если ты выездной человек? Приехал в Красноярск, в Москву, прошел по редакциям, посидел с друзьями... Все вылетает сразу.

— Соболя ты в глаз бьешь?

— Ну, во всяком случае — в голову.

— Ружья какие у тебя?

— Тозовка калибра 5,6 и дробовик-вертикалка — ИЖ-27. Но стрельбы там немного. Только первые две недели бьешь соболя. А потом наваливает столько снега, что собаки не идут, а плывут: глубина — метр и больше. Охота заканчивается, и дальше только ловушки. Собственно, труд охотника заключается в прохождении путиков — дорожек, на которых расставлены ловушки. Проверяешь их и обслуживаешь. Нужны ноги и терпение. А еще здоровье и крепкие нервы.

— По сути, это прогулка по свежему воздуху.

— Да, бесконечная прогулка по свежему воздуху.

А это из его стихотворения:

Охота...
Я люблю, придя шатаясь,
С горячими сосульками на лбу,
Сняв тозовку, ввалиться, спотыкаясь,
В холодную и тесную избу.
Там печки неохотная работа,
И в полутьме тяжелый куль с крупой
Сбивает шапку, мокрую от пота.
Под тонкой и прозрачной скорлупой
Люблю фитиль в пылающей короне,
Капканов беспорядок на полу,
Стук льдышки в чайнике и шорох в микрофоне
Холодной рации, вокруг трубы в углу
Распятые таежные доспехи.
Далекий, побеждающий помехи,
Переговор товарищей ночной
И русской музыки строгий позывной...

Судьбы аборигенов

— А вас ведь можно сравнить с пионерами, со следопытами, которые были у Фенимора Купера. Они делали то же самое, что вы, так?

— Ну в принципе, да.

— А разница в чем?

— Они шли завоевывать, они шли за золотом. Они жили дикой жизнью, но в итоге принесли дикарям цивилизацию. А у нас — как бы наоборот. У нас в тайге это дурной тон — нести цивилизацию. Наоборот, смысл мы видим в том, чтобы раствориться в природе, чтобы стать не хуже кетов и левингов.

— Если бы по вашему принципу действовали американские пионеры, то они, наоборот, стали бы ходить в перьях, с томагавками, жили бы сейчас в ладу с природой рядом с дикарями?

— Да, конечно.

— Как талибы?

— Конечно, конечно! Хотя — поскольку мы люди русские, то у нас в результате получается нечто третье. У нас получается свой вариант.

— А ты не думал о том, что белые американцы отняли землю у индейцев, уничтожили их, споили огненной водой...

— Да они сволочи просто.

— Допустим. Но ведь и русские сделали то же самое. Помнишь эту картину, где Ермак воюет с Кучумом? Наши сибирские монголоиды — это, по сути, те же индейцы. Белые русские отняли у них землю, алмазы, золото, нефть, споили туземцев огненной водой. Как американцы. Мы фактически одновременно убивали и грабили, только они награбленные средства вложили в строительство цивилизованной страны и теперь платят деньги своим несчастным индейцам. А мы ограбили, отняли у аборигенов все, а награбленное пропили.

— Да не отнимал никто!

— Здравствуй! Как не отнимали? Мы ж не покупаем у якутов алмазы, а просто забираем их в Москву, потому что наши предки отняли у туземцев землю.

— Ну а что ты хочешь, — вернуть все туземцам? Так страны не будет!

— Я не сказал, что хочу все вернуть! Ограбили — значит, ограбили, значит, так надо было. Только незачем это скрывать, незачем прикидываться целкой.

— Нет, подожди. В истории любой страны есть период освоения каких-то новых земель, согласись. Погубили коренные народы не американцы и не русские, а погубил их контакт с цивилизацией. Человека из первобытнообщинного строя притаскивают в XX век, не спросив его согласия. Он не готов к этому, он гибнет. Любой контакт, он всегда гибелен для более низшей цивилизации. Это раз. А второе то, что в послевоенные годы неправильно велась национальная политика по отношению к малым народам. Не нужно было их свозить в поселки, в интернаты, привязывать их к магазинам. Надо было их оставить на первобытном уровне...

А так — они гибнут. Вот кетов, допустим, осталось меньше семисот человек. Они исчезнут лет через пятьдесят...

— И никто не будет их клонировать.

— Никто не будет.

Еда

— Там у вас как — что добыл, то и съел?

— Нет, ну там, крупа, мука, чай, соль, сахар, спички, консервы какие-то, сгущенка, перец, какие-то супы, затируха всякая, сухари, хлеб, конфеты.

— Но главное — дичь и рыба?

— Ну да. Я люблю рыбу малосольную, почти сырую. Еще очень люблю кусочек глухаря сырого съесть — с солью, с перцем.

— Это сашими называется?

— Нет, это там называется собудай. Или сабудай, не могу точно сказать. Значит, соль с перцем смешивается, и макаешь туда кусочек мяса, — ну как строганину обычно едят. Очень я это люблю. Глухарь, у него грудные мышцы красные, а вот если дальше под них залезть, так там пласт белого мяса. Вот это очень вкусно. Там такая обтрепанная обстановка, лодка обшарпанная, ветер херачит, такая серая волна, тучи такие. А ты сидишь и запросто берешь и ешь глухаря или какую-нибудь рыбину роскошную. Такая гордость за себя, что такую еду по ресторанам жрут, а мы вот, простые ребята, грязные, в провонявших бензином фуфайках, у нас руки черные, в чешуе в рыбьей — запросто едим деликатесы! Сильное ощущение! Вот почему Север так затягивает? Как раз потому...

— Да у вас там все по бартеру! Другие зарабатывают, а потом проедают, прогуливают. А вы сразу берете натурой...

— Да, мы разорвали этот круг: товар — деньги — товар.

— Деньги вычеркиваете и берете товар грубо, сразу?

— Ну.

Без вертолета — смерть

— Живешь, живешь так на свежем воздухе, тренируешься, все экологически чистое. А потом бац — и помер в тайге от примитивного аппендицита. Так?

— Нет. Все-таки вертолет можно вызвать по радиии. У каждого охотника ведь рация.

— Раньше, при Советах, полетный час стоил 760 рублей.

— А теперь около тысячи баксов. Но если вызвать по радиии санзадание, то бесплатно. Минздрав имеет фонды какие-то, сколько-то часов полетных у них есть. Но ты еще сам подумашь, вызывать или нет. Откуда я знаю, аппендицит или не аппендицит? Под чью ответственность я буду вызывать? Особенно когда уже один раз вызывал... Я из тайги, еще у меня рация хреново работала, связался с фельдшером — посоветоваться. Болит там-то, то-то, какие симптомы. И значит, фельдшер побежал советоваться с начальником, и они вместе приняли решение, — от греха подальше вызвать. Вертолет прилетел и два дня меня искал, им напарник неправильно избушку сказал. Я все убрал, выхожу на площадку, слышу — вертолет стрекочет, не может меня найти... Не нашел, вернулся в Верхнеимбатск ночевать. Я значит, заново спальник достаю, ложусь спать... Только на следующий день меня забрали.

— А что у тебя было?

— Думал — сердце, а оказалось, типа с сосудами что-то, какой-то спазм. Не сердце ни хрена! Вот.

— А они тебя укоряли — ну что ж ты нас вызвал, испугался какой-то ерунды?

— Да ничего не сказали особо. Я ж говорю, не я решал. Побыл я тогда в больнице, потом обратно пошел. 150 км пешком. (На лыжах? — И. С.) Снегоход-то остался там, откуда забрали. Четыре дня шел...

Бабы

— А что с женским полом? Как без него там, в тайге?

— Да, краеугольный вопрос, сложный. У каждого охотника есть мечта — бабу завести. Это как у эков мать — святое, так у охотников — баба. Причем все понимают, что это граничит с маразмом, потому что она там, в тайге, на хрен не нужна. В тайге — там промысел, там работают, там эта баба — просто обуза. Но мечта эта очень сильна.

— Но ты же сделал это! У тебя ведь даже рассказ про это есть, как ты бабу брал в тайгу.

— Нет, не было такого. Это я все придумал. Это выдумка, просто мечта. Все-таки бабе нужен минимум какого-то комфорта... И потом, раз ты ее привез, так надо все время с ней сидеть, — а у тебя участок здоровенный, там десять избушек, надо ловушки обходить.

— Большой участок?

— У меня — маленький, 420 квадратных километров, десять на сорок. А у моего соседа Генки Соловьева — полторы тысячи квадратных километров. Ушел, а женщине одной сидеть десять дней, ждать тебя... Зачем тогда брать? А ходить там не просто, особенно по осени, когда снег еще маленький. На лыжах еще рано, так что лыжи под мышкой, а ты с грузом, идешь, ставишь капканы, кулемки, постоянно собаки лают, хрен знает где соболей загоняют, ты бегаешь туда-сюда. Приходишь в следующую избушку ночью, с фонариком уже. Ну какая баба, какая баба это выдержит? Да... Бабе там места нет. Но там настолько все чувства обостряются, что появляется это звериное, первобытное чувство — что нужна женщина.

— Чисто как женщина?

— Ну на уровне того, чтобы разделить с ней этот мир, который требует этого. В основном у охотников жены, которые сидят в поселке. Выбор там ограничен, в деревне трудно найти себе невесту. И у охотников, и у староверов, которые там неподалеку живут, есть такая проблема, — они пишут в дальние поселки, ищут невест. Мне вот хочется, чтобы женщина

не просто бегала со сковородкой по хате, а чтоб я мог с ней поговорить, чтоб она там книжки читала...

— Ну а вообще есть там, в деревне, хоть какие-то бабы?

— Ну бичевки там есть, — только зачем они нужны. Да они и никакие уже...

— Вот ты говоришь — деньги не нужны. А были б, так можно было б гарем завести или публичный дом, забрасывать его в тайгу на вертолете...

— А на хрен это надо?

— Слушай, ты первый начал, что баба — это мечта...

Москва

— А ты вот чувствуешь, что когда мало людей, они дороже?

— Дороже, конечно.

— А когда приезжаешь в Москву, то что?

— Ну, в Москве люди как лес воспринимаются.

— То есть не как люди? А как бревна?

— Как лес. Как обстановка. Там человек тебе дорог, а тут все это как-то девальвируется. Когда приезжаешь в цивилизацию, то возникает такое сильное ощущение потери высоты. Так бывает, когда самолет снижается.

— Тебе с таким вот твоим опытом, наверное, легче понять талибов, да?

— Про талибов мне сложно говорить. Но я чувствую иногда, что ребята, может, правы по большому счету. Они своей жизнью живут, ненавидят американцев и цивилизацию вообще...

— Вот нам тут жалко Нью-Йорк. А тем, кто в тайге живет, это трудней... Если в американской провинции люди считают нью-йоркцев уродами, то у вас и подавно...

— Понимаешь, там чаще встречаются люди, которые, скажем так, о чем-то задумываются. Там все-таки осмысленно живут. А тут люди только гонятся за деньгами, им некогда ни оглянуться, ни подумать, ни поговорить с человеком. В Москве все заняты выживанием. Как дикари в дикой природе.

Заграница

— А ты бывал за границей?

— В Британии был. В 1991-м. Меня туда пригласил один отличный мужик, шотландец, поклонник русской культуры, он писал диссертацию по Соловьеву. Его зовут Фрэнк Макгоуэр, он по-русски говорит, когда-то в Воронеже стажировался. Мы с ним ну вот как с тобой разговаривали, он все понимает абсолютно.

— Ну и как тебе Запад?

— Я почему-то думал, что там все должно быть пластмассовое, абсолютно все, вплоть до кашек собачьих. А оказалось — нет. Все сделано из обычного, нормального земного материала. Утром проснулся я, слышу — в парке птичка зорянка поет, хотя и с английским акцентом. Выскочил на улицу, выбежал из этого Оксфорда, смотрю — а там, бляха-муха, такая же железная дорога, как у нас, такие же рельсы рыжеватые, и трава растет... И я успокоился. Лондон мне показался тесным и суетливым, он такой же неприятный, как и Москва.

— А красивым тебе Лондон не показался?

— Ты знаешь, нет, не показался. А показался он тесным.

— Значит, какой в итоге приговор Западу?

— Бомбить квадратами.

— Да ладно тебе! Я серьезно.

— Откуда я знаю, я что — президент, что ли? Какой приговор? Никакого. По фигу мне этот Запад. Нам своей жизнью жить, вот и все.

Дядя Андрей

— Расскажи про Андрея!

— А это обязательно? Честно говоря, заколебали. Не так много было с ним встреч в жизни, я просто вынужден рассказывать одни и те же эпизоды, понимаешь. Все спрашивают, спрашивают...

— Извини, а ты как хотел? Чтоб я писал про тебя и не спросил про него? Так не бывает. (И то сказать, как же писателя

Тарковского, отца которого фамилия Гордон, не спросить про его дядю по материнской линии Тарковского. — И. С.)

— Да? Ладно. Я могу сказать, что о Енисее я услышал первый раз от бабушки. С ее слов выходило, что там — территория каких-то чудес... Это она в свое время отправила Андрея туда в экспедицию. Еще до того, как он во ВГИК поступил. Он поехал туда с геологами, они искали золото. Добрались до Курейки — это выше Туруханска, а потом еще выше пошли. Мы с дядькой говорили про Енисей. Он сказал, что там отличные места, надо жить там! И я начал ездить в Сибирь в экспедиции — еще когда он был здесь [в России]. Потом как-то мы созвонились в его день рождения, он тогда уже за границей был. Он спросил: «Ну ты, наверное, все едешь в эти экспедиции?» Я говорю: «Нет, дядя Андрей, я уже не езжу на Енисей, я живу там». Он сказал: «Это очень хорошо!» Я поверил, что это была не просто какая-то фраза для отмазки. Он ведь эти места видел, он сказал это от души.

— Можно сказать, что он очень сильно на тебя влиял?

— Он влиял на меня сильно... Я всегда его очень сильно любил, я к нему тянулся. Мне нравилось, как он улыбается, как сидит, закинув ногу на ногу, а правую руку — за голову... Я часто ловлю себя на том, что тоже так сижу. Еще вот так хлопал языком, произнося трудный для него звук «л», он так оттягивал угол рта и хлопал щекой... Я смотрел на него с восхищением, он для меня всегда был очень обаятельным, загадочным человеком. А я так глупо себя вел при нем... Еще в Москве, школьником, когда я по лесам шарашился, бывало, какой-то рюкзак новый притащу и показываю ему. Я чувствовал, что это все смешно, что я никакого интереса как личность для него не представляю, что мне ему нечего сказать. Что, кроме этой тяги низшего существа к высшему, у меня ничего нет. А он, мне казалось, видит меня насквозь, понимает всю мою несостоятельность и несуразность и только посмеивается надо мной...

— Но вот видишь! Тебя он соблазнил Енисеем, а сам там жить не стал. Ему нужна была какая-то тусовка...

— Конечно, он был другой, ему нужна была сцена, ему было нужно однозначно что-то совершенно другое...

Мне кажется, что он был выше тех, кто строил искусство на создании крамольных аллегорий, которые очень любила расшифровывать интеллигенция... Дядька-то лепил напропалую то, что думал. Мне у него очень нравилось то, что он вот перешагивает сразу в классику, вот классическая хватка у него такая. И я смотрел очень много его фильмов. Может, я раскрываю какие-то свои карты, но я, пища прозу, руководствуюсь теми законами, которые он в своих фильмах показал.

— Это какие такие законы? Ну-ка, сформулируй!

— Это какое-то предельное раздевание души, это как расшелушивание луковицы, — когда вся эта корка снимается и остается голый кристалл человеческий. Каждый человек испытывает какие-то моменты слабости и силы. Вот когда человек не боится быть обнаженным, когда ложную силу снимает с себя, — как раз в этом его сила. Так вот герои Андрея не боятся быть слабыми. Вообще термин «сильный человек» — это очень относительно. Обычно мы под сильным человеком подозреваем волевого, который может с собой совладать, он дисциплинированный, боли не боится, может других подчинить себе, он начальник. А с другой стороны, сила, может быть, в том, чтобы не бояться быть таким, какой ты есть. В этом сила! Вот ты — русский человек, ты сейчас можешь плакать, а завтра хохотать, рожу кому-нибудь бить, если это мерзавец. Вот в этом сила, может быть.

— А может, сила в том, чтобы там иметь бабки, покупать новые машины, дорогие часы, туфли Berluti?

— Нет. Этими машинами человек пытается огородить свою пустоту.

Виктор Астафьев

— Вот ты живешь на Енисее, а тут ведь Астафьев жил. Ты думал о нем, когда туда ехал, пытался быть последователем, — или это совпадение?

— Ехал-то я по-другому. Но потом написал как-то повестуху «Иваныч» — про мужика, который построил баню и умер потом, напарившись в ней. И я почему-то, когда

писал, представлял себе, что этот мужик внешне похож на Петровича. Вот просто его видел почему-то. Я писал не то что с оглядкой на него, но как бы внутренне обращаясь к нему. Такая вещь очень сибирская, крестьянская, очень для меня важная. И потом, когда я написал, у меня зашевелился какой-то червячок в голове. Я думал, если я ему эту повесть не покажу, то потом, когда пройдут годы и он умрет, я себе не прощу этого — того, что не показал ему. Я послал ему повесть, и он сказал о ней, что это для него как глоток свежего воздуха. И мне это так стало приятно... Это меня внутренне поддержало. После этого у меня началась как бы новая жизнь. У нас было несколько встреч. Я ездил к нему в Красноярск, мы разговаривали с ним. Он хорошо ко мне отнесся, внимательно, для меня это целый кусок жизни. Он — настоящий, в нем нет всего того, что есть во многих столичных писателях. Он говорит — ну вот как мы с тобой, он простой, обычный человек, со своим юмором, со своим каким-то стыдом за то, что ему не нравится. Мне очень запомнилось, как он рассказывал, что вот его приглашают везде в качестве великого писателя и свадебного генерала. И говорит: «Вот сижу я там, и мне стыдно...» Действительно, веришь, что ему стыдно. Он высказывал какие-то мысли, которые и у меня тоже были, — родные мысли звучали. Он всегда говорил: «Тебе нужно из тайги выбираться, переезжать в город, если ты хочешь писателем быть». А я ему говорил: «Ну как я поеду? Я прикипел уже, когда из Бахты уезжаю, у меня такое чувство, что я буду предатель, если уеду». Он говорит: «Слушай, у меня тоже бывает такое!» Последний раз я с ним виделся в 98-м или 99-м, в Красноярске, — он мне литературный музей показывал...

Литература

— Как ты начал писать? Почему? Зачем?

— Я ехал за тайгой. А потом, когда я остался один-одинешенек на этой биостанции осенью... Вот этот постоянный информационный фон, который всегда есть, даже в деревне, заглох. Все схлынуло. Я читать стал очень много. Я себя

услышал, открылся родник, — и из меня поперло: я стал стихи писать, записки какие-то.

— Вот это одиночество, уединение. Грубо говоря это можно сравнить с монастырем. Ты и сравнивал в стихах тайгу — с монастырем.

— Конечно. Конечно!

— Как бы на покаяние ушел?

— Да, на покаяние, на испытания ушел. Но что, это уже слова. Первая моя книжка стихов вышла в 91-м году. Мои друзья издали, за свои деньги. Тираж — 5000. Но никто эту книжку вообще не заметил.

— В 91-м году не до тебя было. И вот дальше — ты сидишь пишешь...

— Да, сижу пишу. В 95-м я начал пытаться печатать в журналах свою прозу. За шесть лет и я пробил вот эту стену, вот этот лед. Мне помогли. Журналы «Наш современник» и «Москва», это я через них вышел. Стал относительно известным писателем. Моя книга как-то вошла в десятку лучших книг года, про это «Литгазета» писала.

— А скажи мне, у тебя какая сверхзадача?

— Какая сверхзадача? Я — никто, в том-то и дело, что я — никто. Я просто проводник, я просто труба, через которую проходит какой-то свет, какая-то любовь...

— Ты просто ретранслятор?

— Да. Я просто служу вот этому, чему-то высокому, — небу, России, — неважно. Меня нету, я вообще ничего не беру на себя, я труба пустая. Просто, если я что-то люблю, почему я не могу о своей любви рассказать другим людям? Что, для этого нужна чья-то санкция?

— Не знаю... А как ты видишь свой писательский успех? Что бы ты хотел в итоге получить? Памятник при жизни? Нобелевскую премию? Свой собственный музей?

— Нет, ни хрена. Хочу, чтобы я спокойно мог жить в Бахте на свои гонорары... Но этого не будет. Потому что та литература, которую я пишу, не будет пользоваться коммерческим спросом. Я не могу себе представить тираж в 50 000. Я же Пелевин.

— Ну-ка, ну-ка, скажи про Пелевина. Как ты его видишь?

— Да никак не вижу. Я, во-первых, его не знаю и только одну его книжку читал. Про Чапаева. Сделано хорошо, мастеровито, интересно читать, но все время есть ощущение, что это сделано лукаво, с оглядкой на спрос.

— А это плохо?

— Ну для меня плохо, а для него это хорошо, наверное.

— Смотри: ты едешь в тайгу, которая для тебя что-то типа монастыря, а он едет чисто в монастырь. В Корею. Мяса не ест, китайский язык учит...

— Но это же все опопсовлено, понимаешь?

— Почему ты знаешь? Может, он действительно такой?

— Мне кажется, он шоумен...

— Да, с таким подходом вряд ли ты одолеешь московского тусовочного читателя...

— Да хрен с ним. Тебя устраивает мой ответ?

— Хороший ответ, красивый.

АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ:

«Журфак — все мы вышли из шинели Засурского»

Александр Терехов родился в 1966 году в Новомосковске, Тульской области, окончил факультет журналистики МГУ. Работал в журнале «Огонек» и газете «Совершенно секретно». Автор романов «Зимний день начала новой жизни», «Мемуары срочной службы», «Крысобой», «Бабаев», «Каменный мост» (вторая премия «Большая книга», 2009).

Беседа наша началась несколько необычно. Я заметил, что не задаю вопросы, а отвечаю на них. Ну ладно, для начала сгодится, разогреемся — и вперед, подумал я. Разогрев однако затянулся. На 91-й (!) минуте разговора я бесцеремонно отклонил очередной вопрос бывшего журналиста Терехова (главным образом потому, что рассказал про себя все, что знал, и потому стало скучно) и стал задавать вопросы ему; в конце концов, из нас двоих это он писатель Земли Русской, носитель духовности (в хорошем смысле слова) и вещатель истины.

Вопрос его, на котором я переломил ход беседы, был такой:

— Ты москвич? — это он меня спросил.

— Ты разве не слышишь, как я говорю? — ответил я.

— А как? Нормально вроде.

— А фрикативное «г» ты не отслеживаешь? Оно такое же, как у тебя. И поэтому я тебя даже не спрашиваю, москвич ли ты.

— Ну фрикативное мы же когда надо включаем, а можем и не включать.

— Я всегда включаю. (Или, наоборот, никогда не выключаю.) Но согласен, что оно — и есть норма. Видишь, твои предки из Тульской губернии и из Белгородской, ты там жил и потому у тебя «г» фрикативное. Отъезжаешь от Москвы 150 км — и сразу фрикативное. Но почему-то это не признается нормой языка. А за нее взят московский диалект.

Притом что во всем мире над столичными диалектами смеются! Однако ближе к телу. Ты вот у меня взял интервью (текст которого мы тут не приводим по понятным причинам), — что ж, понимаю, ты сам бывший журналист, который бросил наш цех, погнался за славой и поклонницами. Да ты словно и не писатель! Ты меня просто допрашиваешь. Сам же говорил, что журналистика не профессия, а говно, что-то в таком роде. Не помню дословно. Поправь тут меня, если считаешь нужным.

— Да нет, я сказал, что журналистика — это «письмо на туалетной бумаге», а вообще лучшая профессия для гражданина СССР, но она как большой спорт — важно вовремя закончить. Я, как дальновидный, крупный педагог, с пяти лет повторял своей старшей дочери: «Ася, если захочешь увидеть седого отца законченно несчастным человеком, закури, употребляй в речи слово “волнительно” или еще хуже — реши стать журналистом». И вот результат: «Папа, а не поступать ли мне на журфак?» Единственная надежда, что походит по редакциям, поглядит на таких монстров, как ты, и передумает!

— Немудрено, что твоя дочь захотела продолжить династию: ты вон какой знаменитый. Прославился еще как журналист. У тебя у самого-то какое образование?

— Военная специальность «радист». А так — никакого.

— А диплом?

— Журфака МГУ.

— Сильно он тебе помог?

— Ну как, я в ДАСе жил, комнату снимать не приходилось, пять лет временной прописки, стипендию получал, а со второго курса ходил только на физкультуру, да и то нерегулярно, приходилось закрывать прогулы сдачей кровей. А на экзаменах списывал со шпаргалок отличниц. Как и все.

— А иностранный?

— Я знаю по-английски только одну фразу: I was ill. Фраза универсальная, позволяющая объяснить, почему я ничего не знаю, почему не ходил на занятия, почему унылый вид. Вот у тебя сколько троек в дипломе?

— Одна: по русскому. Но мне простительно — я, в отличие от тебя, не носитель языка. Я в лучшем случае носитель южнорусского диалекта.

— А у меня тройки по политэкономии и логике. И основы советской экономики — вот что я еще провалил.

— Еще одна причина, по которой твоя дочка рвется в журналистику — все-таки ее дед, он же твой первый тесть — знаменитый Валерий Аграновский, великий журналист. (Грех было бы ей не использовать такой козырь.) Расскажи, кстати, как так вышло, что ты с ним породнился. Будучи еще студентом журфака.

— Это простая история, которая сейчас уже не кажется мне романтической. Когда мне было пятнадцать лет, мой наставник из газеты «Московский железнодорожник» вручил мне на трое суток бережно обернутую книгу «Ради единого слова». Ее написал как раз Валерий Аграновский.

— Хорошая книга. Мощный учебник.

— Книга так меня тронула и образумила, что я аккуратно переписал из нее основные мысли в школьную тетрадь в шестнадцать листов. На журфаке я познакомился со знаменитым преподавателем Владимиром Шахиджаняном (он же Шах), он взял меня в свою студию и начал бешено «продвигать», как продвигал всех, кто казался ему достойным его заботы. Однажды он говорит: «Хотите, я вас познакомлю с Аграновским?» Я и не знал, что Валерий Абрамович жив.

— А почему он с тобой носился?

— Из каждого курса Шах выбирал любимца и приписывал ему невероятные таланты. Да еще сын у него тогда был в армии, а тут я, трудолюбивый, заикающийся косоглазый провинциал, — как бы такое произошло замещение. Шаху я обязан очень многим. Первой публикацией, первыми книжками. Надо было достать букет цветов девушке, сдать литературу, не читая «Анну Каренину», получить освобождение на полгода от учебы, выбить отдельную комнату в общежитии — всё Шах.

— Ты написал об этом в повести «Бабаев».

— Да. Шах мне сделал щедрый подарок: «А пойдём с Аграновскими в цирк!» То есть: ещё жена и дочь. После цирка, заехали к Аграновским домой выпить чай, а вышли из гостей на мартовский мороз, Шах вдруг говорит: «А дочери вы понравились...» Я подумал: вот такой трогательный сюжет... Я встречаюсь со своим кумиром, а у него красивая дочь... И полыхает меж нами любовь. Шах добавил: «Она, кстати, через месяц замуж выходит за одного малого!» Я сразу свой сюжет и погасил, но малому повезло, женился я. Через года полтора Шах стоял в ЗАГСе свидетелем и, подняв первый бокал, сказал: вообще-то все свадьбы, где я присутствовал, кончались разводами...

— Вот и вы не сошлись характерами.

— Так обычно пишут. В заявлениях. Вот я спросил: «А что писать-то?» Напишите — «психологическая несовместимость». Я всегда ей говорил, что, когда разведемся, у нас будет все как в водевиле: ты быстро выйдешь замуж, я быстро женюсь. У тебя родится ребенок, и у меня родится ребенок. В целом так и получилось.

— Еще можно было ее убить например, — но это все же некорректно. Хотя — ты бы как раз сидел в тюрьме и писал книги, как О'Генри.

— Не дай бог. Там-то тюрьмы не то что у нас...

— Когда ты писал «Каменный мост», про «волчат», — это ты писал с натуры в некотором роде? Зная, конечно, не сталинскую золотую молодежь, но позднюю советскую? Это же твоя первая жена и ее друзья.

— Да нет, конечно. Аграновские жили самой обычной жизнью средней советской семьи. Валерий Абрамович тяжело болел. Последние лет пятнадцать он жил только благодаря самоотверженности и упорной заботе о нем его жены. Я никакого представления не имею о «золотой молодежи» — ни о советской, ни о постсоветской. Я всегда жил простой пролетарской жизнью и попал в историю с «Каменным мостом» совершенно случайно. Без личного отношения. Мне самому было странно, что больше десяти лет моей жизни поглотила история, в которой участвовало

множество людей, но ни в одном я не видел «родственника». Не я выбрал ту историю, а история — меня. Почему — я так понять и не смог...

— Твой учитель Шах же еще сексуальную культуру в массы двигал.

— А также занимался разработкой курсов «Учись говорить публично», «Соло на пишущей машинке», психологией, цирком, театром, съемками кино, собаководством, писал книги, вел ночные радиопередачи и воспитывал журналистских звезд, потом безумно увлекся интернетом. Лекции по основам сексуальной жизни его прославили среди студентов и солдат Советской армии.

— Так ты в этом деле должен быть подкован.

— Я в «технику и тактику» особо не вникал, но однажды спросил многолетнюю машинистку Шаха, перепечатавшую на электрической пишущей машинке миллиона четыре страниц переведенных со всех языков пособий «про это»: «Ну как?» Она вяло и устало ответила: «Да ничего нового».

— А потом вы с Шахом расстались. Почему?

— Да как бы я вырос, у него появились другие ученики.

— Значит, журфак; ты работал, на занятия не ходил.

— Трагическую роль в моем образовании сыграла статья Нади Ажгихиной, в «Комсомолке». Она там напечатала коротко прогремевший подвал «Посвящение в дилетанты», где раздолбала журфак. Она написала, что те, кто на учебу не ходят, висят все пять лет на грани отчисления, но пишут и печатаются, в итоге получают прописку, квартиру, место в штате — и прекрасно живут. А те, кто учится за красный диплом, — те потом уезжают в районную газету города Алексина и пропадают из журналистики вообще. И поэтому, когда я приехал в МГУ, я уже знал, что это мне четко не надо. Когда я встретил живьем Ажгихину, я сказал ей: «Надежда Ильинична, всё из-за вас!» После 3-го курса у меня было тяжелое раздумье — идти мне в «Молодой коммунист» или в «Огонёк». Тогда это были примерно сопоставимые вещи, какие-то перспективы были. (Это был

1989-й — еще не ясно было, как будет, куда все повернет.) В «Огоньке» мне предложили на 20 рублей больше — и я стал младшим литсотрудником (на полставки) отдела морали и писем, который Юмашев возглавлял тогда.

— А главный был тогда Коротич?

— Да. А потом Гущин.

Армия (школа жизни)

— У тебя был такой плюс, что тебя не могли выгнать за прогулы и отправить в армию.

— Потому что в армии я уже служил.

— А ты чего пошел в армию? Почему не косил?

— Я — из простой провинциальной семьи. У моих родителей не было возможности меня откупить, и даже мысли такой не было — как-то от армии увильнуть: все служат. А жаль. На два года... Служил я в Люберцах и в Матросской Тишине. Там штаб военно-транспортной авиации, я был связист. И рядом еще тюрьма есть, к которой мы отношения не имели. И известная больница. И еще — медучилище, которое наш взвод очень интересовало, как и Текстильный институт или там текстильная фабрика, — солдаты — простые демократичные люди. Ты-то интеллигент!

— Интеллигент я очень условный, но ты угадал, — я ездил на отдых не в медучилище, а в «элитный» женский вуз — Институт культуры, на Левобережную. А ты, значит, связист, — типа «за связь без брака». Если я и интеллигент, то уж всяко в пределах разумного. Живя в шахтерском поселке, в степи, я не очень набрался хороших манер. Мне очень тяжело разговаривать с людьми на вы, по имени отчеству — сразу пропадает живая нить, выходит чисто формальная беседа, хочется ее быстрее закончить. Когда нельзя с человеком по душам поговорить, на хер нельзя его послать, — то какой смысл с ним общаться?

Величие. Поколения

— Разошлись вы, значит, с дочкой Аграновского. Но детьми ты занимаешься — и от первого брака, и от второго. Вон с сыном ездешь по заграницам — на матчи нашей футбольной сборной. Это круто.

— Сыну сейчас двенадцать. А когда ему было восемь, он ко мне подошел и говорит: «Папа, а зачем ты пишешь? Ты же непопулярен».

— И что ты ответил?

— А что можно на это ответить? Это страшный вопрос для любого, кто сейчас продолжает писать книги на русском языке. На Лондонской книжной ярмарке он первый раз задумался о моем величии. Прилетели, тащим тридцать пять кило книг. Нас встречает роскошный старенький «мерседес», и водитель-индус стоит с табличкой «Александры Тереховы», нас же двое, и мы оба Александры. Сын посмотрел, как ярмарка проходит, сфотографировался с директором «Ясной Поляны», купил себе выдающиеся белые кеды и косметический набор тогдашней подружке, потом мы отправились в Ливерпуль на встречу с шестью студентами, изображавшими читателей моего «Крысобоя», вышедшего на английском. Я бегло осмотрел студентов, внимательно взглянул на двухметровую переводчицу и только затянул свою речь, как сын очень больно, но незаметно ударил меня кулаком под ребра: «Поконкретней говори, что ты как-то вокруг да около!» То есть он понял, в моих книгах что-то есть, практическая польза для него, походил вокруг меня на турецком курорте и велел: «Давай пиши что-нибудь еще!» Я просто взвился: напиши что-нибудь еще! Как же! Я, между прочим, медленно пишу, может быть еще десять лет следующий роман писать буду! Сын что-то прикинул, помрачнел и деловито спросил: «А за три года сможешь?» — «За три? Да вот если сидеть безвылазно, как в тюрьме, и писать, писать, писать — вот тогда можно за три!» Сын довольно жестко спросил: «Ты сегодня работал?» — «Какое — работал! Мы ж с тобой сегодня в футбол пошли играть после аквапарка!» — «Ты бы мог и не играть в футбол. Садись и пиши!»

— Так и Довлатова дочка спрашивала: писатель он или нет? Он гордо ответил, что писатель. Тогда она его спросила: «А почему б тебе тогда не написать хорошую книжку, чтоб появились деньги и мы наконец зажили как люди?» Грустно...

Идеальный человек

— Скажи, Саша, а почему ты не пьешь? Вот мы сидим в кабаке, ужинаем, я уже чего-то выпил, а ты — нет. В чем дело? Подшился, в завязке, на просушке? На таблетках — лежишься, может, от чего?

— Я вообще не пью.

— Будучи русским писателем? Не пьешь? Ну-ка, ну-ка... С этого места подробней.

— Я в детстве собирался стать либо Лениным, либо Пушкиным. Поэтому...

— Пушкин — ладно, это стихи, а Ленин — это как? Это что?

— Пушкин — это бессмертная слава, а Ленин — это социальное переустройство всего мира, на условиях бессмертия. И так и этак надо быть идеальным человеком — не пить, не курить, не ругаться матом. Особенно трудно было в армии. Там человек, который не ругается матом и не пьет, — дебил, он двух слов связать не может, с ним не о чем поговорить. К тому же если не пьет — значит, будет стучать. Это гарантирует одиночество и непонимание. Лет в пятнадцать я стал задумываться о том, чтоб пойти в уголовный розыск и шпионов ловить. Но мне один человек сказал: «Ты не пьешь, так что не сможешь стать опером! Как ты будешь с людьми общаться?» Я понял, что тут мне дорога перекрыта. К сожалению.

— А монастырь? С такими данными...

— Надеюсь, до этого не дойдет. У меня и герои не пьют. Это — выбор мальчика, за который приходится расплачиваться. Всю жизнь. А может, просто самосохранение. Ты знаешь, мои корни по отцу — из деревни Тереховка Курской

области. Дворов двадцать. Раскулачивание и нищета погна-ли поколение моего отца в город. Никто не пропал: пахали, добивались, получали ордена. А потом спивались и погибали один за другим. В полном счастье, достатке и без всяких внешних причин.

— А, это у тебя, значит, звучит тема нравственного само-совершенствования... Высоко!

Итого (доказательство бытия Божия)

О как! Но и это еще не всё. Мы потом еще долго говорили про многое, и в какой-то момент он сказал, по ходу беседы, кстати:

— Вообще возникает ощущение, что Россия существует на свете лишь только для того, чтобы доказать, что Бога нет.

— Но он же есть?

— А ты скажи.

— При чем тут я. Про тебя разговор.

— Нет, скажи.

— Гм... Я хотя и не обязан, но уж ладно, растолкую тебе. Как литературный академик писателю.

Далее был еще час беседы (ну не публиковать же вам тут стенограмму!), в ходе которой я, как мне кажется, убедительно доказал Александру, что Бог таки есть. Никто меня не уполномочивал проповедовать, но уж как-то так получилось. Мне показалось, что он хоть и не верил, но ему хотелось, чтоб кто-то его переубедил. И внезапно этот кто-то попался ему на пути. Вот на такой высокой ноте, с таким могучим накалом, с духовностью (в хорошем смысле слова) и должны идти беседы с русскими писателями.

**ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ —
графиня как графиня**

Родословная

— Скажи, Татьяна, — а ты у нас из Толстых из каких? «Война и мир» — или «Хмурое утро»?

— Дед у меня — Алексей Николаич.

— Вообще же вроде все Толстые — родня?

— Вообще — да, все. Толстые существуют где-то с XIV века — цифры я могу уточнить, я вечно путаю...

— Да не надо так уж уточнять. Ну приблизительно XIV век, плюс-минус сто лет, — перед лицом вечности это не принципиально. Да к тому ж лишними ста годами на меня впечатления особого не произведешь, я ж не в теме, я по происхождению не из дворян — мой дед землю пахал. Твой прадед — или кто он тебе — впрочем, тоже пахал, и тому есть множество свидетелей.

— Да... Дело было так. Некто пришел из Ливонских земель и сел в Чернигове, он был боярин. И его то ли сын, то ли кто получил за свою непомерную толщину прозвище Толстой.

— Тогда же еще доктор Волков не развернулся...

— Да. Разные были соображения и статусные выкрики разных Толстых. Одни пытались себя возводить к Гедиминовичам. Другие себя к французам возводят... Так или иначе, этот род худо-бедно через историю прошел...

— Таня, скажи, а вот правда, что у тебя родственники служили в КГБ?

— Да, можно так сказать. Мой предок Петр Алексеевич Толстой был как бы первым начальником ФСБ — при Петре Первом. Он — душитель царевича Алексея. То есть он сам его не душил, он его просто выкрал и вывез из Италии. Дело в том, что царь Алексей Михайлович, как ты знаешь, был женат дважды. И Петр был его единственным ребенком от второй жены. А Толстой Петр Андреич был родственник царя по первой жене, они были в каком-то двоюродном родстве. И когда

Софья с Петром устроили кровавую бойню, в которой выиграл Петр — то, вообще говоря, полагалось уничтожить всех родственников с той стороны. И тем более вот такого активного и умного мужика, как Петр Андреич. Его собирались казнить. Но он смог уговорить Петра, упал ему в ноги — и тот его сохранил. Но стал посылать на очень тяжелые работы. Отправили этого Толстого посланником в Турцию, где его, между прочим, посадили в Семибашенный замок.

— Хорошо не на кол.

— Так и должны были на кол. Но Петру Андреичу явился во сне святой Спиридон и научил, как вести с турками переговоры, чтоб его оттуда выпустили, — и его выпустили! С тех пор святой Спиридон — покровитель семьи Толстых. Заметь, что улица Алексея Толстого теперь называется Спиридоновка — да и раньше так называлась.

Умирая, царевич Алексей, замученный руками своего папы, проклял Петра Андреича Толстого и все его потомство до двадцатого колена. Так говорят. В чем заключается проклятие, неизвестно... В целом же Толстой службу нес исправно, так что в последний год своей жизни Петр Первый дал титул графа Петру Алексеевичу Толстому. С тех пор есть графы Толстые, а есть его родственники, которые тоже Толстые, но не графы.

— А ты графиня?

— Я — графиня, да.

— А Владимир Ильич Толстой, который директорствует в Ясной Поляне сейчас — его не могут сейчас послать в Штаты выкрасть Калугина, к примеру?

— Ха-ха-ха! Хорошо бы наш тому... понавешал. Я не люблю кагэбэшников, которые посвятили первую половину жизни тому, чтоб нас мучить здесь, а вторую половину — чтоб предавать родину. Не люблю я таких дел...

— Сначала у коммунистов отоварились по полной, а после — и там, у империалистов.

— Ну да. Ладно б он тут был правозащитником...

— А кончились двадцать колен? С проклятием?

— Не, мы, кажется, четырнадцатое. На нас проклятие висит.

— Ты его чувствуешь?

— Не-а. Говорят, это только по мужской линии идет.

— А чувствуешь ты, что у вас крепкая порода, вот что вы графья, что у вас высокие энергии? Что вы аристократы?

— Конечно. Эту песню не задушишь, не убьешь. Вот Лев Толстой, который мне был кем-то типа семиюродного дедушки — в общем, довольно далеко он от меня отстоит — но тем не менее... Он говорил, что в роду Толстых очень много встречается людей диких.

— И ты дикая?

— Абсолютно. Мы самарские. Мы самарского извода, люди совершенно дикие.

— Я, кстати, думаю об этом, когда вижу, как ты на ТВ сверкаешь глазами. Водишь ими из стороны в сторону, а они аж горят. Ты специально делаешь такие дикие глаза? Свиристель свою напоказ выставляешь?

— Нет, я сама на это смотрю в ужасе — когда вижу себя по ТВ. Эта моя дикость так на практике выражается во вращении глазами. Я бешеная. Я все время чувствую, что у меня самозавод большой. Как утром встану, надо что-то делать, чтобы этот самозавод растряссти, — но так и не растряссаю. Я все время чувствую себя заведенной. У меня адреналин вырабатывается сам.

— То есть когда люди говорят, что у Льва Толстого это было чудачество — пахать, ты-то понимаешь, что это он самозавод пытался потратить!

— Конечно! Абсолютно точно! Я давно это поняла. Он принимал удовольствие мышечное за моральное. Я его чудачества понимаю, но сама в чудачество не уйду. Лев — он не наш, он боковой...

— Тебе Алексей ближе. А как тебе нравится, что он к большевикам приехал?

— Я просто очень хорошо себе представляю, как это все происходило. Все это хорошо описано, документировано, обоврано... и проплакано.

— Кто это писал — Бунин, что ли? — что типа приезжал Лёшка (твой дед, в смысле) и говорил — чего ты тут сидишь, когда в Москве нам вон какие дают дачи и пайки?

— Совершенно верно. Совершенно верно!

— И это не поклеп?

— Нет. Он любил комфорт.

— У моего папаша Николая Ивановича висит на стене репродукция, — там твой дед нарисован, сидит с графинчиком, с закусками.

— А, это Кончаловский! Есть такая картина... Понимаешь, в чем тут дело... Он развелся с моей бабушкой в 35-м году. С тех пор то ли он был отрезанный ломоть, то ли мы были отрезанные ломти... Я родилась сильно позже. Я его никогда в жизни не видала. Он умер 23 февраля 45-го года. Вот. А бабушка моя была абсолютно другой коленкор. И их развод был как развод коня и птицы, — они были совершенно разные вещи. Они были абсолютно несовместимы! Мне бабушка генетически гораздо более близка. Но изнутри он мне очень понятен. Я — не он, но он — часть меня. И много еще во мне напихано всякого разного... Которое я в себе чувствую. Да, мой дед любил комфорт. Но в этом было много и бравады. Дело в том, что он себе поставил образ — и этот образ помог ему прожить сквозь жизнь и умереть, не попавшись. Я его очень хорошо понимаю. Он умер молодой, в 63 года. Он же от рака умер. Моя сестра старшая считает, что он заболел раком, когда увидел Бабий Яр. Она смотрела хронику. Там видно, как он еще с любопытством тянется заглянуть — что там? Их повезли официально, группу из правительства и приближенных писателей. И вот он еще глядит, еще он человек нормальный — а потом, после того как посмотрел, он стал такой, будто его палкой по лицу... Он очень не любил смерть, очень ее боялся...

— Он, по-видимому, был неверующий.

— Он не смог поверить. Он был бонвиван, он любил комфорт.

— А кто у тебя был папаша?

— Он был физик, оптик. Профессор Ленинградского университета. Сотрудник оптического института ГОИ.

— Паста есть такая, ею солдатские пряжки натирают.

— Да, да. Он был ученый, лауреат Сталинской премии. За изобретение какого-то ультратауметра. Какое-то тау они

мерили. У него было собрано чудовищное количество томов по философии, культуре, литературе. Он выучил три языка — немецкий, английский, французский. Я от него много чего получила. А самое главное — рядом со мной до последнего времени был человек, который был образцом *независти* — ко всему прекрасному, всему умному. Когда он видел, что кто-то что-то умеет, изобретает, делает, знает, прыгает, — он был так счастлив, что он светиться начинал. Он уважал человеческий ум, он уважал человеческое творчество. И я пятьдесят лет рядом с ним прожила, и это было необыкновенно. И мама такая же была. Она, правда, была сдержанней, а он был несдержанный, и потому в нем сияла искренность.

Писательство

— Я, Таня, знаешь как вдруг увидел твою жизнь. Сперва ты была маленькая. А потом стала подрастать и подумала: вот Лев Толстой, Алексей Толстой; ничего не поделаешь, пора и мне братья за перо.

— Ха-ха-ха! Поверь мне, это было не так. Как раз наоборот. Наличие в анамнезе крупных писателей...

— ...Ну да, начинаешь думать: если б твоя фамилия была Петрова, то кто б это печатал?

— Не-не-не. Потому что, о ужас — мне со своей фамилией вылезать в ту область, где они проблистали! Это ж чистый позор, понимаешь. Поэтому, если не чувствуешь себя к этому готовым, то лучше и не вылезать.

— Типа «Хмурое утро-2» написать... «Иногда хмурые утра возвращаются».

— Нет, «Хмурое утро» — дрянь. А вот «Ибикус» мне не написать, — это его лучший роман. «Похождения Невзорова». Литературно — это его лучший роман! Он прям весь сияет. Он выделяется! «Детство Никиты», кроме последнего абзаца, и «Ибикус» — лучшие вещи, которые он написал! Да... У него был такой нутряной талант! Я — человек гораздо более сдержанный.

— Ты как бы в некоем сокращенном облегченном виде повторила его жизнь, да? На Запад съездила. Но не с такой драмой...

— И возвращалась не так. Он вернулся в ухудшающуюся Россию, а я — в улучшающуюся.

— Так как ты пришла к мысли — творить для вечности?

— Я сначала пришла к мысли, что не буду писать никогда. Ну я стишки писала, какую-то ерунду. «Никогда в жизни своей я прозу писать не буду!» — уверяла я отца, когда он начинал со мной про это говорить.

— А буду, говорила ты, пахать землю. Как прадедушка.

— Нет, буду ерундой заниматься. Я была близорукой, у меня было минус 5,5. И вот я из тщеславия пошла к Федорову и сделала себе операцию. Сейчас это делается быстро. А в те времена, в 82-м — как раз Брежнев умер — после операции наступало страшное состояние. Три месяца, пока заживали глаза — а роговицы резали бритвой — ты не мог выйти на свет! Особенно зеленый свет был страшен: глянешь на него, и глаза заливаются слезами. И вот я три месяца сидела в комнате с двойными черными занавесками. Я бешено страдала от боли и потому ничего не читала.

— А зачем тебе такие мучения? Ты что, хотела в легчики идти?

— Нет. Тщеславие! Молодая женщина... Мне не шли очки с серьгами вместе. А я хотела серьги. Тщеславие!

— Это что, такая была жажда любви?

— Нет, это глупость! И тщеславие!

— И все-таки — это чтоб обратили внимание и приставали?

— На меня и так обращают внимание и пристают. Другое было: чтоб я сама себе нравилась! Без очков я себе нравлюсь больше.

— Ты была легкомысленная и ветреная.

— Не я одна — все женщины такие! Есть куда посильнее в этом плане... Сейчас я так глупа, а в молодости — сляк. Это была молодая глупость...

И вот к концу третьего месяца пустоты и незамутненности моего мозга всякой дрянью открывается внутренний глаз! Теперь-то я понимаю, что то была нормальная медитация... Это было так: я сижу как-то вечером, и вдруг у меня такие яркие какие-то воспоминания о детстве, и я знаю, как написать рассказ, и я понимаю, как он будет построен... Я вижу, мутно, все — начало, середину, поворот. И я, никогда в жизни ничего такого рода не писавшая, взяла карандаш и с начала до конца все написала. Для этого надо, действительно, очистить свой мозг.

И вот рассказы я вижу — и пишу. А не вижу — не пишу. У меня три с половиной книжки. Одна эссе, другая — старых эссе, и один роман. А остальное — сборники, в которых одно из другого перекидано. Я была против... Но меня обворовали издатели. Издательство, где председателем небезызвестный... (Здесь мы за недостатком места опускаем подробный разбор ситуации. — И. С.)

— У тебя нет задачи преобразовать этот мир, ты пишешь чисто для самовыражения?

— Нет, нет, нет. Я не люблю самовыражения чистого. Ничего такого нет, что хотелось бы выразить. Мне невтерпёж отразить свои чувства по поводу мира — а не себя отразить.

— А это не одно и то же?

— Я вижу разницу.

— А ты довольна своим творчеством? Своими произведениями?

— Творчеством — на 75 процентов. Грубо так. Ну, может, на 80. А успехом — я довольна на 120, я на него не рассчитывала. Я не понимаю, почему это нравится еще кому-то кроме меня.

— Тебе хотел Чубайс в вашей передаче дать рецензию на «Кысь», а ты отказалась. Почему?

— Чтоб публично, в лицо мне говорили что-то о моем произведении, хвалили — нет у меня такого тщеславия, таких амбиций. Они у меня куда больше...

— А у тебя какие амбиции? Нобелевская премия? Поколенческий роман?

— Это все я сделать не хочу. Но то, что я за свою жизнь поняла и прочувствовала (а я больше чувствую, чем думаю) про русского человека, я, сколько могла, сколько влезало в литературу с ее рамками — я в роман «Кысь» вложила. Сколько могла — столько вложила. Я думала, что это прочтет несколько человек. Но «Кысь» пошла — ужас какой-то, сотни тыщ. Почему-то она оказалась востребованной! Значит, я в какой-то нерв попала.

— Ага, так «Кысь» — это, оказывается, про русский народ! А ты там кто из них? В ком себя вывела?

— Я в тексте растворена как сахар в чае. Я понимаю всех. Кого понимаю, того изобразила.

— А хвост есть у тебя? (Может, кто не знает — у персонажей «Кыси» есть хвост. — И. С.)

— Конечно, у меня есть хвост! Стыд-позор... Ненужная вещь... Без хвоста куда лучше. Надо бы решиться от него избавиться. Но если избавишься — все, ты ушла. А было в тебе человеческого — всего-то хвост...

— Вот тебе Чубайс сказал еще в той передаче, что любит мороженое. А ты тоже любишь?

— Нет. Это мальчики сладкое любят. А девочки любят соленый огурец и бутылку водки, это же известно.

— Таня! Вот меня многие упрекают, что я матом разговариваю. Так я часто на тебя киваю. Вон — Толстая, она и дама, и дочка профессорская, и вообще графиня, — а выражается. Так мне, провинциальному шахтеру, и подавно можно...

— «Сивка-бурка, вещая каурка, из ноздрей дым валит, из ушей пламя пышет, из жопы головешки летят». И действительно, что это у нее впереди все? А сзади как же? И вот я с восторгом рассказываю, как чудесно мыслит русский народ. Рассказываю своим знакомым, они такие любители русского народа и его традиций, на масленицу меня позвали... И тут хозяйка пошла красными пятнами и говорит: «Я не люблю такие слова». Какие — «жопа»? Ну вообще народ, ради которого мы блины вроде едим, такие слова любит... А как еще обозвать жопу? И я подумала — у-у-у, тогда мне неинтересно.

— А ты не думала поступить, как дзенский автор? Там ведь, когда человек прославился, тут же меняет псевдоним — чтоб его тексты воспринимали объективно и оценивали по гамбургскому счету...

— Ну что ты! Я, конечно, думала об этом! Я «Кысь» хотела опубликовать под другим именем.

— Но поклонение Мамоне не дало тебе этого сделать...

— Нет, нет. Мне очень хотелось это сделать. Прямо с страшной силой. Но с издателями я же заключила договор, а раз выдала одному — значит, уже все, бессмысленно... Они б разболтали.

— А с другой стороны — взять какую-нибудь херню и подписать собой?

— Нет, это уже не с Богом будет договор, а с чертом. А я не люблю. Потому что если нарушать правила отношений с Богом, то ему станет скучно и он переключит свое внимание на другого. И — всё.

— Ты боишься этого?

— Да.

— А если он это все-таки сделает, что тогда? Пойдешь бабки зашибать — надо ж чем-то жизнь занять?

— Наверно... Моя жизнь никогда не будет прежней.

Цитаты

«Я за свободу слова, но против НТВ. На мой взгляд, руководители НТВ и ТВ-6 просто-напросто демагоги, которые сами же навлекли на себя свои беды. Они шантажировали политическую власть, умалчивали о таких острых сюжетах, которые были для них неудобны, лишь бы это им приносило материальные выгоды. Выдавать виновных в этом за мучеников и героев — какая чушь! К сожалению, российское телевидение, будь то общественное или частное, никогда не говорит правду».

«Режим Путина для меня гораздо предпочтительней, чем режим Ельцина, этого безответственного пропойцы, правившего в стиле византийских властей. То был руководитель без размаха, без мировоззрения, который улаживал все проблемы примитивным и даже преступным образом: его решение

расчленил Советский Союз многим стоило жизни. Путин же стремится принимать необходимые меры с минимально возможным уроном для демократии. Чтобы утвердить порядок, надо иногда поступать как диктатор...»

«Я считаю, что война в Чечне направлена против терроризма и поэтому она легитимна. Запад совершает ошибку, вмешиваясь в этот конфликт и представляя Россию, европейскую страну, каким-то страшилищем, угрожающим миру».

«Я ловлю себя на мысли о том, что я глубоко убеждена, что когда я буду жить в следующий раз, то я могу выбрать когда, но не в будущем, а в прошлом. Например, я уже совершенно серьезно думаю о том, что бы мне такое интересненькое выдумать для себя. Одна замечочка у меня уже есть. Так прожить жизнь, чтобы спокойненько себе умереть во сне, желательно в 1913 году, пока еще все хорошо, пока еще ужасы не наступили. Ни Первая мировая не началась, ни революция... Серебряный век застать, своими глазами на все на это посмотреть».

«Я очень люблю Людмилу Петрушевскую. Я люблю Пелевина, я знаю, что очень многие считают, что он как будто бы не писатель, полная ерунда, это они не читатели! Я очень люблю Бориса Акунина с его фандоринским проектом. Ужасно люблю».

«Сказку о рыбаке и рыбке читали? Человеку свойственно зажираться. Дело не в том, что у нас нет хороших писателей, а в том, что их слишком много. К ним привыкли, хотят большего, еще большего, еще большего. Воскресни сейчас хоть Шекспир, хоть Данте, хоть Лев Толстой, хоть Набоков — их не то что оплюют, они уже оплеваны, — а просто зевнут, и скажут — ну и что?»

Деньги

— Тебе, наверно, кучу денег платят.

— Да если б издатели не украли, то я б вообще как сыр в масле каталась. А бабки — это хорошо. Вот на Западе не воруют, они честно берут свою долю и честно платят мою. Мне за каждую страну, где я печатаюсь, — дают тысячу.

— А я думал — больше...

— Нет. А в Америке я получила около 50 000 за одну книгу и около 50 000 за другую. Но из них 10 процентов снимил литературному агенту и еще 30 отними — я ж налоги плачу. И что, много это за десять лет? Поэтому я там работала десять лет преподавателем. У меня книга выходит раз в десять лет. С 1988 года у меня в Америке вышло две книги — и в этом году третья. А поскольку упал интерес к русской литературе то, я думаю, очень мало получу.

— А почему — упал?

— Потому что американцы — легкомысленные, им в одно ухо влетает, из другого вылетает. Когда я приехала туда в 88-м на волне дикой, страшной любви к России, один мой знакомый журналист сказал мне...

— ...быстрей руби бабки!

— Да. Он сказал — особенно рот не разевай на этот каравай, я тут живу уже 15 лет и скажу, что я все видел: страстную любовь к индусам, к папуасам... Полюбили — а потом разлюбили. И я это глубоко восприняла. Я была востребована, я писала статьи, рецензии — до тех пор пока это не обмелело. Пишу я вообще мало, но они мне платят очень, очень, очень хорошо. Только мне тяжело для них писать, очень. Я должна им тщательно все объяснять, как иностранцам. И после еще переводят, — так что от моего стиля ничего не остается.

Если бы мне были нужны очень большие бабки, я знаю, как их срубить.

— Торговать нефтью?

— Нет — собой. Словом. Наняться туда, где требуются писцы, — на какую-нибудь политическую кампанию. Но я делаю только то, что я люблю, и я могу себе это позволить.

— Но в целом бабок срубить — это тебе не чуждо...

— А почему это должно мне быть чуждо? Это же прекрасно! Но дело в том, что это у меня не приоритет.

— Вот, вот ключевой термин! Не приоритет!

— Да. Но я знаю, что некоторые бабки, они не то что грязные — они скучные. Я скучных бабок не беру.

— Тут, поверь, я тебя очень понимаю. И задаю наводящий вопрос: на выборах ты могла бы работать?

— Могла бы! Но — не на всяких. И прецеденты были. Но я не беру бабок просто так. Я не могу работать в ситуации скуки и не-интереса к тому, что я делаю. Хоть ты что! Если я не верю в то, что я делаю, — то я работать не буду.

— Ну это и не женское дело. Это мужики должны бабки зарабатывать во что бы то ни стало.

— Не в этом дело. Я сама себе и баба, и мужик. Так жизнь моя складывается. Как пели после войны: «Я корова, я и бык, я и баба, и мужик». Я — вот такая.

— Сама, значит, зарабатываешь на жизнь.

— Да. А чего ждать милостей от природы, когда можно пойти и заработать? Более того, у меня пропускная способность бабок — фантастическая. Я не знаю, что с ними делать. Мне, в общем, так мало надо, что я просто со страшной силой их через себя пропускаю.

— Недвижимость скупаешь?

— Ну да. Только очень скромную. Ты обхохочешься, когда увидишь. Я очень много родственникам раздаю... Доставляет ли это им удовольствие — другой вопрос! Люди ведь не любят просто так деньги получать. А я получаю от этого огромное наслаждение: вот я пришла и раздала подарки. Но с этим надо быть очень осторожным.

— А то отравят. Ты им даешь, даешь... Достала вообще!

— Нет, но им обидно, что им дают. Это же контроль: ими распорядились, им дали. Незаработанные деньги людям определенного склада руки жгут. Ненавижу паразитов, бездельников, ноющих... Надо тебе — иди и возьми. Только людей не убивай! Иди работай — мир открыт, слава тебе Господи!

Политика

— Я счастлива, что я встретила человеческий режим — пусть кривой, косою, неизвестно как сделанный — новый буржуазный — в нормальном здоровом среднем возрасте. Я счастлива. Так что, когда я пойду голосовать, я отдам свой голос тем, кто сделал это возможным. А я б здесь могла удавиться задолго до наступления глубокой старости. Что, я не

видела тех, кто прожил по 88 лет, ничего не увидев? Помню, Брежнев умер. А я — как раз ехала на перевязку с глазом. И значит, еду я... Еду в Бескудниково. И все едут в автобусе замотанные, у каждого лепешка на глазу, и автобус старый тупорылый, с кожзаменителем — ужас... И вдруг останавливается автобус прямо на рельсах через какие-то пути. А это — пять минут молчания по поводу смерти товарища Брежнева! Люди, сидевшие вокруг меня с лепешками на глазах, мерзли лишние пять минут. Это была пятиминутка ненависти к советской власти. Люди забыли, что такое советская власть, кто такой был Брежнев! Забыли всю эту пакость — и смеют теперь голосовать за то, что пахнет хотя бы одной молекулой этого гребаного коммунизма. Суки, они забыли! Мы вынуждены были молчать, потому что эта ... померла!

— А может, не на пустом месте все эти революционные дела? Наши миллионеры ведут себя кое-как...

— У олигархов никакой социальной ответственности, — согласна.

— Авен говорит — интеллигенция слилась...

— А ко мне приходили спрашивать за интеллигенцию? Я ведь не затерялась под кустом. Хоть один олигарх обратился ко мне? Сказал — «у меня бабки, у тебя голова» — сказал? Нервная система, что ли, слабая у русского народа... 12 лет не могли подождать нового режима — это что? Да, кто-то пьет шампанское на стриженных лужайках, потому что быстро разбогател. Зрелище омерзительное. Но я потерплю!

— Наша элита в основном состоит из мудаков. Они не понимают, что своим шампанским на лужайках они подстрекают левых, чтоб те им спалили усадьбу. Мало усадеб типа спалили в России... Если элита не может себя держать в руках, не способна себя ни в чем ограничить — так что спрашивать с колхозников? Какой социальной ответственности, какой мудрости?

— Есть элита административная, творческая, есть интеллигенция. Так вот административная элита не равна интеллигенции. Не равна государственным; есть такие люди, их хлебом не корми, а вот они государственники. Вот я за родину болею, и я вычислила, что я могу для нее сделать. Я не

буду орать на площадях! Это бессмысленно, собака лает — ветер носит. Я буду делать то, что мне доступно! Когда я буду писать, голосовать, я буду иметь в виду это. У меня такая agenda.

— Да... Новых лучших начальников нам неоткуда взять.

— Не скажи. У нас было великолепное руководство. Потому что управлять Россией — это все равно что балансировать на высоком столбе. Никакой поддержки, тебя еще поджуживают и столб трясут. В 1991—1992-м демократическая молодежь, Чубайс и Гайдар...

— Которые стране не соответствовали...

— И не надо. Страна не такова, чтоб ей соответствовать! Они должны были вперед прыгать с этой страной! Ее надо тащить за собой, дуру толстожопую, косную! Вот сейчас, может, руководство пытается соответствовать, быть таким же... как народ, тупым, как народ, таким же отсталым и косным, как народ. Они пытались это все вытянуть — а им сказали за это спасибо? А я им буду говорить спасибо, пока жива. Я очень благодарный человек. Верным путем идете, товарищи! Господу Богу надо каждое утро хвалу возносить — солнце опять выкатил, синее небо расчистил, зелень опять распустил... Или дождь полил — надо ему спасибо за это говорить. У меня есть единственный способ говорить спасибо — я пошла и за них проголосовала. Потому что они — лучшие. Как вспомню шестидесятые... Наша юность просто загублена! Нам был кляп всажен прямо в голосовые связки. Все эти коммунистические цепи, эта шелуха... Если я когда-нибудь увижу товарища Зюганова лично, я кинусь на него, как волк, и перекушу ему горло. Пусть лучше не подходит. Потому что он взял на себя это название, это слово. И всю кровь, все лагеря, всех изнасилованных колымским трамваем — он это все на себя взял! И несет это! Сука, блядь.

— Но мы же понимаем...

— Отказываюсь я понимать.

— ...познаем, что лучше ему дать легальную трибуну...

— Нет, пусть лучше зароется в землю, пусть удавится.

— ...легальную. Чем они будут взрывать автобусы.

— Взрывать автобусы — это терроризм, есть соответствующая статья!

— Так большевики же и были, и есть террористы! Зюганова посадили в Думу — и он ничего не взрывает, хотя мог бы, как Камо с Кобой... А Басаева в Думу не берут, вон он и воюет. Лучше б он сидел в Думе и там исполнял что-нибудь. Между Жириновским и Зюгановым. Я много думал об этом. Мне представляется, как в Кремле выбирали, то есть назначали, генсека коммунистам. Вот Анпилов — более или менее симпатичный, худой, бодрый, языки знает, голос у него приятный, лицо русское, бухает — наш человек! И какой-нибудь Павловский говорит — нельзя такого, за ним много людей пойдет. Лучше давайте противного кого-нибудь найдем, с выражением лица жутким! Вот он, Зюганов! Крепкий харизматический лидер у коммунистов — нужен тебе? Мы должны просто беречь товарища Зюганова...

— О'кей. Согласна. Пусть живет. Он похож на подвальный картофель такой — пророс. Лицо коммунизма.

(Геннадий Андреевич мне должен теперь проставиться — я ж ему жизнь спас. Фактически. И эти строки я пишу буквально 7 ноября, в его праздник.)

— А за что ты так сильно любишь Чубайса?

— Я считаю, что Чубайс — очень правильный человек. Потому что если у человека нет собственности, то он приبلудный становится. И ему наплевать на все. Это, кстати, всегда все хорошо понимали, а потом это смело ураганом... Если ты помнишь, в начале перестройки, когда пошли проблемные статьи, вдруг кого-то осенило, и правильно осенило, что лимита — это ужас. Когда люди без жилья, без своей местности, когда им все чуждо, они приезжают, живут в ссанных общежитиях и всех ненавидят. Там происходит одичание, происходит расчеловечивание. Потому что — ну что, они за эти стенки страшные, за крыши текущие будут жизнь свою отдавать? Другое дело — за свой участочек... Хочется же маленький кусочек мира сделать хорошим!

— Да... Мы с Кохом, кстати, обсуждали в своей книжке «Ящик водки»: отчего же большевики, так не любя

частную собственность, вдруг кинулись защищать семью и в парткомах давили неверных мужей? Притом что, судя по названию знаменитой работы, у семьи и частной собственности общее происхождение... Я дал такую версию: большевики были за семью потому, что семейный человек находится в системе власти, он вынужден держаться в рамках дисциплины...

— Всегда известно, где он!

— Да! Жена за ним следит! (Угадаешь, как называется женщина, которая всегда знает, где ее муж? Вдова!) По морде ему дает, если что не так! Не велит ему пить, гонит его на работу... А если человек (наш советский, в смысле, человек) остается без бабы, он почему-то сразу в жопу пьяный, каких-то девок волокет домой, ночует на полу, подстелив старое пальто... Бутылки сдает...

— Ну, мужчинам вообще свойственно опускаться...

— Это — да. Так вот, именно поэтому коммунисты, борясь с частной собственностью, защищали семью, которая, в общем, не более чем частный случай этой самой частной собственности.

— Причем они семью начали защищать с какого-то определенного момента. Сначала у них были какие-то дикие авангардные взгляды.

— Да, пока они не почувствовали ответственности за происходящее.

— Нет, они поняли, что от этих людей что-то можно взять... А как взять? Человек должен быть на месте, прикреплен, прибит гвоздиком... Вообще, ранний коммунист — это авангардист, радикал и панк, а поздний коммунист — это бюрократ. А бюрократ любит, чтоб бумажка была пронумерована, входящий-исходящий, и чтоб находилась на месте. Кто бумажку переложил? Почему это человек позволяет себе такое? Прикреплен ты к этой бабе — и сиди у нее, пожалуйста! Нам так удобней, тебя так найти проще. А если вернуться к теме выборов... Я так скажу: за что борется Чубайс, за то и я буду бороться. Так тебе прямо и скажу.

— А почему он тебе так нравится? За что его вообще девушки любят? Потому что он красавец?

— Нет, не потому. Кому красавец, кому нет... Мужчины эволюционно не выработали в себе красоту в отличие от павлинов, поэтому внешность тут не очень важна. Важно другое. У девушек есть такое свойство особое: они видят сквозь. Они умеют видеть за внешностью — суть.

— У них, то есть у вас, подсознание работает.

— Да, подсознание! Я никогда в жизни не видала человека с таким огромным государственным умом, с такой государственной ответственностью. Патриотизм, не побоюсь этого слова, совершенно негосударственная любовь к России, к языку, к литературе, к этим пределам, этим границам, ко всему русскому — я в том же русле существую, что и Чубайс. Это моя идеология, я с этой идеологией не скажу, что родилась — но она у меня где-то класса с первого начала выработываться.

— Может, это у тебя — от дворянства? Гены такие? Дворяне же люди служивые, служили государю...

— Ничего подобного. У нас семья очень демократичная. Хотя если это генетически наследуется, это отношение — то может быть... Мои взгляды и ощущения мало того что были сформированы моими родителями, хорошей профессиональной литературой, — так еще и ранним знанием того, какой ужас есть коммунизм и советская власть...

— Когда ты это осознала?

— Осознавание же идет медленно... Ты хочешь узнать, когда был первый толчок?

— Ну типа.

— Первый толчок... Когда я училась в первом классе, то, естественно, нам капали на мозги учителя. А поскольку дома мы про это вообще не разговаривали, да ты к тому же не забывай, что нас было семеро детей...

— Семеро! Как так?

— А так. Это отдельный разговор. Значит, в школе тебя тепленького из ванны берут и начинают жучить... Они тебя невротизируют! Ну это ж 58-й год (а я 51-го года рождения). Заметь, два года всего лишь прошло с хрущевского съезда... И вот нам в школе говорят: «Всюду шпионы, всюду враги, они

ищут разные государственные учреждения, чтобы пробраться туда, напакостить и уничтожить их... И если когда-нибудь кто-нибудь у вас спросит, как пройти куда-то, — знайте, это шпион!» Это говорится, говорится... И вот однажды сижу я в песочнице у своего дома в Питере, играю, леплю куличики свои. А мимо идут старик и старуха, еле ноги волоча. Я сейчас понимаю, что это блокадники, они же опухали потом долго, всю жизнь опухали. И вот идут они на своих ногах раздутых, идут, идут, поддерживают друг друга... Это, видимо, весна... И старики спрашивают меня: «Деточка, мы к Ботаническому саду правильно идем?» А идут они правильно, этот сад от нас через два дома, на набережной прекрасной реки Карповки... А сад у нас красивый, огромный, древний, еще петровский. И в этот момент я вспоминаю, чему нас учили в школе, и думаю: «Шпионы!» И вот это идеологическое, вдолбленное идет вперед, я на автомате, испугавшись — это ж шпионы — отвечаю: «Нет, неправильно, вам в обратную сторону!» Они развернулись и пошли обратно... И вот я со своим глупым семилетним мозгом смотрела им вслед, и вдруг на меня знание и понимание всего этого вот так снизошло. Я увидела в этих людях больных стариков, которые брели на своих распухших ногах, — и я, сволочь, сука, тварь коммунистическая, отогнала их от Ботанического сада! Куда они шли на скамеечке посидеть со своей стенокардией, посмотреть на какие-то свои крокусы. И я все поняла в этот момент! Стыд меня объял, у меня нет языка, я не могла за ними кинуться и сказать: «Это неправда, неправда, я ошиблась, я не то хотела сказать!» Конечно, не в таких терминах, это было только чувство... Клянусь, я только сейчас могу найти этому слова — а в семь лет их не было. Я тогда прокляла коммунизм, я прокляла авторитаризм, тоталитаризм, удушение свободы воли, прокляла всю советскую идеологию, — я все это прокляла без слов, молча, на уровне чувств. Я испытывала такой стыд, такой страшный стыд... Никогда в жизни — а есть много в жизни стыдных ситуаций — такого страшного раздавливающего стыда я больше не испытывала. Бог на меня ногой наступил: «Вот тебе, маленькая тварь!» И меня

пяткой растер. И с тех пор я ничего нового про это не поняла, дальше я только наращивала аргументы, слова, как это проговорить, сказать, доказать, сформулировать, как сделать палку с гвоздем, чтоб ударить коммуниста по лицу. И вот я в этом состоянии так с тех пор и нахожусь. Я никогда этого не забуду. Спасибо Господу Богу, что он наказал меня так рано, что он мне голову-то поставил на место! Спасибо!

— Где ж наказание? Наоборот — по дружбе...

— Да, он смахнул эту пакость. Вот ты спрашиваешь — почему Чубайс. А — потому! Чубайс, он вот такой.

Америка

— Вот твой дед в свое время уехал с белыми. Но тебе приятно, что он вернулся и сотрудничал с властями? Иначе тебя б не было...

— Да, конечно. Я думала — с ума сошли, что ли — уезжать? Тем более что я сама отъезжала на 10 лет. И вернулась с таким чувством облегчения... Чему быть, того не миновать — но там я жить не буду. Там неинтересно! Я его очень хорошо понимаю. Он был весь здешний.

— Мы при советской власти не могли поверить, что за границей — плохо.

— Я тоже думала раньше, что этого не бывает. Раньше, в советское время, я думала, что вдали, не верила! Когда писали, что трудно покинуть родину, уже через неделю за границей рвусь назад. Врет! Сволочь! Просто у него чемодан переполненный и деньги кончились, так что пора уже домой. Я думала — ерунда это собачья, за границей хорошо жить, за границей нужно жить. По ней нужно путешествовать. Ведь что такое за граница? Это — мир наш. Это мир, мир! Но теперь-то мне все понятно. Ну полгода, год, два можно там жить... А всю жизнь? Со всем этим вокруг? Это страшно... Оно — иное... Птице — воздух, рыбе — вода... Рыба ищет, где глубже, а человек не знает, чего ему надо.

— Это называется — мудак.

— А здесь, может быть, мудаку очень хорошо!

— Да скорей всего. Не зря ж тут все так как-то устроено... И так все идет себе, идет — и не меняется. Хватает, значит, заинтересованных лиц — такой порядок сохранять. Возьмем для сравнения Штаты. В которых ты долго жила. Это очень настоящая страна, очень настоящая валюта. И полиция.

— Да, валюта очень настоящая.

— А ты не хотела свалить при Советах?

— Нет. Муж хотел, а я — нет. Он филолог...

— Из-за этого развелись?

— Нет. А насчет отъезда... Во-первых, инстинкт, во-вторых, язык. Я его люблю. И потом: наши, бабушка с дедушкой, съездили — и вернулись. Я хорошо знаю эту историю, ее подкладку. Я понимала это... Лет в двадцать пять я все поняла.

— Но ты никому не могла это объяснить! Все говорили — да ладно, джинсы-жвачка...

— Я в 88-м съездила на две недели в Америку. И когда вернулась оттуда, тут собирались гигантские залы нас послушать. В основном — евреи, которые собирались эмигрировать и хотели от нас получить полезные советы. Я рассказывала — и меня начинали не любить с бешеной силой. Потому что я рассказывала так, как я это увидела. А они хотели услышать, как я была в раю и как в раю хорошо. Что там можно было увидеть за две недели? Америка совпала с моими ожиданиями, но только она оказалась еще хуже. И вот одна баба пробивается ко мне сквозь толпу. И она говорит — вот я зубной врач, но это тут. А я хочу уехать в Калифорнию и там организовывать литературные вечера. Держись, говорю, милая, за свое ремесло, инструменты вези в пакете! Потому что с этой профессией ты можешь там выжить! Она орет: «Нет, я еду на свободу, в настоящую страну!»

— Скажи, а вот Штаты, — ты чего туда поехала? В смысле жить и работать? Как это было?

— Случайно. Сначала я попала в поездку с группой советских писателей. Потом меня еще пригласили на три месяца. Потом я там получила работу, муж получил работу... Детей взяли. Но Тёмка (Артемий Лебедев. — И. С.) свалил — год прожил и свалил. Не понравилось.

— Да ладно! А что ж именно?

— Ограничение свободы. Он учился в принудительной школе для эмигрантов. Он отказывался вставать под гимн — я, говорит, не ваш гражданин. Вы лучше под мой встаньте. Сидел на уроках читал «Войну и мир». И был такой случай. Тёмке пятнадцать было. И вот он едет в школьном автобусе. Все эмигранты. И негр начинает приставать к корейской девочке, дергает за волосы. Тёма говорит — оставь ее в покое, а то дам в рожу. Тот не понял. Дернул — и получил в рожу. Звонит мне в глубоком трауре директор школы. Чудовищная история! Побили негра! Знаю, я б сама побил. Тем более негр после сказал — да ты нормальный парень, давай дружить! Не негра побили, а просто за дело дали человеку в рожу. Директор говорит — я сам понимаю, но вы войдите в мое положение! Ну как тут было мальчику не уехать?

— У тебя дед был белый, потом стал красный, а сын побил черного, — яркие краски!

— Да, белый вступился за желтую против черного. Ребенок сказал, что это все невыносимо, — и уехал в Россию, и я его очень понимаю. Это 90-й год, он тут в путч попал...

— Он поехал за свободой, а ты осталась поклоняться Желтому дьяволу.

— Который был ко мне милостив. И младший ребенок как-то тоже сговорился с Желтым дьяволом и остался там, женился на русской девке. Он программист.

— Тоже знаменитый, как старший?

— Ну... Нет. Там трудно стать таким знаменитым. Нужны другие усилия. Там же густо все этажи заполнены. Там нельзя придумать новое — столько ж всего. Он просто встроился в существующее. А Тёмка — это удивительно. У него vision. Он построил свою жизнь сам. Он сделал все хорошо, с любовью к делу, он стал лучшим в стране — правда лучшим! Тогда все можно было! Он начинал в блейковский хаос, когда все сталкивается и Солнце еще ходит пьяное непонятно как... Вселенная строится, это такое юное начало мира, когда он только начинает формироваться... В 16 лет у него были дикие амбиции и чудная генетика. Он совершенно был бы не пришлой кобыле хвост в советское время...

— Он кто считается?

— Веб-дизайнер. Он зарегистрировал этот термин в России. Он делает дизайн сайтов для интернета и, соответственно, навигацию, картинки, всю логистику и поддержку этого дела.

— А учился на кого?

— Ни на кого. Пошел на журфак — а там скучища, пыль, мухи. Он там промучился пару лет и бросил.

— А в армию?

— У него детей много: четверо. Он их рожал по любви, а не по армии — но с двумя уже не берут. Армия его не захомотала. Откосил — и правильно сделал. У меня ненависть к армии велика есть. У меня свекор — генерал! Он тоже против этой армии. Он боевой человек, в 18 лет на войну пошел. Кончил две академии. У него на глазах это все превращалось в омерзительную продажную структуру. Поэтому никогда он не был обуреваем этим идиотизмом — вот мужчина должен в армию... У него нет ни дачи, ни машины. И никогда не было. Потому что это все только на нечестной основе там. А он честный. Он своим шоферам казенным сам котлеты жарил, солдатики-то голодные. Бывало, зайдешь на кухню, а там солдатик сидит, уши торчат... От стыда умирает. А генерал ему котлеты жарит — неслыханно, культурный шок! Всегда был хорошим человеком, а с каждым годом становится все лучше.

О вечном и творческих планах

— Может, и мы на старости лет станем хорошими...

— Если грехов тяжких не наделаем. По молодости-то еще ладно, а теперь... Нехорошо. В три ночи просыпаешься — воды попить, потом лежишь в потолок смотришь. Мертвая тьма, тишина, — вот тогда все и выходит. Если ты чего сделал нехорошего в жизни, оно приходит и сидит у тебя в ногах. Ты думаешь — Боже, ну зачем я это сделал? Сидишь плачешь... Вот не надо этого.

— Ты меня пугаешь.

— Даже маленькие грехи приходят. Даже подлые намерения, даже неосуществленные.

— Фолкнер про это писал — большинство необъяснимых самоубийств оттого, что человек сам все осознает.

— Нет, есть выход. Надо просто дать себе отчет в содеянном. И решаешь: пойду и за все расплачусь. И ты назначаешь себе плату. Ты себя в этой плате не обманешь, не обманешь. Ты понимаешь, что плата должна быть адекватной. Ты должен помочь, прорваться, защитить. Зло ногами растоптать, добро вытащить, просто денег дать. А где деньги не помогут, сделать что-нибудь безденежное. И если ты пойдешь это делать, то не покончишь с собой, ты увлечешься. Потому что ты себя чистишь, авгиеву свою конюшню.

— Да-а-а...

— А думать, что ты пришел в церковь покаяться и грехи с тебя сняли? Нет... Это нытье, дайте им все, они хотят сию минуту пройти в Царствие Небесное. Пардон — за что? Вот будь я Господь Бог, я б сказал (или сказала? — И. С.): «Вон рядом с тобой человек стоит, ты ему ногу отдал, ты локтем в грудь толкнул хилую старуху — и тебя в Царствие Небесное, тебя, дрянь такую? Ты, который хуже нерва, из зуба вытянутого, который на иголке весь дрожит — тебя?! Извини, здесь на Земле 5 миллиардов, мне есть кем заняться! А ты — уйди! Иди работай! Сделай что-нибудь для собрата своего! Вот тогда приходи, а сейчас вон отсюда! И ногами бы так затопал(а): «Вон! Дрянь, паразит!» Вообще — что такое Иисус Христос? Я это всегда понимала как притчу, как символы, как образы. Христос, Будда... Это суть трансформации чего-то, чего мы не видим, но что явлено нам вот в этом виде. Иногда это является в виде соблазна творчества.

— Ну да, есть версия, что писатель не должен верить в Бога, а должен сочинять.

— Это и будет его вера в Бога.

— А зачем тебе ТВ? Бабки, слава?

— Нет, славы полно. Просто предложили интересное дело. Плюс бабки. Интересное дело без бабок — такого я просто не выдержу, мне ж надо есть и пить. И потом, я люблю менять образ жизни. Что-то новое пробовать. Не знаю, сколько жизней я еще проживу. Я думаю, что несколько жизней прожила уже, просто от прежних жизней остается очень

мало памяти, буквально несколько моментов. В этой жизни я хочу попробовать разные существования. Я чувствую, что у меня остались еще неиспользованные валентности, и я их попробую. Я очень хотела бы уйти в домработницы. Мне дико интересно, как это выглядит с той, с другой стороны.

— Со стороны домработницы?

— Я же не была домработницей! Мне это страшно интересно! Как они чувствуют? Как хорошо быть умной домработницей, которая наблюдает и все понимает! Вот у меня домработница в 98-м сказала, чтоб я ей платила меньше. А я настаивала, чтоб платить как раньше. Я знаю, что у нее стало меньше клиентов. И вот она мне рассказывает, как она видит дефолт: «Заходишь к людям, а там в ванной флаконы, флаконы... Зеркала, розовый кафель, и флаконы... Уровень во флаконах все ниже и ниже, а после и совсем пустые, и я их протираю. Они снаружи красивые, а внутри-то пустые...» Это же художественная деталь! Это же неграмотная тетка рассказывает! Она же настоящий художник! У нее же глаз есть! У нее душа есть! Я когда на нее смотрю, думаю: я тоже так хочу!

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ:
«Мы снова на кухне 60-х»

— Так вы потомственный диссидент! Два деда репрессированы. Это передается по наследству? Гены альтруизма есть, вы про это говорили. А вот я дал определение святого: это человек, который о чужих заботится больше, чем о себе. Похоже на правду? И еще где-то писали, что есть некие — грубо говоря, я, в отличие от вас, не получил соответствующего образования — гены конформизма и, наоборот, нонконформизма. Прокомментируйте это, пожалуйста, как эксперт. (Мой дед, кстати, был чекист, до 1923 года, а потом переквалифицировался в шахтеры, но я не унаследовал ни одной из его специальностей.)

— Что у меня наследственное, так это отвращение к власти. Я не люблю власти вообще — я их видела три — сталинскую, позднесоветскую и постсоветскую, ни одна мне не нравится, и сравнивать, как это сегодня модно — какая хуже, мне совершенно неинтересно. Про гены альтруизма первым написал замечательный российский генетик Владимир Павлович Эфроимсон. Это была такая мысль-прорыв, а впоследствии она подтвердилась исследованиями этологов и специалистов по популяционной генетике. Иногда начинают работать такие гены, которые выгодны для выживания популяции в целом, но не несут преимуществ одному отдельно взятому существу. Носитель гена альтруизма не повышает своих шансов на выживание, а повышает шансы на выживание всей популяции. Генов конформизма и нонконформизма вообще-то нет. По сути, все гены обеспечивают своим носителям способность приспособливаться. Что касается святых, я бы вывела их из любой рациональной системы. Святые — люди вне закона.

— Вот вас выгнали из генетики за перепечатку самиздата — интересно, какого именно? На машинке? На какой именно, какой марки? Сколько экземпляров? («Эрика» берет четыре копии») Кто сдал, знаете? На чем спалились? Это репрессия? Не встречался ли вам в той жизни мой на-

чальник подпольной типографии Саша Сидоров, он же Розанов, который был пойман и посажен?

— Книга была не бог весть что — «Исход» Уриса. Средненький роман, но действие происходит в Палестине начала прошлого века, исторический фон — создание государства Израиль. И это было ужасно интересно. Прошло пятьдесят лет, прежде чем я узнала, что моего деда последний раз посадили как раз за то, что он писал для Еврейского антифашистского комитета рефераты по истории Палестины, о политических перипетиях арабско-еврейского противостояния Великобритании. Ну ничего я об этом не знала! Отдала машинистке мою машинку «Эрику», чтобы та перепечатала. Донес то ли ее дядя, то ли сосед, то ли она сама... Никогда не узнаем. Девочка была симпатичная очень. Машинку арестовали, а меня отпустили. Знала нескольких Сидоровых и нескольких Розановых, но вашего не знала.

— «Я не веду активной политической деятельности, но когда меня спрашивают, я говорю, что думаю. За это меня записали в пятую колонну и обвиняют в ненависти к собственной стране. Оправдываться, по-моему, и бесполезно, и глупо. Никакой ненависти я не испытываю, только стыд и беспомощность». Это из одного из ваших интервью. Не замечаете ли вы, что наступает некое всеобщее утомление от темы? Вот вроде только что было широкое обсуждение темы выборов в Консультационном совете оппозиции, мне попался какой-то материал недавно — как из прошлого века. Не знак ли это того, что скоро обсуждение таких тем прекратится и будет только получение некой инфы, как это было при старом режиме, «вражьи голоса» и т. д., но не создание и не распространение контента?

— Конечно, утомление и апатия. Интересно, на самом деле, почему это произошло. Я думаю, это блестящая, но тихая победа репрессивных органов. За утомлением и апатией стоит страх. «Болотное дело» выиграно государством, и это победа государственной власти над общественными силами. Страх — очень сильное оружие. Сегодня на площадь выходят снова люди типа Наташи Горбаневской — бесстрашные, мотивированные, иногда совершенно маргинальные.

Мы плавно очутились все на той же кухне шестидесятих-семидесятих... Радио «Свобода» слушаем. Правда, пока не глушат. Такие дела.

— «Все время пытаемся как-то развернуть немного общественное мнение». Это реально? Когда, кому это удавалось? Какие примеры? Из русской практики, из мировой?

— Примеры последнего времени — «День опричника» Сорокина, «Левиафан» Звягинцева. Мне кажется, это сильно работает. Пример давний и, безусловно, мирового масштаба — «1984» Оруэлла. Да много на самом деле.

— Я часто вспоминаю, сколько у меня волнения было от желания поменять власть. Я на это сильно закладывался. Вот ничего больше не надо, только это!.. Ну поменялась власть, и? Настало счастье? Сизифов труд? Потратить на него остаток жизни, и в финале увидеть что? Что люди не поменялись, они всё те же?

— Ничего, кроме банальности: народ достоин своей власти.

— Тема Украины, которая внезапно стала важной, в последние годы. Не могли бы вы прокомментировать мою идею, которую я уже обнародовал? (Статья «Патриоты всех стран, соединяйтесь!» — И. С.) Чтоб Украина переименовалась в Киевскую Русь. И тогда б СМИ писали про агрессию РФ против Киевской Руси. «Русские фашисты едут добровольцами воевать против Киевской Руси», это б звучало. Запад легко б переписал на эту Русь все русское культурное наследство. По-монгольски звучащее слово Эрэф — неплохо! Россия по документам бы проходила как правопреемница Золотой Орды... Народы, которые считались братскими, вдруг — бац! — стали врагами. Это случилось легко и быстро. Я писал про сходство нашей этой войны с той, что была между Сербией и Хорватией, я там про это говорил с местными немало.

— Когда ничего другого не остается, кроме стеба, можно и так...

— Вы в эфире рассказывали Жене Альбац (моей, кстати, с Анной Политковской однокурснице), что «шести годов ему

(Путину) не высидеть. Думаю, что он победит, и думаю, что произойдет нечто, что вынудит его уйти в отставку». Не изменился прогноз?

— Да, да, понимаю, о чем вы... У меня есть любимый автор с любимой идеей — Нассим Николас Талеб с его «Черным лебедем». Идея восхитительно свежа: люди в своих умозаключениях исходят из того, что они знают. Но в мире гораздо больше таких вещей, которые нам неизвестны, и по этой причине прогнозы экспертов мало отличаются от прогнозов домохозяек — случаются неожиданные вещи, и они меняют ход событий: извержение вулкана, эпидемия, падение цены на нефть или возникновение новой невообразимой религии могут моментально изменить картину мира... Почему нет? Кто мог предположить, что религия маленького бедуинского племени станет самой многочисленной по количеству приверженцев в мире? Кто мог предположить, что психически неуравновешенный неудавшийся художник изменит течение жизни всего человечества? А изобретение пенициллина изменит демографическую картину мира? Черный лебедь!

Пророк?

— Встреча с пророком, с которого вы написали Даниэля Штайна, случилась уже после начала писательства. То есть «разрешение» на творчество было получено раньше?

— «Разрешения» вообще не было. Это было самовольство и большое нахальство. Ну и некоторая отзывчивость на картинки, которые мне показывали.

— Вообще стих «Пророк» («...и гад морских подводный ход») — это некий модный образ? Или описание технологии посвящения, получения как бы «допуска»? Если да, то насколько точно это описание?

— Я встречала в жизни, как мне представляется, гениев, но пророки мне не попадались. Самые умные люди, которых встречала в жизни, бывали скорее насмешливы и скептически, чем склонны к пророчествам. Я довольно долго вообще в толк взять не могла, что делает пророк. Мне это объяснил

покойный отец Александр (Мень) своей книгой «Вестники Царства Божьего». Пророк сообщает о возможном варианте ужасного будущего, которого можно избежать при условии покаяния, перемены поведения и прочего. Он всегда «не востребован», его удел быть убитым «между храмом и жертвенником»... В конце концов Пушкин использовал в качестве первоисточника Библию... Был такой «малый пророк» Иона, который пытался избежать служения, даже эмигрировал, но Господь взял его за шиворот и послал на служение. Что же касается самой идеи служения, необязательно пророческого служения, любого, — это один из самых высоких путей, по которому может идти человек. Я таких людей встречала.

— Сюда же подвопрос. Рустам Хамдамов процесс работы — и как художник, и как кинорежиссер — называл (раньше, не знаю как сейчас) камланием. Насколько вам близок этот взгляд?

— Нет ничего более от меня далекого. Это способ существования, естественный для Рустама, и можно ему только позавидовать. Что касается меня, я занимаюсь очень тяжелой изматывающей работой, до бессонницы и полного изнеможения. Мой муж, художник, тоже уверяет меня, что он вообще никогда не работает, он только играет. Сын мой, джазовый музыкант, тоже не работает, а играет... У нас в семье два человека работают, — я и мой старший сын, экономист. Остальные все «камлают» или «играют», дай им Бог здоровья.

— «Мне стыдно за наш парламент, невежественный и агрессивный, за правительство, агрессивное и некомпетентное, за руководителей страны, игрушечных суперменов, поклонников силы и хитрости, мне стыдно за всех нас, за народ, потерявший нравственные ориентиры». Это ведь интонация пророка, да? А не тональность обывателя? Это все на такое могут замахнуть, или должно быть некое посвящение, помазание?

— Вы правы. Нельзя себе позволять такие высказывания. Это безобразно высокомерно. Больше не буду. Начиная с сегодняшнего дня буду повторять как мантру — «Мне

не стыдно! Мне не совершенно не стыдно! Мне отлично!»
Однако несмотря ни на что довольно противно...

— А если все же было бы помазание, то в какой форме?

— В тайной, конечно. Все тайные ритуалы, все закрытые когда-то инициации сохранились в измененном виде — это знают антропологи. Например, акт вступления в пионеры в советское время был своеобразной инициацией — остались следы древнего ритуала: клятва, новая одежда (пионерский галстук). Прием в партию, прием в Союз сов. писателей и прочая дребедень — остатки древних ритуалов.

— Нет ли у вас чувства, что великие — измельчали? Раньше Ахматова, Сахаров, Солженицын, — первые попавшиеся имена привожу, — а теперь-то кто? Или просто людей стало больше? Или информации больше?

— И людей больше, и информации больше, и коммуникации более плотные. Но великие люди встречаются и сегодня. Жанры меняются. Чтобы масштаб личности был осознан современниками, надо умереть. Разве Сахарова, или Солженицына, или Александра Меня называли при жизни великими? Да и Ахматову поносили с юности до смерти... Мы просто при жизни великих не замечаем и не почитаем. Двух месяцев не прошло, как умерла Екатерина Гениева. Она была великим человеком. Вера Миллионщикова. Анна Политковская... Я и сейчас знаю великих, но очень тихих людей. Живых еще.

— Вас слушали близкие, а потом вдруг стали слушать миллионы — вот про этот рубеж, «звуковой барьер», можно подробнее? Есть же список профессий, к представителям которых прислушиваются? Или важнее слава?

— Это совершенно загадочная вещь — звуковой барьер. Я на это не рассчитывала, ничего для этого не делала. Так случилось. Люди сами выбирают, кого им слушать. Произошла глубокая перемена, которая связана с тем, что тридцать лет тому назад люди выбирали сами, кого им слушать, например, Анатолия Максимовича Гольдберга, Аркадия Райкина или Надежду Бабкину? Сейчас тоже есть какой-то выбор — между Владимиром Соловьевым (телевизионный, разумеется) и Александром Генисом. В области литературы,

музыки существует такой же выбор. И он свободный. Каждый сам выбирает, что ему слушать или читать. И существует только одна безусловная профессия, к представителям которой следует прислушиваться: это врачи. А что меня вдруг стали слушать (некоторые!), мне от этого делается не по себе. Думаю — вот какое оскудение произошло, что меня за гуру держат. Это же катастрофа! Но тем не менее: спрашивают — отвечаю.

— «Среди многих грехов советской власти — ее жестокости к людям, нетерпимости к инакомыслию, манипулированию общественным сознанием — самым, может быть, существенным была ее ненависть к культуре, к свободной мысли. Это привело к вторжению государства в культурный процесс, к подчинению культуры идеологии». Это я опять вас цитирую. Но бывали же всплески культуры при ужасных диктаторских режимах? Можем мы ожидать хотя бы этого?

— Вопрос очень хороший. Прямо сразу захотелось — по привычке бывшего ученого — исследовать вопрос, посмотреть, как соотносится уровень жестокости власти с культурными достижениями... Строго говоря, это диссертация по культурологии. Вы меня уже второй раз за время нашего разговора поймали за руку, — я в восторге! В общем виде — я не имею права без серьезного исследования заявлять, что никогда не бывало всплесков культуры при ужасных диктаторских режимах. Предполагаю, что это маловероятно. Однако то, что мы наблюдаем сегодня, вне сомнения, называется «сворачиванием» культуры. Хотя бы по чисто формальному признаку — финансирование урезается. Вообще в воюющей стране денег на культуру много не бывает, если не считать финансирования Ансамбля песни и пляски имени Александрова, — и то надо узнать, не срезали ли и у них обеспечение... Я знаю точно про библиотеки — с каждым годом все туже затягивают пояс, каждый год закрываются сотни малых библиотек. Знаю точно, что игры в слияния-разливания школ к хорошему не приводят. В результате становится меньше денег, а не больше. Кстати, с больницами тот же процесс. О финансировании

кино — поговорите с режиссерами, как сложно получить господдержку на съемки. Мы, конечно, не при диктаторском режиме живем, у нас очень своеобразная, но демократия... Но с культур-мультиур дело не очень хорошо обстоит.

— События, утверждаете вы, рифмуются. И еще же человек залипает на каких-то направлениях, к примеру, я сорок лет назад съездил в гости в Измайлово. Потом еще пять или десять раз. Потом там еще кто-то появился из знакомых. Потом я случайно там поселился. Там же переехал в другой дом. Начал там встречать старых знакомых. Это тянулось тридцать лет и резко оборвалось. То же было и с Савеловской линией. Это тоже тянулось долго. Это рифма или другое, навязчивая идея? Это то, про что вы говорили, что у вас многое связано с севером Москвы? Или другое? Это некий механизм или просто цепь случайностей и совпадений?

— Нет, я все же нечто другое имею в виду, когда говорю о внутренних рифмах. Посложнее и похитрее устроено. А что касается севера Москвы — дед купил полдачи в начале 1917 года в Петровском парке, это был пригород. Так семья всю жизнь тяготела к этому району. Скорее не мистика, а привычка. И некоторое количество совпадений. Совпадения ведь тоже чего-то стоят. Мы всегда их отмечаем, и радуемся, и удивляемся...

— Теперь интимный вопрос. Но, поскольку вы про это уже говорили в СМИ, не такой уж он и интимный. Вот у вас был туберкулез и потом онкология. (У меня тоже, но в другой последовательности.) И вы говорили о пользе болезней. Так вот, тоже как ветеран медицины спрашиваю вас. Вы говорили про то, что болезнь может быть и полезна, учит чему-то. Это христианская позиция, да? Попутно замечу, что по мере овладения болезнями я стал-таки скромнее. Раньше мне иногда казалось, что я лучше других. Помню, когда я в очередной раз залег надолго, жена поначалу возила мне обеды из дома, а потом я это прекратил и стал жрать больничное, — и ничего страшного! Иногда даже было вкусно. И вот болезнь — это что? Наука, наказание, предупреждение, школа, тупо случайность?

— А это как вам будет угодно! Зависит от того, как вы решили к этому относиться. Большая часть людей относятся обычно к болезни как к незаслуженной неприятности. Как к несправедливости: другие здоровы, а мне вот так не повезло! Есть и такая категория людей, которые считают, что это наказание. Мне кажется, плодотворнее относиться к этому как к школе. Можно благодаря болезни многому научиться, кое-что понять. Поскольку мне приходилось довольно много общаться с больными людьми, да и сама поболела, я сильно поумнела, пока болела. Словом, даже в болезни у человека есть выбор, даже много разных выборов. Огромный и очень богатый опыт.

— Какой вы видите третью мировую? (В возможность которой вроде верите.) Как она начнется? Какие детали вам видятся? Какая концовка? На какие книги и фильмы это будет похоже? Мне вспомнился фильм «На последнем берегу», обе версии — и старая черно-белая, и цветная, очередной телепоказ которой намечался на как раз 11 сентября, но был отменен. (Если вы не видели, то очень рекомендую, сильно!)

— Не могу сказать, что я об этом особенно сильно думаю. Да, вполне вероятно. Мне интересно, что об этом думают сегодняшние великие ученые, такие как англичанин Мартин Рис, астроном, или Вячеслав Иванов, наш соотечественник, культуролог можно сказать, — знаете, есть такие люди, которые сами собой представляют раздел науки. Это взгляд отстраненный, философский или биологический. Войну-то устраивают на земле уроды и недоумки, взбесившиеся безумцы, обаянные тщеславием или манией величия. А ученые могут проанализировать «постфактум». Будущая война — вполне вероятно — не оставит камня на камне, и думать уже будет некому. Но пока очень интересно почитать, что умные люди говорят по этому поводу. Как, например, будет идти эволюционный процесс в отсутствие человека? Экология постепенно восстановится, какие-то виды вымрут, какие-то рванутся вперед... Жаль, некому будет наблюдать. Но теперь не исключена вероятность, что прилетят на Землю жители других галактик, проанализируют исторический и социальный процесс, посожалеют, что вот еще одна цивилизация

себя сгубила... Как печально. Покачают хвостами или крыльями и восхитятся остатками пирамид, небоскребов и гаджетов... Все это уже в кино показали.

— «Оптика с возрастом расширяется». Ваши слова. Таки приходит мудрость? Чего-то вы в юности не способны были понять принципиально — и вдруг поняли, потому что уже опыт и прочее?

— Пожалуй, да. Про мудрость — надо еще подумать. А терпения точно стало больше.

— «Сотни шахидов подрывают себя, мирных людей вокруг, машины, самолеты, небоскребы... Это работа пропаганды. Мы не лучше других и не хуже. Мы в едином мировом потоке», — говорили вы. То есть вы настаиваете на том, что нету никакого особого русского пути, что это ошибка, блеф или что?

— Есть, конечно, русский путь. Есть китайский, и есть венесуэльский. Но есть и путь общечеловеческий, цивилизационный, на котором разные страны занимают разные позиции. Впереди те страны, которые делают самые скоростные компьютеры и самые эффективные лекарства, обеспечивают бесплатное всеобщее образование и медицинское обслуживание населения, это страны с низкой смертностью детей и высокой продолжительностью жизни. Эти параметры — основные. Если русский путь обеспечивает хорошие показатели, я его приветствую. Если речь идет о параметрах неопределенных и неизмеряемых, типа духовности, позволю себе в нем усомниться.

— «В том мире, в котором мы сегодня живем, побеждает не умный, а хитрый, не человек, обремененный моральными принципами, а тот, который их не имеет. И потому побеждает не правда, а сила. Но это не значит, что не надо встречаться, разговаривать и пытаться понять друг друга». То есть мир рушится, а мы сидим и разговариваем? Это проявление мудрости?

— Да. Людовику Святому, играющему в мяч, задали вопрос — что вы будете делать, если сейчас настанет конец света? «Продолжать играть в мяч», — он ответил. Легко могу себе представить двух евреев, которые за час до помещения

в газовую камеру спорили, прав ли был учитель Баруха Спинозы, раввин Исаак Абоаб-да-Фонсека, принимая участие в отлучении своего ученика от синагоги.

— Вот есть такой подход, что нет искусства без Бога, и другой — что вполне и атеист может быть художником. Очень интересно, что вы об этом думаете.

— Я совсем по-другому думаю. Единственное, что отличает человека от животного, — способность к творчеству. Искусство — плод деятельности человека. Правда, Комар и Мелаид вроде бы научили слонов рисовать, но способность человека к творчеству все же не Комар с Мелаидом вложили в человека. Мне кажется, что Творца мало интересуют религиозные верования человечества. Я очень люблю идею Восьмого дня — Господь сотворил этот мир за семь дней и, как утверждает Библия, уснул. Вот пока Он почивает, человек и занимается творчеством. Культура и наука, которую произвел человек, изумительны... Правда, есть опасность, что человек, поскольку очень разнообразен и очень свободен, все сам изгадит и уничтожит этот прекрасный мир. К этому еще могу добавить, что один мой знакомый священник как-то сказал, что в жизни не встречал ни одного атеиста. Каждый во что-то да верит. Некоторые верят очень истово, что Бога нет.

— Обычно я в интервью спрашиваю собеседников про роль личной жизни и алкоголя в жизни писателя, но вы же дама и вас неудобно спрашивать... Или удобно? Если без водки, то как обеспечить переход в состояние измененного сознания? Шаманы употребляют грибы, к примеру. Или, думаете, это не нужно?

— У меня не было никогда желания оказаться в состоянии измененного сознания. Вокруг меня всегда много пили. Пил первый муж, пил второй, а третий, с которым мы уже почти сорок лет вместе, был алкоголиком, пока ему это не надоело. Но он мне нравился в любом виде, и в пьяном тоже. Потом проблема алкоголизма стала серьезной, я в этом вопросе хорошо разбираюсь. Зато когда муж решительно завязал, я могу себе позволить выпивку. В семье может пить только один из партнеров, так что я вынуждена была вести

вполне трезвый образ жизни. Семейный баланс сохраняется, тем более что мне никогда не угнаться за его былыми рекордами. Вот через час забежит подруга, мы с ней немного выпьем. Могу себе позволить. В молодые годы от питья мне гораздо скорее становилось плохо, чем хорошо. С годами я нащупала это прекрасное пространство, где тебе уже хорошо, но еще не плохо. Правда, муж смотрит на меня строго, но, в общем, не ограничивает. Но сегодня он как раз останется ночевать в мастерской, так что мы не будем действовать ему на нервы. Что касается грибочков — только в жареном или соленом виде! Это не принципиальная установка, — не подвернулись.

— Верите ли вы в знаки или думаете, что все в жизни происходит случайно и хаотично? Вот есть один человек, который будучи вполне себе вольнодумцем, лег в туберкулезный стационар, в октябре 2011 года, и вышел оттуда в конце мая 2012-го. И он там пролежал все протесты. Чисто случайность?

— Не буду отвечать. Правда не знаю. В знаках я отлично разбираюсь, и сны вижу, и предчувствия имею — но все это касается только меня лично. В чужие знаки я не лезу. Это каждый сам с собой должен разбираться, если имеет склонность.

Пора валить?

— «Мы недавно с друзьями обсуждали вопрос, сколько надо вагонов, чтобы нас всех оттуда (видимо из РФ?) вывезти». Говорили про вагон, про состав — а сейчас какой видится объем? Сколько людей, которых «надо» вывезти? Кто это? Что будет, если их вывезти? Как вот кто-то из великих сказал, что если из Франции вывезти сколько-то там десятков или сотен людей, то страна изменится необратимо?

— Этот эксперимент в России уже был произведен. И не однажды. За 1918—1922 годы Россию покинуло два с половиной миллиона человек. Не буду уточнять социальный состав. Пролетарии в основном остались. Потом изымались послойно священники, крестьяне, спецы, партийные акти-

висты, военные, люди отдельно взятых народов — чеченцы, калмыки, крымские татары, — сословные чистки закончились врачами, в 1953 году. И что? И ничего! Великая страна и не содрогнулась. И даже не чихнула. Бабы новых нарожали!

— И все-таки — «пора валить». (Притом что да, вы уже объясняли: «Я хорошо понимаю тех людей, которые уезжают из страны, не желая принимать участие в творящемся безобразии».) Как вы это видите? Вы-то здесь, да и я тоже, но все-таки. Те же белые офицеры. Кто остался, многих убили, кого-то прям в Крыму. Перед смертью они, небось, жалели страшно. А уехавшие, часто думаю про это, не были счастливы в Париже, работая таксистами и официантами. Мне кажется, они, терпя те унижения там, думали: уж лучше б дать бой в России и погибнуть с оружием в руках, чем застрелиться после в эмиграции.

— Игорь, остановитесь! Это рассуждения подростка! Я довольно рано стала ездить в Европу и даже таксиста такого русского застала: его брат остался в России и стал полковником Красной Армии, а они оба кадетский корпус кончали. Оба прожили достойно, один воевал с фашистами, второй был угнан в Германию из Франции на работы, и только под конец жизни они узнали, что оба выжили, а расстались они в 1918 году. Но свидеться им не удалось, тот, что остался в России, умер вскоре после того, как я привезла ему письмо... Красота жизни! Я знаю в Париже русских третьего поколения эмигрантов, которые уже не знают русского языка, но гордятся своими предками. Любят Россию романтической любовью, некоторые из них в восторге от России, которая встала с колен... Фантастика! Как это интересно!

— Вот Бунин уехал с концами, а Толстой вернулся. Татьяна Толстая понимает деда — пожив в Штатах, вернулась... Как редко дети возвращаются, поучившись в Штатах! Как в вашей семье это вышло? Особенно это удивительно теперь, когда в ходу тема «пора валить». Что на это скажете? Я когда слышу такие разговоры, то сразу вспоминаю Евгения Ройзмана, который давит наркомафию в Екатеринбурге, и вот сейчас еще и мэром там же, — а мог бы в одно

касание уехать на историческую родину. Еще — Людмила Альперн, она работала с Валерием Абрамкиным, а теперь уже без него помогает ээкам, по старой диссидентской памяти, с семидесятых еще. У нее уже все, кто мог, давно уехали в разные страны, но она говорит, что за границей ей скучно, а тут жизнь кипит.

— Можно валить. Можно не валить. Нет общего решения, есть личный выбор. Я нащупала, как мне кажется, один формат, очень плодотворный. Это формат «доктора Швейцера». Он уехал в Габон, служил прокаженным и прочим страдальцам, и жизнь его была трудна и прекрасна. А нам так и ехать никуда не надо — у нас весь Габон под боком, в Бирюлево-Товарной. И я таких людей здесь знаю. Но этот рецепт не для всех, он для избранных, для лучших. А кого такой путь не привлекает, почему бы не уехать? Только без иллюзий: нас, избалованных, плохо образованных, обидчивых и заносчивых нигде не ждут! Да, Бунин остался в Европе, Толстой вернулся. Толстой был человеком более гибким, нашел общий язык с властью, Бунин был уверен, что не сможет его найти. Он был человеком менее гибким. Я знала несколько русских семей реэмигрантов, и жизнь их в послевоенной России сложилась тяжело: некоторых сразу же посадили. Я знала Александра Угримова, он книгу написал «Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту», там изложена вся семейная история. Другая семья — Муравьевых, потомки Муравьева-вешателя и Михаила Родзянко, лидера партии октябристов. Их, потомков петербургских аристократов, поселили в Харьковской области, глава семьи там и умер, работая на химзаводе, много лет они оттуда выкарабкивались в Москву. Большая часть семьи потом снова покинула Россию, уже в 80-х годах. Но кое-кто и остался. Не вижу оснований кого-то одобрять или порицать. Право свободных людей. А что у нас жизнь кипит, с этим не поспоришь. Что касается моих сыновей, они десять лет прожили в Америке, сейчас оба здесь. Старший получил серьезное образование, младший десять лет играл джаз, а сейчас синхронист. Но все играет... Прекрасно. Могло быть и как-то иначе.

Урок литературы

— Как были задуманы романы в восьмидесятых, все сразу, почему?

— Как, как. Оказалось, что мне хочется написать роман, и не один. До того я только на рассказы замахивалась. Вероятно, возникли темы, которые в жанре рассказа невозможно было разрешать. Это и «Медея», и «Кукоцкий», и «Шурик», который искренне ваш. Собственно, все, что я тогда задумала, все написала. И даже несколько больше.

— Страх смерти — насколько силен? Сколько по времени занимают мысли о нем? Насколько это важно все-таки?

— Приготовление обеда занимает все-таки больше времени. Я не думаю 24 часа в сутки о предстоящей смерти. Хотя это общее для всех людей чувство. Но в разные поры жизни, по мере приближения этого события, у одних страх обостряется, у других, наоборот, страха становится меньше. У всех по-разному. Меня очень привлекают люди, которые с этим страхом справляются. Важно ли это? По-моему, ничего более важного в жизни нет. Страхи разного рода отравляют жизнь человека, а страх смерти — самый главный.

— Вообще какие есть сейчас направления в русской литературе? Там ведь и вы, и тот же Кабаков, и Битов, и Проханов с Прилепиным, и Сорокин с Пелевиным. Или каждый сам по себе, и никак нельзя вас классифицировать?

— Есть люди, специальность которых — классифицировать. Мне это не очень интересно. Но если кому-то охота меня куда-то определить, я не возражаю. Обычно меня помещают в зону «женской прозы». У меня здесь нет комментариев. Делайте, как вам удобно.

— Вот интересно. Из популярных писателей вы чуть ли не единственная не испугались писать, что называется, «серьезное». А то люди прикрываются стебом (Сорокин и Пелевин), идеологией (Прилепин), сочиняют детективы и прочее. Люди часто стесняются писать «всерьез». Вот у Сорокина есть придуманный им самим термин «влипаро» — это когда он срывается и пишет о наболевшем, кажется, впервые так получилось у него с «Днем опричника», а так-то он пишет

холодно и расчетливо, из принципа. Люди что, стесняются «серьезного»? Страх, действительно? Или тут дело в том, что вы уже в зрелом возрасте взялись за писательство?

— Думаю, что в моем случае «серьезное» письмо — неспособность писать иным способом. Это как высота голоса или тембр. Я просто иначе не могу. Ранние вещи Пелевина мне очень нравились, более поздние — менее. Сорокина люблю раннего и позднего. И у того и у другого есть шедевры. Сегодня ночью прочитала «Метель» Сорокина — с запозданием лет в пять. Прекрасная книга. Я так не умею. Но и не завидую. Каждый поет своим собственным голосом. И думаю, что дело не в том, что я поздно начала книжки писать, скорее в отсутствии артистизма и легкости. Кроме прочего мне интересно исключительно про человека, а театр литературных идей меня не очень занимает. Это вовсе не достоинство, скорее такая особенность. Может, недостаток. Сравнивать одного с другим — на это есть особая наука литературоведение, я в ней не специалист.

— Вы с Александром Кабаковым одного года рождения. (Его отец заехал с фронта домой, и в итоге родился мальчик.) Иногда люди много думают о таком понятии, как поколение, — а вы? Вы одного года, и что с того? Это что-то значит — или нет? И Саша Соколов ваш с Кабаковым ровесник. (И про Кабакова еще история. Одна моя бывшая корреспондентка, уезжая на ПМЖ, спросила его — почему он не едет, евреям же это проще. Он ей ответил: «Не могу уехать, ведь я русский писатель». Он открыто себя позиционирует как мракобес, ну видимо, в этом есть все-таки доля шутки.)

— Поколение — это меня очень волнует, занимает, притягивает. Первый в Советской России, кто писал о демографии, о проблеме поколения, был мой дед. Я только что закончила роман, в центре которого как раз эта тема поколения. Да, мы все ровесники — Кабаков, Соколов, я. Ничего общего. Саша Соколов, русский человек, уехал на Запад. Кабаков остался. Я пока здесь. Начнут гнать — уеду. Не хотелось бы. Проблемы нет до тех пор, пока не отбирают паспорт и не ставят на нем штамп «недействителен». Причем все равно,

на входе или на выходе. Все-таки приятно ощущать себя свободным человеком, который может выбирать, где в будущем месяце он хочет находиться. Я отдаю себе отчет в том, насколько иллюзорно это ощущение свободы.

Гендер

— Гендерное, к предыдущему вопросу и шире. Мужики редко отваживаются на вот это «влипаро». А вы не испугались. И вообще, насколько «женская» литература отличается от «мужской»? Примеры наши и мировые? Или вы не думали об этом? Женщина-пророк — бывает такое? Кто это? Я, кстати, знаком с одной албанкой, которая приходится дальней родственницей самой матери Терезе. Кого вы видите самыми великими женщинами современности?

— Я знаю, что мужчины и женщины всё делают по-разному — готовят, печатают на машинке, водят автомобили. Наверное, есть какие-то характеристики — как для анализов крови, разные немного нормы. Но в творчестве это не проходит. Есть талантливые тетки и бездарные мужики, есть пошлые бабы и утонченные господа. Индивидуальные различия много перевешивают половые. Но в чем я совершенно уверена, и попробуйте мне возразить, — мужчины написали в тысячу раз больше бездарных книг, чем женщины, по той причине, что женщины чуть больше ста лет как освоили писательскую профессию, а мужчины пишут не одно тысячелетие. То есть женщины только недавно начали... Фольклор — не считаем. Что же касается женского профетизма — да, он древнее, чем мужской. Все эти Пифии, жрицы, предсказательницы, прорицательницы — от Матери Земли. Что же касается матери Терезы — особая история, местами не совсем приятная... Оставим ее. Про великих женщин мне что-то скучно рассказывать. Были, были... У меня вот несколько подруг есть, очень великие женщины, но вряд ли я о них напишу... нет, точно не буду.

— Я иногда думаю про Роулинг, книг которой не читал: ну допустим, она умней меня в тысячу раз, так тогда отчего я не могу заработать книгами не миллиард как она, а хоть

миллион? У вас бывает что-то похожее? Насколько вас волнуют деньги?

— Нет, мне про деньги не очень интересно. В молодые годы у всех одинаково их не было. Потом сколько-то стало. Последние лет десять я зарабатываю больше, чем трачу. Но они все равно не копятся. А когда вдруг сколько-то скапливается, я начинаю нервничать, как бы не пропали... Но у меня есть помощники по части трат, так что все в порядке. У меня есть друг-ученый, он получил премию в три раза больше, чем Нобелевская, есть такая. Он половину отдал в свою лабораторию, на исследования своих научных проблем. А половину на старость лет оставил. Поскольку он давно в Америке живет, вряд ли ему понадобится. Пенсия приличная, ест он мало, что-то вегетарианское, дом купил давно, кажется, живет рядом с лабораторией, ему даже машина не нужна... Совершенный человек. В общем, я скорее деньги не люблю: когда их слишком мало — очень плохо, когда их слишком много, тоже получается отвратительно. Наблюдаю... Потом, я все же отношу себя к пинаемой всеми, кому не лень, интеллигенции, а у нас традиционно к деньгам отношение несколько брезгливое. Ну к большим, во всяком случае...

— Отто Вейнингер с его когда-то модной книгой «Пол и характер» — не фальшак, как вы думаете? Он писал про то, что евреи — очень женственная нация. Это что-то означает? И как это перекликается с Бердяевым, который писал про «вечно бабье в русской душе?» Еще где-то писали, что в целом женщины интеллектуально якобы слабее мужчин, но зато среди нет таких конченных идиотов, как среди мужиков? (Но и нету зато таких сильно умных.) Мужчины — с Марса, женщины — с Венеры, это часто повторяют в Штатах. Это про то же самое, так что вы удивляетесь — как эти страшно отличающиеся друг от друга группы дают потомство?

— Отто Вейнингер — это уже совсем читать невозможно. Нет, не фальшак, он просто был юный психопат, в 23 года застрелился, возможно, латентный гомосексуал, написал некоторое количество полной чепухи, которая вызвала бурную реакцию. Я прочитала в юности и очень удивилась, что его

мир всерьез принял. И Бердяева тоже в молодые годы читала, он как раз на меня большое впечатление производил. Очень устарело, имеет только исторический интерес. Тема очень интересна тем, как она в наше время выглядит. Но это правда очень большой разговор, я в этом формате не готова обсуждать эту тему.

Генетика

— «Затычка, конечно, ко многим дыркам, но не ко всем». Цитата из вашего интервью. Очень ценю вашу самоиронию. Вы занимаетесь множеством разных дел! Но и это же тоже — генетика? У каждого свое количество энергии, которое он может израсходовать? Святослав Федоров рассказывал мне, что два процента людей могут выполнять огромное количество работы и еще вести за собой других; 10—15 процентов будут работать всегда, даже и бесплатно; и столько же — не будут никогда, даже и под дулом пистолета. Остальных можно привлечь деньгами. Вам это близко? Но тогда получается, что в этом нет ни вины, ни заслуги, кто каким уродился, так и проживет жизнь? Не обидно это?

— Нет, не обидно. Моя мама говорила — играть надо с теми картами, которые на руках. Замечательное высказывание. Надо, следовательно, сначала понять, какие у тебя карты. Я хорошо знаю, к чему я совершенно неспособна. К чему — слегка. И где лежат мои козыри. Это и есть проблема реализации. Бывает, что человек выбирает себе дело, к которому нет дарований. Зато когда человек угадывает свое дело, и он счастлив, и дело его расцветает. Я вообще человек ленивый, но есть такие занятия, которые меня увлекают, и меня оторвать невозможно. Только не спрашивайте какие...

— «Чем выше культурный уровень человека, тем легче он преодолевает недоверие к людям иного происхождения, воспитания, привычек», — сказали вы как-то. Вот я подумал о том, что главное — не политические взгляды, но — воспитание. У меня есть друзья чисто «имперцы», и мы с ними культурно и деликатно дискутируем. А с кем-то рассорились, понятно, поскольку они себя вели э-э-э... некорректно. Так что

же, все решается на уровне домашнего воспитания? Научили человека вести себя прилично — или не научили, в этом, что ли, дело? Может это перебить наследственность, гены?

— Это совершенно неправильно построенный вопрос. Их два, и они разные. Первый: что важнее — политические взгляды или воспитание. Второй: соотношение воспитания и генетики. Обычно он формулируется иначе: что важнее — среда или генотип, в более точной формулировке. Потому что когда вы говорите о политических взглядах и воспитании — это один вопрос, и он довольно пустой, как мне кажется. А когда говорите о воспитании и наследственности — совсем другой, настоящий. Политические взгляды в большой степени зависят от воспитания. Они формируются семьей, окружением, образованием. Это мне кажется довольно убедительным, не требует развития и доказательств. Второй вопрос — воспитание и генотип — настоящий научный вопрос. Академик Лысенко, враг формальной генетики, человек в биологическом отношении довольно безграмотный, считал, что все определяет среда, а генетику придумали буржуи. Хорошо кормишь корову, она дает хорошие надои. Еще лучше кормишь — надои еще больше. Вейсманисты-морганисты исходили из того, что есть гены, обуславливающие хорошие надои. И если гены слабенькие, сколько ни корми, хороших надоев не будет. Ну, грубо говоря. Однако чем дальше в лес, тем больше дров. В принципе, формальные генетики правы. Но именно в последние десятилетия ученые обнаружили, что кроме тех генов, которые от папы-мамы, есть еще другие пути влияния на качества коровки: внехромосомная наследственность. Есть обстоятельства среды, которые влияют на экспрессивность, то есть степень выраженности генов, а также многое другое, чего не снилось нашим мудрецам. И у воспитания есть свои пределы: что-то воспитать можно, а что-то не поддается воспитанию. Словом, умного человека плохое воспитание идиотом не сделает, а дурака можно старательно воспитывать, но он ничего не воспримет. Однако, что касается пользования туалетной бумагой или носовым платком, этому можно научить любого. Правда, из всего вышесказанного вытекает довольно

мир всерьез принял. И Бердяева тоже в молодые годы читала, он как раз на меня большое впечатление производил. Очень устарело, имеет только исторический интерес. Тема очень интересна тем, как она в наше время выглядит. Но это правда очень большой разговор, я в этом формате не готова обсуждать эту тему.

Генетика

— «Затычка, конечно, ко многим дыркам, но не ко всем». Цитата из вашего интервью. Очень ценю вашу самоиронию. Вы занимаетесь множеством разных дел! Но и это же тоже — генетика? У каждого свое количество энергии, которое он может израсходовать? Святослав Федоров рассказывал мне, что два процента людей могут выполнять огромное количество работы и еще вести за собой других; 10—15 процентов будут работать всегда, даже и бесплатно; и столько же — не будут никогда, даже и под дулом пистолета. Остальных можно привлечь деньгами. Вам это близко? Но тогда получается, что в этом нет ни вины, ни заслуги, кто каким уродился, так и проживет жизнь? Не обидно это?

— Нет, не обидно. Моя мама говорила — играть надо с теми картами, которые на руках. Замечательное высказывание. Надо, следовательно, сначала понять, какие у тебя карты. Я хорошо знаю, к чему я совершенно неспособна. К чему — слегка. И где лежат мои козыри. Это и есть проблема реализации. Бывает, что человек выбирает себе дело, к которому нет дарований. Зато когда человек угадывает свое дело, и он счастлив, и дело его расцветает. Я вообще человек ленивый, но есть такие занятия, которые меня увлекают, и меня оторвать невозможно. Только не спрашивайте какие...

— «Чем выше культурный уровень человека, тем легче он преодолевает недоверие к людям иного происхождения, воспитания, привычек», — сказали вы как-то. Вот я подумал о том, что главное — не политические взгляды, но — воспитание. У меня есть друзья чисто «имперцы», и мы с ними культурно и деликатно дискутируем. А с кем-то рассорились, понятно, поскольку они себя вели э-э-э... некорректно. Так что

же, все решается на уровне домашнего воспитания? Научили человека вести себя прилично — или не научили, в этом, что ли, дело? Может это перебить наследственность, гены?

— Это совершенно неправильно построенный вопрос. Их два, и они разные. Первый: что важнее — политические взгляды или воспитание. Второй: соотношение воспитания и генетики. Обычно он формулируется иначе: что важнее — среда или генотип, в более точной формулировке. Потому что когда вы говорите о политических взглядах и воспитании — это один вопрос, и он довольно пустой, как мне кажется. А когда говорите о воспитании и наследственности — совсем другой, настоящий. Политические взгляды в большой степени зависят от воспитания. Они формируются семьей, окружением, образованием. Это мне кажется довольно убедительным, не требует развития и доказательств. Второй вопрос — воспитание и генотип — настоящий научный вопрос. Академик Лысенко, враг формальной генетики, человек в биологическом отношении довольно безграмотный, считал, что все определяет среда, а генетику придумали буржуи. Хорошо кормишь корову, она дает хорошие надои. Еще лучше кормишь — надои еще больше. Вейсманисты-морганисты исходили из того, что есть гены, обуславливающие хорошие надои. И если гены слабенькие, сколько ни корми, хороших надоев не будет. Ну, грубо говоря. Однако чем дальше в лес, тем больше дров. В принципе, формальные генетики правы. Но именно в последние десятилетия ученые обнаружили, что кроме тех генов, которые от папы-мамы, есть еще другие пути влияния на качества коровки: внехромосомная наследственность. Есть обстоятельства среды, которые влияют на экспрессивность, то есть степень выраженности генов, а также многое другое, чего не снилось нашим мудрецам. И у воспитания есть свои пределы: что-то воспитать можно, а что-то не поддается воспитанию. Словом, умного человека плохое воспитание идиотом не сделает, а дурака можно старательно воспитывать, но он ничего не воспримет. Однако, что касается пользования туалетной бумагой или носовым платком, этому можно научить любого. Правда, из всего вышесказанного вытекает довольно

безнадежная идея, что нет в мире справедливости, одному достается от рождения хороший генетический материал, другому похуже, третьему совсем плохонький. Возвращаемся к исходной точке: надо хорошо играть с теми картами, которые на руках.

Пятая графа

— Еврейская тема. Один еврей мне рассказывал, что у них (у вас) широкий разброс, от святых до жадных лавочников, у других этносов диапазон якобы уже.

— Нет, нет, остановитесь! Доктор Гааз и доктор Менгеле — оба чистопородные немцы. Не убеждает? С равной степенью можно утверждать, что евреи люди более узкого диапазона, чем их соседи по планете, есть на это основания: евреи, живущие в рамках традиции, обязаны выполнять 613 заповедей, запретительных и обязывающих. Преступающий правила должен был изгоняться из общины. При такой строгости особенно не разгуляешься. Когда традиция распалась, евреи стали таким же народом, как соседствующие. Хотя уголовных преступлений и по сей день совершают меньше, чем соседи, а экономических — сравнимо. Вот тут мы снова касаемся генетики: если три тысячи лет подряд посылать пятилетних мальчиков на 12 лет в школу полировать мозги, то и генетика каким-то таинственным образом меняется. И уж если говорить об особенностях, то бросается в глаза не широта диапазона, как утверждает ваш приятель, а страсть к обучению. Евреи всегда придавали огромное значение образованию. Не отдавать своих детей в школу считалось низом социального падения. И по сей день среди евреев очень высокий процент людей с высшим образованием, с учеными степенями, разными открытиями и изобретениями, причем это было даже в те годы, когда были гласные или негласные ограничения для получения евреями образования.

— И вот я еще подумал (будучи гоем-космополитом), что одна из причин антисемитизма в том, что евреи пришли в Россию с Запада, то есть они привыкли к европейским

ценностям, и у них много веков не было своего царя и привычки к иерархии, к вертикали власти, и они отвечали за себя индивидуально. И это обижало и обижает многих казенных патриотов. В Израиле, куда я езжу с 1992 года, я подумал про то, что там они — оплот и форпост белой цивилизации. В отличие от других этносов, которые живут в регионе. Насколько важна еврейская тема, для вас, для России и вообще? Или ею можно пренебречь? (Уточню, что для меня национальный вопрос мало что значит, очень вяло им интересуюсь.)

— Игорь, просто отчаяние охватывает от ваших вопросов. В Россию евреи пришли из Польши. Польских евреев западными людьми никак назвать было нельзя: ремесленники, лавочники, беднота. Какие там европейские ценности! Кроме Торы и молитвенников ничего не читали. Австро-венгерские — другое дело. Эти были европейцы, именно от них и пошли все нобелевские лауреаты XX века. Евреев в Австро-Венгрии признали равноправными гражданами еще в конце XVIII века. Что касается польских евреев, власть их притесняла, они научились ей сопротивляться насколько возможно, обманывали, ускользали от жестких государственных законов и выработали собственное общинное управление — кагалы, вроде народного схода. Но всегда были авторитетные фигуры, раввины или своего рода еврейские раскольники — хасиды, и от них многое в общине зависело. Если уж говорить об исторической особенности, евреи считают себя народом Божиим, изначально евреи жили по родовому принципу — патриарх и двенадцать колен его потомков, а весь народ под управлением Господа Бога. То, что называется теократическое государство. Выливается это в конечном счете во власть священников. Тоже ничего хорошего. Но потом евреи взбунтовались и попросили царя. Им был дан царь. Саул его звали. Это было за тысячу лет до нашей эры. Но опять не совсем хорошо получилось. По Европе тогда бродили медведи и дикие племена, а о России просто и речи не было. Дальше у евреев дело шло точно так же, как и у всех других народов, — история развивается путем проб и ошибок. Еврейский народ —

в некотором смысле — модель, на нем в истории многие схемы отрабатывались. И ответственность перед Богом, окончательный ответ, который должен держать каждый человек, эта идея получена от иудеев. Очень много основополагающих религиозных идей христианство получило от иудеев, и это мне кажется достаточным основанием для антисемитизма. Очень трудно признать иудеев своими старшими братьями по вере; тогда и началась эта иудео-христианская война. Она, конечно, совершенно дискредитирует христианство, о чем Отцы Церкви в древности не говорили, потому что сами были антисемиты, а в более поздние времена эта мысль стала жечь. Христианство излечивается постепенно от антисемитизма, но в отдельных частях христианского мира, не на нашей Святой земле. Так, история отношений евреев и христиан едва не закончилась в середине XX века полным истреблением евреев, холокостом. Но в конце концов все кончилось хорошо — треть мирового еврейства выжила, было основано после двух тысяч лет безгосударственности заново еврейское государство. Относительно государства Израиль не могу не согласиться: да, оплот и форпост цивилизации, причем не белой, а без цветового определения. Мы не знаем, какого цвета кожи будет человек будущего, если будущее наступит. Я прошу прощения, что прочитала вам целую лекцию, но это на самом деле интересно, а история евреев важна не только для самих евреев, но и для всего человечества. Именно как модель, на которой много чего было опробовано.

— Идиш — знаете ли вы его? И сколько возможностей упустил Израиль, выбрав не немецкоподобный идиш, но иврит? Или после войны не было никакой возможности уговорить людей пользоваться языком, похожим на немецкий? Некоторые мои знакомые евреи из принципа не ездят на немецких машинах и не бывают в Германии.

— Я не знаю ни идиша, ни иврита. Возможно, именно по этой причине я и оказалась русским писателем. Мы, евреи, любим писать, надо это признать. Родись я в другой стране, будь моим родным языком английский или испанский, писала бы латиницей. Русский язык — мой единственный, всю

мировую культуру я получила через русский язык, он и есть моя родина. На некоторых других иностранных я говорю, но только в продовольственном магазине. А про важное и драгоценное — только по-русски. Иврит — один из древнейших языков мира. Его история уникальна: он сохранил еврейский народ. Он был богослужебным языком в те годы, когда евреи говорили на арабском, испанском, ладино, идише, фарси, польском, русском, на всех возможных языках мира. Но евреи в изгнании, в десятках стран, среди чужих народов, часто враждебных, собирались по субботам и молились только на этом древнем языке, для этого обучали мальчиков, начиная с пятилетнего возраста, языку иврит исключительно по одной единственной книге, Торе, она же Библия. И длилось это две тысячи лет, все две тысячи лет изгнания, а в начале XX века евреи вернулись в Палестину, и древнееврейский язык из богослужебного снова стал живым. В 1948 году было создано государство Израиль, и теперь на древнем языке снова ругаются тетки на рынке, поют похабные песни, сплетничают и говорят друг другу гадости, как на любом другом языке. Такого в мире никогда не было, чтобы мертвый язык снова стал живым. Вот и получается, что про идиш вы сказали совершенную глупость.

Итого

— И под занавес. «У меня никакого разочарования — я знаю, что принадлежу к меньшинству. Я к этому привыкла. Но мне кажется, что это не самое плохое из меньшинств». И еще: «Не сажают — спасибо! Мы живем в стране уморенного голодом Блока, расстрелянного Гумилева, затравленного Пастернака, изгнанного Бродского. Бывали похуже времена». То есть вы оптимист и думаете, что все кончится хорошо? Что мы можем расслабиться?

— Да! Именно так! Все кончится хорошо! Каждому из нас подарена интересная жизнь. И в конце концов мы умрем. Некоторые даже рассчитывают на интересную жизнь после жизни.

ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ: «Чебурашка — это мужик!»

Классик Эдуард Успенский, который дал миру Чебурашку и Простоквашино, чем завоевал непререкаемый авторитет у наших детей, вступил в восьмой десяток жизни и деятельности. Причем очень активно: он пишет, полон планов, продвигает на рынке свои бренды, судится, поет и играет в теннис. Отчего он на встречу пришел в гипсе на правой руке — неудачно упал на корте.

Эдуард Николаевич Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске Московской области. В 1961 закончил Московский авиационный институт. Печатается с 1960 г. Начинал как юморист, выпустил юмористическую книгу вместе с Аркадием Аркановым и Григорием Гориным. Придумал детские передачи «Радионяня», «АБВГДейка». На радио и ТВ вел музыкальную программу «В нашу гавань заходили корабли».

Прославился как автор детских книжек «Крокодил Гена и его друзья» (1966) и «Вниз по волшебной реке» (1972). Совместно с Романом Качановым написал пьесы «Чебурашка и его друзья» (1970), «Наследство Бахрама» (1973) и др. В 80—90-е написал «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Колобок идет по следу», «Лекции профессора Чайникова (занимательный учебник по радиотехнике)» и др.

По многим книжкам Успенского сняты широко известные мультфильмы. В 1979 на МКФ в Москве получил Приз детского жюри за фильм «Трое из Простоквашино», в 1980-м — I приз на кинофестивале в Бильбао за фильм «Дядюшка Ау».

Песен? Их есть у меня

— Про теннис, будь он неладен: вы им занялись раньше, чем Ельцин это ввел в моду?

— Хрен его знает... — ответил он весьма дипломатично. (Это красиво: я, мол, не слежу за ньюсмейкерами. Не исключено, что так оно и есть...)

— Я вспомнил о вашей передаче «В нашу гавань заходили корабли» и подумал: вот в Древнем Китае музыка была государственным делом. Ибо считалось, что она оказывает большое воздействие на человека, и нельзя такое дело пускать на самотек... А вам дали командовать музыкой, ну какой-то ее частью.

— Знаете, не только в Древнем Китае — и у нас при большевиках музыка была государственным делом. Кто-то — кажется, первый секретарь то ли Белоруссии, то ли Украины — сказал: «Если я пушу сюда польскую музыку, то я не гарантирую, что удержу власть в республике». Музыка укрепощает людей, не зря же при Сталине даже танго было под запретом! А уж фокстрот тем более. (Оставляем это утверждение на совести писателя. — И. С.) Они долго вытравляли из сознания людей нормальное отношение к песне... А песня тем не менее существовала. И мы с Элеонорой (в ту пору жена Успенского. — И. С.) решили вернуть ее людям. В первую очередь мы взялись за детские песни. Я сделал первые две передачи «В нашу гавань заходили корабли» именно для детей — но почему-то их стали слушать взрослые. Мы поняли, что этот рынок невероятно огромен, когда нам стали мешками приходиться письма. Там были не только отклики, но и тесты песен, написанные в том числе и старческим почерком, тексты замечательных песен, «Белые туфельки» например. Причем многие песни давались в разных вариантах! Элеонора звонила этим бабушкам, которые слали тексты, выспрашивала у них мелодию, потом звонила Гердту, говорила, что вот есть песня хорошая. Он приезжал, она ему напевала мелодию, музыканты наши тут же играли, это шло в эфир — и песня сразу становилась шлягером. Так мы вернули людям множество песен. «Машину АМО», «В Кейптаунском порту»... Некоторые утраченные песни мы собирали по строчкам, а потом люди говорили, что и без нас давно все знали и пели! Был смешной случай. Макаревич недавно пришел к нам на передачу и говорит, что с детства знает песню про Кейптаунский порт — в том виде, в каком мы ее исполняем. Я ему говорю: в том варианте, который ты поешь, есть придуманный мной куплет. «Не может быть!» И тем не менее... «Войдя в тот ресторан, увидев англичан, французы были все

разозлены» — мои строчки. Макаревич говорит: «Я думал, это народ написал! Профессионал так написать не может».

— Уели вы его, уели.

— Он хорошо знает наши песни, хорошо их поет. Недавно мы выпустили огромный двухтомник этих песен, две тяжелых книги, и там почти 13 000 текстов. Одной «Мурки» пять вариантов. Задача, когда мы выступаем, чтоб зал пел с нами, — и мы этого добиваемся: в конце программы зал начинает петь.

— И вот большевики занимались музыкой, а новый режим на музыку плюнул и позволил ею заниматься кому ни попадя.

— Я думаю, это пока.

— А, вот как! И какую же музыку нам предложат?

— Патриотическую очень. И будут ее предлагать постоянно.

— Типа Газманова?

— На гораздо более низком уровне. Думаю, они музыку возьмут под контроль.

— Надо как-то надыхаться впрок свободным воздухом...

Картина детской литературы

— Вы много и с болью рассказывали про то, как вас не пустили и не издавали при Советах тогдашние начальники детской литературы: Сергей Михалков, Альберт Лиханов, Анатолий Алексин...

— Последний, кстати, уехал в Израиль и там рассказывает, как его преследовали в СССР. Да это не его преследовали, а он! Меня!

— Ну а теперь как, можно вашему брату жить?

— Ну, одно время было плохо, печатали только шлягеры, проверенных людей — меня, Остера, Ковалю... И не хотели брать никого нового. Но постепенно благодаря Филатову, который проводит всякие семинары, жизнь стала лучше...

— Филатов — который?

— Сергей Александрович Филатов. У него есть фонд, и он раз в году собирает в Доме творчества писателей не только российских, и молдавских, и казахских, которые пишут

по-русски. Приезжает человек 300, они живут там неделю, к ним приезжают мастодонты типа Аксёнова, Битова, Гладина, они беседуют, общаются... Стали выходить сборники молодых писателей, в том числе детских. В другой заезд собирают только детских писателей, человек двадцать. Они друг другу помогают, мы им помогаем, приходят люди из детских журналов. Интернет есть. Люди пробиваются просто на глаза. Вот Стас Востоков делает уже третью книжку. Еще Перелеяев делает книжку. Женщины есть хорошие, которые печатаются. Во всяком случае, молодые ребята, с которыми я занимаюсь, получают не меньше, чем я в их возрасте, при большевиках. Сейчас много журналов... В одном журнальчике вышло стихотворение, получил человек 50 долларов, в другом вышел маленький рассказик, снова что-то заплатили, где-то выступил в школе... Можно спокойно жить. Мы помогаем начать и пробиться, а дальше кому как повезет. Если кто-то создаст бренд, у него будет вообще нормальная жизнь.

— Двадцать детских писателей активных! А вы говорили, что и четырех хватило б на страну. Что, даже выбор появился? План перевыполнили? Можно говорить о расцвете?

— Да, я говорил, что детских писателей человека четыре бывает в одно десятилетие на плаву. Сейчас больше. Но про расцвет пока рано говорить. Скажем так: через асфальт пробилось несколько ростков.

— Эдуард Николаевич! Занимаясь детской литературой, вы определяете, каким будет следующее поколение. Что вы им вложите, то и будет, такими они и станут. Так?

— Нет. Куда мне... Телевидение и компьютерные игры — вот что влияет на детей! А потом уже идут детские писатели, и то если родители купят книжку...

— Вот — сделали детский телеканал «Бибигон»... Был когда-то разговор, что его отдадут вам.

— Были переговоры, но... начальники меня не любят. Я слишком самостоятельный.

— Что значит — не любят? Вас даже Путин с юбилеем поздравил!

— А что ему еще оставалось делать? Еще бы он меня не поздравил!

С «Бибигоном» была такая показательная история. Я там выступал. Читаю текст... Там была сценка, когда мой герой заделывает с детьми дырки в окнах перед зимой и говорит: «Дырки бывают даже в бюджетах, в том числе и государственных». Мне сразу делают замечание: «Так нельзя говорить!» Что значит — нельзя? «Не надо». Бред... При большевиках такой трусливости не было.

— У вас при старом режиме даже кости в мясе прошли! Когда Шарик говорил: «Я магазинное мясо больше люблю, там костей больше».

— С боями, правда, те кости прошли.

— Хотя это уж настолько была антисоветчина...

— Вот такое детское телевидение открыли: оно со связанными руками. Оно должно будоражить, оно должно привлекать! Каждая передача должна быть событием! А сейчас фильм показали, что-то рассказали — ну и слава богу. Какие-то передачи типа «Умники и умницы»... Которые ничего никому не дают.

— Ну а че, вроде ж неплохо — вопросы, ответы...

— Но что дети вынесут из этой программы? В каком году родился Лопе де Вега? Что это? Это все говорильня и больше ничего.

— С другой стороны, я сам иногда думаю: может, не надо уже всем подряд идти к детям, выступать перед ними...

— У меня тоже такое мнение. Детям нужны особые люди. А то так у нас и Ксения Собчак начнет вести детскую программу...

— Вот, например, Тина Канделаки вещает детям, а вас не пускают.

— Да... А еще недавно открылось детское радио! Я слушаю. Пока оно веселое, по манере — живое. Недавно там обсуждали вопрос: почему у верблюдов бывает и один горб, и два? Вопрос дурацкий и неожиданный, но тем он интересней. И ведущая объясняет...

— Кстати интересно... Вы не запомнили ответ?

— Запомнил.

Дальше Успенский мне объясняет про горбы, а после добавляет:

— Это очень просто рассказано и интересно. Я приблизительно представлял, но не так точно, не так полно...

— О влиянии на детей: вас, значит, все-таки родители контролируют. Вы не напрямую идете к детям.

— Ну я же и сам себя контролирую. Я самый главный контролер! Но я распоясываюсь, я не позволяю себе быть не дерзким. Я стараюсь быть дерзким. Недавно я нашел свое старое стихотворение... Там мальчик заболел, вызвал доктора. И у меня в черновиках были такие строчки:

Врач погладил его по затылочку,
попросил написать в бутылочку.
Ведь обязаны врачи
брать анализы мочи.

Тогда, при большевиках, я даже думать не смел, что это можно вставить в беловой вариант. А теперь подумал: «Господи, но ведь это нормальнее строчки! Это ж не хулиганство!» Почему нельзя об этом сказать? Так что я, наверно, это вставлю...

— Вот вы говорили, что вам достаточно 15 минут в день по ТВ, и вы б смогли все телезрителям объяснить. А что именно?

— Я так говорил, да?

— Да.

— Довольно дерзкое заявление...

— В вашем стиле. Как вы любите.

— У меня есть две темы для ТВ. Первая — это пропаганда детской литературы. За 15 минут эфира я рассказал бы про того же Востокова, того же Перелеява... И про других трех авторов. А они бы рассказали по маленькому стихотворению или прочли бы по маленькому рассказику. Дети увидели бы их, послушали — и захотели бы с ними познакомиться поближе. А вторая тема у меня для взрослых. Я хотел бы им объяснить, что не надо засорять страну. Когда идешь в лес, бери с собой пластиковый пакет. Я говорил бы об этом каждый день! И, думаю, месяца через два люди пошли бы в леса и стали бы их чистить от мусора. Потому что у них есть совесть, и, если их призывать и постоянно напоминать... И я бы в эту передачу приглашал уважаемых людей, они говорили б то же самое. Я хожу в лес всегда с пакетом и складываю потом мусор в большую кучу.

— Вы думаете, что обладаете таким сильным даром убеждения? Что миллионы будут слушать вас и делать, что вы скажете?

— Вы знаете, лет 10—15 назад если я выступал по ТВ, то все люди, которые были поблизости, — все подходили к экрану всегда.

— И почему же они это делали?

— Может, потому, что мои выступления тогда были довольно дерзкими, и смелыми, и веселыми... Может, сейчас так не получится. Хотя какой-то дар убеждения у меня все-таки есть. А если б это у меня не получилось, на это место мог бы прийти другой человек. Более умеющий убеждать.

— Помните, Солженицын вел передачу?

— Да. Его потом сверху убрали.

— И знаете почему? Рейтинги были низкие, никто не смотрел. Мне сказали люди, которые принимали оба решения — и поставить, и убрать.

— Ну, это разные вещи. Когда на экране появляется Солженицын, на зрителя наваливается усталость от этой темы. Все понимают: сильнее того, что уже было сказано, он уже не скажет. Интеллигенты думали: да, да, я знаком с этой темой, — и не смотрели. А простые люди... Думаю, для них это тяжело. Другое дело — говорить о том, что касается всех, здесь и сейчас, во дворе, в парке и на улице. На страну как будто падают из космоса кучи мусора! Надо его убирать! Есть примеры. Например — город Раменское. Там такая красота и чистота! Европейский город! Как будто мэр города порядок навел, настроил детских площадок... Когда мы с ним по городу идем, то люди подходят и благодарят его. В Раменском поставили памятник Чебурашке, и крокодилу Гене, и Шапокляк, и герои Простоквашино стоят. Никто это не ломает! Люди просто приходят и фотографируются. Вот когда из Жуковского попадаешь в Раменское, такое впечатление будто ты из России в Финляндию переезжаешь. Значит, можно!

— Что там за публика?

— Военный городок, они там делают ракеты или самолеты, я не знаю что.

— А-а-а... Особая публика, значит. Служивые люди. Штатские разве смогут?.. Вы как-то рассказывали про книжку, там мальчик был коллекционером и работал с фарцовщиками. Вы ее хвалили: вот учебник бизнеса!

— Да, да, это Станислав Рубинчик, латышский писатель. Там мысль такая, что у любого коллекционера рано или поздно приходит любовь к бизнесу. Книга была написана сразу на русском, она при старом режиме еще вышла, в Латвии с этим попроще было. Я не знаю, почему ее не переиздают — чудеснейшая книжка! Очень своевременная.

— И вы тоже решили поучить детей бизнесу. Написали соответствующий учебник.

— Да... Когда все начало разваливаться, в начале 90-х, я создал издательство «Самовар». Минатомпром нам почему-то помогал. Я тогда задумал сделать серию веселых учебников. Сам я написал учебник по грамматике, Андрей Усачев — учебник по правам человека, Григорий Остер сделал задачник смешной. Все эти книги до сих пор работают. Я обратился к своему знакомому голландскому бизнесмену, чтоб написал учебник по предпринимательству. Так он посчитал, сколько стоит его рабочее время, сколько его он будет тратить на эту книгу, и сверхурочные, — и выставил чуть не 30 тыщ долларов. Огромная, неподъемная сумма! Особенно в те времена. Тогда я поехал в Америку, к талантливой поэтессе Инне Агрон, у которой там свой бизнес. И вот она переводила мне американские учебники бизнеса, и я по этим переводам писал книжку. Туда же вошли ее очень смешные стихи. В основу учебника легла история крокодила Гены. Он жил в бассейне, ему бросали монетки, и за десять лет он набрал 10 000 долларов и 10 000 простоквашек. И Гена начинает думать, что делать с этими деньгами. Старуха Шапокляк говорит ему: «Ты положи их в банку и зарой, где я тебе скажу». Другой говорит — надо купить недвижимость. Кто-то советует покупать картины... Гена звонит в Амстердам и спрашивает, почему у них недорогой Гоген. Ему дают цифры, которые не вмещаются в тетрадке. Поэтому крокодил начинает скупать современных художников, своих ровесников. А еще речь в книге идет об инвестициях в недвижимость, о том, что такое кредитная карта, что такое ссуда... И многие взрослые мне потом говорили, что они начинали читать детям книжку — и очень много для себя узнали интересного. Смешная книжка!

— А вы сами-то научились бизнесу в процессе написания?

— В какой-то мере, в какой-то мере... Почему я бросил издательство? Потому что если ты занимаешься издательской деятельностью, лучше забыть о написании книг. Надо выбирать авторов, художников, искать бумагу, — но в какой-то момент все это становится скучным. А когда ты перебрасываешь это на кого-то, то неизвестно, какой у тебя будет результат. Никто не может гарантировать, что твои помощники будут работать так же хорошо, как ты. Издательством я сейчас не занимаюсь, оно живет само по себе. Мой бизнес сейчас — это продвижение моих брендов. У меня их несколько. С некоторых пор мне помогает Александр Зубарев, профессиональный бизнесмен. Он удвоил мои гонорары в первый же год.

— Бренды — это дядя Фёдор...

— ...и все прочие герои Простоквашино. Печкин — отдельно; как ни странно, он пользуется очень большой популярностью, даже большей, чем все прочие герои.

— А какое этому объяснение?

— Он такой простой, дурошлепистый, свой. Поэтому мороженое «Почтальон Печкин» нравится людям больше, чем «Кот Матроскин» например.

— Печкин на Путина немного похож.

— Да, есть что-то.

— Вы же его хотели в президенты двигать.

— Кого?

— Печкина. В книге какой-то.

— Я даже не помню. Может, и было...

— Вы не помните, а люди помнят. Кому надо, те всё помнят.

— По-моему, это Венедиктов назначает разных персонажей президентами.

— Не, не, все на вас думают. Какой Венедиктов! Говорят, бренд «Простоквашино» вы продали Абрамовичу.

— Ну я продал компании «Юнимилк», за которой стоял Абрамович. Под маркой «Простоквашино» у них продажи молочной продукции утроились.

— А как получилось, что у вас дядя Фёдор был сначала взрослый, а потом стал невзрослый?

— Когда-то я рассказывал детям истории про лесника дядю Фёдора, у которого были говорящие собака и кошка. Мне хотелось традиции русские народные сохранить — чтоб кошка с собакой были говорящие. Но чтоб это было не волшебство и не дурь какая-то, а чтоб все было замотивировано. Поэтому я придумал, что эти звери жили у профессора, который изучал язык зверей. Профессор сам ему не научился, а звери у него человеческий язык переняли. Я писал отдельные истории, а потом стал собирать их вместе. Борис Заходер мне сказал: «Надо вам сделать героя мальчиком». Я подумал, подумал — и согласился. Хотя и не сразу.

— Потому что мальчик ближе детям?

— Конечно. Но полное имя у персонажа осталось. Похожая история перед этим у меня была с книжкой «Вниз по волшебной реке». Она тоже начиналась со взрослого персонажа, который путешествовал по русским сказочным местам.

Это сказка длинная
про дела старинные,
про волшебный дворец
и про меч-кладенец.
И о молодце Иване
хорошем человеке,
работавшем в аптеке.

Потом я переделал взрослого в мальчика. Сам. А с мальчиком дядей Фёдором совет дал Заходер.

— Заходер вас вообще продвигал, это же он вас вытащил на олимп.

— Да. Он помогал, тащил, обучал. Первая моя с ним серьезная работа была такая: мы писали сценарий комедии из школьной жизни (кажется, он назывался «Чернильная бомба») в Ялте, целый месяц. И тогда он сказал: «Мне больше вас учить нечему. Вы все уже умеете». Мне было лет двадцать пять тогда.

— И с тех пор вы умеете все...

— Ну это он так сказал. Это был приблизительно 1972 год.

— Скажите, а есть какие-то главные правила для человека, который пишет для детей?

— Да нет никаких правил. Просто есть люди, которые обречены на то, чтоб быть детскими писателями. Их больше ничего не интересует. Они вращаются среди детей, они ходят в детские библиотеки... Они покупают себе детские компьютерные игры и играют в них. И вот они неизвестно почему пишут повесть за повестью. А есть люди, которые хотят зарабатывать на детской литературе. Это их полное право. Есть взрослые писатели, которые думают: «А почему бы мне не написать детскую книжку?» Одни занимаются детской литературой по какой-то причине, а другие — неизвестно почему. И у тех, кто пишет неизвестно почему, получается лучше в два раза.

— А бывают случаи, когда человек пишет для детей очень успешно, а детей не любит?

— Да, были такие случаи, были... Есть такая голландская писательница Анни Шмидт. Когда ей давали премию очередную, имени Андерсена, она сказала: «Я детей терпеть не могу». В этой шутке была изрядная доля правды...

— «Тогда мы у вас забираем премию».

— Нет. Оставили. Она же заслужила!

Гнездо сионистов

— А как вы, будущий детский писатель, попали в МАИ?

— Я был хорошим математиком. И физику знал прекрасно. Брал всякие места на олимпиадах. И хотел попасть в МИФИ, потому что это — самый трудный институт. Проходили люди со всеми тройками, — сдать экзамены было невозможно трудно! А я сдал экзамены на все четверки, но меня не приняли. Думаю, все дело было в том, что у меня был привод в милицию...

— Возможно. Там же допуски, все военное и секретное... А может, вас по пятой графе не взяли, — как Михаила Фридмана, который поступал в тот же самый вуз? (Или на Физтех? Всего не упомнишь.)

— А пятая — это евреи, да? Нет, у меня такой графы не было. Мой отец в ЦК работал! Туда евреев не брали.

— Да ладно вам...

— Хотя... Я жил в доме ЦК, и там был такой Борис Ревский, помощник Берии, — чистый еврей. Вдвоем с женой за-

нимал огромную квартиру, в то время как все ютились в тесноте. Конечно, в ЦК были евреи, — но, как правило, их не брали в аппарат, где идет рабочая служба.

— А вас Тяжельников, секретарь ЦК комсомола, обвинял, что вы представляете сионистское лобби.

— Да, да, сионистское гнездо было у нас.

— Тяжельников не подумавши сказал, просто не знал, что ваш папаша служил в ЦК когда-то. Да?

— Они говорили, что еврейскую литературу можно было бы сильно поприжать, если бы ее не возглавлял русский Успенский. Такие были ситуации... Сионистское гнездо у нас было такое: Юрий Коваль, Сергей Иванов, я и Остер Гришка — он был в гнезде нашем единственный еврей...

«Если бы я был Роулинг»

— Вот Роулинг, — как она стала миллиардером? Что это — случайность, везение, маркетинговый ход? Ей кто-то дал умный совет типа тех, что вы получали от Заходера?

— Не знаю... Думаю, тут как с велосипедом. Многие его изобретают, но не патентуют. А кто-то один берет патент. Роулинг поняла, что сделала изобретение, и задешево его не продавала. Она ждала, пока ей предложат хорошие условия. К тому ж она очень грамотно пишет... И книжки очень позитивные у нее. Я несколько прочитал.

— Чтоб опыт перенять или для удовольствия?

— Сперва было интересно, а потом стало скучно, — когда я заметил, что там все повторяется... Идет только некоторое нарастание силы колдунов. И потом меня стала раздражать эта подлость: сегодня персонаж хороший, а потом оказывается, что он друг Воланда — не Воланда, а как его?

— Не знаю. Я не читал.

— И еще там начинает пахнуть автором. Когда события развиваются сами по себе, мне это нравится. А когда вдруг начинаешь понимать, что автор пишет так, потому что ему так интересней или нужнее... Тогда становится скучно. В последних книжках это появляется.

— Но детям, в принципе, можно давать Роулинг?

— Можно, можно. Там есть уважение к друзьям, уважение к семье, к знаниям, — все это есть. Что надо. И уважение к коллективу — даже такие ценности абсолютно большевицкие там есть.

— А вот если бы у вас был миллиард, как у Роулинг, как бы вы им распорядились? Как крокодил Гена?

— Я созвал бы думающих людей и стал бы советовать-ся. Но, думаю, я бы обязательно сделал у нас что-то вроде Диснейленда — по нашим простоквашинским делам. А что, в Швеции я видел музей Астрид Линдгрэн, где все ее героини представлены. Это очень здорово, и наши героини не хуже. Можем сделать поляну сказок, Лукоморье, где будут чисто русские героини и русские аттракционы. А еще я бы студию немедленно запустил.

— Татарского?

— Его студия работает. Можно было бы создать новую, созвать молодежь и хорошо платить. Люди так начнут работать! Только деньги нужны с запасом с хорошим. Как издательство «Самовар» у меня работало? Почему люди несли мне первому свои лучшие тексты? Потому что я платил больше всех! Я первым делом давал аванс каждому! 50 процентов! Я раздал все деньги — но они потом вернулись, когда книжки вышли. Издательство сохранилось.

Бестолковый учитель?

— Вы часто говорите об уважении к учителям — что, вообще ко всем? Каким бы учитель не был? Даже если бестолковый?

— Да, даже если он плохой. Есть такое понятие — уважение к дающему знание. Даже если он дает плохие знания и не умеет этого делать, все равно не надо говорить ребенку, что математик идиот, — это очень вредно.

— Но учителей-то хороших мало.

— Надо относиться к дающему знание не только как к учителю, а как к книге, которая дает знание, как к товарищу по партии. Тот, кто дает знание, должен быть уважаем.

— Ну что же... Возьму это на вооружение. Видя иной раз бестолковость учителей, я сам детям на это указывал. Лучше молчать?..

— Или говорить что-то вроде: «Конечно, Анна Степановна не права, когда говорит, что дважды два — это восемь. Но она училась в институте. Она что-то знает. Какие-то знания она может дать...»

— Я вспомнил, как в молодости я ходил в общежитие Пединститута решать проблемы досуга. И какие ж я там видел ужасающие картины! Какие там встречались мне лахудры! Как они себя вели! Я думал — боже мой, через годик-другой эти девки разъедутся по школам и будут там пальцы кидать: «Здравствуйте, дети! Меня зовут Мариванна!»

— Я думаю, что школа их потом приведет в чувство. Она формирует учителя больше, чем институт! Все-таки школы у нас хорошие.

— Значит, школа их отрихтует... Вы меня утешили. Все дело — в хороших учителях?

— Один хороший учитель ничего не сделает. Нужны единомышленники. Есть хороший коллектив — все будет хорошо. Вот у меня есть подшефный интернат, это в деревне Ляхово, там работают замечательные педагоги, просто фантастические. Туда запикивают хулиганов, а через год они становятся другими: книги начинают читать, не оторвешь. Педагоги так дают образование, что дети в 13 лет школу заканчивают. Так сейчас решили это дело притормозить, год пропустить...

Папа римский и Саша Татарский

— А правда, что папа римский советовал смотреть советские мультфильмы?

— Это мне сказал Роман Качанов когда-то. Это про того папу, который был до Павла. Он сказал, что советские мультфильмы несут христианские ценности. И это действительно так! Какой наш фильм ни возьми — он очень добрый. А Саша Татарский, — какие у него были мультфильмы? Он хулиган и циник был иногда, но какие он чистые фильмы делал! Надо его студию поднимать на ноги, пока коллектив сохранился...

Чебурашка дома и в Японии

— А вот олимпийский Мишка — он ведь сильно похож на Чебурашку?

— Уши большие и глаза вытарашенные — вот и все сходство.

— А мне кажется, они очень похожи.

— Нет, нет. Тем более книжка вышла в 1965-м, а Мишка появился в 1980-м. Чебурашка все-таки старше.

— Я как раз и имею в виду, что Мишка у Чебурашки кое-что позаимствовал... Скажите, а хвост есть у вашего персонажа?

— Есть. Маленький. Пупырышек такой.

— А прощенье, какого пола Чебурашка?

— Мужик.

— А будет он жениться, плодиться?

— Ну такой проблемы я перед ним не ставил... Предлагали мне написать про то, как Чебурашка ищет своих родственников...

— На сайте «Одноклассники.ру»?

— Да, кстати, хорошая мысль. Надо войти туда на сайт и зарегистрироваться — «Чебурашка ищет друзей и родственников».

— С ним какие-то изменения происходят — или это застывший персонаж?

— Ну что-то с ним случается. Есть история про то, как Чебурашке надоело жить в телефонной будке, и его друзья устроили демонстрацию перед мэрией — чтоб дали квартиру. Приехал чиновник, посмотрел и говорит — действительно, у вас маленькая площадь. Но если мы положим будку на бок, у вас площадь сразу утроится!

— Это вы про оба нацпроекта в одном флаконе — каждому дать наноквартиру?

— Они добились своего, и Чебурашка таки получил квартиру.

— Стоп, а дом же они строили, для друзей! У него ж должна уже быть квартира? Что он ее, продал?

— Нет, не так. Тот дом, который построили друзья, они отдали под детский сад, и в нем Чебурашка работает игрушкой.

— А! Дом перевели из жилого фонда в нежилой! Понял... Я слышал, японцы активно работают с Чебурашкой. Неужели они его выше оценили, чем русские?

— Значительно выше. Он хорошо лег на японский характер! Японцы — нежные такие люди...

— Особенно нежные у них самураи.

— Да... Сейчас японцы готовят выставку о происхождении Чебурашки, они попросили у меня вещи, имеющие отношение к созданию персонажа — рисунки, черновики. Они делают очень обаятельные игрушки: всякие фартуки, коврики, подушки, часы — все что хочешь. А еще они сделали Чебурашку, у которого глазки закрываются.

— А там дети хоть понимают, что это русская тема?

— Конечно! Они даже слово «Чебурашка» пишут на русском языке!

— Я слышал что это все от слова «чебурахнуться»? Вы его где слышали?

— Я однажды услышал его от своего приятеля. Редкое слово, редкое... Я услышал его — и приспособил к литературе. Если б я не сказал, что оно есть в словаре Даля*, все б думали что это я сам придумал...

* Из словаря Даля:

Чебурахать, чебурахнуть что, чебурыхнуть, сиб. бросить, кинуть, опрокинуть с громом, грохнуть, шлепнуть; чебурахнуть или чебурахнуться, упасть, грянуться, грохнутья, растянуться.

Чебурах (м.), точка чебураха, перечап, точка равновесия, опрокидная точка. Вещь на чебурахе, лежит или стоит на перевесе, чуть тронь, так опрокинется. Ловушки на крыс, на тетеревов делаются на чебурахе. Фигляр ходит по канату на чебурахе.

Чебурак (м., волжск.), чебурашка (ж.), чебурок или чебурка, чабурок, кляпыш, шашка бурлацкой лямки, привешенная на хвосте; она захлестывается для тяги за подачу (на судне) или за бечеву (на берегу).

Чебурашка (обл.), ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги. Зачебурить чебурок, захлестнуть за бечеву.

Чебуткать ребенка — качать на своей ноге (кур.).

Индиго

— А что дети индиго, про которых сейчас столько говорят?

— Я не знаю, массовое ли это явление. Но могу сказать, что вокруг меня есть несколько таких детей. Они очень быстро соображают, мгновенно осваиваются в любой ситуации, они чрезвычайно эгоистичны. Умеют подчинять себе окружающих — даже родителей.

— Это все вроде же хорошо? По теперешним временам?

— Трудно сказать, во что это выльется... Если этого ребенка как в пазл в какой-то вставить в коллектив, в среду, где он не будет выделяться, не будет считать себя царем человечества, — одно дело. А если он будет считать себя сильно умным, то, скорей всего, поглупеет годам к пятнадцати и вся его индигость уйдет. Это хрупкий материал такой...

— Это вы сейчас про внуков своих говорите?

— Про внуков и про других ребят, с которыми сталкиваюсь. В каждом классе таких сейчас по три-четыре человека... Они очень моторные, мешают другим заниматься. Хотя, может, это явление всегда было? Просто все было иначе: меня двор шлифовал, а теперь внуки сами взрослых шлифуют. Двор учил не преступать законов товарищества, не жадничать, я в итоге стал более или менее управляемым.

— А теперь двора-то нету.

— Нету...

— Спасибо Юрию Михалычу за точечную застройку!

— Ура!

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕТР АВЕН
Мечтал стать писателем, но...

Банкир Петр Авен («Альфа-Банк») известен не только как спец по экономике и министр в гайдаровском правительстве — но и как человек, с детства мечтавший стать писателем.

Переквалифицироваться в литераторы он планировал, когда ему стукнет пятьдесят.

Deadline давно прошел. А воз и ныне, как говорится, там.

Человек, который может выполнить, пожалуй, любой свой каприз, — не смог реализовать главную мечту своей жизни.

Отчего так получилось? И на что тогда надеяться простым смертным? Вообще богатые над золотом чахнут или радуются жизни не хуже нашего?

Литература и я

— Петр! Хочу с тобой поговорить как с писателем.

— Я-то как в писатели попал?

— Что значит — как? Я прекрасно помню твою историю про то, как твой отец тебя не пустил на филфак, а заставил получить «нормальную мужскую профессию» — экономиста. И ты всегда говорил, раньше, что как только тебе стукнет полтинник, ты бросишь банк и уйдешь в писатели. Я, честно говоря, в это простодушно верил, какое-то время. А теперь тебе пятьдесят четыре, и ты всё еще банкир...

— Ну... Я не писатель хотя бы потому, что не написал в жизни ни одной художественной вещи.

— Не написал — но ведь хотел бы? Мне кажется необычайно интересной эта тема: человек всю жизнь мечтал о чем-то, а когда это стало ему доступным, он вдруг отказался от своей мечты.

— Стоп, стоп. Я хотел заниматься публицистикой и, возможно, литературной критикой. Я не хотел писать художественную прозу.

— Как — не хотел? Не путай меня.

— У меня было ощущение, что я сочинить сюжет интересный не могу. Другое дело — публицистика.

— Ну это уже детали. Не очень важные. Особенно теперь, когда и fiction, и non-fiction соединились в один литературный поток. «Я помню чудное мгновение — это fiction или non-fiction?» Хороший вопрос?

— Да.

— Поэзия как высшая форма литературы — она не fiction. Потому что как же придумать чувства? Хорошая поэзия имеет дело только с настоящими чувствами.

— Поэзию надо слушать — слушать, что диктует Бог. А не сочинять.

— И всё-таки. Меня таки волнует твое старое интервью мне же про то, что ты хотел уйти в писатели. Ты такой не один среди бизнесменов. Вот и твой коллега Кох с юных лет хотел стать писателем... Считая что эта профессия — единственно достойная для мужчины.

— Не единственная мужская, но одна из очень достойных профессий. В жизни мало чем есть смысл заниматься, и литература — одно из таких занятий. Так же, как и поэзия. Вот мне твой жанр, в котором ты пишешь, очень близок. Я бы занимался чем-то похожим — если б занимался. А еще мне очень близок из современных авторов, по жанру и вообще, — я с ним дружу, правда, — Витя Ерофеев. Витина книжка «Хороший Сталин» — художественная проза. С очень сильными элементами публицистики. С фантазией. Это мне близко. Это то, что я люблю читать.

— А что-нибудь типа «Он подошел к окну и задумчиво посмотрел вдаль», — сегодня такое, наверно, не катит.

— Это мне никогда не было близко. Такое у меня не получалось. И фантастику я не люблю. Меня в ней всегда очень смущала произвольность выбора. Я никогда не увлекался фантастикой, я не мог понять — почему автор именно это сочинил, именно это придумал? Эта произвольность,

это отсутствие системы — такие вещи меня всегда пугали, фэнтези я не читаю. Единственное фэнтези, которое я по-настоящему люблю, — это «Мастер и Маргарита». И Гоголь, конечно...

— Про «Мастера...» Никита Михалков сказал, что этого уровня достигла книжка «Околоноля», приписываемая Суркову. Ты читал эту книжку?

— Слава Сурков — умный человек. А книжку умного человека, которого ты знаешь лично, интересно читать.

— У тебя нет сомнений в авторстве?

— Мне кажется, это Сурков. Мне кажется, там его мироощущение ярко выражено. Мне было любопытно читать, потому что мне любопытен Слава. Мы долго работали вместе, давно знакомы.

— Ну да, он же у вас работал, в «Альфе». Какого человека воспитали!

— Не, он сам себя воспитал.

Дебаты с Прилепиным

— Если говорить о твоём вмешательстве в литературу, которое имеет место сегодня, то это, конечно, твоя дискуссия с Прилепиным. Когда ты в ответ на его критику тебя сказал, что ты мог бы свою позицию еще сильнее разругать, чем даже он. Мне иногда кажется, что он отчасти косит под революционера, а жизнь его вполне буржуазна — трое детей, квартира, дача, прислуга, шофер...

— Я уверен, что косит. Хотя я его не видел, незнаком.

— Я с ним познакомился. Со мной такое бывает — найду хорошего автора и сразу пытаюсь с ним познакомиться. Мне почему-то приятно знать лично тех, кто хорошо пишет. Очень интересно выпивать с такими людьми и говорить о жизни.

— Повторяешь Сэлинджера. А Прилепин, думаю, нормальный парень. Я по ТВ наблюдал его — нормальный, разумный... Хотя я не знаю, во что он верит, и верит ли? В любом случае, то, что он защищает публично, мне, как ты понял, не близко.

— Я слышал, что ты профинансировал какую-то проверку, и она установила, что Прилепин якобы не воевал в Чечне и вообще он не мент.

— Не, я этим не занимался. Абсолютно.

— А, это просто литературная легенда. Что ж, очень красивая! Дискуссия у вас получилась очень правильная, потому что она привлекла внимание самых разных людей. Причем кто прав, кто виноват — не так важно.

— Были десятки тысяч откликов, из них большинство меня уничтожающих. У тебя бывает такое?

— А как же, клеймят. «Убирайся к себе на Украину и там клевети! Хватит плевать на Россию!»

— Да?

— Ну. «Если вы так ненавидите эту страну, зачем вы в ней живете?» — очень часто так откликаются. Многие думают, что если человек не лижет сапоги начальству и не гавкает, как цепная собака, на всех, у кого есть мозг, то он не любит родину. На меня наезжают — а на тебя и бог велел. Однако ближе к телу. Повторяю, меня взволновала эта твоя история, что на шестом десятке ты все бросишь и пойдешь в писатели. И напишешь книгу.

— Вот я и начал. Дискуссией с Прилепиным.

— Вот оно! Вот оно что!

— Но это не значит, что я все брошу и буду писать книгу. Конечно, я буду продолжать заниматься экономикой, в том числе субсидируя экономические исследования. К тому же те отклики, которые я прочитал в интернете, — безусловно, отбивают всякое желание писать дальше.

— А ты их не читай. Я вот перестал. Я еще не всего Льва Толстого прочел — так что ж я буду читать какую-то дрисню анонимную? Все эти *онанимки*? Тем более что я думаю: явно чекисты заставляют своих студентов, и вообще стукачей, и детей сидеть в интернете и нападать на нормальных ребят.

— Это правда. Я в этом уверен.

— Ну да, вся эта простодушность и предсказуемость их наездов, и никогда нет возражений по существу, а только «сам дурак».

— Я думаю, что для этого специальная служба сделана.

— И думаю, Сурков приказал во всех СМИ давать эти отклики. Но надо, по крайней мере, публиковать отдельно отклики нормальные, подписанные, по существу, и отдельно — анонимки.

— Сам уровень дискуссии чудовищен. Злость, бьющая через край... Чего с ними разговаривать?

— А ты сам писал когда-нибудь отклики на статьи в СМИ?

— Ну вот написал про Прилепина...

— Нет, я имею в виду отклики типа «тексты ваши говно, а сами вы пидорасы».

— Нет.

— Я думаю, что их пишут бывшие пациенты Бильжо. Так вот, я тебя призываю не читать отклики и...

— ...И писать что-то дальше?

— Ну! Я, кстати, очень рад, что ты ввязался в дискуссию с Прилепиным...

— Почему?

— Потому что мне Прилепин кажется настоящим. И симпатичным. Ты его выбрал — такого — интуитивно, не зная его.

— Мне просто Шалва Бреус дал его книжку, она совершенно случайно попала в руки. Потом мне звонит Колесников и говорит: «Вы же уже что-то писали, вот напишите и мне статью». Я говорю, что не знаю, про что писать. Вот у меня книжка «Санька» лежит. «Ну вот и напишите про «Саньку»». Это совершенно случайно получилось...

— Он вроде нормальный парень.

— Нам с ним надо бы встретиться.

— Конечно.

Левая идея

— Но главная проблема Прилепина вот в чем: он либо действительно не знает, как все было устроено в СССР, — либо обманывает молодых читателей. Но в любом случае он не имеет элементарной экономической культуры. Ему кажется, что либерализм — это шутка. Что либералы — сумас-

шедшие. Он реально не знает ничего. Он хороший парень, вероятно честный, но у него нет минимального экономического образования. То, что он пишет про СССР, — это чистый бред. Как и у Лимонова. Это смешно слушать.

— Уж Лимонов-то знает все про СССР, он постарше нас с тобой.

— А все, что говорит про СССР Прилепин, — это ложь. Все, что он говорит про либерализм, — это абсолютная ложь. То, что они с Лимоновым пишут про наше время, — тоже неправда. Упрощенчество и неправда. Он понимает это или не понимает? Я не знаю.

— Притом что он нам годится в сыновья.

— Не уверен.

— Тебе уж точно. Ты мог в 17 лет как-то размножиться уже.

— Я с Прилепиным с удовольствием побеседую, но вся эта левая идея — огромная ложь. И мне это неинтересно обсуждать.

— Я думаю, они кивают на Швецию, где огромные налоги и все живут приблизительно одинаково. И там зарплата уборщицы отличается от зарплаты президента банка ну в два раза или в три, а не в миллион.

— Там, в отличие от России, живут шведы. Чтобы такая экономика работала, надо иметь шведскую историю и быть шведом. Мы не шведы. Меня Лимонов звал выступать перед нацболами. Я туда не пошел, потому что слабо верю в возможность нормальной дискуссии с этими ребятами. Атмосфера атаки, изначального ощущения, что они всё знают, — идти туда выступать бессмысленно. Кто из них будет меня слушать? Я экономикой занимаюсь 35 лет. Я много знаю и про Запад, и про экономику, и про реформы. Ну давайте о чем-то содержательном поговорим! А они про свое: бить богатых, отбирать ценности у буржуинов... Это неинтересно.

— Лимонов, конечно, поскучнеей Прилепина будет...

— Лимонов — яркий талантливый человек, большой писатель. Его замечательная книга «Это я, Эдичка» — одна из лучших книг русской литературы XX века. А насчет полити-

ки... Он либо врет, либо не понимает. Вся его идиотическая программа — она ужасная. Безграмотная совсем.

— Вся его политика — это, как мне кажется, пиар его как писателя.

— А ребята идут в тюрьму. Ну как это? Я о цене. Это ужасно. За что? За какую Россию? Ради чего они сидят? «Catcher in the rye» — надо не давать детям падать в пропасть, а он — дает. И пихает еще.

— Я вычитал у него такой message: парень в провинции никогда не сможет заработать на квартиру.

— Почему? Это полный бред.

— У такого парня небольшой выбор: в банду, в менты, в чиновники или в политику.

— Бред.

— Что значит — бред? Ведь нету же в стране социального лифта.

— Лифта действительно мало. Но идти в банду совершенно необязательно. Проблема есть с лифтом, — но идти в нацболы!..

— Вот говорят, что если бы сейчас из деревни приехал новый Шукшин, то он не поступил во ВГИК и не смог бы его закончить, по деньгам.

— Это неправда.

— Гм...

Бессмертие

— Давай лучше вернемся к тебе. Тебя с детства тянуло к литературе. Ты на даче у какого-то партийного начальника читал вслух Окуджаву, «Настоящих людей очень мало, та-та-та, на Россию одна моя мама...» И дядя тебя одернул: «Это неправильные стихи, мальчик!» Меня интересует эта метаморфоза — клерк проснулся утром и осознал, что он — жук.

— Это один из моих любимых рассказов Кафки.

— И ты у меня вот такой жук. Ты у меня с этим ассоциируешься.

— С жуком?

— Ну конечно. Мальчик ходил в банк, ходил, ходил, и все думали, что он так и на пенсию уйдет из банка. Ан нет! Человек переродился. Стал другим. Сюжет величайшей красоты.

— Сюжет хороший, да... Но про себя могу сказать, что я, в отличие от многих писателей, очень живу во времени. В своем времени. Некоторые писатели волнуются — а что будут думать о них после их смерти? Мне это непонятно. Что будет потом — мне не очень интересно, потому что этого «потом», скорей всего, не будет. Мы не знаем ни одного писателя XVII века. Мы знаем из русской литературы прошлых веков Пушкина, Толстого, Достоевского. Ну и Чехова.

— А Гоголя?

— Извини, и Гоголя.

— А я б Гоголя вычеркнул.

— Я Гоголя обожаю, но это неважно. Через 200 лет никого уж не помнят. А через 500 лет кто остается? Ну Данте. Так что идея остаться в поколениях мне кажется идиотской.

— Данте был весь в политике, что твой Лимонов.

— Идея быть великим после смерти не очень меня занимает. Поэтому мне всегда хотелось писать то, что актуально сегодня. И я бы активно занимался публицистикой и даже из банка бы ушел — если был бы какой-то на это спрос. Но сегодня в обществе нет спроса на публицистику. По разным причинам, объективным и субъективным. Сегодня публицистику никто не читает, она никому не интересна.

— Но тебя-то читают!

— Да, меня читают...

— Вот!

— А если бы я написал совсем резко, то еще больше бы читали. Ну и потом, я же «олигарх», интересно, что эти гады богатые думают... Может, это время настанет — когда в этом будет смысл... Когда статьи будут реально влиять на общественную жизнь. Не просто скандал чтобы был (как в случае с Прилепиным) — а влияние! Но человек с моим статусом и моей биографией не может в нашей стране быть моральным авторитетом. Вот почему я не стал писателем.

Я вот написал очень важный текст двадцать лет назад — так никто ничего не помнит! Я написал летом 1991 года о ре-

формах, о том, что нам надо делать в экономике, о том, что делать нам, команде Гайдара, если мы войдем в правительство. Статья была опубликована, там все было написано: про рубль конвертируемый, приватизацию и так далее. Тогда ее читали, всем было интересно. А сейчас даже никто не помнит, что была такая статья! Ни один человек не помнит! А как это было важно тогда! Вот сейчас публицистику о том, как надо жить, о коррупции, — писать бессмысленно. Спроса нет! Но он появится. Достаточно быстро: через год-два. На серьезную публицистику и серьезные идеи. А сегодня его нет... Притом что у нас много талантливых людей. Мне, скажем, очень нравится, как пишет мой одношкольник Леня Радзиховский или Дмитрий Орешкин. Блестящие, умные, глубокие — и еще пишущие хорошо. А кто их читает, кроме меня и еще десятка читателей-писателей? И вот у меня дилемма: встать рядом с ними, и может, у меня получится не хуже, — или остаться в банке и заниматься тем, чем мне все-таки интересно заниматься? Ну хорошо, допустим, я ушел из банка и начинаю заниматься публицистикой.

— Вот, вот! Подошли к самому главному.

— Подошли. Но я чувствую, что это сегодня неактуально.

— Но из банка ты можешь уйти, есть на кого лавку оставить?

— Да ну о чем ты говоришь! Я тут давно суперактивной роли не играю. Из банка мне уйти очень легко. Только смысла нет...

— Ну почему? Ты бы мог медитировать, мог бы поехать в Ясную Поляну. Чтоб скандалить с женой, как Лев Николаевич, и чтоб она тебя заставляла переписывать текст, как ей надо.

— Скучно это.

— Чем ходить в банк каждый день, ты мог бы уехать на месяцок куда-то в ашрам или в монастырь, на гору взойти, как Моисей, и там поститься сорок дней. Может, тебе бы открылись какие-то каналы связи с космосом.

— Может быть. Но я как-то в это не верю.

— Ты, значит, как-то сильно застрял в этой нашей действительности.

— Я к этому отношусь совершенно спокойно. Я не жертвую всем своим временем ради банка. Я собираю живопись и трачу на это много времени. Я читаю. Я много езжу. Я свободен. Я сейчас делаю именно то, что мне интересно, и не занимаюсь тем, что мне скучно. Кстати, банком заниматься — интересно, это очень большая жизнь. Ты видишь все, что происходит вокруг тебя в экономике и политике, ты влияешь на это — это интересно. Согласись, человек всегда стремится увеличить свое влияние. Для этого есть разные способы. Тексты писать, в банке работать. Мне кажется, на уровне подсознания каждый из нас всегда стремится выбрать ту сферу, где он наиболее влиятелен. Сегодня можно писать о пути России или там о коррупции — но ты будешь невлиятелен. Вот есть блестящий публицист и мой товарищ Егор Гайдар. Кто сегодня слышит про Гайдара? Писать статьи — это с точки зрения влияния на жизнь сейчас неактуально. А банк — влияет на жизнь. Конечно, думая о том, чем мне заниматься, я интуитивно выбираю сферу, где я более влиятелен.

— Так ты, значит, хотел быть писателем в те времена, когда...

— ...писатели были властителями дум. Конечно!

— Ну да, сейчас трудно так влиять на умы как это делал, к примеру, Трифонов. Сейчас слишком много писателей! Во времена Пушкина можно было в журнале тиснуть стишок — один! — и страшно прославиться. Мало было сочинителей.

— Да.

— Один стих — и вся читающая Россия не спит ночами, и Белинский с Гоголем бегут ночью поздравлять молодое дарование... В стране было — условно — десять поэтов и триста читателей.

— Вот я недавно беседовал с Ирой Прохоровой, это Мишина сестра, замечательная совершенно женщина. О поэзии. А я поэзией занимался всерьез. Критику читал, много стихов знал и знаю. У меня есть ощущение, что я, прочитав одно стихотворение, могу сказать: есть у человека дар или нет. (Хотя, может, это иллюзия.) Я говорю: Ира, я сейчас читаю всех подряд — и никого не вижу. Последний большой, на мой взгляд, поэт — это Нина Искренко. Толком ее стихов

никто не знает, но все про нее слышали. Я ее читал и даже стихи перепечатывал для себя на машинке. Но она умерла. И теперь никого нет. Нету поэтов. Тогда Ира притащила десять книжек разных современных поэтов, которых она считает серьезными. И вот я поехал в Лондон, там у меня семья живет...

— Так оно, может, и лучше, по нынешним-то временам.

— Это связано только с образованием детей. В Англии мне делать нечего, я там сижу и читаю, сижу и читаю... Ну и пишу иногда. Про Прилепина я там писал. И вот интересно, как поэты в предисловиях про себя пишут! «Я вхожу в 400 лучших поэтов России», — пишет один. У них нет претензии быть великими. А по мне, быть одним из четырехсот поэтов, удобрять собой культурный слой — это не может быть целью жизни. Писать стихи — этим стоит заниматься, если есть большой дар. А стать «одним из» — очень провинциальное желание. Мы вообще становимся провинциальной страной.

— Становимся? А разве Россия не всегда была провинциальной?

— Не всегда. Были же Толстой и Достоевский — а они не провинциальны. И Чехов. Я думаю, что Чехов после Шекспира второй по числу постановок драматург в истории.

— А вот Кох, кстати, говорит, что Гринберг — это уровень Чехова. Таким образом, Гринберг идет за Шекспиром?

— Это ужас. Это все равно что сказать: «Околоноля» — уровень «Мастера и Маргариты». Это какой-то бред. Чехов — гений, абсолютный нормальный гений. Можно поставить любую пьесу Чехова, полностью поменяв авторский вывод. Феноменальная амбивалентность. Быть самым великим после смерти — точно так же, как и быть самым богатым на кладбище — мне не хочется. Мне хочется делать то, что интересно сейчас. В жизнь после смерти я, увы, не верю. Я считаю, что каждый биологический вид — муравьи, птицы, люди — имеют свои, данные им возможности. И вот в рамках этих возможностей надо прожить жизнь как можно более полно и счастливо. Вот представь, что муравей думает о бессмертии, что он хочет остаться на века, — при-

том что там ходят крестьяне и охотники, которые то и дело этот муравейник уничтожают. Такой муравей мне бы показался идиотом. А другой муравей прожил нормальную муравьиную жизнь. Он работал как мог, воевал и еще жил с муравьями. Мне кажется, это очень важно и в литературе. Как писателя надо оценивать по законам его жанра, так и человека следует оценивать по человеческим возможностям, в рамках человеческой данности. Нам не дано бессмертие. Мы живем — а потом исчезнем. Мы точно не будем жить всегда. Мы не читаем никого из тех, кто был популярен сто лет назад, — за несколькими исключениями. Надо это хорошо понимать. Бессмертия не существует. И вечной памяти не существует. Надо делать все, что ты можешь сейчас. Получать удовольствие — сейчас, быть честным — сейчас, потому что есть нравственный закон внутри, вести себя прилично — сейчас. Вообще надо пытаться делать то, что ты можешь. А бессмертия нет. Мечтать о бессмертии — занятие идиотское совершенно.

— Как же так, столько религий с загробной жизнью, а ты выбрал самую невыигрышную концепцию.

— Я верю в то, что есть нравственный закон внутри человека. Это врожденное качество. Я думаю, что это природное качество не только человека, но и всех живых существ выше таракана. Но я не верю ни в загробную жизнь, ни в бессмертие.

— Наверно, это главная причина того, что ты не бросаешь банк и не уходишь в писательство. Писатель, не верящий в бессмертие, — он как-то не канает.

— Да, писатели всегда боролись за бессмертие, а это большая глупость. Вот я намеренно прочитал в ЖЗЛ Алексея Варламова о Булгакове. Булгаков, Катаев, Олеша — только об этом и говорили... Все сравнивали минусы сегодняшней бедности с плюсами завтрашнего бессмертия. И что?.. Мне так кажется, что надо быть честным (в том числе писателем) вовсе не для того, чтобы оказаться бессмертным. Честным, как известно, быть выгодно. А их всё равно через 300 лет не будет помнить никто.

— Ты так думаешь?

— Конечно. Мы уже сегодня читаем только Пушкина и Гоголя, ну ладно, и Булгакова. А Катаева и Олешу — уже нет.

— А тебя будут помнить? Как человека, который двигал экономическую науку?

— Конечно нет. Конечно нет! И вообще жить для того, чтоб тебя помнили, — это идиотизм. Идея остаться бессмертным — идиотизм. Потому что шансов на это очень мало. Тем более что, возможно, человечество кончится. Так что это вообще фикция, на мой взгляд.

— Так, значит, по-твоему, надо брать всё от жизни здесь?

— Да. Незачем мне уходить из банка. Ну вот я встал с утра — и не иду в банк. Что делать? Писать беллетристику, которую никто не читает?

— Забавно: я много раз замечал, что люди с большими деньгами начинают верить в свое бессмертие. В самом деле: если есть бабки, ну как человек может умереть, будто он бомж? Немало пишут про инвестиции олигархов в долголетие. Ну вот протянут до ста лет, а там еще что-то изобретут, и можно до двухсот жить, а после и вовсе будет бессмертие, за большие бабки конечно. А в такое бессмертие ты веришь?

— Мы не успеем. Это вообще бред. Идея о том, что у богатых больше возможностей для долголетия, — эта идея бредовая. Вот эти ребята которые инвестируют в вечность, — они первые умрут.

— Ты это по правде или ради политкорректности?

— По правде. Меня бессмертие ни с какой стороны не волнует. Ни с той, ни с этой.

— Про что-то похожее — но с другой стороны — мне говорил писатель Кабаков.

— Кабаков — это лучшая русская проза последних десяти лет. Если не двадцати.

— Так вот он говорил приблизительно о том же, о чем ты. Он бы предпочел, чтоб его считали хорошим парнем и не очень великим писателем — чем говном, но классиком.

— Я с этим согласен.

Кризис. После — перестройка

— Помнишь, кто это вас ругал — Путин или Медведев? Я, говорит, вам дал денег, чтоб вы предприятиям надавали кредитов, а вы вместо этого на них накупили валюты, вы вообще не правы!

— Было много всяких историй.

— Но вы отмазались?

— Да нормально все.

— Когда кризис, кстати, кончится?

— Я много раз говорил, что сперва он должен кончиться на Западе — через год-два, а уж потом у нас, это еще пара лет. Никак не раньше.

— Мы уже будем к пенсии подходить.

— Я, практически, да.

— Вот тут-то, когда кризис кончится и ты уйдешь на пенсию, — тут-то ты и станешь писателем.

— Если будет общественный спрос.

— Будет! Ты ж говорил, что будет новая перестройка! А в перестройку люди рвут друг у друга из рук журналы...

— Да, вот тогда было мое время. Оно прошло.

— То, что ты не можешь стать властителем дум в литературе, — это одна история. Но ты же можешь стать основателем нового течения в литературе, нового журнала, который перевернет мир или хотя бы Россию. Ты можешь построить, — это я в порядке бреда даю креатив, — на Капри писательский поселок не хуже Переделкина и вызывать туда властителей дум.

— Нет, это все должно быть очень естественно. Мне кажется, что вот сейчас появляется новое поколение экономистов. И я их пытаюсь поддерживать.

— Кого читать из молодых экономистов? Посоветуй.

— Из молодых очень ясно и умно пишет Сергей Гуриев. Еще есть первый русскоязычный профессор макроэкономики в Йеле — Олег Цивинский. Есть и другие, хотя их очень мало... Почему мне это интересно? Потому что рано или поздно будут проведены новые фундаментальные экономические реформы.

— Как скоро? И главное — где? В какой стране?

— Через несколько лет, мы доживем. А перед реформой растёт спрос на науку. Я поэтому финансирую разные экономические исследования, — ну не только я. И сам в этом хочу участвовать, это интересно! Экономика — это моя профессия, моя профессия просто! А вот по поводу литературы, которая для меня хобби, а не профессия, я могу сказать: спроса на нее сегодня нет.

Сон про авиакатастрофу

— Мне вот приснился сон про то, что я лечу в самолете — и разбиваюсь. Очень конкретно. И я пережил минут пять ужасных — готовился к тому, что самолет упадет, меня начало колбасить... Страшно было, но я долго не просыпался. Мне 54 года, я прожил большую жизнь. Я сделал рубль конвертируемым (фактически российский рубль — частично конвертируемая валюта. — И. С.). Никто этого не помнит и не будет помнить, но сделал это — я. Вместе со своими друзьями и коллегами. И я сделал свободной внешнюю торговлю — своей рукой написал указ Ельцина и провел его в жизнь. А раньше — наука, потом бизнес — лучший частный банк в стране, в становлении которого я участвовал. Дети. Жена, родители, друзья, которым я, надеюсь, доставлял приятные минуты... Я себя реализовал. Я правильный муравей. И вот я разбиваюсь на самолете — ну да... Но я сделал всё, что мог!

— Это ты во сне об этом думаешь?

— Да, думаю или, точнее, сам себя уговариваю. Я думаю — разобьюсь, ну и хер с ним. Нормально, что делать... Главное, чтоб быстро.

— И потом что?

— Проснулся.

— А, ну да, действительно.

— Идея сделать что-то бессмертное — идиотична. Проснулся я потный, нервный, — все-таки неприятно разбиваться в самолете.

Россия: единая? и неделимая?

— Когда ты разбивался, тебе, наверно, хотелось еще что-то сделать в жизни — что же?

— Мне хотелось бы — конечно! — принять участие в новой трансформации России. То, что у нас сейчас происходит, мне не нравится. Это мне не очень симпатично.

— А есть мнение, что власть в России уже не сменится.

— Мне все-таки хотелось бы верить, что достаточно скоро Россия начнет превращаться в свободную демократическую страну.

— Ты что-то знаешь!

— Я уверен, что мы живем накануне большой трансформации. Географической, экономической, политической...

— Географической — это ты о том, что Россия развалится? У меня тоже нет ощущения, что эти ребята смогут удержать страну от развала.

— Ну что-то, может, отвалится. Сейчас есть большая литература о том, как распадаются империи. Так вот ни одна империя не распалась за один раз. Это шло этапами. Куски отпадали один за другим.

— Мультиоргазм такой.

— Совершенно верно. В России этот процесс еще не закончился. Безусловно не кончился! Россия и дальше, возможно, будет сжиматься.

— Я, кстати, раньше об этом думал с паникой, а теперь — без.

— Вообще Россия — это не географическое понятие, это не вполне география. Я не очень понимаю, почему Тува считается Россией. Это мне не ясно.

— Или Южная Осетия.

— Или Южная Осетия. А с Россией все будет нормально. Россия — какая-то — будет. Ее ждет большая трансформация. Она станет богаче, а коррупции будет меньше. Это везде происходило, иначе не бывает. Вот я бы с Прилепиным на эту тему побеседовал. Все его представления о том, как это

должно происходить, являются глубоко ложными. Это опасная ложь, вся левая идея. Ужас.

— С Прилепиным встретиться очень легко. У тебя же банк возле трех вокзалов, а он как раз сюда приезжает из дома, из Нижнего. А я живу в пяти минутах пешком от твоего банка. Мы легко можем встретиться.

Роман о буржуинах

— Возвращаясь к тебе в связи с темой писательства. Наш с тобой коллега Алик (Кох), как мне кажется, не прав в том, что не пишет большого романа о жителях и нравах Рублевки. Я его к этому призываю, а он не пишет.

— Мне это неинтересно.

— Но ведь это востребовано! Такие книги замечательно продаются.

— «Богатый класс — твари, сволочи и гады», — думают люди. То, что я напишу — этому никто не поверит. Ну и зачем тогда писать?

— Чтоб сказать правду! А что все пишут, как на Рублевке нюхают кокс.

— Я кокса не нюхал ни разу в жизни. Я даже траву не курю — в последний раз ее курил в 1973 году. А жена никогда не курила и кокса не видела даже на картинке. Зачем обсуждать Робски, которая врет?

— Я о другом. Ты хотел бы написать что-то востребованное. Так вот же тема! Пиши!

«У меня нет пафоса. А у Бунина был»

— Я тебе отвечу. Среди множества комментов к моему тексту про Прилепина было два-три разумных. Вот Илья Мильштейн написал в «Гранях», что, по его мнению, мне не хватает трагического мироощущения, я не смотрю на жизнь, как на историю с трагическим финалом. И это правда! Так что у меня пафоса не хватает. И потому я не пишу. А вот, скажем, у Хемингуэя был пафос. Его «Фиеста» меня в свое время переломала. Я читал ее сразу после школы.

— Я тебе объясню, чтоб тебе было легче и чтоб ты писал и не комплексовал перед великими трупами. Собственно, «Фиеста» — это репортаж.

— Что, персонажи — реальные фигуры?

— Ну да. Кто-то пьет, кто-то трахается, потом люди идут спать, а Хем идет в номер и пишет сочинение о том, как компания провела день. По сути, это компромат.ру.

— Можно ответить? Ему там все отрезало на войне, главному герою Джейку Барнсу, и потому его подруга трахается не с ним, а с другими. Это трагическая книжка. А у меня нет трагического мироощущения. Я счастливый человек. Вот мы сейчас потеряли кучу денег — а мне по большому счету чихать.

— Кто потерял?

— Мы все.

— Да ладно! Это как если бы я потерял 20 долларов. Так и ваша куча денег.

— Я потерял больше миллиарда. Правда, в основном, на бумаге.

— Ага, и теперь начнешь экономить, а то как же прожить на последние пять ярдов. Эта утрата ведь ничего не меняет в твоей жизни.

— Ничего. Потому что у меня счастливое мироощущение. А чтоб быть писателем, надо иметь элемент трагизма. У Чехова он был конечно. У Бунина он появился в эмиграции. Вот «Солнечный удар» — гениальный рассказ. Трагический. Очень глубокий и очень русский.

— Там офицер снял телку на пароходе, а потом застрелился. Когда она сошла на своей пристани и не оставила ему телефона.

— И еще «Ида». Там композитор рассказывает друзьям историю своей жизни. У него была жена, он жил с ней счастливо, у нее была подруга, которая приходила к ним. И однажды она пропала. А потом он встретил ее на какой-то станции, она была с мужем, она мужа куда-то отослала и сказала ему: я всю жизнь любила вас. Он смотрит на нее и вдруг понимает, что все эти годы он тоже безумно ее любил. Просто не позволял себе додумывать это до конца. Он это гасил, а те-

перь перестал и довел до конца это свое ощущение — и понял, что любит эту Иду и любил ее все последние годы. Они молча вернулись и разошлись. И он пишет: «Больше всего я горжусь тем, что я ничего ей не сказал». Замечательный рассказ.

— Тебе, значит, вот это близко!

— Мне вот это близко: человек внезапно понимает то, чего не понимал раньше. А также спокойно принимает то, что есть.

Страх

— А ты понимаешь, почему Хемингуэй сделал акцент на невозможности секса для Джейка Барнса?

— Это та же метафора, что у Кафки с жуком. «А что будет, если идею довести до конца?» Вот если у мужчины все так, а что-то не так, и у него не получается с любимой женщиной? Это гениальная придумка, гениальное художественное изобретение. К примеру, человеку руку на войне оторвало — ты любишь его так или всё-таки не так? Вот я, как человек, который ждет старости, думаю о том, что у моей бабушки была болезнь Альцгеймера. Я боюсь, что и у меня будет то же самое, я уже до хрена чего забываю... Рано или поздно у меня это наступит.

— Главное — пин-коды не забыть.

— Я их забываю все время, и в итоге я их записал на бумажке, так что теперь все в порядке. Вот у человека Альцгеймер, — это все еще он или уже не он? Ты все так же его любишь или иначе? Кого ты любишь: его, каким он был, или это уже другой человек? Где этот предел? Когда человек уже не понимает, кто он такой? Это очень существенный вопрос, гениально поставленный Кафкой в «Метаморфозе». Великий рассказ. Один из лучших рассказов в мировой литературе.

— Согласен.

— Доведение ситуации до абсурда. В математике такое часто бывает. Бывают задачи, когда надо представить себе предельный случай — так с жуком это и есть тот самый

предельный случай. Вот и у Хема тот же случай: и он взял предельный сюжет.

— Я тебе объясню насчет Джейка. Отчего у него не стоит.

— Нет, у него оторвало!

— Ничего не оторвало. Просто не работает.

— Ну может, нерв перебит.

— Так вот моя версия. Жена у Хемингуэя осталась в Париже. Кажется, беременная как раз. И вот он пишет, как все перепились и перебелись — а жене он что и как будет рассказывать? Он придумал: скажет жене, что вживался в образ персонажа, раненного в хер. И он умышленно никого не трахал. Это отмазка!

— Ты упрощаешь Хемингуэя.

— Да он и не был слишком уж сложным. И с образованием подкачал.

— Он был огромный писатель.

— А поднялся на простом репортаже. Так вот ты мог бы, как Хемингуэй, писать репортаж, меняя фамилии, — и выйдет бессмертный роман, который ломает читателя.

— Мне неинтересно это. Чтоб писать, у меня должен быть какой-то повод высказаться. Вот Прилепин своим отношением к революции и к жизни вызвал во мне отклик. И я написал. Мне нужен импульс. А в жизни Рублевки меня ничего не задевает. Прилепина или кого-то еще эта Рублевка раздражает. Оксане Робски это интересно. А меня Рублевка не трогает.

Мечта о ностальгии

— Ладно, Хем тебе не близок. А вот Бунин, — уехал на чужбину и стал вспоминать русскую деревню.

— Да, это сильная ностальгическая нота.

— Но вот и ты предупреди Фридмана, что уедешь в Лондон, просидишь там год безвылазно и будешь писать ностальгические тексты про Рублевку. (Вон Олег Киселев как там тосковал по Москве! Очень пафосно.)

— Мне не нужен для этого Миша. Мне нужна внутренняя потребность. А ее нету.

— Ничего, ты в Лондоне начнешь тосковать по нескошенным лугам, по мужикам, по березкам. И Рублевка будет тебе уже не Рублевка, а дорожка в поле, родная, как картинка на этикетке «Пшеничной».

— Если б меня выслали и не дали б приехать — может, ностальгия и появилось бы.

— Вон как Дубов написал «Большую пайку».

— Да, это банально, но, как писала Ахматова про Бродского...

— Рыжему сделали биографию.

— Его подтолкнули к творчеству.

— А ты дружишь с начальством, и тебя не трогают.

— Для литературы это, конечно, минус.

— А для частной жизни — счастье... И вот ты разрываешься между этими полюсами. А найми литературных негров, Дюма не гнушался, а ты чем хуже?

— Негры тут не помогут. Мне чего-то такого не хватает, наверно, ну я не знаю... дара. Чтобы так вот сесть и писать — меня сильно почти ничего не задевает. Нету потрясений.

Может, будут.

Приложение 2

(Из архивов)

НАБОКОВ В MONTREUX

Мы — почти все, исключая считанных счастливых — навсегда опоздали в Montreux, и город этот теперь стоит для русских пустой. Можно только бесплодно мечтать про то, что вот если бы в каком-нибудь 75-м уже не было советской власти, а вместо нее были б деньги на билет в Швейцарию. И вот добраться туда, и Набоков чтоб взял все бросил — и романы сочинять, и сон свой послеобеденный, и теннис, эту дорогую стариковскую отраду, вот все бы бросил — и принялся бы со мной беседовать.

Ну помечтали, и пора возвращаться в скучную швейцарскую действительность. Montreux — город контрастов. Ведь, кажется, если горы, и леса, и озера, то должно быть дико, так, чтоб неграмотные горцы в засаленной советской униформе ухаживали за козами (забавна эта легкая двусмысленность толкования любви к животным). А в свободное время предлагали вам шашлык по-карски с кислым подозрительным вином.

Но — нет... Тут, напротив, полная цивилизация с изощренной роскошью. Это странное соседство комфортного, богатого, кропотливого обустройства жизни — с диким, вольным и бесхозным. Это извращение, которое-то и завлекает, и тащит к себе...

Город торжествует

К славному юбилею — 100-летию писателя — русский скульптор Александр Рукавишников подарил отелю Montreux Palace, где Набоков прожил 15 лет, монумент — чтоб поставить его перед входом. Памятник изображает писателя, сидя качающегося на венском стуле. Набоков запечатлен как раз в момент, когда стул этот, покачнувшись, стоит на

двух ножках и непонятно, куда вот-вот рухнет вместе с седоком — не на этот ли Bentley, который подъезжает к богатому подъезду? Надо вам тут еще напомнить, что девичья фамилия матери писателя — Рукавишникова; так что у Набокова и автора памятника ему — общие предки, нижегородские купцы.

Еще один монумент навстречу 100-летию изваял местный скульптор Бернар Баво. Но скромнее: это всего только бюст.

— Зачем? — спросил я Баво.

— Чтоб увековечить Набокова!

Это по-французски звучит не так угрюмо и стыдно, как переименование Набережных Челнов в Брежнев — но, напротив, очень изящно: *demortaliser*, в смысле — обессмертить.

— Сто лет Набокову? Для города это дата, но для истории Набоков слишком молод, — рассказывает мадам Люти, городская архивистка.

Она мне спокойно и терпеливо объясняет, что именно смогло достичь в ее глазах статуса истории. Это люди ранга, допустим Карамзина, который тут бывал в 1789-м, или там Пьера Чайковского (1878), молодого Лео Толстого (1857), Николая Гоголя и Теодора Достоевски, — последний в двух шагах от Монтреух, в шоколадной столице страны Веве, оплакивал умершую в 1868-м дочь Софи... Так вот он в Веве сочинил начало «Идиота», после чего немедленно уехал в Италию.

Кто еще? Ну например, Стравинский, который тут всю зиму 1910-го прокочевал по разным пансионатам. И как война началась, так он первым делом сюда устремился, думал тут пересидеть суровые времена. Они, однако, затянулись... Композитор после с этого курорта уехал на ПМЖ во Францию, — там русскому легче было найти достойную работу. Кто тут еще бывал в довоенные годы? Ида Рубинштейн с Михаилом Фокиным, а еще Дягилев да Нижинский и, кстати, сам Пьер Кропоткин!

— Слушайте, мадам Люти, я не понимаю, чем вы тут хвастаетесь. Вы тут устроили гнездо международных террористов! Куда ж смотрела ваша полиция?

— Ну, что касается Ленина, так он тут по поддельным документам путешествовал...

Действительно, наш Ильич тут был сама скромность и себя не афишировал. Поймать его было непросто. Он был то Анри Буассон, то «де Павлов». Как писал революционный поэт Маяковский — правда, не про Швейцарию — «бочком прошел незаметный Ленин». Он отсюда в письмах матери осуждал непонятные местные диалекты и жаловался: вот приходится коверкать свой вполне приличный французский, чтоб местные поняли. О, как сурово я упрекаю швейцарцев, какой у меня к ним счет! Отчего ж не заточили они нашего Ильича и не сгноили его в казематах, да хоть в том же Montreux есть замечательный Шильонский замок с чудесными подвалами, и это все под боком, в живописной местности... Легко было арестовать Ильича в 1895-м, когда он туда впервые заявился, или в суровом четырнадцатом, когда он тут завернул в те края...

— Что их сюда так тянуло? Микроклимат здешний, что ли?

— Ну да. И здешний менталитет! Наши люди уважают чужой покой, это у них на генетическом уровне. Чаплин тут жил по соседству в Веве, так даже к нему никто не приставал на улицах. Тут ведь полная дискретность (вот как это сказать по-русски? У нас, кажется, такого слова и близко нету. — И. С.). Никаких, знаете ли, папарацци! Набокову это очень нравилось.

— То есть вы, мадам Люти, хотите сказать, что принцесса Диана — помните, была такая в Британском королевском доме — была б жива, поселись она в Montreux?

— Ну разумеется...

(Что ж, сама виновата! Вот — предпочла романтику, ушла от первого скромного мужа к знойному восточному мужчине, что твоя Кристина Орбакайте...)

— Сколько же тут было русских в старые времена! — мадам Люти придумывает, как бы подходчивей объяснить. И таки ей это удается. — Тогда на набережной так же просто было услышать русскую речь, как вот сейчас английскую. Русские были очень шумные, они давали бо-

гатые шумные банкеты. Вот и сейчас новые русские тут шалют! Еще в XIX веке русские начали сюда отправлять детей в частные школы... И сейчас там множество русских детей, — сказала мадам Люти, глядя куда-то в глубь лесов на горах вокруг.

— А у вас тут обсуждают, откуда у русских из бедной страны столько денег?

Она смотрит на меня с улыбкой, жалея наивного иностранца, который не понимает особенностей швейцарского гостеприимства в частности и западного сервиса вообще:

— Какая ж нам разница, на чем клиенты разбогатели? Если говорить про русских, которые тут тратили деньги... Раньше они эксплуатировали своих крепостных, фактически грабили, — каково было свободным демократическим швейцарцам на эту гнусность смотреть! Но даже у тех русских тут деньги брали. Вот и сейчас русские, может, кого-то грабят, — так не отказываться же от денег? Мы даем им тут совершать траты: в магазинах, отелях, в частных школах. Что там у вас творится, это всё ваши дела, ваша история. А мы тут всех принимаем одинаково вежливо и не лезем в их секреты, — у нас ко всем клиентам одно и то же отношение.

(Может, и поэтому тоже русским тут всегда нравилось...)

— После революции, — продолжает свой рассказ Люти, — сотни русских аристократов вернулись в Montreux. Они помнили, что тут им было замечательно. Но что они упустили из виду, так это свою новую бедность, — а без денег где ж хорошо? Получилось, что кто был ничем, тот стал всем — и наоборот. Графья пошли в официанты, в кухарки... Богатые швейцарские лавочники нанимали русских дворян в слуги, чтоб научить детей хорошим манерам. Это было удобно и недорого.

Как же они рвали волосы на голове, — жалею их я задним числом. Небось, ругали себя, что струсили, смылись в тыл, вместо того чтоб записаться добровольцами к Деникину... И вот они в тылу спаслись, выжили, и до самой смерти выносили ночные горшки из-под чужих буржуев...

Жизнь во дворце

Montreux Palace — это богатый старинный дом. Хотя нет, — это все-таки именно дворец. Его построили в 1815-м. С самого начала это было богато, тут всегда устраивали самую вызывающую роскошь. Ну вот смотрите: Montreux Palace первый во всей округе провел электричество! В допотопные времена, задолго до исторического материализма — в 1906 году! — постояльцы имели эксклюзивное удовольствие пользоваться лампочкой Ильича, ну или как там она у них тогда называлась. В том же году в отеле оборудовали и душевые комнаты. С чем сегодня сравнить этот тогдашний царский комфорт? Не знаю. Это была роскошь запредельная, сверхъестественная, просто-напросто глупая...

Места тут, конечно, богатые, — и по природе, и вообще. По городу бродит огромное количество восточных женщин в платках, с толстыми пугливыми дочками. В их глубоких глазах столько всего! Это богатые невесты из нефтяных стран залива... Там, на их родине, невыносимая жара, и если не купить прохладное лето, так какой тогда вообще прок от денег?

По семейным обстоятельствам

Зачем Набоков тут поселился, почему он тут жил?

Это всё дела семейные, это очень трогательно: в Италии учился — на оперного певца — сын, так родителям хотелось к нему поближе. (Один набоковед мне дал еще версию, что чекисты завербовали Набокова-младшего и отправили его в Европу с целью влиять на итальянских коммунистов, и вся эта опера была только прикрытием — ну а чё, смешно!)

Дмитрий Набоков мне рассказывал про отца:

— Он был очень чувствителен к живописи, к природе, к красоте природы. А тут из его окна открывался дивный вид на озеро, на горы, которые отражаются в воде. В горах он охотился на бабочек... Тут симпатичная атмосфера. А самое главное — ему удавалось спокойно и хорошо писать. —

(Правда, это было дорогое удовольствие.) — На деньги, что он потратил на аренду комнат в Palace за все эти годы, можно было купить замок! Но не в этом дело, а дело в удобстве. В удобстве вот каком: не иметь ответственности, забот, слуг и так далее...

Это, конечно, было разительным контрастом с его нищенской эмигрантской юностью в Европе. Дмитрий замечательно помнит, как его отец тогда запирался в совмещенном санузле бедной съемной квартирке и там сочинял свои великие произведения, сидя, пардон, на биде. Хотя, вот сейчас подумал я, может, это многочасовое сидение на такой интимной вещи, как биде, и придало такой накал той же «Лолите», а?

На старости лет Бог послал ему целый этаж в дорогом отеле, с очень дорогим пейзажем, бесплатно видимым из окна всегда...

И так вот он тут рассматривал виды, сочиняя свои тексты с раннего утра. Можете себе представить: в полпятого утра человек подхватывался как подорванный и кидался работать. Притом что уж бедным он никак не был. Несмотря на это он в такую рань начинал вкалывать, прямо в постели принимался сочинять! И тут же записывать придуманное. И так часа три он писал, а после перерыв на часик — бритье, завтрак, просмотр Journal de Geneve. А после — опять за сочинительство еще на пару часов. Сочинял он в самых разных позах, — сначала стоя за конторкой, потом, уставши, уже сидя, а как откроется второе дыхание — так опять в полный рост. Далее по распорядку дня в 10.30 — прогулка. После нее — второй завтрак, за которым он, бывало, принимал бокал Bordeaux. А там пробивал и час дня: самое время для сиесты, которая, как положено, длилась два часа. В три часа дня — подъем, и до шести ноль-ноль опять работа, с перерывами на просмотр почты. И на первую бутылку пива, за которой в 19.00 неукоснительно следовала вторая. Ну и еще беседы, игры, обмен впечатлениями о прошедшем дне, далее в постель, в которой писатель имел обыкновение еще читать до половины одиннадцатого.

Да, не берег он себя, не берег — столько вкалывать, так пахать!

Этот распорядок дня я списал с текста, собственноручно составленного Владимиром Набоковым. Как и положено ценному документу, он под стеклом вывешен в одной из квартир Дмитрия Набокова — той, что в Montreux. Смысл написания этой бумаги был такой: Вера Набокова как-то улетела в Америку навещать больную родственницу, и для временного ведения хозяйства в отель поселили сестру писателя. Так это все было разъяснено, чтоб она ориентировалась в жизни.

Секретарша классика

Все написанное классиком передавалось в руки Жаклин Кайе, англо-французской секретарше Набокова. Представьте, он ее переманил у администрации пятизвездного отеля! Montreux Palace ей платил 18 франков в час, а наш Набоков предложил тридцать и вопрос сразу решил. Жаклин так и осталась жить в отеле. Она набивала на машинке письма, которые диктовала мадам (так секретарша называла Веру Набокову), и еще романы:

— Месье их писал карандашом на маленьких карточках наподобие почтовых, только они были линованные. Хранились они в коробках от обуви. А сзади, на обороте, там были его исправления... — рассказывает мне слабым голосом мадам Кайе.

В 1999 году, когда я ее встретил, ей было 85 годков, она подустала от жизни и на встречу опоздала на час — но ведь пришла же! Какая молодчина эта слабая швейцарская бабушка, какой у нее задушевный беззлобный голос, какая легкая и благородная у нее старость!

— После он правил написанное... Сначала я печатала одну копию, он опять правил, редактировал, а после я еще печатала, несколько раз — ну не десять, нет, но четыре-пять — это точно. Последние варианты уже было легко набивать, поскольку там было совсем мало исправлений... Его тексты! Я всегда понимала, что они великолепны...

На лето Набоковы уезжали в горы, куда-нибудь в Давос, — господи, это ж все равно что жить в Сочи, а в отпуск в Ялту тащиться. И при этом они еще брали с собой секретаршу!

— Жаклин! — спрашиваю ее. — Скажите: он был тут счастлив?

— О да. Он, конечно, потерял родину, он много потерял. Но он был счастлив с мадам. И у него ведь была слава!

Хотя — это в Америке он был знаменит, а тут — нет, тут его едва ли знали. Это все для студентов, для университета... Нет, он тут не был знаменитым.

Красивая жизнь, роскошная работа!

И Жаклин жалеет только об одном:

— Моя пишущая машинка, на которой я работала для месье! Я бы очень хотела получить ее обратно! Но мне не отдают. На ней теперь работает мадам Беатрис...

Кто такая? Это секретарша Димитри (она имеет в виду Дмитрия Набокова).

А где ж Набоков питался? Изредка — в ресторане, но это только когда гости были, — что нечасто случалось в его тихой уединенной жизни. За обедом он, бывало, принимал чуть белого местного вина, — допустим, Dole, вы и сейчас можете его там везде заказывать. На обед была обычно курица — или гусь, или утка. Реже — бифштекс. Любил он здешнюю рыбу из озера, — к примеру, *hombre chevalier*. Ризотто он также уважал.

А без гостей — так обедали наверху у себя. Что подавали домашние кухарки? Очень простые вещи: суп, второе, компот. Вот так мне описывала типовое меню будничного обеда сестра писателя Елена Сикорская, ныне покойная, — когда мы с ней встречались в Женеве.

А зачем читать его книжки?

Разумеется, директор отеля Ханс Видеман страшно любит Набокова:

— Россия — огромная! Набоков — великий! Он столько сделал для нас — это просто фантастика...

Для кого — для нас? Видимо, он имеет в виду свой гостиничный бизнес. Видеман просто поэт этого дела, он страстный открыватель новых отелей. Вот его посылали в Пекин, так он там открыл новое заведение. После три года провел в Австралии — и там открыл три отеля, по одному в год! В той командировке он как-то познакомился с одной индианкой из Сингапура — ну быт и развлечения командированных кому ж не известны... Но самое странное, на этой подрузке он после женился и вот с ней счастливо живет.

— А книжки Набокова — вам какие больше нравятся?

— Так я ж их не читал! Но я Набоковым все равно восхищаюсь, это так трогает меня...

— А вот кстати... — дело было в разгар европейского скандала вокруг банды педофилов-интернационалистов, — может, и «Лолита» на это повлияла? Книжек, ладно, никто не читает — но есть же две экранизации! — волнуюсь я.

— Что вы! Никому это в голову не приходит! Нет, нет, это просто невероятное совпадение, — отбивается, успокаивает меня Видеман.

А девушка из public relation, она как раз недавно вышла замуж, стала совсем взрослой, и было заметно легкое неудобство, которое причиняет ей хождение на высоких шпильках, каких требует ее новый статус, — сказала и вовсе великие слова:

— Вы разве не понимаете? Ведь он это просто предсказал! Он пророк, просто пророк...

— Скажите, а музей в его апартаментах вы почему не делаете?

— Да вы что! Знаете, сколько желающих пожить в этих его комнатах? Заранее, за месяц надо заказывать, и то знаете ли... Почему же — одни русские? Зря вы так... Там даже китайцы любят селиться!

Забавно, что это стоит всего 350 франков (меньше трехсот долларов), — как и все номера этого уровня. Набоков на цену никак не влияет... Еще смешней то, что эта комната — одна из самых дешевых во всем отеле! Ну можно еще найти за 250. А так-то нормальные люди — я имею в виду шейхов,

принцев, султанов, Майкла Джексона (последний тут, кстати, оставил на память свою фотокарточку, где он рядом с симпатичным мальчиком. — И. С.) и т. д. — они берут suite за 2500. Впрочем, Набоков все равно ловчее устраивался: он тут арендовал восемь номеров. Почти целый этаж, — свободной оставалась всего одна комната, да и ту брал сын, приезжая навестить стариков. Теперь весь этаж провозглашен мемориальным и имеет официальное название «Набоковский». В коридоре на стенах тут фотокарточки: писатель, набыченный, в шортах, в гольфах, стоит облокотившись на рояль, на котором еще уместилась ваза с огромным букетом. Тут сразу много чего пролетает перед нашим мысленным взором — и известная его любовь к теннису, и менее знаменитая ненависть к музыке...

Вот еще фото: он все в тех же шортах, с раскинутыми для объятия руками — как будто рыбацким жестом показывает пойманную рыбу.

А вот, внимание, исторический, знаковый кадр! Над шахматной доской. Крупный план, легко все рассмотреть. У Набокова очень западное лицо — такое умиротворенное, ни тени вечного русского вопроса на нем, ни мысли единой о кризисе, плевать на все... Счастливый был человек, широко и уверенно жил! Если всмотреться, он вообще похож на француза; что-то в нем есть от де Голя, у того тоже практически не было подбородка... Рядом с ним жена Вера — эффектная еврейская блондинка, и играет она белыми же, где ферзь — блондинка, которая думает, что она не как все и ей позволяется то, чего нельзя другим... Они счастливы: вот так и нужно устраиваться в жизни!

Мудрый сценарий

Вот так надо устраиваться в жизни! Чтоб в молодости — скитания, путешествия, революции, аристократическое от нее бегство, утрата имений и особняков, и любовь, и прочая расхожая романтика, как будто взятая из дешевого дамского романа. А после — покой, райский климат, еще при жизни

легкость и прозрачность, прогулки по набережной тихого чистого озера вместе с высохшими злыми иностранными стариками, с маленькими уродливыми собачками, тихое увядание, угасание в пятизвездном отеле, а в пятнадцати минутах пешком — ухоженное, уютное, все в кипарисах, сухое кладбище.

Если остаться в Монтреух, вся суета быстро забудется, и сам не заметишь, как пролетят все оставшиеся тебе в этой жизни годы, — и из почти полного покоя ты незаметно переместишься в покой абсолютный... Начинаешь вникать и угадываешь: это будет остро и пронзительно, быстро, противно и легко — как стакан водки, залпом, после долгого воздержания.

ДМИТРИЙ НАБОКОВ Папенькин сынок

**«Рядом с автором “Лолиты”
только Пушкин и Толстой»**

Космополит петербургского происхождения, американский гражданин, считающий Италию родной страной, проводящий лето — на даче на Сардинии, зиму — в своем доме во Флориде, осень — в квартирке в горах над Montreux и которому все равно на каком языке говорить. Правда, ему немного досаждают бедный — против английского — выбор слов в итальянском: трудно выразить оттенки!

— Настоящей родины у меня нет, — говорит он. — Родина моя не географическая, а семейная, художественная, умственная. Я не чувствую, что нужно иметь корни, как американцы любят иметь roots. Это мне все равно. Я люблю быть на некотором расстоянии от окружающего, чувствовать себя немного иностранцем.

Это ему, надо признать, вполне удается.

Молодость гонщика

В гонщики Набокова-младшего благословил великий отец — заядлый, как известно, спортсмен. Дело было в 1936 году. Молодой отец сделал годовалому сыну расхожий мальчиковый подарок: игрушечную машинку. Это была «рено», простенькая детская копия модели, придуманной для побивания мирового рекорда скорости. Мальчик стал играть, ему представлялось, что в кабине сидит отважный капитан Белов — персонаж одной отцовской книжки. И пошло-поехало. С того дня пролетело шестьдесят с лишним лет. Вы будете смеяться, но та машинка цела! Она имеет статус самой любимой и стоит на книжной полке в швейцарском доме Дмитрия Владимировича, занимая страшно почетное место среди множества игрушечных машинок, накопленных за долгую жизнь.

В три года Дмитрий получил еще один сильный подарок — на это раз уже не «рено», но «мерседес».

— Я спокойно съезжал на нем на мостовую, крутя педали, и папа за мной бежал спасать меня...

После Дмитрий купил себе аппарат посерьезней — «Триумф», привез его из Англии в Италию, попробовал выступать на гонках и, как он сам бесстрастно выражается, «увлекся этим делом». Он любит вспоминать, что был владельцем одного из первых экземпляров Alpha TZ — гоночной версии Alfa-Romeo.

За тридцать лет автогонки изменились неузнаваемо, — как, впрочем, почти всё в сегодняшнем мире. Набоков вспоминает те наивные простые времена:

— Тогда не было реклам, не было наклеек, тогда человек или для фабрики гонялся, или на собственные средства. Мне удавалось даже иногда выиграть против фабричных гонщиков! Фабрика мне давала все больше и больше помощи, потому что они любили, что я выигрываю на их машинах.

Эти победы, одержанные в шестидесятые, подтверждаются коллекцией кубков. Они не все автомобильные, иные взяты за гонки на катерах. Интересовался он также альпинизмом и авиацией, но уж это чисто для себя, про призы там речь не шла. Высшее гоночное достижение Набокова было таково: лучший результат в Европе по итогам года (он точно не помнит, это был 64-й или 65-й) в классе «Гранд туризмо 1600 СС».

— То есть вы были чемпионом Европы?

— Нет. Я был победителем, самым быстрым. Но эти очки мне в зачет не шли — я ведь не европеец, а американский гражданин.

— Это вас огорчило?

— Нет. Я никогда на это не смотрел как на карьеру. Я никогда не стремился стать Шумахером... Это отдых. Вот как президент Ельцин, бывало, ездил рыбу ловить...

— Или как ваш президент занимался оральным сексом с Моникой Левински без отрыва от производства!

— Ну да... Он бы лучше с ней в гостиницу съездил, чем в своей конторе. Кеннеди, по крайней мере, имел Мэрилин Монро, а не эту...

Действительно это смахивало на хобби; Дмитрий гоняться гонялся, но уроки пения брал всерьез. И, оставаясь гонщиком, дебютировал на оперной сцене в 61-м — не с кем-нибудь, а с самим Паваротти! («Я его нечасто вижу, но очень уважаю».) А профессиональные гонщики в опере разве поют?

В какой-то момент он решил бросить пение, поскольку сам понимал, что с вокальной техникой у него не очень. Но его итальянские друзья нашли ему хороших учителей, разумеется дорогих. Набоков продал очередную гоночную машину, на которой только что пришел вторым в Триесте, так что было все-таки жалко, — и на вырученные деньги кинулся догонять своего дружка Паваротти.

Клиническая смерть

И вот после всего, когда с профессиональными гонками, с рискованной жизнью было покончено, пара некогда сломанных в мелких столкновениях ребер забылась (а в клубных любительских гонках на рожон лезть особенно и не дают), а самым страшным производственным риском была опасность сорвать голос, — Набоков разбился. Он попал в такую автомобильную аварию, что шанс выжить у него был чрезвычайно скромный. Сорок процентов его кожи было обожжено, да к тому ж он еще и шею сломал, ну и еще множество других повреждений.

— Колоссальная катастрофа! Вокруг меня раньше умирали люди, которые были менее обожженные, чем я тогда...

Это все случилось в конце 1980-го, когда он ехал на прием к дантисту. Вот буквально накануне вернулся из Парижа, где записывал для тамошнего радио оперу «Антоний и Клеопатра» (он там в одиночку спел все басовые партии), переночевал в привычном богатом отеле Montreux Palace, сел в «феррари», которую механик накануне пригнал из Лозанны, и поехал.

И вот на ходу, когда он мчался по трассе со страшной быстротой, или, как обычно в таких случаях записывают в протоколах купленные гайшники, «на скорости 50 км в час», у машины отваливается левое заднее. Она врежется носом в разделительный барьер, и впереди, в багажнике (ведь у «феррари» мотор, как у «запорожца», сзади) что-то взрывается. Машина загорается, он в ней.

— Я инстинктивно знал, какие меры принять: выключил немедленно бензин. Поставил на нейтралку и сначала тормозил, а после отпустил тормоз, чтоб дать машине развернуться и уйти с левого ряда. Я ясно думаю в такие моменты, я никогда не теряюсь, — вспоминает он тот давний случай. — Пробовал осторожно тормозить, пока машина еще слушалась руля. И притормозил трением и ударом о правый барьер. Остановил машину. Все горит вокруг меня, а обе двери погнуты, не отрываются. Отчаянной силой я выбил окно, вылез из машины — и прыгнул на землю, кувыркнулся, чтобы потушить себя, — и в этом прыжке сломал себе шею...

Я клинически умер. Я имел это странное явление белого туннеля, с огнем в конце — вы, может быть, читали о чем-то подобном. Я был вне тела... Это не было автогипнозом, потому что я мало знал об этом.

— Было страшно?

— Нет! Это было очень приятно. Облегчение, чувство, что скоро увидишь людей, которых любишь, — меня это манило... Это странная вещь, я почувствовал, что могу это своей волей остановить. Я откуда-то знал, что в моей власти выбирать — пустить себя в туннель, к этому желтовато-белому свету, — или остановить себя, пострадать, выздороветь и сделать то, что я еще могу сделать на этой земле.

— Вы так спокойно про это говорите! Это что, опыт человека верующего или...

— Знаете, мне родители предоставили совершенно свободный выбор. Меня учили истории религии... Но взгляды у меня совершенно агностические, я не принимаю формальных ритуалов. Мне кажется, что догмы вредны! К примеру, давно пора ограничить население некоторых африканских

стран, а некоторые запрещают там презервативы и аборт. Да. А что разбиться можно — так это всякий гонщик знает. Сколько я страшных аварий видел! Это вообще спорт рискованный и опасный.

— Так вы, значит, в том туннеле решили вернуться с полдороги.

— Да... Это был тяжелый случай. Меня окунали в перманганат потассия (марганцовка. — И. С.) и потом соскребали сожженное мясо, чтоб инфекции не было. Это страшно больно, и даже морфин не помогал. Потом морфин стали чем-то заменять, чтоб я не привык к чему-то одному. Я ничего не мог — даже читать: глаза были искалечены. Даже радио слушать: слух и тот уставал. Очень близких людей у меня немного — может быть, дюжина... Когда у меня было это несчастье, они со всего мира приехали ко мне. Я люблю устрицы, люблю семгу — они приносили мои любимые вещи, чтоб подбодрить меня. У меня работал тот единственный орган, которым мы в обычной жизни слишком мало пользуемся, — мозг. За те десять месяцев, что я лежал в клинике, я написал в голове книгу. Это роман — о параллельных возможностях человека. Пока не напечатан, — я им недоволен и переделываю.

— Ваш мозг там имел много времени думать о причинах аварии, так? Что же это было?

— Кто-то вывинтил болты, вот колесо и отвалилось. Я машину не поставил на ночь в гараж, и это легко было сделать.

— И что, вы на ходу слышали стук, но не остановились посмотреть?

— Нет. Это внезапно случилось.

— Значит, подпилили. Если б развинчено! Вы б слышали.

— Вибрация, да, была бы... Но я ее не почувствовал! Хотя имею хороший слух на машины...

— Ну да, слух ведь у вас музыкальный.

— Как ни странно, еще у одного человека — у которого была машина той же редкой серии, с таким же, как у меня, пластиковым корпусом, для легкости, — случилась такая же авария, у него точно так же колесо отлетело.

— Это что, леваки так бьют буржуев? Тут у вас в Швейцарии полно картинок с Че Геварой, на стенках через графарет штампуют.

— Я не думаю, что это политическое.

— Может, месть за что-то?

— За что? Политическими делами я не занимаюсь, я ни с чьей женой не водился — в тот момент. Не могу понять — за что? Скорей всего от зависти! Я могу только себе представить, что кто-то увидел ночью «феррари», стоящее перед дорогим отелем, с американскими номерами штата Флорида, со словом Palm Beach. И — подпилит болты... — он рассказывает про это тихо, спокойно, ему как будто дела нет до того, что вот кто-то собирался его убить и чуть не убил. Он продолжает рассказывать так, как будто говорит про скучные мелочи: — Некоторые просто с ума могут сойти, если у кого-то больше денег, чем у них, они на все готовы ради денег! Вот страшный случай. В клинике одновременно со мной лежал мальчик, ему искалечили лицо фейерверками. Так его родители просили врачей не делать реабилитацию, чтобы он на суде выглядел пострашнее и можно было получить с виновных побольше денег. А ведь они были не нищие, владели гостиницами и ресторанами... И это — швейцарцы! И это — благополучная страна!

«Феррари» тут, «феррари» там

Набоков обещал мне показать одну из своих «феррари». И вот мы едем с ним к дому, где он раньше снимал квартиру, — а подземным гаражом он там до сих пор пользуется. В гараже он кивает на черный «порше»:

— Это нашего швейцара машина, он на ней гоняет.

— «Порше»? В каком смысле — у швейцара?

— Ну как? Он раньше был крупным менеджером, да остался без работы, ну и вот нашел место — швейцаром трудится...

И это, замечу я, без какого бы то ни было кризиса, просто так, в рабочем порядке...

«Феррари» немного пыльная. Набоков достает платочек из кармана и протирает лобовое стекло. Я не верю, что он, такой высокий и крупный, в ней помещается, куда ж ему в эту табакерку! (И при этом вспоминаю его маленький детский педальный «мерседес».) И тут он как бы на спор залезает, медленно заползает, складываясь и ужимаясь, в «феррари»... И ведь надо же — влез... Я страшно удивился.

— Все-таки это страшно неудобно, — сочувствую я стиснутому в тесноте владельцу некомфортной машины «феррари».

— Тяжело, конечно, складываться, — соглашается он. — Но уж ради гонок приходится терпеть. А так-то, если в магазин, так это у меня джип Grand Cherokee. Идеальная машина! Мы с ним оба большие. Влезать в него легко! И потом, на «феррари» нельзя, например, ездить в Италию — обязательно украдут! У меня там одну угнали, причем не на юге, а в Милане, — правда, нашлась потом.

— Послушайте, а почему вы вообще выбрали «феррари»?

— Это не из-за снобизма, не для того, чтоб кому-то что-то доказать! У меня много было разных машин, больше пятидесяти, и среди них вполне коллекционные — и MG Triumph, и Alfa, и Bidzarini, и Zorivolto... Понимаете, есть некий итальянский инстинкт, который раньше Микеланджело и да Винчи выражали в живописи и скульптуре. А теперь это выражается в форме машин и моде на них. Это та область, где все позади и все копируют Италию...

— То есть вы хотите сказать, что если бы Микеланджело был жив, он бы занимался дизайном «феррари»?

— Я не исключаю этого. «Феррари»... — это типично итальянское отражение формы...

— Вот у вас сколько сейчас машин?

— Сейчас, минутку... Значит, два «феррари» осталось, — после того как один я недавно продал. Один джип, потом, один Subaru Turismo, 1989 года, это запасная для гостей. Это то, что здесь, в Европе, — значит, уже четыре... Потом еще большой грузовик в Америке, два вайпера там же... Сейчас только семь машин у меня, кажется. Ну семь или восемь, я не помню, — это ведь варьируется. Вот скоро будет новая «феррари», я записался и жду...

(Эти «феррари» и вайперы ему нужны главным образом для клубных гонок.)

— Это чисто такие любительские джентльменские гонки, — поясняет он. — Во всяком человеке живет или должен жить ребенок, который иногда любит развлекаться, даже если это опасно.

— Вас влечет опасность?

— Нет, я не люблю опасность — я люблю только приближение к ней, без сумасшествия. Смысл в том, чтобы техникой преодолевать трудные участки, точно находить траекторию на каждом повороте, исчерпать возможности машины — с тем чтобы как можно быстрее проехать по определенному перегону. А лихачей в клубах вообще не любят: если видят, что человек глупый, сумасшедший, что других подвергает опасности, — его исключают сразу. Я принадлежу к нескольким таким любительским клубам. Из них самые известные — Safe Motor Sports и Viper Club of Southern Florida. В Европе в каждой стране есть клуб «Феррари», и фабрика нас часто приглашает на свою дорожку в Фиорано. Я с энтузиазмом ожидаю того дня, когда я могу все забыть и поехать на гоночную дорожку! Это очищает ум, очищает голову. И чисто механическую часть я люблю тоже.

Еще Набоков любит гоняться на катерах, которых у него тоже несколько, с моторами по 750 л. с. Но это еще ничего, это обыкновенный приятный отдых, доступный всякому. А что его волнует, так это вождение вертолета.

— Это последняя свобода, которая человеку еще осталась! — вздыхает он.

Некоторые могут подумать, что Набоков на вертолете летает кругами вокруг аэродрома. Или перемещается из пункта А в пункт Б. Куда там!..

— Я люблю на вертолете проверять снег, если собираюсь идти на лыжах. Мне вертолет доставляет на дом инструктор, он бывший французский гонщик. Я высылаю двух слуг остановить движение, даю факс жандармам, — они просили, чтоб я предупредил, — и вертолет садится прямо на шоссе. Но вы знаете, сколько это стоит? Пятьдесят франков в минуту! — говорит он трагическим голосом.

— И что, вам это дорого?

— Всем это дорого, — отвечает он скромно и дипломатично.

Житья нету от гаишников

— Ну вы на своих «феррари» тут, наверное, гоняете! Разумеется, нарушаете каждые пять минут?

— Да... Единственное правило, которое я нарушаю, — это насчет ограничения скорости. И то — только на трассе, не в городе же гонять. Потом, статистика показала, что аварии, как правило, случаются не из-за превышения скорости, там другие факторы: пьянство, наркотики, неопытность. А так — я, конечно, за безопасную езду, потому что видел много горя (как будто цитата из кабацкой песни про Одессу. — И. С.). Тут, в Швейцарии, надо ездить медленно, потому что дороги узкие. Я всегда сигналию перед поворотом на горной дороге — кто-то, может приезжий, и не привык еще, вдруг выскочит.

— А часто вас ловят? И по многу ли берут?

— Ловят... А плачу я по сто-двести долларов. За что двести? Ехал я как-то раз на одном из моих вайперов, из Палм-Бич в Атланту. Чтоб там погрузить машину на самолет Swiss Air и привезти сюда. Я боялся опоздать и гнал — 97 миль в час вместо разрешенных шестидесяти пяти. У меня были все мои аппараты — и против радара, и против лазера, и самый драгоценный, который, если нажать кнопку определенного штата, указывает все полицейские диапазоны и пищит, когда полицейские в трех милях от тебя включают рацию. Еще у меня поляризованное стекло поверх номера — так что номер не читается под тем углом, с которого его снимает при превышении автоматическая полицейская камера, — 20 градусов. Я возмущался: «Слушайте, у меня все аппараты, как же вы меня поймали?!» Оказалось, следом за мной, пристроившись сзади, чтоб я его не видел, летел аэроплан — и не включал рацию, чтоб я его не слышал. Однажды на мосту между Палм-Бич (это остров) и Вест-Палм-Бич (это суша) меня поймала полицейская, потому что я сделал

редкую мальчишескую глупость: я на этом мосту обгонял Camaro. Там было ограничение 35, а я ехал 105.

— Так вы обогнали?

— Он раньше увидел полицейскую, чем я. И замедлил. Он махнул рукой в ее сторону — и я тоже увидел. И вот она меня останавливает. Очень симпатичная блондинка. Так она говорит: «Если вы обещаете, что меня покатаете на вашем автомобиле, то я вас...»

— Так и говорит — «отпущу»?

— Нет: «Оштрафую не за настоящую скорость, а только за «управление со скоростью, которая не соответствовала условиям», то есть тридцать долларов вместо двухсот.

— И вы ее покатали?

— Покатал. Это было очень мило.

— А после вы с ней больше не встречались?

— Нет — но, может, это будет. А в другой раз мы на четырех красных «феррари» ехали во Флоренцию по приглашению «Феррари» — на их гоночную дорожку. Я первым, за мной трое. И вот по дороге, которая идет через Алессанрию, — вы как, хорошо знаете итальянские автострады? — там очень длинный прямой кусок 20 километров, и мы жарили примерно 240—250. А общее ограничение — 130; не миль — километров, там километры. А тут полицейские. Они выставили palette, и я полкилометра пятился к ним. Усатый почтенный полицейский говорит нам: «Слушайте! Не надо волноваться. Мы не будем вас штрафовать. Нам просто интересно, куда вы едете и где будете состязаться. И вообще, коллеге интересно, удобно ли сидеть в вашей машине». И подходит красавица блондинка в полицейской форме, посидела в моей машине, и мы поехали.

— Везет вам на красавиц блондинок, так и льнут они к вам!

— Притом что я, по правде сказать, вообще-то темных люблю. А самый забавный случай был в Швейцарии. Тут полиция любит использовать машины banalisee, то есть без опознавательных знаков, грязные такие, старые. Я торопился в Montreux из Lousanne и в туннеле обогнал такую

полицейскую машину. Я ехал 197 в час, а в туннеле можно только 100. Так при выезде из туннеля они надели свои шапки, зажгли свои фонари... Меня остановили и повезли в gendarmerie. Я заметил, что они со страстью смотрели на мою машину... с такой завистью! И вот суд. А судья оказался любителем книг моего отца, знал, что я гонщик и гонять не перестану, — и взял штраф всего 700 франков. И даже дал мне карту всех спрятанных радаров нашего кантона. Он понял, что я никому не вредил. Здесь у меня хорошие с ними отношения, я знаю многих полицейских. Во многих странах полиция имеет квоту, сколько собирать штрафов, — чтоб себя содержать; это несправедливо.

Набоков-отец

— В некотором смысле судьба нам помогла. В мае 40-го мы должны были на последнем пароходе из Франции отправиться в Нью-Йорк. Но удалось получить каюту на предпоследнем. Наши нервные матросы в пути стреляли по китам, за отсутствием немецких подводных лодок, которые потопили тот последний пароход.

Судьба помогла отцу в некотором роде и с «Лолитой». Он ведь хотел ее сжечь! Потому что художественная цель достигнута, психологическая проблема решена, он считал, что манускрипт никому не нужен, что опубликовать это невозможно... Мать остановила его, не дала сжечь рукопись. После издатели обещали денег, если он превратит Лолиту в мальчика или, по крайней мере, если Хумберт и Лолита поженятся. Но книжка вышла без изменений, ему повезло — он получил деньги и стал независимым.

Вы знаете, какая была главная причина их переезда в Монтрё? Очень трогательная: я в Милане заканчивал мое учение как оперный певец, и родители хотели быть недалеко от меня. Отец сам это сказал. Почему не в Италии? Италию он любил, но нельзя жить в Италии, если зависишь от телефона, от телеграфа, от почты, — там слишком много забастовок, слишком много затруднений политических.

Им нравилось, что Монтрё — это старый уголок древней Европы. Когда-то, в начале века, мамина семья приезжала сюда на летние каникулы...

Родители жили в отеле, потому что отца вообще собственность не интересовала, — после того как в свое время он обладал безграничной собственностью [в России].

Он много работал, он целый день — с перерывами — писал. Но никогда не забывал провести какую-то часть дня с мамой или со мной, поделиться своими впечатлениями, пошутить.

У него была собственная версия компьютера. Он боялся электричества, не любил электрических приборов — но ему нужно было как-то переставлять текст, пока он писал. Так он писал на карточках, на них были готовые блоки текста, он держал их в коробках из-под башмаков и мог переставлять вручную. Это соответствовало в некотором смысле передвижению блоков текста на экране. Картонный компьютер!

Я помню детство... Как бы отец ни был углублен в книгу, которую пишет, он находил время заниматься мной: он научил меня разным спортам, — теннису, футболу, он на плечах возил меня в море, выдумывал песенки и стишки для меня... Я — единственный человек, который имел уроки русской грамматики от Набокова. В моем раннем детстве, когда мы жили в Берлине, потом в Париже, в условиях очень неверных — неизвестно, что будет дальше, куда поедет, куда война пойдет, что будет с Европой, с Америкой, — ему удалось создать куколку, как у бабочки, вокруг меня. Которая дала мне то ощущение благости, и покоя, и радости, какое они имели при большом богатстве в молодости, — но после, в моем случае, уже без всякого богатства. Я не чувствовал себя бедным ребенком, у меня было множество игрушек.

Я окончил в 55-м университет Гарвард, в Америке. Потом я учился в Милане на оперного певца. Пел, пел... А в 80-м году я перестал петь и принял решение сосредоточиться на литературных делах семьи и моих собственных. Таких писателей, как Набоков, меньше, чем таких басов, как Набоков. Я работаю много, 18 часов в день. Ну, иногда час смотрю гонку или поиграю в теннис.

Из всего, что написал отец, я больше всего люблю его поздние вещи: «Ада», «Бледный огонь», «Transparent Things» и самый последний роман — «Посмотри на Арлекина». «Дар» — это колоссальная вещь. Я сейчас перевожу неизданное продолжение «Дара». Отец его решил не включать в роман. Это рукопись, она хранится в Библиотеке Конгресса в Америке. Это колоссальный труд был — расшифровать его записи! Я мучаюсь над этим уже два года. Это будет включено в книгу о бабочках Набокова, там много про энтомологию.

Мои родители были самые разумные люди, которых я когда-либо знал. Для меня они более или менее бессмертны. И когда я должен принять какое-то решение — художественное, литературное или практическое, — я чувю их присутствие, я могу почувствовать, что бы они сказали.

Это очень приятное ощущение — бессмертность.

Я бы никогда не поехал в Россию, если бы чувствовал, что для них это было бы источником горя или страха.

Хотя, может, они бы волновались, как волновалась мама, когда я гонял на машинах...

ЕЛЕНА СИКОРСКАЯ:
«Мой брат Владимир Набоков»

Тетя Елена, сестра отца, — это единственная связь с прошлым. Она может ответить на такие вопросы об отце, на которые никто не может ответить.

Дмитрий Набоков

Сестра писателя живет (что значит теперь — живет? Она умерла несколько лет назад. — И. С.) одна в центре Женевы в приличном доме на Rue Charmille, на первом этаже. Мадам Сикорская младше великого брата на шесть лет — но пережила его уже на целых двадцать два: ей девяносто два. У нее ясный ум и довольно хорошая память, — она легко вытаскивает оттуда много старинных сведений; разве только с фамилиями случаются заминки. Ей, правда, досаждают ее тело. Она измучена артритом, который скрутил, покорезил пальцы рук. И другие суставы задел: она ходит по квартире медленно, держась за скобу специальной тачки на четырех маленьких колесиках — похожие бывают в супермаркетах. К тачке прицеплена стальная корзинка, а в ней фонарик. Ходит она трудно и медленно: мало у кого достает терпения дождаться у двери; пока она доберется и отопрет, — вас уж и нет.

Это красивая благородная старость, когда бабушка извиняется, что чай вынуждена сервировать на кухне — поскольку отдельной столовой у нее, увы, нет; наличие же гостиной и спальни ей привычно и роскошью показаться не может, — хотя живет она совсем одна.

Не вышло переждать большевиков

— Елена Владимировна! Притом что вы, конечно, сестра великого брата, давайте мы начнем все-таки с вас лично. Вот какой была ваша жизнь?

— Мы все вместе уехали в 19-м году. Попали сперва в Лондон. Моя мать вывезла ожерелье жемчужное, которое дало нам много денег, мы довольно долго на них жили. В Лондоне я ходила в английскую (ударение на первом слоге. — И. С.) школу. Потом мы, как известно, жили в Берлине, там мой отец стал редактором газеты «Руль». А затем произошло ужасное несчастье, когда мой отец был убит, — ну вы всё это знаете. Мне было 16 лет. Я там ходила в русскую эмигрантскую школу. Настолько сильно это отразилось на всей моей жизни, что теперь я бесконечно беспокоюсь о своих... У меня единственный сын и два внука, я постоянно беспокоюсь, как бы чего не случилось. После случая с моим отцом; это понятно, да? Я стала бояться всего. Придумываю себе всякие несчастья. Это нехорошо, но это так...

Окончила я ту эмигрантскую школу. А в 23-м году мы двинулись в Прагу, потому что чешское правительство тогда чрезвычайно щедро помогало русским эмигрантам. Повидимому, это связано с мятежом чехословацкого корпуса в Сибири. Чехи как бы предали Колчака и хотели себя как-то реабилитировать.

— Получилось?

— Это получилось замечательно. Пятнадцать лет они помогали русским эмигрантам! Давали субсидии, одежду, бесплатное обучение — и в школах, и в университете. И жили мы там неплохо. Колония была огромная русская. Приехало много из Белой армии людей, которые жили в Болгарии.

— И вы простили чехов? За старое предательство?

— Мы как-то не думали об этом — но, пожалуй, да... Там мы жили спокойно и хорошо.

Потом я вышла замуж... Я была два раза замужем. Я развелась с первым моим мужем, чтобы выйти за второго мужа. Оба они русские, офицеры. Были при Деникине. Первый — Петр Михалыч Скуляри. Он из Крыма, греческого происхождения. Второй мой муж — Всеволод Вячеславович Сикорский, с которым я познакомилась в Праге.

— Где они были на Гражданской войне?

— Когда была Гражданская война... Скуляри был капитан, что ли? Он был, как это называется, при бронепоездах... Сикорский был штабс-капитан, в артиллерии. Когда они начали отступать и Красная Армия их победила, они все выехали. И Деникин тоже выехал, он потом умер в Англии.

И первый мой муж, и Сикорский — оба учились в университете в Праге. Первый муж был физик. А Сикорский кончил там русский юридический факультет. После окончания он работал кассиром в эмигрантской кооперативной лавке.

Собственно, я там его первый раз и увидела. Я пришла с сестрой и нашей гувернанткой Евгенией Константиновой, которая всю жизнь с нами жила и умерла в моей семье, и обратила внимание — какой красивый человек! Но тут же забыла об этом.

— Увидели красавца и забыли; но потом! Вы встретили его опять...

— Да. Встретились мы в дешевом русском ресторане «Огонек». Туда все русские ходили. Что дальше? Дальше развод, новая семья.

— Он не работал юристом — почему?

— Это было ошибкой, это была идея несколько легкомысленная. Дело в том, что он учился в русском университете, там учили старые русские законы, — и когда закончил учебу, это все было никому не нужно...

— То есть это было общее мнение, что через пару лет большевики кончатся, в стране наведут порядок и весь свод законов Российской империи восстановится? Что все вернутся домой и заживут прежней жизнью?

— В том-то и дело... Мы долго так считали.

— А когда вы догадались, что большевики — это всерьез и надолго?

— После Второй мировой войны: она кончилась, а ничего же не изменилось... И сейчас большевики там в огромном количестве — в парламенте. Что будет? Неизвестно...

С моноклем он был вылитый Золя

— А потом как вы жили?

— Я училась на философском, но учила не философию, а славянские литературы, в том числе и русскую. И кончила там. Получила докторскую степень, как все там получали. Работала сперва продавщицей, было страшно, я безумно боялась просчитаться. А после в университетской библиотеке в Праге. Потом нашлось место в библиотеке ООН здесь, в Женеве, — я говорю на пяти языках, это им понравилось, — и мы сюда переехали. В каком году? В 40-м? Нет, в 39-м. А муж не работал, сидел с сыном. У нас один сын, Владимир. Он по профессии переводчик... Как сказать *simultanee*? Синхронный? Он уже не служит, но его вызывают, когда кто-нибудь важный приезжает. Вот, видите, он на фото с Горбачевым. Жена моего сына — она не русская, еврейка, родившаяся в Александрии. Так что она по-русски не говорит. Два внука... Старший вот хочет жениться, его невеста русская. Она родилась в России, и он надеется у нее выучиться русскому языку.

— Вы тогда уехали в Женеву, а ваш брат — в Америку, и вы долго не виделись...

— Да, 23 года. Мы переписывались. Моя переписка издана! — говорит она ровным гордым голосом. — Вон его книги — они все у меня стоят. Они приехали в Европу, остановились в гостинице, и сразу я к ним кинулась. Потом мы стали видеться каждую неделю, я ездила к нему. Когда он приехал, мой муж умер. А сын был взрослый. Так что у меня было много времени... Когда его жена уехала в Америку на какое-то время, я просто переехала к брату. Мы много разговаривали! Он был чудный рассказчик. И шутник невероятный! Шутка была для него очень важная вещь, он проделывал всякие шутки со мной.

— Ну вот какие?

— Один раз я приехала к нему, прихожу в их квартиру в отеле, и он мне говорит: «Пожалуйста, не ходи туда, в следующую комнату!» (У них было там три комнаты.) Конечно, я поняла, что должна туда пойти. Так что же там

было? Занавески на окне висели, а под занавеской торчали две дамские туфли. Это были, конечно, туфли его жены. Но он хотел показать, что будто у него там какая-то дама... Я засмеялась! Он и в магазинах шутил ужасно. У него было пенсне, он к нему приделал длинный шнур. И в магазинах спрашивал продавцов: «Вы не находите, что я очень похож на Золя?» Это тут, в Монтрё! Что продавцы отвечали? Откуда ж они могут знать, кто такой Золя.

Лолита списана с сестры писателя?

— Я думаю, что знала его больше, чем кто-то может представить себе. Как хорошо я его знала!

— С какого приблизительно возраста вы его помните хорошо, отчетливо?

— Ему было лет четырнадцать, а мне, значит, восемь.

— Какой он был тогда?

— Очень красивый молодой человек, очень такой элегантный. Когда ему было лет пятнадцать, у него был этот замечательный роман с девушкой... Я ее видела один раз издали, когда она шла с моим братом. Она была красивая, да. Знаете, недавно ее дочь, дочь той девушки, нашлась и прислала мне подарок!

Елена Владимировна показывает мне шкатулку с лаковой картинкой «Грачи прилетели». Там написано — «От дочери и внучки Валентины (Люси) Шульгиной».

— Люся — это была ее кличка.

— Вы с братом были дружны?

— Мы были страшно дружны! Правда, когда мы жили в Петербурге, на Морской, — мы почти никогда не общались! Жили на разных этажах и виделись только за завтраком и обедом. Больше виделись, когда приезжали в Выру, в имение. Мы подружились страшно, когда оказались в Крыму, мне было тринадцать лет, а ему девятнадцать. Мы часами были вместе... Он меня научил...

Наступила пауза. Она вспоминала то лето, — а поди вспомни, когда уж восемьдесят лет прошло.

Пока она молчала, я вдруг придумал престранную мысль... Я в эту паузу был ударен мыслью про Лолиту! При чем тут это? При том, что Елена была тогда страшно симпатичной и привлекательной нимфеткой — иначе, подумайте, с какой бы стати взрослый юноша стал возиться с такой пигалицей? Это единственно возможное оправдание... Но она-то была недоступной! Совершенно так же, как несовершеннолетняя Лолита, и недоступной даже еще больше — будучи родной сестрой. Не буду вам вслед за Набоковым еще раз повторять писательские слова про то, что сюжет он взял из головы, и только из нее одной. Но остается вопрос: откуда это взялось в голове?

Я представляю себе, причем с необычайной, автоматической легкостью, как это видение измучивает его. Видение девочки, которая смотрит на него влюбленными глазами (какими же еще она могла смотреть на старшего брата, красота которого ей помнится и через восемьдесят лет?), — но никогда, ни-ког-да не будет ему принадлежать? Или будет, — это я про набоковский роман «Ада», списывающий плотскую любовь брата и сестры.

И вот через восемьдесят лет мадам Сикорская, девяносто двух лет, продолжает:

— Научил меня... огромному количеству вещей. Он ведь был специалист по бабочкам! И меня он научил различать бабочек. Он меня пытался научить рисовать, он сам чудно рисовал, великолепно. Его учил Добужинский! Он мог бы быть художником, если б хотел. Он познакомил меня со стихосложением — по системе Андрея Белого. Как бы вам объяснить, что это такое... Составляется схема по ударениям в стихе, понимаете, и потом это соединяется, и чем сложнее схема, тем сложнее стихотворение.

Он мне много книг подписал, и там рисунки его. Если бы я написала в Америку, что у меня есть книги с его рисунком, на первом листе, — так это же дикие деньги! Но я, конечно, этого делать не буду, это уж мой сын решит, что он будет делать с этим.

Его невеста предпочла офицера

— Как вы проводили время там, в Монтрё?

— Во-первых, мы очень часто играли в scrabble, вы не знаете этой игры? По-русски она называется «Эрудит», в России есть такая игра, она несколько проще и другие правила, но идея та же. Это такие квадратные фишки с буквами, и вот вы составляете слово. Гениальная игра... Я в нее могу играть часами. Как раз завтра приходит мой партнер, один русский, который тут живет, по фамилии Трусов, он работает здесь, в международной организации по патентам, и мы с ним сражаемся. Последний раз я его обыграла, он ушел рыдая. Ну вот. Играли, разговаривали, потом ужинали. Потом он меня провожал на вокзал, и я ехала домой.

— Ваша какая любимая книга — из его?

— «Дар»! Я считаю, что это вершина его. Я хорошо помню ту берлинскую жизнь. Эти описания, как он ходит купаться в Грюневальд. Боже, сколько я там раз бывала, в этом Грюневальде! Очень интересно, что в Берлине русская эмиграция была почти что только еврейская. В моем классе в русской гимназии нас было человек двадцать, так только трое из нас не были евреями, я и мои две подруги.

— И там, в Берлине, он ведь познакомился с будущей женой?

— Это позже, а сперва у него был роман с другой женщиной. Ее звали Светлана Зиверт, ее семья была из балтийских немцев. Они были обручены и даже кольца носили. Но мой брат не имел никакой работы, — так, он то учил боксу, то давал уроки русского языка. Денег не было! И в конце концов родители этой его невесты решили, что она не должна выходить за него замуж. И Светлана ему отказала. Читали ли вы его стихи? Там целый цикл посвящен этому роману. Он очень переживал.

— Он разочаровался в женщинах, как это иногда бывает в молодости в таких случаях?

— Нет, разочаровался не в женщинах, а в Светлане... Она пережила его на очень много, она умерла только в прошлом году, в апреле — в Америке. Она жила в таком русском

полумонашеском доме в Нью-Йорке. Эта Светлана была на год старше меня — значит, она умерла в 92 года. Она вышла замуж за русского, из офицеров, в Берлине. Но скоро разошлась с мужем — он был ужасный человек, он бил ее. В Америку она уехала одна...

— Брат вам рассказывал про эту несчастную любовь? Вы же были страшно дружны...

— Нет. Брат никогда об этом не говорил. А стихи про это были:

И дула кисловатый лед
прижав о высохшее нёбо,
в бесплотный ринуть ли полет
из разорвавшегося гроба?

Или достойно дар приму,
великолепный и тяжелый —
всю полнозвучность ночи голой
и горя творческую тьму?

А с Верой он встретился почти сразу после разрыва со Светланой. И вот она как раз... не то чтобы воспользовалась, я не хочу этого сказать — она как раз именно попала в должную минуту, когда он оказался один. Они познакомились на балу каком-то русском, она была в маске и не сняла эту маску, несмотря на его просьбы, а потом они где-то встретились, и он как-то узнал, что это она была под маской...

Солжа не читал, ТВ не смотрел

— Однажды к вашему брату хотел приехать Солженицын — и не приехал. Вы помните?

— Да... Он хотел с ним встретиться как с человеком, который выказал очень большую храбрость, в этом смысле.

— А читал он книги Солженицына?

— Нет. Нет...

— Он расстроился, что Солженицын не пришел?

— Нет.

— Кого он читал из современных русских писателей?

— По-моему, никого. Он признавал только... ну вы знаете, их двое писало... похождения... Ильф и Петров! Он считал, что это замечательная книга — «12 стульев». И еще Окуджаву мой брат очень любил.

М-да, советскую литературу Набоков ужал до крайности. Поэзия — Окуджава, проза — Ильф и Петров. А больше ничего и не было. Может, точно — не было?

— А из американцев он кого уважал?

— У меня сейчас что происходит — я фамилии не помню. Такой недостаток памяти. Помню... Миллер такой... который писал довольно неприличные книги. Брат считал, что это полное ничтожество.

— А телевизор он смотрел?

— Никогда! Нет, впрочем, один раз было такое. Когда? Ну вот подумайте! Угадайте!

— Полет на Луну?

— Да. Американцы на Луне. Только для этого! Это его страшно волновало. Он считал это замечательным и невероятным. И вот тогда телевизор взяли напрокат, посмотрели — и тут же унесли назад.

— А он не говорил патриотически, что все-таки русские первыми полетели?

— Не было такого разговора. Вообще он не интересовался событиями. Я думаю, что он никогда в кинематографе не был. Грустно, — я любила музыку, а он терпеть музыку не мог. Никогда ни на один концерт не ходил.

— Да... Непросто, наверно, было с ним. Разговаривать — о чем? Политика, новости, музыка, ТВ-передачи, кино — это все ему неинтересно. Чтоб привлечь его внимание к массовой культуре, для этого надо, по меньшей мере, запустить людей на Луну. Тяжело, наверно, с ним было!

— Нет!

— Ну это вам не тяжело.

— Я не о себе. Вот один раз пришел человек, который написал «Защиту Сталинграда», — или как? Как его фамилия? Некрасов. Это была... картинка. И я приехала. Вот идет разговор... Причем я чувствовала, что брат не переносит

того, что говорит Некрасов, это было ни к чему для него, понимаете? Но тем не менее мой брат был страшно, необыкновенно мил. Как всегда.

— А книги Некрасова ваш брат читал?

— Нет. Потом Некрасов написал об этом в каком-то журнале. Статья начиналась с того, что вот он собрался идти к Набокову и потому вымыл голову. Вот что он вымыл голову, это меня поразило: при чем тут голова?! И дальше он выдумывал. Будто бы мой брат сказал: «Давайте выпьем по рюмочке». Хотя водки там не было, а был чай — ну может, еще вино.

— А что, кстати, ваш племянник Дмитрий?

— Дмитрий? У него очень красивый голос, чудный голос. Но почему-то ему не удалось пройти конкурс, чтоб петь тут, в Женеве.

Однажды Дмитрий выступал в опере, он пел в «Богеме». В Реджио Эмилья, это в Италии. Мы поехали туда с братом... Ему очень понравилось! Настолько, что — это странно сказать — когда хоронили моего брата, то оркестр играл отрывки из «Богемы». Это Вера распорядилась, он ей успел сказать. Он не любил музыку — но это был сын.

(На самом деле он давно уж прислушивался к «Богеме». «Другие берега» вышли в 54-м, задолго до возвращения Набокова в Европу, лет за двадцать до того концерта! И там было признание: «Могу по бедности понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме». — И. С.)

— Что, и пластинок в доме не было?

— Нет, боже сохрани.

— Ваш брат... Его радовало это богатство, которое началось после «Лолиты»?

— Нет. Он страшно удивился, когда у него купили права на фильм по его книге «Камера обскура». Заплатили 250 тысяч долларов, ему это казалось невероятным, он никогда не видел такой суммы. Но все эти деньги не изменили его жизни, она осталась такой же, как прежде.

— Но, может, он стал себе что-нибудь позволять — шампанское, икру, казино?

— Нет. Никогда я икры не видела у него. Это было ни к чему. На обед был, ну суп какой-нибудь. Потом второе, какое-нибудь мясо, потом фрукты или компот.

Подготовка к бессмертию

— Сколько он собирался прожить, он не говорил вам?

— Нет... Так и не выяснили, от чего он умер. Был ли это рак предстательной железы? Очевидно.

— Что же, он умер как мужчина.

— Да...

— Вы помните свою последнюю встречу с братом?

— Он тогда был уже в больнице, в Лозанне. И значит, он просил, чтоб я ему привезла томик рассказов Чехова, он обо-жал Чехова. Привезла, и он начал мне рассказывать какие-то странные истории — насчет санитаря, который его якобы куда-то привязал. Я поняла, что он что-то не то рассказывает. Ну а потом через три дня он умер.

«Видите, как оно бывает: Чехов перед смертью просил шампанского, а Набоков — Чехова. Это красиво и благородно», — подумал я и спросил:

— Вы пишете мемуары?

— Да. Для своих внуков, по-французски. Я не дошла еще до конца. Мне так скучно это писать... Надо иметь этот дар, которого у меня нет. Я не писательница.

— Вы как-то будете участвовать в юбилейных торжествах? (Тогда как раз надвигалось 100-летие Набокова.)

— Нет... Я безногая, безрукая, что я могу сделать? Я уже не выхожу совершенно никуда, я не могу выходить.

— Кого бы в литературе вы поставили рядом с вашим братом?

— Гоголя. Ну Пушкина, конечно. Толстого — в некотором смысле. А больше — некого!

БАБОЧКИ НАБОКОВА
«Натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудак»

Невозможно понять набоковские литературные произведения, не зная его научных трудов. Набоков остался уникальным примером в мировой истории литературы богатством и сложностью описания бабочек в литературных произведениях. С этой точки зрения самыми важными являются романы «Дар», «Бледный огонь», «Ада», «Говори, память». Описания бабочек встречаются почти во всех его романах.

Из пособия по энтомологии

Бабочки Набокова — 4324 экземпляра — хранятся, согласно завещанию писателя, в зоологическом музее Лозаннского университета. Эту коллекцию эксперты оценивают в полмиллиона долларов. С уточнением: она бы стоила раз в десять дешевле, не будь коллекционер таким знаменитым.

Набоков — видный лепидоптеролог

Вкратце, буквально конспективно, введу вас в курс дела, в круг набоковских научных интересов. Лепидопетрологии (от *Lepidoptera*, по-русски это будет «чешуекрылые») известно 165 000 видов бабочек. По оценкам специалистов, еще столько же видов ждут, чтобы их открыли. Есть еще над чем поработать, легко найти, чем себя увековечить!

Бабочки делятся на две большие подгруппы. Первая — это *Rhopalocera*, «те, которые с антеннами в виде дубинок», они все сплошь дневные и по-английски называются понятным словом *butterflies*. Вторая группа — *Heterocera*, «те, которые с антеннами разной формы», за редкими исключениями, все ночные: по-английски это будет *moths*, наверно отсюда русское слово «мотыльки».

Больше всего Набоков любил *Lycaenidae*. Это крупнейшее семейство бабочек включает около 7000 видов, разбросанных по всему миру. Особенно много их в тропиках, где-нибудь в Юго-Восточной Азии; в Европе всего около ста видов, в Америке и того меньше. Крылья у них в основном голубого цвета, хотя иногда имеют медный оттенок. Бабочки эти отличаются некоторыми странностями: у самцов передние ноги недоразвиты и при ходьбе не используются. Может, они хотели стать прямоходящими и произойти в человека?

Что вообще означает название этого вида? Одна лепидоптерологическая книжка уверяет, что слово *Lycaenidae* происходит от греческого *lykaina*, что значит волчица, — это было, как ни странно, одно из прозвищ Афродиты. А ведь бабочки точно красивы!

Набоков исследовал в основном ту группу семейства, которая называется *Polyommata*; туда входят бабочки, которые отличаются слабым, неуверенным стилем полета.

Всего Набоков открыл 20 видов бабочек и дал им названия. Вот примеры.

Cyllopsis pertepida dorothea Nabokov, 1942. Ее он сам поймал в Гранд Каньоне.

Lysandra cormion Nabokov, 1941. Единственная описанная Набоковым европейская бабочка, пойманная им в Южной Франции.

Plebulina Nabokov, 1944. Отловлена в Калифорнии.

Не всех он поймал лично — иногда, наткнувшись в какой-нибудь коллекции неопознанных или ошибочно классифицированных бабочек, он давал им правильные названия. Слово *Nabokov* тут не то чтобы часть имени, но скорее дополнение к нему, сделанное по правилам науки — они требуют указывать первооткрывателя.

«Именем моим названа — нет, не река, а бабочка в Аляске, другая в Бразилии, третья в Ютахе (*Utaha* — это, по нашему, Юта, американский штат. — *И. С.*), где я взял ее высоко в горах, на окне лыжной гостиницы — та *Eurithesia nabokovi McDunnough*, которая таинственно завершает тематическую серию, начавшуюся в петербургском лесу».

А кроме нее и еще пять видов были названы в честь Набокова посторонними энтомологами:

Clossiana (Boloria) freija nabokovi Stalling & Turner, 1947

Cyllopsis pyracmon nabokovi Miller, 1974

Hesperia nabokovi Bell & Comstock, 1948

Lycaenides idas nabokovi Masters, 1972

Nabokovia Hemming, 1960

Основной вклад Набокова в науку (не считая открытия нескольких видов и подвидов) связан с попыткой навести порядок в классификации группы *Plebejinae* внутри семейства голубых — где была изрядная путаница. Он ввел новую классификацию тех бабочек рода *Lycaenides*, которые живут в Америке. Эта классификация действительна по сей день, — учит нас официальная лепидоптерология, — род этот маленький, но сложный, полный сомнительного материала.

Надо сказать, в науке Набоков вел себя весьма независимо. Коллегам с ним приходилось нелегко... Все с Дарвином согласны, а Набоков — нет, и всё тут. Всем, даже неспециалистам, была понятна простая вещь: если у двух очень похожих экземпляров разное количество хромосом и скрестить их нельзя, то, значит, они относятся к разным видам. Поэт же считал такой взгляд ненаучным, варварским. Нельзя, говорил он, считать главным в организме то, что можно исследовать только после его смерти! Странно...

Музей

Вот стоит настоящий средневековый дворец: колонны, древний потемневший камень, стертые за века плиты ступеней, ни тени железобетона, ни щепотки деревянной трухи, ни пятнышка дешевой масляной краски... Смешно сказать: именно такой нам, невыездным, издалика и представлялась Европа. Так вот это — старинный Лозаннский университет. При нем могучий зоологический музей, растекшийся по этажам. Его

директор Пьер Гельдлен, когда был простым стажером, однажды на лестнице столкнулся с самим Набоковым! (А может, это он, не будь дурак, задним числом сочинил? Поди проверь! — И. С.) Тот тут бывал иногда по своим научным делам. Езды от Montreux, где жил писатель, всего-то 20 минут на электричке. Набоков то и дело поминал музей в своих интервью, часто говорил про свою мечту — что однажды здесь примут его коллекцию, приведут ее в порядок, сохранят для науки. Так и сбылось! Директор, как всякий уважающий себя энтомолог, для начала делает дежурное заявление:

— Это еще надо разобраться: то ли Набоков писатель, увлекшийся бабочками, — то ли ученый, который на досуге пописывал! — И только потом переходит к фактам: — 4324 экземпляра — это серьезная коллекция... Со всего мира к нам едут энтомологи ее посмотреть!

Он показывает ряды шкафов в хранилище, а в них на полочках плоские застекленные планшеты. Там, под стеклом, бабочки Набокова. Но он свою коллекцию, конечно, не в таком виде держал. У него было попроще, без церемоний. Гельдлен объясняет:

— Вот видите эти маленькие полупрозрачные пакетики? Мы все сохранили! Так в них лежали его бабочки, правда со сложенными крыльями (это уж мы их после распрямляли). И с надписями, конечно — где поймал, когда. Эти пакетики, в свою очередь, вкладывались в бумажные конверты, один в другой — как русские деревянные куклы, знаете? А конверты он хранил в жестяных коробках от пастилок.

Я приноживаюсь к коробке: она до сих пор пахнет горьковатыми неизвестными конфетами.

Набоков был до такой степени фэнмом бабочек, что без них не мог провести ни одного отпуска: ездил только туда, где можно было поохотиться с сачком. Канн, Корсика, юг Альп, Португалия, — но в основном, конечно, это была Швейцария.

Гельдлен мне вытаскивает все новые и новые планшеты... Честно говоря, я как-то разочарован. Я-то думал, там такие бабочки, что все эти огромные яркие экземпляры, которые продаются в московских лавках, просто поблекнут

против них. Но — не поблекли. Набоковские бабочки почти сплошь оказались мелкими, бледными, как бы застиранными, полинявшими, джинсовыми... Пожалуй, только голый научный интерес может заставить человека подхватываться ни свет ни заря и бегать за такими невзрачными насекомыми по горам с дурацким сачком. Любовь таки зла!

Гельдлен достает очередной ящик, судя по его виду, уж там-то спрятано сокровище...

— Вот, полюбуйте! — говорит он со значением. — Видите черненькие точки рядом с бабочками? Так это их половые органы, отделенные лично месье Набоковым. Это женские, это мужские, а там — видите? — гермафродит!

Я, честно сказать, мальчиков от девочек у бабочек отличать не в состоянии, — но из вежливости киваю.

— Голубенькие, это *Lycaenidae* — очень он их любил.

— Интересно — за что?

— Гм... Кстати, действительно — за что? Может, за то, что эта бабочка — очень романтическая. По-французски в быту она, знаете, как называется? *Azuree*, лазурная.

— А где она водится?

— В том-то и дело, что везде! Это такая космополитическая бабочка. — (Похоже, именно за это он ее и любил.) — Вообще мы очень бережно относимся к наследию Набокова, — объясняет директор. — Не выбрасываем даже тех бабочек, у которых крылья сломаны; ведь это он лично их поймал!

Я все-таки не сдержался и сказал Гельдлену правду про то, что бабочки эти мне кажутся скучноватыми. Он, к моему удивлению, обрадовался и говорит:

— Вы мне сразу показались тонким человеком! Конечно, эти бабочки невзрачные! Похоже, вы способны понять настоящую красоту!

И он повел меня в другой зал показывать эту свою настоящую красоту. Красавицами оказались... мелкие черные мушки. Восторгам Гельдлена не было конца:

— Ну вот этот экземпляр *Latiroptalmus*, разве он не восхитительный, а?! А то ведь, знаете, бабочек легко любить! — с некоторым упреком сказал месье Гельдлен.

— Это как с женщинами, — поддержал я беседу, отводя глаза от мерзких сушеных мух — такие в России заваливаются в междурамья на зимнюю спячку. — Которые красавицы, за теми тоже все гоняются... — Увидев во мне единомышленника, он сделал признание еще более интимное: — Так я сам не только мух коллекционирую — но и женщин!

— И что ж интересней?

— Что я могу сказать? Мухи, они не такие ennuyeuse (то ли скучные, то ли надоедливые — понимайте, как хотите. — И. С.).

На хрупких крыльях любви

Швейцарские энтомологи гордятся своим великим русским коллегой. Он как бы возвышает эту их страсть, над которой посторонние смеются, как над совершенно нелепым чудачеством. Их умиляет, что Набоков начал собирать бабочек в семилетнем возрасте, что приохотила его к этому мать — во время одной из их европейских поездок. И после, как пишут энтомологи, «его любопытство натуралиста трансформировалось в систематический интерес».

Сам Набоков это описывал в «Других берегах» так:

Сызмальства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно: есть солнце — будут и бабочки. Началось все это, когда мне шел седьмой год. ...я увидел первого своего махаона... Великолепное, бледно-желтое животное... с попугаячьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклоненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопало своими громадными крыльями.

Что это, если не описание предмета любви, объекта обожания? Причем уснащенное совершенно порнографическими подробностями! Автор не зря, но со стопроцентной меткостью кончает бесстыдным признанием: «Я стонал от желанья». Его юношеские сны про бабочек были прямо-таки эротическими:

...снилось все это — промокшая, пропитанная ледяным эфиром вата, темнеющая от него, похожая на ушастую беличью мордочку, голова шелкопряда с перистыми сяжками, и последнее содроганье его расчлененного тела, и тугой хряск булавки... симметричное расположение... широких, плотных, густо опыленных крыльев, с матовыми оконцами и волнистой росписью орхидейных оттенков.

Он сходил с ума от желания — безнадежного, несбыточного, такое могло вдохновить на ту же самую «Лолиту», — желания обладать своими бабочками, его доставали мучительные телесные подробности, — кто не любил, тот этого всего не поймет:

Мои пальцы пахли бабочками — ванилью, лимонами, мускусом, — ноги промокли до пахов, губы запеклись, колотилось сердце, но я все шел и шел, держа наготове сачок.

И фаллическая, а если точнее, так и вовсе гермафродитская символика, содержащаяся в сачке, тут даже и не важна совсем — без нее все ясно и убедительно.

Это было совершенно всерьез, с какой стороны ни глянь. «Кажется, только родители понимали мою безумную, угрюмую страсть», — это с одной. И вот с другой: «Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими».

Возможно ли было для него — ну по крайней мере, тогда — что-нибудь важнее любимых насекомых? Теоретически — да. Вот как он пишет про себя, десятилетнего мальчика, влюбившегося на пляже в Биаррице в хрупкую (сравнения напрашиваются, но мы их опустим, равно как и новые догадки насчет Лолиты. — И. С.) парижанку Колетт:

«За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к этой девочке едва ли не превзошла увлечения бабочками». Когда же он решает с этой Колетт сбежать, спасая ее от жестоких родителей, то с собой берет необходимейшую вещь — «складную рампетку для ловли андалузских бабочек».

Услышав про *Nymphalidae* — семейство бабочек, которых, кстати, полно в набоковской коллекции — вы тут вспомните нимфетку, и ведь не зря; самое любимое и счастливое у него всегда связано именно с бабочками...

Вот что он дарил близким? Самое дорогое: новые виды бабочек, придуманные к какому-нибудь торжественному поводу, да хоть к выходу новой книжки. Однажды Набоков изобрел вид *babochka babochka*. Ее он нарисовал на книжке с посвящением сыну — «Моему лучшему переводчику». Для жены он измыслил вид *verina raduga*, с раскраской под название.

Тут сколько угодно можно говорить про бабочек и любовь, ставить их рядом, они почти всегда сливаются и путаются. Вот он вспоминает свое последнее — в России — романтическое увлечение и жалуется: «Как ни тереблю винтов наставленной памяти, многое уже не могу различить». Это совершенно лепидоптерологическое сравнение, явно вызванное к жизни разглядыванием чешуек в микроскоп, винты которого он немало покрутил.

Ему становилось страшно при мысли, что бабочки могут исчезнуть с лица земли. Надо защищать их! — требовал он. Набоков произносил речи в защиту любимых насекомых, — одну на французском ТВ за два года до смерти. Он там гневно обличал тех, кто виновен в истреблении бабочек — это «фермеры с их ужасными пестицидами, дорожные строители, кретины, которые на пустырях жгут старые шины и рваные матрасы...»

Бабочки: война и мир

Прежде бабочки, а уж после любовь, война, судьбы родины и т. д. и т. п. — у Набокова это выходило именно так; если, конечно, это не было бравадой и хорошей миной при плохой игре... «На тесной от душистых кустов тропинке, спускавшейся из Гаспры (Крым) к морю ранней весной 1918 года, какой-то большевицкий часовой, колченогий дурень с серьгой в одном ухе, хотел меня арестовать за то, что, дескать, сигнализирую сачком английским судам». Чуть

позже в тех же краях: «Розовый дымок цветущего миндаля уже оживлял прибрежные склоны, и я давно занимался первыми бабочками, когда большевики исчезли и скромно появились немцы».

Он чуть не записался добровольцем, чуть не сменил свой пацифистский сачок на винтовку! Остановка была за малым: «...в 1918 году мечтал, что к зиме, когда покончу с энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию и доберусь до Тамариного хуторка». Тут рейтинг, тут приоритеты расставлены: родину он мог спасти попутно, отправляясь к любимой девушке, — но и любовь была возможна только в свободное от бабочек время. «Но зима прошла — а я все еще собирался». Ни родины уж, ни Тамары — куда они все подевались? И только бабочки вечны, только они незыблемы...

И вот что же он, любопытно, опубликовал на вольном антисоветском Западе в январе 1920-го — про только что оставленный большевицкий Крым? Заметку «Я выбираю свободу»? Про зверства красных что-нибудь? Ошибаетесь, господа-товарищи, тут обошлось без плебейства. Текст, напечатанный в январе 1920-го в лондонском журнале *The Entomologist*, имел убийственное название, полное презрения к большевикам: «Краткие сведения о бабочках Крыма». И написан был «на основании списка (коллекция не спаслась. — И. С.) из семидесяти семи дневных и девяти ночных бабочек, пойманных и изученных в Центральном и Южном Крыму между ноябрем 1917-го и августом 1918 г.»

Похоже, бабочки были для него мерой всех вещей. Набоек ими, бабочками, мерил мировую историю, смену эпох и вселенские катаклизмы, — да вообще все. И революция, и Гражданская, и Вторая мировая, судя по его воспоминаниям, произвели на него глубокое впечатление в основном потому, что погубили его накопления, самое дорогое — волшебных невесомых бабочек. Первая его коллекция, еще мальчишеская, погибла вместе с усадьбой в Выре, вторая сгинула на Гражданской в Крыму, третья пропала вместе

с Францией в 40-м... Именно такие вехи мировой истории он расставляет! Поехали дальше, пройдемся по его научным публикациям. Вот 1941 год, весь мировой порядок под угрозой, публика волнуется. Набоков откликается на это заметкой «О некоторых азиатских экземплярах *Carterocephalus*». А вот лето 1943 года, мир весь в мировой войне. Что Набоков? Публикует актуальное исследование под названием «Самка неонимфы». Осень 45-го, все кончено, можно вздохнуть с облегчением. У всех победа — и у Набокова тоже! Он доводит до сведения научной общественности, что бабочку, которая ранее ошибочно называлась *Lykaena martha*, настало время переименовать в *Echinargus martha*. Поскольку найдены неопровержимые доказательства того, что насекомое принадлежит к роду *Echinargus* — в соответствии с новой классификацией, предложенной Набоковым и с его подачи принятой мировой лепидоптерологией.

Да что политика, что страны, империи и континенты! Бери выше. «Вы можете приблизиться, насколько возможно, к этим живым созданиям и увидеть отраженный в них высший закон», — это он мог сказать только о бабочках, а больше ни о ком.

Охота

Это — утверждал он — самый благородный спорт в мире. «Одно из самых совершенных удовольствий — душной ночью открыть окно и смотреть, как ночные бабочки влетают в комнату. У каждой своя манера: одни спокойно усаживаются на стене, и сидят там, пока их не накроют коробкой, другие кружат вокруг лампы пока не упадут на стол со сломанными крыльями и обожженными глазами. Третьи мотаются по потолку», — рассказывал он в одном из своих многочисленных интервью.

Бабочек он приманивал, приваживал — своим особенным коктейлем, вот рецепт: «Бутылка выдохшегося пива, два фунта сахара, немного рома. Перед самыми сумерками

чистой кисточкой надо смазать этим стволы деревьев — лучше старые, покрытые лишайником — и ждать. Они появятся ниоткуда и покажут свои красные нижние крылья, особенно яркие в свете фонаря, и лови их стаканом — начиная с самых нижних» (советы взяты из письма, датированного, кстати, августом 42-го. — И. С.).

Пойманные бабочки предавались смертной казни. Он учил, как совершать это ритуальное убийство: надо сдавить грудь в определенном месте. Набоков называл это континентальным, европейским способом убийства.

— Ни в коем случае не сдавливайте брюшко! — предостерегал он, — а то выдавятся внутренности.

Он убивал их совершенно безжалостно, хладнокровно и буднично, как киллер, — жена, кстати, на него за это даже обижалась. К нему приставали с дурацкими расспросами — не жалко ли убивать самых красивых?

— Нет. Все бабочки и красивы, и уродливы одновременно, — как люди. Я отпускаю их редко, только если они старые и потасканные или если они мне не нужны для моих исследований, — объяснял он на закате своей жизни, в 1974-м.

Вот это смешение хрупких насекомых со служением вечному искусству, это все отчего? Ведь трудно же понять. Он кто — серьезный основательный классик литературы? Или нелепый Паганель? Его про это то и дело спрашивали... А он отвечал, что это два разных удовольствия, и одно другим заменить нельзя.

— В удовольствии от охоты за бабочками я различаю четыре главных элемента, — разъяснял он корреспонденту Playboy в 1963-м, вскоре после обрушения на него безмерной славы. — Первое, это надежда на поимку — или таки поимка — первого экземпляра неизвестного науке вида. Второе, это поимка очень редкой или очень местной бабочки. Третье — интерес натуралиста к наблюдению за жизнью малоизвестных насекомых, изучение их повадок, определение их места в классификации... И четвертое: не надо игнорировать элемент спорта, удачи, быстрых движений и огромных достижений...

Его приоритеты

Коллеги Набокова, с которыми он обменивался научной информацией и образцами, уверяют, будто не знали, что в свободное от бабочек время ученый энтомолог еще и писал романы. Он якобы был для них просто специалистом по насекомым! Сам же Набоков оценивал свои заслуги на этом поприще скромно. Он переживал, что серьезного формального биологического образования так и не получил, и все, что он знает, — это морфология и биогеография нескольких видов... Некоего неизвестного нам Кузнецова из Ленинграда он ставил куда выше себя.

Однако биограф Набокова Брайан Бойд утверждал: «Когда Набоков покинул Америку, он был крупнейшим в мире специалистом по бабочкам». К этому моменту он успел проснуться знаменитым второй раз в жизни — уже как автор бессмертной «Лолиты». Однако надо признать: бабочек в его честь начали называть раньше, задолго до наступления широкой литературной славы. Что с точки зрения энтомологов относит писательские заслуги их коллеги на второй план... У них есть и еще более весомый аргумент! Смотрите: бабочками Набоков занялся в шестилетнем возрасте, то есть за 10 лет до того, как приступил к сочинению своей первой поэмы. А после, издав в 74-м году свой последний роман «Посмотрите на арлекинов!», он с литературой покончил навсегда и всю оставшуюся жизнь, до самой своей смерти (1977), собирал материалы к книге, посвященной отражению бабочек в искусстве. Иными словами, энтомологи предлагают такую концепцию: свою сознательную жизнь Набоков начал с бабочек маленьким мальчиком задолго до литературы — и порхающими же созданиями ее закончил, уже распрощавшись с брэнной литературой. Последняя, выходит, была не более чем эпизодом, развлечением в жизни серьезного ученого, который баловался сочинительством — да кто ж им не балуется? С этой точки зрения изящно выглядит, например, то, что ни в каких редакциях Набоков отродясь не служил и с готовностью писал в стол, не надеясь литературой зарабатывать на хлеб, — но в то же время трудился м. н. с. в раз-

ных научных учреждениях! Два года он проработал в Музее естественной истории в Нью-Йорке, составляя каталоги бабочек, а после еще семь лет — научным сотрудником в Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета...

Кстати, а что он сам об этом думал?

«Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу в личных молниях и посильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то — признаюсь — вскипаю непонятным волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия — изнурительные труды, изменения, внесенные мной в систематику, революцию с казнями коллег в светлом кругу микроскопа, образ и вибрацию во мне всех редкостных бабочек, которых я сам поймал и описал, и свою отныне бессмертную фамилию... в обозначении бабочек названных в мою честь. И как бы на горизонте этой гордыни, сияют у меня в памяти все те необыкновенные, баснословные места — северные трясины, южные степи, горы в 14 тысяч футов вышины, — которые с кисейным сачком в руке я исходил и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках».

Нет, сочинительство он, кажется, в таких страстных выражениях не описывал никогда...

А вот еще цитата из воспоминаний об уроках рисования, здесь есть указание на порядок ценностей:

«...знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, — но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве».

Еще про бабочек и сочинительство.

«Таким образом, мальчиком я уже находил в природе то сложное и “бесполезное”, которого я позже искал в другом восхитительном обмане — в искусстве».

Он с гордостью писал сестре в 45-м, что изобрел новый принцип классификации американских *Lycaenidae*, основанной на различиях в устройстве гениталий; притом что различия эти настолько малы, что видны только под микроскопом. Над которым он просиживал по 10 часов в день! Что посадило его зрение и вынудило в конце концов носить очки. Он литературе разве приносил такие жертвы? Да и ждал ли от нее таких успехов? Сушеные бледные бабочки казались ему куда бóльшим сокровищем, мы знаем, он над ними дрожал, и подумать о том, чтоб сжечь, он едва ли был способен.

А напоследок вот вам еще из Набокова:

Моя душа, за смертью дальней
Твой образ виден мне вот так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудак.

Там в роще дремлет ангел дикий,
полупавлинье существо.
Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,

соображая, что сначала
о нем напишешь ты статью,
потом... но только нет журнала
и нет читателей в раю.

(Из стихотворения «В раю»)

И точно, без читателей рай себе представить легко, —
а без бабочек поди еще представь.

ГРАФ ТОЛСТОЙ, НАШ ТОВАРИЩ

Приехав в Ясную Поляну к графу Толстому, выпускнику журфака МГУ, бывшему коллеге, я достал бутылку рома, которую прихватил с собой, — не с пустыми же руками идти в гости, — и в ненавязчивой форме предложил выпить.

— Отчего не выпить? — ответил хозяин просто.

Когда мы приняли по первой, он продолжил:

— Ром — отличный мужской напиток, вполне русский. Долохов, кстати, именно ром пил, сидя на подоконнике, — притом что Пьер Безухов, к примеру, больше по шампанскому.

Такое начало, конечно, сразу расположило меня к этому человеку. Симпатична и вообще его жизнь: поехал жить в деревню, за копеечную зарплату привел в порядок имение предков, даже и не подумав про реституцию.

Режиссер, сапожник, гуру

— Потрясающе. Вот про Долохова, про ром — это всё вы еще со школы помните или просто перечитываете?

— Регулярно перечитываю. Девяносто томов. Бессонными ночами.

— Все шутить изволите, граф! Я вас серьезно спрашиваю, — вы что, действительно обращаетесь к текстам?

— Если серьезно, то дневники перечитываю регулярно. Повесть «Казачи» — любимую вещь — очень часто хочется в руки взять. «Анну Каренину» перечитывал раз семь-восемь. Причем в последний раз я получил наивысшее наслаждение от чтения! Ведь когда первый раз читаешь, то фабула захватывает, следишь за любовными треугольниками. Во второй раз левинская тема интересует больше и что-то еще из того, что идет вторым эшелонем. А сейчас я уже не отвлекался на фабулу, на канву, просто наслаждался совершенно потрясающим фоном, на котором все происходит, — его при первом прочтении не ух-

ватить, так мозги устроены... Сейчас люди разучились читать, они читают наискосок. Вообще идет глобальное умирание книги. Но несмотря на это книга еще долго будет жить — как эксклюзивный продукт для небольшого процента населения. Вот я заметил: в Англии очень модно покупать серьезные книги...

— Дмитрий Набоков, сын писателя, знаток искусств и автомобилей, сказал мне как-то, что если бы Микеланджело жил сегодня, то занимался бы не живописью, но дизайном итальянских автомобилей, — поскольку именно тут передний край...

— Притом что любая вещь Микеланджело стоит дороже самого дорогого автомобиля.

— Но мы не знаем, как бы он сам продавал свои работы, если б жил и работал сегодня, — может, он имел бы бледный вид. Я это вот к чему: если бы Лев Толстой жил сегодня, то чем бы он, матерый человечище, занимался бы? Стал бы депутатом Госдумы? Режиссером? Как happening его уход из Ясной Поляны не менее важен, чем его книги. Он очень концептуален. Лев Николаич сильно ушел, очень мощно, все бросив. В этом — какая-то важная часть русской идеи. У нас что ни возьми, все недоделано: окно в Европу недорубили, Азию недоколонизировали, империю недостроили, коммунизм тоже, к Индийскому океану и проливам не дошли, то у нас диктатура, то вседозволенность...

— Страшная непоследовательность, да... А уход — это было очень талантливо... С точки зрения современной режиссуры это просто гениально. Не знаю, задумывался он об том или нет, хотел ли такого пиаровского финала...

— Хотел точно! Он это спланировал, он же написал про отца Сергия, который ушел бродить с сумой, и ему в пути встретились старые знакомые, дали ему копеечку и стали говорить между собой по-французски, чтоб он не понял. А он слушал, понимал — и жалел их. Фактически Лев Николаевич экранизировал свой же сюжет, воплотил его в жизнь, это такой скетч, капустник... В общем, вряд ли Толстой сегодня был бы писателем.

— Он вообще считал писательство несерьезным занятием и очень себя укорял за то, что столько времени отдал такой безделице, как писание художественных текстов. Он жалел, что только во второй половине жизни он начал искать истину и сапоги тачать, — тоже небесмысленное занятие...

— Кстати, а хороши ли были те сапоги? А то ведь злые языки говорят, что их не носил никто, они только на полках в коллекциях...

— В московском музее Толстого стоят сапоги, подаренные Фету. Лев Николаевич их вполне добротной стачал.

— А обуться и пройтись?

— Не пробовал.

— Ну какие ваши годы... Еще успеете. Когда Лев Толстой говорил, что писательское ремесло — это безделица, он не догадывался, как низко оно еще упадет!

— Да... Сценарии для сериалов он вряд ли стал бы писать, это и к гадалке не ходи. Но и сегодня есть люди, которые упрямо продолжают писать рыночно невостребованную литературу.

— Это кто? Уж не Виктор Лихоносков ли, которому ваш фонд дал премию?

— Абсолютно точное попадание. Действительно, это серьезный писатель.

— Я недавно перечитал его и могу сказать: уже слабей действует. Хотя, может, это возрастное...

— Произошли необратимые изменения в сознании современного человека. Видеоряд настолько мощно воздействует на людей! Нужны колоссальные усилия, чтоб почуять слово без картинки. В последние 15 лет совершенно другая психология чтения сложилась. Смерть толстых журналов наступила. А как гонялись за «Новым миром», какие были тиражи!

— Ничего не сделаешь. Сперва на камне высекали, потом чернилами начали писать, а теперь вот на дисках с картинками распространяют продукцию. Прогресс...

Толстовство шагает по планете

— Я вот, кстати, недавно вернулся с острова Тайвань, там производится больше 75 процентов всех ноутбуков мира. Но при этом тайваньцы очень интересуются Львом Толстым. Мы там по их просьбе готовим выставку русской литературы. Пушкин, Толстой, Шолохов — это их выбор. Эти три человека у них там на переднем плане, а потом идут Достоевский, Чехов и Максим Горький.

— Шолохов — это из-за «Нобеля»?

— Абсолютно, они так и понимают. И еще из-за того, что у него самый великий роман о казачестве, а судьбы тайваньского народа и русского казачества очень близки, как им кажется. Бедные тайваньцы, находясь под Японией и Китаем, вынуждены были умирать непонятно за чьи интересы, скажем на Филиппинах, вдали от дома. Да и Лев Толстой, кстати, автор повести «Казачьи дети». В общем, меня поразило их отношение к русской литературе, их интерес к подробностям биографий писателей, к их личным вещам.

— Литературная выставка — это как? Что вы им туда повезете?

— Они не хотят, чтоб мы везли только диски с фильмами и картинками. Им хочется увидеть рукописи, они же люди каллиграфически подкованные, у них ведь иероглифы, и на почерк писателя им интересно посмотреть... А еще они очень просили сапоги, которые стачал Лев Николаевич.

— О, как это тонко!

— Тут дело вот в чем. Выставка будет называться «Земля, народ, литература». А литератор в их представлении — это небожитель. И любое проявление им каких-то прямых отношений с землей и народом вызывает в них восхищение. То, что Толстой тачал сапоги и пахал, для них не менее важно, чем то, что он написал «Войну и мир».

— Сапоги вы, значит, повезете на Тайвань; а плуг графа Толстого?

— Плуг не сохранился... Организаторы выставки ожидают, что три месяца экспозицию осмотрит не меньше пятисот тысяч посетителей. Столько приходило смотреть царские

драгоценности и яйца Фаберже, а к нашим классикам там интерес не меньше.

— Да, сделали они нас по части так называемой духовности... А не только по ноутбукам.

— Ну я бы не стал так говорить, но интерес к русской литературе, к писателям у них искренний. В Пушкине их больше потрясает не то, что он родоначальник русского литературного языка, — но то, что он был маленького роста и, в общем, не красавец, а за него вышла самая красивая женщина России. Вот она, значимость поэта — в их глазах! Другое дело, что из-за нее [красавицы] жизнь поэта сократилась... Что касается Толстого, то тайваньцев приятно поражает, что у него было тринадцать детей. Этот факт производит на них самое серьезное впечатление, — могучий мужик. У них свой ракурс...

— В общем, Лев Толстой — это международный бренд. Наверно, часто приходится так ездить по работе?

— Ну, такие поездки — часть моей работы. Толстой чрезвычайно популярен в Индии, Японии. Он там пользуется отдельным особым спросом и отношением. Конечно, в Европе и Соединенных Штатах тоже есть интерес к Толстому, но, как правило, в среде университетской профессуры, студентов филфаков, славистов — людей, специально ориентированных на литературу, фанатов текста. На Западе обычно изучают какие-то тонкости, детали, там людей мало волнуют общие темы и масштабные проблемы. Они там могут написать целую монографию по узкой теме, тысячи источников перерыть ради какой-то, как нам кажется, мелочи.

— Но при этом им не приходит в голову жить, как Толстой, по его заветам. А многие индусы на это способны.

— Да! На Востоке все другое. Индусы, японцы, корейцы, — их интересует практическое применение в жизни провозглашенных идей. Вот, к примеру, возьмем роман «Воскресение», который у нас, очевидно, проходит по периферии толстовского творчества. А для японцев он, может, главный у Толстого. Отношения князя Нехлюдова и Катюши Масловой — вот что им интересно! Огромное

количество японских аристократических юношей стали брать в жены простых девушек, опрощаться... И сейчас это есть, а особенно это было распространено в 50—60-е годы XX века.

— Да, вот уж точно Лев Толстой как зеркало русской революции!

— Это зеркало японских отношений между аристократами и кухарками.

— И простая кухарка умеет любить, а не только управлять государством. Да, там, на Востоке, Толстой вызывает стойкий интерес! Помню, однажды лондонский таксист арабского происхождения, который меня вез, завязал беседу и, узнав, что я из России, заговорил про Толстого и показал удивительную осведомленность. Это очень странно... Это не придумка для прессы, я правда с такими вещами сталкиваюсь иногда...

— Лев Николаич как будто и это предвидел — он японский стал учить на старости лет.

— Не выучил. «То ли японский слишком труден, то ли стар и глуп», — сказал он по этому поводу. Не пошел язык...

— Сейчас таких самокритичных людей не сыскать.

— Нам сейчас трудно это понять, это была другая жизнь. У нас сейчас жизнь такая лукавая! А Лев Николаевич не был лукавым человеком, у него все было искренне и просто. Вот он так про японский сказал, притом что 13 языков в совершенстве знал. Писать мог на французском, немецком, английском. Он мог бы «Войну и мир» написать на английском языке или полностью, а не только вставки — на французском, что для него было даже еще легче. Ни один француз не скажет, что куски «Войны и мира» написаны не франкоязычным писателем. Вот у меня дочери выросли в Англии, по-английски прекрасно говорят и пишут, а по-русски — с ошибками. Сам я учил английский, итальянский и польский, французский тоже, но он у меня мог быть лучше.

— Еще про размах. В Голландии я слышал такие разговоры, что-де их страна построена на толстовских принципах, потому там люди курят траву и бракосочетают лесбиянок. Или это натяжка?

— К Толстому это имеет удаленное отношение, он никогда не был за вседозволенность. Не знаю, каким боком сюда можно пристроить покойного Льва Николаича... Но, с другой стороны, Голландия — милая страна, и мне приятно, что Толстого европейцы ассоциируют с идеей абсолютной свободы такой. Вся прелесть Льва Николаевича заключается в том, что практически любая группа людей, отстаивающая какую-то идею, может его записать в свои. Много кто это делал — от большевиков до буддистов. Даже военные, — он же офицер был. Под терроризм его сложно подписать разве что. Ушел человек почти век назад, а поди ж ты... Но, повторяю, вседозволенность — это не его тема. Лев Николаевич был очень строгих взглядов на мораль и нравственность.

— Ну это на старости лет только.

— Не совсем так. Лучше сказать, что он всю жизнь боролся с собой, а потом окончательно победил. Он не мог себя сдерживать и потом за это себя ругал. Что видно из дневников.

— Вы как-то сказали, что если б Лев Николаевич ожил, то, посмотрев на теперешнюю жизнь, сразу б снова помер.

— Думаю, ему с его чувствительной душой нелегко было бы смотреть вокруг. Ему было бы горько сознавать, что самые худшие опасения не только подтвердились, но даже и превзошли самые мрачные ожидания — насчет кризиса цивилизации, войн и насилия, обесценивания человеческой жизни. Он предупреждал, предостерегал человечество, говорил — опомнитесь, подумайте о душе! Но — нет...

— Да, он всех мерил по себе и думал, что публика все бросит, побежит трудиться и к тому же искать истину...

Графство

— В среде тульских чиновников вы известны под кличкой «Граф».

— Да, по понятиям — это кличка авторитетная.

— Мне, кстати, звонили люди, говорили, что от Джуны, и предлагали мне титул князя; я пока не дал согласия. А вот у вас — бывает, что вы, знакомясь с человеком, представляетесь как граф?

— Я никогда не представляюсь: «Здрасте, я граф Толстой».

— Да?

— Ну или очень редко. Но меня часто просят: «Вот тут у нас книжка Льва Николаевича, так вы на титульном листе распишитесь — граф Толстой». Ну а что, от меня не убудет, граф так граф, можно и подписать... А еще была такая ситуация, причем еще при советской власти, в семидесятые. Одна западногерманская журналистка все домогалась у моего отца — ощущает ли он себя графом. Мой отец ответил ей: «Фокстерьер всегда остается фокстерьером. По рождению...» Что я могу по этому поводу сказать? Тут нет никакой фанаберии, я в этом не вижу своей заслуги, но я — граф. Мой род прописан до XIII века включительно. Я знаю тридцать поколений Толстых. Знаю, как звали предков, когда они родились. Из этих тридцати поколений, которые уходят в глубь истории, всего десять поколений графства. А предыдущие двадцать поколений — не графы, они были просто дворяне. У первого графа, кстати, отняли титул, его самого вообще сослали на Соловки. Потом, правда, вернули — и самого, и титул. Власть же менялась, и то, что прежде было доблестью, потом преследовалось... Петр наградил, петровская дочка наказала, ну и так далее.

— У фокстерьеров должна быть бумага из клуба.

— Дворянское собрание — то, которое сейчас, — требовало бумаги от желающих вступить. Толстые были одними из немногих, у кого не запросили документов, подтверждающих, что мы дворяне. Нам, наоборот, сказали — пожалуйста, давайте к нам!

— Вот про дворянство, — у меня такое чувство, что советская власть вроде отменила сословия?

— Насколько мне известно — хотя, может, я плохой историк, — никакого специального декрета выпущено не было. Просто было объявлено, что сословий больше нет, и всё. То есть юридически это так и не было сделано. Честно говоря, я не придаю этому большого значения! Что тридцать поколений — это для меня важно, а то, что десять них графы — это не так принципиально.

— А когда графы Толстые подбирают себе пару, они учитывают сословный фактор?

— Такого у нас нету, чтоб подбирали себе ровню. Племянница Льва Николаевича вышла замуж за башкира. В XIX веке мезальянс всегда был очевидным, но сегодня трудно об этом говорить, ведь нет чистоты родов.

— Вот вы второй раз женаты; и что, обе они графини? Даже после развода?

— Да.

— И сыновья ваши дадут своим женам титул?

— Да.

— А дочери выйдут замуж — то титул не передадут.

— Нет.

Родня

— А вот Татьяна Толстая, она имеет отношение к вам? Она тоже графиня?

— Татьяна Никитична? Ну это вопрос очень деликатный. Его хотелось бы избежать...

— И все-таки.

— Что касается ее деда, Алексея Толстого, то я, честно говоря, вообще не считал его родней никакой. Но когда я был в Самаре, выяснил, что его мать ушла от своего мужа будучи беременной. И вышла замуж за инженера, очень достойного человека, которого я всегда считал отцом Толстого Алексея Николаевича — но который, согласно медсправке, не мог иметь детей... Так что Алексей Толстой — все-таки сын графа Толстого, очень дальнего нашего родственника. Алексей Толстой был хорошим писателем, достойным уважения хотя бы за его дарование. Хотя мне лично не симпатичны его заигрывания с властью. Но уж это уже выбор каждого.

— Бунин его чехвостила.

— Да, Иван Алексеич о своем товарище отзывался пренебрежительно. Но мне не хочется никакой предвзятости. С Татьяной Толстой тесного общения у нас не было, только издали. Может, если б мы встретились, то полюбили б друг друга...

— А самый первый граф Толстой — это был чекист Петр Андреич, который выкрал на Западе царевича Алексея и пытал его после с Петром Первым?

— Да. Он первым получил графство. Сегодня одних прямых потомков Льва Николаевича от тринадцати детей, рожденных в браке совместно с Софьей Андреевной, около двухсот человек. Это большая семья, часть которой живет в Швеции, Канаде, Америке, Италии, Франции, в Уругвае, Чехии, на Мадагаскаре...

— Официальных, стало быть, тринадцать детей. Но и еще ж были, так? Матерый человечисе все же.

— Известен один внебрачный сын, которого Лев Николаевич признал, — это Тимофей, рожденный от крестьянки Аксиньи Базыкиной. Есть общество потомков незаконно-рожденных детей Льва Николаевича. От членов этого общества я получаю письма регулярно. Вот сейчас в тюрьме сидит один человек, который бездоказательно, без бумаг, пытается уверить меня, что он потомок Льва Толстого. Прислал мне письмо, в котором рассказывает, что его прабабушку отправили в ссылку на хутор, поскольку она была беременна от графа Толстого, а он теперь сидит в тюрьме и плачет.

— Ну, известная песня.

— Абсолютно известная. Но я купился на это! Ну ладно, думаю, съезжу навещу несчастного человека, он сидел неподалеку, в Туле, — не убудет меня. Письмо это привезла мне женщина, которая с этим зэком жила, она рассказала свою историю про то, как ее ограбили, а потом этот человек ее выручил, и она из благодарности стала с ним жить. Такая вот история, которая сама по себе на роман тянет.

Сгоревшая рукопись

— А вы не думали все бросить — и написать этот роман?

— Думал. И не один раз, и не только этот роман, у меня есть еще сюжеты... Но это ж не так просто — подписать роман фамилией Толстой.

— Вон Татьяна Толстая пишет же. И ничего страшного.

— Ну значит, такая она лихая. Может, я менее лихой? Вообще-то я уже написал один роман. Когда мне был 21 год. Показал одну главку отцу, от посмотрел и сказал — хорошо... А потом мой подмосковный дом на Клязьминском водохранилище — там я жил до переезда в Ясную Поляну — в один прекрасный день благополучно сгорел. И рукопись вместе с ним. Эта сгоревшая рукопись меня внутренне освободила. Не писать же одно и то же два раза.

— Так что это, знак такой был — что рукопись сгорела?

— Не знаю. Но это освободило меня от необходимости кому-то показывать текст, скрываться за псевдонимами. Это была такая борьба, которая закончилась моим полным поражением.

— А о чем был роман?

— Я записал потрясающие истории, которые происходили с людьми, которых я встретил в Волгоградской области, на Дону. Они жили в некогда богатой станице, которая превратилась в бедный хутор. Это были истории страшной красоты и невероятные по драматизму! Ну вот одна... Грубый казак полюбил девушку с соседнего хутора, родители и братья ее от него запирали, он ее украл и нес на руках 15 километров. Они поженились, ей пришло время рожать, на майские праздники. Акушер был пьяный, он фактически зарезал несчастную, она погибла. Обезумевший вдовец выкопал из-под яблони обрез и застрелил пьяного акушера. Человек пострадал на всю жизнь — сел, конечно. Я с ним встретился после его отсидки, и он рассказал мне про нежность к жене, которую он потерял... Я вот начал рассказывать, а зря — нельзя, не надо этого.

— А в журнале не страшно было подписываться — Толстой?

— Это было проще. Журналистика — это вообще такая легкомысленная профессия. Ни к чему не обязывает. Хотя я с гордостью вспоминаю 12-летний период работы в «Студенческом меридиане», — отличный был журнал.

— А какой отдел был, комсомольской жизни? Или отдел морали и девственности?

— Нет, литературы и образования. И про спорт писал. В командировки ездил по письмам. Помню, как-то нашел три интересных письма — и уехал в Сибирь на три недели. Заехал в три города. В Иркутске жила девочка, которая боролась против поворота северных рек.

— И, как мы теперь знаем, победила.

— В Улан-Удэ был ответственный комсомольский работник, который тайно посещал буддийский дацан. А в Новосибирске нашелся какой-то парень, изобретатель, которому из наших министерств в ответ на его заявки слали отписки, а из Швеции прислали заинтересованное восторженное письмо, предложили сотрудничество.

— Шпионаж чистой воды. Сейчас много таких процессов.

— Да. Чудом уберегся парень, а то получил бы полный срок.

— И так вот вы работали журналистом до тех пор, пока вам не сделали предложение, от которого вы не смогли отказаться.

— Наверно, и так можно сказать. Это был интересный вызов, я принял его и ни разу об этом не пожалел.

Отлучение

— А вы завершили тяжбу с нашими церковными деятелями?

— У меня нет тяжбы и не было. Я всего лишь позволил себе письмом напомнить патриарху о приближении столетия с момента опубликования определения Священного синода, в котором официально объявлялось об отпадении Толстого от церкви. Это было в феврале 2001 года. В письме я выразил свое мнение: необходимо осмысление этого события, его последствий и какой-то диалог по этому поводу. Это было частное письмо, но оно просочилось в прессу.

— Насколько я помню, Толстой сам объявил о своем отпадении от официальной церкви, а она просто это засвиде-

тельствовала, обозначила, что в курсе. Фактически он объявил, что церковь не права и ее обряды ему не нравятся.

— Ну есть много разных аспектов. Даже душегубов не отлучали! А Толстой, который жадно искал истину именно в христианстве, — он был отлучен... Ну разошлись они, церковь и Толстой — ну и пусть живут каждый своей жизнью и идут своими дорогами. Но сам факт публикации официального мнения Священного синода, в котором Толстой объявлен еретиком, — этот факт публикации взорвал ситуацию в стране. Со страшной дикой силой! Может, от этого и пошел раскол страны после революции! Российское общество разделилось почти пополам по всей вертикали!

— Ну остается только предположить, что Лев Николаевич именно этого хотел. А на что еще он мог рассчитывать? Чего он мог ждать от патриарха? Что б тот выступил публично и сказал: «Виноваты мы, ваше сиятельство, спасибо за критику, исправимся и будем исполнять обряды так, как тебе, Лев Николаич, хочется. Как скажешь, так и будет». Мне кажется, Толстой не оставил Синоду выбора...

— Синод мог не обращать внимания.

— Вряд ли Толстой мог рассчитывать на то, что этот конфликт останется незамеченным — поскольку знал, что за ним со вниманием следит вся страна... Похоже, он знал, что делал, на что шел.

Возвращение Владимира Ильича

— А дед ваш, Владимир Ильич, почему вернулся в Россию?

— Очень сильно его влекло на родину. Дедушка был участник [европейского] Сопrotивления, принимал участие в освобождении Югославии от фашизма, встречал там Красную Армию, помогал ей. И благодаря этому одним из первых получил разрешение на возвращение. Меня спрашивают часто: а почему вы не уедете, у вас там столько родни на Западе, и работу предлагали хоть в Лондоне? А я говорю — не для того мой дед возвращался, чтоб я отсюда уехал.

Ясную Поляну я ни на что не променяю: ни на Москву, ни на Лондон, ни на Париж.

— Мне смешная мысль пришла в голову. Если б ваш дед остался в Югославии, то и вы бы имели возможность поучаствовать там в Сопротивлении — все тем же немецким войскам, которые вошли в Косово уже в новое время, в составе НАТО.

— Да, вполне мог бы. На новом витке диалектической спирали.

— И вы б красиво закольцевали б тому.

— Бог мне дал закольцевать другую картину, более мощную. Я горжусь тем, что мои сыновья родились в Ясной Поляне. Это очень симпатично, что Толстые снова родились в Ясной Поляне. Когда-то давно, еще до пожара [в доме на Клязьминском водохранилище], мой папа дал мне почитать дневники деда. И вот он там в 1936 году написал приблизительно следующее: «Люблю Югославию, эта страна дала нам кров и работу, мы тут были счастливы. Но есть у меня мечта, которая кажется несбыточной. Но, может быть, внуки мои все-таки родятся в России, а правнуки — в Ясной Поляне?» Он тогда не мог предположить, что через десять лет вернется на родину и внуки его родятся в России, и он до этого доживет, — а после правнуки появятся на свет в Ясной Поляне. Но он оказался провидцем. Я прочитал эти строки, когда мой старший сын уже родился... Кстати, я в чем-то даже завидую мальчишкам своим. Я — пришлый москвич, который тут хоть и вживался, но все равно чужак. А мои ребята тут родились, для них Ясная Поляна — настоящая родина.

Деньги и справедливость

— Владимир Ильич! Мне хочется вас сравнить с другим дворянином — Дубровским. Только у его предка сосед имение отнял, а у вашего — так называемое государство рабочих и крестьян. Я так и вижу вас во главе местных, вы в лесах, грабите проезжих, и ваши люди говорят: «Барин, за тебя на что хошь пойдём!» Какой сериал бы получился!

— Ну, это только теоретически так. Конечно, картина живописная, но я понимаю, что государство много сделало для Ясной Поляны. Оно с 1921 года вкладывает средства в имение.

— Могло б и больше вложить.

— А могло и меньше.

— Да, действительно, могло быть и хуже. Спасибо, что не спалили и не снесли... Как у нас принято. Граф! Я вот о чем подумал. Мало того что Лев Николаич, написав ряд бессмертных романов и как бы обеспечив будущее своей родни, в какой-то момент вдруг полностью отказался от литературных прав на свои произведения. Его книги с тех пор продолжают выходить миллионными тиражами, а потомки не получают никаких отчислений. Софья Андреевна пыталась с этим бороться, как мы знаем...

— Но она потерпела фиаско. Младшая дочь писателя Александра Львовна выполнила завещание отца и все его труды передала в общественную собственность.

— А чего стоят разговоры о том, что завещание это сомнительное?

— Ну, оно многим кажется сомнительным — по форме, по месту написания. Но его никто никогда не оспаривал. Видимо, не зря. Значит, достаточно оснований для того, чтоб считать его настоящим.

— А вот вы, Владимир, согласны с такой постановкой вопроса: «Мало ли что заработал Лев Николаевич, ваш предок! А вы все равно идите и работайте! На что будет семья жить? На зарплату!»

— Это правильно! Да мы так и жили все время. Мы всегда работали. От чего-то Лев Николаевич нас уберег — от иждивенчества к примеру. Вместо того чтоб жить на проценты от его книг, пьес, фильмов и прочего — мы работали. После смерти Льва Николаевича семья очень тяжело вставала на ноги. Особенно после революции, в эмиграции. Толстые поработали таксистами, попели в ресторанах... Они штопали чужое белье. Все это было, но все встали на ноги, поднялись.

— Как и хотел ваш предок. Он ведь не раз повторял: «Невыносимо жить в роскоши и праздности». Так ведь?

— Невыносимо, конечно. Хотя иногда очень это хорошо...

— Содержание Ясной Поляны, как известно, обходится в 4 миллиона долларов каждый год. Это все из бюджета?

— Государство дает 3 миллиона с небольшим, остальное добывает сама Ясная Поляна. Это в основном доходы от туризма. А туристов у нас бывает около трехсот тысяч в год.

— А вот без вашего разрешения по железным дорогам катается поезд «Лев Толстой». Вы по этому поводу не судились?

— Нет, руки не дошли. И до одноименного теплохода не дошли. Хотя у нас защищено право на эту торговую марку...

— Но зато вы с конфетами «Ясная Поляна» судились — и победили.

— Не судились, но действительно получаем от них небольшую компенсацию. Но это крохи. У моих французских родственников была коллизия судебного процесса с немецкой фирмой, которая выпускала водку «Лев Толстой», с его портретом на этикетке и даже с датами жизни. Единственное, что они отсудили, так это то, что выпуск водки был прекращен.

— И кому от этого хорошо?

— Потребителям, потому что водка была ужасная. Безобразная!

— Хорошо бы вам еще арестовать поезд «Анна Каренина», который тоже совершенно безнаказанно катается.

— К «Карениной» нет претензий, пусть ездит. Мы защитили только бренды «Лев Толстой» и «Ясная Поляна».

Опущение

— В отличие от вашего великого предка вам удалось уйти в народ. Вы живете в деревне, работаете. Бедность, труд — все, как мечтал Лев Николаевич. Все сбылось!

— Думаю, до конца мне это не удалось. Я делаю какие-то вещи искренне, а выходит не всегда... Вот я пошел косить с мужиками. Я хорошо кошу. Но все равно в этом есть какая-то фальшь. Люди на это смотрят с усмешкой.

— Про Льва Толстого тоже много говорили, что он только к курьерскому выходил пахать.

— Это все юмор.

— Но, в принципе, есть у вас какие-то поля у железной дороги?

— Да нет, нельзя было ничего с поезда увидеть. А Толстой искренне это делал, по-честному. Хотя всем было видно, что это не мужик косит и пашет, а граф... Все свое детство в местечке Троицкое я колол уголь, — папа из экономии покупал крупный, который в печку не лез. И я колол по десять ведер в день, чтоб поддерживать тепло в доме. Дорожки от снега чистил, на колодец ходил за водой, — это все было в прядке вещей. Граф не граф, а труд — привычное дело. А тут это воспринимают как выпендрож. Типа я под демократа решил закосить...

— Вот и Льву Николаевичу не удалось убедить людей, что он не для пиара пашет...

Это жизнь.

ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

Из всех, кто когда-либо жил в Семипалатинске, самый великий — это, конечно, Достоевский. До сих пор сохранился дом почтальона Ляпухина, в котором Федор Михалыч снимал этаж. Он написал здесь «Село Степанчиково», «Дядюшкин сон» и начал «Бесов». Понятно, что теперь тут музей. Можно посмотреть, как жил классик: спальня и кабинетик, метров по девять, гостиная и столовая — чуть больше, кухня, везде — бедная простенькая мебель...

В те годы, как написал кто-то из современников, «во всем городе (в котором вдобавок не было тогда ни одной мощеной улицы, и некоторые принимали его за деревню) газеты получали человек десять-пятнадцать, да и немудрено — люди в то время в Сибири интересовались только картами, попойками, сплетнями и своими торговыми делами».

Надо сказать, что Федор Михалыч попал в эти места не по своей воле. Тянуло его совсем в другую сторону, уж никак не на Восток. Свои желания, вспоминая конец сороковых, он описывал так:

«Верона, Ромео и Джульетта — черт знает какое было обаяние. В Италию, в Италию! А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом...»

Другой зэк, тоже писатель, Эдуард Лимонов, но по поводу посадки коллеги возмущался: «В кружке Петрашевского всего лишь обсуждали новомодные западные идеи... Но в хваленой царской России этого было достаточно, чтобы быть арестованными». Формулировка приговора была потрясающая: «...за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, — лишить... чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Это всего лишь за недонесение! А мы еще жалуемся на что-то... После пяти лет каторги (ею, как известно, заменили расстрел) Достоевского отправили еще на четыре года служить рядовым — в 1-ю роту Сибирского 7-го линейного

батальона, расквартированного как раз в Семипалатинске. Служба медом уж никак не казалась. Вот вам цитатка:

Как нижний чин, Достоевский участвовал в экзекуциях — стоял в строю и трясущимися руками опускал палку на спину какому-нибудь бедолаге, приговоренному начальством. Его (я так понимаю, что самого Федора Михалыча — *И. С.*) уносили в конвульсиях с этих адских мероприятий. Нервные припадки, которыми он был отмечен с детства, начали перерастать в эпилепсию.

Но потом жизнь стала понемногу налаживаться. Достоевский из казармы переехал на частную квартиру, подружился не только с первым казахским интеллигентом Чоканом Валихановым (в тех краях часто вспоминают о дружбе «двух гениев двух народов»), но и с местным прокурором бароном Александром Врангелем, ценителем «Бедных людей». Врангель «свел рядового с губернатором, и скоро Достоевского произвели в унтер-офицеры. Перед ним распахнулись двери домов именитых горожан, где остальные гости постоянно его путали, правда, с денщиком и порывались всучить верхнюю одежду».

Именно в Семипалатинске Достоевский завел наконец первый в своей жизни роман, — это в 33 года-то! (Неудачные ухаживания еще на воле за знаменитой петербургской красавицей Панаевой, которая смеялась над влюбленным с его счастливыми соперниками, не в счет.) Счастливицей стала замужняя дама Мария Исаева, двадцати восьми лет, «с капризной нижней губкой и нездоровым румянцем на щеках, очень нервная и худенькая блондинка». «После того как ее супруга-пьяницу перестали принимать в приличных местах, она тоже безвылазно сидела дома и сильно страдала по этому поводу». Как только эта блондинка овдовела, писатель, как легко догадаться людям, знающим его натуру, тотчас же сделал ей предложение. Но! Избранница сперва поимела роман с молодым учителем Вергуновым (Достоевский еще искал ему хорошую работу, чтоб тот мог устроить счастье любимой обоими женщины, господи, какая ерунда

это все), а уж после, охладев к юному любовнику, уступила Федору Михалычу. Страсти кипели такие, какие поди еще сочини: «В первую брачную ночь он с диким стоном упал и забился в судорогах: эпилепсия! Такой диагноз ему поставили впервые...» Кто-то из биографов написал, что «жена не смогла оценить мужа как писателя и в постели не разделяла его страсти». Вот так как-то все складывалось в Семипалатинске. Сплошная Достоевщина. Такое впечатление, что мы где-то про это читали, про все путанные провинциальные страсти. Ну да, писатель позже это все изложил, и не раз, в несколько измененном виде. Не только изложил, но и устроил ряд римейков и вариаций на эти темы в своей собственной жизни.

Когда Мария Дмитриевна умерла, Достоевский, само собой, страдал, и эти страдания только усугублялись тем, что его вполне могла мучить совесть, — ведь у писателя к тому моменту в разгаре был уже новый мучительный, как он любил, роман — с очередной красавицей, Апполинарией Сусловой. Вот уж с ней-то Достоевский, как он хотел в молодости, поколесил по Европе — в которую его так тянуло и вместо которой он провел лучшие годы в Сибири.

Прощание с Семипалатинском было в жизни Достоевского не самой мрачной страницей.

Попрощаемся же и мы с этим симпатичным гостеприимным городом...

О ВРЕДЕ ПОРЯДОЧНЫХ ЖЕНЩИН

Некий москвич средних лет поехал в Крым на отдых. При чем, будучи отцом семейства, один.

Он особо не распространялся о том, как он там провел первые две недели, но точно известно, что на пляже не валялся и в запой не уходил. А чем же тогда он заполнял досуг? Можно только догадываться о его развлечениях, зная о наличии в тех краях разных студенческих баз отдыха, с фестивалями-карнавалами, и просто недорогих проституток — в самом деле, не могли ж они все в одночасье уехать в Москву.

И вот однажды сидит он один в кафе на набережной и видит явную непрофессионалку, которая со скучающим видом прогуливается вдоль моря — и тоже одна. Он всмотрелся: вроде симпатичная. Надо полагать, тоже приехала отдохнуть от тягот семейной жизни. Прибыла, похоже, только что: загара нет нисколько. Москвич, естественно, побежал знакомиться со вновь прибывшей, пока никто на нее глаз не положил и не прибрал к рукам. Завел беседу. Она тут же говорит: скучно. Он намек понял. Но тем не менее на тему скуки пошутил: вот, приезжают люди в Ялту и им тут скучно; а сами из Белёва или Жиздры, — то-то у них там якобы весело! Дама злую шутку проглотила, хотя все поняла: она была из Серпухова, кажется. (Я, кстати, бывал в Жиздре: такая пыльная дыра, что после нее даже Хельсинки кажется большим веселым городом. Хотя справедливости ради надо сказать, Жиздру я посещал в последний раз еще при советской власти; может, она с тех пор сильно изменилась и сравнялась с Лас-Вегасом?)

Дальше, понятно, обеды, ужины, вино, прогулки, причем дама везде, наподобие телеведущей Светы Конеген, таскалась со своей собачонкой. В один из вечеров они с прогулки попали, разумеется, в койку. Дама оказалась в этом смысле никакая, не по этой части, зато тут же началось обычное нытье советских девушек: «а, ты меня теперь не уважаешь»

и прочая ерунда. Москвич тем не менее продолжал проводить время с этой дамой: остальные были еще занудней.

Потом они разъехались по домам и зажили как прежде.

Но через какое-то время в рутину вкралась поправка: однажды зимой москвич поехал в Серпухов, нашел там эту даму, зазвал к себе в отель — и они возобновили нежную дружбу. Она стала наезжать к нему в Москву, где они встречались в отеле же.

В какой-то момент они задались вопросом: а что дальше? И дали такой ответ: кто его знает. Ответ ясный, четкий, правдивый и верный.

На этом автор счел возможным поставить точку. Что же, это его право.

Не нам учить Антона Павловича, как сочинять короткие лирические рассказы. Да и поздно уже.

Хочется только сделать от себя короткое добавление. Многие так и видят в этом москвиче настоящего Чехова, такого дымчатого, бесплотного, интеллигентного (в плохом смысле этого слова). Такого его нас заставляли проходить в школе. Просто жалко становится человека. Но в жизни, слава богу, все было не так. Антон Палыч в этом смысле жил весело и широко. И был он не бесполой ботан, а напротив, настоящий ходок. Я с радостью думал об этом всякий раз по пути в редакцию, которая находилась в самых что ни на есть чеховских местах. Мало того что он где-то там, между Сретенкой и Трубной, снимал квартиру, так еще и часто бывал на районе по делам. Антон Палыч студентом подрабатывал здесь на медосмотрах проституток, которые как раз гнездились в описанных местах. Девицы давали охочему до них молодому медику скидку. При всей своей тонкости Чехов не раз жаловался друзьям на так называемых порядочных женщин: они-де слишком занудные (и собачек зачем-то таскают за собой), с ними мухи от тоски дохнут. То ли дело падшие девицы! Свидетельских показаний на эту тему полно. Большой издатель Суворин со смешанными чувствами рассказал такую историю. Вывез он однажды молодого

писателя, своего автора, в Рим, и, едва только они бросили вещи в отеле, тут же позвал осматривать культурные достопримечательности. Классик решительно перенес экскурсию на завтра, сославшись на усталость с дороги, и немедленно потребовал у портье адрес наилучшего публичного дома. Что касается увлечения Чехова этническими проститутками (Индия, Япония — это всё по пути с Сахалина, он оттуда возвращался морем), то это просто песня, причем отдельная.

При всем своем огромном интересе к платному сексу, писатель, к сожалению, не гнушался и порядочными женщинами. Есть такое мнение, что они его и погубили.

Это касается главным образом известной в свое время актрисы Ольги Книппер, впоследствии Книппер-Чеховой, кратковременной жены и после многолетней вдовы классика. Есть убедительная версия, что эта Ольга вытаскивала больного Чехова из Ялты в морозную Москву (несмотря на категорический запрет врачей!) на репетиции его бессмертных пьес, принося жизнь писателя в жертву театру. Мотив такой: надо же ей было где-то блистать. Некоторые литературоведы даже уверяют, что Станиславский специально велел Книппер, даром что она, как и положено примадонне, была его любовницей, соблазнить Чехова — чтоб подтянуть его к театру.

— А не вредно ли больному отлучаться из Крыма на север? — спрашивали добрые люди.

— Нам бы этот сезон продержаться, а там Макс Горький обещал пьесу «На дне» дописать, — якобы отвечал циничный главный режиссер. А что, театралы вообще такие. Они думают, что важней театра ничего нет...

Из всех чехововедов мне больше всего понравился английский профессор Дональд Рейфилд, автор колоссального труда «Жизнь Чехова». Дотошность у него просто нечеловеческая. Так, англичанин даже достал где-то график месячных Ольги Книппер и, совместив его с расписанием ее поездок в Ялту к законному мужу, пришел к выводу, что беременна она была (дело кончилось выкидышем) не от Антона Палыча, а от другого человека — предположительно от режиссера Станиславского.

Этот иностранный профессор перечел кучу всяких русских ЖЗЛ про Чехова и страшно удивлялся: почему в них нет ни слова про увлекательные любовные похождения писателя? Может, наши литературоведы по лености не познакомились с архивами? Но они в них рылись и все дружеские письма с отчетами про шлюх читали, это зафиксировано в архивной отчетности... Все знали — но не донесли интересных сведений до широкого читателя. Англичанин сделал вывод, что наши сделали это с целью приукрасить Чехова.

И итоге оболгали человека, выставив его робким импотентом.

Зачем? Что он плохого сделал литературоведам?

ДИКАРИ И ОФИЦЕРЫ

Один русский офицер поехал воевать в Чечню. Там ему было скучно. Особенно парню не хватало женского общества: так получилось, что русских дам там не было. Однажды во время своих поездок по мятежной республике этот офицер засмотрелся на несовершеннолетнюю местную девицу, которой было 15 лет. Офицер вошел в преступный сговор с одним местным авторитетом, которого и федералы, и боевики держали за своего. Схема преступной сделки была такая. Авторитет похищает девицу (которая считалась вроде его родственницей, хотя кто их там разберет, они все типа родственники) и передает ее офицеру. Тот в уплату передает вору транспортное средство, незаконно изъятое у другого чеченца, который, с одной стороны, вроде местный омоновец, а с другой стороны, по оперативным данным, совершает нападения на блокпосты федералов.

Сделка совершилась. Офицер привез похищенную несовершеннолетнюю девицу в расположение части. Было известно, что ее отец принялся искать дочь и предъявлять федералам претензии, но вскоре погиб при подозрительных обстоятельствах. Его убийство наши военные свалили на того авторитета, у которого конфисковали транспортное средство. Но в целом властям на это было наплевать. Никаких следственных действий предпринято не было. Кого волнует судьба простых чеченцев?

Офицер наш меж тем открыто сожительствовал с похищенной несовершеннолетней сиротой на глазах всего личного состава. Включая старших офицеров, между прочим. Те радовались, что их молодой товарищ хоть как-то развлекался. Они, может, и завидовали, но виду не подавали, боевое братство все же.

Потом чеченка офицеру, как и следовало ожидать, надоела. Ее бы вроде и домой отправить, да некуда: отца, как мы знаем, убили, про мать ничего неизвестно, может где в Чернокозово сгинула, брат пропал — предположительно ушел в банду. Офицер начал куда-то пропадать и оставлял свою бывшую чеченку без присмотра. Легко предположить, что в такой ситуации сирота могла стать объектом сексуального преследования со стороны рядовых. Очень скоро чеченка была найдена вне расположения части со смертельным ножевым ранением. Ее до-

ставили в медсанбат и вроде оказали медицинскую помощь, но такую, что через два дня несчастная умерла. Военврач вообще с самого начала был уверен и говорил об этом прилюдно, что та и дня не протянет, — ну а чего тогда возиться зря?

Обстоятельства транспортировки похищенной из расположения части за ее пределы и нанесения ей ранения очень подозрительны. Но командование приняло рыхлую версию, сформированную на туманной основе показаний офицера-похитителя и его сообщников. Типа чеченка сама сбежала из части (ага, попробуй покинь часть в военное время, пройди все посты!), а там, за воротами, ее якобы сразу же похитил некий боевик. Федералы, которые как раз возвращались с охоты (неплохо устроились — развлекаются на деньги налогоплательщиков с казенным оружием и снаряжением), погнались за ним и стреляли вдогонку. Но он все равно ушел от погони, а чеченку бросил, предварительно зарезав. Та перед смертью рассказывала всем про свою любовь к похитителю, ну да что тут сказать — типичный стокгольмский синдром.

Легко догадаться, что несмотря на целый букет статей УК РФ:

— ст. 127, ч. 3 — незаконное лишение свободы, от 4 до 8 лет;

— ст. 132, ч. 2 — насильственные действия сексуального характера, от 4 до 10;

— ст. 293, ч. 2 — халатность, до 5;

— ст. 162, ч. 3 — разбой, от 8 до 15, с конфискацией;

— ст. 105, ч. 2 — убийство, от 8 до 20 либо пожизненное, — никто из членов преступной офицерской шайки не понес наказания. Да и расследования не было никакого. Командование отнеслось к этому происшествию с удивительным равнодушием. Ну украли, ну зарезали, — и что теперь? Ладно б то были русские, а то ж дикари, папуасы. Шума никто не поднимал: чеченцы — оттого, что понимали бессмысленность протестов, а наши военные — из горячего сочувствия к своим. Но на всякий случай, чтоб совсем замять дело, главного фигуранта — офицера-похитителя — перевели в другую часть.

Эта история получила огласку благодаря другому офицеру, служившему в Чечне, о котором известно, что перед отправкой на Кавказ у него в Европейской части страны были проблемы с правоохранительными органами. Фамилия его, кажется, Лермонтов.

«ИДИОТИЗМ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ» (Заявка на сценарий фильма ужасов)

В некоторой стране, в сельской местности, один человек завел роман с девушкой, с которой ему не следовало бы связываться. От нее бы лучше держаться подальше. Много леденящих кровь историй начинается именно с этого захода! В данном случае человек позарился на любовницу своего шефа. Тот сильно огорчился, поймал подчиненного и...

Что они там с ним сделали, для зрителя остается тайной. А после «везучего» любовника вывели его в поле. Мститель поехал как бы на охоту, с собаками. И подъехав поближе к несчастному натравил на того этих собак. Тот побежал, надеясь спастись. Но собаки были как раз борзые, им того и надо, чтоб кто побежал — и кинулись и, само собой, порвали приговоренного. Ужасная, живописная смерть. Хорошо смотрится крупным планом. Перед смертью, похоже, порванный собаками типа проклял своего убийцу и его потомков, вообще весь класс, к которому принадлежал ебарь-неудачник, да и вообще всю страну, включая свою родню! На много лет вперед.

Потомки его жили и впрямь неудачно. Сын убитого был вором, грабил церкви, пока не попался. Внук — мелким лавочником и алкоголиком, спился и помер, чего ж хорошего. Правнуков сожранного собаками звали Тихон и Кузьма, они тоже сперва оба торговали, вместе. Но потом «братья однажды чуть ножами не порезались — и разошлись от греха». Чуть — потому что проклятие, видно, начало слабеть. Они разделились, один остался в деле, а другой забрал свою долю и на эти деньги, пока не кончились, странствовал и сочинял плохие стихи, и даже издал их книжечкой.

Кузьма, философ, значит, бродяжничал, как ему и положено. А Тихон — по чуть, по копейке богател. Он женился, родил ребенка, но ребенок долго не прожил. Он снова женился, и новая жена нарожала ему много детей, одного за другим, и все мертвые. И как будто в насмешку богатства у него становилось все больше, он даже заполучил имение

потомков душегуба, ну того, с борзыми собаками. Но что ему было с того толку? Он размышлял: «Господи Боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода... А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек, — да все таких, что смотреть страшно и тошно, — прямо полк целый!»

Проклятие действовало. Тихон его еще усиливал, он думал про таких: «У, нищоброды, пропади вы пропадом!» Они его тоже ненавидели и зарились на его имущество, он ходил с вольной в кармане и мечтал отравить соседские колодцы и пожечь их дома, — тогда ж они его не тронут, верно?

Потом он присмотрел чужую жену по прозвищу Молодая и стал с ней жить, надеясь, что она родит. Муж ее бил смертным боем. А Тихон ее покрывал. Он устраивал случку за случкой, но избранница так и не родила Тихону. А денег меж тем все прибавлялось. Такая образовалась закономерность: чем меньше в его жизни смысла, тем больше денег. Обидно до слез! Свои духовные искания он описывал в таких выражениях: «Не до леригии нам, свиньям! Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!»

Меж тем Тихон видя всю бесплодность своей затеи выгнал Молодую с мужем, — а потом, спасая ее жизнь от руки мужа же, дал ей яду, и она мужа отравила. Хотел увеличить народонаселение, а получилось наоборот.

А другие, думал Тихон, могут же жить по-людски: «Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели, — и не только но пьяному делу, — все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают как с равными, — вот вспомнить-то ребенку и будет что.

А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибираться... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрасиваний гость лишнего стакана не выпьет...»

Но и тут проклятие сработало, опять хотелось лучше, а получилось... Не прошло и пяти лет, как первый раз — а поколение спустя и еще раз — казавшиеся такими чудесными немцы начали обустраивать Россию, и добром это ни в один из разов не кончилось. Досталось и жидам — второму замечательному народу в завистническом списке Тихона.

Дни текли в таком духе. Водка, селедка, слякоть, скотина на дворе, темные работники, бестолковые бабы... Хорошая цитатка. Тихон выпил, подозвал кобеля... и «изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог».

Второй брат, Кузьма, как мы уже знаем, не гнался за богатством, он больше нажимал по части духовности. Стихи там, то-се. Но, как ни странно, и его жизнь была мрачной и бестолковой! Вот те и раз... Что так?

Некто Балашкин, тоже, видите ли, философ и правдоискатель, причитал: «Боже милостливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев! Скажешь, — правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?»

Слово «проклят» тут, думаю, ключевое.

Кузьма был, как и брат, одинок и несчастен в личной жизни. У него была женщина в Воронеже, потом умерла, от нее осталась дочка — его ли она, не его? — узнать неоткуда. Жил он приблизительно так: «С год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с “Исповедью”, хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилала глаза Кузьмы... напился он до беспамятства».

«А, да захлебнись ты, родимец те расшиби!» — на заднем плане орала на своего ребенка баба. Все о том же, все про одно...

«С тех пор прошло еще немало бесплодных лет», — хорошо сказано. Кузьма после всех своих скитаний, нищих несчастий, голода и холода и прочего дискомфорта, приехал к брату — тот его, кстати, сам вызвал — и стал жить на его хуторе, то ли приживалой, то ли управляющим. И тоже, как Тихон, положил глаз на Молодую. Но ее даже не тронул! Почему, спрашивается? Не понять. Типа из лучших побуждений, из духовности. Что-то в этом роде.

Финал истории такой. Кузьма выдал Молодую замуж за молодого прохвоста и негодяя, дав хорошее приданое. Тихон ее от этого отговаривал, но необычайно вяло. А на свадьбе даже был посаженным отцом.

Ничего ни у кого не получилось и не удалось, все одиноки и несчастны, все пусто, холодно и бессмысленно. И своими же руками люди делали свою жизнь все хуже и хуже. Вот оно каково, это проклятие!

А потом страна и вовсе развалилась.

И на ее руинах построили другую. Которая через 70 лет тоже развалилась. И еще одну построили...

А что дальше — никто не знает.

Но может, дальше как-то веселей пойдет?

Автор повести, о которой тут пойдет речь, много работал в газетах, но «черное газетное дело давно уже опостылело ему» и он решил перекинуться на прозу. Темой взял бардак. А что, это благодарная среда.

Дело было в Киеве лет эдак сто назад. Этот город и сейчас остается столицей веселых мужских приключений. Но у автора другой взгляд на вопрос, для него происходящее в бардаке — «кошмарная, скучная, дикая... русская оргия... райские ночи, во время которых уродливо кривлялись под музыку... пили и жрали, как свиньи». Ну и дальше в таком духе; автор словно задался целью вызвать в читателе отвращение к этому делу и к бабам вообще.

Но что-то ему и нравится. Вон он описывает девицу с псевдонимом Сонька-Руль «с такими прекрасными большими глазами, одновременно кроткими и печальными, горящими и влажными, какие среди женщин всего земного шара бывают только у евреек». Сонька вообще выписана персонажем «мыльной оперы», она поставлена в ситуацию сериала: «Пришел постоянный гость, любовник, который приходил почти ежедневно и целыми часами сидел около своей возлюбленной, глядел на нее томными восточными глазами, вздыхал, млея и делал ей сцены за то, что она... грешит против субботы, что ест трепное мясо и что отбилась от семьи и великой еврейской церкви».

Да, кроме того, «он знал, что Сонька была продана одному из скупщиков живого товара ее же матерью... его набожная душа содрогалась... но тем не менее любовь была выше всего».

Забавно, что когда гостя отводят к даме в комнату, ему желают приятного аппетита... Потом еще клиенты за каким-то хреном целуются с продажными девицами взапас.

Ну и много разговоров с проститутками о причинах их падения. Некоторые клиенты зачем-то любят про такое расспрашивать и слушают в ответ всякое вранье. Один мой знакомый непременно такими своими вопросами типа «Как же ты дошла до жизни такой?» доводит даму до слез, она

начинает рыдать, и тут у него поднимается желание, вот ведь извращенец!

Что же касается автора повести, то он уверяет, что сам дамами не пользовался и всего только дружил с ними и болтал за жизнь. Конечно, такая позиция не очень комфортна, и если он не врет, что именно так и было, то, конечно, логично очернить действительность, чтоб не чувствовать себя дураком.

По ходу сюжета компания интеллигентов после пьянки с приличными девушками, которые в те времена как-то очень неохотно давали (не дали и на этот раз), поехала к девкам. Приехав, они долго и нудно ведут скучную беседу «о торговле женским мясом, о белых рабынях, о разъедающей язве больших городов... старая, всем надоевшая шарманка!» Хороши наблюдения автора. Он пишет о «глубокой, хотя и уродливой душевной деликатности, которая свойственна... каторжникам и проституткам». Я, кстати, давно уже пустил в оборот фразу: «Она ведет себя, как проститутка», то есть у дамы манеры, она думает, что сказать, не болтает лишнего ну и вообще.

Секс-работницы же между собой беседуют на особой своей фене, к примеру: «Не звони, метличка, метлик фартовы». Феня эта — надо же — представляла собой «дикую смесь из еврейского, цыганского и румынского языков и из воровских и конокрадских словечек».

А интеллигенты всё о своем: о пути русского человека и что он слишком широк... И еще: «...душой отдыхаешь среди молодежи (да старух-то и не с руки держать в таком заведении! — И. С.) от всех этих житейских дрызг... Эта вера в святой идеал, эти честные порывы!..» И дальше как по писаному: «Кельнер, шампанскава-а!»

Один студент из компании наслушался этих речей, выпил еще и забрал одну проститутку домой. Но не на ночь, а на перевоспитание. По-братски, платонически. Забрал, потом, разумеется, она к нему залезла в койку — дело молодое.

Тонкое наблюдение, тут можно проследиться. Студент говорит своей проститутке: «Водки вы, верно, по утрам не пьете, а я, с вашего позволения, выпью... Это сразу подымает нервы».

Ладно, братские отношения не удались, ну и что? Студент все равно учит свою подружку наукам и ремеслам. Он ее вынуждает к изучению марксизма, вот ведь красота! Эту дисциплину ей преподает другой студент, Симановский, который на самом деле хочет с девкой не марксизма, а простого секса, правда, не на уровне товар — деньги — товар, а потому что он такой красавец, ну вы знаете эти разводки.

Потом воспитанница студенту надоела: «Она заедает мою жизнь, я пошлею, глупею, я растворился в дурацкой добродетели; кончится тем, что женюсь на ней...» И он, придравшись к какой-то ерунде (его дружок Симановский ее, как известно, домогался под прикрытием марксизма), выгнал девицу, хотя она и не дала марксисту, — то есть вернул в конечном счете обратно в бардак. Как говорил другой автор, «души прекрасные порывы!». Иногда-таки их надо душить, а то они ими вымостят дорогу известно куда.

Потом действие перекидывается в поезд, в котором едет Семен Горизонт с кучей шлюх и женой. Эту жену он — что твой Петя Листерман, он же Очкарик, который за деньги знакомит современных олигархов с девушками, — после продал за хорошие деньги. Петя ее, может, и не продавал, но так рассказывает, и это красиво. Не из книжки ли, которую мы сейчас разбираем, он взял этот заход? «Он (в данном случае Горизонт. — *И. С.*) в совершенстве знал вкусы всех своих высокопоставленных потребителей: одни из них любили необыкновенно причудливый разврат (ну вот интересно, что же считалось таковым сто лет назад? — *И. С.*), другие платили бешеные деньги за невинных девушек, третьим надо было выискивать малолетних». Не знаю насчет клиентов Горизонта, но в случае с Очкариком можно было б и фамилии тут назвать...

Горизонт «к женщинам был совершенно равнодушен». Не оттого ли, не отсюда ли сводник в фильме «Глянец» изображен голубым?..

Хорош и висящий на стене бардака в рамке «Свод правил и постановлений, касающихся обихода публичных домов». Там говорилось о «еженедельных медосмотрах», о том, что «заведение не должно располагаться ближе чем на сто шагов от церквей, учебных заведений и судебных зданий».

Под занавес главная шлюха, конечно, спрашивает репортера, который и есть автор повести: «Есть Бог или нет?» Не могла она не спросить по закону жанра. Особенно идя вещаться. А интеллигент тоже, как вы понимаете, не мог ответить прямо, не такой он простой парень! Ни то ни се, короче. С той же четкостью ответил он и на вопрос о наличии ада и рая.

Шлюха и не удивилась, она уж немало повидала интеллигентов в своем бардаке и многого от них не ждала.

Она повесилась.

Потом еще несколько ее подружек плохо кончили. А дальше «двух драгунов обсчитали в рублевом заведении (то, про которое речь, двухрублевое, кстати. — И. С.), избили и выкинули ночью на улицу». Неважный в России сервис, что и говорить, наверное, с этим ничего нельзя сделать ни при каком режиме. Обиженные солдаты добрались до казармы, подняли товарищей, которые как раз гуляли на полковом празднике, те решили отомстить за однополчан, ну и так, слово за слово, три дня подряд громили бардаки по всему околотку, вспарывая перины, кроша рояли, убивая швейцаров и выгоняя девок голяком на улицу. Это все довольно глупо. Ну что сказать, русский бунт, бессмысленный и беспощадный... Революция! Видите, солдаты сами разгромили публичные дома, и с тех пор им приходится насиловать друг друга и предаваться прочим ужасам дедовщины... Проститутки, конечно, никуда не делись, они просто перешли на другой режим работы — стали неорганизованно работать на улицах.

Толстой прочитал эту повесть и сказал: «Очень плохо, грубо, ненужно грязно».

«К сожалению, мое перо слабо», — ответил на это автор. А что ему было делать? Написано — и с плеч долой...

Зачем писал вообще?

В последней строке автор, Александр Иванович Куприн, сообщил, что эту повесть (она называется «Яма») он «посвящает юношеству и матерям». Иными словами, он подгонял решение задачи под ответ в конце учебника.

А это как-то не очень интересно.

НИНА БУИС

Русская Литература: конвертация по курсу

Русская американка, внучка петербургского лейб-гусара Нина она же Антонина Буис — самая рейтинговая и влиятельная переводчица Штатов Америки; но уж по-любому из верхней тройки.

В каждый приезд в Россию она посещает в свое бывшее родовое имение Троице-Лыково. Про которое собирается написать книгу; после ее дедов и прадедов там жило много народу — от Ленина до Солженицына. А что, самое время; пожалуй, она уж вполне набила руку, переведя с русского множество книг — Аксёнова, Лимонова, Довлатова, Евтушенко, Сахарова, Радзинского, Распутина, Рыбакова, Гранина, Стругацких и т. д. и т. п.

Об этом и о русской литературе — какой она видится извне, насколько она конкурентноспособна в теперешнем мире — разговор с Ниной Буис.

Беседу эту мы вели за ужином — Нина, Альфред Кох и я.

Белая гвардия

— Мне кажется, история этого дома — это история целого века в России, — справедливо замечает Нина. — Мамина бабушка была прогрессивной дамой, она с подругами устроила там клуб — и они там написали манифест о том, что не будут носить шляпки с перьями.

— Чем были плохи перья?

— Они так хотели защитить животных.

— Они были совсем молоденькие тогда?

— Да. Лет по двадцать им было, наверно... Карзинкины — мои предки по материнской линии — были богатыми купцами и помещиками. Передовыми: они строили церкви, больницы.

Им принадлежала, в частности, Ярославская мануфактура, которая в 1860 году на Всемирной выставке в Париже выиграла всякие призы — за создание условий для рабочих. Но, конечно, это не помешало рабочим участвовать в революции.

— Похожая история была с Саввой Морозовым. У него на заводах был самый высокий в стране уровень охраны труда и социальной защиты — так вот как раз там и произошла первая русская забастовка.

— Савва Морозов, кстати, ухаживал за моей бабушкой. Он как-то приехал к ней — а перед домом уже стояли сани моего будущего дедушки. «Это кто приехал?» Ему сказали, и Савва уехал. Дедушкина фамилия была Сечинский. Его предка фамилия была Сечин, он был боярин и уехал в Польшу, когда его невзлюбил Иван Грозный.

— У вас, значит, семейная традиция — как запахло жареным, так валить за границу; мудро, мудро. Сбежал, как князь Курбский, который командовал полком. Предок Валерии Новодворской пытался его остановить — но Курбский его заколол.

— На свадьбе моей бабушки пел Шаляпин. Жизнь была такая...

— А откуда у них Троице-Лыково? Купили? Построили?

— Карзинкины выбились из купцов в дворяне, купили землю — и построили там имение. Одно из многих! У них много было всякой недвижимости. А со стороны дедушки тоже. У Сечинских одно имение, Медведевка, было недалеко от Ясной Поляны. И к нашим приходили мужики из Ясной и жаловались — барин что-то берется делать, а им потом за ним приходится все переделывать. Перепахивать, кирпичи перекладывать. А еще в Польше были земли, куда наши и уехали после революции. И в Литве, через которую они уехали в Польшу. Когда мы были в Литве с Соросом, нам показали фото этого имения и спросили, не хочу ли я его забрать. Я отказалась, — зачем?

— Ну как, будете там руководить. Мужичков сечь на конюшне. Самых лучших будете себе забирать.

— Прямо как Екатерина Вторая! После революции в Троице-Лыково переехал Ленин.

— К вам?

— Да. Только наших там уже не было, их выселили. Моя мама, когда узнала об этом, очень обиделась. На Ленина: «Он и там нагадил». После Ленина там поселили среднеазиатских коммунистов, присланных в Москву на учебу — в главном доме на 50 комнат устроили общежитие. После этот дом сгорел, но там много еще осталось построек, на пятнадцати гектарах. Потом имение перешло к Курчатовскому институту, там устроили шарашку — мне про это академик Велихов рассказывал. Позже на этой земле нашли несколько массовых захоронений, а в них очень много скелетов с пулями в черепах.

— Не очень, наверно, получалась бомба у эков из этой шарашки.

— Потом, в перестроечные времена, это имение было передано церкви — по завещанию моей бабушки, копия у мамы сохранилась. Она его написала еще до революции; имение — церкви, а внукам — по 7 миллионов рублей каждому.

— А, значит, большой несправедливости с усадьбой нету — она так и так досталась бы не вам. Уже легче.

— Да. В конце концов завещание было выполнено. Мы всегда, когда в Москве бываем, заезжаем туда помолиться, повидаться с отцом Стефанием. Это потрясающий священник. Он занимается восстановлением имения, хозяйством, он там построил больницу и богадельню. Его покойный патриарх любил — и правильно делал. С батюшкой мы хотим восстановить сады и парк, какими они были в XIX веке, осталось много фотографий. Отец Стефаний рассказал мне, что в самый трудный момент всегда появлялись люди и давали денег. Например, задумал он сделать иконостас — и тут же входит человек с портфелем, осматривает церковь и спрашивает: «А не надо ли помочь?» И достает из своего портфеля деньги. Сбоев пока не было.

Если я когда-нибудь напишу книгу, то это будет книга о Троице-Лыкове — это призма, сквозь которую можно посмотреть на целый век русской истории. История имения — просто история страны!

Бег

— Как ваши уезжали из России? И когда?

— Маминому отцу Герасиму Сечинскому, петербургскому лейб-гусару, как-то на балу сказали, что скоро будет революция. Все думали, что она продлится два-три дня, так что мало кто уехал. Революция однако же затянулась... Из нашей питерской квартиры сделали коммуналку. Из двадцати комнат семье оставили одну. Мама, она родилась в 1908 году, помнила, что к ним приходили китайцы — забирать говно, они что-то выращивали на огородах, и им нужны были удобрения. Еще мама помнила анархистов, они ездили голые в трамвае... Она с сестрой ходила на курсы греческого танца, а потом в школу искусств — потому что там давали молоко. Даниил Гранин, один из «моих» авторов, нашел нашу квартиру, когда моя мама приехала в Питер в 1988 году, повел ее туда. Там все еще была коммуналка. Новые жильцы пустили их... Мама прошла по комнатам, она прекрасно помнила, где что было раньше.

Другие берега

Семья уехала в 1923 году в Литву — родители, три дочери и сын. Там они наконец одумались и распрощались с маниловскими мечтами о том, что большевики пришли ненадолго, через пару недель или месяцев их передуют и снова настанет нормальная жизнь. Мать семейства стала учить девочек готовить, а то они всё удивлялись, а отчего же это суп мокрый, она их берегла, питерским дамам не надо было уметь вести хозяйство, их дело — блистать на балах. Вот, думали, вернемся — и заблестают... Глава семейства из Варшавы послал своему агенту в Нью-Йорк телеграмму: «продавай моего Рубенса за цену, которую сочтешь реальной». Так на продаже остатков былой роскоши какое-то время держались. Сперва жили в имении, а когда сестрам было пора поступить в Академию искусств, переехали в Варшаву, где жили до прихода Красной Армии. Мать Нины помнила и рассказывала детям — как они сидели в подвалах, под бомбежкой — неделями, грязные,

вшивые, голодные. И тут в город вошли красавцы-арийцы, сверкающие, чистые и богатые. Наши братья-фашисты — после пакта Риббентропа — Молотова у нас как раз был медовый месяц с Германией — страшно не любили поляков, про нас, наверно, думали только хорошее, к примеру вспоминали совместные с нашими парады в Брестской крепости. Нинина мама («она была очень красивая, а я в отца») под это дело выпросила у немцев ночной пропуск (художница, это ж богема, ночь-полночь) и даже зачем-то лицензию на торговлю водкой, которую (лицензию) удалось перепродать. Они зарабатывали на жизнь: брат вел имение под Варшавой, старшая сестра вышла замуж и переехала в Рим, а младшие были портретистами. Почти всю войну семья как-то спокойно пересидела в Варшаве, — счастливые люди! В какой-то момент им надоело бояться бомб, и они просто перестали спускаться в бомбоубежище. Ну неудобства какие-то были: с утра надо было наколоть льда и растопить на печке, чтоб умыться. Ели не столько картошку, сколько кожуру, — варили или жарили на рыбьем жире.

От большевиков, как только те снова появились на их горизонте, они побежали по старой памяти на Запад, еще дальше на Запад — в Германию, в американскую оккупационную зону. И вот там, в лагере для перемещенных лиц, мать Нины познакомилась с ее будущим отцом, его звали Дмитрий Воронин. Он когда-то был студентом в медицинском, ушел с белым флотом в Константинополь. После войны работал в ресторанах в Будапеште — пел и играл на скрипке, а потом — фотографом. Он вошел тогда в барак и сказал: «Я так устал, я так устал», — и то сказать, он всю Европу прошел пешком — а потом, «усталый», всю ночь проговорил, и будущая мама Нины Буис в него влюбилась.

К тому же приблизительно времени относится типичное явление в их жизни — не было денег, но был талант (для Нины это важно, что ее мать работала в искусстве) — она нарисовала портрет хирурга, и тот бесплатно сделал операцию ее сестре, у той отслоилась сетчатка.

Семья жила в Кемптене, городке недалеко от Мюнхена, где находился DP Camp. Забавно: Camp — Кемптен.

Там была русская церковь, которую расписали сестры. В ней прятали советских, чтоб их не забрали в СССР. Нинин отец даже сделал кому-то из них фальшивые документы — что они якобы из белых и потому возврату не подлежат. Но это не помогло. Американские военные таскали батюшку за бороду, это была предтеча Гуантанамо — и таки нашли советских, выгнали из церкви, закинули в грузовики и увезли отдать сталинским чекистам на муки и смерть. Некоторые, возможно это были власовцы, перегрызали себе вены, — они приблизительно представляли, что их ждет. С чего начинается родина? Иногда вот с таких мясницких кошмаров, про которые неохота и думать, пусть лучше уж будет дешевое вранье про березки.

Там же в Кемптене родилась Нина. И прожила первые четыре года своей жизни. После она приехала туда в медовый месяц со своим французским мужем Жаном. (Возможно, она вышла замуж и не за русского, и не за американца, с тем чтоб близкий человек тоже был не полностью свой в Америке и ей было бы не так одиноко.) Нашла тот самый дом, постучала в дверь, разрыдалась, когда хозяйка открыла, на ломаном немецком, который сразу вспомнила, попросилась войти, ее, конечно, пустили, она там нашла широкий подоконник, на котором когда-то сидела, высматривая отца, и обижалась, когда тот запаздывал.

В Штатах они замечательно устроились в Квинсе, на чердаке, отец устроился чертежником, а поначалу работал фотографом, мать расписывала вручную шелковые галстуки — делали что могли, чтобы выжить. Никаких пособий, какие позже выдавали иммигрантам по еврейской линии, не было. (Потом она с сестрой открыла студию и давала уроки рисования, и они писали портреты довольно известных лиц).

По воскресеньям ездили в церковь на 121-й Street, «там был хороший приход и школа». Потом Нина пошла в синодальную среднюю, далее в гимназию имени Святого Сергия — совсем настоящую, лицензированную. Все преподавалось на русском — кроме математики и американской истории, литературы и обязательных курсов для госэкзаменов.

Кто на переменках говорил по-английски, тех штрафовали. Гимназия эта закрылась позже, когда в Город желтого дьявола ломанулись из Советов новые эмигранты по линии Джексона — Вэника, далекие от темы русскости.

Трудности перевода

— Я знаю точный момент, когда я поняла, что мне надо быть переводчиком русской литературы. Я была тогда аспиранткой в Колумбийском университете. На экзамене я перевела кусок из Тургенева, и мой профессор сказал, что такого хорошего перевода он в жизни не встречал. И тогда я приняла решение.

Хотя — заниматься переводами профессионально, то есть за деньги, она начала гораздо раньше, когда перевела на заказ, пусть и за гроши, русский учебник для конькобежцев. Она была гимназисткой, а заказчик — тренером.

— Я переводила ему устно, на пальцах, потому что ничего не понимала в конькобежных делах.

— Что вы сегодня можете сказать о русской литературе, глядя на нее трезво (в отличие от нас, которые могут ее видеть только изнутри)? Чем она отличается от других литератур, например от англоязычной?

— Я вижу, насколько сильней накал эмоций в русском языке, чем в английском. Если переводить точно, не снижая эмоций на одну-две ступеньки — получается слишком истерично. Русские авторы довольно часто ставят восклицательный после вопросительного — в английском это невозможно. Еще русские очень любят многоточие, которое в английском встречается очень редко.

— А если сравнить языки по точности?

— Думаю, это зависит от темы. Мне кажется, деловые вещи можно гораздо точнее выразить по-английски, чем по-русски. Первой работой, которую мне официально заказало издательство, — это перевод книги Юрия Купера, русского художника. Он написал один роман...

— Он потом еще переделал его в сценарий и поставил на малой сцене МХАТа.

— Да. Купер был одним из первых, кто тогда, в семидесятые, выехал из Союза. Ко мне тогда обратился мой знакомый — Солсбери, который был редактором New York Times, он получил Pulitzer Prize и обожал Россию и все русское. Такое часто бывает с американцами.

Лично Бродский

Я взялась за перевод — но в книге было слишком много мата, в котором я тогда была не сильна. Тогда мне помог Бродский, он был большим другом Юры — и по дружбе научил меня русскому мату.

— Он вас какому-то особенному мату научил?

— Нет, обычному, стандартному. Но для меня он был необычен. Конечно, я не знала многих слов. Помню, наш класс ехал в Музей белого флота в Квинсе, в машине я сидела рядом с подружкой Мариной Белосельской-Белозерской, ученицей гимназии, — ее отец русский князь, мать богатая американка. Она очень плохо знала русский. И она мне шепотом говорит: «Я боюсь говорить слово “давно” — вдруг я его неправильно скажу!» — «А что тогда будет?» — «Говно!» — сказала она. Я громко повторила это новое для меня слова: «Говно!» На всю машину. А я знала только слово «гэ», мой отец всегда так говорил, и я думала что это и есть полное слово — гэ. Мне сильно попало тогда.

— Хорошо еще что вы в том приличном обществе не воскликнули «... твою мать!»

— Да... Я к тому времени еще не знала таких слов, меня еще Бродский не научил. И вот я начинаю переводить книгу Купера, а там — один мат. Бродский мне тогда сильно помог. Мы сидели с ним в кафе, летом, под зонтиком, и он мне все объяснял. И вдруг я заметила, что люди с других столиков то и дело оглядываются на нас.

— Они что, знали по-русски?

— Нет, но я его спрашивала: «Иосиф, что такое хуесос?» Он мне объяснял, как это по-английски. Американцы вздрагивали.

— А есть же специальные словари мата.

— Это сейчас. А тогда еще не было, это же еще семьдесят какой-то год. Мы с Бродским поссорились потом.

— Поссорились?

— Он был розовенький, противный, наглый... И он ко мне приставал.

— Приставать — разве это повод для ссоры?

— Боже, конечно нет. Он не первый и не последний, а я тем более не была единственной, которой он интересовался. Ну не только это. Ему очень не нравилось, что я переводила и дружила с Евтушенко.

— А Бродского вы переводили?

— Нет. Но можно считать, что он меня подготовил к переводу «Ящичка водки» (нашей с Кохом книги. — И. С.). А Бродский все-таки очень неприятный был человек.

— Говорят, гении все такие.

— Не знаю. У него юмор был такой мальчишеский, детский. Мы шли по улице и увидели вывеску ресторана Black Angus, и он говорит: «А если букву «г» снять? Посмотри, как смешно будет!» Ему это казалось смешным. Как будто ему двенадцать лет.

— Он не такой, как все. Нобелевский лауреат.

— Тогда он был еще не лауреатом, а просто лучшим поэтом Америки. Помню, у нас было party, он пришел, начал всем хамить, язвил, был невыносимым — верх невоспитанности — эдакий enfant terrible. А уходя, спросил: «Надеюсь, я не очень плохо себя вел?» Я сказала невинным голосом: «А я и не заметила». Это его обидело — что я не заметила. Хотя он так старался.

— Значит, вы с ним только матом занимались...

Красная Москва

— Роман Купера — это была моя первая профессионально переведенная книга. И сразу после этого мы с Жаном поехали в Россию в первый раз — это был 1975-й. Там мы познакомились со всеми персонажами книги, с московской богемой, — мне было интересно. Думаю, и им тоже: очень мало тогда американцев приезжало. Тем более русских по

происхождению. Наши, белые, уехали — и там на Западе они хранили русскую культуру. Они думали, что это временно, что они вернут потом в Россию то, что было утеряно.

— Как Томас Манн говорил: «Немецкая культура там, где я».

— Это неправильно. Потому что главные носители культуры — это люди, которые живут в своей стране. Первый раз, когда я приехала в Москву, я ожидала, что окажусь внутри чего-то вроде «Анны Карениной», ведь я жила рассказами мамы, которая уехала в 15-летнем возрасте, в 1923 году... А она в свою очередь жила тем, что ей рассказывали родители.

— Ну да, что ей мог рассказать о России лейб-гусар...

— Три поколения у наших не было реального контакта с Россией, тем более с Советским Союзом. В литературе, в воспоминаниях было одно — а в реальности я увидела совсем другое. Я помню, как шла по улице Герцена, в свой первый приезд, и увидела афишу (в смысле вывеску. — И. С.) — «Рыба». На русском языке! Впервые!

— Как, а Брайтон-Бич? Со всеми своими русскими магазинами?

— Тогда там еще не было такой русской колонии.

— Да, действительно, тогда это был негритянский район. А наши потом черных вытеснили, хотя обычно наоборот, негры выдавливают белых.

— Я помню свою радость: я в стране, где все говорят по-русски! В Америке мы жили как на островке в большом море, но я верила родителям и церкви, что есть большая Россия. И когда я приехала и увидела русские надписи, и все говорят по-русски... «Где-то когда-то была Россия, — думала я, — и вот я вижу, что она существует сейчас!» Обычно я, услышав, как кто-то говорит по-русски, сразу поворачивала голову — думала, это кто-то из знакомых. А тут — я приехала в страну, где по-русски говорят все!

— И даже то, что написано на заборе, вы понимали — или вас Бродский к тому времени еще не научил?

— Бродский уже научил. Я же приехала после того, как книга Купера вышла. Это был 1975 год. Слово из трех букв я уже знала.

— Да... Вывески на русском, все говорят на русском — вам в этом смысле повезло больше. А я как ни приеду в Киев, хоть при Советах, хоть сейчас, так там все на русском говорят. Я даже украинским пограничникам делал замечания: вы офицеры, как вы смеете говорить на иностранном! А что еще вам бросилось в глаза в первый приезд в Россию?

— Я удивилась, как все вокруг может быть таким грязным, особенно туалеты! Я думала — как люди, которые уважают себя, это допускают? Не могу, правда, сказать, что в России самые грязные общественные туалеты — в Грузии такие же. Или в подъездходишь — а он грязный, вонючий и света нет. Я если шла в гости, то брала с собой фонарик. Помню, мы пошли к писателю Владимиру Орлову («Альтист Данилов»). Грязный ужасный подъезд — иходишь в роскошную квартиру с картинами и коврами. Это было очень советское. И на улице — обиженные морды, все сердитые. В Америке много улыбаются, я понимаю, что это ничего не значит — и злая морда тоже ничего не значит, но лучше уж видеть улыбки.

— А было страшно? Вы как-то рассказывали, что боялись советских, думали, что они вас убьют.

— Ну боялись, старое поколение нас пугало, да и американская пресса... Зато в Союзе за мной следили, ходили. Мне было так даже спокойней — никто меня не ограбит, не нападет. Я думала, что я очень умная; как-то взяла такси подальше от гостиницы и адрес сказала неточно, и когда мы подъехали к нужному дому, велела поворачивать направо — а шофер сказал мне: «Нина, тебе нужно налево». Он знал, кто я! А еще меня возмутило то, что он на ты со мной, как он посмел!

— А русские молодые люди к вам приставали?

— Э-э-э... Я была с Жаном. Но все равно ко мне все время обращались, чтобы я продала джинсы, ботинки, пластинки... Но у меня была только жвачка, и я ее дарила. Мне были интересны вопросы, которые они задавали: а такой-то все еще играет на барабане в такой-то группе? Я не знаю! Как, вы, американцы, не знаете таких важных вещей?

— И что вы чувствовали, вы кто — русская или как?

— Я чувствовала, что я и русская, и нерусская, я понимала, что это родина — но это не мое. Меня вот недавно спросили, я русская или американка, и я сказала: «Да». Я и — и. Когда я в России, я чувствую себя американкой, потому что я вижу все недостатки русские. Когда я в Америке — я вижу все недостатки американские.

— И какие же вы там видите?

— Провинциализм. Самодовольство. Отсутствие интереса к остальному миру.

— А у русских вы какие видите недостатки?

— Провинциализм... Самодовольство...

Мы громко смеемся.

— Но это правда! Это не шутка... Хотя, может, провинциализм — это не то слово...

— Скажите, Нина, а если, к примеру, начнется война с Россией — вас посадят в лагеря? Как это сделали с американцами японского происхождения во Вторую мировую?

— Ну... Могу сказать, что в 50-годы неуютно было быть русскими. В Америке. Они (словечко это очень выразительно. — И. С.) не различали советских и белогвардейцев, о-о-о! Они задавали idiotские вопросы: «Ты же любишь коммунистов? Зачем ты говоришь по-русски?»

— И вот вы съездили на историческую родину...

— И увидела, что советские — не такие уж и страшные. Правда, я тогда совершила ошибку. Меня многие в Москве спрашивали: «Правда, у нас тут ужасно?» Я в ответ врала, что ничего страшного, жить можно. А надо было правду говорить... Мне тогда казалось, что неприлично сказать людям: «Вы сидите в говне».

С русского туда

— Расскажите о работе. Кого вы переводили?

— Я перевела «Скажи изюм» Аксёнова. И «В поисках грустного baby». Вася — он умный, остроумный, но только потерялся тут, в Америке. В переводе тут мало что читают... Ну и конечно, переводила Сахарова (и Боннэр). Я перевела его мемуары, после того как он вернулся в Москву, — это

было интересно. Читая это десять лет спустя, я поняла, какой это важный документ, — там ведь все по минутам расписано. Я люблю переводить знакомых людей. Рыбакова, Гусейнова, братьев Стругацких, Бакланова. Особенно живых — потому что люблю по ходу дела задавать вопросы и просто дружить, учиться у них. Толя Рыбаков и его жена Таня были нашими близкими друзьями. Но и классиков переводила. Странно, что оригинал не стареет — а перевод устаревает, и поэтому время от времени переводят заново. Например, Ильф и Петров — их перевели 25 лет назад, так сейчас это уже не читается. «Мастера и Маргариту» уже перевели три или четыре раза. Скоро уже и «Ящик водки» заново переводить придется... В общем, книги нужно то и дело заново переводить. Вся русская классика на английский была переведена Констанц Гарнетт (Constance Garnett). Она этим делом занялась, когда сломала ногу, надо было себя чем-то занять... Она не знала русского и стала переводить — Чехова, например, с немецкого! Там у нее русские мужики выражаются, как английские фермеры. Но вот забавно, Хемингуэй говорил: «Если бы не Гарнетт, я бы не знал Толстого». Она работала в 20-х годах, и теперь это уж такой устарелый английский язык... В книге обычно много сленга, а сленг стареет. Ты каждый раз переводишь на современный эквивалент... Иначе новые читатели могут не понять. Это очень важно. Лимонова я переводила. Он приехал в Америку вскоре после Купера, с поэтом Худяковым и художником Бахчаняном. И с женой-красавицей, он ее звал Козликом. Потом она стала итальянской графиней, а тогда была манекенщица. Я им помогла с публикацией про них в литературном журнале *Saturday Revue*. Там сделали несколько страниц об их работах, я переводила. С тех пор я с Лимоновым не работала, к тому ж он начал жить нелитературной жизнью. Сначала — бурной... Работал мажордомом у знакомого нашего. Потом написал книгу «It's Me, Eddie», но это не я переводила. Но так или иначе Лимонов был одним из моих русских американских авторов, которых я переводила, только когда они жили в Америке. Еще — Соломон Волков. И Довлатов: я переводила «Иностранку», «Чемодан» и несколько рассказов.

— Он, говорят, был невыносимый.

— Говорят. Но я лично ничего этого не почувствовала. Жене, может, было трудно с ним, а мне — хорошо...

— Он к вам не приставал?

— Нет.

— Вы с ним выпивали?

— Очень мало. У него были периоды когда он пил — и когда не пил. Он, кстати, первый, кто повел меня в «Русский самовар», который тогда только открылся. У владельцев ресторана было правило — если подаришь самовар, то у тебя будет вечная скидка. Мы с Довлатовым сидели под самоваром, который он туда принес.

— Говорят, пешком тащил аж с Квинса, купил на барахолке на последние деньги, ехать было уже не на что.

— Неужели правда?

— Такая легенда. Каплан именно так рассказывает.

— С Довлатовым мы пили мало, но много говорили о литературе. Все профессиональные писатели имеют одно общее: они не учат переводчиков, как надо переводить, они понимают — текст уже не в их руках и не надо со словарем сидеть и предлагать варианты...

— Дайте ваш список лучших русских писателей.

— Я очень мало читаю современную литературу. В основном, конечно, для того, чтоб что-то найти для перевода. Ищу все время! Слежу например за «Антибукером» и за «Большой книгой». (Часто решение жюри меня удивляет — странно, что призы дают тем книгам, каким дают.)

Их нравы

— Ну и каковы результаты этих поисков?

— Я помню, как предложила одному издательству Маканина. «Он гебист?» — «Нет». — «Кого-то убил?» — «Нет». — «Ну и как мы будем эту книгу продавать?» — «Это хорошая литература». — «Ну и что?» Маканин — это было последний раз, когда я что-то предлагала. Я поняла, что я не могу продавать, я плохой агент. Будет продаваться или нет — это главный критерий. А я не знаю, будет или нет! Раньше люди могли себе

позволить издавать книги просто потому, что они важные или нужные. Или просто хорошие. А сейчас — нет. Этот бизнес — книгоиздательский — он же умирает. Из-за интернета. Уже много изданий закрылось. В Сиэтле не осталось ни одной бумажной газеты. Закрываются солидные издательские дома. Я уверена, что и New York Times закроется.

— Скажите, а что в русской литературе универсально? Что интересно иностранцам? Качество, наверно, не так важно?

— Нет, высокое качество нужно — но еще это должно быть понятно американцам.

— Ну вот самые продаваемые русские писатели — это кто?

— Радзинский, Волков. Одно время был Аксёнов — только потому что он с шумом уехал.

— Он обиделся на ваших издателей и обзывал их суками, буквально.

— Да, советским тяжело это было. Когда их в Советском Союзе не печатали — ну, думали они, это из-за диссидентства. А если тут не издадут — значит, что остается? «Американцы все дураки, а остаюсь гением». Кстати, Радзинский мне рассказал, что от этого пошел поворот в сторону антиамериканизма у части русской интеллигенции — от вернувшихся писателей, которые тут не стали звездами... Они обижены на Америку. Здесь раскручивают книги только те, что и так продаются. Например, издательства тратят бешеные деньги на раскрутку Стивена Кинга или Даниэлы Стил, зная, что они не потеряют эти деньги. А в новых авторов никто не хочет вкладываться. Бродский все еще хорошо продается. И Евтушенко. Это имена, которые тут давно известны. Довлатов продается — хотя уже не так. Татьяна Толстая в начале очень хорошо продавалась — как женщина с фамилией Толстая. «Мастер и Маргарита». Всегда Толстой — Достоевский — Чехов, потому что это преподается в университетах. Сейчас вышел очень хороший перевод Бабеля, — читают.

— А Виктор Ерофеев?

— Нет. Вы видели его книги?

— Нет. А почему его тогда печатает New Yorker?

— Ремник (главный редактор) его любит. И по тону Виктор подходит — он ироничный, он понимает, что нужно Америке.

— Значит, вот что самое главное!

— Абсолютно. Вот Волков — первый писатель, который понял, что нужно Америке, чего тут не знают. Он умудряется писать о России интересно. Он понимает, что нужно разжевывать для американцев, — а что они и так понимают. Он догадался, что на все надо смотреть с нового угла. Например, в своей книге о Петербурге он первый посмотрел на Питер как на очаг культуры, такой же как Париж и Рим. Он объяснил, что это — целая школа. Что Баланчин, Стравинский и Рахманинов — люди, которых американцы считают своими, — вышли из петербургской традиции. Так что для американцев это потрясающе интересно.

— Кого еще вы переводили?

— Троепольский, «Белый Бим». Я переводила и рыдала, пишу, а слезы текут. Потом еще — тоже про собаку кстати, — «Верный Руслан». Там овчарка, когда лагерь закрылся, сгоняла людей в колонну, заставляла их строем ходить. Окуджаву переводила, «Путешествие дилетантов». Помню, мы с Окуджавой встретились в Париже, когда он первый раз туда приехал, они жили с Олей у кого-то на квартире, мы с Жаном приходили туда к ним в гости. Булат очень любил водить машину, он катал нас по Москве, а Саша (наш сын), ему было четыре года, спал на заднем сиденье, а проснулся — увидел поливальные машины (у нас таких нет) и это было что-то волшебное для него, ночная Москва, струи воды как фейерверки, как сон.

— А Радзинский? Давно с ним работаете?

— Совсем недавно. Он работал сперва с издательствами, которые не готовы были платить то, что я хотела. Кстати, одно время его редактором была Жаклин Кеннеди, она очень ценила его книги. Она также была редактором и Вознесенского. Я с ней виделась на разных тусовках в русском посольстве, в миссии. Она всегда была с кавалером —

Морисом Темпелсманом, он богатый бизнесмен, торгует алмазами. Она мне не раз говорила, что перечитывает мои переводы Вознесенского раз в месяц. Что-то не верилось, но было приятно слышать. И мне, и Андрею, конечно. В Америке элита любила русских писателей; меня Евтушенко познакомил с Артуром Миллером и его женой, а потом мы с ними стали дружить.

— Молодые авторы попадают к вам?

— Я перевожу преимущественно тех писателей, которые уже популярны, мне заказывают переводы.

— А вы читаете русские новинки?

— Все не успеваю.

— Литературных негров используете?

— Нет. Значительно сложнее править чей-то перевод, чем самой переводить. Когда неудачно переведено, так трудно потом найти правильное слово!

— А вы можете параллельно двух авторов переводить или больше?

— Да так даже бывает лучше. Особенно приятно, когда тексты разные — художественный, например, и по экономике.

Нина добавляет от себя:

— Я могу сказать молодым людям, которые хотят заняться переводом, что это сложно, — тут нужно иметь имя. А переводчиков с именами немного, три или четыре. Был гениальный Григори Рабасса. Фрэнк Рив — чудные переводы Блока, поэтов Серебряного века (кстати, он отец Кристофора Рива, который играл «Супермена» в кино). Вера Дунхэм, переводила всех «советских поэтов». Майкл Хайм, он переводит не только с русского, Эдит Гроссман, которая переводит Маркеса и только что выпустила новый перевод Дон Кихота.

— А кто в России хорошие переводчики?

— В России феноменальная школа перевода... Иван Кашкин, Рита Райт, Маршак, тот же Пастернак — как перевел Шекспира! Виктор Гольшев, Татьяна Кудрявцева блестяще переводят американскую литературу...

— А что машинный перевод?

— Читала о первых попытках. Из Евангеля: *The spirit is willing but the flesh is too weak*, дух бодр, плоть же немощна. Но машина не узнала Библию, и перевела насчет спирта, а не духа. И обратный перевод — «Водка ничего, а мясо слабовато».

Абстрактный гуманизм

— Кстати, Нина, в чем смысл жизни?

— Ха-ха-ха. Чтоб об этом говорить, надо пить водку. А у нас вино на столе... В чем, значит, смысл? Стараться быть добрым. Добрый — это тот, кто не вредит другим и старается сделать мир лучше. Помню, Даниил Гранин, когда мы шли с ним по 5th Avenue, сказал, что отец учил его подавать нищим, даже если ты уверен, что они жулики. А Булат, когда мы шли с ним тоже по Нью-Йорку, подавал молча — у нас тогда как раз было много псевдоцыган. Я говорю: «Вот какая щедрая русская душа!» Он ответил недовольно: «Я грузин». Мне самой трудно не дать денег бездомному — особенно женщине, на улице. Очень трудно объяснить детям, кто такие нищие и как им помогать. Надо учить их, что нельзя проходить мимо нищих. Мы с Сашей, когда он был маленький, подавали нищими сэндвич и кофе, специально заходили в кафе и покупали.

— А Саша — ездит в Россию?

— Редко, и только с нами. Он плавает все время — работает капитаном на яхте, ее длина 44 фута, там три каюты.

Жалко Россию...

— Очень хороша история, как ваша мамаша поехала наконец в Россию на экскурсию.

— Да, я тогда была директором фонда Сороса и часто ездила в Россию. Как-то мама сказала: «Я смотрю, ты едешь туда и каждый раз возвращаешься. Значит, это не очень страшно. Может быть, и мне рискнуть?»

— А первое время она была уверена, что эмигрантов, которые приезжают туда, захватывают чекисты?

— Да. Я сделала ей подарок на 80-летие — значит, это было в 1988 году — повезла ее в Россию. Она помнила только разруху начала двадцатых, и ей приятно было увидеть, что дела там не так плохи. Но конечно, она многого не понимала. Она меня спросила: «А кому это памятник?» Она не знала, как выглядит Ленин и с какой стати ему вдруг наставили памятников.

— Она понимала весь ужас совковой жизни или говорила — а пусть будет?

— Мама всегда очень жалела Россию, она ее любила. Некоторые в эмиграции забыли, что они русские, — а мама всегда мечтала, что сможет вернуться, что люди в России будут жить нормально. Интересно, что мы говорили на за-консервированном языке, не на советском. Мы говорили — «управлять автомобилем» вместо «водить машину», и другие слова — «аэроплан», «аэродром» (вместо аэропорта)... Библиотека. Мы не знали, как правильно произносить «Брежнев», у нас там говорили «Брежнёв».

— И это вполне справедливо, ведь есть же Семен Дежнёв. И Катрин Денёв. А Брежнев — это украинская версия скорее...

Сорос

— Где вы нашли Джорджа Сороса?

— Я с ним познакомилась на ужине в честь какой-то советской делегации, которая приехала в Нью-Йорк. У него дома собралось 120 человек. Какие были шансы, что он мне скажет хоть слово? Если он поговорит с каждым гостем по минуте, всего это займет два часа. Но тем не менее мы с ним поговорили, он был очень мил. Мне пришлось переводить, когда он говорил с русскими. На следующий день, еще до того как я успела ему позвонить, поблагодарить за прекрасный вечер, — он мне сам позвонил и сказал, что летит в Россию открывать свой фонд. Не хочу ли я с ним поехать? Он мне предложил вести этот фонд. «Call me George», — сказал он. Я полетела... Так я начала работать у Сороса. Фонд он создал сразу после возвращения из ссылки Сахарова, Джордж решил, что это знак, — открываются новые возможности. Я, кстати,

приезжала к Сахарову, еще до Сороса, когда он только вернулся в Москву — в день, когда Матиас Руст сел на Красной площади.

Я понимала, что должна была создать человеческое лицо этому американскому еврею, которому никто не доверяет. Тогда, в Советском Союзе, — точно никто! 70 лет всех учили, что филантропия — это очень плохо, это разлагает мораль человека, единственный, кто должен заботиться о тебе, — это государство. А брать деньги, как нищий, у частного лица — нехорошо. Тогда говорили: он этот фонд затеял для того чтоб что-то потом с этого получить.

Я стала подбирать людей для правления фонда. Конечно, это были мои знакомые, в основном писатели: Бакланов, Гранин, Распутин. Потом еще Заславская, академик Раушенбах (он стал сопредседателем, как и я), Юрий Афанасьев. Был еще министр культуры Грузии Тенгиз Буачидзе.

Мы начали работать. Было очень интересно — демократия, митинги... Саша учился в английской школе, это на метро «Аэропорт», туда ходила дочка Светланы Аллилуевой после возвращения с Запада. Мы жили в гостинице «Советская». Настоящая советская гостиница! Правда, там был room service — но такой, что всё остывало, пока доносили до room'a. Но у нас была микроволновая печка, чудо техники, и мы все разогревали обратно. Наш номер был больше нашей квартиры в Нью-Йорке. Мы там прожили три или четыре месяца. Я ходила в офис каждый день, Жан писал книгу о Советском Союзе, Саша ходил в школу и очень быстро научился ездить зайцем в трамвае и другим очень важным для русского мальчика вещам. И продолжала переводить — например, Мишу Рощина... Потом ездили открывали филиалы в Грузии, в Прибалтике...

— А, вот откуда народные фронты и цветные революции! И вы отдали Сашу уже не в русскую школу, а в грузинскую школу... Это шутки.

— Насчет революций и народных фронтов — я тогда говорила, что и Россия угнетена Советами, она же не СССР. Джордж тогда ставил на Горби (правда, увиделся с ним позже), а я говорила — встретиться с Ельциным! Встречу устроили Афанасьев, Попов, Боровой и Собчак.

— Как давно это было! Вот вы сказали — Собчак, и я мысленно прибавил: «и Канделаки».

— Мы сидели у Ельцина очень долго, он был оживлен и много говорил. При этом он все время смотрел мне в декольте.

— О, так вы вошли в историю не только русской литературы, но и русской политики! Как женщина, которой великие уделили внимание.

— Ну то, что Ельцин не забывал, что у него в офисе сидит женщина, — мне показалось очень милым.

— А водочки вы с ним не выпили?

— Нет.

— Жаль. Вы много потеряли.

— Он тогда рассказывал нам про свой план насчет Курил: надо 5 лет готовиться, 5 лет вести переговоры и еще через 5 лет отдать. «Так вы же через 15 лет не будете президентом!» Ну да, говорит, — это важная часть плана. У Сороса я проработала пять или шесть лет, не помню точно. Помню, в путч мы с мужем и сыном отдыхали во Франции; Джордж был очень возмущен и прилетел в Москву, как только смог, — и я прилетела из Ниццы. И в октябре 93-го мы с Жаном тоже были во Франции. Там в отеле не было CNN, мы не знали, что происходит, нам звонили из Белого дома и говорили — всё, на нас идут танки, бай-бай, больше никогда не увидимся. Утром мы встали и не осмелились сразу включить новости, решили для начала спуститься вниз в кафе выпить кофе. И там вдруг смотрим — идет Вася Аксёнов! «Нина, не будь такой грустной — мы выиграли!»

— Что было сделано фондом за время вашей работы?

— Я скажу, чем я была очень довольна. Была программа помощи «афганцам». Мы получили права на чертежи на инвалидные коляски — на Кубе, и нашли фабрику в Питере, которая переходила с военной технологии на гражданскую, у них был титан, и они начали делать коляски, которые проходили во все двери и в лифт. А то старые коляски не проходили и люди вынуждены были сидеть дома. Мы связали ваших «афганцев» с нашими вьетнамскими ветеранами, которые в свое время начали качать права типа «мы

тоже люди», и тогда в Америке появились пандусы. Мы дали грант фабрике — не помню уж сколько, но колясок было сделано огромное количество. Сотни тысяч. Это одна из лучших вещей, что мы тогда сделали. Интересно было ездить на Байкал и помогать там Лимнологическому институту. Мы дали грант человеку, который основал то, что стало Высшей школой экономики.

— Так она сделана на деньги Сороса?

— Ну да. Потом мы сделали программу поездок для русских ученых. Раньше, если в институт приходило приглашение на международную конференцию — то ехал завкафедрой, его племянник и его любовница. А на автора заинтересовавшей всех статьи — нет денег. Так вот в рамках этой программы покупали билет, делали визу тому, кому надо, и никто не мог нам сказать, что парня не могут взять. Мы давали профессионалам возможность общаться со своими коллегами.

Когда мы писали брошюру про это, как раз был обвал в Нью-Йорке на бирже, Джордж потерял гигантскую сумму — большую часть своих денег — 860 000 000 долларов. Ему звонят из Японии, чтобы это обсудить, а он говорит: «Пerezвоните позже, я занят». Я спросила его: «Как ты вернешь эти деньги?» Он ответил: «Деньги никогда нельзя вернуть, надо делать новые».

Мы сделали программу обмена юристами. Брали людей по конкурсу, конкурс был советский, некоторые люди победили не очень честно, не буду называть их имен — эти люди сейчас в политике. Это было в 92-м или 93-м. Мы много давали грантов разным музеям. Покупали подписки для библиотек на все толстые журналы.

— Помню, какой у нас поднялся шум, когда он отказался финансировать подписку.

— Его подход такой: «Если это существует только на мои деньги, нет смысла платить. Я могу дать только старт. А если это никому, кроме меня, не нужно — закрываю [проект]». Была заявка на грант, человек писал: «Хочу помочь иностранцам найти русских жен». Одна из самых лучших программ — это мини-офисы. Мы давали гражданским группам

компьютер, принтер, факс, телефон с двумя номерами. Из одного из таких офисов вырос «Интерфакс». В этом участвовал Глеб Павловский, он был причастен к фонду. Это была хорошая идея — по факсу передавать новости, которые не прошли официальную цензуру. Мы поддержали какой-то журнал для покупателей...

— Почему вы ушли от Сороса?

— После пяти лет работы в фонде я поняла, что самое интересное уже сделано. Сначала мы были маленькой мобильной организацией, а потом стали большой и неповоротливой. Первое время было дико интересно, а дальше стало повторяться одно и то же. Ну и потом, я все-таки переводчица, а на той работе у меня не было времени на переводы. Слишком был напряженный ритм. Джордж, он как маленький ребенок — если ему что-то интересно, он занимается этим все время. У него много идей, столько всего нового! Непросто быть при нем исполнителем. Он звонит: значит так, полетели завтра! Куда-то. А у меня муж, ребенок. Мне о них нужно заботиться, мне надо самое меньшее упаковать чемодан. Конечно, с ним было очень весело, он с юмором, мы много хохотали. Но если серьезно, нам вообще казалось, что мы делали большое интересное дело.

— А сейчас? Сейчас что кажется?

— Да и сейчас тоже так кажется. Тогда это ощущение помогало преодолевать усталость и сворачивать горы. Например, приходишь в офис — а дверь опечатана. Надо что-то делать — узнавать, кто это сделал, кому надо заплатить.

— Да, вижу, русскую жизнь вы поняли...

Мировой рейтинг

— Вы много людей знаете — кто из них на вас произвел самое глубокое впечатление?

— Сорос, — ответила она без паузы. — Это человек, которого я бы назвала гениальным. Он хотел изменить мир. Он хотел, чтоб люди не верили в догмы. Он очень обижался, что я дико переживала смерть Сахарова. Он ревновал, спрашивал: «А ты будешь так плакать, когда я умру?» Не то

что лично, а из-за того, что он не оставил такой отпечаток на России. Он потрясающий человек. Он фонтанирует идеями — с ним тяжело долго работать.

— А из русских?

— Сахаров. Это был человек глобального мышления. Он был очень деликатный человек. Когда мы засиживались у них, он уходил в другую комнату, сказав: «Не буду вам мешать». Помню, мы с ним говорим громко одно, а пишем на бумажке другое, главное...

— А из живых русских?

— Скорей, Евтушенко. Он яркий, щедрый, умный, добрый. С чувством юмора и самоиронией. Мы с ним ездили в Сибирь, в Абхазию, его обожают, и это очень интересно — быть рядом с ним и смотреть, как он реагирует.

Итого

— А вам не приходило в голову — жить в России?

— Мы жили в России. Какое-то время...

— То есть нормальный человек жить в России не будет, ну так — поработать, а потом ехать куда-то, где живут нормально...

— Разве я это сказала?

Мы смеемся, и она продолжает:

— Одно время мне очень хотелось жить в России. Но когда ты привык жить в одном обществе, то переехать на длительный период в другое — сложно. Мы попробовали полгода... Что я могу об этом сегодня сказать? Это был интересный эксперимент.

СОДЕРЖАНИЕ

23 года спустя5

ВПЗР

Василий Аксёнов. Итээровский костер	11
Борис Акунин: «Спасибо Дэну Брауну!».....	52
Светлана Алексиевич: «Даю сказать тем, кого не слушали».....	60
Юрий Арабов: «Литературы русской фактически нету»	87
Аркадий Арканов: «Путин смотрел мне в глаза»	110
Александр Архангельский: «Популярность — она не очень дешевая»	129
Андрей Битов: «Главное, чтоб помереть не позорно»	143
Дмитрий Быков: «Я — графоман»	191
Алексей Варламов. Триумф non-fiction.....	203
Михаил Веллер: «Вокруг все больше идиотов»	225
Эдуард Володарский: «Мы с Высоцким собирались эмигрировать».....	248
Анатолий Гладилин: «Жулики, добро пожаловать в Париж!»	260
Александр Генис: «Вижу отражение Бога в селедке»	276
Валерий Гринберг: «Мне нравится все, что я пишу»	296
Евгений Евтушенко. Поэт в Оклахоме — больше, чем рвет.....	307
Сергей Жадан: «Не жду звонка от Порошенко».....	324
Александр Иличевский. Возвращение из Силиконовой долины	336
Поэт Иртеньев — он же Правдоруб и Рабинович	357
Фазиль Искандер: «Я думаю...»	373
Александр Кабаков: «Писатель-пророк — это вам не баба Ванга»	384
Иван Кононов — который «Левый берег Дона».....	393
Писатель Кох: «Славы Чехова мне хватит»	404

Эдуард Лимонов: «Черная кость должна прийти к власти»	419
Дмитрий Липскеров: «В русской душе темно»	439
Сергей Лукьяненко: «Себя считаю русским шовинистом»	452
Борис Минаев: «Графоман — я, а Быков кокетничает»	468
Андрей Орлов: «Я — пьяница, алкоголик, придурок и бабник»	484
Виктор Пелевин: «Нужно всего 2000 иероглифов»	500
Виктор Пеленягрэ: «Я сложил гимн РФ»	520
Юрий Поляков: «Молодые пьют меньше, пишут хуже»	532
Захар Прилепин: «Нацболы прокляты властью, народом и зоной»	549
Александр Проханов: «Я — матерый разбойник»	560
Валентин Распутин — новая русская правда?	583
Владимир Сорокин. Опричник на экспорт	616
Борис Стругацкий: «Мэтром себя не считаю»	631
Михаил Тарковский. Жизнь на свежем воздухе	639
Александр Терехов: «Журфак — все мы вышли из шинели Засурского»	657
Татьяна Толстая — графиня как графиня	666
Людмила Улицкая: «Мы снова на кухне 60-х»	690
Эдуард Успенский: «Чебурашка — это мужик!»	714

Приложения

Приложение 1	733
Петр Авен. Мечтал стать писателем, но	733
Приложение 2 (Из архивов)	754
Дмитрий Набоков. Папенькин сынок	765
Елена Сикорская: «Мой брат Владимир Набоков»	778
Бабочки Набокова. «Натуралист провинциальный, в раю потерянный чудак»	789

Приложение 3	823
О вреде порядочных женщин	823
Дикари и офицеры	827
«Идиотизм деревенской жизни» (Заявка на сценарий фильма ужасов)	829
100 лет русскому бардаку.....	833
Приложение 4	837
Нина Буис. Русская Литература: конвертация по курсу	837

Художественно-публицистическое издание
Серия «Диалог»

Свинаренко Игорь Николаевич
(Великие писатели Земли Русской)

Редактор

Лариса Спиридонова

Корректор

Елена Плёнкина

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Верстка

Светлана Спиридонова

Подписано в печать 29.07.2016.

Формат 84x108¹/32. Усл. печ. л. 45,4.

Бумага писчая.

Тираж 2000 экз. Заказ № 695.

«Время»

115326 Москва ул. Пятницкая, 25

Телефон (495) 954 1082

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии

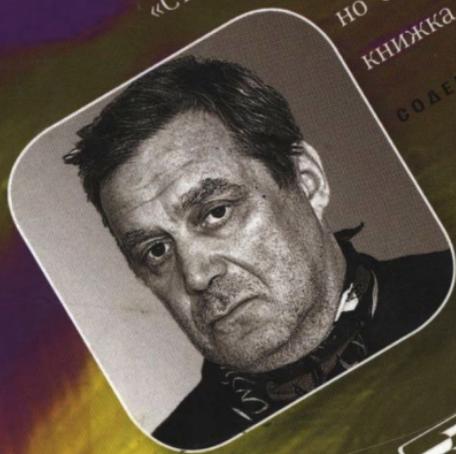
с предоставленным оригинал-макетом

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>, e-mail: book@uralprint.ru

Автор родился в 1957 году в Жданове (теперь — Мариуполь) в студенческой семье (горный факультет политеха и мединститут). Учился в Макеевке (школа), Москве и Лейпциге (университеты). Работал каменщиком, переплетчиком в самиздате, фотографом, переводчиком. И, само собой, в разных СМИ, от «Макеевского строителя» до «Собеседника», «Коммерсанта», немецкого Freies Wort, «Медведя» и проч. До «Домовой» и собора в Америке (журнал «Столица»). Подолгу жил в чужих странах и лежал в страшных больницах, но отовсюду вернулся. Эта его книжка — двадцатая по счету.



books.vremya.ru

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ